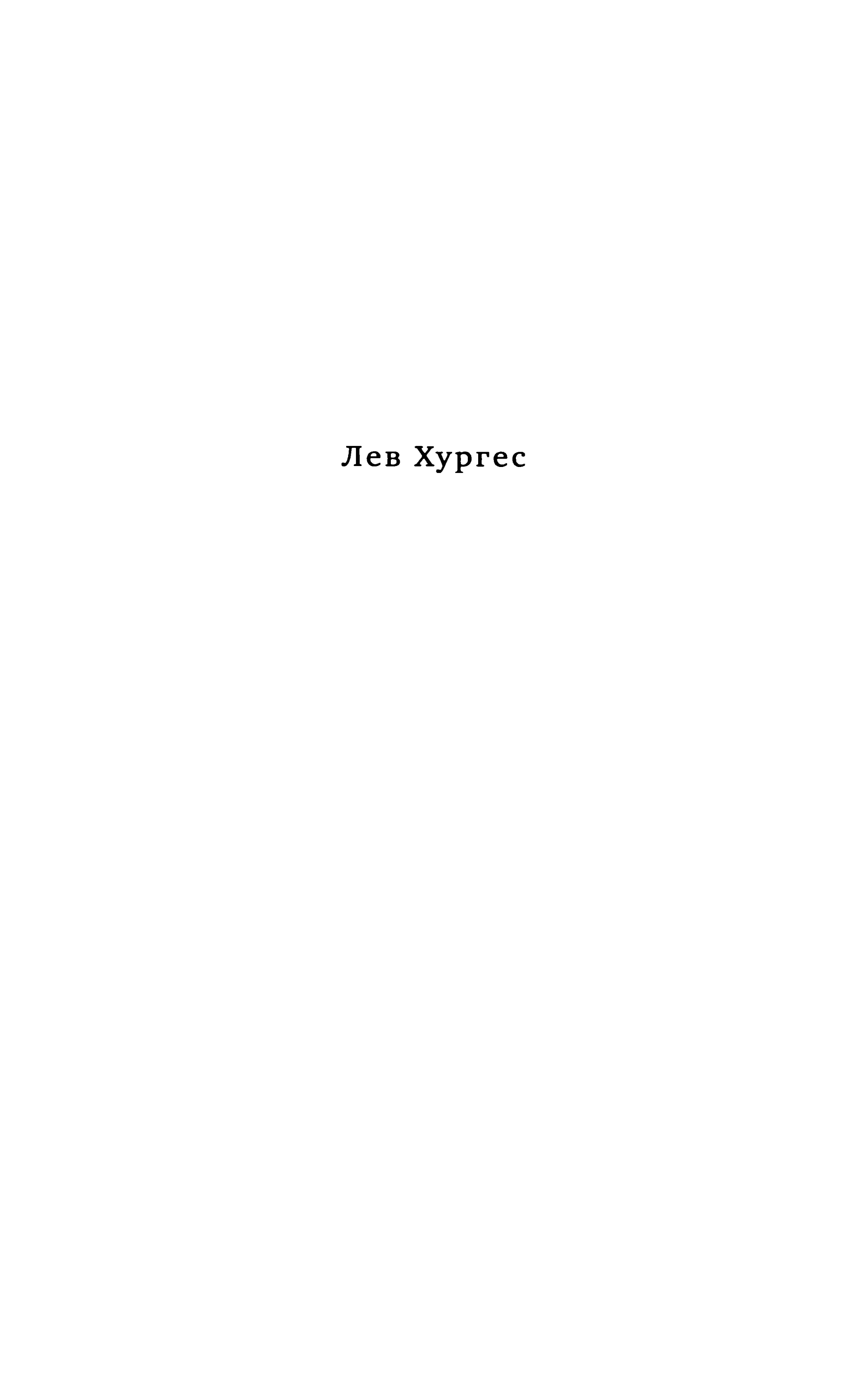
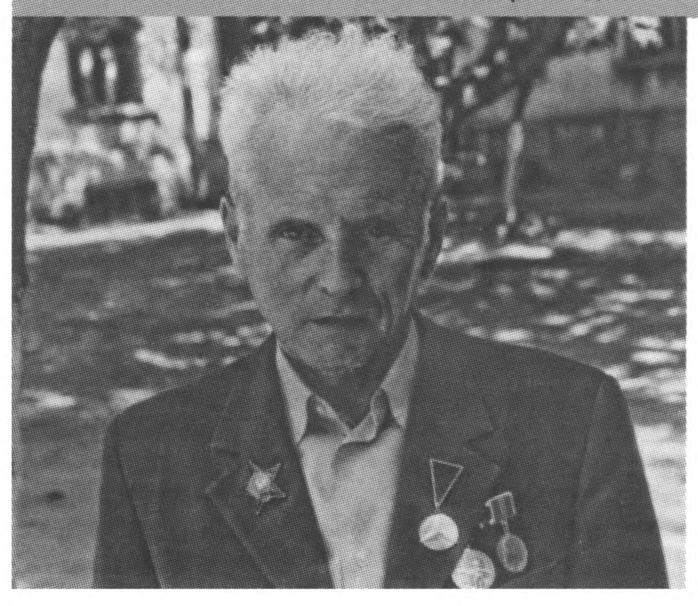
ЛЕВ ХУРГЕС
МОСКВА — ИСПАНИЯ — КОЛЫМА
Из жизни радиста и зэка
ВРЕМЯ
ЛЕВ ХУРГЕС
МОСКВА — ИСПАНИЯ — КОЛЫМА
Из жизни радиста и зэка


Лев Хургес

серия «диалог»



ЛЕВ ХУРГЕС

МОСКВА — ИСПАНИЯ — КОЛЫМА

Из жизни радиста и зэка

москва
2012

УДК 929
ББК 84Р7-4
Х98

Редколлегия: А. Л. Макаренко, Н. Л. Поболь, Е. Л. Полян,
М. П. Полян, П. М. Полян
Составление и литературная редакция П. М. Поляна и Н. Л. Поболя
Примечания П. М. Поляна, Н. Л. Поболя и А. Г. Теплякова

Художник
Валерий Калныньш

Хургес Л.
Х98 Москва — Испания — Колыма: Из жизни радиста и зэка. — М.: Время, 2012. — 800 с., илл. — («Диалог»)
ISBN 978-5-9691-0728-1

Автор этих воспоминаний, Лев Лазаревич Хургес (1910, Москва — 1988, Грозный), был человеком своего времени: технарем, романтиком, послушным слугой революции. В 14 лет его поразила первая и всепоглощающая, на всю жизнь, «любовь» — страсть к радиоделу, любовь, которая со временем перешла и в «законный брак», став профессией. Эта любовь завела его далеко — сначала, в 1936 году, в Испанию, где он, радист-интернационалист, храбро воевал на стороне республиканцев, и уже в 1937 году — в ГУЛАГ. Львиную долю своего 8-летнего срока он отмотал на Колыме. Между романтизмом Испании и соцреализмом Колымы — тысячи связующих нитей: взаимная слежка, взаимный страх доносительства, взаимные предательства, весь тотальный бесчеловечный советский социум. Читать эти воспоминания интересно и легко: в них и история, и люди, и мужественная борьба за выживание и за достоинство человека в нечеловеческих условиях, и озорной блеск в вечно юношеских и влюбленных глазах.

ББК 84Р7-4

ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ

Воспоминания Льва Лазаревича Хургеса были написаны в 1970-е годы — после того, как он вышел на пенсию. Источниковедчески они существуют в двух версиях — в виде многостраничной рукописи* и в виде аудиозаписи, сделанной скорее всего при зачитывании на магнитофон той же самой рукописи. Оригиналы обеих версий хранятся в Краснодаре у Александра Львовича Макаренко, единственного сына автора.

В 2006—2007 гг. фрагменты из этих воспоминаний публиковались в четырех томах журнала «Отечественные записки» (№№ 33—36)**.

При подготовке книжного издания воспоминания Льва Хургеса подверглись существенному (на четверть!) сокращению и стилистическому редактированию. Сокращения сделаны главным образом за счет отказа от вторичных эпизодов, связанных с пересказом автором рассказов других лиц, а также от многочисленных повторов и тривиальных констатаций. Мелкие неточности и случайные опечатки исправляются без особых оговорок.

Структуризация текста — выделение и называние глав, разбиение их на нумерованные подглавки — задана составителями. Им же принадлежат сводные анонсы содержания в начале каждой из глав. Текст откомментирован составителями и А. Г. Тепляковым.

Вслед за корпусом воспоминаний следуют два приложения: первое — фрагменты из «Следственного дела Л. Л. Хургеса», второе — список его публикаций.

Книга проиллюстрирована фотографиями, картами, газетными вырезками и другими материалами из семейного архива Л. Л. Хургеса и из архивов семьи Полянов, а также материалами о Колыме, предоставленными А. Г. Козловым, А. Ю. Пахомовым, Д. И. Райзманом и С. Б. Слободиным, и об Испании — Б. Я. Фрезинским и А. Г. Тепляковым.

В книге встречаются следующие аббревиатуры и сокращения:

---

* Под общим заглавием: Лев Хургес. Я — радиолюбитель. Главы из воспоминаний. (Публ. Е. Поляна и П. Поляна). Подробнее см. Приложение 2. *(Здесь и далее примеч. сост.)*

** С тремя раздельными пагинациями.

АНТ — Андрей Николаевич Туполев
АСА — антисоветская агитация
БАМ —Байкало-Амурская магистраль
БОЗ — без определенных занятий
ВЧК — Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем
г — грамм
ГВФ — Гражданский воздушный флот
ГОСТ — государственный общесоюзный стандарт
ГУГБ — Главное управление госбезопасности
ГУГВФ — Главное управление гражданского воздушного флота
ГУЛАГ — Главное управление исправительно-трудовых лагерей
ГУСМП — Главное управление Северного морского пути
ИККИ — Исполнительный Комитет Коммунистического Интернационала
ИТР — инженерно-технический работник
КВЖД — Китайско-Восточная железная дорога
КВЧ — Культурно-воспитательная часть при лагерях ГУЛАГ
км — километры
КПЗ — камера предварительного заключения
КРД — контрреволюционная деятельность
КРТД — контрреволюционная троцкистская деятельность
ЛФТ — легкий физический труд
Л. Х. — Лев Хургес
ОГПУ — Объединенное государственное политическое управление
ОЛП — отдельный лагерный пункт
ОТК — отдел технического контроля
НЗ — неприкосновенный запас
НИПИ — Научно-исследовательский и производственный институт
НКВД — Народный комиссариат внутренних дел
ОДР — Общество друзей радио
ПВС — Президиум Верховного совета СССР
ПУД — подозрение в уголовной деятельности
ПШ — подозрение в шпионаже
РВТ — разглашение военной тайны

РД — «Рекорд дальности», иначе АНТ-25
РККА — Рабоче-Крестьянская Красная Армия
РУР — рота усиленного режима (штрафная)
СБ — скоростной бомбардировщик
СЗГПУ — Северо-западное горнопромышленное управление
СНК — Совет народных комиссаров СССР
СФТ — средний физический труд
т — тонн
ТЗ — тюремное заключение
ТФТ — тяжелый физический труд
УК — Уголовный кодекс
УСВИТЛ — Управление Северо-Восточных исправительно-трудовых лагерей (Дальстрой)
ЦАГИ — Центральный аэрогидродинамический институт имени Н. Е. Жуковского
ЦАРЗ — Центральный авторемонтный завод
ЦДКА — Центральный Дом Красной Армии им. М. В. Фрунзе
ЦСКВ — Центральная секция коротких волн ОДР
ЦЭС — Центральная электростанции
ЧП — чрезвычайное происшествие
ШД — шпионская деятельность
ШИЗО — штрафной изолятор

Составители сердечно благодарят: родственников Льва Хургеса — Александра Лазаревича Макаренко (Краснодар), Романа Михайловича Лукинова и Марину Романовну Баландину (Москва), Михаила Яковлевича и Александра Михайловича Айзенштадтов (Иерусалим), Марка Павловича Поляна (Фрайбург) и Леонида Ефимовича Поляна (Москва) за всестороннюю помощь, Н. П. Соколова и М. В. Голубовскую, редакторов журнала «Отечественные записки», а также А. Г. Козлова, А. Ю. Пахомова, Д. И. Райзмана и С. Б. Слободина (Магадан), А. Г. Теплякова (Новосибирск), Б. Я. Фрезинского (Санкт-Петербург), В. Ш. Белкина (Иерусалим), Е. Лоевскую (Хайфа), В. П. Штрауса (Москва) и А. М. Эткинда (Кембридж) за ценные сведения, использованные в комментарии и иллюстрировании книги.

П. Полян, Н. Поболь

«ЖИВИ, ЛЕВА!...»

О воспоминаниях Льва Хургеса и о нем самом

1

Вы скрывали социальное происхождение. Когда Вы первый раз скрыли?

Автор этих воспоминаний, Лев Лазаревич Хургес (далее Л. Х.), родился 4 (17) мая 1910 года в Москве. Тут впору поставить не точку, а восклицательный знак, ибо родиться в столичном городе для российского еврея было до революции своеобразным «достижением»: для того и вводилась черта оседлости, чтобы этого не происходило!

Его родители — выходцы из этого «резервата»: отец, Лазарь Моисеевич Хургес (? — 1938), был старшим сыном одного из лучших минских портных — Моисея Львовича (умершего в 1916 году), а мать — Александра Матвеевна (Хася Мордуховна, ? — 1942), урожденная Эдельман, родилась и до замужества жила в местечке Долгиново Вилейского уезда Виленской губернии. Ее отец (и дед Л. Х.), Мордехай Эдельман, был долгиновским раввином, ее мать звали Мер. Младшая сестра — Эмма, 1895 года рождения, в замужестве Полян, — приходится пишущему эти строки бабушкой. Первая Мировая забросила Эдельманов в 1914 году в Челябинск.

Отца Льва Хургеса, Лазаря Моисеевича, «вытащил» в Москву его двоюродный брат — Ефим Исаакович Хургес, купец первой гильдии, домовладелец и биржевой игрок. Он купил минскому кузену «вторую гильдию», но вел «его» коммерческие* дела сам, брату же выплачивал скромное жалованье. Реально семья жила некоторое время доходами от «пансиона», который Александра Матвеевна устроила из своей большой квартиры в самом центре Москвы — на Мясницкой, близ Лубянской площади: две комнаты из пяти сдавались внаем, да еще со вкусной кормежкой в придачу.

---

* Из допросов Л. Х. известно, например, что его отец был связан со знаменитым чаезаводчиком Высоцким.

После революции эта модель приказала долго жить, и семья перебралась на далекую — аж за Земляной вал — московскую окраину, в двухэтажный деревянный дом на Большой Тульской* — прямо напротив Даниловского рынка**. Отец Л. Х. служил поначалу в РККА у Фрунзе, а позднее — агентом по распространению технической литературы в ОГИЗе

Дом на Тульской был, в сущности, бараком: на каждом этаже общий коридор и множество комнат, в конце коридора общая кухня. В двух больших светлых комнатах на втором этаже и разместилась семья Александры Матвеевны, еще в двух — семья ее старшего брата, Гавриила Матвеевича. Жену его звали Мина. Это их сына Яшу, погибшего в самом конце войны, вспоминает Л. Х. в одной из глав. Брачный выбор обеих дочерей Гавриила наверняка не одобрил бы их дед-раввин: обе вышли за русских. Старшая, Хася, — за военного и уехала с ним в Красноярск, а младшая, Двейка, она же Дора, за знаменитого инженера-электрика Бориса Михайловича Сарычева, автора дефицитнейших справочников по электротехнике***: семейное предание сохранило о нем еще то, что он сильно заикался и, в порядке борьбы с этим дефектом, брал уроки у педагога из Большого тетра и, действительно, очень хорошо пел.

Дни рождения взрослых в семье Хургесов никогда не отмечали, а вот детские праздновались****. У Левы было две сестры — старшая, Нюра (Анна), вышла замуж за военного (Хему Айзенштадта) и уехала с ним в Казань, где его впоследствии арестовали. Младшая — Феня (Фаина) — работала плановиком в системе Нарпита. После смерти родителей, обняв которых и едва попрощавшись перед Испанией, Л. Х. уже так никогда и не увидел, именно она, Феня, взяла на себя миссию хранительницы семейного очага и с честью пронесла ее через все годы братниной отсидки, навещая его в лагере и отправляя ему посылки.

---

* Тогдашний адрес: дом 6, квартира 1.

** Теперь на его месте — огромный многоэтажный дом, один из самых длинных в Москве.

*** Сарычев Б. М. Справочник по проектированию воздушных линий электропередачи, Изд. МКХ РСФСР, 1958 и мн. др.

**** Не забывали у Хургесов и племянников: каждый год тетя Саша дарила моему отцу и его младшему брату Фиме по новому вельветовому костюмчику.

Приходится отмечать, что о своей семье и о своих корнях Л. Х. пишет на удивление скупо. Не слишком много к общей картине добавила и память его двоюродного брата — моего отца. На десятках старых фотографий, сохранившихся в семье, он опознал лишь описанный круг самых ближайших родственников: *«О всех перипетиях того периода ни моя мама, ни мой папа мне ничего не рассказывали. Да и я, по молодости, их об этом не расспрашивал. Теперь о том жалею»*[*].

Одной молодостью тут все не объяснишь. Отторжение от корней — это тот самый выморочный «вексель» за освобождение, что был предъявлен революцией к оплате не только еврейской, но и всей молодежи. И российские евреи, в 1917 году вышедшие, наконец, из черты оседлости, как некогда их предки из Египта, платили по нему за свою свободу не только с пониманием, но и с охотой, иные даже с энтузиазмом. Они не видели в своем оседлом прошлом ничего хорошего, ничего такого, с чем нельзя было бы и даже не хотелось бы бесповоротно порвать. Зачем религиозный Мессия, когда есть иной — революционный, к тому же уже пришедший и на твоих глазах победивший в Гражданской войне?

В головах и сердцах одного поколения — того самого, к которому принадлежал и Л. Х., — виртуальное «светлое будущее» вытесняло собой матерьяльное «темное прошлое». Через его поколение пролегла одна из самых глубоких трещин, когда-либо пробовавших на разрыв фамильные напластования еврейской жизни: родители проклинали детей, дети, присягая партии или комсомолу, «предавали» родителей, скрывая свое социальное происхождение и готовые «скрыть» и религиозно-национальное, если бы это только было возможно в России (но ведь решительно невозможно!).

Не без язвительности следователь Касаткин спросил Л. Х. на допросе:

«Вы скрывали социальное происхождение. Когда Вы первый раз скрыли?».

Ответ — При вступлении в ВЛКСМ в 1931 г. я скрыл свое соцпроисхождение, заявив, что мой отец все время был служащий. Я скрыл, что мой отец в период НЭПа, в течение нескольких лет,

---

* Из воспоминаний М. П. Поляна.

был мелким торговцем-разносчиком, в старое время он был коммивояжером.

Вопрос — При отправке Вас в Испанию Вы тоже скрыли свое прошлое?

Ответ — Да, скрыл.

Вопрос — Почему Вы скрывали свое социальное происхождение?

Ответ — При вступлении в Комсомол скрыл, потому что боялся, что не примут в Комсомол. При поездке в Испанию скрыл из-за того, что в противном случае меня не пустят в Испанию. Я работал честно, хотел оправдать доверие, а впоследствии при вступлении в партию намерен был признаться в том, что я скрывал».

Но все «жертвы» на алтари революции были, в конечном счете, напрасными. Инстинкт социального самосохранения, столь очевидный в этом эпизоде, не срабатывал и оказывался, на поверку, дешевой провокацией.

2

Кое в чем мы им помогли, не только по части продовольствия.

Свое жизнеописание Лева Хургес начинает с 14-летнего возраста. Именно тогда поразила его первая и всепоглощающая, на всю жизнь, «любовь» — страсть к радиоделу и радиолюбительству, любовь, которая со временем — особенно после встречи с Эрнестом Кренкелем — перешла в «законный брак», став профессией. Воспоминания насквозь проникнуты атмосферой этой всепоглощающей «любовной горячки».

Вот пунктиром вехи его последующей — «семейной», но весьма бурной — жизни коротковолновика. Поступив радистом на гражданский авиафлот (так называли тогда гражданскую авиацию), он летал на самолетах «Максим Горький», «Крокодил» и других, и только по чистой случайности — из-за совпадения даты полета с собственным днем рожденья — не оказался на борту «Максима Горького» в день его трагической аварии. В боль-

шинстве остальных полетов воздушной громадины он участвовал, в том числе и в том, когда над Москвой катали французского коллегу-авиатора — Антуана де Сент-Экзюпери.

В ноябре 1936 года он был направлен радистом-«добровольцем» в Испанию, где храбро воевал на стороне республиканцев. Работодатель — Разведупр (нынешнее ГРУ) — настаивал на полной конспирации путешествия, так что доверчивым домашним было объявлено о секретной экспедиции в Арктику*.

Гражданская война в Испании вспыхнула в июле 1936 г.: 17 июля — в Марокко и других африканских колониях, а 18 и 19 июля — в Андалузии и в других провинциях в самой Испании (решающим тут оказался захват генералом Гонсало 18 июля Севильи и Кадиса). Через неделю после ее начала обозначился исходный расклад: у республиканцев — 70% территории, милиция, немного регулярной армии, плохо обученные вооруженные добровольцы (в основном, анархисты), большая часть флота и все ВВС плюс симпатии большинства населения, а у фалангистов — 30% территории и 80% регулярной обученной армии. Несмотря на политику якобы «невмешательства» во внутрииспанские дела**, вмешательства было сколько угодно: фалангистов уже с августа поддержали Португалия, Италия и Германия, а республиканцев — с октября — Мексика и СССР, с которым премьер Ф. Кабальеро договорился о присылке в Испанию советских военных специалистов, инструктировавших создание республиканской регулярной армии, а также о формировании интербригад с автономным командованием.

---

* Перед отъездом он успел подарить своим двоюродным братьям — 14-летнему Марку и 10-летнему Ефиму Полянам — знаменательные подарки: первому — полевую сумку, а второму — радиодетали. Тем самым он спровоцировал еще одну «любовную горячку», адресованную к технике, — на этот раз у младшего кузена, ставшего со временем Заслуженным изобретателем РСФСР (56 изобретений!) и лауреатом Государственной премии СССР (1970).

** Первой об этом 25 июля заявила Франция, прекратившая поставки оружия законному правительству; 24 августа все европейские страны подписали «Соглашение о невмешательстве», а 9 сентября был создан специальный «Комитет невмешательства в испанские дела» при Лиге Наций, находившийся в Лондоне.

После избрания генерала Франко 28 сентября верховным главнокомандующим сил мятежников, провозглашения его генералиссимусом и «каудильо»[*], фалангисты устремились к Мадриду и уже к началу ноября были близки к тому, чтобы взять столицу, оставленную правительством 5-6 ноября (оно перебралось в Валенсию). Но — ценой неимоверных усилий, грандиозных потерь, в том числе и среди интернациональных бригад, и фактически уже ничем не прикрытой советской военной помощи — Мадрид выстоял и не пал.

29 сентября Политбюро ЦК ВКП(б) решает усилить свою помощь и посылает в страну советские боевые самолеты и танки с экипажами. Главным военным советником становится Я. Берзин («Гришин», или «Старик»), генеральным консулом — В. Антонов-Овсеенко (сменивший М. Розенберга), а военным атташе посольства — В. Горев («Горис»).

30 сентября Л. Каганович писал С. Орджоникидзе: «Испанские дела идут неважно. Белые подходят к Мадриду. Я посылаю тебе несколько сводок, показывающих положение. Кое в чем мы им помогли, не только по части продовольствия. Сейчас намечаем кое-что большее по части танков и авиации, но, во-первых, технически нам это очень трудно, во-вторых, у них у самих организованности и порядка мало, наша партия слабовата еще, анархисты остаются верны своей природе, поэтому при всей боевитости низов, организация и руководство на месте неважное, а этого со стороны дать трудно. Тем не менее, нельзя ни в коем случае считать положение Мадрида безнадежным, как это зачастую в шифровках считает наш не совсем удачный полпред. <...> Если бы мы имели общую границу с Испанией, вот тогда бы мы смогли по настоящему развернуть свою помощь. Между прочим, испанские события и кампания, развернувшаяся у нас в стране, показывает, какой у нас замечательный великий народ и сколько в нем интернационального чувства и сознания»[**].

23 октября, воспользовавшись многочисленными нарушениями «Соглашения о невмешательстве» со стороны Португалии,

---

* Испанский аналог «фюрера» или «дуче».

** Сталинское Политбюро в 30-е годы. Сб. документов. М., 1995. С. 148.

Германии и Италии, СССР заявил о своем фактическом выходе из «Соглашения»*.

Вот на этом фоне и начиналась командировка Л. Х. в Испанию. Фамилия Хургес превосходно звучит по-испански, но, согласно заведенному порядку конспирации, он получил свой принудительный псевдоним, а именно «Клер»**. Направили его в Малагу — последний оплот республиканцев на юге, окруженный войсками дивизионного генерала и предателя Кейпо де Льяно Гонсало*** с трех сторон. Гонсало командовал Южной армией фалангистов и постоянно угрожал Малаге, долгое время остававшейся самым южным оплотом республиканцев.

Вместе со всей советской миссией и последними его защитниками, Л. Х. покидает город буквально в миг его окончательной сдачи в начале февраля 1937 года.

Как радист, Хургес обеспечивал информационные потоки между московскими советниками в Малаге, их штабом в Валенсии и самой Москвой. Радиосвязь должна была быть не только бесперебойной, но и безопасной, защищенной от глаз и ушей врага. А в ситуации Гражданской войны в Испании такие «глаза и уши» оказывались чуть ли не повсюду, и это не было истерическим преувеличением — недаром само понятие «пятой колонны» возникло именно там и тогда.

Вот еще одна характерная шифрограмма, оправленная Ворошиловым («Хозяином») в Валенсию в середине марта 1937 года:

«Валенсия, Донецетти, Себастьяну

Получили донесение Доминго, в котором он сообщает, что последняя удача республиканских войск в бою с итальянским экспедиционным корпусом является результатом того, что организа-

---

* См.: Документы внешней политики СССР. М., 1974. Т. XIX. С. 463—472.

** Подпольную кличку имел даже пароход с фальш-трубой, на котором плыл Л. Х.: турецкий «Измир», он же мексиканский «Мар-Табан», на самом деле был испанским «Мар-Кариб»'ом, приписанным к Барселоне.

*** Кейпо де Льяно Гонсало (1875—1951) — дивизионный генерал, в 1934—1936 — генеральный инспектор карабинеров, военный министр в правительстве Н. А. Саморы — 1-го президента Второй Испанской республики. Присоединение Гонсало к мятежником стало полной неожиданностью для республиканцев.

ция операции была совершена строго секретно от командования фронта и корпуса, а комбриги были расставлены по местам под разными предлогами. Кроме того, вы так же сообщаете, что пленные итальянцы подтверждают, что противнику заблаговременно известны все планы и приказы республиканцев.

Учтите эти кричащие и поучительные факты и впредь все серьезные операции подготовляйте и осуществляйте в духе последней операции на Гвадалахаре.

Секретность операций и внезапность удара, — главнейшее дело в испанской обстановке. <...>

По поручению Инстанции, Хозяин

18.40.16/III-37 г.»*.

Итак, «секретность» и «внезапность» — ключи к военному успеху в испанской войне, причем «секретность» — в первую очередь от собственного командования!

Об этом же вспоминает и Лев Хургес:

«Одной из основных бед планирования наших операций являлась чрезвычайная трудность соблюдения строжайшей секретности, ведь ввиду значительного преимущества сил противника перед нашими, успех той или иной операции мог быть обеспечен только фактором внезапности. <...> Фашисты, как правило, знали время и направление наших ударов раньше, чем об этом узнавали сами строевые офицеры-исполнители».

Ко времени переезда в Альмерию Л. Х. уже стал орденоносцем: о его награждении орденом Красной Звезды 17 декабря 1936 года сообщали «Известия». Для домашних это была двойная радость — как бы шифровка из «Арктики»: мол, сын Ваш по крайней мере жив и здоров**.

Правда, получить сам значок на лацкан ему привелось лишь с 20-летней заминкой. Как только он, в звании майора, вернулся на родину в мае 1937 года и сел в поезд Феодосия — Москва, его тотчас же, на станции Джанкой, взяли под локоток, задали пару вопросов и любезно предложили ознакомиться на досуге с вос-

---

* РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 167. Д. 52. Л. 130—130 об. «Инстанция» — это Ворошилов, «Хозяин» — Сталин.

** Похоже, что Л. Х. был выдвинут и на следующую награду, но сведения об этом не разысканы.

точными достопримечательностями одного небезызвестного архипелага. Задававшие вопросы были из 5-го отдела Главного управления госбезопасности: это военная контрразведка, или спецотдел, по выражению Хургеса.

Эта двойной — назовем его испано-колымским — след глубоко отпечатался на всей последующей жизни Л. Х.

3

Основная задача — ваше физическое уничтожение.

«Досуга» ему отмерили восемь лет, и за это время Л. Х. перебывал в паре десятков тюрем и лагерей: тюрьмы — Симферопольская, московские Лубянка и Бутырки, Полтавская, Новочеркасская, Иркутская, Новосибирская и ярославские Коровники, транзитные лагеря — во Владивостоке, Магадане и Находке, колымские лагпункты — Скрытый, Мальдяк, Линковый, «23-й километр» и «72-й километр», лагеря в Свободном, при Рыбинском мехзаводе и Переборы.

Бесспорной кульминацией этого экстремально-эксклюзивного «тура» стала Колыма, куда путешественника доставили в конце лета 1938 года — доставили, как и в Испанию, водным путем. Но на сей раз — уже никакой конспирации, никаких липовых труб с дымком, никаких личных кают! Все предельно ясно, сугубо демократично и исключительно скромно — трюм, набитый до отказа человеческим материалом, и гражданская война между его слоями — урками и фраерами, блатными и политическими.

Само название парохода было и настоящим, и говорящим — «Дальстрой»: в честь одной государственной сверхкорпорации, созданной в ноябре 1931 года. Родная партия и любимое правительство благословили ее и уполномочили на доверительное управление угодьями, столь обширными, и душами, столь несчетными и полумертвыми, что захватывало дух*. Если с чем

* В 1939, на пике своего могущества, трест контролировал территорию площадью до 2,3 млн кв. км, то есть более 10% территории СССР!

и сравнить «Дальстрой», то разве что с британскими Ост- или Вест-Индской компаниями.

Пейзаж на Колыме, правда, неприветлив, а климат убийственнен, зато геологи разведали там в конце 1920-х гг. несметные богатства — золото и олово, серебро и вольфрам. Цены на них в 1930-е годы пошли круто вверх, а цены на машины — после Большой Депрессии на Западе — вниз. Идеальный для СССР расклад, ибо именно в машинах и технологиях больше всего нуждалась советская власть на путях своей модернизации! Ради такого гешефта сотню-другую тысяч зэков и в мерзлоту положить не жалко. Своего максимума (около 80 тонн) допотопная — фактически вручную — добыча золота достигла в 1940 году* — на третий год пребывания Л. Х. на Колыме.

Если ГУЛАГ — архипелаг, то Колыма — его центральная гряда, со своей столицей (Магадан), аванпортом (Нагаево) и обширными кладбищами (везде). Прииски, на которых Л. Х. больше всего работал, и лагпункты, в которых он дольше всего жил, располагались на золотоносных россыпях левых притоков Берелеха, выше по течению реки, если считать от устья Мальдяка. В дальнейшем Л. Х. «крутился» около самого Мальдяка (ныне Сусуманский район).

К тому колымскому компендиуму, что уже сложился в историко-читательском сознании благодаря прозе и воспоминаниям В. Шаламова и А. Солженицына, а также Е. Гинзбург, Б. Лесняка и многих других (в меньшей степени — благодаря историческим штудиям), каждая новая книга всегда добавляет что-то свое. Правда, приходится различать событийную эмпирику — описания сугубо индивидуального опыта каждого зэка — и попытки ее осмысления и, может быть, обобщения.

У Хургеса, как мне кажется, есть заслуги и в том, и в другом. Ни у кого до него я не встречал, например, подробного описания сектантов-«крестиков». Вот, коротко, их доктрина: «Человек создан для пребывания с Богом на небе в вечном блаженстве, и если человек на небе чем-нибудь прогневит Бога, то тот, в наказание, посылает его на землю мучиться и искупать

---

* *Пилясов А. Н.* Закономерности и особенности освоения Северо-Востока России (ретроспектива и прогноз). Магадан, 1996.

свою вину. Вся земная жизнь — это наказание, и когда Бог найдет, что человек уже искупил свой грех, то пошлет ему смерть, этим прощая человека и призывая его к себе блаженствовать на небе».

Л. Х. встретил «крестиков» на прииске «23-й километр» летом 1940 года, и все то, что он о них пишет, и впрямь кажется невероятным и, стало быть, подозрительным на легендарность.

Но нашлось и еще одно — независимое — свидетельство о «крестиках». В воспоминаниях А. С. Яроцкого «Золотая Колыма», вышедших в 2004 году, им посвящен эпизод, относящийся, по Яроцкому, к весне или лету 1936 года (Л. Х. тогда еще не подозревал не только о «своей» Колыме, но и о «своей» Испании): «В лагере остался "отсев" — так называли людей, которые не отзывались ни на какие фамилии. Это старые тюремные сидельцы, считавшие, что каждый день в тюрьме или на этапе — благо, т. к. на этапе не заставят работать; были и национальные меньшинства вроде удэгэ или гольдов, которые не понимали по-русски, и, наконец, "крестики" — дремучие сектанты, не признававшие никакой власти, не имевшие никогда паспортов, не бравшие в руки денег, так как на них "печать антихриста", не имевшие фамилий, ибо во Христе все братья, и между собой именовавшиеся "брат Иван", "брат Петр"»*.

Однозначно идентифицировать «крестиков» не удалось: в целом понятно, что скорее всего это одна из радикальных евангелических сект хлыстовского толка, массово возникавших во второй половине XIX в. и первой половине XX в. по всей России. Ни в книге А. Эткинда «Хлыст», ни в других источниках о русском сектантстве встретить секту под именем «крестики» не привелось. В чем-то они совпадают с одними, в чем-то с другими сектами. Так, А. Эткинд** нашел в «крестиках» модифицированное сходство с одной из самых древних и самых недоступных сект — с «бегунами», любимой сектой русских народников. Из встреченного в литературе, пожалуй, ближе всего к «крестикам» «молчальники» — один из сравнительно молодых и наиболее фанатичных толков «истинно-православных христиан»: в 1930-е гг. НКВД сажал их

* *Яроцкий А. С.* Золотая Колыма. Железнодорожный: РУПАЛ, 2003.

** В переписке с автором.

особенно щедро. Секта «молчальников» зародилась в 1920-е гг. в Тамбовской области, а окончательно сформировалась только в середине 1950-х. Принимая обет молчания и отказываясь от любой работы, они стремятся порвать все связи с внешним миром и превратиться в «живой труп», смерть считают благом, придерживаются безбрачия.

Другим хлыстовским толком, прочно обжившимся в ГУЛАГе, были куда более многочисленные «федоровцы» — последователи юродивого Федора Рыбалкина из села Новый Лиман Богучарского района Воронежской области, проповедовавшего о пришествии Антихриста, о снятия благодати с официальной церкви и о скором Конце Света. Его последователи считали его Христом и носили рубахи и шерстяные балахоны, расшитые крестами, обвязывались связками лука, символизировавшего горечь земной жизни. Начиная с 1926 года, репрессии были постоянном аккомпанементом бытования «федоровцев». Так, на суде в Воронеже в ноябре 1929 года они юродствовали, сидели на полу, закрывшись в капюшоны, а на все вопросы отвечали: «Отец небесный знает». Именно «федоровцев» скорее всего имел в виду В. Шаламов*, когда писал о «десятки лет встречающейся в наших лагерях» секте «Бог знает».

Как пример не столько эмпирический, сколько обобщающий, приведу другой эпизод — разговор на прииске Мальдяк горного инженера зэка Абрамовича с генерал-лейтенантом, фамилии которого Л. Х. не запомнил. Выслушав, не перебивая, соображения Абрамовича по оптимизации трудовых процессов на прииске, генерал спокойно сказал: «...Разбираясь в технической стороне вопроса, вы совершенно не понимаете его политической стороны. <...> Все вы, присланные сюда, являетесь для нашего общества не только лишними, но и опасными людьми, подлежащими физическому уничтожению. В основном для этого вас сюда и привезли. Сколько вы здесь до своего конца сумеете наработать, вопрос второстепенный, а вот основная задача — ваше физическое уничтожение — будет здесь решена тихо и незаметно для остального общества. Надеюсь, я доходчиво изложил?..».

С этим можно спорить или соглашаться, но важно, что сам этот тезис сформулирован во всей своей циничной простоте.

---

* В рассказе «На представку» (1956).

В одном из мемуаров о бунте в Воркутлаге встречается близкий, но все-таки иной тезис, вложенный в уста совершенно реального персонажа — генерал-майора Мальцева. Молча выслушав волынщиков, требовавших человеческих условий труда, питания и содержания, он в ответ прокричал: «Мы вас собрали сюда не работать, а мучиться!»*

4

...Разве можно так спокойно стоять и не чувствовать за спиной конвоира?..

Отмучился (то бишь освободился) Лев Хургес из Рыбинского лагеря не 7 мая и даже не 31 мая 1945 года**, а только 16 октября 1946 года, «пересидев» в общей сложности полтора лишних года!.. Произошло это из-за совместной директивы наркома внутренних дел и прокурора СССР № 221 от 22 июня 1941 года, приказывавшей «...прекратить освобождение из лагерей, тюрем и колоний контрреволюционеров, бандитов, рецидивистов и других опасных преступников». Их предписывалось концентрировать в усиленно охраняемых зонах и «максимально законвоировать». Директива тех же инстанций за № 189 от 29 апреля 1942 года несколько смягчала этот режим, но на «троцкистов», а стало быть, и на Л. Х., не распространялась.

В день прощания с лагерем особистка показала ему уникальную надпись на первом листе его дела — надпись, поразившую и ее саму: «К секретно-осведомительской работе в ме-

---

* *Арцыбушев А. П.* Милосердия двери. М., 2001. С. 136—137 (сообщено А. Тепляковым). Генерал-майор М. М. Мальцев (1904—1982), руководил «Воркутлагом» в 1943—1946. После Воркуты работал в Германии, где возглавлял акционерное общество «Висмут» в Саксонии, на котором завел гулаговские порядки. См. о нем в очерке «Почетный гражданин ГУЛАГа: посмертная слава начальника лагерей» (*Петров Н.* Палачи. Они выполняли заказы Сталина. М., 2011. С. 204—214).

** Даты истечения 8-летнего срока в пересчете со дня ареста и по приговору.

стах отбывания заключения привлекать не рекомендуется»*. Комментарий самого Льва Хургеса: «Значит, органы понимали, что предателя из меня не получится... До сих пор горжусь этим комплиментом».

Москва и область были вчерашнему контрику и троцкисту Льву Хургесу заказаны. Они были по ту сторону его новой «черты оседлости», а вот в Углич, который Л. Х. выбрал взамен, — пожалуйста. На Углич и выписали ему литерный билет.

О первых месяцах после освобождения Л. Х. сегодня уже некому рассказать. Но в какой-то момент он все же приехал в Москву — к себе, на Большую Тульскую. Ни отца, ни матери уже давно не было в живых, в комнатах жила любимая сестра Феня с племянниками**.

В конце 1946 года Л. Х. случайно познакомился с директором Грозненского отделения прикладной геофизики Государственного союзного геофизического треста***. Узнав, что перед ним опытнейший радист и радиоинженер, тот сходу пригласил его к себе на работу. «У нас, — говорил он, — абрикосы на земле валяются!».

Терять Хургесу было нечего: в Москве на асфальте в то голодное время не валялись даже окурки. И он поехал в Грозный — поднимать те абрикосы с той земли.

---

* Здесь может фигурировать только тюремно-лагерное дело Л. Х. В листах ксерокопии следственного дела, полученных А. Л. Макаренко из архива ФСБ, такой надписи, естественно, нет. В то же время в самой ксерокопии пропущено несколько страниц как раз в начале дела. А. И. Тепляков сообщил, что известны и другие примеры похожих записей — следователи подсказывали лагерным операм, стоит ли возиться с «зэка» для его вербовки. Так, Николай Клюев, арестованный в 1937 году в Томске, категорически отказался признать вину, из-за чего следователь записал в особой анкете в графе, отмечавшей целесообразность или нецелесообразность вербовки: «Ни в коем случае!» (см. *Пичурин Л. Ф.* Последние дни Николая Клюева. Томск, 1995. С. 88).

** Младший, Роман, вспоминал, как дядя Лева водил его в цирк на Цветном бульваре.

*** В 1950 году этот трест был реорганизован в Государственную Союзную Грозненскую Геофизическую контору Министерства нефтяной промышленности СССР, а в 1951 году реорганизован еще раз — в трест «Грознефтегеофизика».

На работу его зачислили с 10 января 1947 года — в Геофизическую лабораторию треста — сначала радиотехником, потом радиомастером в бригаде по ремонту сейсмоаппаратуры. Но пришла весна, и с апреля он уже на полевых должностях — радиомехаником или инженером-оператором в различных сейсмопартиях. Геофизика — наука полевая, так что и образ жизни у Л. Х. был перманентно полукочевой. Работали не только на бывших вайнахских землях, но и по всему Северному Кавказу*.

Но и кочуя по экспедициям, Л. Х. не забывал об оседлости: в 1948 году он познакомился с Лидией Алексеевной Макаренко, а в 1953 году у них родился сын Саша. Он стал вторым ребенком в семье: у Лидии была старшая дочь — Инна Александровна. Так Лев Хургес обзавелся настоящей семьей, а не эфирной.

В апреле 1953 года, то есть вскоре после смерти Сталина, Л. Х. обратился в Президиум Верховного Совета СССР с заявлением о снятии судимости. Ответ пришел спустя год: ему отказали. Причина стала понятна только теперь, когда в личном деле Хургеса можно прочесть заключение майора ГБ Пантелеева, утвержденное начальником управления ГБ по Грозненской области полковником Шмойловым. Пантелеев, видимо, набивший руку на подготовке повторных сроков, по инерции выводит ту же страшную словесную вязь:

«Из собранных материалов видно, что оставаясь на враждебных к Советской власти позициях, ХУРГЕС, будучи в заключении среди сокамерников высказывал враждебные Советскому строю троцкистские взгляды, клеветал на советскую действительность, руководителей Коммунистической партии и Советского Правительства. Высказывал пораженческие взгляды, а так же намерения после освобождения из заключения бежать за границу (том II отдельный пакет).

После отбытия наказания, работая в тресте «Грознефтегеофизика», ХУРГЕС среди работников сейсмической партии проводил разложенческую работу, заявлял рабочим о нереальности программы работ, дискредитировал руководящий состав, провоцировал рабочих на отказ от работы (том II отдельный пакет).

---

* Например, судя по фотографиям, в районе с. Бакрес в Левокумском районе Ставропольского края.

За последнее время ХУРГЕС среди рабочих сейсмической партии высказывает антисоветские-троцкистские взгляды, восхваляет Троцкого, клевещет на советскую действительность, руководителей КПСС и Советского Правительства (том II отдельный пакет)».

За такие грехи раньше запросто можно было схлопотать новую «баранку» (10 лет) или даже «четвертак» (25 лет), но в 1954 году ограничились вот чем:« в снятии судимости Хургесу Льву Лазаревичу — отказать»!

Но в июне 1956 года Л. Х. все же реабилитировали и выдали, наконец, на руки его орден Красной Звезды Из полученных за реабилитацию денег он купил своей любимой сестре сокровище — телевизор КВН.

В мае 1957 года Л. Х. довел до победного конца еще одно начатое дело — закончил Московский радиоинститут и защитил диплом, работу над которым начал незадолго до «командировки» в Испанию и воспоследовавшей «экскурсии» на Колыму. Тогда, в 1936-м, тема диплома звучала примерно так: «Радиофикация Дворца Советов», но до отъезда он успел только разработать конструкцию самоблокирующихся кнопок для зала заседаний для будущего Дворца Советов. Позднее он смеялся: «Я так и не спроектировал им радиоузел, но и они Дворец Советов так и не построили».

Оседло-кочевая жизнь продолжалась более 10 лет — до октября 1957 года, когда он перешел во ВНИИ геофизики и впервые оказался на инженерных должностях. В 1959 году его перевели в Грозненский филиал Конструкторского бюро автоматизации и телемеханики — теперь он уже стал дипломированным конструктором. В 1961 году — переход в Грозненский филиал НИПИ «Нефтехимавтомат», где Л. Х. сполна раскрылся как изобретатель. В частности, он изобрел прибор для автоматической регенерации катализатора — процесса выжига кокса. Позднее он разработал турботахометр — оригинальный телемеханический прибор, следящий за поведением долота в скважине и позволяющий гибко управлять бурением*, и предложил идею автоматического

---

* *Омельяненко В.* Авторское свидетельство // Грозненский рабочий. 1974. 6 января.

телемеханического управления всеми скважинами «Грознефти» и «Малгобекнефти»*.

В 1965 году Л. Х. официально вышел на пенсию, но продолжал работать, так что все его последующие службы — номинально временные. В 1966—1973 гг. Л. Х. делил свои подработки между Грозненским филиалом ВНИПИ комплексной автоматизации в нефтяной и газовой промышленности и Грозненским радиозаводом, где работал на ответственных инженерных и конструкторских должностях.

В 1973 году Л. Х. перевелся на нефтеперерабатывающий завод им. А. Шерипова, откуда уволился только 9 ноября 1987 года. Работа — ремонт приборов — была не слишком утомительной и пыльной. В конце 1970-х гг. пишущему эти строки доводилось не раз наведываться в Грозный и наблюдать, как дядя Лева кипуче изнывал на этой полупенсии без настоящего дела.

И тогда вдруг дело нашлось: воспоминания! Мемуары, на пару с садово-огородным участком, видимо, помогали ему бороться с образовавшимся интеллектуальным вакуумом. Писал он их точно так же, как и все делал в своей жизни, — весело и с разудалым романтическим огоньком…

Но 18 марта 1988 года дяди Левы не стало. Он умер в Грозном, в возрасте 78 лет. Умер от инсульта — практически мгновенно, хотя до этого долго болел.

Его новой, усыпанной абрикосами родине — Грозному — уже недолго оставалось жить в мире и спокойствии. Произошло то, что произошло, и в 1992 году его сын с семьей** спешно покинули этот красивый город.

Покочевав по северокавказским городам (Новочеркасск, Аксай), они обосновались в Краснодаре. Со временем, когда жизнь нашла свое русло и здесь, у Саши, сына Л. Х., руки дошли и до исписанных мелким отцовским почерком длинных листов, и до кассет с его голосом. Сын любит повторять об отце: «Вся его жизнь — пример того, как достойно выживать в СССР. Он не остался никому должен — вечная ему память!»

---

* См. в статье самого Л. Х.: Телемеханическое управление — всем промыслам // Грозненский рабочий. 1966. 9 октября.

** Жена, Л. А. Макаренко, умерла еще в 1980 году.

5

Не без некоторой гиперболизации

Воспоминания Льва Хургеса охватывают период с 1924 по 1946 годы, то есть всего лишь немногим более 20 лет, полных сменяющих друг друга передряг. Читая, невольно ловишь себя на мысли, что главный движитель судьбы автора — это фантастическое, просто бешеное везение: не было такой ситуации, из которой он бы, в конечном счете, не выходил «сухим».

Нет, он не игрок и не баловень, которому фартит всегда и везде, по-крупному и по пустякам. Сам он скромно списывал все это на молитву одной старой испанки из Сан-Педро-Алькантеры, приемную внучку которой, Пакиту, он однажды хотел удочерить. Этот «оберег» срабатывал, однако, только в экстремальных ситуациях, особенно в тех, где цена вопроса особенно велика, например: жизнь или смерть.

Но таких случаев на страницах его записок — десятки. Запросто мог он свалиться с обледенелой крыши, устанавливая кому-то антенну, или разбиться на испытаниях новой авиатехники, не говоря уже о смерти на «Максиме Горьком», избежать которой Хургесу помогло даже не везение, а чудо.

Сама дорога в Испанию — буквально на пороховом ящике — была отчаянно рискованной. Обошлось: доплыли*. В Малаге, то есть на самом южном плацдарме республиканцев, он жил под бомбами и пулями авиации мятежников и ни разу не был даже ранен. Он вовремя спохватился и тогда, когда шофер по-предательски едва не завез его на блокпост к фалангистам. И в миг перед сдачей Малаги, когда Киселев приказал своей команде садиться в машины и уезжать, он решил не подчиняться приказу и остаться со своим командиром на верную смерть.

Этот эпизод был, наверное, решающим для следующего осознания: «И впоследствии, когда мне приходилось близко сталкиваться с Костлявой, я всегда себе говорил: «Ты уже с ней встречался и остался человеком, останься им и сейчас!»

---

* Правда, и молодеческое хулиганство в Валенсии тоже сошло ему с рук: не пойман — не хулиган.

Львиная доля таких «случаев» досталась, конечно, ГУЛАГу, начиная с психоделических транс-сеансов в Полтавском карцере и шуровки в чреве парохода «Дальстрой». А на самой Колыме смерть и вовсе ходила за ним по пятам, не выпуская из костлявых пальцев привязанный к косе короткий поводок. Незабываемы такие яркие эпизоды, как битва со ссученным уркой-бригадиром Коломенским на прииске Скрытном, как месяц в мальдяковском РУРе или как бегство из ШИЗО в карантинный барак и др. Это тогда староста барака сказал ему: «...Если бы мне подобную ахинею рассказали на воле, я бы ни одному слову не поверил. Живи, Лева! Я тебя не видал...»

И Лева жил!

Но к одному только везению и природному оптимизму формула его жизни не сводится. В формулу эту вошли и завидное здоровье (от родителей), и наивная одержимость (от комсомола), и активная жизненная позиция (собственная наработка). Если возникала по жизни та или другая проблема — будь то проблема своевременного возвращения в Москву с курортов Кавказа, проблема шуровки в трюме «Дальстроя» (разговор с Аидом) или проблема выполнения плана по литью в Рыбинском лагере, — он не убегал от нее, а сразу же приступал к разрешению. И решение приходило — или спонтанно, по наитию, или в результате продумывания какой-то многоходовой комбинации, хотя бы и на грани фола (как, например, в случае выполнения плана по литью с помощью ворюг Сэмэна Лемэца). И только тогда — и ни секундой раньше — «подключалось» везение.

С самой молодости какая-то особая сила — а, может, тоже везение? — постоянно сталкивала Л. Х. с незабываемыми людьми и незаурядными личностями. Например, с Э. Кренкелем на заре радиолюбительства. Испания, как ни странно, оказалась скупее на встречи, если не считать мимолетных. И тут самой урожайной была, конечно, гулаговская часть — от Полтавы и до Рыбинска.

Л. Х. не слишком интересовался литературой, но вот список имен одних только писателей, встреченных им на их зэковском пути: Ю. Казарновский, В. Нарбут, И. Поступальский, В. Переверзев, А. Белинков. В то же время он честно не причисляет к числу

своих «знакомых», скажем, конструктора С. Королева, хотя и сидел с ним в одном лагере и в одно время.

Тут мы сталкиваемся с особенностями его памяти, а стало быть — в контексте жанра, к которому он обратился, — и с особенностями его поэтики.

Органически он не врет, но иногда, предаваясь восторгам или гневу, он — воспользуемся его же формулировкой — пишет «не без некоторой гиперболизации».

Надо сказать, что память у Л. Х. была великолепная. Он знал наизусть немало стихотворений, и даже прозу (что позволяло ему, если жизнь заставляла, и «тискать ро́маны» у блатных). Но великолепная — не значит безошибочная. Аберраций памяти у Хургеса, как и у всякого другого, хватает, и это совершенно естественно. Не так уж и важно, в «Знамени» или в «Новом мире» была напечатана повесть о героизме немецких моряков или в каком именно году прошла в тюрьме Всесоюзная перепись: в конце концов, саму эту неточность можно деликатно оговорить в комментарии. Куда важнее суть сообщения — о сближении Сталина и Гитлера или об атмосфере проведения переписи населения именно в тюрьме.

Очень важная межа проходит по тому, вспоминает ли Л. Х. то, что он видел сам, или подхватывает истории, услышанные от других.

В первом случае он ничего преднамеренно не искажал: чистой правдой оказываются самые невероятные истории (как, например, рассказ про «крестиков»). Уже названная «гиперболизация» — это то же, что взгляд на излагаемое событие через увеличительное стекло.

Во втором — самые вероятные и правдоподобные истории вполне могут оказаться и недостоверными, изъеденными полуправдой или ложью. Вины вспоминающего тут нет: а вот собеседники вполне могли себе позволить некоторую «концептуальность».

Назову лишь два таких случая: зэка Данишевский, один из добрых гениев Л. Х. , ни разу не рассказывал ему о том, как в свое время он и сам, служа в ОГПУ, был короток на расправу и на отправку в ГУЛАГ. Другой случай — летчик-ас Мартыщенко: он по-

ведал своему другу множество историй о своих летных заслугах и подвигах (даже о мифическим катапультировании, которое стало массово применяться только после войны), но ни слова — об истинной причине своей 10-летней отсидки*.

Естественно, что таких рассказов «с чужих слов» больше всего в колымских главах воспоминаний, отчего они и оставляют, по сравнению с другими, несколько менее убедительное впечатление.

Еще об особенностях поэтики Хургеса.

Первые две — из области лексикона: так, Сталина он почти не называет Сталиным, а все больше Джугашвили. В то же время «тюремщиками», вопреки стандарту, называет не тюремный персонал, а самих сидельцев. Этим он пытается отделить сидельцев-лагерников от сидельцев-тюрьзаковцев, то есть тех, у кого местом отбывание срока в приговоре значатся не исправительно-трудовые лагеря, а именно тюрьмы, то есть как раз его случай. Это обстоятельство не раз всплывало на Колыме, создавая ему дополнительные режимные сложности.

Другая немаловажная черта Хургеса-мемуариста — его колоссальный интерес к техническим подробностям всего и вся, с чем он сталкивался: к радиоприемникам, фотоаппаратам, самолетам, пароходам, зенитным установкам и даже — к козырькам на окнах в тюремных камерах и к колымским тачкам.

Можно только вообразить, какого классного изобретателя могла бы в лице Хургеса получить родина**, когда бы ни ее собственное — преступное с самых разных точек зрения — решение отправить тысячи своих граждан в Испанию. И вовсе не для того, «чтоб землю крестьянам в Гренаде отдать», а для создания коминтерновского геополитического плацдарма на западном краю Ев-

---

* Мартыщенко Михаил Гаврилович (1912—?), с 1931 в Красной армии, капитан (с 1942). Летчик-истребитель, в годы войны воевал в составе 5 истребительного авиаполка ВВС Краснознаменного Балтийского Флота. Сбил не 18, а всего 5 немецких самолетов, в т. ч. два — таранными ударами в июле и ноябре 1941. В апреле 1943 в воздушном бою он по ошибке сбил самолет летчика И. Творогова, приняв его Ла-5 за «Фокке-вульф» (они похожи). После этого был арестован и осужден. Реабилитирован в 1956.

** Его изобретательская деятельность в 1960-е и 1970-е — лишь слабый отголосок того изобретательского потенциала, который он в себе нес.

ропы и уничтожения троцкистского звена республиканцев (второе, несмотря на неудачу в первом, вполне удалось).

Нелегальность и авантюрность всей операции предопределили и тот абсурдный, на первый взгляд, режим секретности, с которой Л. Х. вербовали в Испанию, и ту спешку, с которой его туда отправляли. У парня украли молодость, любовь, семью и учебу: его безжалостно выдернули из института накануне защиты диплома, оторвали от горячо любимых родителей, которых он так больше никогда и не увидел, оторвали и от Зои Р., заставив его грубо пресечь отношения с ней — якобы ради нее же самой!

Между романтизмом советской Испании и соцреализмом советской Колымы — тысячи связующих нитей: взаимная слежка, взаимный страх доносительства, взаимные предательства, наконец, — налицо все признаки этого глобального бесчеловечного социума. И не удивительно, что сел Хургес по доносу своего непосредственного начальника Киселева-Креминга* — того самого, ради защиты которого он искренне был готов умереть и, не сомневайтесь, умер бы.

Нет, не промерзлая Колыма поломала жизнь Леве Хургесу, а солнечная Испания. Но не надо качать головой и журить советскую власть за то, что она так поступала со «своими», — «своих» у нее никогда не было и нет. И самый высший ее демократизм в том, что Колыма и Лубянка универсальны и общедоступны, что никто не вправе от них ни открещиваться, ни зарекаться.

И Лев Хургес, мой двоюродный дядька, не зарекался. Оказавшись там, где он оказался, он не только не пал духом, а мобилизовал всю свою молодую энергию, весь свой витальный инстинкт на то, чтобы выжить и вместе с тем оставаться человеком.

В рассказе «Красный Крест» Шаламов вскрыл и проклял самую суть царства блатарей в ГУЛАГе и на Колыме. На этом фоне героическим становится любое нормальное поведение (или, по выражению Н. Поболя: «человек все-таки не скотина, хотя в реальности такой скотской жизни никакая скотина не выдержит»).

---

* Любопытна фигура и второго инициатора дела Хургеса — Л. К. Бекренева (см. Приложение 1).

И Лев Хургес, повторим, выдержал этот натиск. Но мало того: выйдя на свободу, отдышавшись и переведя дух, спиною перестав чуять конвоира, он сразу же попытался отыграть все то в своей жизни, что еще не поздно было наверстать — честное имя, диплом, орден, работу, семью. Впрочем, честное имя, как и неукротимый оптимизм, были при нем всегда.

И только потом мой грозненский дядя Лева, говорун и рассказчик по натуре, бросился еще раз в совершенно чуждую ему стихию — в стихию письменного свидетельства. Бросился — и преуспел: читать его воспоминания не только интересно, но и легко, поскольку следы любимого им устного жанра и на письме невытравимы.

Приглашаю читателя к чтению воспоминаний Льва Хургеса, а сам все не могу оторваться от того озорного блеска, что так и вспыхивал в его молодых глазах всю его яркую жизнь.

Павел Полян

МОСКВА — ИСПАНИЯ — КОЛЫМА

ИЗ ЖИЗНИ РАДИСТА И ЗЭКА

ЕВРЕЙСКАЯ РОДОСЛОВНАЯ

Родословная по матери: Эдельманы из Долгиново. — Маевка и «Варшавянка». — А. А. Сольц. — Родословная по отцу: Хургесы из Минска. — Прадед Лейба и дед Мойша: портновская мастерская. — Отец Лазарь Хургес и переезд в Москву. — Его комиссарство у М. В. Фрунзе. — Портфель с казенными деньгами. — Троцкистский митинг на Никитской.

1

Несколько слов о моей «родословной». Чистотой «социального происхождения» моя семья не блистала, хотя некоторые «революционные заслуги» у нас тоже имелись.

Начну со стороны матери. Мать — Александра Матвеевна (Хася Мордуховна), урожденная Эдельман. Родилась и до замужества жила в местечке Долгиново Виленской губернии Виленской волости. Была она весьма симпатичной внешности. В ранней молодости за ней ухаживал какой-то приезжавший в Долгиново студент. Он и затащил ее однажды на «маевку», организованную в честь празднования 1-го мая (задолго до 1905 года).

На маевке собралась молодежь, пели песни (голос и слух у мамы были отменные) — и не только народные, но и крамольные. Но нашелся, видимо, провокатор, и на маевку нагрянули незваные гости — стражники с нагайками. Арестовать никого не арестовали, но во время пения «Варшавянки» какой-то особо ретивый стражник исполосовал мою будущую мать по спине нагайкой — да так, что рассек ей кофту и оставил на всю жизнь огромный шрам. На этом мамина революционная деятельность завершилась. И хотя революционные песни и, особенно, «Варшавянку», она пела всегда и очень охотно, но всегда вздрагивала при этом от нахлынувших ассоциаций.

Чтобы помочь отцу прокормить троих детей, она всю жизнь не гнушалась никакой работой, вплоть до вытряхива-

ния и стирки порожних мешков из-под муки. Умерла она во время эвакуации в 1942 году на станции Сулея Челябинской области*. Хоронили ее буквально «на ходу», так что ни могилки, ни тем более памятника нет.

Известный старый большевик Арон Александрович Сольц, друг Ленина и участник почти всех партийных съездов, приходился матери не то двоюродным, не то троюродным братом. Его даже Джугашвили не тронул и после смерти в 1945 году похоронил у Кремлевской стены. Правда, этим «блатом» мама воспользовалась лишь однажды — в 1937 году, сразу после случившихся со мной «неприятностей»**.

Сольц, тогда прокурор РСФСР, сразу же ее принял, но в кабинете разговаривать не стал, а повел на расположенный рядом бульвар. Когда мама рассказала ему суть дела, он ответил ей примерно так: «Саша, если Лева не круглый идиот, он не станет хвастаться родством со мною. Одно упоминание моего имени, и его дело раздуют черт знает во что, и тогда ему верная пуля. К Сталину я могу попасть и могу ему все это рассказать, но из его кабинета я выйду уже под конвоем, а дальше ты уже сама понимаешь, что будет и мне, и Леве. Но я, Саша, коммунист: одно твое слово — и я пойду к Сталину». Этого «слова» мама не сказала, а я вот еще жив и могу, спустя более чем сорок лет, писать эти строки.

---

* Поселок городского типа на границе с Башкирской АССР.

** Сольц Арон Александрович (1872—1945) — советский государственный и партийный деятель, юрист и журналист. В революционном движении с 1895, член партии с 1898, участник трех российских революций. В 1912 бежавший из Нарыма Сталин скрывался у него в Петербурге от полиции. С 1921 — член Верховного суда РСФСР и СССР. В 1920—1934 гг. — член ЦК ВКП(б), член Интернациональной контрольной комиссии Коминтерна. В 1930-е работал в Прокуратуре СССР и РСФСР. Инспектируя деятельность судов и тюрем, а также во время партийных чисток многократно инициировал пересмотры дел, за что его называли «совестью партии». Известно его заступничество за В. А. Трифонова, арестованного в 1937 году. В октябре 1937 публично обвинил А. Я. Вышинского в фальсификации дел, а в феврале 1938, после голодовки, объявленной им в знак протеста против репрессий, Сольц был уволен из прокуратуры и помещен в психиатрическую больницу.

Сведения о предках со стороны отца более обширны.

Во-первых, весьма загадочно происхождение самой фамилии Хургес. Никаких корней в иврите она не имеет. Откуда появились мои предки в России, я не знаю, но во всяком случае, мне доподлинно известно, что мой прадед Лейба Хургес (в честь которого я назван) уже родился и жил в Минске, где имел портновскую мастерскую, которую унаследовал мой дед Мойша Хургес.

С произношением своей фамилии мне пришлось в России немало намучиться. Никто не мог повторить ее с первого раза правильно, ни говоря о том чтобы записать. Искажения бывали всевозможные, вплоть до нецензурных. Но как только я попал в Испанию, всякие казусы исчезли: любой испанец сходу произносил и записывал мою фамилию совершенно верно, причем никто из них не верил, что это моя истинная фамилия, все считали, что это кличка, данная в Москве специально для поездки в Испанию. Правда, никто из них не мог и расшифровать ее «испанский» смысл, да и в испанских словарях мы также не могли найти ничего подходящего, но кто-то как-то объяснил мне, что «Хургес» слово не испанское, а древнемавританское и обозначает «пасынок». На этом и сошлись, и некоторые из наших в Испании называли меня для простоты Пасынком.

Но вернемся к деду: он унаследовал от своего отца мастерскую и стал в Минске военным портным. Дела у него, видимо, шли неплохо. Мастер он был отличный, так что даже сам генерал-губернатор Минской губернии шил свои мундиры только у деда. Надо полагать, дед не брезговал и наемным трудом, тем более что в те домарксовские времена сие не считалось зазорным. В самом начале века и в самом центре Минска на Соборной площади он выстроил себе двухэтажный дом (внизу мастерская, наверху жилье), где и жил со всей семьей до самой своей смерти в 1916 году (на 83-м году жизни).

Было у него трое сыновей и две дочери. Старшим из сыновей был мой отец — Лазарь Моисеевич. Он не унаследовал ни талантов, ни трудолюбия деда и в молодости проявлял склонность к бродяжничеству (по-видимому, перешедшую

и ко мне). Окончив четырехклассную прогимназию, отец пополнил собой ряды еврейских коммивояжеров, столь талантливо описанных Шолом-Алейхемом. В одном из своих вояжей мой будущий отец познакомился с моей будущей матерью, женился на ней и увез с собой в Минск. Но мама не ужилась со свекровью, и молодые решили уехать в Москву, где для их будущих детей была бы возможность получить образование (о чем сами они могли только мечтать!).

Но в царское время евреям в Москве жить не разрешалось — существовала черта оседлости*, и для проживания в Москве требовалось так называемое «право жительства». Это право имели лишь немногие категории евреев, но ни к одной из них мой отец не относился.

Но в Москве тем не менее он все-таки оказался! Его двоюродный брат — Ефим Исакович Хургес — делал большие дела на бирже и был очень богатым человеком. Он уже давно жил в Москве и где-то в Дегтярном переулке на Тверской был его 6-этажный дом со всеми удобствами вплоть до балконов в каждой квартире и внутреннего телефона.

Поступил Ефим Исакович так: он купил на имя моего отца «вторую гильдию» купеческого звания и открыл ему фиктивное «дело», под которое можно было получать крупные ссуды в банках. Таким образом обе стороны были довольны: дядька получал на отцовское имя дополнительные ссуды в банках и вел свои гешефты на бирже, а отец, получая от дядьки «жалованье», приобрел право жительства в Москве и «солидное положение» купца. Отныне он мог надеяться, что его дети смогут учиться. Правда, отец всегда ходил под дамокловым мечом долговой тюрьмы, ведь деньги-то в банках брались на его имя, а пользовался ими дядька, и если бы дядька сильно прогорел на своих биржевых гешефтах и не смог вовремя погасить задолженность, то в долговую тюрьму забрали бы не

---

* Территория, вне которой в царской России воспрещалось свободное и постоянное проживание евреев. Как государственный институт черта оседлости просуществовала более века с четвертью — между 23 декабря 1791 и 15 марта 1917 года. В переносном смысле это понятие стало синонимом политики государственного антисемитизма в России, в особенности во 2-й половине XIX в.

его, а отца. Но дядька вел свои дела аккуратно, и за все время у отца никаких неприятностей с кредитами не возникало.

Помимо подставных «купеческих» дел, отец занимался еще и небольшими маклерскими операциями, так что время от времени и ему копейка перепадала. Жить было, конечно, трудно, ведь нас, детей, было уже трое и все малыши, но сработала хозяйственная сметка матери. В самом центре Москвы (около Лубянской площади) она сняла квартиру из пяти комнат, две из которых занимали мы; три других она сдавала холостым приказчикам (так называли тогда продавцов в магазинах) или зажиточным студентам. Сдавала с полным пансионом, а готовила она очень хорошо и всегда угождала своим квартирантам. Таким образом мама полностью окупала квартиру и наше пропитание, а отцовы заработки шли на одежду и прочее. Так мы и жили до революции.

Не помню, по мобилизации или добровольно, но отца взяли в Красную Армию, в штаб армии М. В. Фрунзе. Молодой, с хозяйственными задатками человек полюбился командарму и за очень короткое время сделал блестящую карьеру — от простого красноармейца до уполномоченного комиссара по снабжению армии, в чем ему был выдан соответствующий «мандат». Он представлял из себя целое литературное произведение, скрепленное висящей на шнурке сургучной печатью: в нем перечислялись все чрезвычайные права обладателя мандата, а также перечень лиц (преимущественно железнодорожного персонала), которых отец имел право в случае обнаружения «контрреволюционного саботажа» расстреливать на месте «без суда и следствия» (право, к которому отец ни разу не прибегал). И много лет спустя после окончания Гражданской, в самые трудные моменты, этот мандат бережно извлекался и, как правило, оказывал чудесное воздействие на должностных лиц, пытавшихся «прижать» нашу семью.

Отец был человеком с весьма незаурядным характером, по своим убеждениям он ближе всего был к анархистам. Он, например, не признавал никакой форменной одежды. В штабе Фрунзе отец ходил или в штатском, или в вошедшей тогда в моду кожаной куртке. Даже наган он носил только

в кармане. Единственной «форменной» принадлежностью его была красноармейская звездочка на околыше фуражки. Да и к другим проявлениям воинской дисциплины он относился с явной насмешкой. Как ему все это сходило с рук — до сих пор удивляюсь.

Никогда не забуду, когда я уже взрослым в 1934 году поступил бортрадистом в ГВФ, а форму там в те времена носили полностью морскую (китель, брюки, шинель, фуражку и пр.), только вместо якорей повсюду были «крылышки». И вот пошили мне полную форму с иголочки. Весь сияя золотом, явился я в таком виде в первый раз домой. Мама аж ахнула от радости: в те времена с одеждой было очень плохо (несмотря на то что к тому времени я уже работал более семи лет, своего костюма у меня не было, и я донашивал отцовы обноски), а тут все из лучшего сукна, да еще и сшито на заказ! Мама закричала отцу: «Смотри Лазарь, какую Леве шикарную форму выдали!». Отец подошел, осмотрел и внушительно хмыкнул: «Ну что ж, раньше он был простым дураком, а теперь стал форменным!»

Подозреваю, что и в Красную Армию отец вступил не по идейным соображениям, а из упрямства и противоречия. Все его бывшие коллеги по купеческому званию хором предсказывали падение большевиков через месяц после Октябрьской революции, да и с началом Гражданской войны оценивали шансы на победу Советов не более чем один к ста. Многие из его старых знакомых при случайных встречах намекали ему на то, что Деникин (Колчак, Юденич и т. д.) скоро возьмет Москву, и тогда всех «жидов-комиссаров» будут вешать на фонарных столбах. Единственной реакцией отца на такие предупреждения было вступление в 1918 году в партию большевиков (тогда это было не очень сложно, тем более что сам факт пребывания человека в действующей армии уже являлся достаточной «рекомендацией» для вступления в партию). Свои комиссарские обязанности отец выполнял неплохо, в этой должности Фрунзе продержал отца до самого конца войны.

О честности отца свидетельствует такой факт: в самый разгар голода в Москве я заболел крупозным двусторонним

воспалением легких. Несмотря ни на что, я переборол эту болезнь, но после кризиса так ослаб, что мог выжить только при усиленном питании. Необходимые полпуда белой муки и пять фунтов сливочного масла стоили, по спекулятивным рыночным ценам, столько, что, и продай мать все наше имущество, денег не хватило бы и на пятую часть покупки этих продуктов. Таких продуктов для госпиталей у отца проходило за месяц по несколько эшелонов, но сделать он ничего не мог. Малейшее хищение каралось расстрелом, и даже Фрунзе не волен был распорядиться о выделении из госпитального фонда продуктов для лечения больного сына.

Выручил брат моего дворового друга Вити Михина — Михаил: бывший балтийский матрос, он служил в ЧК, в так называемом заградотряде, изымавшем у спекулянтов продукты, привозимые ими в Москву с целью наживы. Видимо, «строгость» у заградовцев была полегче, и как-то вечером Миша зашел к нам, для порядка обматерил отсутствовавшего отца, из-под полы бушлата вытащил небольшой мешочек с мукой и скатанный в шар кусок сливочного масла и, велев растерявшейся матери держать язык за зубами, тут же, не дожидаясь благодарности, ушел. Вот так я остался в живых, хоть и без помощи отца.

Когда закончилась Гражданская война и был провозглашен НЭП, отец сразу же подал рапорт о демобилизации из армии и заявление о выходе из партии, мотивируя это несогласием с политикой НЭПа. Тогда многие коммунисты, особенно военные, подавали такие заявления, так как считали НЭП возвратом к капитализму. Но отцом, как я считаю, руководили не столько идейные причины, сколько практические: при вступлении в партию он наверняка скрыл, что до революции был «купцом», да еще и 1-й гильдии. И, хотя «купечество» отца было чисто фиктивным, никакая комиссия по чистке партии не поверила бы ему и при первой же «чистке» отца бы с треском выгнали из партии. Он это прекрасно понимал и решил предупредить такие события.

По рассказу отца, сам Фрунзе был очень удивлен таким решением и даже вызывал его для личной беседы. Но отец,

не называя истинных причин своего решения, все же настоял на своем. С тех пор отец, как бы трудно ему ни приходилось, по своим личным вопросам никогда за помощью к Фрунзе старался не обращаться, хотя вполне вероятно, что тот ему не отказал бы.

Но все же пришлось отцу один раз к Фрунзе обратиться, правда, не для себя, а по несколько необычному вопросу. Это было в 1925 году, когда советский червонец — 10 рублей, ценился на «черной бирже» наравне с царской золотой десяткой. Отец в те времена работал в какой-то организации кассиром. Как-то в субботу он приехал домой позже обычного и сразу же лег спать. На следующее утро, часов в семь, меня разбудил стук в дверь. Открываю, стоит человек, лет около тридцати, очень бедно одетый: брюки с заплатами на коленях, ботинки чуть ли не веревочками подвязаны, лицо худое, одним словом типичный безработный, которых в те времена в Москве было десятки тысяч. Человек этот держит в руке портфель и спрашивает отца. На мой ответ, что отец спит, он заявляет, что у него к отцу очень срочное дело, и настойчиво просит разбудить отца. Я впустил его в комнату и разбудил отца. Молодой человек спросил у него: «Вы Лазарь Моисеевич Хургес?» и, после утвердительного ответа, осведомился, не ехал ли он накануне поздно вечером в трамвае № 19 и не забыл ли он в трамвае что-либо? Отец сразу же изменился в лице: оказалось, что отец вчера получил в банке деньги — 8 тысяч рублей для выдачи зарплаты (по тем временам громадная сумма, за утрату которой могли дать если не «вышку», то уж во всяком случае самый большой в те времена срок заключения — 10 лет), и ввиду позднего времени и ненадежности сейфа на работе решил нерозданную часть денег (тысяч 5 или 6) взять домой. В расстройстве чувств он забыл портфель с деньгами на скамейке трамвая, где его и подобрал пришедший к нам человек. По документам он нашел наш адрес и с самого утра принес портфель к нам. Отец и мать расплакались: не сделай он этого, отца могли бы и расстрелять. Растроганный отец обнял молодого человека и сказал ему: «Ну, как я могу вас отбла-

годарить? Ведь деньги-то не мои, а казенные!» Тот ответил: «Знаю, это я сразу же понял по документам, оттого и принес портфель вам. Если бы деньги были ваши личные, то я, возможно, часть прикарманил бы».

Оказалось, что этот человек уже почти два года безработный. У него больная жена и двое маленьких детей. Дома ничего нет, все, что можно было, уже давно продали на еду детям и лекарства жене, да и сам он находится почти на грани истощения. Когда отец с матерью услышали этот страшный рассказ, то от удивления и восхищения этим человеком, они даже уже и плакать не могли. Ведь нельзя себе и представить такую кристальную честность: больная жена, мать двух голодных детей, сама посылает неудачника мужа вернуть совершенно им незнакомым людям сумму денег, на которую они всей семьей могли бы жить безбедно много лет! Не знаю, хватило бы у меня, в его положении, силы поступить так же, но если я впоследствии не делал тех пакостей и подлостей, которые мог бы делать с большой для себя пользой, то отчасти потому, что перед моими глазами всегда стоял этот нищий истощенный человек, совершивший такой невероятный по благородству поступок.

Когда все немного улеглось, отец спросил у молодого человека, чем бы он мог ему помочь, и предложил полагающуюся ему за месяц зарплату. Но тот отодвинул деньги: «У вас есть и свои не очень сытые рты. Этих денег я у вас взять не могу. Если можете, помогите мне как-нибудь устроиться на работу. Я бухгалтер, и неплохой, но пойду хоть грузчиком, хоть дворником, лишь бы жена и дети не умирали с голода». Мать поднялась и твердо сказала: «Лазарь, ты должен пойти к Фрунзе. Если он действительно такой, как ты о нем рассказывал, то он поможет этому человеку». Отец пошел к Фрунзе, и уже через несколько дней парень работал счетоводом на каком-то предприятии…

Теперь, пожалуй, в качестве анекдота, можно рассказать, как мой отец пострадал за «генеральную линию партии». У отца совершенно износилось пальто. В те времена продукты стоили дешево, а одежда очень дорого — сильно

«разошлись» так называемые «ножницы Троцкого»*. Так, пара хромовых сапог шла в одну цену с коровой, так что покупка пальто для отца, на зарплату которого в 75—80 рублей в месяц жила семья из пяти человек, была проблемой почти неразрешимой. Короче говоря, год-два строжайшей экономии на всем, чем только можно, и отец щеголяет в новом «бобриковом»** пальто (сейчас из такого материала делают только самую грубую спецодежду).

А дело было в 1926 году, в самый разгар троцкистской оппозиции. Троцкисты тогда в Москве развернули кипучую деятельность: например, известная брошюра Троцкого «Уроки Октября»*** раздавалась троцкистскими функционерами на улицах Москвы бесплатно, всем желающим. И вот как-то непогожим осенним днем является отец домой без шапки, весь в синяках, прихрамывая, одна рука на перевязи, а от нового пальто остались одни клочья. Оказалось, что, проходя по бывшей Никитской улице (ныне улица Герцена), он случайно попал на троцкисткий митинг в садике около Консерватории. Дернул же его черт подойти послушать, о чем они там говорят! Кто-то из троцкистских активистов встречал отца в штабе Фрунзе и заорал во всю глотку, указывая на отца: «Я его знаю! Это чекистский шпион, лазутчик Фрунзе! Бейте его!» Этого оказалось достаточно, чтобы отца повалили в грязь и начали избивать. Когда его вызволила прибывшая с некоторым опозданием милиция, отец уже был в состоянии, в котором и появился дома. После этого инцидента пришлось отцу надеть старое пальто, а оппозиционные митинги он уже больше не посещал.

Умер отец от воспаления легких в 1938 году в Москве.

---

* Имеется в виду диспропорция в продажной стоимости сельскохозяйственных и промышленных товаров.

** Тяжелая и толстая шерстяная ткань с начесаным стоячим ворсом.

*** Брошюра Л. Троцкого «Уроки Октября» вышла в 1924. В 1926 Троцкий был уже выведен из состава Политбюро ЦК ВКП(б). В 1927 исключен из партии.

МОСКОВСКАЯ ЮНОСТЬ

Начало радиолюбительской деятельности. — Биржа труда и «Профрадио». — Установка антенн на крышах. — Э. Т. Кренкель. — Центральная секция коротких волн Общества друзей радио и первый позывной. — Сердечный припадок Г. А. Левина. — На механическом заводе: горизонтальная подача фрезы. — Радиозавод им. Красина: художественное метание ножей в дверь. — Радиозавод «Мосэлектрик». — Радиостанции Замоскворецкой секции любителей коротких волн и Центрального дома Красной Армии им. М. В. Фрунзе. — Радиоигры ОГПУ. — Поступление в Институт связи. — Подвиг «Сибирякова». — Предложение Кренкеля и Шмидта плыть на «Челюскине». — Предложение Мутных ехать на Кавказ в Азау. — Валя Бабкина. — Азау. — «Кругозор» и Витя Корзун. — «Кавалерийский полк металлистов». — Верхом в Теченекли и обратно. — Кавказские Минеральные Воды. — Возвращение в Москву.

1

Мне исполнилось 14 лет, когда в СССР началось бурное развитие радиолюбительства. Это увлечение охватывало людей разного возраста и разных профессий. Пожилой бухгалтер, почтенный отец семейства, после трудового дня с увлечением собирал в радиокружке детекторный приемник, страстно защищая особенности своей конструкции перед серьезнейшим оппонентом — двенадцатилетним пионером.

С благодарностью вспоминаю нашего школьного учителя физики К. Ф. Розова, воспитавшего во мне интерес к радиолюбительству. Он умел в доступной форме объяснять многие сложные явления в радиотехнике и провел с нами не один вечер после занятий.

Самой сложной проблемой были радиодетали: сколько раз мне приходилось топать пешком от Маросейки до Даниловского рынка (это из школы домой примерно 5—6 км),

чтобы на эти сэкономленные трамвайные деньги купить на Петровке, в магазине ловкого радиодельца Шаурова, кристалл галенита для детектора. Но чтобы доделать детекторный приемник, нужно было достать телефонный наушник. Эту покупку мог себе позволить только очень состоятельный человек, ибо пара радионаушников в магазине Шаурова (да и в государственной «Радиопередаче») стоила примерно как корова. Даже за несколько лет хождения пешком я не смог бы накопить на наушники. Эта проблема стояла не только передо мной. Единственным источником снабжения незаможных* радиолюбителей телефонными трубками служили телефоны-автоматы. Недаром досужие куплетисты того времени пели: «Стали наши жители радиолюбители, — без ножа зарезали, телефон отрезали!» Не помогали ни цепи, которыми телефонные трубки автоматов приковывались к стене, ни усиленная охрана помещений с телефонами — радиолюбители шли на все, но трубки добывали. В конце концов трубка оказалась и у меня — это стоило мне всего нескольких минут страха. Зато когда в собственноручно изготовленном приемнике я впервые услышал голос диктора радиостанции имени Коминтерна, выбор был сделан окончательно и бесповоротно: никакой другой специальности, кроме радиотехники, для меня уже не существовало.

Нужны были радиодетали: провода, конденсаторы и прочее, — и чтобы заработать денег на них, после занятий я аккомпанирую в школе на рояле бальные танцы (тут мои клиенты — старшеклассники эксплуатировали меня нещадно: за пять часов почти непрерывной игры я получал пятьдесят копеек). Иногда рисовал на Ильинском бульваре портреты случайных клиентов по двадцать копеек штука. Правда, этот бизнес однажды кончился для меня плачевно: рисуя очередной портрет, вдруг чувствую, что чья-то знакомая рука поднимает меня за уши, оборачиваюсь — отец. Досталось мне крепко, но на конденсатор переменной емкости заработать на портретах все же удалось.

---

* Украинизм; здесь — бедных, несостоятельных.

Тогдашняя система образования предусматривала после окончания «общего» семилетнего образования последующее двухлетнее обучение на так называемых «спецкурсах», где, наряду с общеобразовательными предметами по курсу девятилетки, преподавали и трудовые специальности.

По окончании в 1925 году школы-семилетки, я поступил на спецкурсы связи — несмотря на то что на занятия приходилось ехать на трамвае чуть ли не через весь город. Тайком от родителей и безо всякого оформления, я ходил по утрам, до школы, работать к частному хозяину, в одну липовую мыловаренную артель, где с 8 до 12 часов, за 50 копеек в день, заворачивал в этикетки туалетное мыло. Ничего, что брюки с бахромой, что ботинки просят каши и что рубашка в заплатах, — зато я смог купить радиолампу-«микрушку» и даже репродуктор-«лилипут»*.

На домашнюю учебу времени оставалось совсем мало, преимущественно с 8 до 11 вечера, после 11 надо слушать дальние радиостанции. Наконец, школа окончена. Получил свидетельство об окончании средней школы (девятилетки) и квалификацию телеграфиста по аппаратам «Клопфер» и «Юз». Надо сказать, что знания на спецкурсах мы получили весьма основательные: прилично изучили элементарную электротехнику, принимали на слух и передавали на ключе по азбуке Морзе до 100 знаков в минуту.

В общем мы могли смело пополнить собой многочисленные ряды безработных подростков на бирже труда в Рахмановском переулке (так называемый «Рахмановский траст»), что и сделали немедленно по окончании школы.

Для современной молодежи само слово безработица звучит совершенно отвлеченно, как бы взятым напрокат из газетной рубрики «Зарубежная жизнь». Для моего и более старших поколений безработица было реальным фактом. Громадный двор биржи труда, где безо всяких надежд на получение какой-либо работы слонялись сотни и сотни здоровых и не очень здоровых людей, живущих либо на скудное

---

* Малогабаритные радиодетали.

(рублей 15 в месяц) пособие по безработице, либо отрывающих от своих детей и ближних часть зарплаты работающего члена семьи. Надо было видеть, что творилось, когда на дворе биржи появлялся экспедитор с железной дороги, чтобы взять на срочную разгрузку вагонов несколько десятков человек: никакими силами невозможно было навести хоть какое-либо подобие порядка. Люди, озверев, давили друг друга, лишь бы попасть в бригаду счастливчиков, получивших на пару дней тяжелую физическую работу.

Зачастую после такого набора «скорая помощь» забирала почти такое же количество людей, пострадавших в свалке. Для молодежи положение было и вовсе безвыходным: шансов на получение работы у нас совсем не было. Участвовать в свалках мы не могли, да нас и не взяли бы грузчиками, но и мозолить своим унылым видом глаза родным дома тоже не хотелось, вот мы и ходили на эту проклятую биржу со слабой надеждой на какую-нибудь счастливую сверхслучайность. В первую очередь на работу направляли членов профсоюза (их на бирже труда было множество). Получался порочный круг: членами профсоюза мы быть не могли, потому что до этого нигде по найму не работали, а на работу нас не направляли, потому что мы не были членами профсоюза. Была, правда, так называемая «броня подростков» (то есть на работу в качестве учеников брали вне очереди некоторый процент подростков), но она была ничтожно мала и распределялась по каким-то особым каналам, поэтому рассчитывать на нее не приходилось.

Лично меня выручило умение рисовать. Как-то, сидя во дворе биржи труда, я от нечего делать вспомнил старую работу (которой уже сейчас заниматься нельзя было, ибо милиция безжалостно гоняла с бульваров всех таких «холодных художников»*) и принялся рисовать портрет одного знакомого по бирже. Кругом собрались любопытные, и один из них, оказавшийся работником групкома пищевиков, увидав, что портрет получился весьма похожим на оригинал, попросил меня помочь оформить стенгазету в групкоме, за что

* То есть работающих на улице.

отблагодарил несколькими талонами на обед в столовой. Стал я в этот групком захаживать уже на правах внештатного художника, рисовать плакаты, писать лозунги. Нашлись там добрые люди и помогли мне устроиться учеником в одно мелкое пищевое предприятие (где контроль за наймом рабочей силы был не так строг, как на крупных предприятиях). Зарплата конечно была небольшая, 30 рублей в месяц, но самое важное, что учеников принимали в профсоюз. Вскоре я был из этого предприятия уволен по «сокращению штатов», но как член профсоюза, да еще и имеющий квалификацию связиста, я попал уже на более «аристократическую» биржу труда работников связи на Каланчевской (ныне Комсомольской) площади. (Нечленов профсоюза, хотя бы и имеющих рабочие специальности, записывали только на биржу труда чернорабочих в Рахмановском переулке.)

С этой биржи труда уже изредка посылали на временную работу в так называемые «коллективы безработных» — специальные предприятия, где брали на работу безработных монтеров-связистов, сроком на 6 месяцев, после чего увольняли и заново брали с биржи следующих «очередных». Через некоторое время и я попал в коллектив безработных «Профрадио». Эта организация вела работы по проводке радиотрансляционных линий, имела небольшой механический завод и несколько радиоремонтных мастерских.

Узнав, что я заядлый радиолюбитель, меня поставили на работу, от которой каждый уважающий себя монтер открещивался как черт от ладана, — на установку антенн частным заказчикам. Работа не из легких и безопасных. В любое время года я обязан был, совершенно один, устанавливать на коньках железных крыш (а старые московские дома, как правило, не имели ограждений по краям крыш) мачты длиной до 9 аршин (более 6 м) из тяжелой, большей частью сырой древесины, сечением 50 на 50 мм. Обычно клиенты считали, что каждый лишний вершок антенны существенно улучшит условия радиоприема, и старались к «законным» девяти аршинам прибавить «хоть аршинчик» (тем более, что материал для антенных мачт обеспечивался заказчиком). Ссориться с клиентом

не имело смысла, ибо тогда еще действовал принцип: покупатель всегда прав; контора наша в таком споре всегда бы приняла сторону клиента, а для меня наверняка пропали бы возможные чаевые, составлявшие весомую прибавку к зарплате.

Особенно тяжело было зимой: московские морозы превращали обычные плоскогубцы и оттяжечный провод в раскаленный металл, а в перчатках не очень-то много наработаешь. Норма — две установки в день и почти всегда в разных районах Москвы (а ведь о метро тогда даже и не мечтали). Как ни спеши, а меньше четырех часов на антенну не уходило, приходилось прихватывать и темное время. Мороз крепчал, все коченело, особенно руки. Спасибо, что в те времена газовое отопление в Москве было еще редкостью, топили печки. Использовал я и многолетний опыт монтеров-телефонистов — греться в дымовых трубах: залезешь с руками и головой в такую трубу, а оттуда приятная теплота, правда, в отличие от камина, немного мешает дым, но единственный орган, на который он влияет, — глаза, можно и закрыть. Конечно не так комфортабельно, как в номере «Метрополя», но все же немного согреться можно.

Кончишь работу, спустишься с крыши в квартиру, глянешь в зеркало, и самому смешно: глядит на тебя этакая черномазая физиономия, только зубы и белки глаз виднеются. Но все же я был счастлив: уже не нахлебник дома, можно и в кино сходить, а главное — работаю по любимой специальности. Правда, над головой висит угроза неизбежного увольнения через 6 месяцев, и этот срок все время приближается, а потом опять биржа труда, но об этом я старался меньше думать и еще утешал себя тем, что теперь я уже работавший член профсоюза и имею право на пособие по безработице в размере 15 рублей в месяц.

«Клиенты» попадались самые разные — от нэпманов до академиков. Принимали тоже по-разному: некоторые (особенно из «скороспелых» богачей) заведомо считали за жулика и специально приставляли домработницу, которая неотступно следовала за мною, пока я работал в квартире. Другие же наоборот были слишком доверчивыми и даже легковерными.

2

И вот однажды мне повезло: прихожу вечером в контору и получаю наряд на установку антенны у приехавшего с зимовки на Земле Франца-Иосифа и тогда еще малоизвестного полярного радиста Кренкеля (он страдал головокружением и работать на высоте не мог)*. Договорились мы с ним на воскресенье. Прихожу (жил он на Машковой улице около Лялина переулка) и стучу в дверь его комнаты. Услыхав «Войдите», открываю и буквально застываю на пороге от удивления. Такого обилия и разнообразия радиодеталей я до сих пор еще не видывал: конденсаторы, радиолампы, катушки индуктивности, сопротивления буквально разбросаны на столе и даже на полу. Пока я завороженно любовался видом этих сокровищ, хозяин, усевшись на своей раскладушке, налил себе в стакан какую-то бесцветную жидкость из стоявшего на табуретке графина. Выпив, произнес: «Полярная привычка», причем было непонятно, одобряет он или осуждает эту «привычку» (мне все же показалось, что второе), а узнав, что мне еще нет и 18, коротко сказал: «Рано».

С работой я управился быстро: мачты были легкие — бамбуковые, сама антенна, нужной длины, уже отмерена и разбита изоляторами. Несмотря на 20-градусный мороз, пока я возился на крыше, Кренкель сидел в матросском бушлате у слухового окна и курил трубку. Я спустился вниз, и мы разговорились. Тут я впервые узнал, что существует международная организация радиолюбителей-коротковолновиков и что на самодельном коротковолновом передатчике, потребляющем электрическую мощность меньше настольной лампы, можно осуществить двухстороннюю радиосвязь на очень большие расстояния. Распростившись с любезным хозяином, я ушел домой, окрыленный надеждой стать радистом-коротковолновиком. При этом мой рабочий чемо-

---

* Кренкель Эрнест Теодорович (1903—1971), полярник-радист. Участник экспедиций на ледоколе «Георгий Седов» (1929), на дирижабле «Граф Цеппелин» (1931), судах «Сибиряков» (1932), «Челюскин» (1933—1934), а также первой дрейфующей станции «Северный полюс-1» (1937—1938). Герой Советского Союза (1938).

данчик пополнился такими радиодеталями, о покупке которых я не мог и мечтать.

На другой день, сразу же после работы, я поспешил на Ипатьевский переулок, где в то время находилась радиостанция ЦСКВ (Центральная секция коротких волн Общества друзей радио — ОДР*), где Кренкель, мой коротковолновый крестный отец, посвятил меня в рыцари коротковолновиков и, предварительно проверив мое знание азбуки Морзе, выдал позывной наблюдателя-коротковолновика: РК-2793.

Вскоре моя карьера монтера-антеннщика преждевременно оборвалась. Однажды я работал на крыше дома, в котором находилась и наша контора (Никольская, 3). При этом мне пришлось прогуляться по карнизу крыши, за водосточным желобом, примерно на уровне четвертого этажа. Чувство головокружения мне в те времена было незнакомо, и подобные «прогулки» я совершал уже неоднократно, не видя в них ничего предосудительного. К сожалению, управляющий нашей конторой Г. А. Левин**, оказавшийся случайным свидетелем «прогулки», отреагировал на нее сердечным приступом и приказом о моем досрочном увольнении за грубое нарушение техники безопасности. Но если бы я их скрупулезно выполнял, то не сумел бы заработать себе даже на черный хлеб! С превеликим трудом удалось разжалобить начальство: меня не уволили, но запретили приближаться к монтерским работам на пушечный выстрел.

В результате я впервые в жизни попал на механический завод в качестве работника «куда пошлют». Технический уровень этого «завода» можно оценить хотя бы по тому, что 4-миллиметровые гайки сверлились вручную на станке в специальном шаблоне. Вся «высококвалифицированная» работа досталась, конечно, мне. Пока сверло не затупилось, работа у меня шла довольно споро, но через некоторое время сверлить стало уже труднее. Не зная о том, что сверла

---

* Как Центр дальней коротковолновой радиосвязи просуществовала до середины 1980-х гг. (сообщено Л. Е. Поляном).

** По предположению Л. Е. Поляна, им, возможно, был Герш Аронович Левин (по прозвищу Герц Аронович), выдающийся ученый-связист.

для нормальной работы необходимо точить, я продолжал работать тупым сверлом, правда, приходилось все сильнее и сильнее нажимать на рычаг подачи. Кончилось это плачевно — сверло я сломал под самый корешок. Принес обломки сверла мастеру — Ивану Моисеевичу Самохвалову, двухметровому детине лет под шестьдесят, довольно сварливого нрава (типичный «шкура-мастер» царского времени), и с невинным видом заявил: «У меня сверло сломалось». Мастер взял обломки, поглядел на них, съездил мне легонько по уху и назидательно произнес: «Учти, залупа, сверла сами не ломаются, их ломают такие мудаки, как ты. В другой раз приди и скажи: я сломал сверло». Вина моя была бесспорна, и мне и в голову не пришло жаловаться на такие методы воспитания. В дальнейшем я и сам научился затачивать сверла, а не ломать их.

Поставили меня однажды, уже как «квалифицированного мастера», фрезеровать зубья на шестеренках на американском станке «Цинцинанта». Работа оказалась довольно трудной: на каждый зуб по десять оборотов ручки вертикальной подачи фрезы (соответственно была установлена и норма). Сделал я таким способом несколько шестеренок, и надоело мне крутить взад-вперед одну и ту же ручку, а на станке помимо этой ручки было довольно много других. Стал я их пробовать и очень быстро нашел ручку горизонтальной подачи. Оказалось, для того чтобы на моей шестерне нарезать зуб нужной глубины, ее требуется повернуть менее чем на пол-оборота. Правда, канавка зуба получалась несколько закругленной, но так как толщина шестерни была мала, а диаметр фрезы велик, то это закругление почти не было заметно. Сделал я таким способом пару шестеренок и отнес мастеру: «Хорошо?» — «Молодец, так и делай все».

Чтобы защитить себя от возможных неприятностей, я оставил эти образцы у мастера на столе. Представьте себе его удивление, когда к вечеру я принес ему почти двухнедельную норму. Смотрит он на шестерни и чешет затылок, а стоящий рядом помощник язвительно замечает: «Вот, Иван Моисеевич, пацан сообразил, а мы с тобой, два старых

дурака, прошляпили. Ведь подачу фрезы можно было делать не вертикально, а горизонтально!» Скандал получился большой, но заплатить мне все же заплатили. А чтобы не платить впредь бешеных денег новатору*, перевели на другую работу, а шестерни поручили другому — по новой технологии, но и по другой норме.

Когда окончился мой шестимесячный срок, меня опять ждала биржа труда, но, правда, уже с пособием по безработице — 15 рублей в месяц. Но тут, в связи с началом первой пятилетки, безработица быстро пошла на убыль, рабочих мест становилось все больше, зато продукты и товары в магазинах начали исчезать.

Через некоторое время направили меня с биржи на радиозавод имени Красина — небольшое предприятие, выпускавшее полукустарным способом самые простые детекторные радиоприемники. Попал я в заводскую лабораторию, где вместе с другим лаборантом, Семеном Шутаком, мы должны были проверять заводскую продукцию. Работа непыльная, приемники из цеха начинают поступать только после обеда, и все время с утра свободно. Можно и радиолитературу почитать, и даже послушать коротковолновые радиостанции (длинные и средние волны для меня в то время уже перестали существовать). Как говорится, живи да радуйся.

И надо же было нам с Семеном попасть как-то в Мюзик-холл (он находился на том месте, где сейчас зал имени П. И. Чайковского), где мы увидели совершенно сногсшибательный номер: один артист становится перед деревянным щитом, а другой, отойдя шагов на двадцать, кидает финские ножи, втыкающиеся в нескольких сантиметрах от тела первого артиста в щит. И когда он отходит от щита, воткнутые ножи образуют четкий силуэт человека.

Теперь для нас с Семеном нашлась утренняя работа: запираем дверь лаборатории и тренируемся в метании ножей

---

* Если рабочий (но не ИТР) придумывал более эффективный способ производства, то вводилась новая норма выработки, соответствующая этому способу. Однако для самого новатора — в качестве меры поощрения — на шесть месяцев сохранялось действие старой нормы.

в мишень, прикрепленную к двери. И вот однажды, забыв запереть дверь, я командую: «Семен, за работу!» — и кидаю первый нож. В этот момент дверь внезапно открывается, и появляется главный инженер завода. Пущенный мною нож, пролетев в нескольких сантиметрах от его лица, с силой вонзается в противоположную дверь. Комментарии тут излишни: пока главного инженера опрыскивали водой, я уже получал расчет.

В результате я оказался на радиозаводе «Мосэлектрик» монтажником на ручном конвейере по сборке радиоприемников Б. Ч. З.* Тринадцать паек «мягкой» схемы, четыре винта, два шурупа — вот и вся операция — одна и та же и изо дня в день.

Но память человеческая коротка. И вот давно уже забыты и биржа труда, и работа на московских крышах, когда и мечтать не приходилось о такой благодати, как постоянная (не на шесть месяцев!) работа под крышей, в тепле и с приличным заработком. Конвейер есть конвейер, но для молодого человека, не обремененного семьей, и это чудесная штука.

Отдых — только по вечерам, на коротковолновой любительской радиостанции замоскворецкой секции коротких волн «ЕУ-2-КЦЙ». Здесь подобрался дружный коллектив радиолюбителей-коротковолновиков. Несмотря на примитивное оборудование станции, работа велась большая: ежедневно устанавливались двухсторонние радиосвязи со всеми районами СССР и почти со всеми континентами. Многие операторы этой станции стали впоследствии хорошими радиоспециалистами, а четверо (Л. Долгов, Ю. Ситников, О. Туторский и я) работали связистами в Испании.

За активную работу на коллективной радиостанции мы получали разрешение на установку индивидуального коротковолнового передатчика дома. Мне дали позывной «ЕУ-2-ЛУ». Самодельный передатчик, на одной маломощной лампе, собранный на куске фанеры, был прикреплен к стене над постелью, приемнику (тоже самодельному) с трудом нашлось место на подоконнике, а вот сделанному из куска ножовочного полотна телеграфному ключу места не было,

* Приемник Борусевича четырехламповый закрытый.

и он просто висел на проводах. Жили мы ввосьмером в одной комнате, разделенной на части мебелью и занавесками.

После 11 ночи, когда уснут домашние, я приступал к работе и, увлекшись интересными радиосеансами, часто не замечал и наступления рассвета. Свет зажигать было нельзя, а вести аппаратный журнал необходимо, так что пришлось научиться писать в темноте. Но еще сложней было с настройкой приемника двумя ручками. В те времена приемники были регенеративными: одной ручкой настраиваешься на частоту передачи, а другой подстраиваешься на порог генерации — максимальную чувствительность приемника. Так как волна корреспондента (такого же радиолюбителя, как я), держится нестабильно, то приходится все время подстраиваться двумя ручками, да еще и вести в темноте запись в журнале. Как ни вертись, а двух рук явно не хватает, а тут еще и помехи (и атмосферные, и городские, и «фединги»*) — слышимость порой замирала до нуля. Но все это было отличной школой, и недаром считалось: связь всегда будет обеспечена, если работает радиолюбитель-коротковолновик.

С ростом квалификации радиолюбителям открывалась широкая дорога в профессиональные радиооператоры, нужда в которых увеличивалась с каждым днем. Попал и я на радиостанцию Центрального дома Красной Армии им. М. В. Фрунзе в Москве. Коротковолновый радиопередатчик «ЦДКА»: мощность — полтора киловатта (не то, что наши «пшикалки» — десять-пятнадцать ватт), но условия приема жуткие. Трамваи, моторы, а самое главное — рентген. Хотя он был на расстоянии почти полукилометра от радиостанции, но как только включится — снимай наушники и жди, пока его выключат. А работы на станции невпроворот: кроме основной работы по связи с домами Красной Армии, мы выполняли договорные работы по радиосвязи со строительствами Вишерского целлюлозно-бумажного комбината (Вишхимз) и Беломорканала (центральная Медвежья Гора). Обе эти стройки велись главным управлением лагерей ОГПУ (ГУЛАГ).

* Замирание радиосигнала.

Руководство этого ведомства быстро оценило оперативность и удобство радиосвязи с лагерями и завалило нас работой по горло. Все важнейшие вопросы снабжения, оперативного руководства, отчетности (причем все открытым текстом или иногда очень наивно зашифрованное), проходили через нашу радиостанцию. Тут еще оказалось, что единственный сапожник, которому наркомвоенмор Ворошилов всегда доверял пошив своих сапог, в чем-то провинился и отбывает срок на Беломорканале. Начались обширные переговоры по радио, в результате была решена проблема заочной пошивки сапог для наркома, в нужном количестве и соответственного качества.

А кролики! Скольких бессонных ночей стоили они мне — да не только мне, я-то только отделывался недосыпом, а у скольких людей из-за них и головы полетели! Вдруг почему-то выяснилось, что «мясная» проблема, возникшая после коллективизации, может чуть ли не мгновенно решиться путем массового разведения кроликов. ГУЛАГ тоже не остался в стороне и организовал в лагерях крупные фермы кролиководства. Но эти окаянные животные, вопреки всем прогнозам самых авторитетных ученых, обнаружили свойство не менее интенсивно дохнуть, чем размножаться. Начались длительные переговоры по радио с участием видных специалистов по кролиководству. «Мясной» проблемы по Союзу эти кролики не решили, и через некоторое время про них уже забыли, хотя средств на это потратили немало.

Вообще говоря, методы работы товарищей из ОГПУ иногда переходили всякие этические нормы: как-то в канун октябрьского праздника я пришел домой довольно поздно, причем навеселе. Только разделся, стук в дверь. Открываю — человек в кожаном пальто и с малиновыми нашивками ОГПУ (собственно, нашивки были и не обязательны, так как кожаные пальто в те времена носили почти исключительно работники ОГПУ). «Вы такой-то? Одевайтесь, не поднимайте шума и следуйте за мной!» Выходим на улицу, стоит легковая машина. «Садитесь!» Едем. Думаю: «Куда?» С площади Свердлова свернули на Неглинную. «Слава богу!

Лубянка отпадает, неужели сразу в Бутырки? Но за что?» Мой спутник молчит. «Приедем, узнаешь». Доехали до площади Коммуны*. «Если свернет налево, значит все-таки Бутырки. Нет, едет прямо в ЦДКА, во двор. В чем дело? Непонятно». Подъехали к радиостанции, там нас уже ждут. Проходим в аппаратную. Тут все и выясняется: оказывается, в три часа ночи руководство Беломорканала должно передать по радио сводку о ходе работ по завершению строительства, и она должна быть у зампреда ОГПУ — Г. Г. Ягоды к началу парада на Красной площади, на случай, если этими данными заинтересуется Джугашвили. Сводку я, конечно, своевременно принял и передал своему молчаливому спутнику, но в пути порядком перетрусил. Хорошо, что в те времена я был еще молод, сердце не шалило, а то ведь такие «методы» для человека с более слабым здоровьем могли привести к печальным последствиям.

Правда, связь с этим ведомством иногда давала и некоторые материальные выгоды: дефицитные учебники и письменные принадлежности свободно продавались в кооперативе ОГПУ (на бывшей Лубянке). Однажды за хорошую работу мне дали «боны» ОГПУ**, на которые я впервые в жизни купил себе костюм. Правда, он был номера на два великоват, но в те времена это не играло существенной роли, потому что во всех магазинах (даже в кооперативе ОГПУ) господствовал принцип: лопай что дают.

Единственное неудобство моей работы заключалось в том, что в любое время могли вызвать на работу, причем на неограниченное время, а это, естественно, влияло на учебу в Институте связи***, в который я все же поступил — правда,

* Площадь перед театром Красной Армии.

** В условиях всеобщего дефицита во многих крупных учреждениях, в частности, в наркоматах, имелись собственные магазины, где отоваривались дефицитными продуктами на «боны» («бонусы»), то есть практически на собственную валюту. Иногда ими выплачивалась часть зарплаты.

*** Институт был создан в 1921 году, в период с 1924 по 1930 гг. входил на правах факультета в МВТУ. В разные годы назывался: МЭИС, МЭИНС, МИИС, МИС (сейчас МТУСИ).

совершенно случайно. В то время каждый молодой радиолюбитель мечтал об этом.

Со времени окончания школы прошло много времени, и я уже основательно перезабыл все школьные науки, а конкурс даже для имеющих рабочий стаж был велик, так что необходима была серьезная подготовка. На счастье, при ЦДКА были организованы курсы по подготовке в вузы. Весь коллектив радиолюбителей радиоузла ЦДКА поступил на эти курсы. Не отстал и я. Но одно дело поступить на курсы, а другое — нормально на них учиться.

Во-первых, ОГПУ срывало львиную долю учебных часов, да и другие, менее уважительные причины тоже влияли: в отличие от своих друзей, я почти не посещал занятий. Документы в институт я все же подал. Через некоторое время всем моим коллегам пришли извещения, что они допущены к приемным экзаменам. Мне такого извещения почему-то не пришло, и я решил, что из-за того, что мне в том же году предстояло идти в армию, меня и не допускают к экзаменам. Особенно горевать по этому поводу я не стал, тем более что шансов на получение проходного балла у меня, конечно, не было. Я решил: отслужу год (в те времена ребята, имевшие среднее образование, служили один год и после сдачи экзамена в части получали звание командира взвода запаса), а после демобилизации серьезно подготовлюсь и буду поступать в вуз. Это мудрое решение дало мне пока возможность вместо напряженной учебы (чем занимались все лето мои коллеги) поехать в Крым в туристический поход, а в остальное свободное время играть в теннис.

Начались приемные экзамены. Ребята мои ночи не спят, волнуются, сдают экзамены, а я и в ус не дую, гуляю напропалую, занимаюсь спортом и жду повестки из военкомата. Наконец, накануне выходного дня, получаю «долгожданную» повестку, предписывающую мне явиться после выходного дня к 9.00, имея при себе все необходимые документы (стригли в те времена еще за казенный счет, накануне отправки в часть). Нужны документы об образовании, а они в институте. К этому времени как раз окончились приемные экзамены и должны были вывесить списки принятых.

Поехали мы в институт вдвоем с моим шефом — Степой Кузнецовым. Поскольку он все экзамены сдал благополучно, то сразу же пошел к доске приказов о зачислении в институт, чтобы убедиться, что его фамилия — в числе принятых. У меня такой угрозы явно не было, и я двинулся прямо к окошку «Выдачи документов». Стою, дожидаюсь, пока девушка отыщет мои документы, как вдруг Степан кричит мне через весь коридор: «Лева, быстрее сюда!» — «Обожди, получу документы», — отвечаю я, полагая, что он хочет похвастаться своей фамилией в списке принятых. А он в ответ: «Какие документы, тебя тоже приняли!» Подбегаю к доске приказов — невероятно, но факт: в списке принятых на радиофакультет, в одной группе со Степаном, числюсь и я, собственной персоной!

Тут новая беда: надо немедленно оформлять отсрочку от военной службы (в те времена студентам вечернего отделения еще давались отсрочки от военной службы до окончания учебы), а у военкома института присутственное время кончилось, и он уже опечатал свой сейф. Больших трудов стоило уговорить корпусного комиссара Озолина* (впоследствии я еще раз встретился с ним перед отъездом в Испанию, но об этом позже) открыть свой сейф и оформить мне отсрочку на четыре года. Вместо допризывника я вышел из института студентом вечернего радиофакультета Московского электротехнического института связи.

Дома об этом ничего не знали. Пришли мы со Степаном ко мне. Я пока молчу об изменениях в моей судьбе. Мама, узнав, что Степана приняли в институт, сердечно его поздравила, а меня начала пилить: «Вот видишь, Степа занимался все лето и теперь будет студентом, а ты все лето прогулял и тебе послезавтра лоб забреют, будешь трубить в солдатах, а мне придется тебе туда на махорку посылать». Я немного промолчал и говорю ей с самым убитым видом: «Знаешь, мама, чем зря разговаривать, давай нам рублей 25, а то нам и выпить не

---

* Озолин Эдуард Янович (1898—1938), полковой комиссар, начальник шифровальной части (с 1930) и секретно-шифровального отделения (с 1935) Разведуправления штаба РККА. Расстрелян.

на что». От такой наглости мама на время потеряла дар речи, ведь даже в обычное время я у нее никогда не просил на выпивку, а тут, накануне призыва в армию, когда у нее, можно сказать, такое горе — сына забирают в солдаты.

Я выдержал небольшую паузу и говорю: «Не удивляйся, я сейчас тебе покажу такое, что ты побежишь к соседям, одолжишь у них и принесешь мне еще больше!». И показываю ей мой военный билет с отсрочкой на 4 года в связи с поступлением в институт. Тут она действительно потеряла дар речи, упала на стул, и слезы покатились из ее глаз: об этом она мечтала куда более горячо, чем я сам.

Но недаром говорят, что от радости не умирают: немного отойдя, мама первым делом кинулась обнимать меня и Степана и действительно побежала к соседям занимать деньги (на руках у нее больше десятки не оказалось). Через пять минут она вернулась и добавила нам еще двадцать рублей (больше не оказалось и у соседей). «Идите, детки, гуляйте на здоровье и не обращайте внимания на то, что старуха плачет от счастья!»

После выходного дня я быстро оформил в военкомате отсрочку и, оставаясь на прежней работе, стал студентом-вечерником. Впоследствии выяснилось, что мое поступление в институт было чистой (для меня счастливой), случайностью: документы мои по недосмотру какого-то технического работника попали в папку так называемых «бесспорно принятых без испытаний», то есть окончивших рабфаки, переведенных из других вузов и т. д. Поэтому меня и не вызывали на экзамены. Шансов на такое поступление было не больше, чем по использованному трамвайному билету выиграть в лотерее легковой автомобиль, но что тут говорить — я же его «выиграл»!

3

Учился я легко, больше брал памятью, чем усердием, в отличники никогда не рвался, но и в хвосте не плелся. В те времена в стране началось интенсивное освоение Арктики.

Впервые в истории ледокольный пароход «Сибиряков» прошел из Мурманска во Владивосток Северным морским путем в одну навигацию*. Правда, путешествие было не из легких, один сплошной аврал, да и то к концу пути «Сибиряков» превратился из парового судна в парусник и во Владивосток пришел под самодельными парусами. Действительно, весь этот рейс был сплошным подвигом, и многие моряки «Сибирякова» были награждены орденами Советского Союза, в их числе и мой старый знакомый Э. Т. Кренкель, получивший тогда свой первый орден — Трудового Красного Знамени.

В те времена не стеснялись носить ордена, орденских колодок еще не было, и очень редкие тогда орденоносцы носили свои награды при повседневной форме, а остальные им просто завидовали, потому что, помимо прочего, орден давал право на довольно весомые материальные преимущества: бесплатный проезд раз в год в любой конец Советского Союза и обратно, бесплатный проезд на городском транспорте, большие льготы по налоговому обложению и ежемесячная выплата денежных сумм за каждый орден от десяти до тридцати рублей. И вот теперь мой крестный по коротким волнам Э. Т. Кренкель тоже стал орденоносцем!

При первой же встрече я его сердечно поздравил. В разговоре он заметил, видя, что я все время поглядываю на его орден: «Знаю, завидуешь, и правильно. Но знай, что даром такие награды не даются, их надо зарабатывать самоотверженной, а порой тяжелой и опасной работой. Сидя здесь, в столице, ты вряд ли получишь такую награду. Поезжай на Север, покажи, на что ты способен, и тогда, возможно, все будут поглядывать на левый лацкан твоего пиджака». Эти слова крепко запали мне в душу, но я был связан учебой в институте, а на одно лето ведь в Арктику не возьмут.

В скором времени в газетах появилось сообщение, что в Дании на Копенгагенских верфях завершается постройка для Советского Союза ледокольного парохода, который будет назван в честь известного исследователя Арктики —

---

* Это произошло в 1932 году. Чудом, без руля и винта, «Сибирякова» просто вынесло течением в Берингов пролив.

«Челюскин». Через некоторое время мне позвонил Кренкель и сказал, что выезжает в Копенгаген для приемки радиооборудования «Челюскина». Ледокол пойдет в Мурманск, откуда, после докомплектования команды и погрузки, двинется по маршруту «Сибирякова» во Владивосток, куда планируют пройти в одну навигацию. Когда я спросил, а нельзя ли мне пойти радистом на этом корабле, Кренкель сказал, что радиогруппа уже укомплектована, но в случае чего он будет иметь меня в виду. Тут же он предложил мне во время похода «Челюскина» в Мурманск держать с ним радиосвязь для передачи материала газетам «Комсомольская правда» и «Известия», спецкором которых он согласился быть. Поскольку обе наши радиостанции — и моя (ЦДКА), и Кренкеля (РАЕН) — были достаточно мощны, то радиосвязь мы установили быстро и держали ее вполне устойчиво; все полученные от Кренкеля материалы я немедленно по телефону передавал в редакции.

Один из штатных радистов «Челюскина» получил в Мурманске телеграмму о том, что его жена опасно больна и ее кладут на операцию, из-за чего он вынужден списаться с корабля. Тогда Кренкель предложил это место мне. Мою кандидатуру Кренкель уже согласовал с начальником экспедиции О. Ю. Шмидтом*. Поскольку был шанс, что все путешествие ограничится одним летом и не отразится на моих занятиях в институте, я с радостью дал согласие. С текстом радиограммы, подписанной самим О. Ю. Шмидтом, я отправился на переговоры к начальнику ЦДКА В. И. Мутных**.

В те времена переход с одной работы на другую был совсем непростым делом. На этом пути стояло много рогаток, обойти которые было нелегко, но ГУСМП (Главное управле-

* Шмидт Отто Юльевич (1891—1956), советский ученый и государственный деятель, академик, вице-президент АН СССР (1939—1942), Герой Советского Союза (1937).

** Мутных Владимир Иванович (1895—1937, расстрелян) — активный участник Гражданской войны, награжден орденом Боевого Красного Знамени. В 1935 году после переаттестации, был демобилизован и назначен директором Большого театра. В 1937 году репрессирован.

ние северного морского пути), начальником которого был академик О. Ю. Шмидт, было наделено особыми правами, и если нужный им работник изъявлял желание перейти в ГУСМП, на старой работе ему не могли препятствовать.

Когда я пришел к Мутных с радиограммой Шмидта, он ее прочел и сказал, что удерживать меня он не имеет права, но рекомендует хорошенько подумать и зайти к нему завтра: у него для меня будет кое-что интересное.

И я задумался. Во-первых, насчет одной навигации: «Сибиряков» действительно прошел Севморпуть в одну навигацию, но как прошел? И в каком виде пришел? Тысячу раз могло случиться, что он вообще никуда не придет, а уж насчет зимовки во льдах гарантия была почти полная. Так что мои занятия в институте под угрозой.

Во-вторых, почему же все-таки Мутных не подписал сразу мое заявление, а велел зайти к нему на следующий день? Неужели он думает, что я за один день передумаю? Ведь с его стороны это было бы наивно. Интересно, что он скажет мне завтра?

Посоветоваться мне было не с кем. Дома всю авантюру с Арктикой встретят в штыки, а на работе не захотят потерять хорошего радиста и компанейского парня.

На другой день Мутных снова сказал, что в любое время может подписать мое заявление об уходе, но если уж меня так одолел зуд приключений, то может предложить такое путешествие, но с гарантией своевременного возвращения к началу занятий.

В 1933 году Наркомат обороны организовал Всесоюзную альпиниаду Красной Армии. Из пяти военных округов (Московского, Белорусского, Ленинградского, Среднеазиатского и еще Черноморского флота) для участия были отобраны 58 средних и старших командиров. Из разных пунктов Кавказского хребта они должны были идти разными (преимущественно, самыми трудными) дорогами и в одно и то же время собраться в лагере долины Азау, откуда совершить коллективное восхождение на восточную вершину Эльбруса. После восхождения все направляются по Военно-Сухумской дороге

в Сухуми, а оттуда пароходом в Крым — в Ялту, где все будут полный месяц отдыхать на туристической базе ЦДКА. В эту экспедицию требуется и радист с переносной радиостанцией. Поскольку в лаборатории ЦДКА мы как раз разработали компактную переносную коротковолновую радиостанцию, то Мутных в Политуправлении предложил мою кандидатуру в качестве радиста экспедиции. Проезд в оба конца бесплатный по воинскому литеру, зарплата идет полная плюс командировочные.

Надо сказать, что в те времена я только раз был в Крыму (и он произвел на меня незабываемое впечатление), а на Кавказе не был ни разу. Против такого соблазна я устоять не смог и, немного подумав, дал свое согласие. В тот же день по радио я известил Кренкеля, что из-за изменившихся обстоятельств принять его предложение я не смогу. В Мурманске он нашел себе радиста, а мне передал, что я еще буду жалеть о том, что не пошел на «Челюскине». Эти слова оказались пророческими: во время «челюскинской эпопеи» я искусал себе локти, но было уже поздно.

4

А пока мне пришлось вплотную заняться подготовкой радиостанции для альпиниады. Наконец все у меня было готово: радиостанция в порядке и сдана в багаж, запас сухих батарей заготовлен. Сам я, с огромным рюкзаком за спиной, с ледорубом и альпенштоком в руках, дожидаюсь своего попутчика Николая Федоровича Бочарова, Бочаров, довольно известный тогда теннисист, инженер ЦАГИ, в этой экспедиции участвовал как инструктор горного спорта. Около главного входа на Курском вокзале в Москве собралось довольно много отъезжающих (дело было в начале августа), в том числе и туристов с рюкзаками и ледорубами.

Рядом со мною целую груду туристского оборудования караулила симпатичная блондинка в полной туристской амуниции. Бочаров задерживался, и я решил заговорить

с ней: а вдруг мы собирались в одни края. Но, по-видимому, блондинка была занята и никакого желания вступать со мной в знакомство не выразила. Тут подошел Бочаров, и мы отправились на посадку в поезд до Нальчика (на станции Прохладная наш вагон отцепили и прицепили к местному поездочку Прохладная—Нальчик).

Там достались нам с Бочаровым две верхние полки. Мы уложили свои вещи, и, как только поезд тронулся, принялись ужинать, запивая свою снедь отнюдь не сидром. За день капитальных сборов я настолько уморился, что после нескольких стопок провалился в сон, тем более что был уже поздний вечер.

Проснулся я от ярких лучей солнца, бивших мне в лицо. Уселся я на своей полке и вижу: рядом со мной — вчерашняя блондинка! Сидит на своей полке (плацкартные вагоны тех времен между верхними полками не имели, как теперь, перегородок до самой крыши, а отделялись небольшими, сантиметров в тридцать, переборками), расчесывает свои прекрасные белокурые волосы и с улыбкой смотрит на меня. Я любезно с ней поздоровался и извинился, что не сделал этого раньше. Она, смеясь, ответила, что вчера после отхода поезда я вообще не был способен отличить ее от любого другого предмета. Познакомились. Звали ее Валей, Валей Бабкиной, работала она чертежницей на одном авиационном предприятии и вот едет вместе с братом Володей и подругой Клавой «дикими туристами» в район Эльбруса — то есть туда же, куда и мы!

Вскоре наши купе объединились, и мы очень весело и приятно доехали до самого Нальчика. Там нас уже ждали машины с грузами, на которых мы должны были следовать в долину Азау, где проектировался сборный лагерь всей экспедиции. Ехать туда решили на следующий день, а остаток времени я провел со своими новыми друзьями (точнее, с блондинкой). На другое утро мы со своими грузами отправились в Азау, а с Валей и ее группой условились так: когда они прибудут в Теченекли (это километров 10—15 от Азау вниз), то с проходящими туристами дадут мне знать, а я постараюсь с ними

встретиться (я охотно пошел бы вместе с ними прямо от Нальчика, но ничего не поделаешь — служба).

К вечеру мы уже прибыли в Азау. Кругом горы, поросшие сосняком и другими деревьями, высота над уровнем моря 2200 метров, красота неописуемая. Но нам первое время было не до нее: ставили палатки, мастерили столы и прочие необходимые предметы быта, а я еще устанавливал радиосвязь с внешним миром. Станция маломощная (мощность примерно в двадцать раз меньше туалетной лампочки), кого из любителей ни вызову — не отвечают. Бился я так несколько дней и решил, что высокие горы, по-видимому, экранируют излучение моей «пшикалки» и надо подниматься выше. Между прочим, хотя мы и отъехали от Нальчика более ста километров, но вершину Эльбруса мы еще не видели: все время он был закрыт другими горами. Первое место, откуда он открывался во всем великолепии, это Кругозор — площадка на высоте 3200 метров, куда вела довольно крутая горная тропинка.

Решил я со своей радиостанцией и с запасом продуктов подняться на этот Кругозор: может, там условия прохождения радиоволн будут получше и мне удастся установить связь хоть с каким-либо радиолюбителем-коротковолновиком? Поднялся я с очень большим трудом: грузу-то — килограммов пятьдесят!

На дощечке над дверью сбитого из горбыля сарайчика читаю гордую надпись: «Отель Эльбрус». Рядом два больших валуна, чуть поросшие мхом. Около одного надпись: «Верхний парк», около другого: «Нижний парк». Гостеприимным хозяином отеля оказался Витя Корзун, уроженец Кисловодска (чем и объяснялись названия «парков»). Он был и смотрителем здания, и синоптиком, и горным проводником, и всем-всем-всем.

Во время Великой Отечественной войны Витя совершил в этих местах выдающийся воинский подвиг. Заняв предгорья Кавказа, фашисты совершили массовое восхождение на Эльбрус в составе полного батальона горно-стрелковой дивизии «Эдельвейс». На вершине Эльбруса они водрузили

свое знамя и оставили в железной коробке автографы всех участников восхождения, а также портрет Гитлера. Все это они снимали на пленку и впоследствии не раз демонстрировали эту киноленту у себя как «великую победу» вермахта. Но следивший за немцами с самого начала Витя Корзун воспринял немецкое восхождение на Эльбрус как осквернение своей «вотчины». Дождавшись момента, когда темнота и холод сгонят фашистов с вершины, Витя залез туда сам, сорвал фашистское знамя и заменил его нашим, портрет Гитлера просто разорвал на куски, а банку с подписями забрал с собой. Переночевавшие на Кругозоре фашисты утром в бинокль увидели развевающееся красное знамя, им и в голову не могло прийти, что вместо свастики на этом знамени снова уже пятиконечная звезда. Знамя и коробку с подписями Корзун передал нашему командованию, за что был награжден орденом Боевого Красного Знамени*.

На Кругозоре Витя бывал нечасто, у него были какие-то дела в окрестностях. Он исчезал, а потом снова появлялся, так что фактически полным хозяином оставался я. С радиосвязью дело обстояло получше: как-то мне удалось связаться с Махачкалинским радиоклубом. Я уже праздновал победу, передал им для Москвы несколько радиограмм и условился о регулярной связи. Но, увы, в следующий сеанс Махачкала меня не услышала. Потом я связался с одним ростовским радиолюбителем, но слышал он меня так плохо, что радиограмм я через него передать не смог. В общем попытка держать регулярную радиосвязь на такой ничтожной мощности передатчика, да еще на сухих батареях, которые от ночных холодов замерзали (а ночью температура падала до минус 6—8° — при дневной +25—27°), была обречена на неудачу с самого начала. Никакой практической помощи нашей экс-

* В. Корзун — лицо реальное: в том же 1933 году он поставил на Кругозоре триангуляционный пункт и был одним из трех первых зимовщиков на метеостанции «Приют девяти». В остальном это красивая легенда: немецкий флаг с Западной вершины был снят 13 февраля 1943 года группой военных из шести человек, а с Восточной — 17 февраля 1943 группой из четырнадцати человек; ни в одной из них В. Корзуна не было.

педиции моя радиостанция оказать не смогла, хотя при испытаниях в Москве я и держал с ее помощью регулярную радиосвязь с весьма отдаленными корреспондентами, но тут, видимо, немаловажную роль сыграли горные условия.

Но жить на Кругозоре было не скучно: редко когда мне приходилось ночевать одному, ведь единственный путь для восхождения на вершины Эльбруса лежал только через него. Залезешь, бывало, утром на камень «Верхнего» или «Нижнего парков» и видишь в бинокль, как из леса долины Азау появляются крохотные фигурки туристов — значит, после обеда или самое позднее к вечеру они появятся у меня, больше им деваться некуда, а по их прибытии у меня начиналось чаепитие, иногда и с коньячком. Как-то один из прибывших туристов передал мне записку от блондинки Вали. Она писала, что они уже находятся в Теченекли и очень были бы рады меня увидеть. Тут у меня под ногами загорелась земля. Надо туда ехать, но как это сделать побыстрее? Для хозяйственных нужд альпиниады нам был выделен взвод кавалерии из Прохладной. С командиром взвода у меня установились неплохие отношения, особенно после того, как я однажды продемонстрировал свое искусство вольтижировки на лошади. Узнав, что на следующий день он собирается съездить в район Теченекли за фуражом, я спустился в Азау и попросил его оседлать лошадку и для меня.

Чуть подробнее о моей кавалерийской карьере. До ЦДКА я работал на заводе «Мосэлектрик», который в то время считался одним из самых передовых московских предприятий. Как-то в печати выступил Буденный, который посетовал, что в кавалерию поступают почти сплошь одни крестьяне и поэтому культурный и технический уровень кавалеристов очень низок. На основании этого выступления Московский комитет комсомола решил создать из рабочих ведущих московских предприятий «Кавалерийский полк металлистов». Дали разнарядку и на наш завод. Было объявлено, что все желающие заниматься верховой ездой могут получить «комсоставское» обмундирование бесплатно. А с одеждой в те времена было очень плохо, так что на такую приманку

могли клюнуть многие: диагоналевые бриджи, коверкотовая гимнастерка, хромовые сапоги со шпорами и длинная, до пят, кавалерийская шинель могли вскружить голову не одной московской девушке. Проходить занятия по верховой езде должны были в манеже, причем по прошествии двух месяцев надо было решать, останешься ты на военной службе или нет. Если решил остаться, то увольняешься с завода, принимаешь присягу и зачисляешься в кадры Красной Армии — в кавалерию. А если нет, то сдаешь обмундирование и остаешься в прежней должности на заводе.

Записался в эту кавалерию и я. Щеголял в форме (правда, для того чтобы можно было узнать, что мы еще не кадровые военные, на наших фуражках вместо красной звездочки была прикреплена эмблема кавалерии — подковка), ходил заниматься в манеж, причем довольно быстро освоил это не очень-то хитрое дело, да и не только езду, но и вольтижировку (конечно, самую элементарную). Не очень успешно шла у меня рубка: если рубить струйку воды без брызг еще кое-как удавалось, то в глине шашка застревала безнадежно. А уж о том, чтобы на полном скаку обрубить лозинку, привязанную к столбикам по обе стороны пути следования лошади, не могло быть и речи: хорошо, если удавалось из двадцати лозинок срубить (точнее, сломать) две или три. Однажды в выходной день нас направили в казармы 62-го кавалерийского полка в Хамовниках для прохождения практики верховой езды не на манежных, а на настоящих военных лошадях. Прибыли мы туда в седьмом часу утра: весь плац уставлен лошадьми, которых красноармейцы усердно чистили. Ждем час — чистят, ждем два часа — чистят, три — тоже чистят. Спрашиваю у одного, неужели они столько времени каждый день чистят лошадей? Он отвечает: сегодня выходной, и поэтому чистка лошадей сокращена, так как все лошади работать не будут, а в обычные дни чистка раза в полтора дольше. Тут-то я и решил окончательно, что кавалерия мне не подходит: такая чистка мне явно не по характеру. На другой день я сдал свое обмундирование и заявил, что в кавалерию идти раздумал.

Вот так бесславно окончилась моя кавалерийская карьера, но тем не менее ездить на лошади я с грехом пополам научился. Комвзвода из Прохладной приказал оседлать для меня лошадку, и ранним погожим утром мы с ним потрусили под горку из долины Азау на турбазу Теченекли.

Эта турбаза находилась в очень живописном месте. Тут кончалась автомобильная дорога, а дальше, к Эльбрусу, шла тропа, по которой в некоторых местах даже верховой мог проехать с трудом. Доехали мы с комвзвода до Теченекли: он поехал по своим фуражным делам в деревню, а я остался с новыми друзьями, которые уже давно ждали меня в Теченекли. День мы провели очень хорошо: гуляли, ходили в сосновый бор собирать малину (несмотря на август, ягод в лесу было множество), жарили шашлык, пили сухое вино (о существовании которого я в Москве даже не подозревал, обходясь водкой), одним словом — время пролетело незаметно. Тут подъехал за мной наш комвзвода, но, поскольку было еще совсем светло, я не без труда уговорил его оставить меня с лошадью здесь еще на часок.

Когда солнце уже начало садиться, я распрощался с друзьями, простился отдельно с Валечкой, залез на лошадь и поехал к себе в Азау. Не успел я отъехать и двух километров, как уже стемнело (на Кавказе сумерек практически нет: зашло солнце за горы — и сразу ночь). Лошадь, привычная к поездкам в горах, дорогу чувствовала, я ей доверился, к тому же дорога была одна и сбиться было некуда. После шашлыков сильно хотелось пить, и я вспомнил, что рядом прямо из скалы бьет источник нарзана. Подъехав, я слез с лошади, напился сам и на всякий случай набрал воды в приторочённую к седлу фляжку. Тут уж совсем стемнело — хоть глаз выколи.

Дорога привела меня к самому опасному месту — Баксанскому ущелью. Тут и днем-то жутковато двигаться, не то что ночью: узкая тропа, на которой два всадника местами и не разъедутся. Справа — отвесные скалы до километра в высоту, слева, в глубоком, тоже почти отвесном ущелье, бушует река Баксан. Я бросил поводья и положился на чутье лоша-

ди, которая осторожно, шаг за шагом, брела по этой опасной тропе, причем почти после каждого ее шага в пропасть падали камешки. Вот так, не спеша, я и еду, а на душе неспокойно, все мои чувства напряжены до предела. Тишина кругом полная, если не считать рева реки в пропасти. И вдруг — выстрел, да, как мне показалось, гулкий. От неожиданности я чуть с лошади не упал, но быстро овладел собою и стал соображать, что же делать дальше. Первым делом слез с лошади и спрятался за нее, встав спиной к горе, ведь стрелять-то, конечно, могли только со стороны ущелья, а не с горы надо мной. Тут на память пришли рассказы туристов о нападениях на них бандитов, прятавшихся в горах от раскулачивания (год-то на дворе был 1933-й). Хорошо вооруженные, отлично знающие горы, прекрасные стрелки, эти бандиты были практически неуловимы. И вот, по-видимому, я со своей лошадью стал объектом такого нападения. Ведь бандиты прекрасно знают, что абы кто здесь на лошадях не ездит: значит, это военный, возможно, из войск ОГПУ, а за «снятие» такого их бандитский бог зачтет им немало грехов. Все эти мысли роились в моей голове, когда, спрыгнув с лошади, я спрятался за нее. Раз бандит стрелял, значит он меня видел, ведь эти горцы, по рассказам бывалых людей, видят в темноте как кошки, а я в этой кромешной тьме не вижу даже хвоста своей лошади.

Жду второго, возможно последнего в моей жизни выстрела. Проходит минута, вторая, третья, все тихо. Неужели бандит потерял меня из виду? Что делать? Наверно, стоять на месте неподвижной мишенью нет смысла. Решил идти вперед. Прижавшись спиной к скале, держа за поводья впереди себя лошадь, начинаю медленно двигаться по ущелью. Никто больше не стреляет. Пройдя более половины пути, я окончательно осмелел, даже решился сесть в седло и вполне спокойно доехал до самого конца ущелья. Въехав в лес, я пришпорил лошадь, чтобы поскорее убраться из этого проклятого места.

Через некоторое время я почувствовал, что у меня что-то мокро в том месте брюк, которое обычно должно быть сухим.

Ну, думаю, храбрец: от первого выстрела — и так осрамился! Уже перед самым Азау мне опять захотелось пить. Вспомнил, что у меня во фляжке нарзан. Достаю фляжку — она пустая, только пробка висит на шнурке. Тут-то меня и осенило: никто в меня не стрелял, просто от сильного напора газа из фляжки выскочила пробка, а я с перепугу принял этот звук за выстрел! А когда я поехал по лесу рысью, остатки нарзана вылились мне на брюки. Мне бы смолчать, но в Азау я все это рассказал, и потом мои коллеги долго и от души надо мной потешались.

Вскоре полностью собрались все участники альпиниады, и начался решающий этап — коллективный штурм восточной вершины Эльбруса. Источники питания моей радиостанции окончательно «подсели», и я тоже смог принять участие в восхождении.

Поскольку до этого я почти месяц пробыл на Кругозоре и Приюте-11 (высота 3 200 и 4 200 метров над уровнем моря), то самое главное препятствие к восхождению — акклиматизация к разреженному воздуху — для меня уже не существовало, и на Эльбрус я поднялся безо всяких затруднений. Погода стояла чудесная, но на вершине дул довольно сильный и холодный ветер. Видимость была очень хорошей. Черное море было видно довольно отчетливо, а Каспийское вырисовывалось в виде смутной дымки. Все Кавказские горы были как на ладони. Наш кинооператор все время крутил свою машину, а все имевшие фотоаппараты (а таких в те времена было еще очень мало) непрерывно щелкали затворами. Водрузили на вершине красный флаг, оставили в положенном месте металлическую коробку с фамилиями и подписями и начали спуск, так как ветер становился все сильнее.

Спуск прошел вполне успешно: в тот же день мы были в нашем лагере на Азау. После короткого отдыха все должны были спуститься в Теченекли. Там меня ожидали мои новые друзья и, конечно, Валечка. Вместо Эльбруса они ходили через Бичайский перевал в Сванетию.

В Теченекли произошел весьма забавный инцидент: один из наших командиров, моряк черноморского флота, начал

ухаживать за заведующей турбазой Ниной П. и, по-видимому, небезуспешно. Однажды под вечер они вдвоем отправились в лес собирать малину. Через некоторое время весь лагерь был всполошен истошным криком: «За нами гонится медведь!» Все мгновенно выскочили из домиков и палаток, а впереди наш моряк, а за ним Нина. Отдышавшись, они рассказали, что в лесу, буквально нос к носу, встретились с огромным медведем, от которого еле убежали. Поскольку медведи в этих лесах водились, то ничего невероятного в их рассказе не было, и командир альпиниады, дивизионный врач (по-нынешнему генерал-лейтенант медицинской службы) Клементьев, заядлый охотник, схватил свою трехстволку (два гладких ствола и один нарезной) и скомандовал: «В ружье!». Поскольку все были командирами РККА, оружие было у всех.

«Экспедицию» возглавил сам Клементьев, а осмелевший моряк стал показывать дорогу. Вошли в лес, рассыпались цепью, Клементьев предупредил: «Без команды не стрелять!». Стали медленно продвигаться в гору. Я шел почти рядом с Клементьевым. Вдруг моряк тихо шепчет: «Вот он, как был, так и остался!». И действительно, из-за сосны отчетливо виднелась огромная медвежья морда. Ветерок дул в нашу сторону, поэтому медведь нас, по-видимому, не чуял. Почти все сразу его увидели. Клементьев передал по цепи команду: медленно подползать, но не стрелять, чтобы не спугнуть зверя. Напряжение достигло предела, и тут у кого-то нервы не выдержали — раздался выстрел, и сразу все открыли огонь. Когда стрельба прекратилась и рассеялся дым, медведь оказался на своем старом месте. Подошли поближе и увидели, что это коряга от поваленного пня, но настолько похожая на голову настоящего медведя, что ввела в заблуждение не только моряка, но и такого аса-охотника как Клементьев. Со смехом и подначками все спустились в лагерь и начали готовиться к походу в Сухум.

Мои друзья уговорили меня не ездить в Крым, а отправиться с ними на Кавминводы (Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск). Спросив разрешения у Клементьева и погрузив вместе со всем эвакуируемым в Москву имуществом свою

ненужную радиостанцию, в тот же вечер я, с воинскими документами на проезд от Нальчика до Москвы в кармане и суточными за оставшийся срок командировки, отправился с друзьями — Валей, ее братом Володей и подругой Клавой — в уже знакомый нам Нальчик.

Надо сказать, что вид мы имели вполне туристский: загорелые, молодые, веселые, у всех брезентовые куртки, за плечами огромные рюкзаки с привязанными к ним спальными мешками и примусами, в руках альпенштоки и ледорубы. Переночевав в Нальчике, на следующее утро мы в открытом автобусе отправились в Пятигорск и приступили к осмотру достопримечательностей. Надо сказать, что в те времена уже использовалась любая возможность получить с приезжего (особенно с так называемого «неорганизованного») лишнюю копейку: за вход в любой парк — рубль (бесплатно туда пускали только по курортным книжкам). Учтя, по-видимому, инициативу Остапа Бендера из «Двенадцати стульев» Ильфа и Петрова, у входа на пятигорский «Провал» сидела пожилая женщина и официально собирала по рубчику со всех желающих посмотреть небольшую голубую лужицу в освещаемой через дыру в потолке пещере.

За вход на вокзальный перрон (при отсутствии проездного билета) также неуклонно взимался рубль, а на Кисловодском и Ессентукских вокзалах даже туалеты были платными, из-за чего мы в Ессентуках чуть было не опоздали на поезд: наша Клава отправилась в туалет, а мелочи у нее не было. Тогда «директриса» туалета заперла ее в своем заведении и не спеша отправилась менять деньги, а по дороге заговорилась с приятельницей-киоскершой. Тем временем подошел поезд — такой маленький паровичок с маленькими, как игрушечные, открытыми вагончиками (путь от Минвод до Кисловодска занимал часа четыре или пять, отчего ходили такие поездочки довольно редко), а нашей Клавы все нет.

Порядки на железной дороге были тогда либеральные, и удалось уговорить машиниста подождать несколько минут, в то время как Валя отправилась на поиски подруги. Дверь туалета оказалась запертой, и из-за нее раздавался жалобный

голос Клавы. Валя побежала искать директрису, а та спокойно беседует. Спасибо, машинист задержал поезд, а то ночевать бы нам в Ессентуках, потому что рейс был последний.

По ессентукскому парку в санаторных пижамах не спеша разгуливали больные. Вдоль аллеек стояли небольшие киоски, в которых можно было напиться минеральной воды. Решив попробовать местную воду, я подошел к такому киоску. Симпатичная киоскерша осведомилась, сколько градусов я пью. Оказалось, что вода есть на 30, 50, 60 и 80 градусов. Полагая, что здесь как в водке, чем больше градусов, тем лучше, я спросил 80 градусов. Девушка очень удивилась (ведь такую воду пили только люди, одной ногой стоявшие в могиле, а мой внешний вид этого, по-видимому, не подтверждал), но попросила подождать, пока она приготовит такую воду. Надо сказать, что такой гадости, как эта горячая вода, я еще сроду не пробовал: полстакана выпил только для того, чтобы не обидеть милую девушку.

Осмотрев основные достопримечательности Кавминвод и переночевав в палатках у подножия Машука, мы пересчитали свои «ресурсы» и пришли к выводу, что пора ехать домой в Москву. Денег у нас осталось в обрез — на проезд в плацкартном вагоне, и то на весьма жесткой диете. На другой день, побродив еще по Пятигорску и Железноводску, мы отправились в Минводы в надежде в тот же день уехать в Москву. Но каково было наше разочарование, когда мы узнали, что люди здесь сидят неделями и не могут уехать на север из-за редкости поездов и их перегрузки. Я прошел в военную комендатуру и мне там по моему «литеру» выдали билет на скорый поезд Минводы—Москва, отправляющийся в 18.00 в тот же день.

Выхожу на перрон, мои друзья совсем загрустили: денег на житье мало, а шансов на быстрый отъезд никаких, ночевать негде — здесь не Пятигорск, палатку у вокзала не поставишь. Сложили мы свои вещи и предаемся горестным размышлениям. Я говорю: у меня, мол, есть билет до Москвы, девушек отправим по моему билету багажом, а Володя как-нибудь доедет на буфере. Оставшиеся деньги

можно и пропить. В это время мимо нас проходит старичок-железнодорожник и, по-видимому, сильно под мухой. «Это дело хорошее, — обратился он к нам, — если пропить, то и я вам могу составить компанию». Сперва Клава было погнала его, но потом выяснилось, что он проводник багажного вагона того поезда, на который у меня есть билет. Он завтра именинник, а его напарник заболел, и ему придется самому все время принимать и выдавать багаж, даже некогда обмыть свой 58-й год, а тут он услыхал про выпивку, и его осенила идея взять нас с собой в багажный вагон. Мы доедем до Москвы и по дороге будем ему помогать с багажом, а он сумеет достойно отметить столь знаменательное событие, как свой день рождения. Узнав об этом, наши девушки кинулись его целовать: ведь они были спасены — и на работу не опоздают! (В то время с этим было очень строго. За прогул немудрено было и срок получить.) Тут же мы перетащили свои вещи в стоящий неподалеку багажный вагон. Мы с Володей остались караулить вещи, а девочки отправились на базар запастись продуктами в дорогу, ведь до отхода поезда оставалось часа три-четыре. Через некоторое время они появились, неся с собой три буханки белого хлеба, два круга краковской колбасы, с полведра помидоров, несколько бутылок вина, килограмма два соленых огурцов и бутылку коньяка. Если огурцы, помидоры, даже вино можно было еще купить на базаре, то появление белого хлеба, колбасы и коньяка было нам с Володей совершенно непонятно. Оказалось, что Клава на радостях, что все устроилось так хорошо, сдала в торгсин свое золотое колечко и на полученные «деньги-боны» организовала это Лукуллово пиршество.

В скором времени вагон прицепили к поезду, и наш хозяин стал нас инструктировать, как управляться с багажом. Я надел его фуражку, а Володя — форменную куртку. Принимать багаж оказалось совсем несложно, а выдавать, как впоследствии выяснилось, еще проще: мы запускали в вагон хозяев багажа и предлагали самим забирать свои вещи. Между прочим, как это ни удивительно, за всю дорогу, до самой Москвы, не было ни одного недоразумения, несмотря на то,

что проводник всю дорогу либо пил, либо спал, либо похмелялся, и как он выразился по прибытию в Москву: «В первый раз совершил такую приятную поездку».

Перед самым отъездом я вспомнил, что у меня есть теперь совершенно мне ненужный билет на этот поезд, и решил для поправления наших финансов его продать (ведь многие не могли уехать из Минвод). Но настолько невероятным казалась людям покупка билета до Москвы непосредственно перед уходом поезда, что на перроне не нашлось ни одного человека, пожелавшего его купить. Ни в Невинномысской, ни в Тихорецкой, ни в Ростове я не смог продать билет, так и привез его неиспользованным в Москву.

Дорога до Москвы была на редкость веселой. У нас были продукты и вино, а наш проводник, оказывается, имел свои изрядные запасы того и другого. Менее чем через двое суток мы прибыли в Москву. Попрощавшись с железнодорожником, мы забрали свои вещи и отправились по домам. Я еще долго поддерживал самые дружеские отношения с Валей, Володей и Клавой и часто проводил с ними праздники и просто свободное время.

САМОЛЕТ «МАКСИМ ГОРЬКИЙ» И СЛУЖБА В АВИАЦИИ

Самоубийство Анатолия Александрова. — Испытания первых радиомаяков на линии Москва — Арзамас — Казань. — Успехи авиации и самолет АНТ-20 «Максим Горький». — Медкомиссия ГУГВФ и зачисление в агитэскадрилью им. М. Горького. — Оснащение и оборудование «Максима Горького». — Самолет АНТ-14 «Правда». — Доставка матриц «Правды» в Ленинград и вынужденная посадка близ деревни Дуняково. — В Ленинграде в день убийства Кирова. — Капитан Петражицкий и история воздушного боя. — Испытания и полеты на «Максиме Горьком». — Воздушный парад на Красной площади 1 мая 1935 г. — Авиационный праздник в Тушино 2 мая. — Полет с Сент-Экзюпери на «Максиме Горьком» 15 мая. — 17 мая (день 25-летия автора) и «пятидневка-непрерывка». — Роковой полет 18 мая: гибель «Максима Горького». — Звонок матери вместе с Зоей Р. — Самолет АНТ-9 «Крокодил» и облет крупнейших городов страны. — Несостоявшийся визит Молотова. — 10 суток ареста за пуговицу на спичке. — Гауптвахта на Моховой. — Работа над дипломным проектом. — Три месяца в Мурманске: наладка в торговом порту мощного коротковолнового передатчика «ДРК-1». — Проблема радиомаяков на трассе Москва — Ленинград. — 17 ноября 1936 года: Абрамов из «ЦК партии» высылает машину.

1

Работать я продолжал по-прежнему на своем старом месте, организуя связь с Беломорканалом по линии ГУЛАГ. Пожалуй, следует остановиться на одном весьма печальном инциденте, связанном с одним из выдающихся советских музыкантов — Александровым (старшим)*. Работая в ЦДКА, я был избран

* Александров Александр Васильевич (1883—1946), советский композитор, автор музыки Гимна СССР (1943), унаследованной и гимном Российской Федерации. В 1928 году, вместе с Ф. Н. Даниловичем и П. И. Ильиным, создал всеармейский хоровой ансамбль, которому

членом бюро комсомольской организации. Секретарем у нас был комсомолец 20-х годов — Беренц, человек очень честный и принципиальный. В те времена только создавался пользующийся до сих пор всемирной известностью ансамбль Красноармейской песни и пляски под руководством профессора А. Александрова (впоследствии генерала, народного артиста СССР, многократного лауреата, автора музыки Гимна СССР, знаменитой песни «Идет война народная»* и пр.).

В нашей организации состоял младший из семьи Александровых — Анатолий, который работал в Театре Красной Армии электромонтером. Это был всегда очень замкнутый, молчаливый и небрежно одетый парень. Никогда ни с кем не дружил, всегда держался обособленно и никогда не брал комсомольских поручений. Его считали в организации балластом и если держали, то только из уважения к имени отца. Однажды утром уборщица театра нашла нашего Толю висящим за кулисами сцены. Около трупа была найдена записка, в которой он писал, что кончает свою жизнь совершенно добровольно из-за невыносимых домашних условий. Наш Беренц употребил всю свою энергию для определения истинных причин этого самоубийства и на закрытом бюро изложил все, что ему удалось узнать. Оказалось, что в семье Александровых буквально все были очень талантливыми музыкантами и настолько же заядлыми алкоголиками: все — кроме Толика, который один в семье не обладал никакими музыкальными талантами, но и в рот не брал ни капли спиртного. На Толика смотрели как на паршивую овцу, в семье его третировали, а частенько, под пьяную руку, и поколачивали. Часто его выгоняли из дома и ему приходилось ночевать за кулисами сцены театра, где однажды в припадке отчаяния он и повесился, оставив записку, непонятную для людей, не знавших истинных условий его жизни.

после смерти Александрова было присвоено его имя. Народный артист СССР (1937).

* Имеется в виду патриотическая песня «Священная война», ставшая своеобразным гимном защиты Отечества. Написана А. В. Александровым на стихи В. И. Лебедева-Кумача, опубликованные 24 июня 1941 года.

Все члены нашего бюро были возмущены открывшимися фактами и приняли постановление возбудить дело против членов этой семьи, доведших Толика до самоубийства. Сверху сразу же пришло строгое указание: «Александровых не трогать!». Не знаю, как это все оформили юридически, но нам сказали, что это дело не в нашей компетенции, а чересчур напористого Беренца куда-то перевели. Так я впервые получил урок, что закон для разных рангов применяется поразному.

Работая в военном учреждении, я всегда с некоторой завистью поглядывал на летчиков, щеголявших в открытых темно-синих френчах и крагах. Все газеты были полны описаниями их подвигов, и мало кого из молодежи не прельщали их лавры. Нечего и говорить, что я мог подолгу простаивать, любуясь пролетающими самолетами. Как радист и студент я уже имел некоторый опыт не только в радиосвязи, но и в настройке и регулировке сложной приемо-передающей радиоаппаратуры.

Как-то летом через моего приятеля Мишу Прокопченко, работавшего в гражданской авиации, мне предложили принять участие в испытании первых радиомаяков на линии Москва — Арзамас — Казань в качестве бортрадиста на самолетах АНТ-9 и с оплатой по десять рублей за летный час. Рейсы небольшие, по четыре часа, но какое это имеет значение? Правда, я всего лишь нештатный радист авиации, но все-таки хоть каким-то краем причастен к гордым соколам, крылатому племени (в то время газеты очень любили так величать всех работников авиации), а я об этом только и мечтал (да и «десятка» в час тоже была отнюдь не лишней).

Авиация в те времена у нас действительно развивалась бурными темпами. В ознаменование сорокалетия литературной деятельности А. М. Горького был построен самый крупный в мире сухопутный самолет «Максим Горький»: 52 тонны полный полетный вес, 64 метра размах крыльев, 14 метров высота от земли, 8 моторов М-34Р общей мощностью 6800 л. с., 12 часов беспосадочного полета с крейсерской скоростью 175 км в час. По тем временам все это были мировые рекорды! Конечно, я и мечтать не мог о работе

на таком самолете. Мы были убеждены, что на нем и люди должны быть какие-то необыкновенные.

Но меня взяли работать именно на нем, хотя и совершенно случайно. Свои прежние полеты я проводил неофициально, медицинской комиссии по авиации никогда не проходил (а зверствовала она тогда не хуже, чем сейчас в космонавтике). Внешне мои физические данные никогда не были особенно блестящими: рост — ниже среднего, почти средний; упитанность не ахти; вообще фигура неэффектная, рекордов в спорте никогда не ставил и репутации здоровяка не имел. Но никто не обращал внимания на то, что я мог без всякой одышки пробежать несколько километров, играть подряд 5—6 часов в лаун-теннис. Я не знал, что такое врачи (кроме зубного), и даже в самые жестокие гриппозные эпидемии никогда не бывал на бюллетене.

А по-настоящему в авиацию я попал так. Был на нашей радиостанции радист Коля Михалев. Бывший черноморский моряк, коренастый крепыш, спортсмен-разрядник, крестился двухпудовой гирей, всю зиму ходил в матросском бушлате. Как-то поссорившись с женой, он сгоряча завербовался на зимовку на Северную Землю, куда и отправился на ледоколе «Садко»[*]. Из-за трудных ледовых условий на Северной Земле уже три года не могли сменить зимовщиков. Не удалось это и «Садко». Зимовщики Северной Земли остались зимовать четвертый год[**], а Коля вернулся в Москву. С женой он сразу же помирился, а его полярный пыл значительно поостыл под влиянием неблагоприятной ледовой обстановки в северо-восточной части Арктики.

---

* Ледокольный пароход английской постройки (1913). В 1916 году приобретен Россией и назван в честь былинного русского героя. В том же году затонул в Кандалакшской губе. Поднят в 1933 года и начиная с 1934 года вновь на ходу. Внес значительный вклад в осовоение Северного морского пути. Вновь затонул в 1941 году в Карском море.

** На полярных станциях запасы продовольствия, топлива и т. п. были рассчитаны самое большее на три года, но бывали случаи, когда новые запасы приходилось сбрасывать на парашютах с помощью военной авиации.

Однажды мы встретились с Колей в одной компании. Немного выпив, он рассказал, что пытался устроиться бортрадистом на «Максим Горький», все инстанции прошел, но его забраковала медкомиссия по сердцу. Услышав эту историю, я, как заяц во хмелю, стал хвастать тем, что меня-то медицина не забракует. Это заявление было поднято на смех всеми присутствовавшими (что было вполне логичным после сравнения наших с Колей внешних данных). Потеряв контроль над собой, я предложил пари, что завтра же пройду успешно медкомиссию для работы на «Максиме Горьком». Пари было тут же принято, а присутствовавший в компании мой непосредственный начальник А. Д. Гусаров, в 1937 году также репрессированный, сказал, что если я пройду медкомиссию, то он не будет чинить препятствий моему переходу в авиацию. Утром, проснувшись с не совсем свежей головой, я вспомнил про пари, срок которого истекал вечером.

Самолет «Максим Горький» должен был войти в состав агитэскадрильи имени М. Горького. Штаб эскадрильи помещался тогда на втором этаже Петровского пассажа. Взглянув на меня, начальник штаба Жуковский, видимо, тоже усомнился в моей пригодности к летно-подъемной работе, но так как радист на самолет был нужен позарез, а целый ряд кандидатов на эту должность был забракован медкомиссией, то направление на медкомиссию все же подписал. (Номинально Жуковский считался сыном известного ученого, именем которого была названа Военно-воздушная академия, но на лицо куда более походил на заместителя предсовнаркома СССР Яна Рудзутака*, чей портрет к тому же висел над его креслом. Поговаривали, что Рудзутак, находясь на нелегальном положении, некоторое время скрывался на квартире у Жуковского, где мадам Жуковская предпочла на это время молодого Яна своему старому и рассеяному мужу, но ребенка все же назвали Жуковским.)

---

* Рудзутак Ян Эрнестович (1887—1938), революционер-большевик, советский гос. деятель, в 1926—1937 член ЦК ВКП(б) и зам. председателя СНК и СТО СССР. Всю жизнь прожил холостяком. В 1937 арестован и в 1938 расстрелян.

Почти без надежды на успех я отправился в поликлинику ГУГВФ в Старопименовском переулке около Тверской. Несмотря на все опасения, комиссию я благополучно прошел, но во время проверки сердца и вестибулярного аппарата случилась заминка: прибор, который должен был регистрировать отклонение работы сердца от нормы, вообще не писал ничего. Вызвали главного профессора, и он заявил, что за 50 лет практики впервые видит такое. И добавил: «Сподобил Господь бог на старости лет узреть», — после чего созвал коллег, чтобы вместе посмотреть на сердце без изъянов.

В тот же вечер, как говорится, на глазах у ошеломленной публики я получил выигранное пари и через два дня уже прошел приказом по агитэскадрилье как бортрадист самолета АНТ-20 «Максим Горький». Это произошло в ноябре 1934 года. Самолет произвел всего несколько кратковременных полетов над Москвой и на зиму был поставлен в ангар ЦАГИ на центральном аэродроме в Москве. По размаху крыльев он впритык входил в этот ангар, но хвост уже не помещался, и пришлось выломать часть задней стенки, а высунувшийся хвост плотно закрыть брезентом. (При этом пришлось немного потеснить и знаменитый «РД»*, за беспосадочный полет на котором в направлении Дальнего Востока М. М. Громов** первым после челюскинцев получил звание Героя Советского Союза.)

Экипаж самолета еще не был полностью укомплектован, только основной костяк. Командиром экипажа назначили заслуженного летчика СССР, награжденного орденами Ленина и Боевого Красного Знамени, — Ивана Васильевича Михеева***. Невысокого роста, коренастый, с открытой улыбкой,

---

* «Рекорд дальности», иначе АНТ-25.

** Громов Михаил Михайлович (1899—1985), советский летчик-испытатель. 28 сентября 1934 года за установление мирового рекорда дальности по замкнутой кривой на расстояние свыше 12 тыс. км удостоен звания Героя Советского Союза. В 1937 году вместе с А. Б. Юмашевым и С. А. Данилиным совершил перелет Москва — Северный полюс — США.

*** Михеев Иван Васильевич (1898—1935), авиамеханик и летчик-испытатель.

всегда невозмутимо спокойный и, как я впоследствии обнаружил, чрезвычайно похожий внешне на первого космонавта Ю. А. Гагарина. Справедливость, требовательность, большое личное обаяние, высокое летное мастерство — все эти качества Михеева высоко поднимали его заслуженный авторитет среди экипажа самолета. Сам бывший бортмеханик, он обращал главное внимание на подбор механиков: как главный механик Федор Сергеевич Матвеенко*, так и его помощник Николай Осипович Матросов** — оба были профессионалами от бога.

Несколько слов об оборудовании: восемь моторов М-34Р по 850 л. с. каждый (по три в плоскостях и два на центроплане — «тандемом», то есть вместе сочлененные — один тянущий, другой толкающий), собственная электростанция на 40 киловатт, специально изготовленная типография с облегченным шрифтом, позволяющая в полете печатать любые материалы, автоматическая телефонная станция на 22 номера, соединяющая все основные службы самолета, специальная кабина для машинистки-стенографистки, четырехместное купе с мягкими спальными местами, буфетная стойка с холодильником и хорошенькой буфетчицей, киноаппарат с выносным экраном, позволяющий на стоянке обслужить аудиторию в несколько тысяч человек, и, конечно, радиооборудование. Оно справедливо считалось гордостью самолета: три передающих радиостанции в диапазонах коротких, средних и длинных волн, отдельный приемный радиоцентр, состоящий из самых современных по тем временам аппаратов, позволяющий вести прием на автоматические записывающие приборы. Но коронным номером в радиооборудовании был «Голос с неба». Это был голос с неба в самом буквальном смысле: на самолете был смонтирован мощный усилитель, а в левой плоскости установлены четыре динамических громкоговорителя по 100

---

* Матвиенко Сергей Федорович (1895—1935), бортмеханик. У автора перепутано имя и отчество.

** См. о нем в: *Туманский А. К.* Полет сквозь годы. М. : Воениздат, 1962. С. 199.

ватт каждый, работающие в один общий рупор. Звуковая мощность этого устройства была такова, что когда самолет летел на высоте 500—800 метров над землей, то, несмотря на шум восьми его работающих моторов и городского транспорта, разговор или музыка, воспроизводимые громкоговорителями самолета, были отчетливо слышны в радиусе двух-трех километров под «Голосом с неба» даже на самых оживленных московских улицах.

Самолет и его оборудование были уникальными, и меры по его охране также были приняты чрезвычайные. Несмотря на то что ангар ЦАГИ, в котором зачастую находились многие новейшие и секретнейшие авиационные разработки, бдительно охранялся, у самолета «Максим Горький» круглые сутки стоял часовой, который пропускал только лиц, имевших на служебном пропуске штамп «М. Г.».

Не обошлось, конечно, и без курьезов: весь экипаж самолета перед допуском на работу проходил особо тщательную проверку по сугубо строгой форме, и пропуска на самолет выдавались по мере прихода в спецчасть эскадрильи из компетентных органов особых допусков, которые означали, что данный человек не вызывает у них никаких подозрений. Тогда экипажу выдавали постоянные пропуска в ангар ЦАГИ со штампом «М. Г.», со строгим предупреждением об особой ответственности при их утере. Допуск выдавали не сразу, а с большой задержкой, причем никаких справок о причинах задержки спецчасть не давала, а стандартно отвечала: «Мы допуска не задерживали, как только приходят, тут же выдаем», — и на этом окошко спецчасти закрывалось. Дольше всего этот допуск не выдавали командиру И. В. Михееву. Положение становилось трагикомическим: все на работе у самолета, а командир сидит в штабе эскадрильи и не имеет права даже взглянуть на свой самолет. Особенно это было нелепо, если учесть, что кандидатура Михеева на эту должность утверждалась в высших инстанциях, чуть ли не в Политбюро.

Хорошо еще, что командиром агитэскадрильи был известный писатель, редактор чуть ли не всех центральных журналов, член редколлегии «Правды», журналист с мировым именем Ми-

хаил Кольцов*. Каким-то способом ему удалось установить, что допуск Михеев не получает, потому что в деревне, где он родился и где Михеевых почти половина жителей, один из его однофамильцев, также Иван Васильевич, одного с ним года и даже дня рождения, за какие-то неблаговидные дела был судим. По-видимому, работники НКВД не читали газеты и не слушали радио, иначе они бы знали, что командиром самолета-гиганта «Максим Горький» назначен старый коммунист, дважды орденоносец, заслуженный летчик СССР Иван Михеев. В результате хлопот Кольцова недоразумение было улажено, и командира все же допустили на борт. Наконец весь экипаж оказался в сборе. Начались работы по окончательной доделке самолета и сдаче его конструктором и изготовителем (ЦАГИ) — приемщику и заказчику (агитэскадрилье им. М. Горького).

Нас, радистов, было двое: инженер Константин Васильевич Байдун**, бывший сотрудник Нижегородской военной радиолаборатории, и я. Вся аппаратура была испытана в лабораториях, и после ее монтажа на самолет предполагалось, что зимой, пока полетов не будет, мы, радисты, будем следить за ее состоянием и осваивать документацию и эксплуатацию оборудования.

Но не тут-то было: некоторые из изготовителей, в целях облегчения аппаратуры (ведь в авиации каждый килограмм на учете), изготовили ее кожуха из нового металла — электрона (смесь алюминия с чем-то еще)***, а он при резких изменениях

---

* Кольцов (Фридлянд) Михаил Ефимович (1898—1940), писатель, партийный идеолог, журналист, фельетонист «Правды», основатель и редактор популярных журналов «Огонек», «Крокодил» и «Чудак», редактор журнала «За рубежом», член редколлегии «Правды», руководитель Журнально-газетного объединения и агитэскадрильи им. М. Горького, в которой служил Л. Хургес.

** Впоследствии работал во Всесоюзном государственном институте телемеханики и связи (современный Морской научно-исследовательский институт радиоэлектроники «Альтаир» в составе «Концерна ПВО «Алмаз-Антей») и проявил себя в создании радиоаппаратуры для управления стрельбой из орудий главного калибра на крейсерах с учетом так называемых всплесков взрывов снарядов при недолетах.

*** Электрон — сплав на основе магния (до 90%). Загорается от спички и коррозионно нестоек.

температуры и влажности в сильнейшей степени подвержен коррозии. Вот и получилось, что почти все кожухи радиоаппаратуры, изготовленные из электрона, превратились в труху. Пришлось все демонтировать, отправлять изготовителям, а потом заново монтировать в более тяжелых, но все же надежных дюралевых кожухах. И все это — вдвоем, причем в очень сложных условиях. Приходилось залезать в самые труднодоступные места радиорубок, согнувшись в три погибели, а ведь каждый отсоединенный провод (а их были сотни!) забирковать, причем любая ошибка могла иметь очень серьезные последствия, вплоть до пожара в самолете. Вместо зимнего курорта — очень напряженная, ответственная и физически тяжелая работа. Посторонних специалистов к этому делу нельзя было привлекать, так как у них не могло быть допуска, а о задержке приемки самолета из-за неисправности радиоаппаратуры даже страшно было подумать. И приходилось нам с Байдуном сутками просиживать в самолете (спасибо, что он стоял зимой в ангаре, где было сравнительно тепло), а поскольку Байдун и по должности, и годами старше меня, то естественно, что залезать в самые недоступные места приходилось младшему из нас. Бывало, вылезешь из такого места и минут пять спины не можешь разогнуть. Но несмотря ни на что, радиоаппаратура была приведена в полную готовность еще задолго до первого весеннего вылета.

Кроме работы на «Максиме Горьком» у меня были еще обязанности. В эскадрилье имелся еще один уникальный самолет АНТ-14 «Правда» (подарок от редакции одноименной газеты; почти все крупные самолеты в ней были «подарками» от разных советских газет и журналов, как, например, «Известия», «Работница», «Крокодил» и многие другие). Пятимоторный и 36-местный пассажирский самолет, пилотируемый летчиками-краснознаменцами Василием Ивановичем Чулковым (в Отечественную дослужился до генерал-майора, умер в Москве в 1971 году) и Иваном Ивановичем Нусбергом (до эскадрильи бывшим командиром киевской авиабригады, стал в 1937 году жертвой культа личности

Джугашвили)[*], этот самолет совершал регулярные платные полеты над Москвой, катая всех желающих (билет стоил 25 рублей), от которых не было отбоя. На этом самолете была смонтирована маломощная радиостанция типа 11-СК-1.

Летом АНТ-14 совершал рейсы по Союзу, и были случаи отказов в работе этой радиостанции по невыясненным причинам. Необходимо было выявить их неполадки и устранить их. Летал я на АНТ-14 довольно часто, и все время радиостанция, как назло, работала безупречно. Я уже было хотел прекратить ее испытания, положившись на недостаточную компетентность моего предшественника на этом самолете, но как-то однажды в полете включаю радиостанцию — а она не работает, нет высокого напряжения с «ветряка»-генератора. Проверил все цепи — в порядке, через некоторое время радиостанция опять заработала нормально. Это самый скверный вид повреждения: внезапно появляющийся и так же внезапно исчезающий. Долго я бился над ним, ведь самое неприятное, что радиостанция питалась от динамо-машины, приводимой во вращение специальным ветряком, который раскручивался только в полете. Так что все свои испытания я мог производить только во время полетов (не слишком частых и очень кратковременных, по два круга над Москвой).

Все же причину отказов я установил: дело было в резких рывках вращения «ветряка» в полете. При этом происходило полное размагничивание и даже перемагничивание электромагнитов возбуждения генератора, что и приводило к отсутствию напряжения на его зажимах. Путем несложной коммутации, подав напряжение от аккумуляторов питания приемника на катушки возбуждения генератора, я устранил всякую возможность отказов работы радиостанции. В дальнейшем мне пришлось довольно часто летать на АНТ-14, и радиостанция меня ни разу не подводила.

---

* Нусберг Иван Иванович (1893—1949) — летчик-испытатель. С 1933 года — пилот-агитатор Особой свободной авиационной агитэскадрильи им. М. Горького. Арестован 12 августа 1938 года, приговорен 2 июня к 8 годам Колымы за шпионаж, отбывал начало срока на прииске Линковом Сусуманского района, затем в Берелехе, Нагаево, Сусумане. В 1947 году освободился, возратился в Москву.

2

Но впоследствии круг моих обязанностей еще расширился. Был в ГВФ так называемый отряд особого назначения (чаще называемый отрядом «Правды»), которым командовал известный летчик Василий Иванович Каминский, один из немногих героев Гражданской войны, кого наградили тремя орденами Боевого Красного Знамени. Один из близких друзей нашего командира И. В. Михеева, он узнал о радисте, починившем капризную радиостанцию на АНТ-14. Каминский попросил меня у Михеева «в аренду» — поработать на доставке матриц газет из Москвы в Ленинград, благо аппаратуру на «Максиме» мы привели более-менее в порядок, а караулить ее может и один человек. И вот я предстал перед Каминским, познакомившим меня с пилотом, с которым мне надлежало летать, — летчиком-краснознаменцем Алексеем Янышевским*, оказавшимся мне немного знакомым: с ним я еще в 1932 году впервые поднялся в воздух на АНТ-9 во время испытаний радиомаяков на линии Москва — Арзамас — Казань.

Надо сказать, что трасса Москва — Ленинград в те времена не вызывала приятных эмоций у летчиков, особенно зимой: частые туманы, иногда сопровождающиеся обледенением самолета, отсутствие на трассе ровных, безлесных мест, из-за чего сложно было совершить благополучную вынужденную посадку. Поэтому аварийность полетов была высокой. А летать нужно было в любое время — и зимой и летом, и в темноте и в тумане, иначе Ленинград оставался без свежих центральных газет.

Радиомаяки, установленные в Москве и Ленинграде, были недостаточно мощными, из-за чего в середине трассы оставалась довольно большая (порядка 100—150 километров) зона, в которой прекращалась слышимость обоих маяков. Кроме того, ленинградский маяк часто выключался по техниче-

* Янышевский Алексей Петрович (1894—1942), летчик 15 авиаотряда, награжден орденом Красного знамени РСФСР (1925). Во время войны — зам. командира эскадрильи 101 Гвардейского Красносельского авиаполка дальнего действия.

ским причинам. Поэтому пилоты, не доверяя маякам, летали только по «железке» (железной дороге Москва—Ленинград), а в туманы вообще отказывались летать, требуя бортрадиста, которого у Каминского не было. Увидев нового специалиста, Янышевский что-то хмыкнул насчет «детского сада», а мне заявил: «Это тебе не летом из Арзамаса в Москву яйца возить», — намек на то, что мы с ним во время испытаний маяков в 1932 году иногда привозили из Арзамаса в Москву дешевые яйца, причем во время взлета и посадки я держал ведра с яйцами на весу. Порекомендовав запастись парой нижнего белья, Янышевский велел мне быть на взлетной площадке на следующее утро к 5 часам 30 минутам, вылет в 6 часов 15 минут — сразу же после доставки на самолет матриц «Правды». Так как было уже поздно, я, предупредив домашних по телефону, что на пару дней улетаю в Ленинград, отправился ночевать в «дежурку», и поутру, надев меховой комбинезон и шлем с наушниками, в назначенное время уже был на старте.

Самолет типа П-5 (разоруженный военный Р-5) стоял наготове, а сидящий в кабине пилота механик прогревал мотор. Несмотря на довольно глубокий снег в конце ноября, самолет был на колесах, а взлетную полосу для него утрамбовали трактором (в Ленинграде еще снега не было и самолеты на лыжах не принимали, что впоследствии спасло нам жизнь, о чем пойдет речь дальше). Тут меня поразило еще одно обстоятельство: везде на аэродроме запрещалось курить на расстоянии менее пятидесяти метров от самолетов и стояли таблички с грозными надписями: «За курение — под суд». А тут (днем этого не было видно) весь мотор был буквально в огне, из выхлопных труб вырывались длинные языки синего пламени. Сперва я испугался, ожидая неминуемого пожара, но увидел, что окружающие спокойно стоят, не обращая на огонь из выхлопов никакого внимания. Тогда я понял, что это в порядке вещей, и, успокоившись, надел парашют и с трудом забрался на свое место сзади пилота: самолет был открытым и двухместным.

Было еще совсем темно, когда прибыл Янышевский. Опробовали мотор, убрали из-под колес колодки, стартер

взмахнул флажком, и мы взлетели. Опустив скамейку вниз, чтобы укрыться от ураганного ветра, я включил приемник и настроился на московский радиомаяк. Слышимость обеих букв «А» и «Н» была одинакова, это означало, что самолет идет точно по курсу. Стоит только чуть-чуть сбиться влево — сейчас же усиливалась слышимость буквы «А» и ослабевала слышимость буквы «Н», при уклонении вправо — наоборот.

Под нами раскинулось море огней пробуждающейся Москвы. Облачность низкая. Пилот набирает высоту. Входим в облака, сразу такая промозглая сырость, туман густой, спина пилота еле видна. Ощущение не из приятных, ведь я впервые лечу ночью в открытом самолете, да еще в тумане! Но, видя спокойствие пилота, понемногу успокаиваюсь и я. Пробили облака. Показались звезды, луны нет. Сразу стало суше и даже как-то теплее. Маяк в наушниках оглушительно ревет: «А—Н», «А—Н», я по просьбе пилота немного убавил громкость. Кругом темно, только ровно гудит мотор, окрашенный синеватым пламенем огня из выхлопных труб.

Ночь я спал плохо, волновался перед необычным полетом, а сейчас, когда все было в порядке, я пригрелся и незаметно уснул. Проснулся внезапно от странного ощущения. Открыл глаза, и первым желанием было ущипнуть себя: чистое небо, плавно переходящее от ярко-розовых в нежно-голубые тона, под самолетом что-то белое, комками, вроде огромных тюков ваты, брошенных в беспорядке и окрашенных в белые, розовые, лиловые и синие цвета. И самое удивительное — два солнца! Именно два, почти одинаковой яркости, в разных концах неба. Только одно желтоватого оттенка, а другое голубоватого. Сразу вспомнились рассказы моего любимого писателя (и человека!) А. Богданова* — известного старого коммуниста и очень талантливого писателя-фантаста, специализировавшегося на межпланетных путешествиях в другие звездные миры. (Назначенный директором Центрально-

* Богданов (Малиновский) Александр Александрович (1873—1928), один из старейших большевиков, теоретик Пролеткульта (1918), создатель тектологии — всеобщей организационной науки, автор социально-утопических романов «Красная звезда» (1908) и «Инженер Мэнни» (1912), директор НИИ переливания крови (1926—1928).

го НИИ экспериментальной медицины, он погиб, производя над собой опыты по переливанию крови. Впоследствии методика, одним из основоположников которой он был, спасла жизнь миллионам и миллионам людей.) Первой моей мыслью было, что мы уже мертвы и находимся в другой звездной системе с двумя солнцами. Но тут же поймал себя на несообразности: самолет-то цел, мотор работает, и только огней от него почему-то не видно, значит просто рассвело. Но второе солнце! Откуда оно? Пишу на листе картона пилоту: «Откуда второе солнце?». Он оборачивается и, улыбаясь, кричит: «Это луна!». Итак, все встало на свои места. Мы живы, я выспался, солнышко начинает пригревать, второе солнце — луна постепенно исчезает, и под нами ослепительно блестят облака.

Гляжу на альтиметр — 2500 метров высоты. Московский маяк работает нормально, но слышимость его начинает ухудшаться. Прибавляю громкость, благо «запас» у меня еще есть. Но вот он кончается, приемник на максимуме чувствительности. Москва почти пропадает, а Ленинграда нет. Вспомнил про зону непокрытия маяков и нецензурным словом помянул строителей этой проклятой трассы. Пилот все время оборачивается: «Где маяк?». А я только руками развожу: кручу ручку настройки приемника. Слышно много станций — и наших, и иностранных, музыка, разговор, приемник работает отлично, а ленинградского маяка нет! Земли не видно, внизу сплошная облачность, без каких-либо «окон». Пилот взял курс и идет по компасу. Московский маяк давно пропал, а ленинградского все нет!

По времени прошли две трети пути. Пилот начинает нервничать, и только из-за рева мотора я не слышу его «комплиментов» радио и мне. Идем без маяка вслепую — по приборам, а какие тогда были аэронавигационные приборы, знают только пилоты тех времен. Недаром И. И. Проскурову за слепой полет Москва—Днепропетровск и обратно дали один из высших тогда орденов — орден Красной Звезды*! Но всему приходит конец. По времени мы уже почти в Ле-

* Проскуров Иван Иосифович (1907—1941), с октября 1936 по июнь 1937 года воевал в Испании, командир 1-й интернациональной

нинграде, а внизу кроме сплошной ваты облаков ничего не видно. Единственная надежда на что, что облачность не до самой земли и внизу мы сумеем сориентироваться.

Пилот дает ручку от себя, и мы входим в облака. Днем это еще неприятнее, чем ночью. Как будто тебя вдруг окунули в холодное молоко. Видны только приборы на щитке. Стрелка альтиметра быстро падает: 2000—1800—1300… 400—200—100… 0, а кроме сплошного белого (точнее серого) тумана кругом ничего нет. Да и альтиметру полностью верить нельзя: во-первых, он барометрический, инерционный, во-вторых, на ноль он установлен в Москве, а она имеет перед Ленинградом превышение более чем на сто метров, так что даже если пренебречь инерционностью, то все равно не скажешь, где земля при нуле альтиметра, то ли до нее двести метров, то ли двадцать. Кругом сплошной туман, ничего не видно, а мы мчимся, учитывая снижение, со скоростью километров двести в час. Выровняв самолет, пилот некоторое время ведет его по прямой (да и то сугубо условно, ведь на приборы ориентировки самолета в пространстве положиться нельзя, они тоже инерционные), рискуя каждую секунду врезаться в любой высокий предмет, потому что точной высоты над землей пилот не знает.

А время все идет, и судя по нему мы находимся уже далеко за Ленинградом — либо над Балтийским морем, либо над Финляндией, так как мы не знаем не только высоты над землей, но и направления и скорости ветра, который, безусловно, существует и сносит с заданного курса. Но оба варианта нас, конечно, не устраивают, хотя «Балтийский» предпочтительней, так как лучше погибнуть в море, чем залететь в Финляндию (всех летчиков, случайно пересекших границу, в те времена автоматически причисляли к «изменникам родины» со всеми вытекающими из этого последствиями, вплоть до репрессий — десять лет заключения для их родственников*). Но вроде туман стал редеть, и вот уже начали

бомбардирочной эскадрильи «Испания», Герой Советского Союза (1937), генерал-лейтенант (1940), расстрелян.

* 8 июня 1934 года принят закон об измене родине (смертная казнь, коллективная ответственность членов семьи), а 9 июня 1935 года — закон о введении смертной казни за бегство за границу.

виднеться края плоскостей, и вдруг что-то черное буквально налетело на нас — земля! Только большой опыт и мгновенная реакция пилота спасли нас от верной гибели. Резко рванув ручку на себя, он ушел от земли и затем очень аккуратно начал снижаться. И вот, слава богу, видна земля. Редкий сосновый перелесок, видимо глубокий снег. Значит не море, а ушли вправо к Финляндии. Ни одного селения или дома. Туман над самой кромкой деревьев, и мы идем на бреющем полете по самым вершинкам редких сосенок. О посадке не может быть и речи, ни одной мало-мальски пригодной для этого площадки нет. Туман быстро редеет, уже появились «окна» в облаках, проглядывает скудное зимнее солнышко. Можно бы прибавить высоты, а самолет все идет по самым макушкам деревьев. Толкаю пилота и показываю ему вверх, а он в ответ — на плоскости и сектора газа. Плоскости и скрепляющие их стропы, до этого неподвижные, трясутся как в лихорадке, сектора газа введены до отказа, а самолет еле-еле тянет по прямой, да и звук мотора как-то изменился — барахлит мотор. Это худшее, что могло с нами случиться!

Высоты нет, прыгать с парашютом нельзя, надо садиться, но кругом лес, причем редкий. На густой лес еще можно попытаться сесть, есть шанс остаться в живых, но редкий лес — верный «гроб». Вариант с Финляндией, к счастью, отпал, не видно ни финских селений, ни озер, нас, по-видимому, притормозил встречный ветер, а то по времени мы бы давно должны были пересечь границу. А мотор тянет все хуже и хуже, вот-вот врежемся в землю. Вдруг появляется деревенька, домов так тридцать или сорок, сразу видно — наша, часть крыш крыта соломой. На краю деревни лужайка метров семьдесят-восемьдесят, а за ней глубокий овраг и лес (а идем мы со стороны леса). Размышлять некогда, мотор уже почти не работает, не сядем немедленно — врежемся в землю. Лужайка покрыта глубоким снегом, а мы на колесах, это-то нас и спасло. На лыжах у «Р-5» посадочное расстояние триста-пятьсот метров, а в нашем распоряжении не более восьмидесяти, так что, будь мы на лыжах, неизбежно врезались бы в крайний дом деревеньки, со всеми вытекающими отсюда последствия-

ми. А на колесах, зацепив заборчик около оврага, пропахали снег метров на сорок. Резкий толчок (я довольно сильно стукнулся головой о приборный щиток, выручили меня шлем и подшлемник). Самолет ткнулся носом в снег, пропеллер на куски, фюзеляж стал вертикально «на свечку», и самолет медленно перевернулся кверху колесами (в авиации такая посадка называется «полный капот»). До крайнего дома деревни не «добежали» мы метров тридцать. Я попал головой в сугроб, потому что во время посадки не был привязан. Подбежавшие крестьяне вытащили меня за ноги (потом говорили, что я был белее снега — еще бы, было с чего!), потом взялись за Янышевского, который успел сам отвязаться от кресла и висел теперь вниз головой на шнуре от наушника и отчаянно крыл бога, веру и радио. Освободили и его. Огляделись: оба живы и относительно здоровы, если не считать легкого шока у меня и нескольких синяков на лице у Алексея.

Осмотрели самолет: винт — на куски, шасси тоже, сильно помята верхняя плоскость и вертикальный стабилизатор. Лететь дальше на таком самолете, даже если его установят в нормальное положение, явно затруднительно, ну что ж поделаешь. Почесали затылки, забрали свои парашюты и пошли греться в хату председателя колхоза. Оказалось, что сели мы в деревне Дуняково, Заховского сельсовета, Киришского района Ленинградской области. Спасибо ветру, не дотянули мы до финской границы километров восемьдесят. Теперь самое главное — матрицы «Правды» и других центральных газет, а ведь их задержка уже политическое дело. Их надо доставить как можно скорее в Ленинград, иначе он останется сегодня без прессы. Председатель колхоза, коммунист, быстро понял все, без лишних разговоров запряг лошадь и повез матрицы на ближайшую железнодорожную станцию Андреево, откуда их с первым же поездом должны были переправить в Ленинград.

Я съездил в сельсовет, где был телефон, и соединился с районным ГПУ, сообщил о происшествии, попросил их оказать содействие в отправке матриц из Андреева в Ленинград и известить наше начальство обо всем, что случилось. Через некоторое время из районного ГПУ мне передали, что Москва ве-

лела нам с Янышевским ждать на месте прибытия комиссии, которая определит степень повреждения машины, а по возможности и причину аварии. Управившись с этими делами, мы отправились к самолету, охранять который председатель колхоза поставил надежного комсомольца с дробовиком.

Подошли и видим: со всех сторон нашего сторожа обступили женщины с ведрами. Откуда-то они узнали, что в самолете еще остался бензин, и наперебой уговаривали парня налить им «керосинчику» заправить лампы (в Дунякове и окрестных деревнях уже давно забыли, что такое керосиновая лампа, и вечерами, для совещания, жгли дедовскую лучину). Подоспели мы вовремя, потому что, несмотря на свою комсомольскую стойкость, парень уже явно начинал сдаваться (то ли подействовали родные, то ли знакомая девушка, но, во всяком случае, приди мы на час позже, часть оставшегося бензина оказалась бы в ведрах у крестьянок). Никакие объяснения, что это не керосин, а специальный авиационный бензин, что он в лампах не будет гореть, а взорвется и спалит всю деревню, не помогли: «Ты только налей, сыночек, мы его солью разведем, а уж жечь будем аккуратно, ты уж не беспокойся!». Поняв, что разговоры здесь бесполезны и сторож рано или поздно уступит и начнет раздавать бензин, а уж тогда от деревни мало что останется, потому что соль никак не сможет уменьшить октанового числа нашего бензина и он мгновенно вспыхнет при поднесении огня к фитилю лампы, пилот решил на глазах у всех слить бензин в землю, что и было немедленно сделано. Можно себе представить, какую реакцию это вызвало у разъяренных женщин, прибежавших по морозу с ведрами даже из окрестных деревень. Мы хотя и спасли их и Дуняково от неминуемого пожара, но оказались в состоянии «холодной войны» со всеми местными женщинами, а так как всю политику обычно творит прекрасная половина человечества, то уж рассчитывать на получение чего-либо съестного нам не приходилось.

Покончив с бензином, мы отправились в хату председателя колхоза, который нам ее любезно предоставил для проживания до приезда комиссии. В честь нашего прибытия он

устроил парадный обед: на столе стояла большая деревянная чашка с так называемыми щами. Они представляли собой мутноватую воду с редкими вкраплениями капустных листочков, кусочков картофеля и с еще более редкими кружками какого-то жира на поверхности. Что касается хлеба, то такого «хлеба» я не видел, пожалуй, со времен Гражданской войны, когда в Москве выдавали по осьмушке на человека на три дня. Дегтярно-черного цвета, состоящий более чем наполовину из соломы, лебеды и прочих «ингредиентов», этот хлеб при желании можно было выжать как половую тряпку. В обычное время меню председателя колхоза этим и ограничивалось, но в честь прилета московских гостей было приготовлено и второе — горшок гороховой каши. Когда дошла очередь до этой каши, то половину поделили между Алексеем и мной, а остальное отдали детям. (В семье председателя колхоза было четверо ребятишек от четырех до одиннадцати лет. В школу они зимой не ходили, так как не было ни зимней одежды, ни обуви.) Эта каша была для нас, пожалуй, единственно съедобным блюдом на столе у председателя. Не успели мы с Янышевским взять в руки ложки, как ребята, уже управившиеся со своей долей этого редчайшего лакомства, во все глазенки смотрели на то, как это можно одному человеку дать столько каши, сколько лежало на наших тарелках. Я поглядел на Алексея, он на меня. Есть, конечно, хотелось (ведь в последний раз я ел накануне вечером), но разве можно было есть такую кашу! Мы решительно пододвинули ребятам свои тарелки. «А ну, навались, братва!» — скомандовал бывший балтийский моряк Янышевский. Через пару минут тарелки были чисты, наши желудки пусты, но на душе стало хорошо от благодарных взглядов детских глазенок.

Вот как в ноябре 1934 года жил председатель колхоза в Ленинградской области. Но районное ГПУ не забыло нас. Знали там и о продовольственном положении в Дунякове и решили нас подкормить: в тот же день пришла из района телефонограмма о том, что, в виде исключения, нам двоим (Янышевскому и мне) разрешается получать из «фонда молокопоставок» (район плана этих поставок не выполнял, и поэтому

молоко у крестьян забирали подчистую) по два литра молока в день. Нечего и говорить: молоко это выпивали дети.

Через пару дней прибыла из Москвы комиссия, составила акт об аварии и приняла от Янышевского самолет. Оказалось, что ленинградский маяк в день аварии вовсе не включали из-за неполадок в линии электропитания, а запасного бензинового двигателя с генератором проектом даже не было предусмотрено. Как только самолет привели в нормальное положение, мотор сразу заработал, и комиссия решила, что во время пробития многослойной облачности в карбюратор могла попасть вода, что и стало причиной отказа мотора.

Основные выводы, которые я сделал из происшествия: во-первых, в снег летели на колесах, что дало возможность, сохранив свои жизни, сесть на малой площадке; во-вторых, вовремя забарахлил мотор и появилось Дуняково, иначе как пить дать попали бы мы в Финляндию (если бы по пути нас не сбила на границе собственная зенитная погранохрана, куда уже сообщили о нашем пролете). Всего этого мы избежали благодаря исключительному везению, которое меня сопровождало всю жизнь. Ну а пока, к счастью, все кончилось благополучно.

Мы с Янышевским покинули голодное Дуняково и на санях колхоза прибыли под вечер на станцию Мга, откуда ночью должен был идти поезд на Ленинград. За время нашего пребывания в Дунякове мы несколько отощали на тамошних хлебах. Но, слава богу, все это уже было позади: завтра Ленинград, а потом и Москва, уж там отъедимся.

3

В Ленинград я попал в первый раз в жизни, и целый день, до самого отъезда в Москву, несмотря на морозную погоду, я бродил по улицам с разинутым ртом: уж больно мне понравилась эта «Северная Пальмира». На другое утро мы уже были в Москве и только там узнали, что в день нашего приезда в Ленинград был убит С. М. Киров. Первое летное происшествие нисколько не ослабило моего авиационного пыла, хотя дома матери я об этом ничего рассказывать не стал.

Зато в нашей «брехаловке» (тепляк, куда заходили в свободное время погреться и посудачить бортмеханики и пилоты) я уже мог, не ограничиваясь ролью пассивного слушателя, иногда и выступить с воспоминаниями о своей летной практике (конечно, не без некоторого преувеличения).

Аудитория состояла преимущественно из старых авиаторов, участников не только Гражданской, но иногда и Империалистической войны, весьма терпимо относилась к такого рода рассказам, руководствуясь принципом: «Не любо — не слушай, а врать не мешай». Да и, по-видимому, Янышевский, пользовавшийся у старых «летунов» некоторым авторитетом, успел им рассказать о моем поведении в рейсе. Никто никогда не перебивал рассказчика напоминаниями о том, что он повторяется или темнит, никто, во всяком случае вслух, не выражал недоверия даже к самым неправдоподобным историям. За попытки ловить на вранье (если это не затрагивало чести авиационного народа) просто-напросто выгоняли из тепляка. А истории рассказывали чрезвычайно интересные и главным образом не о себе, а больше о боевых товарищах.

Между прочим (в печати я об этом никогда не читал), основоположником воздушного боя с благополучным для себя исходом следует считать русского летчика — капитана Петражицкого, награжденного за Гражданскую войну двумя орденами Боевого Красного Знамени, работавшего в те времена начальником летной части ГУГВФ и репрессированного в 1937 году.

В начале войны 1914—1918 годов авиация вела преимущественно воздушную разведку, а иногда и бомбежку ручными гранатами. Для этого в канцелярскую корзину складывали ручные гранаты и кидали их вниз на скопления солдат неприятеля. Русский и немецкий летчики, встречаясь в воздухе на небольшой дистанции, иногда даже приветствовали друг друга покачиванием крыльев, потому что считалось само собой разумеющимся, что в воздухе не воюют.

Первым нарушил эту традицию русский летчик Нестеров, применив таран собственным шасси. При этом погиб не

только немецкий летчик, но и сам Нестеров. Петражицкий поступил иначе: закрепив в кабине винтовку, вместо ответа на приветствие немецкого коллеги он послал в него меткую пулю (скорости тогда были небольшие, и сделать это оказалось несложно), в результате чего немец врезался в землю, а Петражицкий благополучно вернулся на аэродром. За такую инициативу он был награжден офицерским «Георгием».

Правда, потом эта победа, как говорится, вышла нам боком: разъяренные таким неджентльменским поступком немцы установили на своих самолетах пулеметы и стали стрелять в русских коллег. Французы же решили, что обычный пехотный пулемет уже не удовлетворяет авиационным темпам, и сконструировали для воздушного боя специальный скорострельный пулемет, синхронизированный с мотором и стреляющий через винт в момент его горизонтального положения. Из-за этого остроумного приспособления не одна сотня летчиков погибла. В таком виде самолет-истребитель просуществовал до конца 1930-х годов. И если эта история с Петражицким является достоверной (в чем я лично не сомневаюсь, потому что рассказывали ее со всеми подробностями сослуживцы Петражицкого — старые боевые летчики, заслуживающие доверия), то его имя совершенно незаслуженно забыто в истории военной авиации.

Посидеть в «брехаловке» было чрезвычайно интересно, и даже если брать «коэффициент правдивости» порядка 20—30%, то только из абсолютно подлинных рассказов авиаторов можно было за пару месяцев составить несколько пухлых сборников интереснейших повестей из истории авиации. В коллективе царила редкая спайка и взаимная поддержка. Старые боевые летчики-орденоносцы держались на редкость просто со своими менее удачливыми коллегами. Например, старый бортмеханик Н. О. Матросов, у которого один из первых Героев Советского Союза — М. В. Водопьянов* — начинал свою летную карьеру мотористом, называл

* Водопьянов Михаил Васильевич (1899—1980), летчик, участник спасения экипажа ледокола «Челюскин» и других арктических

Водопьянова просто Мишкой, а тот, уже будучи комбригом (генерал-майором), величал Матросова только Николаем Осиповичем. Общение с такими людьми — Людьми с большой буквы — конечно, сказалось на формировании моего характера, и то, что и потом, попадая в весьма тяжелые передряги, я мог не терять человеческое достоинство, было следствием общения с ними, за что им я благодарен до конца жизни.

Я не наблюдал ни одного случая подхалимажа или попытки как-то обратить на себя внимание, очернив товарища. Работа в авиации была настолько опасной и рискованной, что тут не уживались люди, ищущие наживы или быстрой карьеры за счет других. В то время в авиации работали преимущественно бессребреники, которых мало интересовала материальная сторона: для них просто не было жизни без полетов, без аэропланов. Такие заслуженные летчики как орденоносцы Михеев, Чулков, Нусберг, Калан, Поляков, Лялин и многие другие, конечно, могли бы найти себе менее опасную и более высокооплачиваемую работу, чем полеты на технически несовершенных самолетах с ежедневным риском разбиться. Но никто из них даже не мог себе представить жизни вне авиации. И даже вид части киевского кладбища (около аэродрома «Соломенка»), густо уставленной пропеллерами в честь похороненных там разбившихся пилотов, не мог отбить ни у кого из них желание летать. На меня эти пропеллеры произвели в первый раз очень тягостное впечатление, но потом я уже привык к ним и воспринимал как нечто неизбежное для тех, кто вытянул несчастливый билет в авиационной «лотерее».

Так, в ремонте радиоаппаратуры, полетах и сидениях в «брехаловке» незаметно прошла зима, и наконец нашего «Максима» выкатили из ангара на аэродром. Согласно положению, на вновь сконструированном и построенном

экспедиций, Герой Советского Союза (1934). С 1931 работал на Центральном аэродроме в лётном отряде газеты «Правда», доставлявшем газетные матрицы в крупнейшие города СССР.

ЦАГИ «Максиме Горьком» имел право летать левым (главным) пилотом только шеф-пилот ЦАГИ, Герой Советского Союза М. М. Громов. Он должен был «вывезти» пилота ЦАГИ Н. С. Журова*, а тот — И. В. Михеева. «Вывезти» означало, что новый пилот должен в присутствии уже «вывезенного» сделать определенное количество взлетов-посадок. Каждый полет сопровождался довольно сложной подготовкой. Дело в том, что специальных бетонированных дорожек для взлета-посадки на центральном аэродроме еще не было, а на грунтовом поле наш самолет при приземлении «на три точки» своими пятьюдесятью двумя тоннами полетного веса прорывал довольно глубокие и длинные канавы, тем более что после зимы аэродром еще не совсем просох. Их приходилось тут же закапывать бульдозерами, так как не только более маленьким самолетам, но и самому «Максиму» посадка на такие канавы грозила неминуемой аварией.

В полетах на «Максиме» испытывались основные узлы самолета, в том числе и радиоаппаратура. Главный эффект производил, конечно, «Голос с неба». Мощность звука была такова, что в такт с музыкой или речью вибрировал весь корпус самолета. Особенным разнообразием репертуара мы москвичей не баловали, излюбленными (оттого, что единственными) нашими пластинками были «Авиационный марш» Ю. Хайта, «Китайская серенада» и вальс «Неаполитанские ночи». Правда, «Авиационный марш» я остерегался пускать часто, потому что в начале пластинки литавры давали такую искаженную мощность, что вылетали головки динамиков, во избежание чего приходилось очень тщательно следить за работой усилителя.

Приближался первомайский праздник 1935 года. Согласно распорядку, «Максим» должен был открывать парад Военно-воздушных сил СССР. После прохождения по Красной площади слушателей военных академий и сводных частей моряков и пограничников планировался короткий перерыв, во время которого над ней пролетает «Максим Горький», а «Голос с неба» играет «Авиационный марш».

---

* Журов Николай Семенович (1897—1935), летчик-испытатель.

За самолетом на расстоянии в два километра идут эскадры тяжелых бомбардировщиков «ТБ-3», которые подлетают к Красной площади одновременно с въезжающими туда танками. Эффект ожидался изумительный — тишина на Красной площади. С медленно пролетающего над ней «Максима Горького» отчетливо слышится: «Все выше, и выше, и выше стремим мы полет наших птиц!». Затем минута перерыва — и площадь оглашает одновременно рев тяжелых бомбардировщиков сверху и грохот вползающих на площадь танков — снизу. Но на самом деле, к сожалению, получилось немного не так: ранее безотказно заводившиеся моторы («тандем») на центроплане на этот раз закапризничали, и мы опоздали со взлетом минуты на три. Одну из них мы еще сумели нагнать, форсируя работу моторов, а две, конечно, не сумели. Поскольку машина парада уже была заведена и срабатывала с точностью до секунды, то вместо положенных двух километров мы оторвались от воздушной эскадры всего метров на пятьсот. Подлетая к Историческому музею, я глянул вниз и с ужасом увидел, что танки подходят к музею, а бомбардировщики уже пролетели Центральный телеграф. Пропал весь эффект «Голоса с неба». Была не была, пустил усилитель на полную мощность. Первый залп литавр авиационного марша мои динамики еще выдержали, но второй их добил. И все же, несмотря на то что танки уже грохотали по площади, нас (а точнее, первые такты марша) услышали. Находившиеся на Мавзолее руководители и гости на трибунах дружно аплодировали достижению советской радиотехники, а так как остальные такты марша все равно не были бы слышны на фоне грохота танков и рева самолетов, то все прошло благополучно. Не выключая усилителя, я кинулся в левое крыло, где у меня были приготовлены на всякий случай запасные головки для динамиков, и пока мы долетели до Москвы-реки, успел сменить вышедшие из строя, после чего москвичи уже бесперебойно слушали весь наш музыкальный репертуар.

Кроме «Максима Горького» в воздушном параде того дня участвовали первые советские пикирующие бомбардиров-

щики СБ* (впоследствии хорошо зарекомендовавшие себя в Испании), которыми управляли пилоты ЦАГИ Благин и Попов. Н. Благин через восемнадцать дней после полета на СБ снискал себе лавры Герострата: погубил своим хулиганским поведением самолет «Максим Горький» со всем экипажем и пассажирами и погиб при этом сам**.

Эффект, который произвели СБ, проделавших над Красной площадью фигуры высшего пилотажа, затмил все, даже полет «Максима Горького» с его «Голосом с неба», и оба пилота СБ были приглашены на вечерний прием в Кремль. Не обошли приглашением и пилота «Максима Горького» М. М. Громова, но ему туда попасть не удалось: из-за выпитой после окончания полета в аэродромной столовой бутылки ситро у Громова открылась язва желудка, и вместо Кремлевского дворца он попал в Кремлевскую больницу. Для самолета «Максим Горький» это обстоятельство, по моему мнению, имело роковое значение. При Громове Благин не посмел бы выкинуть свои хулиганские штучки, а вызванный из Кисловодска, где он тогда отдыхал, на замену Громова Н. С. Журов, второй пилот ЦАГИ, имевший право самостоятельного полета на «Максиме Горьком», не был для него авторитетом, и с ним можно было, не боясь скверных последствий (вроде пяти суток «губы», которые Благин мог запросто схватить от Громова), проделывать что угодно.

2 мая 1935 года на центральном аэродроме был устроен большой авиационный праздник, на котором присутствовали Джугашвили, Орджоникидзе, Ворошилов и другие. По программе они должны были осмотреть «Максим Горький», не исключалась и возможность демонстрации его полета. Несмотря на то что вожди прибыли около часа дня, нас всех выстроили чуть ли не с семи утра: мы стояли около своего самолета и наблюдали за передвижением руководителей по

* СБ (Скоростной фронтовой бомбардировщик). Правильное название — АНТ-40, но так как А. Н. Туполев в 1937—1941 годах находился в заключении, то его самолеты, пошедшие в массовую серию, переименовали. Пикирующим бомбардировщиком не являлся.

** Благин Николай Павлович (1899—1935), летчик-испытатель. С 1920 года в авиации, с 1932 — пилот ЦАГИ.

аэродрому. Но часам к четырем вечера очередь до нас так и не дошла. Напоследок они подошли к В. П. Чкалову, о котором Джугашвили узнал, что на испытаниях самолетов он летает без парашюта. Джугашвили его по-отечески пожурил и сказал, что его жизнь для страны дороже любого самолета. На другой день Чкалов получил орден Ленина, и началась его блистательная карьера.

Затем начался авиационный праздник. На аэродром вывезли все имевшиеся аэропланы, вплоть до «полотняных», «блерио» и «вуазенов»*. Часть из них даже поднимали в воздух. Праздник для меня был исключительно интересен (да и не только для меня), ведь здесь демонстрировалась вся история авиации. Не обошлось и без казусов: чтобы показать достижения советской авиации, решено было устроить совместный полет старого самолета Р-6 (ТБ-1)** с новейшим СБ. Они имели примерно одинаковую мощность винтомоторной группы (по два мотора М-17). Не знаю, что случилось с СБ, но Р-6 его обогнал как по скорости взлета, так и по высоте подъема. Это вызвало многочисленные ухмылки у старых авиаторов, но на втором круге СБ показал свои возможности, да так, что по всему аэродрому раздались дружные аплодисменты.

После майских праздников полным ходом пошли работы по приемке «Максима Горького» заказчиком — Агитэскадрильей им. М. Горького. Полеты стали чаще, и у главного приемщика самолета — инженера Я. Хорвата*** — работы прибавилось. Громов лежал в больнице, а летали Журов и Михеев. Обычно в полетах, кроме «Максима Горького», участвовало еще три самолета: два маленьких истребителя И-5 летали у кромки его плоскостей и, как говорили, «держали его за уши». Конечно, большой необходимости в них не было, а летали они просто для контраста. С земли не были заметны грандиозные

---

* Французские самолеты, сконструированные пионером воздухоплавания Луи Блерио (1872—1936) и Габриэлем Вуазеном (1880—1973). Обшивка плоскостей этих самолетов была выполнена из специального прочного полотна.

** Тяжелый бомбардировщик, первоначальное название АНТ-7.

*** Хорват Ян Александрович (1888—1962) — военный летчик и инженер.

размеры «Максима Горького», а когда рядом с ним летели два И-5, то создавалось впечатление, что рядом летят ворона и две мухи. На этих истребителях обычно летали Благин и Попов. Кроме них, «Максима» сопровождал еще двухместный самолет Р-5 с кинооператором. Все полеты «Максима» снимались на пленку для изучения поведения важнейших узлов этого уникального самолета в воздухе. Управлял этим самолетом обычно пилот ЦАГИ Рыбушкин, а в качестве оператора с ним часто летал «челюскинец» Цейтлин.

Вообще говоря, поведение в воздухе Благина не раз вызывало нарекания: поскольку края плоскостей «Максима» не были видны из кабины пилотов и штурманской рубки, то Благин с Поповым были, по существу, бесконтрольны. Из моей радиорубки я мог наблюдать за ними с близкого расстояния. Зачастую я замечал, как Благину надоедало держаться на расстоянии десять-пятнадцать метров от кромки вибрирующих плоскостей (как предусматривалось положением) и он, подлетев ближе, буквально садился на их края, что, конечно, было недопустимо. Подлетит, сядет на самый край плоскости и еще помашет мне рукой! Покажешь ему в окошко кулак — отлетит немного в сторону. Об этом я както сказал главному приемщику Я. Хорвату, который, сидя в «Моссельпроме» (штурманской рубке), не мог видеть всех выходок Благина. Хорват сделал Благину замечание, но тот, со свойственной ему беспечностью, пропустил это мимо ушей, тем более что в прямом подчинении у него не был.

В апреле-мае 1935 года* в Москву приехала французская правительственная делегация во главе с премьер-министром Пьером Лавалем (впоследствии повешенным за сотрудничество с фашистами и измену Франции во время оккупации ее Германией). Лаваль выразил желание осмотреть «Максим Горький». Накануне его посещения из ангаров убрали все, что могло бы заинтересовать безусловно имевшихся в его свите разведчиков. Нам всем велели надеть парадную форму. Часов в десять утра прибыли высокие гости. Лаваль и его дочь Луиза

---

* Визит министра иностранных дел Франции Пьера Лаваля (1883—1945) в Москву проходил с 13 по 15 мая 1935 года.

(очаровательная брюнеточка лет восемнадцати) поздоровались с командиром Михеевым. Луизе от имени экипажа поднесли громадный букет цветов, после чего делегация осмотрела самолет. Не знаю, конечно, искренне ли, но Лаваль остался в восторге от машины. Затем должны были состояться полеты, и бестактный солдафон, начальник ЦАГИ Харламов*, предложил премьер-министру совершить полет на «Максиме». Тот дипломатично ответил, что был бы счастлив, но его ожидает к завтраку мсье Булганин (бывший в то время председателем Моссовета), и он своей задержкой боится обидеть любезного хозяина Москвы. Вместо себя он предложил корреспондента «Пари Суар» Антуана де Сент-Экзюпери (впоследствии знаменитого писателя). Разрешение, конечно, было дано, и Сент-Экзюпери стал единственным иностранцем, которому удалось совершить полет на «Максиме Горьком»**.

Завтрак в честь Лаваля у Булганина планировалось провести на крыше здания Моссовета на Тверской улице. По программе мы должны были дважды пролететь над ними и сыграть через «Голос с неба» сначала «Марсельезу», а затем «Интернационал», но составители программы не учли того, что грампластинки с «Марсельезой» не оказалось не только у нас, но даже в фонотеке Радиокомитета. Где же ее достать? Не просить же у французов! Назревал международный скандал, потому что включить «Интернационал» дважды было нельзя. В результате в высших инстанциях приняли Соломоново решение: не играть ни «Марсельезу», ни «Интернационал», а оба раза включить авиационный марш «Все выше», что я и исполнил с учетом пакостных свойств литавров в начале пластинки.

Сент-Экзюпери летел с нами. Это был солидный мужчина, лет около сорока, темноволосый, весьма осанистого

* Харламов Николай Михайлович (1892—1938), с 1930 года заместитель начальника Всесоюзного авиационного объединения по научно-исследовательским работам и опытному строительству, с 1931 года помощник начальника Глававиапрома П. И. Баранова, с 1932 года одновременно начальник ЦАГИ. Расстрелян.

** Свой визит в СССР в апреле-мае 1935 Антуан де Сент-Экзюпери (1900—1944), французский писатель и летчик, описал в пяти очерках.

вида. Поскольку из моей кабины открывался наиболее удобный круговой обзор, то он попросил разрешения устроиться у меня. Я, конечно, возражать не стал, и для того, чтобы не давать ему скучать, мобилизовал все свои запасы дикой смеси французского с нижегородским. Несмотря на то что в исследованиях, посвященных Сент-Экзюпери, единогласно утверждается, что он был абсолютно неспособен к усвоению иностранных языков, я беру на себя смелость заявить, что это не совсем так. В беседе со мной он употреблял довольно много русских слов, и мы с ним за полчаса полета сумели объясниться по всем вопросам, интересующим высокие договаривающиеся стороны, и он настолько остался доволен моим обществом, что даже дал мне свою визитную карточку (он, наверно, знал, что после приемки самолет полетит в Париж на авиационный салон) и пригласил посетить его в Париже. К сожалению, я не смог ему ответить взаимностью, так как, во-первых, визитных карточек у меня не было, а пригласить его к себе на квартиру в гости (где восемь человек жили в одной комнате, да еще и с туалетом во дворе), я, конечно, не решился. К сожалению, по причинам, о которых я расскажу ниже, в Париж мне тогда попасть не удалось, а визитная карточка Сент-Экзюпери потом куда-то пропала.

Этот полет 15 мая 1935 года был моим последним полетом на «Максиме Горьком», потому что если бы я совершил на нем еще один полет, то описать его уже, конечно, не смог бы. Приближалось 18 мая 1935 года — день его катастрофы. Надо сказать, что я родился 4 (17) мая 1910 года, так что 17 мая 1935 года мне исполнялось двадцать пять лет. Дата весьма знаменательная, и я решил, не пожалев нескольких получек, ее торжественно отметить. Приготовления к юбилею велись серьезные: когда за несколько дней до даты отец случайно заглянул в шкаф, то у него буквально мурашки побежали по телу при виде такого количества «четвертей» с водкой (причем он видел далеко не все). Весь экипаж «Максима» во главе с Михеевым и его супругой Ольгой Васильевной был приглашен, и ударить в грязь лицом в день своего юбилея я не собирался.

Тогда выходные дни были по «шестидневке» — 6, 12, 18, 24 и 30 числа каждого месяца. Уже на моей памяти дни отдыха несколько раз переносили. До 1928 года они были по воскресеньям, но праздновались все праздники, как революционные (вплоть до свержения самодержавия и дня Парижской коммуны), так и религиозные. Потом известный партийный деятель Ларин* изобрел так называемую «пятидневку-непрерывку»: она заключалась в том, что на всех предприятиях и во всех учреждениях каждый работник четыре дня работает, а пятый отдыхает, причем вся работа идет непрерывно, без общих выходных дней**. Эта система имела как достоинства, так и недостатки, причем последних было больше. Выходных дней, конечно, получалось больше, чем при семидневке, из-за чего были немедленно отменены все религиозные праздники и часть революционных, оставили только 1—2 Мая и 7—8 Ноября, таким образом недоработку устранили и государство убытка не получило. Но при пятидневке обнаружились крупные неудобства: хотя оборудование предприятий и использовалось более эффективно, ведь для машин и прочего выход-

---

* Ю. Ларин (Михаил Залманович Лурье, 1882—1932), деятель ВКП(б), один из руководителей ВСНХ, Госплана, глава Комитета по землеустройству евреев в Крыму, автор ряда книг по проблемам евреев в СССР: «Социальная структура еврейского населения» (1926), «Территориальная перегруппировка еврейского населения» (1928), «Евреи и антисемитизм в СССР» (1929). Сведениями, подтверждающими его причастность к советской реформе календарного года, не располагаем.

** Постановление СНК от 26 августа 1929 года «О переходе на непрерывное производство в предприятиях и учреждениях СССР» намечало, начиная с хозяйственного 1929/1930 года, планомерный и последовательный перевод предприятий и учреждений на непрерывное производство. Переход на «непрерывку», начавшийся осенью 1929-го, был закреплен весной 1930 года постановлением специальной правительственной комиссии при Совете Труда и Обороны. Этим постановлением был введен единый производственный табель-календарь, предусматривавший в календарном году 360 дней и, соответственно, 72 пятидневки. Остальные 5 дней было решено считать праздничными. Все рабочие были разделены на пять групп, названных по цветам (желтый, розовый, красный, фиолетовый, зеленый), и каждая группа имела свой собственный выходной (нерабочий) день в неделю (так называемая «непрерывка»).

ных не было, но возник серьезный вопрос с ремонтом: все оборудование работает непрерывно, и для его ремонта и профилактики времени уже не остается. Большие неурядицы получались и в личной жизни людей: в семье работают и муж и жена, дети учатся. У отца выходной в первый день пятидневки, у матери в третий, у детей в другие дни. Члены семьи почти перестали собираться вместе. Как говорится в Библии: «И увидел Бог, что это плохо».

Машины изнашиваются — ремонтировать их некогда, в семьях раздоры, не видя друг друга, муж и жена изменяют с теми, с кем у них общий выходной день... Что делать? Оставить все по-прежнему? Уж больно много праздников, жалко!

И вот придумали «шестидневку»*. Количество выходных дней уменьшилось, но про отмененные революционные, а тем более религиозные, праздники, конечно, забыли, ведь даже в учебниках политэкономии для вузов писали: «Одной из главных причин отсталости дореволюционной России было обилие праздников». Вот их и сократили до минимума. В таком виде рабочий календарь и просуществовал до описываемых мною событий.

Естественно, что я перенес свой юбилей с 17 на 18 мая (общий выходной), тем более что на утро 18 мая был назначен полет на «Максиме» и напиваться накануне членам экипажа, конечно, не стоило. Как я уже говорил, этот самолет был сконструирован и построен ЦАГИ по заказу агитэскадрильи им. М. Горького. До начала мая 1935 года все шло нормально,

* Постановлением СНК СССР от 21 ноября 1931 года «О прерывной производственной неделе в учреждениях», с 1 декабря 1931 года пятидневная неделя была заменена шестидневной с фиксированным днем отдыха, приходящимся на 6, 12, 18, 24 и 30 число каждого месяца (1 марта использовалось вместо 30 февраля, каждое 31 число рассматривалось как дополнительный рабочий день). Одновременно в прежний вид было приведено и число дней в месяце. Возврат к семидневной неделе произошел 26 июля 1940 года в соответствии с указом ПВС «О переходе на восьмичасовой рабочий день, на семидневную рабочую неделю и о запрещении самовольного ухода рабочих и служащих с предприятий и учреждений». Первоначально (в 1940-е гг.) неделя в СССР начиналась с воскресенья, в более поздние годы — с понедельника.

ЦАГИ старалось сбыть самолет, эскадрилья придирчиво его принимала. Но вскоре пошел слух, что в июне самолет будет направлен на авиационный салон в Париж. По логике вещей, лететь в Париж будет тот экипаж, который окажется на самолете к моменту открытия салона, то есть если к тому времени эскадрилья примет самолет от ЦАГИ, то полетит экипаж эскадрильи, если не примет — экипаж ЦАГИ (нас, радистов, это не касалось: радиооборудование изготавливалось и монтировалось не ЦАГИ, и мы полетели бы в Париж в обоих случаях). Тут, как говорится, роли поменялись: ЦАГИ начал тянуть со сдачей самолета, эскадрилья же, наоборот, стала проявлять большую покладистость. Пришлось вмешаться командиру эскадрильи — Михаилу Кольцову, в результате чего был наведен порядок. ЦАГИ получил указание «формировать» сдачу самолета после 18-го мая. В качестве одного из этапов сдачи должен был быть совершен полет на побитие мирового рекорда поднятия наибольшего полезного груза на высоту 5000 метров. В свете изменившейся ситуации руководство ЦАГИ (пользуясь отсутствием главного конструктора — А. Н. Туполева*, находившегося в то время в США, который бы никогда этого не допустил), решило 18 мая 1935 года на не принятом еще правительственной комиссией самолете «прокатить» наиболее отличившихся конструкторов и строителей «Максима» и членов их семей над Москвой. От желающих, конечно, не было отбоя. С большим трудом составили списки, и 18 мая 1935 года в десять часов утра должен был начаться полет.

Главный приемщик самолета Я. Хорват категорически возражал против этого (конечно, не из соображений безопасности, которая ни у кого не вызывала сомнений), и, так как его не послушали, демонстративно, в знак протеста, отказался в этом участвовать, несмотря на то что до этого всегда летал, начиная с первого отрыва «Максима Горького» от земли. Хотя моей помощи в подготовке к юбилею дома и не требовалось (с этим

---

* Туполев Андрей Николаевич (1888—1972), авиаконструктор, академик, генерал-полковник, трижды Герой Социалистического труда, вместе с Н. Е. Жуковским был организатором и одним из руководителей ЦАГИ. Под его руководством создано свыше ста типов самолетов, семьдесят из которых строились серийно.

вполне успешно справлялись мать и сестра), я все же под этим предлогом отпросился у Михеева на 18 мая. Да и моя аппаратура в тот день не должна была работать. Михеев не возражал, но предложил мне найти себе замену из работников ЦАГИ, имевших допуск на самолет (справедливо полагая, что наличие посторонних на самолете, среди которых могли быть и радиолюбители, может привести к пропаже дефицитных радиоламп из нашей аппаратуры). Я отправился на поиски и встретил инженера БОС (Бюро оборудования самолетов) В. П. Бунина, который охотно согласился отлетать за меня на «Максиме» 18 мая. В результате я остался жив, а погиб — вместо меня! — Бунин, не имевший отношения к экипажу. Другой наш радист К. В. Байдун также не принял участия в роковом полете: он жил далеко за городом и опоздал на электричку.

Как я уже говорил, моей помощи дома не требовалось и я, конечно, не стал бы пропускать такое событие, как полет на «Максиме», но на это у меня была особая причина, и ею была студентка нашего института — Зоя Р., которую я уже давно обещал «покатать» на самолете. Поскольку добиться для нее места на «Максиме Горьком» (к счастью для меня и для нее) оказалось невозможно, то, отпросившись у Михеева, я тут же договорился с командиром АНТ-14 В. И. Чулковым, который также 18 мая с самого утра катал над Москвой пассажиров, что он возьмет с собой на один рейс Зою. Женщины всегда имеют свойство опаздывать, и Зоя не была исключением. И когда мы с ней оказались на аэродроме, оба самолета были уже в воздухе. «Максим», как всегда, сопровождали два истребителя, а Р-5 с кинооператором летел поодаль. Самолет уже сделал один круг над Москвой и шел по направлению к аэродрому со стороны Покровского-Стрешнева. Наблюдая за «Максимом», я вдруг заметил, что внезапно исчез один из истребителей, левый по ходу самолета. До аэродрома оставалось метров восемьсот, и гул его моторов был слышен очень отчетливо.

Не успел я удивиться исчезновению истребителя, как в середине левой плоскости «Максима» появилось белое облако, а затем оттуда начали сыпаться крупные куски. Зоя закричала: «Смотри, Лева, он кидает листовки!», а я сразу понял, что слу-

чилось что-то страшное, и в ответ только выругался, не понимая, что делаю. Через несколько секунд замолкли сразу все восемь моторов (видимо, пилот рванул аварийный выключатель зажигания моторов), и он сразу завис в воздухе. Пробыв в этом положении несколько секунд, самолет стал медленно крениться на нос и через некоторое время рухнул вниз. Не помню точно, что раньше отвалилось — «раненое» крыло или хвост, но почему-то кажется, что именно хвост. Отчетливо были видны фигурки людей, выпадавших из самолета. Затем глухой удар о землю — и конец! Самолет упал в густонаселенном районе поселка «Сокол», повредив край дома, в котором, к счастью, в это время никого не было. Удивительно, что, несмотря на шесть тонн бензина в баках самолета около, во время падения не случился пожар. Лишь впоследствии, при тщательном осмотре, обнаружили отсутствие аварийных топоров на щите инструмента, а в бензобаках имелись явные следы того, что баки прорубили этими топорами, и можно предположить, что бортмеханики самолета, за несколько секунд до неизбежной гибели, геройски исполнили свой последний долг. В прорубленные в баках отверстия до момента удара самолета о землю бензин успел вытечь, что и предотвратило неизбежные пожары, а возможно и смерть многих людей, проживавших в районе катастрофы. Погибли все находившиеся в самолете, в том числе дети, которых взяли с собой «покататься» любящие родители.

Первым, конечно, погиб сам воздушный хулиган — Н. Благин. Он решил показать фокус и сделать «мертвую петлю» вокруг крыла «Максима Горького» и на выходе из нее был затянут воздушной струей левого среднего мотора. Эта петля оказалась мертвой не только для самого Благина, но и для всех находившихся в самолете. Лучшие пилоты и механики ГВФ, виднейшие специалисты ЦАГИ и их маленькие дети стали жертвами этого преступного хулиганства.

Интересна судьба киноленты о последнем полете «Максима Горького». В момент катастрофы пилот Р-5 Рыбушкин переводит в пике свой самолет вслед за падающим «Максимом» и кричит оператору: «Снимай!». Тот, видя вблизи такое кошмарное зрелище, решил, что по вине пилота они тоже

гибнут, и, вместо того чтобы крутить ручку кинокамеры, вцепился сзади в горло пилота. Здоровенному Рыбушкину ничего не оставалось, как оглушить ударом растерявшегося оператора и, выровняв самолет, пойти на посадку. Так были утрачены драгоценнейшие кадры гибели этого крупнейшего в мире сухопутного самолета, чрезвычайно нужные не только для истории, но и для наших авиаконструкторов*.

После катастрофы мы с Зоей почему-то побежали к месту падения самолета, но оно уже было оцеплено милицией, и туда никого не пускали. Я был настолько ошеломлен случившимся, что забыл обо всем на свете, но женщина остается женщиной, и когда мы отдышались, Зоя спросила, а знает ли моя мама о том, что я не должен был сегодня лететь на «Максиме Горьком»? Тут я с ужасом вспомнил, что забыл предупредить ее об этом. Бежим к ближайшему телефону-автомату, потому что мама может в любую минуту узнать о катастрофе, а ведь она уверена, что я уехал на полет.

Звоню домой, но как ей об этом сказать? А вдруг об этой катастрофе официально не будет сообщено? Ведь у нас всякое бывает. К телефону подходит мать и, судя по голосу, еще ничего не знает. Быстро говорю ей: «Мама, что бы тебе ни говорили, знай, что я жив, здоров и скоро приеду домой» — и вешаю трубку. Зоя возмутилась, вырвала у меня трубку, еще раз позвонила и рассказала матери все, что случилось. И правильно сделала, потому что весть о катастрофе через полчаса распространилась по всей Москве, а мой взбалмошный звонок, без дополнительного Зоиного, был бы для матери лишним доказательством того, что со мной случилось что-то ужасное.

Вот так в день моего 25-летия вместо веселого праздника мне пришлось пережить одну из самых страшных трагедий в своей жизни. До сих пор при воспоминании об этом перед глазами мелькают фигурки людей, падающих из рассыпающегося на части самолета, на котором я сам должен

---

* Ср. описание этой катастрофы другими компетентными очевидцами — А. Туманским (*Туманский А. К.* Полет сквозь годы. М.: Воениздат, 1962. С. 199—202) и В. Рыбушкиным (*Туполев А. Н.* Человек и его самолеты. М.: Моск. рабочий, 1999).

был лететь и не полетел по чистой случайности. Катастрофа не была засекречена. Погибшие люди, особенно герои-механики и летчики, вполне заслужили почетные похороны, организованные ЦК партии и советским правительством. Гробы и урны с прахом поместили в Колонный зал Дома Союзов. Почетный караул несли руководители партии и правительства (в частности Джугашвили, Орджоникидзе, Молотов и Каганович, которые сменили стоявших до этого в почетном карауле трех работников эскадрильи и меня. На «мое» место встал Орджоникидзе), виднейшие советские авиаторы и авиаконструкторы. После воздания воинских почестей, сопровождаемые эскадрильями самолетов в воздухе, все жертвы катастрофы (в том числе и Благин) были похоронены на Новодевичьем кладбище в Москве.

4

На следующий день после похорон меня вызвал заместитель командира агитэскадрильи С. И. Авдонкин, контр-адмирал резерва морской авиации, бывший балтийский моряк, служивший в Гражданскую войну начальником речной флотилии в дивизии Чапаева. Первой его фразой было: «А ты, парень, уже седеть начал!». Поглядел я в зеркало, висевшее в кабинете, и действительно: седые прядки на висках. Заместитель командира предложил мне остаться в агитэскадрилье в качестве бортрадиста самолета АНТ-14 «Правда». Так как я нанимался на «Максим Горький», то после его крушения имел право уволиться и снова поступить на спокойную работу. Но, во-первых, я считал это трусостью, несовместимой со своим характером и пребыванием в комсомоле, а во-вторых, уж больно мне полюбился этот дружный, неустрашимый авиационный коллектив. Без всяких раздумий я согласился остаться, хотя вместо сложного современного (по тому времени) радиооборудования в моем распоряжении теперь была только одна небольшая радиостанция 11-СК-1.

К середине лета редакция журнала «Крокодил» подарила агитэскадрилье самолет типа АНТ-9. Нос его был отделан под журнального крокодила, а вместо глаз в боковых окошечках виднелись головы пилота и бортмеханика. На колеса были установлены обтекатели в виде крокодильих лап. Пилотом и командиром экипажа был назначен летчик-краснознаменец Василий Власович Осипов. «Крокодилу» предстояло совершить очень интересный рейс: конкурсная комиссия Президиума ВЦИК совместно с представителями центральной прессы должна была пролететь на нем с проверкой работы горсоветов по маршруту: Москва, Горький, Казань, Свердловск, Челябинск, Магнитогорск, Куйбышев, Саратов, Волгоград, Ростов-на-Дону, Харьков, Москва. Мне очень хотелось участвовать в этом рейсе, но имевшаяся в нашем распоряжении радиостанция МРК-0, 05 еще не была смонтирована на самолете. На ее монтаж оставалось не более суток, хотя обычно такая работа отнимала не меньше недели. Но мое желание полететь на «Крокодиле» было так велико, что я предложил лично смонтировать эту радиостанцию — и за одни сутки! Командир не стал возражать, но предупредил, что ни одного лишнего часа он мне не даст и самолет уйдет в рейс точно по расписанию, с радиостанцией или без нее.

Спать, конечно, ни мне, ни моим помощникам не пришлось; все из домашних вещей, необходимых в длительном (более месяца) рейсе, мне привезли прямо на самолет; за два часа до отлета радиостанция уже работала, правда, в пути пришлось устранять некоторые мелкие недоделки, но за весь рейс ни одного случая ее отказа у меня не было. РЕЗЕБ, позывной радиостанции самолета «Крокодил», уверенно принимался всеми моими корреспондентами даже на расстояниях, намного превышающих «паспортную» дальность работы устройств этого типа.

Вначале В. В. Осипов, как и большинство старых пилотов, довольно скептически относился к радиосвязи с самолетом, считая это баловством, но когда мы в воздухе получили сведения о надвигающемся грозовом фронте и, пользуясь данными нескольких наземных станций, сумели этот фронт

обойти, Василий Власович сразу перестал думать, что бортрадист зря занимает место в самолете. Мы принимали в воздухе метеосводки, во всех пунктах нашего следования были извещены о точном времени прилета «Крокодила». Это был, по тем временам, первый самолет, на котором бесперебойно действовала коротковолновая радиосвязь.

Чрезвычайно высоко оценили этот факт и корреспонденты центральных газет (особенно спецкор «Правды» Тихон Холодный*), часто пользовавшиеся моей радиостанцией для передачи материалов в свои редакции, причем почти всегда, несмотря на довольно большие расстояния, их материалы я передавал прямо в Москву без промежуточных инстанций. За успешное завершение перелета все его участники, и я в том числе, получили письменную благодарность от Президиума ВЦИК за подписью его секретаря Уншлихта**.

Не обошлось и без казуса: к концу рейса, когда мы уже подлетали к Москве, я установил радиотелефонную связь с московским аэропортом. Осипов, который был в отличном настроении, предвкушая успешное окончание рейса, оставил управление самолетом бортмеханику Мите Гончаренко (впоследствии крупному профсоюзному работнику по линии авиации в ВЦСПС) и подошел ко мне. Узнав, что я работаю с хорошо ему знакомым радистом Михаилом Прокопченко, Осипов взял у меня микрофон, и в эфире раздалось: «Миша, это Василий, позвони по телефону моей Ангуте, что через час мы прилетим, пусть ставит самовар». Надо же было такому случиться, что именно в этот момент работу моей станции прослушивала одна из контрольных станций Наркомата связи, и главный инспектор Карпенко влепил мне за этот «самовар» штраф в 250 рублей (почти месячная зарплата). Спасибо нашему начальству, которое, не без участия Михаила Кольцова (авторитет его был везде очень велик), выручило меня, тем более что моей вины здесь и не было, — ведь в полете командир экипажа

---

* Псевдоним Тихона Матвеевича Беляева (1890—1947), журналиста, специализировавшегося на аграрной тематике.

** Уншлихт Иосиф Станиславович (1879—1938), государственный деятель, с 1921 года зампредседателя ВЧК—ОГПУ, зампредседателя РВС СССР. В 1933—1935 — начальник ГУГВФ. Расстрелян.

и есть главный начальник, все его распоряжения выполняются беспрекословно, и не дать ему микрофон я не имел права; штраф с меня сняли, а то мне пришлось бы туговато.

Нельзя не вспомнить и еще один инцидент. Несмотря на вступление в нашу эскадрилью самолета «Крокодил», все же главным объектом у меня был самолет АНТ-14 «Правда». И вот спустя некоторое время после окончания рейса на «Крокодиле», в погожий августовский день, придя на работу, я застаю в нашей эскадрилье полный аврал: все — мотористы, механики и даже обычно не принимающие участия в таких работах пилоты — драили свои машины по указанию инженера эскадрильи Чернова, проникая даже в такие места, в которые обычно лезть не было надобности. Когда я спросил у В. И. Чулкова, для чего все это, он мне ответил, что сам председатель Совнаркома В. М. Молотов собирается осчастливить наш АНТ-14 своим посещением, поэтому и мне в радиорубке надлежит навести полный марафет, чтобы все блестело. (Вообще говоря, В. И. Чулкову свойственно было чувство юмора, впоследствии он написал чудесную книгу «Записки летчика», которая прямо блистала юмором, отчего и слово «осчастливить» звучало у него вполне естественно.)

Поскольку моя радиорубка имела площадь не более полутора квадратных метров и я убирал ее более-менее регулярно, то со своей работой справился довольно быстро и стал помогать механикам. К обеду мы управились, пообедали и уселись в салоне в ожидании начальства. Вскоре прибыл заместитель начальника ГУГВФ Анвельт* (из старых большевиков, бывший латышский стрелок, также в 1937 году пал жертвой культа личности Джугашвили). Осмотрев самолет (и найдя некоторые огрехи в уборке), Анвельт зашел в мою радиоруб-

---

* Анвельт Ян Янович (1884—1937), советский военный и политический деятель, профессиональный революционер, один из руководителей Компартии Эстонии. В 1921—1925 — в подполье, в 1925 году прибыл в СССР. В 1926—1929 комиссар Военно-Воздушной академии им. Жуковского, а в 1929—1935 — заместитель начальника, а затем и начальник ГУГВФ. В 1935—1937 — член и ответственный секретарь Интернациональной контрольной комиссии ИККИ. В 1937 г. арестован, скончался в тюрьме. В 1956 году реабилитирован.

ку. Тут ему придраться было не к чему, все и впрямь блестело. Тогда он поинтересовался документами на станцию. Их я обычно хранил в левом внутреннем кармане кителя. Надо сказать, что самым слабым местом в моей форме была вторая пуговица кителя. От частого расстегивания она постоянно отрывалась. В конце концов мне надоело ее пришивать, и я ее просто прикрепил, не пришивая, к верхней части кителя, продев спичку через ушко пуговицы. (Изобретение, кстати, не мое — подобное крепление пуговицы применяли, наверно, не меньше половины работников ГУГВФ. Таким образом, все пуговицы были на месте, а когда требовалось попасть во внутренний карман кителя, то не нужно было отстегивать эту злосчастную пуговицу, она удерживалась спичкой.) Получив распоряжение Анвельта (как же, Молотов, зайдя в самолет, первым делом кинется в радиорубку проверять документы на радиостанцию!), я спокойно полез правой рукой в левый карман кителя. Рука свободно прошла под китель, а пуговица с тиснеными на ней «крылышками» осталась поверх моей руки. Увидев такой непорядок, а особенно державшую пуговицу спичку, Анвельт пришел в ярость: «Как, — даже захлебнулся он, — на самолет прибывает сам председатель Совнаркома, а у вас пуговицы на форме держатся на спичках. Десять суток ареста!» — сунул мне Анвельт свою «вышку», и еще добавил: «Без вывода на работу!».

Надо сказать, что работники ГУГВФ наказывались по воинскому уставу вплоть до гауптвахты, но поскольку таковой пока в распоряжении Анвельта не было, то, по договоренности с МВО, пользовались комендантской военной гауптвахтой на Моховой улице, в самом центре Москвы. При наличии у него «вакансий» комендант этой «губы» принимал для отсидки провинившихся работников ГУГВФ.

Молотов в тот день (да и потом тоже) к нам не приехал, мы остались, как дураки с чистой шеей, а я на другой день, взяв в штабе эскадрильи направление с гербовой печатью и подписью Авдонкина, отправился на Моховую отсиживать свои десять суток. С не очень-то легким чувством я туда шел. В памяти вставали вычитанные у А. Дюма мрачные казематы,

в которых злые тюремщики швыряют на кучу гнилой соломы бедных арестантов. Поэтому я был приятно удивлен, увидев во дворе «губы» деревья, столики, за которыми «бедные арестанты» сражались в домино, и даже волейбольную и городошную площадки. Комендант занес меня в свою книгу установления на довольствие и, не утруждая себя дальнейшей заботой о моей судьбе, предложил мне самому искать себе место в любой камере, где есть свободные койки. Место я сразу же нашел в камере, в которой уже было трое энкавэдэшников. Они меня очень любезно приняли и познакомили с распорядком дня гауптвахты, где начальство не затрудняло своих подопечных ничем, кроме обязательной утренней физзарядки и двух часов строевых занятий, все остальное время они были предоставлены самим себе, единственное — дверь нашей казармы запиралась на ночь. И в город, конечно, никого не пускали.

И вот «бедные арестантики», кому надоело играть в волейбол или в шахматы, так просто слонялись по обширному двору, или просто грели пузо на солнышке. К вечеру я обнаружил, что мои соседи по камере, как говорится, навеселе. Зная, что в город не выпускают, я поинтересовался, откуда они взяли хмельное. «Как червонец — так и пол-литра», — ответил мне один из них. (Казенная цена пол-литра водки в те времена была 6 рублей.) Поскольку ни деньги, ни документы здесь не отбирали, то «для знакомства» я выложил десятку, и вечером мы уже обмывали мое «крещение».

Таким образом я отдыхал трое суток. На четвертые меня вызывает комендант: «Вот что, ГВФ, завтра ожидается большое поступление, и мест у меня может не хватить. Отправляйся пока домой, а потом я дам знать, придешь и досидишь». Понимая, что комендант поступает незаконно, я возмутился и заявил, что сижу здесь на полном основании и никуда не уйду, пока не получу документ об отбытии срока. Комендант понял намек, а поскольку места ему действительно были нужны, тут же предложил мне такую справку, но только если я до конца срока исчезну из Москвы. Я согласился и в середине августа уехал на целую неделю к приятелю в Дмитров, где неоднократно поднимал тост за своего «крестного», замести-

теля начальника ГУГВФ незабвенного товарища Анвельта. Вот так я впервые в своей жизни получил срок заключения и благополучно его отбыл.

Осенью мы на «Крокодиле» участвовали в знаменитых киевских военных маневрах 1935 года. Тут тоже не обошлось без казуса. После их окончания на аэродроме Брест-Литовского шоссе состоялся парад войск — участников маневров, на котором выступил нарком обороны маршал Советского Союза К. Е. Ворошилов. Мы на «Крокодиле» летали над городом, а после его речи должны были пройти над парадом и сбросить приветственные вымпела руководителям партии и правительства. Моей обязанностью было следить по радио за речью Ворошилова и по ее окончании предупредить об этом пилота. Радиовещательного приемника у меня на самолете не было, и речь я слушал на какой-то коротковолновой гармонике. Слышимость была неважная и с большими искажениями. Нарком вдруг упомянул фамилию Джугашвили, что сразу же вызвало, как в те времена писали газеты, «бурные, долго не смолкающие аплодисменты, переходящие в овацию». Решив, что он уже закончил говорить, я снял наушники и побежал предупредить пилота, который тут же повернул к параду. Когда я снова надел наушники, то обнаружил, что аплодисменты были промежуточными и нарком речь продолжает. Но было уже поздно: над самой правительственной трибуной, почти на бреющем полете (чтобы точнее сбросить), проносится «Крокодил» и кидает (причем не совсем удачно, несколько в сторону) свои приветственные вымпела. Это бы еще полбеды, но в то время в армии было много лошадей, некоторые из них не привыкли к самолетам. И одна из них, испугавшись шума моторов, опрокинула свою повозку и придавила ногу обознику-красноармейцу, который заорал благим матом. Поднялась небольшая суматоха, скомкавшая конец речи Ворошилова. Счастье, что все мы были не военными, а гражданскими лицами, а стоявшему на трибуне недалеко от Ворошилова нашему командиру Михаилу Кольцову удалось со свойственными ему остроумием и находчивостью смягчить гнев высокого начальства. После посадки мы отделались, как

говорится, легким испугом. На этом и закончилась моя служба в Агитэскадрилье им. М. Горького.

5

Поскольку я уже был студентом 5 курса Московского электротехнического института связи, то, по положению, все вечерники последнего курса институтов должны были бросать на этот год свою работу, переходить на обучение с отрывом от производства и получать повышенную стипендию (что-то около 150 рублей) — для защиты дипломного проекта и до окончания института. Благополучно закончив в мае 1936 года теоретический курс, я выбрал тему дипломного проекта «Оборудование малого зала Дворца Советов для синхронного перевода речей ораторов на 22 языках». (Строительство этого Дворца в те времена еще собирались осуществить на месте взорванного специально для этого храма Христа Спасителя. После взрыва обнаружили, что грунт не сможет выдержать такого монументального здания. Поэтому подготовка к строительству Дворца была прекращена*, и на месте уничтоженного храма сперва появился никому не нужный сквер, а потом зимний плавательный бассейн «Москва».)

Тема была очень серьезной, интересной и имеющей практическое значение (ведь в то время еще никто не знал, что Дворец Советов на месте храма Христа Спасителя так и не будет построен)**. Теперь проблема синхронного перевода уже

---

* На самом деле Дворец продолжали строить, и в фундамент было заложено до 300 тысяч тонн металлических конструкций, которые в войну стали металлоломом для нужд оборонной промышленности. И только тогда была поставлена точка в строительстве небывалого здания.

** Тема диплома Л. Хургеса в 1936 году звучала примерно так: «Радиофикация Дворца Советов». До отъезда в Испанию он успел разработать только конструкцию самоблокирующихся кнопок для зала заседаний Дворца. По поводу ненаписанного диплома он отшучивался так: «Я им не спроектировал радиоузел, но и они Дворец не построили». Примерно в 1956 году, после возвращения из лагерей, Л. Хургес все-таки защитил диплом, но на другую тему — по радиопередатчикам. *(Сообщено Л. Е. Поляном.)*

давно решена, но тогда мне нужно было разработать целый ряд сложных технических вопросов. Времени на выполнение проекта у меня было достаточно (около восьми месяцев), и я решил серьезно засесть за работу, ни на что не отвлекаясь.

Но все-таки чертенок непоседливости постоянно сидит внутри меня и точит. И вот, после случайной встречи на улице со старым коротковолновиком Витей Пшигодой, работавшим в то время начальником связи Наркомата Морского флота (по их служебному коду ЦШМОР, между прочим, точно расшифровать это обозначение не мог даже сам Пшигода), я оказался в Мурманске, в длительной (на три месяца) командировке. Бросил свой проект (хотя, для очистки совести, взял с собой часть черновиков, чтобы заняться им в свободное время, но так ни разу и не достал их из чемодана) и отправился налаживать в Мурманском торговом порту новый мощный коротковолновый передатчик «ДРК-1».

Работа оказалась не из простых. До тех пор я не имел практики в настройке мощных передатчиков с элементами автоматики и со сложными антеннами, предназначенных для радиосвязи с судами, плавающими чуть ли не по всему земному шару. Несмотря на это, новая радиостанция в порту через два месяца уже держала уверенную связь с нашими пароходами в районе Гибралтара и даже дальше. Наши позывные УМЖ-1 слышали даже в Индийском и Тихом океанах. Моряки торгового флота оказались неплохими ребятами, не хуже летчиков, а мне «перестроится на моряка» оказалось проще простого: форма ГВФ была морская, стоило только сменить пуговицы с «птичками» на такие же с «якорями» и на фуражечном «крабе» вместо «птички» приладить «якорек».

Экзотика дальних странствий настолько захватила меня, что я решил после окончания института не лезть в большую науку, а просто пойти судовым радистом на один из крупных торговых судов. Как будет видно дальше, эта мечта осуществилась, правда, в условиях не совсем обычных, и сделал я, по не зависящим от меня условиям, только один заграничный рейс.

Закончив работу в Мурманске, я вернулся в Москву, а так как я уже был избалован лишней копейкой и жить на стипен-

дию стало скучновато, решил найти себе какое-нибудь необременительное занятие, чтобы и при деньгах быть, и работу над несколько затянувшимся дипломным проектом форсировать. Подходящее место нашлось в Управлении связи ГВФ. Поступил я туда старшим инженером по распределению частот для радиостанций ГВФ. Впервые в жизни я сидел на работе за письменным столом, и на нем вместо живых радиостанций лежали только их формуляры. Но эта работа имела одно преимущество: после четырех часов вечера я вольная птица и могу спокойно идти в библиотеку и заниматься дипломом (дома, с восемью душами в единственной комнате, это было затруднительно).

В августе 1936* года начался фашистский мятеж и Гражданская война в Испании, вскоре перешедшая в открытую интервенцию итальянских и немецких фашистов. Все советские люди выступали за Испанскую Республику, везде собирали пожертвования в фонд помощи испанским детям. Мне кажется, что не было среди нашей молодежи человека (во всяком случае, среди моих товарищей и знакомых), который бы не согласился поехать в Испанию помогать республиканцам. Многие подавали заявления в военкоматы, но оттуда получали неизменные ответы с отказом и благодарностью за солидарность.

Внезапно оборвалась и моя конторская деятельность: в начале ноября 1936 года вызывает меня начальник Управления связи ГВФ Кочедыков и дает распоряжение: бросить все текущие дела и заняться организацией бесперебойного вождения по радиомаякам самолетов, доставляющих матрицы центральных газет из Москвы в Ленинград во время предстоящего VIII Чрезвычайного Съезда Советов, на котором должна была приниматься новая Конституция СССР**. (Видно, Каминский уже успел сообщить Кочедыкову о моих подвигах на схожем поприще.) Поскольку я уже однажды лежал под обломками самолета во время такого рейса, я был в курсе всей нужности и трудности поставленной передо мной зада-

---

* В июле (см. Предисловие).

** VIII Чрезвычайный съезд Советов СССР проходил с 25 ноября по 5 декабря 1936 года.

чи. Хотя это вновь откладывало и так уже очень сильно затянувшееся написание моего диплома, но так мне осточертела вся эта канцелярия, что я с радостью согласился. Кочедыков предупредил меня об особой ответственности этого задания. В случае успешного бесперебойного воздушного сообщения во время Съезда, добавил он, может встать вопрос о представлении меня к правительственной награде, а в случае срыва по моей вине — тут Кочедыков красноречиво ткнул пальцем за плечо — как раз в той стороне находилась Лубянка. Поскольку намек был мною понят, то мне осталось только сделать поворот через левое плечо и выйти из кабинета начальника.

По указанию Управления связи, мне были предоставлены весьма широкие полномочия, вплоть до срочной установки дополнительного радиомаяка посередине трассы (если, конечно, будет доказана его настоятельная необходимость). Для обоснования такого сложного и дорогостоящего мероприятия я должен был несколько раз совершить полет по всей трассе, а также тщательно изучить работу ленинградского маяка, слышимость которого, по заявлениям многих пилотов, почти всегда была значительно хуже, чем у московского.

Приехав в Ленинград, я осмотрел радиомаяк, составил об этом документ и хотел было лететь обратно на самолете, чтобы проверить дальность действия маяка. По каким-то причинам полет задерживался, и я решил, чтобы не терять времени даром, ехать в Москву поездом, а лететь уже из Москвы. Когда я в последний раз зашел в Ленинградский аэропорт, то дежурный, узнав мою фамилию, сказал, что меня уже несколько раз спрашивал человек в форме НКВД, но найти никак не мог, потому что я, как заяц, бегал по всем нужным мне инстанциям, согласовывая предстоящий полет для проверки маяка, а ночью был не в гостинице, а у своих знакомых. Не зная за собой никаких провинностей, из-за которых я должен бы был избегать знакомства с этим ведомством, я сказал дежурному, что сегодня в 20.00 уезжаю в Москву, и если я этому энкэвэдэшнику зачем-либо нужен, то он в это время может найти меня на вокзале. Но там меня никто не потревожил, и на следующее утро я уже был в Москве.

Не заходя домой, я поехал в управление, сдал отчет о командировке и договорился о дальнейшей работе. Потом зашел на огонек к одному приятелю и часам к одиннадцати вечера был, наконец, дома. Мать сообщила, что пока я был в Ленинграде, меня несколько раз спрашивал по телефону какой-то Абрамов* из ЦК партии. Поскольку до этого у меня с ЦК партии никаких дел не было, и никакого Абрамова я вообще не знал, то решил, что это меня просто разыгрывают приятели, и спокойно сел ужинать. Вдруг телефонный звонок: спрашивает меня все тот же Абрамов и просит немедленно приехать к нему для срочного разговора. На мой вопрос, не поздно ли, отвечает, что да, поздновато, и лучше было бы этот разговор провести вчера. И добавляет, что высылает за мной машину. На мой вопрос, знает ли он мой адрес, Абрамов ответил: знает.

Через пятнадцать минут около моего дома останавливается шикарный лимузин «Форд» кофейного цвета. Надев шинель и предупредив мать, что могу немного задержаться, я спустился вниз к машине. Шофер молча открыл дверцу, я сел рядом с ним, и мы поехали. Остановились возле небольшого двухэтажного особняка в Знаменском переулке, недалеко от Арбатской площади. Я вышел, а машина тут же уехала.

И вот 17 ноября 1936 года, поздно вечером, а точнее ночью, я стою перед закрытой дверью этого особняка и еще не подозреваю, что моя нормальная жизнь окончилась и я нахожусь на пороге таких приключений, что по сравнению с ними «Медная пуговица» Льва Овалова** выглядит как детская сказочка о Красной Шапочке.

---

* Абрамов (Абрамов-Миров) Александр Лазаревич (1895—1937), полковой комиссар. С 1921 года — на дипломатической работе, сотрудник ИККИ в Берлине; с 1926 по ноябрь 1935 года зав. отделом международных связей ИККИ, затем зам. зав. службы связи ИККИ и, с 1936 и по май 1937 года, помощник начальника Разведуправления штаба РККА, где, в частности, руководил испанским направлением. Обвинен Ежовым в поддержке Троцкого и расстрелян.

** Овалов (Шаповалов) Лев Сергеевич (1905—1997), советский писатель, в 1941—1956 годах — в лагере и ссылке. Автор многих книг, в том числе «Приключения майора Пронина» (1941) и «Медная пуговица» (1958).

«ПОЕЗДКА В АРКТИКУ»: МОСКВА — СЕВАСТОПОЛЬ — КАРТАХЕНА

Абрамов-Миров из Разведупра. — Прощание с родителями. — Комсомольские взносы. — Поездом в Севастополь. — Турецкий пароход «Измир». — Комиссар Мейер и паспорт от Краковского воеводы. — Мексикано-испанский пароход «Мар-Кариб». — Иван Коротков и Артут Спродис. — На рейде Босфора. — Экскурсия по Средиземноморью

1

Итак, 1936 год, месяц — ноябрь, число — 17-е, время — около полуночи. Один из переулков района Арбатской площади, точнее — Большой Знаменский. Старинный двухэтажный особняк. Запертая дверь, к которой меня молча подвез шофер лимузина «Форд» кофейного цвета и, молча высадив, уехал.

Дергаю дверь — заперта. Начинаю деликатно стучать костяшками пальцев. Раздается какое-то жужжание, но никто не открывает. Что за наваждение? Начинаю стучать в дверь посильнее — кулаком, и тот же эффект. Потеряв терпение, поворачиваюсь к двери спиной и начинаю дубасить ее каблуками; должен же кто-то быть за этой дверью! «Ага, подействовало!» В двери открывается окошко (как в комнате спецчасти), и просунувший в него голову лейтенант сердито спрашивает: «Что вы здесь хулиганите?». Не без некоторого резона я ему заявляю, что неизвестно еще, кто здесь хулиганит: я или люди, привезшие меня в такое время сюда к закрытой двери неизвестно зачем. «А вы разве в первый раз сюда?» — удивился лейтенант. Узнав что в первый, он заметно смягчился и сказал, что уже два раза открывал мне дверь, и велел дернуть за ручку в тот момент, когда раздастся жужжание. Когда я это сделал, дверь легко открылась, и я попал в обычное бюро пропусков военного учреждения. Оказывается, меня здесь уже ждали. Быстро оформив пропуск, лейтенант поведал мне о правилах поведения в учреж-

дении: запрещалось заглядывать в открытые двери (кстати, ни одной открытой двери я здесь нигде не заметил) и здороваться с кем либо из встреченных знакомых (таковых не встретил).

Выйдя из особняка во двор, я увидел перед собой большой 6- или 7-этажный дом. Предъявив стоявшему у входа часовому мой пропуск, мы с лейтенантом (он шел впереди, указывая дорогу) поднялись по лестнице, застеленной красной дорожкой, на третий этаж и пошли по длинному коридору. Дойдя до одной из закрытых дверей, лейтенант постучал, и, дождавшись уже знакомого мне жужжания, открыл дверь, произнес «проходите» и, впустив меня, сам остался в коридоре.

Небольшой кабинет, зашторенное окно, простой письменный стол, два стула, на стене неизменный портрет Джугашвили, а через открытую дверь другой комнаты видна висящая на стене карта Испании, утыканная флажками. За столом человек лет сорока, темноволосый, с залысинами, в костюме явно заграничного происхождения, среднего роста, коренастый, внимательно меня рассматривающий. Я снял фуражку и поздоровался. Он поднялся, крепко пожал мне руку и произнес: «Здравствуйте, я Абрамов. Садитесь, пожалуйста». Уселся на стул и жду, что он скажет. Помолчав немного, он спросил: «Вы комсомолец?» и, получив утвердительный ответ, снова спросил: «А для чего? Для того, чтобы получить некоторые привилегии в жизни или на самом деле, по-честному?».

Уж чего-чего, а такого вопроса я не ожидал. Изо всех сил стараясь сдержаться, чтобы не наговорить ему резкостей, я ответил, что такой вопрос считаю для себя оскорблением, и что для такого разговора нет надобности вызывать человека среди ночи: если у него есть какие-либо сомнения, то нам надо говорить не здесь, а в моем комитете комсомола. Абрамов, услыхав мою тираду, улыбнулся и уже совсем другим тоном стал меня уверять, что не хотел меня обижать, а вопрос задал для начала разговора.

— А что если партия пошлет вас на выполнение опасных заданий в боевой обстановке, причем шансов на благопо-

лучное возвращение будет очень мало, поедете? — после небольшой паузы внезапно спросил Абрамов.

Я, не колеблясь, ответил:

— Всякое задание партии, с какими бы опасностями оно ни было бы связано, почту для себя за честь и не пожалею ни сил, ни самой жизни для его выполнения.

Не спрашивая, куда ехать (это было понятно из карты в соседней комнате), я спросил только: когда?

— Завтра! — ответил Абрамов.

Как принято в столь неожиданных случаях, я первым делом почесал затылок, а потом ответил Абрамову, что несколько причин мешают мне немедленно ехать на задание.

— Какие? — поинтересовался Абрамов.

Я рассказал, что имею правительственное задание по обеспечению Ленинграда матрицами газет на время Чрезвычайного VI Съезда советов и без разрешения начальника ГУГВФ Ткачева бросить эту работу не могу.

Абрамов тут же (около часа ночи!) снимает трубку телефона, набирает какой-то номер:

— Ткачев? Здравствуйте, это Абрамов. Да-да, тот самый. У Вас работает в Управлении связи инженер Хургес. Я его с завтрашнего дня забираю. Нет-нет, он мне очень нужен. Вы обойдетесь, найдете другого. Спокойной ночи, извините, что поздно потревожил.

Кладет трубку и обращается ко мне:

— Завтра можете на работу не выходить.

Ошеломленный, я сидел на стуле. Считать этот разговор мистификацией не было оснований. Но какими же полномочиями обладал этот человек, если он та́к разговаривал с деятелями ранга наркомов?

(Между прочим, читая как-то судебный отчет по делу Бухарина, Рыкова, Ягоды и других в 1938 году, я узнал, что по этому делу проходил и Миров-Абрамов, который был якобы связным между Ягодой и Троцким. Часто бывая за границей, Абрамов передавал Троцкому крупные суммы денег. Впоследствии, еще задолго до прочтения этого отчета, я узнал, что в 1937 году как сам Абрамов, так и его жена Ольга Ми-

рова* — корреспондент ТАСС в Испании, были арестованы и пали жертвами культа личности Джугашвили).

Затем я вспомнил, что в порядке общественной нагрузки я собирал средства в Фонд помощи испанским детям и завтра должен был внести деньги в кассу. Абрамов мне не разрешил этого сделать, но обещал сегодня же отправить их по назначению с курьером (благо, деньги со всей документацией были у меня в кармане).

После этого он спросил, что еще может меня задерживать в Москве? На слова о необходимости защитить дипломный проект в институте он улыбнулся: в случае моего благополучного возвращения, сказал он, мне будет оказана полная поддержка (что и произошло — правда, с опозданием на двадцать лет и без участия его ведомства).

Когда я ему сказал, что на моем иждивении находятся престарелые отец и мать, он молча достал из ящика стола лист бумаги, что-то на нем написал и, протянув его мне, сказал: «Если согласны, подпишите». Я прочел: «Прошу на все время моей командировки, а в случае моей гибели пожизненно, выплачивать моим родителям (следовали их полные данные и адрес) по 400 рублей в месяц**». На его вопрос: «Хватит?» — я только молча пожал плечами и подписал бумагу.

Мне и в голову не пришло попытаться, используя такое чрезвычайное положение, получить еще какие-либо материальные привилегии: Абрамов, вероятно, мне бы в этом не отказал. Он даже сам спросил, нет ли у меня какой-нибудь девушки или женщины, с которой я близок и которой я должен был бы оказать материальную помощь. Я ответил отрицательно, а потом пожалел: и правда — не мешало бы помочь моей подруге Зое Р., не очень-то хорошо обеспеченной. И только много позже, по возвращении из Испании, я перестал об этом жалеть.

Беседа с Абрамовым продолжалась еще довольно долго. Он подробно расспрашивал о моей работе, об учебе и даже о личной жизни, в частности, о знакомых девушках. Види-

---

* Неточность: Мирова Елена Георгиевна (1899—1938), расстреляна.

** В то время это было вдвое больше, чем персональная пенсия.

мо, хотел прощупать меня со всех сторон. Около двух часов ночи, оставшись, видимо, удовлетворенным моими ответами, он отпустил меня домой и велел явиться сюда же на следующий (точнее, в уже наступивший) день к девяти часам утра. Задремавший было в коридоре лейтенант проводил меня в бюро пропусков, около входа в которое меня ждал все тот же кофейный «Форд» с молчаливым шофером, который, не говоря ни слова, привез меня домой.

Поздние мои возвращения не были редкостью для матери, и она только для порядка буркнула: «Где ты шлялся?» — и быстро успокоилась, ибо до моего прихода, разумеется, не спала. Наутро я, как обычно, собрался на работу, предупредив мать, что возможно задержусь, ибо мне опять предстоит командировка, но крайне удивил ее, когда на вопрос о том, не надо ли готовить чемодан, ответил отрицательно.

В 9 часов утра я уже был в кабинете у Абрамова. Кроме него там был молодой человек в форме матроса. «Знакомьтесь, — сказал Абрамов, — это Георгий Кузнецов. Он будет в рейсе вашим помощником». Пожали друг другу руки и обменялись обычными приветствиями, после чего Абрамов вызвал какую-то женщину и распорядился нас сфотографировать для документов. Спустились этажом ниже, зашли в одну из комнат. Стоит огромный фотоаппарат, а на стуле несколько пиджаков, сорочек, галстуков. Так как мы оба были в форме (я в форме ГВФ, Жора — в морской), пришлось нам надеть штатское — пиджак, сорочку, галстук.

Сфотографировавшись, снова явились к шефу, который отправил нас для инструктажа по радиоаппаратуре, с которой нам придется работать, на центральную радиостанцию Управления (к этому времени я уже знал, что работаю я в IV Управлении Генштаба РККА — Разведупре. Начальником управления был комкор (генерал-полковник) М. Урицкий, брат убитого во время революции В. Урицкого, чьим именем названа главная площадь Ленинграда*). В сопровождении вчерашнего лейтенанта и все на том же кофейном «Форде»

---

* Неточности: убит был Моисей Соломонович Урицкий (1873—1918), председатель Петрогроградской ЧК, а начальником Разведуправле-

мы приехали куда-то в район Ленинских гор, на эту радиостанцию. Принял нас начальник связи Управления, бригадный инженер (по-нынешнему генерал-майор инженерных войск) Гурвич*.

Во время беседы, результатами которой Гурвич, по-видимому, остался доволен, в кабинет вошел человек в форме военного инженера I ранга (инженер-полковник), в котором я с удивлением узнал одного из виднейших советских радиоспециалистов, профессора Б. П. Асеева, преподававшего в нашем институте. Борис Павлович обладал изумительной памятью и знал в лицо почти всех своих студентов, а меня он особенно хорошо запомнил, потому что однажды на экзамене я пытался его обмануть, а этого он никогда не прощал. Асеев преподавал у нас радиотехнику. Экзамены он проводил несколько необычно: на столе разложены три кучки билетов-вопросников, с пометками на верхней стороне: «3, 4 и 5». Соответственной трудности были и вопросы. Брать можно было любой билет, но безопаснее снизу вверх (то есть от тройки и выше). Возьмешь «троечный» — полегче, ответишь и уже имеешь гарантированную тройку, можешь брать «четверочный», не ответишь — твоя тройка остается и т. д. Но если возьмешь с ходу «четверочный» или «пятерочный» и не ответишь на него, то получай «два» и вылетай с экзамена: «вниз» спускаться не разрешалось.

Так вот, однажды на таком экзамене я взял «четверочный» билет и хорошо на него ответил. «Ну что ж, — сказал Борис Павлович, — четверку вы уже заработали, берите пятерочный». Терять мне было нечего, четверка в кармане, беру «пятерочный» и вижу очень сложный и совершенно незнакомый мне вопрос «Фильтрация связанных контуров» (из-за частых командировок я иногда пропускал занятия и этот вопрос не успел просмотреть). Надо бы сразу отказаться от пятерки, и осталась бы честно заработанная четверка, но бес

ния штаба РККА с апреля 1935 по июнь 1937 года был его племянник Семен Петрович Урицкий (1895—1938, расстрелян).

* Гурвич Алесандр Иосифович (1898—1938), бригадный инженер, начальник НИИ техники связи РУ штаба РККА с 1935 по 1937 год. Расстрелян.

авантюризма попутал. «Ну как, осилите?» — спросил Б. П. «Попробую», — ответил я. «Садитесь в сторонке, чтобы не мешать другим, вопрос не из простых, подумайте хорошенько», — напутствовал меня Б. П. Я уселся подальше, достал конспект, и делая вид, что напряженно думаю, незаметно списал все выводы формул из конспекта. Все это время я непрерывно наблюдал за Б. П. , который даже ни разу не взглянул в мою сторону. «Готово?» — спросил он, когда я с «содранным» выводом подошел к его столу. «Давайте, только не ответ, а зачетную книжку», — сказал он, отодвигая в сторону мои «выводы». Ну, думаю, все в порядке, все-таки обвел я вокруг пальца этого «зубра». И представьте себе мое удивление, когда вместо ожидаемой пятерки или хотя бы честно заработанной четверки в зачетке появилась жирная красная двойка. «Знаете за что, жду осенью!» — заявил Б. П., разговор окончен.

Увидев меня, Асеев крепко пожал мне руку и обратился к Гурвичу: «Этого я знаю, мой бывший студент. Парень способный, но жулик, пытался меня обмануть на экзамене», — и подробно рассказал ему о том случае на экзамене. Я густо покраснел, от смущения готовый провалиться сквозь землю. Сквозь смех Гурвич пожурил Асеева за злопамятность, а меня успокоил: «Ничего, жулики в нашем ведомстве нужны, но, конечно, при условии, что они не попадутся». После столь лестной рекомендации Бориса Павловича проверять мои познания в радиотехнике никто не стал. Нам с Жорой показали образцы аппаратуры, и мы с ним подписали необходимые документы, после чего снова приехали к Абрамову.

«Теперь оденьте их», — приказал он женщине, фотографировавшей нас. На том же «Форде» нас отвезли во двор дома на углу Петровки и Столешникова переулка. Предъявив пропуск часовому, мы прошли в большое полуподвальное помещение. С одной его стороны, на вешалках, висело множество пальто различных фасонов, цветов и размеров, а с другой — такое же разнообразие костюмов.

В то время с одеждой было очень плохо, в магазинах почти ничего не было. Надо сказать, что за все девять лет своей

трудовой деятельности я так и не смог приобрести себе приличного штатского костюма и ходил все время в форме ГВФ. Как ни разбегались глаза от открывшегося нам с Жорой изобилия, но времени терять было нельзя, и с помощью сотрудниц склада и нашей провожатой нас быстро экипировали. Модный костюм, пальто, узконосые туфли — все, вплоть до носков, пояса и галстука, совершенно преобразили нас. Глянув в зеркало, я едва узнал в нем себя.

2

Когда мы с Жорой, одетые с иголочки, явились снова к Абрамову, он улыбнулся: «Ну вот теперь все в порядке. Можете ехать в Европу!» За окном уже начинало темнеть. «Два часа на прощанье с родными», — разрешил Абрамов (у Жоры в Москве никого не было), но предупредил об особой секретности командировки. Домашним посоветовал сказать, что на полгода уезжаю в Арктику. Дал номер телефона Управления, по которому родные смогут позвонить в случае необходимости, и домашний адрес сотрудницы Управления Урванцевой, через которую можно вести переписку со мной.

В дальнейшем все письма от родных в Испанию проходили через нее, она их направляла диппочтой. Уезжая домой, свой «европейский» костюм я оставил в кабинете Абрамова и снова надел форму ГВФ. Дома я был как раз к обеду. Но есть не хотелось: я уже пообедал в управлении, да и вообще не до этого было.

Мать сразу захлопотала с тарелками и чуть не уронила их на пол, когда я заявил, что сейчас же уезжаю на полгода в Арктику. «Куда тебя несет, босяк? Ты с ума сошел, ведь через месяц защита диплома, а у тебя опять гвозди в стуле!» и т. д. Не будучи в силах затягивать прощание и боясь сорваться, я быстро оставил номер телефона и адрес для переписки и сказал, что за все время «командировки» они будут получать за меня по 400 рублей в месяц. «На что нам твои деньги», — заплакала мать, видимо почувствовав, что больше они меня

не увидят (и действительно: родителей я уже больше не видел — отец умер в 1938, а мать в 1942 году, по пути в эвакуацию). Насилу оторвав прижавшуюся ко мне мать, поцеловав сестру и зятя*, я вышел попрощаться с отцом в коридор.

Если мать и сестра так ничего и не подозревали, то отец почувствовал что-то неладное в моей «командировке»: «Береги себя, сынок! В этой твоей Арктике может быть довольно жарко!» Старый солдат, участник Гражданской войны, он сразу понял, куда и зачем я еду. Я ему ответил, что неважно, вернусь я или нет, но краснеть за меня ему не придется. «Слабое утешение!» — произнес на прощание отец любимую присказку. Раньше я никогда не видал у него слез, но на этот раз ему пришлось вытереть глаза платком, чтобы не расстроить еще больше маму, лежавшую в полуобмороке на диване.

Не помню уж, как я вышел на улицу и сел в ожидавший меня «Форд». До конца «отпуска» оставалось еще около часа, и я решил поехать в институт проститься с Зоей Р. (она была на курс моложе меня и потому у них еще шли занятия). Подошел к ее аудитории и уже взялся было за ручку двери, чтобы вызвать ее, но тут перед глазами возникла лежащая на диване мать. Оставил ручку двери, круто повернулся и пошел к машине, вспомнив старинное изречение: «Радость разделю с тобою, горе — изопью один». Я решил не делить с ней своего горя: уселся в машину и еще задолго до назначенного срока был в кабинете Абрамова.

3

Тут уже кроме Абрамова и Жоры сидел какой-то незнакомый человек, явно заграничного вида. «Знакомьтесь, — сказал Абрамов, — это товарищ Валентино — ваш перевод-

---

* Имеются в виду Фаина (Феня) Лазаревна Лукинова (1913—1991) и ее первый муж Михаил Вениаминович Беньяминович (ок. 1910 — 1941), работавший механиком 1-го Московского хлебозавода (погиб на войне, куда ушел ополченцем Замоскворецкого района).

чик. Едете сегодня в Севастополь, а оттуда морем». Он дал нам с Жорой по 250 рублей советских денег (специально на вагон-ресторан в поезде), мне 100 долларов, а Жоре — 50, причем предупредил, что советские деньги мы должны до Севастополя истратить, а валюту беречь на крайний случай, так как в Испании мы будем получать жалованье: я — как капитан, а Жора — как лейтенант (переводчик, по-видимому, снабжался по особой линии). Я был комсомольцем, Жора — кандидатом в члены партии, и поэтому пакет с пятью сургучными печатями доверили ему, наказав хранить как зеницу ока.

Нашу московскую одежду отправили на хранение в цейхгауз, а мы пошли в спецчасть Управления сдать свои советские документы. И там приключилось нечто, из-за чего моя «командировка» чуть было не сорвалась.

Начальником спецчасти был мой старый знакомый по Институту связи — корпусной комиссар Озолин*. Когда он осмотрел мой комсомольский билет, то оказалось, что я не заплатил членские взносы более чем за два месяца. Тут он прямо рассвирепел и заорал на меня с сильным латышским акцентом: «Как это вы собираетесь ехать за границу, а сами почти выбыли механически из комсомола, три месяца не платите взносов?! Я вас не выпущу!» — и вернул мне документы. Тут уже не помог авторитет и самого Абрамова. Все его уверения о моей политической благонадежности, о крайней необходимости моей поездки, буквально разбивались о каменную стену латышского упрямства: «Он не платил три месяца в комсомол, я его не пропускаю!»

В дело вмешался сам начальник Управления — М. Урицкий. Еле-еле удалось убедить принципиального латыша в том, что два с половиною месяца это все-таки не три и что заменить меня некем. Ворча, он все же взял мои документы, заставив меня положить в свой комсомольский билет деньги еще вперед за месяц. На том и порешили.

---

* Неточность: Эдуард Янович Озолин был не корпусным, а полковым комиссаром. В описываемое время был начальником шифровальной службы 4-го Управления Разведупра РККА (1930—1937).

...По прибытии в Севастополь мы должны были оставаться в купе, пока туда не войдет человек и не скажет, что он «от Ивана Ивановича», после чего мы должны были отдать ему пакет и следовать за ним. Затем Абрамов выдал нам билеты в мягкий вагон до Севастополя, обнял нас на прощанье и, в сопровождении все того же лейтенанта, мы спустились вниз, где нас поджидал кофейный «Форд», который отвез нас на Курский вокзал.

Пройдя какими-то туннелями, по которым обычных пассажиров почему-то не пускали, мы вышли прямо к нашему вагону поезда Москва—Севастополь. Четвертое место в купе оказалось свободным, и мы уже решили, что из соображений секретности поедем втроем, но в самую последнюю минуту, когда наш лейтенант уже вышел из вагона, буквально на ходу в поезд вскочил основательно подвыпивший артиллерийский полковник. Он и оказался в нашем купе четвертым. Сообщив нам потрясающую новость, что он чуть не опоздал на поезд, полковник уселся на диван, и началось знакомство. «Куда едете?» — спросил он у меня. Я ответил, что на отдых в Ялту в санаторий БВО (первое что пришло в голову). Оказалось, что и полковник туда едет, причем был там неоднократно и обладает там обширными знакомствами, особенно среди прекрасной половины человечества. Узнав, что в деньгах я не стеснен, он заявил, что мы там можем чудесно провести время.

Вначале я подумал, что полковника к нам умышленно подсадили, чтобы прощупать наше настроение и поведение в дороге, но когда я убедился, что он пьян по-настоящему, это подозрение сразу отпало. Но все же я старался больше молчать и слушать его разговоры, что было нетрудно. Перед нами стояла сложная задача: надо было за полтора суток истратить по 250 рублей, причем сильно напиваться было нельзя. Договорились тайком с Жорой, что вместе покидать купе не будем. Он будет ходить в ресторан с переводчиком, которого мы тоже совершенно не знали, а я с полковником. Через полчаса после отправления поезда наш полковник уже почувствовал «жажду», и пришлось мне его вести в ресто-

ран. Хотя я выбирал все самое дорогое, больше 50 рублей потратить так и не удалось, и в довершение всего, несмотря на мои протесты, заплатил полковник, заявив, что он «богат», а мне деньги на курорте пригодятся. Положение сложилось трагикомическое: деньги надо в поезде потратить, а сделать этого нельзя, тем более что вступать в объяснения с полковником неудобно. Правда, на другой день мне удалось один раз заплатить в ресторане, но тем не менее советских денег я привез в Севастополь порядком.

Приехали мы туда погожим осенним утром. Полковник засуетился: «Давай, давай ребята скорее! Вон стоит наш автобус, надо занять получше места, ехать-то ведь не близко». Для вида я начал не спеша собираться, и как только полковник вышел из купе, к нам в дверь просунулась мрачная, явно НКВДовского типа фигура в штатском и хриплым голосом спросила Кузнецова. «Я от Ивана Ивановича», — шепотом произнес он на ухо Жоре, и погромче: «Давайте свой пакет, собирайте вещи и следуйте за мной». На вокзальной площади нас уже ждал «газик». Увидев меня, уже сидевший в курортном автобусе полковник замахал рукой: «Давай сюда быстрее! Я занял место!» и, по-видимому, был крайне удивлен, когда вместо того, чтобы поспешить к нему, я помахал ему рукой, сел с товарищами в «газик» и укатил с площади.

Ехали мы довольно долго, все время вдоль побережья и остановились возле высокого, глухого забора. Несмотря на забор, с улицы, по которой мы ехали, был прекрасно виден большой причал, у которого стоял пароход, довольно обшарпанного вида, водоизмещением тонн на 5 000, под турецким флагом и с надписью на борту: «Измир».

Погрузка его заканчивалась, потому что сидел он в воде по ватерлинию, но два крана непрерывно спускали в его трюмы «невинный» груз — стокилограммовые бомбы для авиации, упакованные наподобие стиральных машин, с рейками по периметру, и связанные по восемь штук тросами. Очень меня удивило и обеспокоило то, что никаких мер по маскировке не применялось. Тут же, у причала, стояли пятнадцать танков «БТ» и несколько спецмашин, тоже в ожидании по-

грузки. Все это было сверху слегка прикрыто брезентом, но, видимо, его не хватало, и с улицы было прекрасно видны как типы танков и машин, так и их количество. По улице шли трамваи, ездили автомобили, взад-вперед сновали пешеходы. Если учесть, что в то время Севастополь еще был открытым городом, а всем было известно, что Советскому Союзу нет надобности поставлять Турции оружие, то сразу становилась очевидной наивность маскировки с «Измиром».

Глядя на этот пароход, даже такой неискушенный моряк как я сразу вспомнил, что в кинохронике прошлого года я видел проводы Ворошилова, Буденного, Бубнова, бывшего тогда наркомпросом и также павшего жертвой культа личности Джугашвили, отправлявшихся с визитом дружбы на шикарном турецком двухтрубном лайнере «Измир», кстати, также из Севастополя, где их провожала большая толпа народа. Тот «Измир», конечно, нисколько не напоминал нашего обшарпанного работягу, которого я, да и не только я, наблюдал с улицы. И если даже мне это бросилось в глаза, то для коренных севастопольцев и для безусловно имеющихся здесь заинтересованных лиц из иностранных разведок, такая «маскировка» была секретом Полишинеля. Возможно, что все эти упущения и были одной из причин того, что часть наших судов в Испанию топилась в пути фашистами.

Нельзя сказать, чтобы все эти обстоятельства подействовали на меня ободряюще, но отступать было уже поздно. Принимая во внимание, что несколько тысяч тонн взрывчатки от первой же торпеды сделают свое дело, я предположил, что в случае чего долго барахтаться в море не придется и неумение плавать не станет главной причиной моего досрочного свидания с Господом Богом.

Последнее, что оставалось, — это понадеяться на свою счастливую звезду, которая меня еще не подводила. «Слабое утешение», — как сказал бы в данном случае мой отец, но, к сожалению, единственное.

Все эти мысли роились у меня в голове, пока мы, не выходя из «газика», стояли у ворот причала. Вскоре ворота открылись, и мы въехали во двор. На железнодорожных путях

стояло несколько пассажирских вагонов. Наш провожатый велел забрать свои вещи и завел нас в один из вагонов, где сказал, что с нами будет беседовать корпусной комиссар Мейер*, но пока он занят и придется немного обождать.

Время попросил скоротать за важным заданием — устранением в нашей одежде любых следов ее советского происхождения. Тут переводчик Валентино оказался в лучшем положении, все у него было заграничное; мы же с Жорой, вооружившись лезвиями от безопасной бритвы, принялись за работу. Через несколько минут на наших пиджаках, брюках, сорочках и пр. появились зияющие дыры от отпоротых фабричных марок «Москвошвея». Мы лишились всех брючных пуговиц, стелек обуви, подкладки, галстуков и шляп, но это еще полбеды, марочные пуговицы мы заменили безымянными, без подкладок тоже можно прожить, но самое скверное, что мы лишились брючных ремней, подтяжек и подвязок для носков: на всех имелись пятиконечные звездочки. Зато мы избавились от нежелательных улик, которые подтвердили бы в Лондонском комитете «по невмешательству»** «агрессию» СССР в Испании. Кое-как пришив пуговицы, залатав дыры и приколов носки к кальсонам английскими булавками (кстати, тоже имеющими надпись «Мосштамп», но к этим булавкам английские лорды в комитете придираться не имели права, ибо они были выданы нам нашим провожатым), мы отправились к корпусному комиссару Мейеру.

В купе сидел моряк лет пятидесяти, выше среднего роста, с одной широкой и двумя средними нашивками на рукавах. Поздоровавшись, он сразу же обратил внимание на непоря-

* Мейер-Захаров Лев Николаевич (1899—1937), корпусной комиссар, помощник начальника разведупра РККА. Арестован 11 июня 1937 года. Приговорен 10 августа по обвинению в шпионской деятельности и в тот же день расстрелян. Реабилитирован в 1956 году. Награжден орденом Красной Звезды 27 января и арестован 11 июня 1937 г.

** На международной конференции по Испании, проходившей с 9 по 16 сентября 1936 года в Лондоне, было принято постановление запретить поставки в Испанию оружия и военных материалов, а также участие в гражданской войне войск иностранных государств. Советский Союз в Комитете по невмешательству представлял посол в Великобритании Иван Михайлович Майский.

док в моем костюме. Так как брюки были пошиты на стандартную фигуру, а я, по-видимому, имел от этого стандарта отклонение в меньшую сторону, то отсутствие поясного ремня создавало в любое время реальную угрозу внезапного конфуза, и мне время от времени приходилось подтягивать спадающие брюки. Узнав причину, Мейер расхохотался и велел своему не в меру усердному помощнику вернуть мне ремень. С большой неохотой, но пояс был мне возвращен, я почувствовал себя гораздо увереннее и стал с большим оптимизмом смотреть на свою дальнейшую судьбу.

За завтраком (который, кстати, он не предложил нам разделить) комиссар изложил нам обстановку: пароход испанский, маскировка наивная, но другого выхода нет. В Испании, особенно под Мадридом, идут тяжелые бои. Мадрид может в любое время пасть из-за отсутствия боеприпасов, а с падением Мадрида может закончиться вся война. Сейчас все висит буквально на волоске: неприбытие в срок нашего транспорта могло оказать роковое влияние на исход войны, так как боеприпасов практически нет и воевать нечем, а фашисты снабжаются всем необходимым из Италии и Германии. Команда парохода — из Каталонии, из Барселоны. Они, как правило, анархисты и имеют большую склонность к сепаратизму. Эти моряки полагали, что повезут отсюда продукты, уж на худой конец самолеты, а везут — сами видите что. Хотя большинство и понимает, что для Республики сейчас боеприпасы нужнее продуктов, но тем не менее признаки недовольства среди команды парохода имеются. Главная причина — снаряды и бомбы в трюме. Все понимают, что «ничейного» исхода быть не может. Одно попадание торпеды или крупнокалиберного снаряда, и все взлетит на воздух, причем спасать кого-то ни надобности, ни возможности не будет. Единственное, что фейерверк на 5000 тонн взрывчатки, если это будет известно «рейдеру»*, не даст ему близко подойти к пароходу, потому что если он это сделает, то и сам погибнет (тут мне снова вспомнились слова отца насчет «слабого утешения»).

---

* Рейдер — военный корабль (крейсер, линкор), ведущий самостоятельные боевые действия.

Огнестрельное оружие у команды под благовидным предлогом было отобрано, но не исключено, что кто-то его и припрятал; а производить тщательный обыск — неудобно. Нужно соблюдать предельную осторожность, не раздражать команду, не выходить ночью из кают по одному и всегда держать наготове оружие на случай внезапного бунта. При крайней необходимости — без промедления принимать самые решительные меры, невзирая на лица. При любых условиях пароход неприятелю сдан не будет и, при отсутствии другого выхода, обязательно будет взорван, для чего среди пассажиров имеется специальный человек, имени которого Мейер нам конечно не назвал, но мы вычислили его в пути довольно быстро.

Корабельный радист-испанец отстранен от работы, выселен из радиорубки и помещен со штурманом. Связь будет поддерживаться на коротких волнах только с Москвой специальным кодом, для чего на пароходе имеется шифровальщик, который также будет жить в радиорубке. Затем, обращаясь ко мне, Мейер сказал: «Единственным человеком, который как-то может повлиять на исход рейса, будет старший радист — то есть ты». Радист на пароходе совершенно бесконтролен и может в любое время связаться с любой неприятельской радиостанцией, передать координаты судна и характер груза, после чего пароход может быть потоплен. Кроме радиста сделать этого в пути никто не может. «Поэтому Партия и Правительство оказывают тебе, — вновь обратился ко мне комиссар, — величайшее доверие и вручают в твои руки честь и авторитет Советского Союза, а возможно, и судьбу Испанской Республики. Будь же достоин этого доверия!».

Я встал и ответил комиссару, что моя жизнь принадлежит Партии и Родине и что, пока я жив, буду честно служить им. Комиссар извинился и попросил считать его слова не выражением подозрения, а просьбой быть особенно бдительным в случае возможного обнаружения на корабле других средств радиосвязи, помимо моей радиостанции. Пока Мейер беседовал с нами, погрузка парохода уже подошла к концу, и, когда мы туда явились, началась приборка перед отплытием.

Монтировать радиостанцию для связи с Москвой должен был хорошо знакомый с ней специалист (одесский коротковолновик Юзик, фамилии не помню), но оказалось, что он так и не успел закончить свою работу, поскольку начал мудрить над какой-то особой антенной. Узнав об этом, я заявил «специалисту», что даю ему сроку один час: если через час на пароходе не будет устойчивой связи с Москвой, то я в его услугах больше не нуждаюсь, удаляю его с парохода и возьмусь за дело сам вместе с Кузнецовым. Выгнав Юзика ровно через час, мы с Жорой быстро отмерили провод для антенны, залезли на мачту, закрепили антенну в самой высокой точке и через полчаса уже имели вполне уверенную радиосвязь с Москвой, которая ни разу не прерывалась до самого конца рейса.

Пароход был испанским, название — «Мар-Кариб» («Карибское море»), порт приписки — Барселона, порт назначения — главная военно-морская база республики Картахена. Нас, советских, на пароходе всего тринадцать человек; кроме нас с Жорой все средние командиры РККА. Единственный штатский — я. Старший по воинскому званию — капитан танковых войск Иван Коротков — был назначен начальником перевозки. В Испании он проявил воинскую доблесть, был награжден орденом Боевого Красного Знамени и вне очереди получил звание полковника. (За точность не ручаюсь, но мне говорили, что погиб он в 1950 году в Корее, в звании генерал-лейтенанта.) Заместителем Короткова был Артур Карлович Спрогис*, но именно он был фактическим

* Спрогис Артур Карлович (1904—1980), советский военный деятель, из латышских стрелков. В пятнадцать лет добровольцем вступил в 7-й Латышский стрелковый полк, с которым дошел до Крыма. После расформирования полка в конце 1920 года остался в Росии. Служил в погранчастях. После окончания Высшей пограничной школы — на оперативной работе в ГУГБ НКВД. С октября 1936 года в звании младшего лейтенанта НКВД — в Испании, до октября 1937 года служил советником по разведке при штабе Фронта Народной армии и возглавлял диверсионно-разведывательное подразделение «Войсковая часть 9903». 2 ноября 1937 награжден орденом Ленина. В 1941—1943 командовал разведывательно-диверсионным соединением, действовавшим на Западном фронте. В 1944—1945 — начальник штаба партизанского движения Латвии. Ушел в отставку в звании полковника. См. о нем: Борцы Латвии в Испании. 1936—1939. Воспоминания и до-

начальником перевозки (он же должен был в случае крайней необходимости взорвать пароход).

С Артуром мне впоследствии приходилось часто встречаться в Испании, где мы с ним все время находились на одном участке Южного фронта. Это был невозмутимо спокойный, отчаянной храбрости человек. Работал он преимущественно за линией фронта, в тылу у фашистов, и любая из его героических операций по своей смелости и опасности была столь невероятна, что вызывала недоверие слушателей.

За боевые заслуги в Испании Спрогис был награжден орденами Ленина и Боевого Красного Знамени. В Отечественную войну Артур Карлович был начальником разведки Западного фронта и неоднократно работал по старой специальности — в тылу у врага, за что был награжден вторым орденом Ленина, еще четырьмя орденами Красного Знамени и другими правительственными наградами. Умер он 2 октября 1980 года в Москве после продолжительной болезни, 76 лет от роду и в звании полковника. До самой смерти он сохранил ясную память и твердость самообладания. Я навестил его в больнице за три недели до смерти, и он, хотя и был в тяжелом состоянии, все время шутил и твердо верил в выздоровление.

Вот такому железному человеку и был поручен взрыв нашего парохода, и нечего сомневаться — он бы это сделал. Единственным недостатком Артура была полная неспособность к иностранным языкам (несмотря на то что почти всю жизнь он провел среди русских и в России, он и по-русски говорил с сильным латышским акцентом), и за шестимесячное пребывание в Испании, когда я уже более-менее болтал по-испански, Артур заучил не больше пары десятков слов. Тем не менее испанские товарищи из его группы души в нем не чаяли и готовы были идти с ним в огонь и воду.

...После окончания погрузки капитан парохода устроил торжественный обед: впервые в жизни отведал я испанские кушанья, испанские вина, самое лакомое — испанские

кументы. Рига, 1970. С. 527; *Штраус В.* Латыши в Испании (1936—1939). Испанский альманах. М., 2008. С. 61.

апельсины «Наранхас» (это было первое испанское слово, которое я запомнил). Надо сказать, что испанцы в основном едят дважды в день: с 11 до 13 и с 17 до 19, но едят помногу, блюд по семь-восемь, запивая обильно прекрасными испанскими винами (преимущественно «Риоха»).

На пароходе было два офицерских салона: в первом имели право находиться капитан, его помощники, штурман, радист и прочее начальство; во втором — «черная кость» — механики и пр. Несмотря на то что относились в Союзе к испанским товарищам очень хорошо (вплоть до того, что каждому из них перед отъездом из Севастополя выдали по полному фанерному ящику самых дорогих папирос), за обедом можно было увидеть много нахмуренных лиц. Все мои попытки как-то развеселить их разбивались о полное незнание испанского языка, а переводчик, видимо, сам не был расположен к особому оптимизму, так что пришлось нам с Жорой вместо веселой беседы за столом с моряками подналечь на испанское вино (причем впоследствии Жора так вошел во вкус, что мне частенько приходилось непрерывно стоять по нескольку вахт, пока он отдыхал). Но наши познания в испанском языке обогатились необходимыми словами: вино — «ви́но», мясо — «карнэ», хлеб — «пан» и т. д. Особенно «хмурился» на меня радист парохода — испанец синьор Хосе: старый, лет сорока, моряк, изъездивший все моря и океаны земного шара и теперь замененный на какого-то мальчишку (меня). Как я ни старался его задобрить, ничего не получалось. Только потом, уже в середине рейса, когда мы с ним в салоне сели записывать с приемника какую-то информацию (азбукой Морзе) на английском языке, передаваемую с приличной скоростью, причем я записал все без единого пропуска и ошибки, а синьору Хосе удалось записать лишь отдельные слова, лед был сломан, и он даже угостил меня коньяком из своего «НЗ».

В 18 часов корпусной комиссар Мейер созвал всех советских в капитанском салоне. «Товарищи, — обратился он к нам, — вы знаете, что едете защищать Испанскую Республику. Защищая ее, вы защищаете и свою Родину. Впервые

международный фашизм дает открытый бой. Вы все обязаны в Испании проявлять высокую военную и гражданскую доблесть, должны доказать преимущества нашей советской морали перед зверской, человеконенавистнической моралью фашизма. Каждую секунду вас в Испании может подстерегать смерть. Не хочу вселять в вас несбыточных надежд, многие из вас не вернутся живыми на Родину. Скажу прямо, если из ваших тринадцати человек благополучно вернутся хотя бы двое, то можно будет считать, что вашей партии повезло (Комиссар, конечно, несколько сгустил краски, но, по-видимому, ему требовалось как можно жестче настроить нас.)

Знайте же наперед, зачем вы едете и что вас там может ожидать. Самое тяжкое преступление — сдача в плен, если была хотя бы малейшая возможность застрелиться последним патроном. Не менее, если не более тяжкое преступление — сдача врагу боевого оружия советского образца. В безвыходном положении Родина требует от вас сперва уничтожить боевое оружие (танк, самолет и пр.), а потом самому застрелиться последним патроном. Подумайте, товарищи, хорошенько. Вы все здесь подобраны на строго добровольных началах. Пусть каждый из вас хорошенько покопается в тайниках своей души. Партия и Родина требуют от вас подвига, и должна быть твердая уверенность в том, что у вас хватит сил и воли его совершить, не дрогнув ни на минуту, даже если вам придется погибнуть самой мучительной смертью. Подумайте, товарищи, хорошенько, пока не поздно. Каждый из вас должен знать свои слабости. Я понимаю, что находясь здесь, бок о бок с другими товарищами, никто не решится в этом признаться. По окончании нашей беседы, я буду находиться совершенно один полчаса на верхней палубе. Можете подходить ко мне поодиночке с любыми вопросами и поручениями, в том числе и с тем вопросом, о котором я сейчас говорил. Одно ваше слово, и любой из вас будет отправлен обратно на то место и должность, на которых он до этого служил. Его долгом будет только крепко забыть обо всем, что он здесь видел и слышал. Через полчаса, товарищи, мы встретимся здесь же».

Полчаса помаячила фигура комиссара на верхней палубе. Многие из нас к нему подходили. Подошел и я. Попросил передать домой письмо и 120 рублей оставшихся и уже не нужных мне «ресторанных» денег.

Медленно тянулись минуты. Наконец мы снова в салоне. Каждый считает товарищей. Все тринадцать налицо. Трусов среди нас не нашлось. Появляется комиссар. Пытается улыбнуться, но почему-то предательски дрожит нижняя губа, а внезапно откуда-то появившийся «насморк» заставляет слишком часто пользоваться носовым платком, причем не всегда по прямому назначению. Овладев собой, комиссар начинает: «Извините, товарищи, — снова обращается он к нам, — уже не первую партию отправляю, но привыкнуть никак не могу. Лучше самому ехать. Просил — не пускают». Голос комиссара постепенно крепнет. «Я рад товарищи, счастлив, что Партия и Родина в вас не ошиблись и уверен, что все вы окажетесь достойны той великой чести, которая досталась на вашу долю. Через полчаса вы отплываете. Вы будете там не одни. Там уже есть наши товарищи, наше оружие, только очень мало боеприпасов. Самолеты стоят без бомб, пушки без снарядов, очень трудно с доставкой. Все кругом Испании блокировано, прорваться через эту блокаду можно только проявив большую находчивость, самую большую дисциплину и выдержку, да и то в очень редких случаях (в этом он оказался совершенно прав, и если бы в конце пути у нас не забарахлила машина, из-за чего мы задержались на сутки, то были бы безусловно потоплены). Но те, кто добрались благополучно до Испании, кто там воюет, проявляют чудеса героизма. У наших летчиков в среднем по семь индивидуальных побед над немцами и итальянцами, даже несмотря на более совершенную материальную часть противника. Уверен, что и вы не подкачаете».

Помолчал немного. «Ну, хватит торжественной части, перейдем к деловой. Получайте личное оружие и документы». Принесли ящик с пистолетами (все заграничных марок). На мою долю достался весьма потрепанный «браунинг» № 2 с одной запасной обоймой. (Впоследствии, когда я его в Ис-

пании испытывал, несмотря на все старания, никак не удавалось попасть в дерево с десяти шагов. Так и пришлось мне сменить его на «ТТ».)

Раздали документы. Выдали мне эмигрантский, так называемый «нансеновский», паспорт. (После русской революции и Гражданской войны за границей появилось очень много русских эмигрантов, не имевших ни средств к существованию, ни специальности. Все эти люди пополняли собой армию безработных. Ни одна европейская страна не желала принимать их в свое подданство, и они бедствовали. По инициативе известного полярного исследователя Фритьофа Нансена была созвана международная конференция, на которой был создан статут международного паспорта без подданства, получившего в обиходе наименование «нансеновского». Человек, получивший такой паспорт, мог свободно проживать в любой из подписавших конвенцию стран и заниматься любым делом, не нарушающим законы этой страны.) Согласно моему документу, я получил его в Польше, в Кракове, о чем свидетельствовала собственноручная подпись краковского воеводы и польская гербовая печать. Из штампов прописки следовало, что я проживал в Кракове, Познани, Лодзи, Варшаве, Мюнхене, Дрездене, Варне и Галаце, откуда отбыл в Мексику в порт Вера-Крус.

К паспорту прилагалась «легенда», которую я должен был выучить наизусть и уничтожить. Согласно ей мы с отцом были репрессированы советской властью, отец умер в заключении, а мне удалось бежать через Финляндию в Польшу, где я и получил этот документ. Другие наши товарищи также получили аналогичные документы, «выставленные» в Болгарии, Румынии или Венгрии — и, конечно, с соответствующими «легендами». Моя «легенда» была шита белыми нитками, ибо обо всех городах, где я «проживал», я не имел ни малейшего понятия; несмотря на то что я почти два года «прожил» в Польше, я не знал ни одного польского слова, кроме «проше пана» и «пся крев». Когда я высказал свои сомнения комиссару, тот улыбнулся и предупредил, что если кто-то из нас попадется в лапы фашистов, то надеяться луч-

ше не на паспорт, а на пистолет, а свои тем более паспорт спрашивать не будут.

Все формальности, наконец, были закончены. Через несколько минут раздалась команда «Отдать концы!» (по-испански). Принесли шампанское. «За Партию, за Родину, за Победу!» (за Джугашвили в те времена еще в таких случаях не пили). Комиссар обнялся с каждым из нас. Со мной он обнялся последним, и тихо на ухо сказал: «Помни, сынок, какую ты на себя взял ответственность. Не подведи!». Какой-то комок сжал мне горло. Ответить я ему не смог. Проводили нашего комиссара, когда уже начали убирать сходни.

4

Раздался низкий протяжный гудок, и приземистый буксир потащил нас к бонам. Приветливо замелькали огоньки Севастополя, последний привет родины — и мы уже в море. Еще не успели скрыться берега, а корабельные мастера уже занимались камуфляжем: срочно перекрашивали трубу и бортовые надписи. Из турецкого парохода «Измир» мы превратились в мексиканский «Мар-Табан», следующий из румынского порта Галац в мексиканский Вера-Крус (как видите, «легенда» моя была составлена точно).

Через некоторое время наш до сих пор однотрубный пароход в одночасье обрел вторую «трубу», отличить которую от настоящей нельзя было не только издали, но и вблизи. Севастопольские умельцы-портовики знали свое дело: трубу сделали на загляденье, а уж подкоптили ее даже лучше, чем настоящую. Внутри трубы сделали специальную топку, так что дым поднимался столбом от горящей в топке просмоленной пакли, правда кочегара этой трубы после его дымовой вахты приходилось полчаса отмывать в бане, но зато уж камуфляж был что надо.

Погасли на севере огни Севастополя, наш пароход поднял «родной» мексиканский флаг и, отчаянно дымя «обеими»

трубами, начал свой опасный рейс. Вообще говоря, реклама нашего рейса была не в наших интересах, но тут вмешался один фактор, который грозил серьезными последствиями: из-за плохо промытых котлов (забиты дымовые трубы) корабль отчаянно дымил, и в ясную погоду дым мог быть виден далеко за горизонтом. Надо было в Севастополе промыть котлы, но положение Испанской Республики было настолько критическим, что задержка грозила бы очень тяжелыми последствиями на фронтах Республики, буквально «задыхавшихся» от нехватки тех самых боеприпасов, что находились в наших трюмах. Любое промедление могло иметь настолько далеко идущие последствия, что о нем нельзя было даже и думать. А такое, казалось бы, мало значащее обстоятельство, как забитые нагаром паровые трубы котлов, могло сыграть в нашем рейсе роковую роль, так как плохо сгоревший уголь вылетал из трубы парохода в виде густых клубов черного дыма с многочисленными искрами. Как днем, так и ночью нас можно было по этому дыму обнаружить на расстоянии двадцати пяти — тридцати километров, а охотников послать ко дну такую эффективную помощь Испанской Республике, как наш пароход, нашлось бы немало.

Еще в Севастополе ходили слухи о том, что немецкие фашисты спустили по Дунаю, в разобранном виде, свои малютки-субмарины, оснащенные вполне реальными торпедами, специально для потопления судов, направлявшихся из наших черноморских портов для помощи Испанской Республике. Так что если верить этим слухам, то вполне реальная опасность угрожала нам почти сразу же по выходе из Севастополя. Нельзя сказать, чтобы подобные слухи особенно благотворно влияли на настроение испанских моряков, а что касается нас — советских добровольцев, то мы были уже предупреждены комиссаром, мы знали, на что идем, и всегда были готовы к худшему. В наиболее выгодном положении оказались мы — радисты и шифровальщик (старший лейтенант Разведупра — Ваня Павлов). Москва понимала наше настроение и не давала нам скучать, назначая почти непрерывно сеансы связи с большим обменом, а за напря-

женной работой некогда было думать о таких пустяках, как фашистские подводные лодки.

По плану мы не должны были заходить ни в один из промежуточных портов, а следовать прямо: Севастополь — Картахена. Снабдили нас в Севастополе продуктами по-царски: часть верхней палубы отгородили досками, и в этом загоне поместился целый скотный двор — коровы, овцы, гуси, куры и целая куча всякой живности. Если бы не легкое покачивание парохода на волнах (а погода была на редкость тихая), то, сидя около радиорубки и закрыв глаза, вполне можно было себя представить где-нибудь в деревне: коровы мычат, овцы блеют, куры кудахчут. Вся эта живность специально предназначалась для нашего стола и неплохо разнообразила наше меню за время путешествия.

Надо сказать, что душевные переживания нисколько не повлияли на наш аппетит, и к концу пути все это мы подъели начисто: в Картахену привезли лишь одного козла Ваську, погруженного на борт или для шутки, или по ошибке. Несмотря на все «покушения» повара, команда все-таки его отстояла, хотя и капитан, не терпевший этой породы на борту, с первого же дня распорядился «смайнать» его за борт. Вообще говоря, этот Васька сыграл немалую роль в поднятии морального духа команды: обладая весьма живым характером, он легко перегрызал веревку, перелезал через загородку и шнырял по пароходу, внезапно появляясь в самых неожиданных местах. В конце концов его ликвидация стала для капитана и повара вопросом престижа, а его спасение для нас — чем-то вроде игры. Где только Ваську ни прятали: и в кочегарке, и в штурманской рубке, и однажды, когда опасность казалась слишком серьезной, даже в святая святых — у меня радиорубке. И все же в Испанию его привезли живым и невредимым. И надо было видеть, с каким восторгом в Картахене испанские моряки окружили прибывшего из Севастополя сквозь фашистскую блокаду русского козла Васильку. «Русо бок!», «Русо бок!». Васька с достоинством принимал эти знаки внимания своей особе, считая себя, по-видимому, героем дня.

Но все это позже, а пока время шло, и нас еще никто не потопил. Ночь сменилась ясным солнечным утром и прекрасным днем, почти летним. Море — как зеркало, а редкие суда салютуют своими флагами нашему «родному» мексиканскому флагу, не так уж часто встречающемуся на Черном море.

Жизнь на пароходе начинает входить в нормальную колею. Обильные (по испанскому укладу дважды в день — в 11 и в 17 часов) «трапезы», запиваемые великолепным испанским вином «Риоха» (запасы которого на пароходе, по-видимому, были неисчерпаемыми), концертные исполнения русских песен оказавшимся среди нас баянистом (как это еще ретивый помощник комиссара Мейера не отобрал у него баян, ведь в его инкрустации тоже была пятиконечная звездочка — улика), азартная игра в «очко» (за неимением мелких денег на папиросы, ведь каждому из нас, перед отъездом, выдали по большому фанерному ящику первосортных папирос, даже мне, в то время некурящему, выдали ящик «Театральных») — все это делало бы наш рейс приятной туристской поездкой, если бы не непрерывно гложущая мысль: «А вдруг сейчас из воды покажется перископ субмарины и конец всему». (Не все из нас тогда знали, что для потопления парохода подлодке не обязательно всплывать, она это может сделать и в погруженном состоянии.) Но перископ пока не появлялся, и через тридцать шесть часов после отбытия из Севастополя рано утром в виде неясной дымки показались берега Турции.

Поскольку проход через Босфор требовал соблюдения некоторых формальностей, то к этому времени мы уже стали испанцами. Убрали вторую трубу, перекрасили настоящую, и подняли свой «истинный» красно-желто-фиолетовый флаг. Часам к семи утра мы уже стояли посередине Босфора. Посмотрели мы с Жорой в иллюминатор радиорубки (чтобы не портить испанского вида парохода, всем нам — советским добровольцам, запретили появляться на палубах, и мы отсиживались по каютам) на Константинополь, на собор Айя-София, и невольно пришла в голову мысль: а стоило ли для того, чтобы сменить полумесяц на крест на этом сером зда-

нии с несколькими башенками, отправлять на тот свет столько миллионов людей? А ведь именно это было чуть ли не главным поводом не только нашей войны с турками в 1914 году, но и многих войн до этого. После короткого раздумья мы единогласно решили, что лично нам этот полумесяц нисколько не мешает и воевать с турками из-за этого мы не будем. (Правда, Жора расстраивался, что ему не удастся, хоть ненадолго, попасть в Перу и Галату с их злачными местами; но он несколько утешился, когда узнал, что эти богоугодные заведения и в Испании функционируют нормально).

Стамбульский берег представлял из себя гряду невысоких гор, густо заросших зеленью, сквозь которую виднелись виллы, принадлежавшие явно нетрудовому элементу. Но турки остались турками: на фоне такой красоты (недаром Босфор считался одним из красивейших мест мира), на самой верхотуре стамбульского берега, над кипарисовыми рощами и роскошными виллами, за высокой кирпичной стеной «красовалось» огромное пятиэтажное здание с зарешеченными окнами и обилием часовых везде, где только можно было. В хороший бинокль отчетливо были видны повисшие на решетках окон люди в полосатых костюмах. Судя по всему, то был не фешенебельный курортный отель, а тюрьма.

Вообще говоря, трудно себе представить большее издевательство над элементарной эстетикой, чем тюрьма в таком месте. Это примерно то же самое, что поставить общественный писсуар и помойный ящик посреди роскошного цветника в парке и, по-видимому, это возможно только в Турции. Согласно конвенции Монтре*, проход торговых судов через Босфор и Дарданеллы должен был осуществляться беспрепятственно, но местные власти имели право медицинского досмотра, чем турки и не преминули воспользоваться. Хотя наши судовые документы были в полном порядке, все же нас остановили на рейде для принятия на борт турецкого врача, и почему-то на всякий случай с обеих сторон нашего парохода встали два турецких сторожевика, которые даже наве-

* Конвенция о режиме черноморских проливов, подписанная на конференции в Монтре в 1936 году.

ли на нас расчехленные орудия. Кроме нас, такой чести не удостоился ни один из многочисленных «купцов», стоявших на Босфорском рейде. Судя по всему, характер нашего груза туркам был хорошо известен (и, наверно, не только им), и нас просто решили немного подержать на рейде Босфора. Прибывший вскоре турецкий врач не стал утруждать себя такими деталями, как осмотр санитарного состояния парохода и команды, а сразу же спустился в капитанскую каюту, где начал основательно нагружаться испанскими винами и русской водкой.

Чтобы поскорее избавиться от турка, в его катер быстренько погрузили два ящика водки и несколько ящиков апельсинов (оказывается, что это был вполне официальный бакшиш, который взимался врачом при каждом досмотре). Но отделаться от врача так быстро не удалось: дело в том, что за «досмотр» ему полагалось еще и 75 долларов, причем эти деньги должен был уплатить сам испанский консул в Константинополе. День был как назло воскресный, и не предупрежденный заранее консул (сыграл роль фактор секретности рейса) уехал куда-то отдыхать от своих многотрудных дел, и нам пришлось ждать его возвращения на рейде. В результате мы оказались на целый день выставленными на обозрение разведчиков всех стран (безусловно, обосновавшихся в Константинополе), а мы, советские добровольцы, вынуждены были сидеть в каютах, пока часов в шесть вечера не прибыл к нам испанский консул.

Консул рассчитался с врачом, и тот, уже основательно нагрузившийся, не без помощи лебедки был опущен в свой катер. Лишь после этого сторожевики отошли от нас, и пароход мог тронуться в дальнейший путь. Наконец-то и мы могли выйти из своих душных кают подышать вечерней свежестью и полюбоваться изумительным зрелищем вечерних рекламных огней Константинополя. Уже затемно вошли в Мраморное море.

Жизнь на пароходе постепенно входила в нормальную колею. Несмотря на то что с продвижением вперед опасность потопления для нас все возрастала, но человек привыкает

ко всему. Как-то мало-помалу улеглись все страхи. Все чаще раздавались шутки, смех, звуки баяна. Мы стали уже более-менее сносно изъясняться с испанцами на какой-то дикой смеси ломаных русских, испанских и вообще гибридно-непонятных слов, а в основном жестов. Картежная игра постепенно уступила место испанской игре в кости, пожалуй не менее азартной. Фортуна в этом деле мне неизменно сопутствовала, и к своему ящику папирос я выиграл еще два, абсолютно мне не нужных. Часто слушали в кают-компании радиопередачи, преимущественно итальянские. Наш переводчик Валентино, по национальности итальянец, успевал быстро переводить на русский язык эти, как правило, неутешительные вести, которые итальянское радио, с нескрываемым злорадством, представляло в еще более мрачном виде. Особенно тяжелым для нас было сообщение о торпедировании на Картахенском рейде республиканского крейсера «Мигель Сервантес». Это был один из самых сильных и быстроходных кораблей флота Республики, и его потеря существенно уменьшала боеспособность конвоя, который должен был нас встретить и провести через наиболее опасный участок пути: Алжир — Картахена, поперек Средиземного моря, в довольно широком его месте. Но у нас пока все шло спокойно. Фашистские пираты еще не осмеливались топить суда Республики на выходе из Дарданелл (как они стали делать позже), и в греко-турецких водах мы чувствовали себя в безопасности. Но вот исчезли острова Архипелага, и мы вошли в итальянские воды. Хотя мы и старались держаться несколько в стороне от проторенных морских путей во избежание нежелательных встреч с немецкими и итальянскими судами, но все же даже в этих местах встречали их довольно часто, и тут уже получение торпеды в бок от подлодки неизвестной принадлежности стало вполне вероятным, так как, выражаясь блатным языком, «наводчиков» было более чем достаточно. Довольно часто попадались итальянские рыбаки на небольших баркасах. Особенно запомнилась одна встреча: чуть ли не посередине Средиземного моря, на расстоянии не менее чем километров 300 от ближайшего бере-

га, покачивается на волнах лодка, полная свежей рыбы. Вся команда «корабля» — два человека: весь сморщенный, с продубленной морскими ветрами кожей, старик лет не менее семидесяти, и мальчуган лет семи-восьми. Вот тебе и наглядный урок капиталистического образа жизни. Ведь этому старику уже давно пора лежать на печи, греть кости, а мальчугану еще и в школу рано ходить, а они, по-видимому, основные добытчики и кормильцы многочисленной семьи.

Испанцы, наверное, уже привыкли к таким картинам, но для нас, советских людей, это показалось настолько диким, что если бы «Дуче» икнул от каждого нашего матюка в его адрес, то икать ему пришлось бы довольно долго. Что может быть более грозным обвинением такому образу жизни, как дряхлый старик и семилетний мальчуган в утлой лодке посредине Средиземного моря в конце ноября? И это не исключение, а система, как объяснил наш переводчик. На воспитание малолетних детей и обеспечение старости у «Дуче» денег не хватает, а на грязную войну в Абиссинии* и на интервенцию в Испании сразу находятся миллионы.

Старик знаками показал нам, что у него кончился табак. Надо было видеть, с какой радостью заворачивали наши ребята в резиновый мешок папиросы старику и шоколад ребенку, и лучшей для нас благодарностью были поднятые ими в приветствии «Рот Фронт» кулаки, и долго еще, пока не скрылась из глаз эта утлая лодчонка, раздавались в наших ушах: «Салют, камарадос!» старика и мальчугана. Хорошим уроком для нас была эта встреча. Для понимания чувства международной пролетарской солидарности она дала нам гораздо больше, чем длительные политзанятия дома. За счастье таких детей, чтобы у них было настоящее счастливое детство, а не изнурительный опасный труд, стоило воевать, а в случае нужды и умирать.

Много лет прошло со времени описываемых событий и очень трудно, только по памяти, не имея никаких записей тех времен (а дневники и просто заметки были командовани-

* 2 октября 1935 года Италия ввела войска в Эфиопию и 9 мая 1936 года официально ее аннексировала.

ем категорически запрещены), систематически описывать все перипетии этого не совсем обычного путешествия, но многие события и факты так глубоко врезались мне в память, что могут быть изложены с высокой степенью достоверности.

Приближался один из опасных этапов нашего пути — самое узкое место восточной части Средиземного моря, между Сицилией и итальянским (в те времена) Триполи. Уж здесь практически не было никакой возможности избежать нежелательных встреч. Подходим к этому месту под вечер. Море как зеркало, яркая луна, почти полная, светит во всю. Все заметно нервничают, даже как правило невозмутимый заместитель начальника перевозки — старый коммунист Артур Спрогис, заметно ускоряет свой обычный аллюр по палубе...

Идем с минимально-обязательным освещением, только топовые и клотиковые огни, правда обе трубы (мексиканская маскировка сразу же после выхода из Дарданелл была снова введена) отчаянно дымят, и все равно, даже без огней, наш пароход при такой погоде виден очень далеко, а гоголевский черт, как назло, обленился и не желает воровать эту проклятую луну. Вдруг на горизонте появились огоньки: три, пять, десять, все больше и больше. Это уже не случайный встречный купец, а чуть ли не целая эскадра военных кораблей. Наши морские специалисты уже различают: линкор, три крейсера и еще Бог знает что! А кому еще здесь быть, кроме итальянских фашистов? После такого заключения специалистов у многих уже начинают дрожать поджилки: уж если здесь — в самом узком месте Средиземного моря — итальянцы не поленились устроить такой парад, то нам несдобровать.

Капитан велел застопорить машины. Устроили небольшое, но весьма бурное совещание (наподобие митинга анархистов в Малаге). «Назад пока не поздно!» — неистовствуют наиболее активные члены испанской команды. Мы, советские, собрались отдельно вместе, и на всякий случай спустили предохранители у пистолетов. Положение выправил всегда невозмутимый Артур: «Если это действительно ита-

льянская военная эскадра и мы их отсюда видим, то они уже безусловно нас давно заметили, и наш внезапный разворот назад только вызовет их подозрение. Нашему тихоходу никак не уйти от их эсминцев, которых вы насчитали не менее десятка, так что поворачивать назад абсолютно бесполезно. А если это не военные корабли, то чего их бояться?»

Эта логика остудила горячие головы сторонников немедленного драпа. Единогласно было принято решение двигаться по курсу — вперед, а для отвода глаз дать полное освещение. Так и сделали, идем вперед. Самое интересное — огоньки не двигаются нам навстречу, а стоят на месте. Нервы у всех напряжены до предела, а вдруг это все-таки флот фашистов и мы идем навстречу своей гибели? Ведь по мере приближения к эскадре каждую минуту можно ожидать орудийного залпа или торпеды! Но время идет, мы приближаемся к огонькам, а они стоят на месте. Наконец-то наступила разрядка: огоньки оказались не грозной военной эскадрой, а мирной флотилией рыбаков — подобной тем, что мы встречали днем, только они собрались в кучу, чтобы веселее было ночевать. Зажгли свои аккумуляторные фонари и спокойно жарят наловленную днем сардину.

Это событие оказалось самым страшным из всего, что случилось с нами в опасных итальянских водах. В дальнейшем было принято решение, чтобы избежать нежелательных встреч, уклоняться как возможно дальше от обычных судоходных трасс. Для этого удобнее всего было вплотную прижаться к африканскому берегу, тем более что мы уже подошли к французскому Марокко, где фашисты не должны были особенно нахальничать. Так и сделали. Пошли на расстоянии не более пятисот-семисот метров от берега, имея все время землю в поле зрения. Это как-то более благоприятно влияло на настроение людей, хотя в случае внезапной артиллерийской, авиационной или торпедной атаки наши шансы на спасение все равно оставались нулевыми.

Потянулись с левого борта длинные, скучные африканские берега: крутые, обрывистые, высотой от пятидесяти до двухсот метров. Никакой растительности, почти не видно

населенных пунктов, лишь через равные интервалы стоят маяки. Все уже свыклись с постоянной опасностью и в разговорах старались избегать этой темы. Время незаметно, но шло. Отражалось это даже на расписании корабельных трапез: мы шли на запад, время на корабле местное; каждый день завтраки и обеды подаются позднее почти на полчаса. Для нормального желудка это заметно. И вот, как-то перед ужином, штурман торжественно провозгласил: «Подходим к Алжиру».

На берегу стали чаще появляться селения, вскоре почти весь берег зазеленел, а с левого борта показался Алжир во всей своей красе. Громадный порт, буквально забитый судами всех национальностей, широкие улицы, застроенные высокими домами какой-то афро-европейской архитектуры, пальмы, по высоте не уступающие этим домам, на улицах масса народа и городского транспорта. Так и хочется влиться в эту свободно фланирующую по улицам толпу, сесть за столики кафе, расположенные прямо на тротуарах. Но, увы! Это несбыточно. Не только зайти в порт, но даже ответить на вызов портовой радиостанции нам запрещено. Ответишь, не заходя в порт, — могут заставить произвести досмотр если не груза, то уж во всяком случае судовых документов, а это уже задержка, — и так мы на Босфоре постояли, а ведь Испанская Республика переживает критическое положение: исход боев под Мадридом решает каждый снаряд, каждая бомба, которые пока лежат в наших трюмах. Надо спешить!

Но Алжир что́ — он далеко и виден только в сильный морской бинокль, а тут же, буквально борт о борт с нами, расходится комфортабельный, ослепительно белый пассажирский лайнер линии Алжир — Марсель. Без всякого бинокля видна публика, облепившая поручни на палубах. Изящные женщины в бальных туалетах — настоящие француженки, улыбаются, машут руками и даже без всякого стеснения шлют воздушные поцелуи. Отчетливо слышны звуки джаза, видны пары танцующих, взад-вперед снуют официанты в белых фартуках и с подносами в руках, словом, загнивающая бур-

жуазия прожигает свою жизнь, твердо следуя первой части наставления Маяковского: «Ешь ананасы, рябчиков жуй!». Мы все тоже, конечно, собрались на палубе полюбоваться на очаровательных французских буржуазок, тем более что, по утверждению того же Маяковского, они уже доживают свой последний день.

Чего греха таить, мало среди нас, наверно, было таких, которые не согласились бы поменяться ролями с кавалерами во фраках и смокингах, нежно обнимающих за оголенные плечи своих расфранченных дам, и дожить вместо этих кавалеров их последний день. Но прошло несколько минут, и лайнер с француженками исчез за горизонтом, мы же продолжали свой путь вдоль африканского берега.

Наступило время ужина. Только сели за стол, как вбегает бледный как смерть вахтенный: «Аппаратос!» (самолеты). Выбегаем на палубу. Примерно в полукилометре, почти на бреющем полете, прямо на нас идут два гидросамолета. Поскольку мы уже находились в зоне активного действия франкистской авиации (до острова Мальорка часа полтора лету), то, как говорится, комментарии излишни. Если это фашисты, то конец. Одно удачное попадание хотя бы 50-килограммовой бомбы в наш транспорт может вызвать грандиозный фейерверк с тротиловым эквивалентом (как сейчас принято говорить) в $^1/_5$ часть атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму, со всеми для нас вытекающими неприятными последствиями. А что мы можем сделать против этих двух самолетов, возможно даже бронированных, с нашими «браунингами»? Остается только ждать, благо уже недолго.

Самолеты все ближе и ближе. И как все сразу облегченно вздохнули, увидев на их плоскостях французские опознавательные знаки! По-видимому, наш проход мимо Алжира, а в особенности молчание в ответ на вызов береговой радиостанции, показались алжирским властям подозрительными, и они послали самолеты для выяснения нашей принадлежности. Когда на мачте нашего парохода взвился флаг Испанской Республики, самолеты, сделав круг над нами, приветственно помахали крыльями (а один из них для выражения особого

восторга даже дал короткую пулеметную очередь) и улетели восвояси, а мы получили возможность спокойно доужинать.

Приближалась завершающая, наиболее опасная и ответственная часть нашего рейса — переход поперек Средиземного моря от африканских берегов до испанской военно-морской базы Картахены. Именно на этом участке пути, который мы никак не могли ни миновать, ни обойти, нас должен был «встречать» фашистский флот, а персонально его флагман — линейный крейсер немецкой постройки, самой новейшей системы, обладающий высокой скоростью, дальнобойностью и калибром артиллерии, знаменитый «Канариас» — гроза всего флота Республики. Встреча с «Канариасом», даже в сопровождении конвоя из военных кораблей Республики, особо приятных эмоций ни у кого из нас вызвать не могла, ибо пользуясь преимуществом в ходе и дальнобойности артиллерии, он мог стрелять по нам, сам оставаясь неуязвимым, а много ли надо нашей пороховой бочке?

Западная часть Средиземного моря всегда отличалась большой интенсивностью судоходства. Движение судов здесь напоминает августовские вечера на Дерибасовской в Одессе. И каждый из них — наш потенциальный враг. Быть может, судовой радист вот этого встречного парохода уже выстукивает «Канариасу» наши координаты! Пытаться проскочить эту опасную зону днем равносильно самоубийству. А тут еще начала капризничать одна из паровых машин, а ведь это может существенно замедлить наш и так не очень большой ход. Пришлось принять решение: днем отстояться в небольшой укромной и безлюдной бухточке у мыса Тенис на африканском берегу, подчинить там закапризничавшую машину, а к темноте двинуться на последний и решительный переход, а там, может, и погода испортится, что было бы для нас весьма кстати. Правда, это мероприятие было связано для нас с очень большим риском: ведь если кто-либо из фашистских агентов (а они кишмя кишели на северо-западном побережье Африки) нас здесь случайно заметит и сообщит об этом на «Канариас», то уж никакого спасения для нас быть

не может. «Канариас» нас взорвет с первого залпа совершенно безнаказанно. Но другого выхода не было. Идти в такой ответственный переход с ненадежной паровой машиной тоже, конечно, нельзя. Но эта задержка сдвигала весь график нашего рейса, и, не получив санкцию Москвы, мы этого сделать не могли. Составили подробную цидулю и с нетерпением стали ждать ответа. Как ни странно, но Москва почти сразу же дала добро, и мы зашли в бухту Тенис.

За день механики кое-как подлатали свой «самовар», и к вечеру мы вновь сели окончательно решать гамлетовский вопрос: быть или не быть? К сожалению, Всевышний, по своей обычной склонности делать порядочным людям всякого рода пакости, все-таки подвел нас: вместо необходимого нам сильного шторма или хотя бы густого тумана, погода — как в июле в Сочи. Море — как зеркало, и в довершение всех бед на небе огромная, полная луна. На палубе как днем, хоть газету читай. Более невыгодной ситуации для нашего рискованного рейса не придумаешь, как тут не вспомнить «закон мирового свинства», предельно четко сформулированный покойным академиком С. П. Королевым, гласящий: «Всякое явление тем более вероятно, чем оно менее желательно». Вот уж действительно — ни эта чудесная погода, ни это зеркальное море, ни тем более эта полная ясная луна отнюдь не были нам в радость.

Москва по радио все время нас ободряет: «Не бойтесь, двигайтесь смело, весь свободный флот Республики вышел вас встречать. На одной трети пути от Африки до Картахены вас встретят и как в колясочке доставят в Картахену, где вы будете встречены как герои артиллерийскими салютами и духовыми оркестрами». Для оптической связи со встречающей нас эскадрой была даже установлена сигнализация: мигание по азбуке Морзе клотиковыми огнями, и я своего помощника Жору Кузнецова из радистов переквалифицировал в сигнальщики.

Провели короткое совещание: есть два варианта движения: 1) форсировать топки, скорость выше, но сильно дымит труба; при такой погоде, даже ночью, обнаруживаемость бу-

дет не менее пятнадцати-двадцати километров; 2) не форсировать топки, дыма меньше, но и скорость заметно упадет, и не успеть за ночь «дотелепать». Как говорится: куда ни кинь, везде клин. Вот уж где мы недобрым словом помянули растяп-хозяев, не успевших за время разгрузки-погрузки парохода промыть котлы: чапали бы сейчас спокойненько на полной скорости почти без дыма.

Спорили насчет вариантов движения недолго, большинство одобрило первый вариант — форсирование хода. Хоть какой-то конец, лишь бы скорее. Уж очень надоела эта почти одиннадцатидневная трепка нервов, а ведь при тихом ходе мы засветло окажемся чуть ли не на середине пути и сможем стать легкой добычей любого бродячего фашистского морского охотника. В эту ночь, конечно, никто не спал. В машинном отделении установили вахты по полчаса, что более-менее уравнивало шансы, какой из вахт идти ко дну, не поднимаясь на палубу. Правда, это никого не спасало, ибо в одинаковой степени ко дну (а точнее в воздух) в случае чего, шли бы и вахтенные, и подвахтенные, и все прочие. Но все же как-то легче встретить смерть на палубе, чем в преисподней (правда, вопрос это дискуссионный, ибо сведений с того света пока не поступало).

Все свободные от вахт высыпали на палубу и жадно рыскали глазами по горизонту, ища зеленые огоньки флота друзей. Идем полным ходом, труба дымит отчаянно, дым почти вертикально поднимается к небу, луна такая, что только с девушкой на Приморском бульваре в Севастополе гулять. То и дело попадаются встречные суда, ведь мы на самом оживленном судоходном пути — недалеко от Гибралтара, можно сказать на Невском проспекте Средиземного моря.

Вначале на появление дыма на горизонте все очень чутко реагировали: наши или фашисты? Жизнь или смерть? Но потом привыкли, да и встречных стало меньше. А Москва все время твердит: «Флот вышел вас встречать. Не беспокойтесь, смело идите вперед». Но уже прошли треть пути до Картахены — флота все нет; половина пути — флота нет. Совсем перестали встречаться пароходы, видимо Испания уже близ-

ко — флота нет. Прошли две трети пути — все по-прежнему. Нервы у всех напряжены до предела, только Артур Спрогис в своем коверкотовом реглане* хранит привычное (и, конечно, напускное) спокойствие. Единственные на пароходе уравновешенные люди — это мы с шифровальщиком Ваней Павловым: Москва не дает нам возможности даже понервничать из-за своей печальной судьбы и буквально засыпает нас радиограммами. Я-то еще кое-как управляюсь, а бедный Ваня совсем зашился. А следит за нами Москва непрерывно, мгновенно отвечая на каждый мой вызов. Радист там, по-видимому, сидел первоклассный, и за всю ночь, несмотря на, по-видимому, неважную слышимость и разбираемость моей радиостанции, ни разу не попросил повтора, а принимал все с первого раза. Но успокоительные московские радиограммы уже потеряли для нас свою эффективность: «Флот вышел вас встречать!», «Флот вас ищет!», «Не беспокойтесь!» и т. д. и т. п. На кой черт! «Вышел! Ищет!», а время идет, мы одни и совершенно беззащитны со своим адским грузом.

Начинает потихоньку светать. Небо сереет, звезды блекнут, только луна никак не хочет успокоиться — светит вовсю. Заря все разгорается, небо светлеет, впереди — по ходу, уже отчетливо вырисовываются горные берега Испании. Перед рассветом все как бы замерло: море как парное молоко, только чуть-чуть колышется. Стало совсем светло. Уже даже видны селения на испанском берегу, а мы совсем одни. Капитан дает команду стопорить машины: время военное, впереди минные поля и без лоцмана пароход дальше двигаться не может. Остановились. Положение глупее глупого: невероятный факт совершился. Нас все-таки пока еще не потопили, возможно, сыграл роль неожиданный ремонт машины у мыса Тенис, из-за чего были спутаны все карты педантичной немецко-испанско-итальянской фашистской разведки, которая, конечно, вела нас если не от самого Севастополя, то уж от Босфора наверняка. И вот мы все же прибыли.

---

* Коверкот — плотная шерстяная ткань, реглан — пальто, куртка, скроенные так, что рукава составляют с плечом одно целое.

Берега Республики отчетливо видны, но не только весь флот, но даже какой-нибудь несчастный сторожевик с лоцманом и тот нас не встречает! Стоим как дураки и ждем, кто первым нас встретит: свои — оркестром или фашисты — торпедой? Уже около часа с севера слышны глухие раскаты какой-то отдаленной канонады. Может быть, встречающий нас флот наткнулся на превосходящие силы противника и ведет с ними бой, отчего и тем, и другим не до нас? Москва же нас продолжает утешать. Ваня Павлов еле-еле успевает расшифровывать радиограммы, а Спрогис вроде небрежно их просматривает и сует в карман. Выхожу на мостик с очередной радиограммой и с удивлением обнаруживаю, что мы уже не одни: когда и откуда появились эти военные корабли, я за работой не заметил, но один эсминец стоит совсем близко от нашего борта, а второй — несколько сзади — загораживает нам выход в море. Эсминцы номерные, без флагов и опознавательных знаков, навели на нас расчехленные 105-миллиметровые орудия и торпедные аппараты. Судя по приготовлениям, разговор предстоит серьезный. А канонада вдали слышна все явственней, особенно выделяются глухие взрывы, по-видимому от авиационной бомбежки. Самое важное для нас сейчас — чьи это эсминцы? Наши или фашистов? Короче говоря: «Быть или не быть?». Этот вопрос встал перед нами еще более резко, нежели в свое время перед принцем Датским.

На мостике стоявшего ближе к нам эсминца появляется офицер, форму которого скрывает плащ с капюшоном. Голосом, тон которого не предвещает для нас ничего хорошего, он спрашивает в мегафон по-испански: «Что за пароход?». Наш капитан, заикаясь от страха и клацая зубами о металл мегафона, робко отвечает: «Мексиканский пароход “Мар-Табан”». «Откуда и куда следуете?» — раздается следующий вопрос. Капитан отвечает: «Из Галаца в Вера-Крус». — «Чего везете?» Ответ капитана вызвал взрыв смеха не только на эсминце, но и среди нас, хотя положение наше отнюдь не располагало к излишней веселости. Капитан наш с перепугу ляпнул первое, что пришло на ум: «Наранхас» (апельсины).

Из Румынии в Мексику везти апельсины — глупее не придумаешь!

Следующий вопрос офицера был хоть и не очень деликатным, но вполне резонным: «Если следуете в Мексику, тогда какого дьявола торчите у берегов Испании в военное время?» — «Заблудились». Ответ капитана не удовлетворил офицера, и он приказал спустить трап для досмотра. Так как принадлежность эсминца для нас оставалась неясной, то, посовещавшись, мы решили не пускать никого на пароход, вплоть до применения оружия, а в крайнем случае и взрыва парохода.

Офицер в более резкой форме повторно приказал спустить трап. Тогда мегафон взял переводчик и во всю мочь своей итальянской глотки заорал условный пароль: «Привет из Сицилии!». По отзыву на этот пароль мы должны были судить, что имеем дело именно с военным кораблем Республики.

«Какая к чертовой матери Сицилия? — заорал окончательно потерявший терпение офицер с эсминца. — Спускайте трап, иначе прикажу немедленно открыть огонь!» У всех сразу упало сердце: пароля не знает — значит фашист, а это конец! Гулко звякнул о палубу упавший из рук переводчика мегафон. Тут я впервые увидел признаки волнения даже у Спрогиса. Он молча поднял мегафон и протянул его переводчику: «Передайте на эсминец, что ни одного их человека на пароход не пустим, а если они вздумают открывать по нам огонь, то из соображения собственной безопасности пусть делают это с дистанции не менее километра», — диктует Артур спокойным тоном дрожащему переводчику. Услышав такой ответ, офицер на эсминце сразу потерял часть воинственного пыла и полез вниз совещаться с начальством. Эсминец отошел от нас метров на 200 и остановился, не сводя с нас своих пушек и торпедных аппаратов. Я кинулся в радиорубку передать в Москву известие о печальном конце нашего рейса, но оказалось, что шифровальщик, памятуя о том, что самое страшное — это передача врагу кодов, после обнаружения фашистской принадлежности эсминцев сразу

же уничтожил все свои коды, оставив нас без связи. Тщетно вызывала меня Москва, ни расшифровать их сообщения, ни передать им свои я не мог, потому что работать открытым текстом не имел права ни при каких обстоятельствах. Единственное, что я мог сделать — аккуратно отвечать на вызовы Москвы, показывая этим, что мы еще живы.

А в это время перехвативший нас эсминец все время работал по радио с кем-то совершенно мне незнакомым четырехцифровым кодом, что лишний раз убеждало нас в самых мрачных подозрениях. Окончив свои переговоры и получив, по-видимому, «ЦУ»*, офицер с эсминца снова появился на мостике и приказал следовать за ними. Поскольку никаких попыток высадки на наш пароход пока не предпринималось и ввиду невозможности сопротивления, мы решили подчиниться. Эсминец с офицером встал впереди, мы посередине, а второй эсминец сзади. Колонна двинулась в противоположном от берегов Испании направлении, в сторону захваченной фашистами Майорки.

Теперь уже стало совершенно ясно, что судно перехватили фашисты, и вопрос только в одном: когда взрываться — сейчас или позже? Артур спокойно рассудил, что поскольку нас пока не трогают, то рано и торопиться на тот свет, а надо попытаться дойти до фашистской базы на Мальорке — города Ла-Пальма, а там, отпустив испанских моряков, «рвануться» так, чтобы нанести наибольший ущерб фашистам. Тут только надо было глядеть в оба глаза за испанской командой, потому что от нее в любое время можно было ожидать бунта с целью захвата парохода для сдачи его фашистам в обмен на свои жизни. Все мы привели в боевое состояние свое оружие. Артур достал из загашника гранаты-лимонки, раздал часть из них нашим ребятам, и все мы, советские добровольцы, сгрудились около самого важного объекта на пароходе — радиорубки. Испанские моряки, поняв, что толковать с нами о сдаче транспорта врагу бесполезно, разбрелись кто куда, но взгляды большинства из них не выражали к нам особых симпатий.

---

* Ценное указание.

Москва все время беспокоится, зовет непрерывно, а ответить я не могу, ведь коды уничтожены! Приходится только отвечать на вызовы без приема и передачи текста. Заходят ко мне в радиорубку Коротков и Спрогис, судя по их виду дело у них щекотливое. Удалили из рубки второго радиста Жору Кузнецова и шифровальщика Ваню Павлова. «Вот что, Лева, — обратился ко мне Артур, — мы, конечно, понимаем, что давать в эфир открытый текст — это серьезнейшее нарушение, если не сказать преступление. Но ты и сам знаешь, что мы уже фактически покойники, а с них и спрос другой. Ты понимаешь, что очень не хочется погибать, когда никто не знает, как ты погиб, не знает, до конца ли ты выполнил свой долг. Поскольку у нас нет другого способа сообщить домой о том, как мы погибли, я силою своих полномочий позволяю тебе, а если хочешь —приказываю передать открытым текстом в Москву эту радиограмму». И протянул мне листок, исписанный его рукой.

До самой смерти не забуду текста этой радиограммы: «Большая деревня (Москва) Хозяину (Нарком обороны Ворошилову) Директору (комкору Урицкому) тчк Берегов Испании захвачены фашистами тчк Их контролем следуем направлении Мальорки тчк Фашистов на борт не пустили и не пустим тчк По мере возможности будем взрываться Ла-Пальма целью нанесения врагу наибольшего ущерба Да здравствует ВКП(б) и наша великая Родина тчк Прощайте товарищи тчк Просим позаботиться о наших семьях тчк (эту фразу я добавил от себя, без разрешения Спрогиса). Связь прекращаем тчк Коротков Спрогис Хургес тчк.

Воображаю, как был удивлен московский радист, принявший вместо обычной колонки цифр такую вот лебединую песню! Но квитанцию о ее приеме я получил сразу же, и на этом у нас всякая связь с Москвой прекратилась. Часа полтора следовали мы, зажатые с двух сторон нашими конвоирами, навстречу своему неизбежному концу. Все, кто мог, оставались на палубе. Не радовало ни ясное небо, ни солнце, сиявшее почти по-летнему, ни спокойное безбрежное море, ведь мы все это видели последние минуты в своей

жизни. Курящие непрерывно курили, прикуривая одну папиросу от другой, а остальные просто ждали конца затянувшейся агонии. Канонада, раздававшаяся со стороны вновь скрывшихся берегов Испании, постепенно стихала. Вдруг шедший впереди эсминец внезапно подал команду стопорить машины. Все остановились.

Вообще говоря, поведение наших фашистов-конвоиров становилось подозрительным: видя наше решительное нежелание, даже при любых угрозах, пустить к себе на борт посторонних, они вполне могли бы уже давно без всякой для себя опасности потопить нас несколькими артиллерийскими залпами с большого расстояния. Будучи, конечно, информированы о характере нашего груза (кроме недвусмысленного предупреждения Спрогиса, они, возможно, получили об этом сведения и по радио), фашисты прекрасно понимали, что советские люди ни при каких условиях не допустят захвата парохода. При этих условиях, конечно, не имело никакого смысла тащить нас на свою базу, где наш взрыв мог бы нанести им большой ущерб. Так что вся логика событий подсказывала нам, что фашисты должны с нами разделаться где-нибудь в открытом море. А тут еще эта остановка. Значит — конец? Если бы на это у нас было время, то по морскому обычаю следовало надевать чистое белье, но времени не было. Что ж, умрем в чем были, благо совесть у нас чиста.

Остановились. Расчехленные орудия и торпедные аппараты наведены на нас, но пока не стреляют. Играют как кошка с пойманной мышью. Так и хочется рвануть на себе ворот рубашки и закричать: «Стреляйте, гады! Но не мучайте!». Бесполезно. Далеко, не услышат. Пауза затягивается. Что же еще они хотят предпринять? Шевелится робкая надежда: неужели свои? Но тут же вступает логика: если свои, то почему же не отвечают на пароль? Ведь если в момент встречи с нами они могли его и не знать, то теперь, после столь длительных переговоров по радио, им бы уже сто раз могли сообщить отзыв на наш пароль, и все бы давно утряслось, а тут, за исключением малоразговорчивого офицера, никто из командного состава не появляется. На палубах эсмин-

цев только застывшие около пушек и торпедных аппаратов матросы. Да и офицер не делает больше попыток вступать с нами в переговоры, ограничиваясь лишь сигнализацией флагами. И опять-таки: если это все же свои, то зачем на нас неотступно смотрят жерла орудий и тупые носы торпед?

Собрались мы около радиорубки. Курцы* отчаянно курят, а мы все удивляемся тому, что до сих пор живы. Вдруг на палубу головного эсминца снова выходит «наш» офицер, и на мачтах появляется сигнал: «Следовать за мной». Эсминец круто поворачивает налево, и мы двигаемся по направлению к Испании. Вновь ожили надежды на спасение, но все мы пока еще боялись в это верить, а вдруг это очередная провокация фашистов: подведут нас к Картахене и расстреляют там, чтобы разрушить не фашистскую Ла-Пальму, а главную военно-морскую базу Республики — Картахену. От этих негодяев ведь всего можно ожидать.

В свое окончательное спасение мы поверили только тогда, когда при подходе к молу Картахены нам услужливо открыли боны, а на мачтах наших конвоиров взвились красно-желто-фиолетовые флаги. Радостными криками «Ура!», «Вива!», «Салуд!» приветствовали мы все заход в Картахену. Пожалуй, человеку, не побывавшему в нашей шкуре, трудно представить себе радость людей, столько времени глядевших в глаза неизбежной смерти. Все обнимают друг друга, у многих на глазах слезы. Вот уже мы проходим боны Картахенской гавани и, как герои, следуем мимо кораблей военного флота, так и не вышедшего, несмотря на все уверения Москвы, в море нас встретить, а в случае нужды и защитить. Ведь не будет большим преувеличением сказать, что от нашего груза в значительной степени зависела судьба борьбы испанского народа с фашистами, а тем не менее, вместо того чтобы любой ценой провести наш транспорт через самое опасное место, весь мощный флот Республики спокойно отстаивался в тихом порту Картахены. Но зато уж теперь корабли не жалели ни меди оркестров, ни холостых залпов артиллерии на торжественную встречу героев, прорвавших

* Курильщики.

железное кольцо фашистской блокады, как впоследствии выразился один из высокопоставленных чиновников флота.

Встреча, действительно, была впечатляющей. Стреляло все, что могло стрелять: и береговые батареи, и артиллерия всех калибров на кораблях, стрелял каждый, у кого в руках было что-либо стреляющее, а у кого ничего такого не было, то хоть подбрасывали вверх (а иногда и в море) свои головные уборы. От криков: «Вива!», «Салют!» буквально дрожал воздух, а уж корабельные оркестранты и подавно не жалели своих легких.

И вот, после не очень продолжительных маневров, мы у причала! Трудно себе представить, с каким нетерпением ждали мы все возможности наконец-то ступить на твердую землю, под которой уже не будет 5000 тонн взрывчатки. Как долго тянулись эти последние минуты швартовки!

«Братцы! — воскликнул вдруг один из наших добровольцев, — гляньте-ка! А ведь наши-то здесь уже есть!», — и показывает рукой на ослепительно сияющую в лучах солнца белую стену портового пакгауза, на которой углем, метровыми буквами, аккуратно выведены три родные русские буквы, столь любимые у нас дома нашими «стенографистами». Наверное, с меньшим вожделением смотрели любители искусств на «Сикстинскую Мадонну» в Дрездене, чем мы на эту надпись. Значит, мы здесь не одни, значит, наши есть и здесь.

Чуть позже, когда пароход пришвартовался к стенке, мы, наконец, смогли после одиннадцати суток путешествия на нервах ощутить под ногами твердую землю, к тому же не начиненную взрывчаткой.

ИСПАНИЯ: КАРТАХЕНА — ВАЛЕНСИЯ — МАЛАГА

Леша Перфильев. — Линкор «Канариас». — Автомобильная прогулка в Валенсию через Мурсию. — Экипировка по-испански. — Ночные приключения. — Ян Карлович Берзин. — Изгнание из Валенсии. — Решение поехать в Малагу. — Испанские дороги и испанские шоферы. — Альмерия. — Анархисты. — Мой начальник полковник Креминг. — Поездка к анархистам. — Мария Левина. — Посещение театра. — Доктор медицины Каэтано Боливар и его телохранитель. — Вилла «Консуэла». — Реабилитация Святой Троицы. — Коронель (полковник) Виальба и его окружение. — Орден Красной Звезды. — Телеграф в Малаге. — Кальман и «монахи». — Подрывники Спрогиса. — «Граф дон Педро»: Евгений Ерлыкин. — Сирота Пакита и ее «бабушка» в Сан-Педро-Алькантер и их гибель — Охранное пророчество старой испанки. — Гибель Казимира. — Картахена.

1

Только я сошел на берег, как кто-то сзади обнял меня за плечи: «Лева!». Оборачиваюсь. Мой старый московский приятель, радист-коротковолновик Леша Перфильев, который исчез из Москвы около месяца тому назад, заявив дома, что едет в длительную командировку на Дальний Восток. Обнялись. Вижу, что он чем-то очень расстроен. «В чем дело?» — спрашиваю я. Тут только я обратил внимание на его несколько необычный вид: с Лешей мы дружили уже несколько лет. Я его всегда видел уравновешенным, жизнерадостным парнем, увлеченным радиолюбителем. Правда, он был несколько не по-современному скромен и застенчив, но всегда участвовал в наших компаниях, не отказывался иногда и в норму заложить. Но здесь передо мной стоял совсем другой Леша: необычно бледный, с какой-то растерянностью во взгляде, он выглядел намного старше своих двадцати четырех лет, а самое главное, чувствовалось в нем какое-то душевное смятение.

Дрожа и чуть ли не заикаясь, он наклонился ко мне и стал громко шептать на ухо: «Лева, ты себе не представляешь, что здесь делается! Каждую ночь бомбежки. И какие! Особенно в эту ночь: тридцать хункеров (он уже говорил не «юнкеров», а, как в Испании, «хункеров») не переставая бомбили город. Когда я согласился сюда поехать, то у меня и в мыслях не было ничего подобного. Зачем я сюда поехал! Неужели не удастся отсюда живому выбраться?..» Таков был примерно лейтмотив его причитаний. (Впоследствии Леша довольно быстро вылечился от своей бомбобоязни и показал себя очень квалифицированным и храбрым солдатом-радистом. Леша приехал ненамного раньше меня на пароходе «Мар Бланко», сопровождая груз самолетов и танков, за что 16 декабря 1936 года, в одном списке со мною, был награжден орденом Красной Звезды*. Он почти до конца войны работал радистом на морской базе в Картахене. По возвращении на родину Леша остался на военной службе в отделе технических средств пропаганды в Политуправлении РККА. Умер он в 1975 году в звании полковника, в Москве).

Я постарался его успокоить, но, откровенно говоря, у самого-то кошки скребли на душе: уж больно страшен оказался переход от мирной жизни в Москве к этому рейсу на пороховой бочке с зажженным фитилем. Судя по настроению Леши, здесь тоже был не сахар. Буквально через несколько минут после того, как я ступил на твердую землю, раздались орудийные залпы, но уже не в честь нашего благополучного прибытия, а самые настоящие боевые залпы по прилетевшему фашистскому самолету-разведчику. Тут уж и мои нервы не выдержали: очухались мы только километрах в полутора от порта, в бомбоубежище-пещере, битком набитой женщинами и детьми.

Фашистский разведчик летел на большой высоте, зенитчики в него, конечно, не попали, а он, сбросив581 бесприцельно несколько небольших бомб, вскоре убрался восвояси. Бомбы эти никому вреда не причинили, но прилетел фашист неспро-

---

* Вероятно, неточность. В публикации имен награжденных в «Известиях» за 17 декабря 1936 года имени Перфильева нет.

ста, по-видимому, его послали выяснить — прибыл ли наш пароход с боеприпасами, а если он его заметил, то ночью надо ждать большой бомбежки, уж больно заманчива цель.

Но пока тревога закончилась, и мы с Лешей, несколько стыдясь своих столь бурно проявленных эмоций, поплелись обратно в порт. Вот тут-то на меня в первый раз в жизни глянул настоящий лик войны: разрушения в городе, особенно после ночной бомбежки, были действительно очень сильными. Ведь дома на юге Испании, из-за отсутствия нужды в теплоизоляции, строились тонкостенными. 100- или 250-килограммовая бомба, упавшая посреди улицы, взрывной волной уничтожала сразу несколько домов, а у более отдаленных от места ее падения зданий иногда просто отваливались передние стены, обнажая всю внутренность дома, как на сцене театра: стоят рояль, кровати, столы, стулья, на уцелевших стенах висят портреты и картины, а передней стены нет. Много я впоследствии видал разрушений, но такого впечатления, как эти, впервые в жизни увиденные здесь, в Картахене, они на меня уже не производили. Ко всему привыкаешь, но Лешино настроение если и не передалось мне полностью, то, во всяком случае, стало понятным.

Так мы и пришли в порт, на морскую базу, где обосновался Леша и где уже собрались мои попутчики — обмывать благополучное прибытие испанским вином. Пришлось и нам с Лешей к ним присоединиться, хотя после такой прогулки по городу особой охоты выпивать у нас не было.

За обедом выяснились некоторые подробности, способствовавшие нашему благополучному прибытию в Картахену. Дело в том, что о нашем передвижении фашистам было известно все, и если они нас не потопили в районе Алжира и даже раньше, то просто потому, что были твердо уверены в том, что мы и так от них никуда не денемся, и потому нет смысла гоняться за нами по всему Средиземному морю да еще вблизи нейтральных французских территориальных вод, если можно было совершенно свободно потопить нас у берегов самой Испании. Флагман фашистского флота — бронированное чудовище, линейный крейсер «Канариас», всю ночь нашего ожидаемого прибытия рейдировал в районе нашего

предполагаемого курса. Конечно, наше с ним рандеву могло кончиться для нас весьма плачевно, даже если бы нас прикрывала часть военно-морского флота Республики. Дело в том, что «Канариас» был по тем временам ультрановым военным кораблем, буквально со стапелей Фридрихсхафена прибывшим в распоряжение испанских фашистских мятежников. Обладая более быстрым ходом и большой дальнобойностью артиллерии главного калибра, по сравнению с аналогичными кораблями флота Республики, «Канариас» мог вести с ними бой, оставаясь недосягаемым для их огня. В случае, если республиканские корабли пытались пойти на сближение, «Канариас», пользуясь преимуществом в скорости, отходил назад и снова стрелял. Если же республиканцы отступали, то «Канариас» следовал за ними, держа их под прицельным огнем своей артиллерии, пока не загонял под прикрытие береговых батарей. И вот это-то чудовище и караулило нас целую ночь на пути из Африки в Картахену. К счастью, в эту ночь мы не совершали переход через Средиземное море, а чинили «скисшую» машину у мыса Тенис на африканском берегу. Это и спутало все карты фашистской разведки.

Мы выбились из графика, составленного для нас фашистами. Пресловутая немецкая педантичность и на этот раз дала осечку. Не поймав нас во время намеченного ими нашего перехода через Средиземное море, они решили, что мы как-то незаметно (хотя абсолютно непонятно было, как мог наш тихоход на зеркальном море и при полной луне скрыться на таком коротком интервале от такого корабля, как «Канариас»), проскочили мимо их рейдера, и чтобы не допустить использование такой мощной помощи Республике, как наш груз, решили разбомбить наш транспорт в порту (а заодно разнести и порт, и город). Для этой цели они мобилизовали всю свою бомбардировочную авиацию и целую ночь гвоздили пустой порт и несчастный город, а мы в это время безо всякого конвоя пересекали Средиземное море!

Канонада, которую мы слышали, подходя к испанским берегам, и была концом той ночной бомбежки Картахены в нашу честь. А прихватили нас совершенно случайно два

республиканских эсминца, просто удравших из порта при начале фашистской бомбежки. Они, конечно, ничего не знали ни о нашем рейсе, ни о грузе, и, естественно, не могли знать отзыва на наш пароль. Конечно, если бы ведший с нами переговоры офицер несколько раньше раскрыл бы свою принадлежность к Республике, то это избавило бы нас от многих переживаний, а особенно от панической радиограммы в Москву, где в данной ситуации тоже изрядно пометали искры, но и офицер-то тоже сначала принял нас за фашистский транспорт, заблудившийся у берегов Испании, и пока он выяснял по радио с начальством обстановку (а тут еще следует учесть, что о нашем рейсе знал в Картахене крайне ограниченный круг лиц, да и переговоры офицера с базой велись во время сильнейшей бомбежки порта и города, так что не так-то легко можно было что-либо выяснить), и произошли все описанные мною выше события. Вначале мы готовы были просто растерзать этого офицера, попадись он к нам в руки, но затем, после прибытия на место, эти кровожадные намерения быстро испарились, и мы даже несколько раз выпили за его здоровье, памятуя, что все хорошо, что хорошо кончается.

Вернувшись на пароход, я получил распоряжение немедленно собрать свою «музыку» (на условном коде радисты назывались «музыкантами», а радиостанция — «музыкой»; шифровальщиков же почему-то окрестили «талмудистами», а их коды — «талмудом») и следовать в столицу республики — Валенсию, в распоряжение главного штаба. Собрать «музыку» для меня не составляло большого труда, тем более что перспектива еще одной ночевки на нашем пароходе, в ожидании неизбежной бомбежки, меня не очень-то прельщала.

2

Минут через десять я со всем своим имуществом был уже на пирсе. Но тут возникла еще одна проблема: как быть с папиросами? Сам я в те времена еще не курил, а в Севастополе мне все равно выдали полный фанерный ящик с перво-

классными папиросами (кажется, с «Театральными»), да еще два ящика я выиграл в пути в «очко». Выручили меня, причем очень быстро и охотно, портовые грузчики и матросы, мгновенно обступившие меня с просьбой: «Руса сигарета!». Сперва я давал в каждую протянутую руку по десять коробок папирос, потом по пять, а потом уже по одной. Папиросы быстро таяли, а толпа так же быстро, если не быстрее, увеличивалась. Когда я раздавал последние коробки, началась чуть ли не свалка, и только когда я показал толпе пустой ящик, меня с большой неохотой пропустили к выходу.

В сумерках у главного подъезда морской базы остановился грузовик «Шевроле», в кузове которого были ящики с оружием и патронами. «Грузитесь быстрее», — скомандовал по-русски человек, сидевший в кабине. Погрузив два чемодана с личными вещами и два чемодана с радиостанцией, мы с шифровальщиком Ваней Павловым залезли в кузов машины и, попрощавшись с Лешей Перфильевым и другими нашими товарищами, пока остававшимися в Картахене, двинулись в путь.

Время сильно смазало первое впечатление от непривычных испанских ландшафтов, но почему-то запомнились глухие фасады одноэтажных домов, без окон, с одной только дверью, и обилие кактусов вдоль дороги. Громадные, мясистые листья кактусов, покрытые, как бородавками, круглыми выпуклостями, из которых торчали длинные зеленые иглы, на фоне, казалось бы, безжизненной равнины с растрескавшейся почвой, освещенной неестественно ярким лунным светом, создавали впечатление какого-то неземного пейзажа.

Машина шла ровно по гладкому асфальту, и как-то незаметно мы с Ваней задремали, прикорнув на ящиках с пулеметными лентами. Проснулся я совершенно неожиданно от резкой боли ниже спины. Спросонок не разобравшись, в чем дело, и решив, что надо мной подшутил проснувшийся раньше меня Ваня Павлов, я было накинулся на него. Но он здесь оказался ни при чем: дорога испортилась, и в стоявших неплотно ящиках образовались щели, то раздвигавшиеся, то сдвигавшиеся от тряски. Лежать и даже сидеть стало практически невозможно, тем более что шофер, не обращая

внимания на дорогу, продолжал гнать машину со скоростью 70—80 км в час. Пришлось встать и ехать дальше, держась за борта, неотступно следя за тем, чтобы ноги не попадали в щели между ящиками.

Подъехали к большому провинциальному центру — городу Мурсия. И здесь на нас сразу же глянула война: отсутствие прохожих, обилие патрулей (кстати, почти повсеместно эти патрули не затрудняли себя проверкой документов проезжающих, но достаточно было шоферу выглянуть в окошко кабины, поднять сжатый кулак и произнести магические слова «эстада майор» — генеральный штаб, как бдительные стражи революции тоже поднимали кулаки и с возгласом «Салуд!» беспрепятственно пропускали машину) и еле мерцающие синие огоньки вместо уличного освещения. Въехав в город, решили поужинать. Подъехали к ближайшей «остерии» (харчевне). В отличие от наших общепитов, эти «остерии» не имели твердого графика работы, и хозяин, несмотря на поздний час, быстро приготовил обильный ужин, поставил на стол несколько бутылок вина, и пока мы ели, разговорился с нашим шофером. Плотно поужинав, мы попросили у хозяина счет. «Я с русских не беру! — заявил он. — Мы и так перед ними в неоплатном долгу за пролитую в защиту наших женщин и детей кровь». Никакие уговоры не помогли, и насильно сунутые в его руку деньги хозяин, не считая, опустил в висевшую посреди зала кружку фонда помощи сиротам Гражданской войны.

На рассвете мы уже были недалеко от Валенсии. Сперва подъехали к уединенной вилле на окраине города, и сидевший в кабине человек (который за все время пути даже не сообщил нам, кто он такой) тоном, не терпящим возражения, приказал нам сгружать ящики. Из виллы вышел человек, лет около сорока, одетый в короткую кожаную куртку на молнии. Наш провожатый вытянулся перед ним и доложил: «Прибыли, товарищ полковник». Полковник поздоровался с нами и приказал нести ящики с оружием и боеприпасами в подвал виллы. Часа два перетаскивали мы втроем тяжеленные ящики с винтовками, разобранными пулеметами, гранатами и патронами в огромный подвал виллы, в котором

и до нашего прибытия лежало изрядное количество таких же ящиков. Испанец-шофер в работе участия не принимал и ждал нас на улице. По окончании работы полковник объявил, что мы можем следовать дальше. Ему даже в голову не пришло поблагодарить нас с Иваном, хотя мы ни в какой степени в то время не были у него в подчинении и могли просто послать его подальше и предложить разгружать машину самому, что, кстати говоря, и следовало бы сделать, потому что сразу же после этого он сам сел завтракать, а нам даже и не подумал предложить, хотя мы были изрядно голодны.

Тот же русский провожатый подвез нас на машине к центру города в гостиницу «Метрополь», где для нас были забронированы номера. Попрощавшись с провожатым, приведя себя в порядок и позавтракав в ресторане, я отправился осматривать город. Прежде всего следовало купить себе что-нибудь из верхней одежды, потому что мое пальто системы «Москвошвея» и шляпа с загнутыми полями обращали на себя всеобщее внимание, да и декабрьское солнышко в Валенсии начало припекать, и мне становилось жарковато.

Магазины уже были открыты, и я отправился на рекогносцировку.

Встал вопрос: какую выбрать себе национальность? Еще в Севастополе нас предупреждали о том, что нежелательно афишировать свою советскую принадлежность. Из всех иностранных языков я лишь немного знал немецкий (и то говорил с ужасным еврейским акцентом), но объявить себя в республиканской Испании немцем значило в лучшем случае немедленно попасть в полицию, получив предварительно хорошую взбучку от провожатых. Обладая словарным запасом десятка в полтора французских слов, я в первом же магазине, где во мне сразу же обнаружили «эстранхеро» (иностранца), на вопрос: «Ке национали дад устэ?» (Какой вы национальности?) — ответил: «Франсеза» (француз), но был тут же разоблачен, так как в Испании — стране туризма — каждый второй приказчик в магазине свободно владеет французским. Пробормотав бессвязно «мерси, месье», я быстро ретировался, провожаемый подозрительными взгля-

дами продавцов и покупателей. (Хорошо еще, что они не проявили должной бдительности; случись такое у нас в Москве, не миновать бы мне Лубянки.)

Так же неудачно кончилась моя попытка косить под англичанина, ибо англичане и американцы составляли подавляющее большинство интуристов в Испании, и естественно, что многие работники сферы обслуживания знали и английский. После этого вышел я из магазина и задумался: кем стать? Русским — нельзя, француза и англичанина во мне сразу же разоблачили, что делать? Какую выбрать себе национальность? Косить под датчанина, шведа, норвежца? Тоже навряд ли пройдет.

И тут меня осенило: поляк! Ведь едва ли найдутся тут люди, знающие польский язык (меня совершенно не смущало, что по-польски я знаю только «проше пана» и «пся крев», важно, чтобы его не знали испанцы, тогда все в порядке, тем более что и паспорт-то у меня польский). Идея оказалась плодотворной, и за все время пребывания в Валенсии я спокойно, без особых неприятностей, работал под поляка.

В одном из центральных магазинов я приглядел себе замшевую куртку на замке «молния», что называется «крик моды», а так как местной валюты я еще не успел получить, то решил пустить в ход свой НЗ — выданные в Москве доллары.

Продавец кое-как объяснил мне, что хотя эти деньги вполне надежны, но взять он их не может (он охотно взял бы их, ведь курс испанской песеты неудержимо падал, но, наверно, боялся провокации с моей стороны, так как Республика ввела строгие законы, карающие за валютные спекуляции), и посоветовал мне обратиться для размена долларов в находившийся рядом банк. По своей наивности, не зная, что любой спекулянт, крутившийся в вестибюле банка, даст мне за доллары в несколько раз больше их официального курса, я обратился прямо в кассу. Крайне удивленный появлением такого клиента, кассир тут же разменял мне 25 долларов (четверть моего валютного запаса) на песеты из расчета 25 песет за доллар. Через пятнадцать минут я выходил из магазина одетый как Утесов в представлении московско-

го мюзик-холла — «гоп со смыком». Коричневая замшевая куртка на замке «молния», коричневый берет, коричневые же лайковые перчатки вызвали бы бешеную зависть у любого пижона, фланирующего в Москве по улице Горького, но здесь, в Валенсии, я перестал выделяться покроем своего москвошвеевского туалета, а когда в довершение экипировки я приобрел еще дымчатые очки, то вполне мог сойти за среднепреуспевающего валенсийца. Когда я пришел в гостиницу похвастаться своими обновками, то бывалые ребята меня сперва подняли на смех. Высчитали, что я заплатил, с учетом разницы в валютных курсах, примерно в пять раз больше, чем стоили мои покупки, но потом сознались, что сами в свое время поступили точно так же, причем некоторые из них сразу же лишились почти всего своего валютного фонда, купив, кроме куртки, берета и очков (которые приобрели все поголовно), еще и наручные часы наилучших швейцарских марок, которые в Москве вообще считались редкостью.

Как денди лондонский одет, я явился, наконец, в наш главный штаб «Альборайя ого» (ул. Альборайя, дом восемь), где, оказывается, меня уже давно ждали. Из московских радистов-коротковолновиков там был один из старейших радиолюбителей А. Липманов (его позывной был «20RA», то есть он был двадцатым коротковолновиком в СССР), которого в целях конспирации окрестили Липкиным. Он познакомил меня с обстановкой. А она, вообще говоря, была не очень обнадеживающей: со дня на день ожидалось падение Мадрида, который в то время висел на волоске. Для нас, радистов, это означало колоссальное увеличение объема радиосвязи, ибо Мадрид был узловым пунктом проводной связи между всеми фронтами, и с его падением вся связь фронтов с главным штабом и между собой должна будет обеспечиваться только нами — коротковолновиками, через наши маломощные и весьма несовершенные, даже по тем временам, радиостанции.

Кроме того, почему-то не ладилась даже радиосвязь с Москвой, несмотря на вполне нормальную работу всей аппаратуры. Москва не слышала Валенсию, несмотря на то что радиостанции гораздо меньшей мощности (вроде моей), уста-

новленные на транспортах, следующих из Союза в Испанию, как правило, держали весьма уверенную связь с Москвой.

Меня как одного из немногих радиоинженеров-коротковолновиков (для точности, без пяти минут радиоинженера, так как вместо того, чтобы оставаться в Москве защищать диплом, я поехал в Испанию защищать испанский народ от фашизма) решили оставить в Валенсии в качестве начальника радиостанции главного штаба. Мы с Липкиным и еще с несколькими радистами сразу же развернули кипучую деятельность: установили более совершенную аппаратуру, более эффективную антенну, все проверили, отрегулировали, но бесполезно: Москва, которую мы-то прекрасно слышали, нас не обнаруживала. Лишь поздно вечером, окончательно вымотавшиеся (особенно я, предпоследнюю ночь ни минуты не спавший во время заключительного перехода поперек Средиземного моря, а последнюю ночь проведший в кузове грузовика, следовавшего из Картахены в Валенсию) и почти обескураженные неудачей, мы отправились отдыхать в гостиницу, чтобы назавтра, с раннего утра, снова взяться за работу, а то ведь прямо позор: все «игреки» (транспорты) с маломощными «пшикалками» и с не всегда особо квалифицированными радистами имеют устойчивую связь с Москвой, а тут такая аппаратура, радиокиты вроде Липманова и т. д., а связи нет!

Захожу в гостиницу и в вестибюле вижу прибывших из Картахены ребят с нашего парохода. Они уже, подобно мне, успели экипироваться и, в отличие от меня, хорошо поспали и изрядно выпили. На радостях, с благополучным прибытием, пришлось добавить, и притом порядком. Так как я не спал две ночи, а день провел в напряженной работе, то меня, естественно, изрядно разобрало. Несмотря на уговоры наиболее благоразумной части нашей компании остаться отдыхать в номере гостиницы, я вместе с несколькими из породы «оторви и брось» (кстати говоря, именно эта порода и проявила наибольший героизм в борьбе с фашистами в Испании, а некоторых отличников боевой и политической подготовки досрочно отправляли домой из-за непригодности в боевых условиях), отправился погулять по ночной Валенсии.

Не помню уже, как это все случилось, помню только, что сперва зашли в ночной бар «Аполло», там еще добавили, танцевали с местными девушками, а потом вышли с ними на улицу. Правда, у нас хватило благоразумия отказаться от любезных приглашений девушек зайти к ним в гости, но почему-то возникла ссора с несколькими испанцами. Ссора переросла в драку. Сразу же появилась полиция. Мы тикать. Полицейские, не зная (а может быть и зная), с кем они имеют дело, дали несколько предупредительных выстрелов в воздух. Наши ответили. И я грешным делом пальнул несколько раз в воздух, ибо, как говорил в свое время Исаак Бабель, «если не стрелять в воздух, то можно убить человека».

Пьяный-пьяный, а от полиции я все же удрал и в совершенно незнакомом городе, ночью, в полной темноте, не зная языка, все-таки нашел свою гостиницу. Запыхавшись, вбежал в номер, вызвал горничную, протянул ей десять песет и знаками объяснил, показывая на часы, что если ее спросят, то пусть говорит, что в десять часов я уже спал на месте. «Си, синьор, компрендо» («Да, господин, поняла»), — взяв деньги, ответила она, приготовила мне постель, и я спокойно лег спать, с твердым убеждением, что на этот раз мои неприятности уже закончились.

Но увы: мой оптимизм оказался преждевременным; с самого утра меня вызывают к командующему. Захожу в приемную — сидят все участники наших ночных похождений и делают вид, что друг с другом совершенно не знакомы. По-видимому, удрать удалось не всем: кого-то поймали, и он раскололся.

Вызывают нас по одному, и вызванный уже больше сюда не возвращается, выпускают в другую дверь. Ну, думаю, — влип. Теперь отправят домой, да еще с такой характеристикой. И чего только я ввязался в эту ночную историю! Наконец, вызывают и меня. Сидит за столом командующий, с ним несколько человек из начальства, в том числе и мой новый шеф — полковник Никифоров. Вошел, поздоровался. Не отвечают и садиться не приглашают. Плохой признак. Стараюсь держаться спокойнее, не очень-то получается, предательски дрожат руки.

Командующий — комкор (по-теперешнему генерал-полковник) Иван Дмитриевич Гришин (он же Ян Карлович Берзин*, он же Старик), поднимает от папки с бумагами свою стриженную под ежик голову, и, обращаясь к Никифорову, спрашивает: «Твой?». Тот молча кивает. «Ну что? — обращается Гришин ко мне. — “Ничего не знаю, в десять вечера лег спать, горничная может подтвердить?”». Собственно, он дословно повторил то, что я собирался ему сказать. По-видимому, эту хитрость с горничной применили еще некоторые из погоревших товарищей, и стреляный волк Берзин сразу же ее разгадал. «Ну, что молчишь?»

Я густо покраснел и не мог от смущения произнести ни слова: ведь передо мной соратник Ленина, человек, чье имя золотыми буквами вписано в историю революции, — как я могу ему врать? Еле выдавил: «Виноват, товарищ командующий. Если заслужил — расстреляйте, только не отправляйте обратно. Оставите здесь в живых — постараюсь искупить свою вину».

Видимо, и это не блистало оригинальностью, ибо ожидаемого эффекта не произвело. Слезы умиления на глазах командующего не появились, и он просто буркнул Никифорову: «Не хватало еще этого, — он выделил последнее слово, — оставлять в Валенсии на руководящей работе (я же был назначен из Москвы начальником радиоузла в Валенсии). На фронт, и чтоб я его здесь больше не видел!». «Идите», — кивнув в сторону двери, отрезал командующий. — «Есть!».

Я ожидал нудного и длительного разноса, а в конце фразы: «Обратно в Союз!», что было равносильно пуле. Так что слова «На фронт!» прозвучали для меня райской музыкой. Не чуя под собой ног от радости, я поспешил выполнить распоряжение Старика, пока он не передумал, и после поворота по форме почти бегом направился к выходу. «Зайдешь ко мне через час», — раздался вдогонку голос Никифорова. От-

---

* Берзин Ян Карлович (Кюзис Петерис) (1889—1938), начальник штаба РККА Разведупра (с марта 1924 по апрель 1935 года, а также в июне-августе 1937), в 1936—1937 — главный военный советник в республиканской армии в Испании. Расстрелян.

дышавшись после пережитого, ровно через час я явился в кабинет полковника. Тот, по-видимому, был сильно расстроен: наверно, досталось и ему за меня, да и с связь с Москвой не ладилась, а тут чуть ли не главного специалиста забрали.

«Эх ты, единственный радиоинженер, интеллигенция!..» и т. д. И начался длительный, нудный разнос, но поскольку его конечный результат был уже предопределен Стариком, то особого впечатления на меня он не произвел. В конце концов, — утешал я сам себя, — я сюда приехал воевать с фашистами, а не отсиживаться в штабах, хотя после вчерашнего посещения варьете «Аполло» мой интерес к Валенсии значительно возрос. Разнос окончился предложением самому выбрать себе участок фронта, ибо радисты нужны везде, и приказал явиться к нему с ответом через два часа, а к вечеру исчезнуть из Валенсии, пока Старик не передумал.

Впоследствии я узнал, что Старик, обычно крутой на расправу, принял столь мягкое решение еще и потому, что ему, старому разведчику, импонировало, как, несмотря на полное незнание языка и города, а также значительное численное преимущество полиции, в ее руки попался лишь один из наших (его Старик сразу отправил в Союз, с соответственной характеристикой), а остальные все же сумели удрать, чем вызвали его симпатию. По непроверенным данным, Старик даже потер руки и сказал: «А все-таки молодцы! Ведь полиции и пострадавших испанцев было в десять раз больше, чем их. С такими можно и повоевать!»

Подошло время обеда, и поэтому естественно, что путь в кабинет Никифорова лежал через ресторан. Захожу туда и вижу обедающего Спрогиса, с которым мы плыли на пароходе. Он уже в курсе дела. «Ну, куда поедешь?» — спросил Артур. «Не знаю еще. Предложили выбрать любой участок фронта», — ответил я, и стал рассматривать меню. С этими меню у нас бывало много неувязок: в отличие от листиков папиросной бумаги, что приняты в наших объектах общепита, здесь перечисление салатов, первых, вторых и прочих блюд занимало минимум десять-двенадцать страниц в объе-

мистой книжице, причем любое блюдо можно было в любое время получить, не то что в наших ресторанах.

Поначалу, не зная языка, мы заказывали по пять-шесть наименований с одной страницы и с удивлением обнаруживали на подносе официанта по пять-шесть салатов или супов вместо ожидаемого полного обеда. Постепенно привыкнув, мы начали разбираться в этой премудрости, и наши трапезы приняли нормальный вид. Несколько сложнее оказалось с каталогом вин, которых здесь было изобилие. Тут уже мы действовали больше по наитию, или по цене: чем дороже — тем лучше. В этом мы никогда не ошибались, ибо обман в испанских ресторанах решительно невозможен.

И тут, прощаясь с Валенсией, я решил гульнуть и заказал бутылку самого дорогого вина. Им оказалась коллекционная «Малага». Вместо бутылки принесли кусок камня и из него разлили по бокалам золотистую жидкость, и вряд ли греческие боги на Олимпе испытывали такое наслаждение от своего нектара, как мы с Артуром, когда смаковали мелкими глоточками эту прелесть.

«А ты куда едешь?» — спрашиваю я у него. — «А туда», — улыбаясь, ответил Артур, ткнув пальцем в бутылку. Не поняв в чем дело, я переспросил: «Да я у тебя спрашиваю серьезно, куда ты едешь?». Артур уже всерьез ответил: «В Малагу, туда, где делают это вино, причем завтра же рано утром».

Узнав, что там нужен радист, я тут же принял решение тоже ехать в Малагу, даже не выяснив толком, где она находится и какая там военная обстановка. Сразу после обеда я отправился к Никифорову и сообщил ему о своем желании. Он не стал возражать и сел писать мне направление, а я тем временем подошел к висящей на стене карте страны, чтобы посмотреть, где Малага. Оказалось, что это область на самом юге Испании, почти у Гибралтара, и со всех сторон, за исключением узенького прохода вдоль побережья, она окружена фашистами. Но отступать было уже поздно. Взяв направление, я отправился комплектовать свою «музыку» (радиостанцию) и собираться в дорогу.

3

На следующее утро пять человек — Артур Спрогис, его переводчица Регина Цитрон (старая коммунистка, член еще нелегальной польской компартии; умерла в Ленинграде в конце семидесятых годов), шифровальщик Вася Бабенко, я с «музыкой» и испанец-шофер — выехали на легковой машине с флажком советского посольства из Валенсии в Малагу.

Широкая лента гудронированного шоссе, по которой с легким шипением скользят колеса автомобиля. Через каждые 100 метров кучка белых камней, через километр — столбик, через 50 километров — большой столб с перечислением расстояний до ближайших городов. Четкие знаки поворотов, объездов, неровностей дороги, всяких запретов. Все это, несмотря на военное время, содержится в образцовом порядке. Что же касается темперамента испанских шоферов, то по сравнению с ними наши грузины и даже чеченцы просто флегматики. Скорость меньше 80—90 км в час (по любой дороге, даже по горному серпантину) у них вообще не котируется, а по более-менее ровному дефиле — не менее 110—130 км. Никакие меры воздействия на водителей эффекта не дают. Даже такое средство: на месте автомобильной катастрофы с человеческими жертвами, на обочине дороги, ставят «на попа» покореженные рамы разбившихся машин, прочно вкопав их в землю, а рядом устанавливают большой черный крест с перечислением на табличке фамилий погибших, с назидательной надписью, вроде: «Мир их праху! Да простит им Господь их прегрешения, ибо покаяться в них перед смертью у них не было времени».

С точки зрения нормальной логики, при подъезде к такому «памятнику» (а на особо опасных местах дорог их бывает и по несколько штук) нога автомобилиста должна сама отпустить акселератор, но на испанских водителей даже это не действует, — 100 км в час, не меньше, даже мимо «памятников». Недаром, по имевшимся данным, количество советских добровольцев, пострадавших в дорожных происшествиях, вполне соизмеримо с аналогичными потерями в боевых действиях.

Но ехать по такой дороге все же приятно: чистенькие деревни с белыми домиками сплошь в цветниках и зелени. Несмотря на большое движение автотранспорта, велосипедистов очень много, но ездят они по специальным дорожкам за обочинами шоссе, с полной для себя безопасностью.

Особенно поражают апельсиновые рощи, почти непрерывно тянущиеся по обеим сторонам дороги. На деревьях почти не видно зелени из-за обилия крупных, ярко-желтых плодов. Собранные апельсины свалены в кучи вдоль дороги и тут же грузятся в автомашины, примерно как у нас картошка (с которой они примерно в одной, если не дешевле, цене). Каждая такая куча (а тянется она вдоль дороги порой много десятков метров) принадлежит определенному хозяину, и на ее концах вкопаны столбики с дощечками. Фрукты никто не охраняет (да и вообще в Испании я почти не видал сторожей, воровство там не в почете). Подъезжает к такой куче машина. Шофер с одним или двумя грузчиками наполнит кузов апельсинами и на дощечке отметит дату, грузоподъемность машины и поставит свою подпись. Когда все апельсины увезут, хозяин берет эти дощечки и едет в контору получать деньги. Никаких тебе экспедиторов, бухгалтерий, накладных, ведомостей и прочего.

Недаром Валенсия славится экспортом апельсинов. Правда, валенсийские апельсины несколько толстокожи, но это качество только делает их более пригодными для длительной транспортировки. Впоследствии мне довелось отведать и знаменитых эстепонских апельсинов (Эстепона — небольшой городок километрах в 80 к югу от Малаги по побережью Средиземного моря). Их вкус вообще бесподобен. В разрезанном виде в них заметны красные прожилки, наподобие кровеносных сосудов. По качеству они считаются лучшими в мире, но из-за чрезвычайно тонкой кожуры не выдерживают никакой перевозки и портятся даже по пути в Малагу, так что их приходится есть на месте, да и то не чистя, а слегка надрезав кожуру: содержимое выдавливают на блюдце или прямо в рот. Но и валенсийские апельсины хороши, а обилие их на деревьях настолько велико, что если бы не специ-

альная система подпорок, то ветви обломились бы под тяжестью плодов.

Но мы едем все дальше: как в калейдоскопе, мелькают поселки и города. Гандия — крупный морской порт, в основном экспортирующий апельсины. Аликанте — фешенебельный курорт, славящийся своим знаменитым вином и рестораном, который расположен на прибрежном острове и имеет сообщение с городом через перекидной мост и очень нарядные катера. Уже знакомая мне Мурсия. Испанские города поражают своим необычным для нашего глаза видом: узенькие улочки, мощенные булыжником или каменными плитами, застроенные домами архитектуры бог знает какого века, часто сменяются вполне современными широкими проспектами с многоэтажными домами. В каждом городе много различных арок, фонтанов, а особенно памятников. Памятников всевозможных: и конных (большинство), и военных, и гражданских, и духовных. Особенно популярны фигуры любимых испанских героев — Дон-Кихота и Санчо-Пансы. Они везде: на памятниках Мигелю Сервантесу (есть почти в каждом уважающем себя испанском городе), на календарях, спичечных коробках, сигаретных пачках, бутылочных этикетках — отовсюду глядят на вас симпатичные физиономии Рыцаря Печального Образа на кляче и его верного оруженосца на осле.

В небольшом городке (хотя он и являлся столицей провинции, по-нашему — областным центром) — Альмерии (получившем печальную известность из-за того, что неподалеку отсюда, около деревни Паломарес, с американского бомбардировщика была «утеряна» водородная бомба*), мы решили сделать остановку на отдых. Город вроде бы ничем не примечателен, только, как говорят, въезд с моря на главную улицу несколько напоминает въезд в Иерусалим с Вифлеема. Рассказывали (за точность, конечно, поручиться не могу), что когда

---

* Это произошло 17 января 1966 года над испанской деревней Паломарес, когда американский бомбардировщик Б-52 с четырьмя водородными бомбами на борту столкнулся в воздухе с самолетом-заправщиком КС-135.

в 1929 или в 1930 году, после длительного перерыва, первый советский пароход пришел в Испанию, то портом его назначения оказалась Альмерия. Наши морячки сразу же обнаружили сходство «пассады» с Иерусалимской улицей, и в небольшом подпитии решили провернуть мероприятие по антирелигиозной пропаганде (столь модное в те времена) — а именно инсценировать въезд Христа в Иерусалим. Подобрали матросика, немного похожего на Христа, завернули его в белые простыни, посадили на специально для этого нанятого белого осла, и вся процессия, с гармонью и пением антирелигиозных частушек на русском языке, двинулась по «пассаде» в город. Когда растерявшиеся поначалу власти разобрались, в чем дело, то полиции было уже поздно вмешиваться: фанатически настроенная, озверевшая толпа, подстрекаемая священниками и монахами, напала на «процессию». Лжехриста стащили с осла и жестоко избили, досталось, конечно, и апостолам, и только несколько запоздавшие по весьма понятным причинам жандармы спасли незадачливых агитаторов от печального конца. Возник довольно серьезный дипломатический инцидент, который был улажен с большим трудом, и с тех пор и до самого начала Гражданской войны ни один советский пароход в Альмерию не заходил.

При беглом знакомстве с городом меня удивило одно курьезное обстоятельство: сплошь и рядом можно было видеть, как весьма приличные дамы и господа безо всякого стеснения почесываются (преимущественно ниже пояса), даже на виду у всех, на самых людных улицах. Впоследствии, когда мне пришлось пожить несколько месяцев в Альмерии, это явление объяснилось: оказывается, из-за близости к городу меловых гор тут развелось огромное количество блох. Днем они ползали по тротуарам и кусали до пояса, а ночью и вовсе не давали спать. Избавиться от них было практически невозможно. Вопреки известной поговорке, не помогала тут и поспешность: блохи неуловимы, и нечего удивляться, когда человек, которого их укусы доводят до исступления, чешет покусанные места прямо на улице, иной раз и во время беседы с дамой, которая и сама таким же образом пытает-

ся унять нестерпимый зуд. Даже теперь, спустя столько лет, при одном только воспоминании о проклятых альмерийских блохах тело мое начинает зудеть.

Пообедав и отдохнув в Альмерии, мы поехали дальше. До Малаги оставалось еще километров двести пятьдесят. Проехали ряд рыбачьих поселков, и уже затемно добрались до городка Мотриль. Тут уже начала ощущаться близость фронта: стали появляться санитарные повозки, военные машины и даже расположившиеся на отдых воинские подразделения. Дорога пошла по горам, причем порой она лепилась узенькой террасой по крутому склону горы, а с другой ее стороны слышался мерный рокот волн Средиземного моря. Несколько раз переезжали вброд небольшие горные речушки. (Фашистские диверсанты повзрывали бывшие здесь когда-то мосты. Как я впоследствии имел возможность убедиться, они никем не охранялись: мне, по долгу службы, пришлось фотографировать много таких мостов на большом участке шоссе. Хотя у меня было соответствующее разрешение, оно мне ни разу не понадобилось, потому что спрашивать его было некому: никакой охраны на мостах не наблюдалось, недаром чиновник, выписывавший мне разрешение, так удивлялся, зачем оно мне.)

Все наши переправы прошли благополучно: к счастью, дождей уже давно не было, и речки безобидно текли себе в своих руслах. Между тем испанские горные реки весьма своенравны: например, в Валенсии можно видеть высокие набережные, капитальные мосты, а реки — нет. Между набережными и под мостами посажены огороды, на которых обильно произрастают огурцы, помидоры и прочие овощи, прямо в русле несуществующей пока реки. Но стоит только пройти дождям, как русло сразу же заполняется бушующей водой, порой даже под самые перила набережной. Побушует вода дней пять-семь, и река снова исчезает, а посаженные на ее месте огороды, нисколько не пострадав, продолжают давать обильные урожаи.

Однако наше путешествие подходило к концу, и, видимо, мы приближались к Малаге. Чувствовалось это не только

в довольно явственно слышимых залпах полевой артиллерии, но даже в том, что впервые за все время моего пребывания в военной Испании один из дорожных патрулей, не ограничившись ответом нашего шофера «эстадо майор» (генеральный штаб), потребовал наши документы, что привело того в ярость, но, услышав наш неиспанский разговор, старший патрульный понял свою бестактность, вернул нам, не проверяя, документы, поднял руку в приветствии: «Салуд!» — и пропустил нас дальше. Это, пожалуй, был единственный сверхбдительный патруль, который мне встретился в Испании.

4

Подъезжая к Малаге, мы все время слышали глухие раскаты канонады, которая по мере приближения к городу все усиливалась, а потом внезапно смолкла. «Артиллерийский обстрел! — догадался Артур. — И, по-видимому, из орудий крупного калибра!» — «Каналья “Канариас”!» — погрозил кулаком в море наш шофер. Внезапно из-за поворота показались окраины Малаги, и мы въехали в город. Несколько обстоятельств нас сразу же поразило: вместо привычных уже нашим глазам, даже в тыловых городах, тусклых синих огоньков на улицах этого фронтового города ярко сияли огромные дуговые фонари. Не было видно ни одного человека. На расстоянии нескольких километров (от окраины и почти до самого центра) нас не остановил ни один патруль, как будто все вымерло. Кое-где, прямо посреди улицы, лежали неубранные трупы лошадей и мулов, словом, все как в сонном царстве из сказки «Спящая красавица». Наконец почти в самом центре города мы встретили долгожданный патруль, но он был в черно-красных пилотках с надписью:«СНТФАИ — анархисты». Переговорив о чем-то с нашей переводчицей Региной, «старший» встал на подножку нашей машины и, вместо того чтобы привезти нас в нужную нам «командансию милитер» (военную комендатуру), привез к местному дому анархи-

стов, где нас сразу же окружила целая толпа вооруженных людей. По-видимому, мы чем-то вызвали подозрение у патруля, и, опасаясь нашего численного превосходства, патрульный решил поговорить с нами в более благоприятных для себя условиях. Тут же подошел местный руководитель анархистов — аргентинец Каро, и недоразумение сразу выяснилось. Оказалось, что Каро знает гостиницу, где расположился советник Малагского сектора Южного фронта — советский полковник Креминг (в миру — Василий Иванович Киселев*), в распоряжение которого мы и прибыли.

Нам дали провожатого и через десять минут мы уже обменивались крепкими рукопожатиями с нашим земляком-полковником и его переводчицей Машей Левиной. Среднего роста, коренастый, со слегка вьющимися светло-русыми коротко подстриженными волосами, одетый в короткую кожаную, на замке «молния», куртку (наиболее распространенная среди наших товарищей в Испании форма одежды), вид полковник имел не особо воинственный, хотя в действительности это был вояка до мозга костей. Кадровый солдат, дослужившийся до прапорщика, полный Георгиевский кавалер за войну 1914—1918 годов, Киселев сразу же после свержения самодержавия примкнул к большевикам. За участие в Гражданской войне был награжден двумя орденами Боевого Красного Знамени. О себе он мог бы рассказать много интересного, но за время нашего полугодового пребывания в Испании ни разу даже не назвал нам свою истинную фамилию (ее я узнал много позже). Лишь изредка, после удачно проведенной операции и за стаканом вина или в машине, во время длинного и утомительного путешествия из Малаги в Валенсию можно было вытянуть из него хоть что-то.

Вообще говоря, характер у полковника был крутоват: не всегда обоснованное его упрямство и гипертрофированная принципиальность иногда приводили к нежелательным осложнениям. Вот один из примеров. Однажды утром в Малаге был очередной воздушный налет. Никакой противо-

---

* В следственном деле Л. Хургеса проходит как Кремнев (см. Приложение 1).

воздушной обороны не было, кроме одной зенитной пушки на подводной лодке, стрелявшей, за неимением шрапнели, фугасно-осколочными снарядами (а попасть таким снарядом в летящий самолет шансов не больше, чем из винтовки в муху, сидящую на макушке креста колокольни Ивана Великого в Кремле), которые причиняли при падении на землю не меньше вреда, чем бомбы фашистского самолета, в который стреляла зенитка. С началом бомбежки все члены нашей советской колонии тут же вышли на балкон своей резиденции, чтобы видеть, что происходит. Все движение в городе приостановилось, лишь отчетливо были слышны гудение моторов самолетов и грохот разрывов сбрасываемых бомб. Бомбили два самолета: один кружил над городом, по-видимому, выискивая наиболее интересную для себя цель, а другой, не спеша, в несколько заходов, бомбил полупустой порт, пытаясь попасть в единственную нашу опору — подводную лодку, которая, маневрируя по акватории, изредка постреливала из своей единственной пушки. Вдруг из порта застрекотал счетверенный, крупнокалиберный пулемет. Креминг насторожился: «Откуда у Сан-Мартина (начальника военно-морской базы Малаги) такой пулемет? Вроде бы раньше у него на базе такого пулемета не было?» — спросил Василий Иванович у меня. Я ответил, что об этом я ничего не знаю. «А ну давай съездим, узнаем!» — приказал Креминг (надо сказать, что более неподходящего времени для этого, чем бомбежка порта, придумать было нельзя, а кроме того, сам Сан-Мартин и весь его персонал уже давно сидели в убежище).

В ответ на мое робкое возражение, а не лучше ли немного обождать и получить полную информацию об этом пулемете после конца бомбежки, тем более что раз этот пулемет откуда-то взялся и даже стреляет, то все подробности о его появлении мы сможем узнать и несколько позднее, Креминг пришел в ярость, и, размахивая кулаками заорал: «Трус! Давай машину, сам поеду!». Ну что ж, приказ есть приказ. Кричу сверху шоферу Креминга — Понсу: «Понс! Эль макина, рапидо!» («Понс! Машину, быстро!»). Понс, решив, что мы, как все здравомыслящие люди, спешим удрать от бомбежки

куда-нибудь подальше за город, мигом выкатил «Крайслер» полковника во двор перед виллой. Уселись в машину все наши, бывшие в наличии: Креминг, Маша, шифровальщик Вася Бабенко, испанец-топограф Энрике Сегарра и я. Кроме полковника и меня никто и не догадывался, куда мы едем.

Когда при выезде из ворот полковник велел поворачивать в порт, то лица у всех заметно вытянулись. Понс попытался было возражать, но когда Креминг потянулся к кобуре пистолета, сразу же поехал в требуемом направлении. Город замер: встали трамваи, автобусы, ни одной движущейся машины, ни одного человека на тротуарах, только одна наша машина на полной скорости мчится по обсаженной пальмами улице прямо к порту, над которым вьется бомбящий его «Капрони»*. По-видимому, полковник уже сам понял абсурдность своей затеи, и если бы шофер сейчас повернул назад, то Креминг не стал бы возражать. Но Понс прекрасно понял многозначительное движение рук полковника к кобуре и, стиснув зубы, гнал машину по направлению к порту.

Мы все молча сидели в машине и ждали, чем это все кончится. Делая очередной заход для бомбежки порта, летчик с «Капрони», по-видимому, не без некоторых оснований решил, что если во время воздушной тревоги какая-то машина, нарушая все правила, все же движется по улице, то едут в ней, конечно, не простые люди, и есть смысл потратить на эту машину одну из своих бомб. Снизившись метров до четырехсот, летчик выполнил свое намерение. Высунувшись из окна машины, Вася Бабенко вдруг закричал: «Бомба!». Дальше все произошло мгновенно: шофер резко затормозил, и мы все, как горох из мешка, посыпались из машины. Единственное, что я успел заметить, это что шофер Понс, побежав назад по середине улицы, вдруг упал ничком и остался так лежать. Мы с Кремингом подбежали к чугунной ограде, огораживающей цветник от тротуара, намереваясь залечь по другую сторону, под защитой небольшого цементного фундамента. По молодости лет я мигом перемахнул через ограду, и кричу полков-

---

* Бомбардировщик Ca-101 итальянского авиаконструктора Джованни Капрони (1886—1957).

нику: «Скорей сюда! Ложитесь!». Менее расторопный и более грузный Креминг, перелезая через ограду, зацепился брюками за штырь, и, помянув в весьма нелестном виде чью-то мать (что, между прочим, не было очень большой редкостью в его лексиконе), заявил, что не станет из-за какой-то бомбы рвать свои штаны, и, не пытаясь больше форсировать ограду, стал за толстый ствол росшей рядом пальмы.

Несмотря на то что я уже весьма уютно устроился, плотно прижавшись к земле за цементным фундаментом, мне вдруг стало совестно: сам нахожусь почти в полной безопасности, а мой начальник стоит на открытом месте. Ни секунды не раздумывая, я выскочил из своего укрытия, перемахнул обратно через ограду, и встал за пальму рядом с Кремингом, решив, что уж если умирать, то лучше вместе. Что произошло дальше — трудно описать: бомба была, по-видимому, с сиреной, и пролетела буквально над нашими головами. Такого звука я ни до этого, ни после никогда не слыхал. Это была смерть, окружившая нас плотной пеленой даже не звука, а некоего страшного давления — воющего рева.

Самого разрыва бомбы я не слыхал, все заглушилось воем ее пролета. Только все кругом затряслось и окуталось плотным облаком пыли настолько, что я перестал видеть даже Креминга, стоявшего рядом. В первые секунды я ничего не мог сообразить, даже то, жив я или нет. Потом пыль начала оседать. Вижу: рядом стоит полковник, весь белый от пыли. Посреди улицы невредимая наша машина, а в ней так и не успевшая выскочить переводчица Маша. Немного поодаль, ничком на асфальте, лежит шофер Понс. «Убит!» — мелькнула в голове мысль. Но не успел я сесть за руль, как Понс, бледный как мертвец, грубо оттолкнул меня и, нажав на стартер, сразу же стал разворачивать машину. Тут появились и остальные участники экспедиции, и машина помчалась прочь от порта. Только отъехав километра два от окраины города, Понс сбавил ход.

Все это произошло настолько мгновенно, что никто не успел даже опомниться, да и изменить что-либо было нельзя, а у Понса был такой вид, что даже всемогущая кобура Василия Ивановича вряд ли могла оказать свое действие.

Впоследствии выяснилось, что летчик ошибся на каких-то сорок-пятьдесят метров, и 250-килограммовая бомба, вместо того чтобы разорваться перед нашей машиной, угодила в здание комендатуры порта. Добротные бетонные стены выдержали удар и спасли нас от фугасного действия и осколков, но внутри комендатуры ничего не осталось. К счастью, все ее работники успели заблаговременно укрыться в убежище, и никто не пострадал. Эта очень опасная и абсолютно никому не нужная экспедиция, едва не приведшая к гибели всей нашей миссии в Малаге, закончилась благополучно только по счастливой случайности. А к счетверенному пулемету, появившемуся у Сан-Мартина, Киселев интереса больше не проявлял, так что тайна его так и осталась нераскрытой.

Почему я так подробно описал этот малозначительный эпизод? Потому что в моей жизни это была первая бомбежка, и впервые моя жизнь висела на таком тонком волоске.

Вспоминается и другой случай, когда Киселев подверг серьезным осложнениям наши, поначалу наладившиеся, отношения с анархистами.

Вообще говоря, анархисты имели в республиканской Испании довольно большое влияние, а у нас в Малаге это была вторая по значению партия (после коммунистов), и портить зря с ними отношения отнюдь не входило в наши намерения. Их руководитель — аргентинец Каро — часто бывал в нашей резиденции, охотно проводил с нами свободное время и, в отличие от других местных лидеров своей партии, лояльно относился к коммунистам. Ко мне он был настроен особенно благожелательно и очень любил, когда в свободные вечера я наигрывал ему на рояле аргентинские мелодии и, особенно, русские песни и романсы (не брезговал он и вальсами, мазурками и ноктюрнами Шопена).

Каро был богатым аргентинским помещиком, имел на родине два больших имения (среди анархистов это отнюдь не было редкостью: например, один из храбрейших офицеров нашего сектора, командир анархистского батальона Педро Лопес имел в Малаге два больших универсальных мага-

зина), но как только началась война в Испании, тотчас же приехал воевать с фашистами, бросив все свои дела.

Чуть ниже среднего роста, черноволосый и черноглазый, как говорили, превосходный оратор, Каро быстро завоевал популярность у местных анархистов своей храбростью и организаторскими способностями и стал их признанным лидером. Не знаю, что было этому причиной, то ли моя музыкальная эрудиция, то ли высокая квалификация как связиста (в чем он мог убедиться, видя, как я свободно обращаюсь с любым телеграфным аппаратом во время переговоров с Валенсией в центральной аппаратной телеграфа), то ли по другой причине, но Каро ко мне определенно благоволил. После того, как я решительно оборвал его попытку вступить со мной в разговор на политические темы, он таких попыток больше не предпринимал.

Лишь перед самой сдачей Малаги он предложил мне бросить эту войну и уехать с ним в Аргентину. (Кстати, технически это было легко выполнимо: пароход, уходивший в Буэнос-Айрес со всеми желающими туда уехать, стоял в Малагском порту. Документы у меня были железные, а исчезнуть в этой суматохе было легче легкого.) Когда я, шутя, спросил, а что я там буду делать и на какие средства жить, он вполне серьезно предложил мне жениться на его младшей сестре Луизе (причем показал фотографию очаровательной девушки с огромными черными глазами и маленьким распятием на груди): он даст ей в приданое одно имение. Когда я, опять-таки шутя, усомнился в том, что она согласится выйти за меня замуж, Каро аж затрясся. «Пусть только попробует перечить, — сказал он, сверкнув глазами, — сразу же в монастырь упрячу!» Когда я решительно отклонил его матримониальные планы, он был страшно удивлен: как это человек, у которого ничего нет за душой, отказывается от богатства? Тем не менее он очень любезно с нами попрощался и уехал в Аргентину, заявив, что война проиграна и здесь ему больше делать нечего.

Так вот, этот Каро однажды передал Киселеву приглашение посетить находившийся на одном из самых ответственных участков фронта анархистский батальон. Так как

автомобильной дороги до самого штаба батальона не было и надо было долго ехать верхом по горам, то полковник решил вместо измученной почти круглосуточной работой Маши Левиной взять с собой меня, так как я уже немного поднаторел в испанском (как говорится, нужда заставила, ведь переводчицы мне не полагалось) и мог, с грехом пополам, объясняться почти на любые военные темы.

К штабу мы подъехали как раз к обеду. С чисто испанским радушием анархистские офицеры пригласили нас отобедать с ними. Обед был не очень разнообразный, но обильный. На столе стояла большая жаровня, наполненная жаренной на оливковом масле бараниной, и сулея с вином литров на двадцать. Только мы сели за еду, как налетел фашистский штурмовик и начал обстреливать из крупнокалиберных пулеметов одиноко стоявший в горном ущелье домик штаба, одновременно густо посыпая кругом мелкими бомбами из кассет.

Вообще-то испанские анархисты были не робкого десятка, любой из них не побоялся бы в каком-либо кабаке кинуться с ножом даже на многократно превосходящего по силе противника, но панический ужас охватывал их перед орудиями для технически квалифицированного уничтожения людей, вроде танков, самолетов и пр. Едва услышав рокот мотора штурмовика, все офицеры штаба мгновенно бросили обед и кинулись в выкопанную рядом с домом щель. Видя, что и я собираюсь последовать их примеру, Киселев буквально рассвирепел: «Сопляк! Ты что, несчастный анархист или командир Красной Армии? Назад! А то пристрелю!» — закричал он, и когда я опомнился и вернулся назад, уже более спокойно заметил, что так как крупных бомб самолет не бросает, то в здании гораздо безопаснее, чем в щели. Не обращая внимания на стрельбу и бомбочки, Василий Иванович спокойно сел обедать, и мне из солидарности пришлось к нему присоединиться. Не знаю как ему, но мне под такой аккомпанемент кусок определенно в горло не лез. Мы уже давно наелись, а самолет, по-видимому, все еще не собирался оставить нас в покое, все время кружился над ущельем и с каждым заходом осыпал нас градом пуль и мелких бомб, без всякого видимого успеха.

Еды и вина было заготовлено человек на двадцать. Когда Василий Иванович наелся, он спросил меня: «Больше не хочешь?» и, получив отрицательный ответ, потребовал помочь ему выбросить в окно (выходящее в глубокое ущелье) оставшееся мясо и вылить туда все вино. Покончив с этим, он уселся ждать окончания «работы» штурмовика. Израсходовав свой боезапас, самолет улетел восвояси, и тут же появились прятавшиеся в щели анархистские вояки. «Переводи!» — скомандовал мне Василий Иванович. На весьма корявом испанском языке я объяснил командиру батальона, что полковник просит у него извинения за то, что, сильно проголодавшись в пути, он не смог дождаться возвращения господ офицеров из щели и вместе со своим адъютантом (то есть со мной) съел все находившееся на столе мясо и выпил все вино. Командир батальона, увидав на столе пустые жаровню и сулею, понял, что тот издевается над их трусостью, побледнел от гнева и начал было расстегивать кобуру пистолета, но опомнился и, с насильно выдавленной любезной улыбкой, попросил меня перевести господину полковнику, что он очень рад приветствовать у себя гостей с таким завидным аппетитом и в восторге от того, что после длительной голодовки у себя на родине эти гости наконец получили возможность досыта наесться у него в подразделении. И что, мол, Испания — не советская Россия, и несмотря на военное время, они могут еще достать сколько угодно мяса и вина, чтобы, кроме испанцев, прокормить еще и всех изголодавшихся в Советском Союзе дорогих гостей.

Накалившаяся было обстановка сразу разрядилась, все офицеры дружно захохотали, но без явного злорадства, а полковник понял, что его попытка поиздеваться над трусостью анархистов обернулась против него самого. Правда, потом они нам показали все, что интересовало Василия Ивановича, но отношения, с таким трудом установленные, были начисто подорваны, и притом безо всякой в этом необходимости, просто из солдафонского самодурства.

Но уж в храбрости Киселеву нельзя было отказать: говорят, не моргнув глазом, он стоял и под оружейным, и под

пулеметным огнем. Ненавидя всякое проявление трусости, мое воспитание он начал с такой фразы: «Помни, Лева: ты уже покойник, тебя уже давно убили, — поэтому ничего не бойся. Дома ни мне, ни тебе уже не быть, единственное, что мы еще можем сделать, — это не посрамить честь командира Красной Армии. Помни, что покойнику бояться нечего; самое главное, что не бояться всегда спокойнее и менее мучительно, ибо трус умирает каждую минуту, каждую секунду, и все время с трепетом и мукой ждет этого мгновения, а храбрый человек умирает только один раз и то неожиданно и сразу». Не знаю, верил ли он сам в это, но во всяком случае, если он и боялся, то очень хорошо умел это скрывать, и своим бесстрашием и спокойствием в самые серьезные моменты мог служить для всех примером.

Меня он «окрестил» буквально через несколько дней после моего прибытия в Малагу. Взял он меня с собой на один из участков фронта. Приехали. Дальше нужно идти пешком по извилистой горной тропинке. Идем большой группой, вместе с испанскими товарищами. Не помню по какому поводу, но полковник затеял со мной разговор, перешедший в спор. В пылу спора я не заметил, что все окружающие куда-то исчезли, только мы вдвоем спокойно шагаем по тропинке. Уже вечереет. Погода прекрасная, только порой рядом раздается какое-то жужжание, вроде полета майских жуков (это в декабре-то месяце), причем жужжание настолько близкое, что я несколько раз даже машинально отмахнулся от надоевших «жуков». Зашли за поворот дороги. «Жуки» исчезли, а испанские товарищи появились и с удивлением поглядывают на нас. «Ну как, испугался?» — вдруг, прервав разговор, спросил меня полковник. «Чего?» — удивился я. «Как чего? Пулеметного обстрела», — спокойно ответил он. Тут меня и осенило, что надоедливые «жуки», от которых я безуспешно отмахивался, были пулями, пролетавшими вблизи моей головы, и испугался задним числом.

По-видимому, Киселев заметил изменение цвета моего лица, и тут же заметил: «Вот видишь, Лева, ты не знал, что находишься под обстрелом, и вел себя храбро (правда, мне

и по сей день непонятно, кому была нужна эта показная храбрость, ведь даже Чапаев в фильме говорил Кутякову: «Ну и дурак! Не имеешь ты права подставлять себя под каждую дурную полю»), не уронил чести командира Красной Армии, а если бы знал, то наверно ползал бы на пузе, не хуже этих "храбрецов" (правда, он при этом употребил другое, непечатное, слово). Только смотри, в другой раз, даже если и будешь знать, что находишься под обстрелом, постарайся держать себя так же, нам иначе нельзя». Вот такой это был человек.

В нем мирно уживались целый ряд положительных и отрицательных качеств: обладая отличной памятью, он был абсолютно неспособен к изучению иностранных языков. Приехав в Испанию одним из первых, Василий Иванович из всего обильного лексикона прекрасного, звучного испанского языка, хорошо «усвоил» только два выражения, особенно любимые испанскими офицерами: «маньяна» (завтра) и «муй дефисиль» (очень трудно). Слыша эти слова, полковник приходил в ярость: «Я ему покажу маньяна! Я ему покажу муй дефисиль! так и так его мать», — требовал он у Маши Левиной перевести на испанский русскую матерную ругань. Безупречно храбрый, он после сдачи Малаги все же не заступился за отданного под суд испанского полковника Виальбу, несмотря на то что все действия Виальбы при обороне города полностью поддерживались Киселевым и он был уверен в полной невиновности Виальбы.

Конечно, и положение Василия Ивановича в Малаге было не из легких: многопартийность, к которой он не привык на родине, отсутствие надлежащей дисциплины, недостаточная военная квалификация испанского офицерского и унтерофицерского состава, дезорганизация как неумышленная, так и умышленная, в снабжении войск, недостаточность персонала нашей миссии (всего четыре человека, из которых настоящим военным был только сам полковник), отдаленность от главного командования, а хуже всего — практическая невозможность оказания сколько-нибудь реальной помощи осажденной Малаге, так как почти все подкрепления, вооружение и боеприпасы поглощались, как бездонной бочкой,

висящим на волоске Мадридом, где по существу решалась судьба войны. Все это делало положение военного советника Малагского сектора Южного фронта весьма щекотливым. Требовался, помимо чисто военной эрудиции (которой Киселев, конечно, обладал), еще и большой дипломатический такт, чего этому прирожденному вояке иногда не хватало.

Подробная история обороны и падения Малаги еще не написана, но если она и будет написана, то нужно учесть, что деятельность там полковника Киселева, во всяком случае, представляла собой образец верного служения своей Родине, и допущенные, возможно, просчеты и ошибки не являлись ни умышленными, ни роковыми. Вот примерно краткая характеристика человека, в распоряжение которого я прибыл в Малагу в начале декабря 1936 года в качестве связиста.

Очень интересной личностью была и переводчица Киселева — Мария Моисеевна Левина. Маленького роста и щуплого телосложения, Маша обладала какой-то особенной тихой храбростью. В самые тяжелые времена никто из нас ни разу не слышал от нее ни слова жалобы. На бомбежки, артиллерийские и пулеметные обстрелы, под которые она зачастую попадала, она просто не обращала внимания. То ли на нее подействовал тезис Василия Ивановича насчет покойников, то ли она умела отлично владеть собой, а скорее всего, она была настолько измучена непосильной работой, что на всякие другие эмоции у нее просто не хватало сил. Во всяком случае, ее поведение в боевых условиях вызывало восхищение у всех, а особенно у испанских товарищей.

Я уже упоминал, что во время нелепой поездки в бомбящийся порт, когда мы все при виде падающей бомбы выскочили из машины и разбежались кто куда, Маша не посчитала даже нужным вылезти из машины. Работоспособность ее была поистине изумительной: проведя целый день в поездках с полковником по разным участкам фронта, к вечеру, когда даже бывавший в переделках Киселев буквально валился с ног, приехав домой, Маша не ложилась отдыхать, а тут же садилась переводить различные оперативные и ин-

формационные материалы. Будучи по специальности переводчицей с французского, она в очень короткий срок освоила испанский язык, но все же к основной специальности у нее была особая любовь. В редко выпадавшее свободное время, она охотно читала нам французскую литературу (в доме, который мы занимали, была большая библиотека, в том числе много французских книг), причем французский текст она читала прямо по-русски, с отличной стилистикой. Впечатление было такое, будто сам читаешь великолепный литературный перевод, таково было мастерство Маши.

Все мы очень любили эту скромную, отважную труженицу, безупречно храбрую и верную своему долгу комсомолку. Измотана и издергана она была до последней степени. Как-то в порыве откровенности она призналась, что единственная ее мечта здесь — когда-нибудь поспать сразу целые сутки, но, к сожалению, ей гораздо чаще приходилось, наоборот, не спать по несколько суток подряд.

Еще одним полноправным членом нашей миссии был испанец — коммунист и топограф Энрике Сегарро. Среднего роста, худощавый, с небольшими черными «биготес» (усики над верхней губой, вошедшие у нас в моду только после Отечественной войны), Энрике был европейски образованным человеком. Свободно владел, кроме родного, еще и французским языком. Энрике довольно быстро освоил необходимый минимум русских слов, и все наши его более-менее понимали. Сам он был родом из Валенсии, где его отец служил лесничим (в Испании это очень важный пост). Мать, фанатично верующая католичка, окончившая Мадридскую консерваторию по классу фортепиано, сумела привить Энрике любовь к музыке и умение в ней разбираться. Человек он был очень веселый, общительный, любил иногда подтрунивать над всякими проявлениями тупости и ограниченности.

Как-то раз, будучи у него в гостях в Валенсии, я стал просматривать старые мадридские иллюстрированные журналы и с недоумением обнаружил, что в репертуаре Мадридского оперного театра имелись и «Борис Годунов», и «Князь Игорь», и «Паяцы», и «Севильский цирюльник» и пр. и пр.,

но совершенно отсутствовала такая известная опера на испанские темы, как «Кармен». В ответ на мой вопрос Энрике только расхохотался и обещал, если вечером будет свободное время, объяснить мне это «недоразумение».

Вечером они с женой Манолитой (художницей-модельершей) заехали за мной в гостиницу и повезли в небольшой театрик на окраине города. Огромные афиши, на которых в окружении гирлянд электроламп и неоновых трубок красовался портрет черноглазой испанки, одетой в русский сарафан и кокошник боярышни, гласили, что только в этом театре, всего несколько дней будет идти новейшая оперетта из русской жизни под названием «Катюша». (Кстати, «Катюшами» в Испании называли все русское оружие: и самолет «СБ», и танк «БТ», и даже обычную трехлинейную винтовку.) Публика валила валом. С трудом достав билеты, мы прошли в зал, набитый до отказа.

Перед началом спектакля оркестр, как полагается, сыграл все гимны — два Интернационала (социалистический и коммунистический, причем разница была только в нескольких тактах), «Эль гимно де Риего»* — государственный испанский гимн и анархистский «Хихос дель Пуэбло» («Сыны народа»). Под их звуки все в зале стояли с поднятыми в приветствии «Рот Фронт» кулаками (кроме анархистов, которые держали руки со сплетенными над головой пальцами).

После поднятия занавеса артисты долго не могли начать спектакль из-за бурной реакции публики на декорации, изображавшие истинно русскую картину: на сцене на переднем плане стоял огромный блестящий самовар, из конфорки которого развевались в виде пламени красные и желтые ленты. За самоваром, подперев щеки ладонями, полукругом, лицом к публике, стояли красные девицы в сарафанах, кокошниках и красных сапожках. За красавицами стояли удалые молодцы в черкесках с газырями, в папахах, и с окладистыми черными бородами.

---

* «El Himno de Riego» — гимн, написанный в годы Гражданской войны в Испании (1820—1823) в честь полковника Рафаэля де Риего. Национальный гимн Испании во время Первой (1873—1874) и Второй (1931—1939) Республик.

На декорации была изображена широкая полноводная река, и, чтобы у публики не возникало на этот счет никаких сомнений, имелась табличка «Volga». Вдали виднелись высокие снеговые горы, с надписями на самых высоких «Казбек» и «Эльбрус». Впереди, на стульях, сидели несколько молодых людей в красных косоворотках и жилетах, с бутафорскими гармошками и балалайками, и вся эта «капелла», под аккомпанемент оркестра, с пылом исполняла на испанском языке цыганский романс «Охос негрос» («Очи черные»). Такой развесистой клюквы и нарочно не придумаешь.

Поначалу я прыснул со смеху, но сидевший рядом Энрике толкнул меня в бок и предупредил: всякое проявление насмешки к этому «истинно русскому» представлению может иметь для меня неприятные последствия, ибо все имеющее отношение к Советской России — единственному истинному другу Испанской республики — принимается здесь народом с восторгом, а людей, смеющихся над русским искусством, могут принять за скрытых фашистов, что при испанском темпераменте отнюдь не безопасно.

В антракте Энрике, улыбаясь, спросил меня: «Теперь ты, надеюсь понял, почему в репертуаре Мадридского оперного театра отсутствует опера “Кармен”? “Кармен” в Мадриде была бы примерно тем же, что и постановка в Москве в Большом театре сегодняшней “Катюши”».

Своей культурностью, тактом и тонким юмором Энрике помог нам понять некоторые особенности испанской жизни, и я навсегда полюбил этот независимый, гостеприимный и жизнерадостно простой народ Испании. Ведь, если вы проезжали через любую деревню и хотели напиться, то никто не подавал вам стакан воды, а обязательно выносили «паррон» (глиняный кувшин с горлышком и тонким носиком) с вином. Правда, технику питья из «паррона» я до самого отъезда из Испании так и не освоил, потому что делать это надо умеючи, а у меня вино, вместо того чтобы литься из носика в рот, упорно лилось за воротник рубашки, и улыбающийся хозяин, догадавшись, что имеет дело с иностранцем, тут же приносил стакан.

Единственное, с чем мы в Испании никак не могли примириться, это «ассейте» (нерафинированное оливковое масло). Его «аромат» никак не мог нам прийтись по душе, а испанцы даже не мыслили себе без него трапезы. Тщетно пытался я на правах завхоза нашей миссии изгнать «ассейте» из меню. Такое намерение встретило бешеное сопротивление со стороны всего нашего кухонного персонала, а «ассейте», под тем или иным предлогом, все же просачивалось в наши непривычные к нему желудки, вызывая даже у меня порою сильную изжогу, а уж полковник из себя выходил, услышав его запах.

Вообще говоря, у Испании с Россией есть очень много общего: например, одинаковая железнодорожная колея* (впоследствии, для быстроты разгрузки прибывающих из СССР транспортов, грузы помещались в трюмы прямо в вагонах и по прибытию в Испанию вагон поднимался краном, ставился на рельсы и сразу шел в состав); одинаково звучат слова «ноче» (ночь), «лу́на» (луна), «вино» (вино); единственные страны в Европе, которые победоносно воевали с Наполеоном на своей территории и не подчинились ему, это опять-таки Испания и Россия. Из всех европейских стран только Испания имеет в своем алфавите мягкий знак, правда, в отличие от русского, в испанском языке он ставится не в виде отдельной буквы, а в виде значка над буквой, звучание которой надо смягчить. Конечно, есть еще целый ряд схожих черт, перечислять которые было бы долго, да и компетентности на это у меня бы не хватило.

Несколько слов о Малаге: это был город-курорт, но курорт, обладающий довольно развитой промышленностью, преимущественно текстильной, винодельческой и табачной. Роскошные, самой причудливой архитектуры, виллы мадридских богачей, приезжавших на лето в Малагу, утопали в зелени пальм и овевались легким ветерком Средиземного моря. По традиции эти виллы не имели даже номеров, а на-

---

* Расстояние между внутренними рабочими гранями головок рельсов в России и в Испании равно 1524 мм, в отличие от большинства стран, где ширина колеи равна 1435 мм.

зывались по имени жен или любовниц владельцев, как то: «Консуэло», «Роса-Мария», «Кармен» и т. д. Расположенные на самой фешенебельной городской магистрали «Калле де Пало», они резко сменялись на окраинах жалкими лачугами бедноты. Уж больно велика была дистанция между откормленными, расфуфыренными курортниками, подметавшими до Гражданской войны тротуары «Калле де Пало», и малагскими тружениками, полуголодные, босые ребятишки которых питались преимущественно побегами сахарного тростника, в изобилии росшего за городской чертой.

Недаром таким успехом здесь пользовалась компартия Испании. Первого депутата-коммуниста в кортесы (испанский парламент) дала именно Малага. Это был член ЦК испанской компартии, доктор медицины Каэтано Боливар, в свое время сидевший в тюрьме за коммунистическую деятельность. Высокого роста, полный, представительной наружности, прекрасный оратор, Боливар был любимцем рабочего класса и с началом Гражданской войны был сразу назначен эмиссаром Южного фронта. Несмотря на принадлежность к Коммунистической партии, которую он не скрывал, Боливар еще до революции даже среди аристократической части Малаги как врач пользовался отличной репутацией. За годы врачебной практики (и несмотря на то что с малагской бедноты он за лечение ничего не брал!) Боливар сумел на свои заработки построить в конце «Калле де Пало» трехэтажный дом и прилично его обставить, вплоть до галереи и бильярда.

После осуждения Боливара дом был конфискован, но как только рабочие Малаги избрали его своим депутатом в кортесы, он был немедленно освобожден из тюрьмы, и все имущество (в том числе и дом с обстановкой) было ему возвращено. В тюрьме местные власти побаивались авторитета Боливара и разрешили ему работать там врачом, причем многие важные персоны платили большие деньги администрации тюрьмы за разрешение попасть на прием к этому каторжнику. Сам Боливар за это иногда пользовался возможностью провести воскресный день со своей семьей на воле.

Рядом с его домом был небольшой четырехкомнатный флигель для прислуги, в нем-то наша миссия и нашла себе первое пристанище в Малаге. Боливар настолько не скрывал свою коммунистическую деятельность, что единственного сына назвал Лениным. Это был симпатичный кудрявый семилетний мальчик, с которым я подружился. Его расположение я завоевал, смастерив ему деревянный пистолет, стрелявший горохом. Ленин Каэтанович Боливар (он очень любил, когда я называл его этим непривычным для испанца полным титулом) стал моим первым учителем испанского языка, и уже через несколько дней после нашего знакомства он с гордостью исполнял обязанности «интерпрете» (переводчика) во время наших поездок в город за покупками.

Интересной фигурой был также личный телохранитель Боливара — Франциско, фамилии которого я не помню: необычно высокого для испанца роста, атлетического телосложения, всегда с маузером в деревянной кобуре, Франциско ни на шаг не отходил от своего подопечного и много раз выручал его в трудных обстоятельствах. Старый кадровый рабочий, он сдружился с Боливаром еще на подпольной работе, сидел с ним вместе в каторжной тюрьме, откуда был освобожден только после победы Народного фронта. С тех пор они были неразлучны.

Часто Франциско появлялся в сопровождении своего сына, тоже Франциско, который являл собой точную копию отца, только в масштабе один к десяти (по объему); малышу было всего пять лет, и мы их обычно называли Пако и Пакито (по-испански Пако — уменьшительное от Франциско, а Пакито — уменьшительное от Пако). С Пакито, как и с Лениным, я дружил, и иногда, в редкие свободные минуты, мы затевали во дворе такую возню, что Киселев, которому мы мешали работать, тут же находил для меня какую-нибудь срочную радиограмму.

В домике для прислуги у Боливара мы чувствовали себя очень хорошо, тем более что на родине мы отнюдь не были избалованы квартирными излишествами. Полная тишина, раскидистые сливы, окружавшие наш домик, прекрасный

сад и гостеприимные хозяева создавали все условия для нормальной работы, но испанские товарищи решили, что такое скромное помещение не соответствует рангу миссии такой великой державы, как СССР, и рекомендовали нам переехать в любой из реквизированных у бежавших фашистов особняк. После недолгих обсуждений была выбрана роскошная трехэтажная вилла с пышным названием «Консуэла» (испанское женское имя, обозначающее «утешение»), расположенная в самом центре «Калле де Пало».

Этот выбор имел целый ряд преимуществ, которые были одновременно и недостатками: прямо напротив виллы находился отель «Калета», в котором жили руководящие офицеры штаба во главе с испанским полковником Виальбой, командующим Малагским сектором Южного фронта. Неподалеку находился и сам штаб сектора, а также арсенал, военный госпиталь, комитеты социалистической и коммунистической партий и многие другие организации и учреждения, с которыми мы постоянно сталкивались по работе.

Недостатком было то, что такое кучное расположение, в том числе и нашей резиденции, не являлось секретом и для фашистов, а так как отсутствие какой-либо береговой и противовоздушной обороны города давало возможность морским и воздушным фашистским пиратам бомбить и обстреливать с моря любые районы Малаги, то не менее 70—80% всех их «гостинцев» приходилось, естественно, именно на наш район. А так как мы с шифровальщиком Васей Бабенко чаще всего были на месте (остальные почти всегда были в разъездах), то и вспоминали с тоской тихую, спокойную жизнь на задворках дома Боливара.

Вилла, в которой мы разместились, принадлежала раньше какому-то знатному и богатому не то графу, не то маркизу и представляла собой небольшое трехэтажное здание, весьма художественно облицованное снаружи, по фасаду, цветной керамической плиткой. Фасад дома был отделен от улицы небольшим садиком с несколькими пальмами, цветником и большим кустом банана, а также массивной чугунной оградой на цементном фундаменте. Сзади дома

размещался небольшой дворик с гаражом на три машины. На первом этаже находились: большая столовая с дубовой мебелью, персон на пятнадцать, биллиардная, картинная галерея с неплохими полотнами неизвестных нам мастеров, изображавшими преимущественно испанских красавиц и батальные сцены из испанской истории.

Широкая мраморная лестница вела на второй этаж. Поднимаясь по этой лестнице, можно было видеть заднюю стену дома, художественное оформление которой составляли два высоких (до крыши), застекленных цветной, непрозрачной мозаикой окна, а между окнами, прямо против центрального лестничного пролета, висела великолепно выполненная копия картины Леонарда да Винчи «Христос на кресте». Размер примерно полтора-два человеческих роста. Исполнена копия была действительно великолепно: кровь из пробитых гвоздями рук и ног, казалось, так и льется. Но особенно примечательными были глаза. Они просто прожигали насквозь, столько муки и скорби в них было. Этих глаз я в вечерние часы после ужина (как правило, с возлиянием) просто боялся. Стоило посмотреть, подымаясь по лестнице перед сном в свои «апартаменты», на эти глаза, как они всю ночь мерещились во сне, а после пробуждения не давали больше уснуть. Дошло до того, что, поднимаясь вечером к себе, я гасил на лестнице свет и светил себе под ноги карманным фонариком, лишь бы не видеть эти глаза.

Все знали об этом и неизменно подтрунивали надо мной, хотя, как я часто замечал, сами избегали перед сном смотреть на эту картину. Как-то возникла у меня мысль снять ее с простенка и заменить какой-нибудь красавицей из галереи первого этажа, но к чести своей должен сказать, что такого кощунства я, несмотря на имевшуюся возможность, все же не совершил, и Христос остался на месте. Зачастую я (и не только я), особенно днем, когда освещение через цветные стекла окна было особенно эффектным, буквально замирал, потрясенный талантом неизвестного копииста, написавшего такую картину.

На втором этаже нашей виллы — в спальне, библиотеке и кабинете бывшего хозяина — разместились Киселев с Машей, а апартаменты бывшей хозяйки заняли Артур Спрогис

с переводчицей Региной Цитрон. Весь третий этаж (комнат пять или шесть) заняли мы с шифровальщиком Васей Бабенко. Правда, жили мы всего в двух смежных комнатах, а остальные просто пустовали. Я облюбовал себе угловую комнату с балконом, установил там свою «музыку», поставил койку, столик, два стула и зажил там, «как Бог в Одессе».

Вид с балкона на Средиземное море был чудесный, связь с Валенсией и Москвой — безупречная, даже «дуплексная*», харч отличный, чего же еще можно желать? Правда, первое время сильно досаждали ночные бомбежки. Фашистские пираты, пользуясь своей полной безнаказностью, по-видимому, узнав о нашем местопребывании, навещали нас каждую ночь и клали бомбы аккуратно кругом нашей виллы, в результате чего почти ежедневно приходилось вставлять новые оконные стекла. Нечего греха таить, боялся я этих бомбежек страшно, и как только они начинались, выходил на улицу, одетый в драповое пальто, и, несмотря на теплую погоду «продавал дрожжи»**, вызывая порой насмешки и язвительные комплименты Василия Ивановича. Долго я искал средство, чтобы скрыть эту предательскую дрожь, и наконец нашел его в виде стакана крепчайшего ямайского рома перед сном после заключительного радиосеанса с Москвой.

Это средство оказалось настолько действенным, что, несмотря на грохот рвущихся неподалеку бомб, звон разбитых стекол, яростный стук в дверь горничной, будившей всех при начале бомбежки, я спал как убитый до утра, в результате чего я быстро приобрел репутацию невероятного храбреца, плюющего на ночную бомбежку, и всем ставили меня в пример. Это средство меня ни разу не подводило, тем более что, учитывая довольно крепкие стены нашей виллы, реальная опасность нам угрожала только при прямом попадании бомбы: в этом случае у меня был бы, конечно, шанс попасть прямо в рай без пересадки, чего, к счастью, не случилось.

---

* Радиосвязь, при которой прием и передача может вестись одновременно, в отличие от симплексной, где требуется переключение приема и передачи.

** То есть сильно дрожал.

5

Органы безопасности еще в Валенсии предупреждали нас, что не исключена возможность попыток нашего отравления, поэтому нам категорически запрещалось регулярно питаться в ресторанах. Пришлось организовать собственную кухню. Особенно сложным оказался подбор надежного повара. Комитет коммунистической партии Малаги направил к нам старую (с годичным, что по тогдашним испанским понятиям считалось большим, стажем) коммунистку по имени Тринида (по-испански — Святая Троица). Среднего роста, худощавая, лет сорока, с выбитыми во время какой-то стычки передними зубами, Тринида до назначения на столь ответственный пост была на фронте пулеметчицей и очень неохотно сменила, повинуясь лишь партийной дисциплине, свой «аметреадор» (испанский пулемет) на кухонный нож и половник.

Особой поварской фантазией она не обладала, и меню наше не могло сравниться с валенсийским «Метрополем». Основной причиной наших столкновений было то, что она категорически отказалась исключить из нашего рациона «ассейте» (нерафинированное оливковое масло со специфическим, неприятным для неиспанцев, запахом), заявив, что лучше отдаст свой партийный билет, чем будет кормить таких замечательных людей, как мы, блюдами, заправленными всякой дрянью, вроде сливочного масла или свиного сала. Пришлось примириться с такой тиранией, зато мы знали, что все, что делается для нас, делается от души и с радостью, так как Тринида видела, что советские люди обращаются с ней не как с кухонной принадлежностью, а как с настоящим товарищем. Правда, в первое время ее несколько шокировало то, что за одним столом с такими выдающимися, как мы, людьми сидят и работавшие с нами шоферы, но и к этому она быстро привыкла и перестала с тоской вспоминать свой «аметреадор».

Продукты питания мы частично получали в интендантстве, а частично покупали на рынке, поэтому нас нисколько не удивляло появлявшееся каждое утро на нашем столе парное козье молоко. Однажды, после завтрака, Киселев отвел

меня в сторону и спросил: а уверен ли я полностью в Триниде? В ответ на мое удивление он заявил, что подозревает Триниду не больше и не меньше как в шпионаже. Это подозрение он обосновывал тем, что несколько раз замечал, что рано утром около ворот нашего особняка останавливается пастух со стадом коз. К этому пастуху тут же выходит Тринида, передает ему какие-то свертки, куда-то уходит с ним и через некоторое время возвращается, а пастух со стадом двигается дальше.

Зная, что Киселев ничего выдумывать не станет, я решил эти факты проверить лично: один раз не приняв порцию своего «снотворного» и проснувшись раньше обычного, я лично убедился, что все, что он говорил, чистая правда. Над Тринидой нависла большая опасность: в нашей миссии находилась обширная информация по военным и партийным делам Малагского сектора, и всякая утечка такого рода материалов грозила серьезными осложнениями. И все-таки я не решился сразу же, имея такие веские улики против Триниды, передать дело органам безопасности, а решил посоветоваться с нашим топографом Энрике Сегарро, которому я полностью доверял.

Конечно, делать это надо было с опаской, ибо узнай Киселев, что я посвятил в такую серьезную тайну испанца Энрике, мне бы не сдобровать. Когда я все же рассказал Энрике суть дела, он долго хохотал, а потом спросил: «Свежее молочко-то ты по утрам пьешь? А ведь его у нас на базаре не продают!». Оказалось, что козьим молоком в городе на базарах не торгуют, а желающие могут у хозяина стада арендовать козу, и тогда каждое утро он подгоняет к дому арендатора своих коз, арендатор сам доит свою козу и тут же учиняет расчет. Тринида же, чтобы сэкономить наши деньги, за козу не платила, а отдавала пастуху кухонные очистки и остатки от наших трапез. Таким образом она была сразу же «реабилитирована», и ее счастье, во-первых, что это происходило не у нас во время культа личности, а в Испании, и, во-вторых, что ее «делом» занялся объективный «следователь»: он, то есть я, не старался во что бы то ни стало «пришить» ей статьи ПШ или ШД («подозрение в шпионаже» или «шпионская деятельность»), по ко-

торым у нас в те времена щедро раздавали, не считаясь с полным отсутствием улик, сроки до 10 лет и даже расстрел.

6

Поскольку наша миссия была прикомандирована к Малагскому сектору Южного фронта, то наиболее частым гостем в нашей резиденции был начальник Малагского сектора коронель (полковник) Виальба. Невысокого роста, коренастый, с длинными руками и короткими ногами, Виальба напоминал небольшую гориллу. Это сходство увеличивали густые черные брови, сросшиеся на переносице и окружавшие почти полукругом глубоко запавшие глаза. Виальба принадлежал к старинному испанскому знатному роду, причем все его предки, вплоть до времен Христофора Колумба (кстати, испанцы называли его Кристобалем Колоном), были генералами или адмиралами, и некоторые из них занимали даже высокие придворные посты. Сам Виальба был весьма состоятельным человеком и в разных районах Испании имел семь больших имений. Два его сына были офицерами и служили у Франко. Не знаю, каким образом такой человек оказался у республиканцев, то ли это было случайностью, то ли была еще какая-то причина, но, во всяком случае, у него были сотни возможностей перебежать к Франко, и он этого не сделал, и насколько я могу судить, он честно использовал свои большие военные знания и опыт на посту начальника Малагского сектора Южного фронта.

После падения Малаги Виальба не остался у фашистов (хотя в неразберихе того периода ему ничего не стоило это сделать), а отступил вместе с республиканцами. Впоследствии он был арестован за сдачу города и должен был предстать перед военным судом. Дальнейшая судьба его мне неизвестна.

Занимая большую должность в армии Республики, Виальба не только отказался от причитающегося ему денежного содержания в пользу сирот гражданской войны, но еще и содержал за свой личный счет 10 человек охраны, зачастую принимавшей участие и в боевых операциях.

Жил Виальба со своим штабом и охраной в отеле «Калета», как раз напротив нашей виллы, и очень любил в свободное время захаживать к нам. Виальба был весьма разносторонне образованным человеком, и беседа с ним всегда доставляла удовольствие. Я тоже очень любил эти частые посещения Виальбы, правда, по другой причине: дело в том, что, кроме охраны, Виальба содержал еще и секретаршу по имени Маруха (уменьшительное от имени Мария, соответствующее русскому Маруся). Это была очаровательная испаночка лет двадцати двух — двадцати трех, с точеной фигуркой и огромными черными глазами. Пока полковники с помощью нашей многотерпеливой Маши Левиной вели оживленную беседу на военные темы, я, используя свой скудный запас испанских слов, а главное, свои фортепианные таланты, развлекал Маруху.

Надо сказать, что, несмотря на все прилагаемые мною усилия, наш роман двигался черепашьими темпами — в основном из-за моего незнания языка, и именно по этой причине я так и не возымел окончательного успеха у вскружившей мне голову Марухи (о чем несколько ниже).

Во время частых поездок на фронт Виальба любил пересесть в машину Киселева для беседы. Обычно я садился с шофером, а сзади садились оба полковника, сжав между собой бедную Машу Левину, и вели с ее помощью оживленную беседу. Однажды Виальба решил блеснуть глубоким знанием русских воинских званий и, хитро улыбнувшись, заявил Киселеву, что знает, как перевести на русский язык испанское слово «коронель» (полковник), и под дружный хохот всех присутствующих, сказал, что «коронель» в русском переводе будет — атаман. Несмотря на все наши протесты и попытки объяснить ему значение слова «атаман», Виальба все же иногда величал так Василия Ивановича. В общем, Виальба был весьма общительным, незлобивым и, на мой взгляд, честным офицером; у меня остались о нем самые лучшие воспоминания.

Идем мы однажды с шифровальщиком Васей Бабенко по коридору штаба и разговариваем по-русски. Вдруг подходит к нам человек в сером спортивном костюме, синем берете,

с громадной испанской «пистолей» Астра в кобуре и, встав во фрунт, говорит на чистейшем русском языке: «Разрешите представиться, бывший ротмистр Врангелевской армии, ныне боец республиканской интербригады Владимир Филиппович Базилевич». Обрадовавшись земляку, мы затащили его к себе, где за обедом он поведал нам свою одиссею.

Родом он был из Ростова-на-Дону, сын профессора университета. В шестнадцать лет (в 1915 году) бросил гимназию и убежал на фронт, где, попав в команду разведчиков, быстро отличился, получил Георгиевский крест и, пройдя школу прапорщиков, стал офицером. Золотые погоны, шпоры и весь прочий офицерский антураж быстро вскружили голову этому юному головорезу, и революцию 1917 года он принял явно недоброжелательно. Когда разъяренные притеснениями наиболее реакционной части офицерства солдаты сорвали с него кресты и погоны, Базилевич счел себя крайне обиженным и подался со своими дружками-офицерами на Дон. По молодости лет, поддавшись белогвардейской пропаганде, он уверовал, что спасение России возможно только с восстановлением монархии, или, по крайней мере, буржуазной республики, причем даже Керенский казался ему слишком «красным».

Базилевич участвовал во многих боях, в том числе и в знаменитом «ледяном» походе Корнилова из Ростова в Екатеринодар*, за что получил чин ротмистра и орден «Тернового венца», выпущенный в очень малом количестве (представлял из себя меч в терновом венце, на георгиевской ленте).

Под Каховкой Базилевич получил тяжелое ранение и, будучи в госпитале в Севастополе, под влиянием тяжелой депрессии поддался уговорам друзей-офицеров — эмигрировал. Начались скитания по белу свету: без денег, без специальности, без родины. Лагеря в Галлиполи, Болгарии, Чехословакии, Франции. Его бывшему начальству, помышлявшему только о своей шкуре, такая голь перекатная скоро стала обузой, и он был полностью предоставлен самому

* Совр. Краснодар. «Ледяной поход» — переход частей Добровольческой армии во главе с генералом Лавром Георгиевичем Корниловым из Ростова в Екатеринодар (февраль-апрель 1918 года).

себе. Познакомился в Праге с молодой девушкой — русской эмигранткой, потерявшей родителей (бывших чиновников в Царской России), женился на ней, и начали они мыкать горе на чужбине вдвоем. Какие только специальности он не менял: грузчик, штукатур, маляр, шофер такси, но из крайней нужды, доходившей иногда до отсутствия крова над головой и длительной голодовки, выбраться не удавалось. Порой даже мелькала мысль завербоваться в так называемый «Иностранный батальон» (наемные войска в экваториальной Африке были единственным местом, куда более-менее охотно брали русских эмигрантов), лишь бы только наесться досыта. И только мысль о жене и появившихся детях не давала ему этого сделать.

Даже в сравнительно сытые дни неравноправное положение эмигрантов ощущалось сполна. Висит, например, объявление: «Требуется штукатур». Приходит наниматься, предъявляет свой нансеновский паспорт, а подрядчик говорит: «15 франков в день». — «Позвольте месье, вы ведь платите всем за такую работу по 25 франков в день?». — «Да, но это же французы, а если вам не нравится, поезжайте в Россию, там вы точно будете получать больше». Что ж, кормить детей надо, идешь работать за 15 франков в день, а французские рабочие еще считают тебя штрейкбрехером, сбивающим расценки за работу.

Когда начал организовываться «Союз возвращения на Родину»*, Базилевич записался туда одним из первых. Но процедура получения разрешения для возвращения на Родину длилась очень долго, и разрешение на въезд в СССР получали пока считаные единицы. Но вот началась Гражданская война в Испании и негласно было объявлено, что эмигранты — участники войны в Испании на стороне Республики получат возвращение с семьями на Родину вне очереди.

И вот, оставив семью, обеспеченную мизерной пенсией от Испанской республики, в Париже, Базилевич уже в Испании, на Южном фронте — в Малаге, где мы его и встретили. С согласия Киселева он был прикомандирован к группе Спрогиса

* Просоветская эмигрантская организация во Франции и других странах.

и с тех пор находился при миссии. Участвовал во многих боевых операциях, показал себя храбрым бойцом и отличным товарищем, был восстановлен в гражданстве СССР и представлен к награждению боевым орденом, но, к сожалению, погиб во время выполнения очередного задания. Память об этом много видевшем и пережившем человеке, часто, особенно в молодости, заблуждавшемся, но всю жизнь остававшимся сыном своей Родины, не должна быть потеряна.

С правого фланга нашего сектора к нам примыкал соседний Хаенский сектор, с центром в городе Хаен. Соседи с целью установления оперативных контактов часто приезжали к нам. Советским военным советником этого сектора был также полковник Красной Армии Василий Иванович Кальман. Ниже среднего роста, лет за сорок, с гладко бритой, как у Киселева или Хрущева, головой, такой же, как и Киселев, участник империалистической и гражданской войн, Кальман был весьма эрудированным командиром, и дела у него в секторе шли неплохо. Не повезло ему с переводом с испанского на русский и обратно: ввиду крайнего дефицита переводчиков, а также потому, что Хаенский сектор, по-видимому, не считался особо важным, переводчицы ему не досталось.

Кальман вышел из затруднения весьма остроумно: в одной из интербригад он обнаружил молодого русского еврея-эмигранта Мишу, приехавшего из Парижа, свободно владевшего русским и французским языками, а один из офицеров штаба Хаенского сектора, по специальности художник, — Хуан Санчес, свободно владел французским, что в Испании отнюдь не редкость. Получился своеобразный двойной перевод: с испанского на французский переводил Хуан Санчес, а с французского на русский Миша, и наоборот. Они настолько преуспели в таком переводе, что их разговор напоминал репортаж Вадима Синявского во время футбольного матча «Спартак» — «Динамо», а Кальман объяснялся с испанцами не хуже других советников.

Очень любопытен был внешний вид этой неразлучной троицы: сам Кальман — низенький, упитанности выше сред-

ней, с бритой наголо головой, а оба переводчика длиннее своего шефа на полторы головы, худые, с громадными шевелюрами. Хуан Санчес в черной бархатной блузе и длиннополой шляпе, а Миша — в полной форме бойца интербригады, в каске, перепоясанный пулеметной лентой с висящими на ней ручными гранатами, с двумя пистолетами и огромным ножом-мачете в ножнах. Выглядела эта группа комично, но жили они весьма дружно. Сам Кальман обладал удивительно спокойным характером, и я ни разу не слыхал, чтобы он хоть раз повысил голос на своих переводчиков.

Вообще говоря, на Хаенском секторе фашисты особенно не ерепенились, но было и у соседей больное место, над которым мы иногда подтрунивали. Этим больным местом был занятый фашистами монастырь Санта Мария. Находился он в глубоком тылу республиканцев — километров семьдесят-восемьдесят от линии фронта. Несмотря на то что «монахи» с самого начала войны были окружены, взять этот монастырь было очень трудно: он находился в стратегически выгодном месте, имел свою артиллерию, достаточно стрелкового оружия, а что касается боеприпасов, то снабжение ими осуществлялось бесперебойно по воздуху. Все попытки взять монастырь успеха не имели из-за отсутствия достаточного количества артиллерии и авиации в распоряжении командования сектором, и кончилось дело тем, что «монахов» просто оставили в покое, ограничившись небольшими заслонами на подъездных путях к монастырю.

Пробиться к своим «монахи» не могли — их уничтожили бы в первом открытом бою, а такого желания у них не было. Сидели они спокойно за крепкими стенами, попивали винцо из монастырских подвалов и терпеливо ждали, пока Франко их освободит. Время от времени, пользуясь тем, что командование сектором не могло выделить достаточно сил для их полного окружения, «монахи» даже предпринимали вылазки в соседние деревни. Налетят на деревню, заберут все продукты, заодно прихватят для развлечения с десяток молодых женщин, и обратно в монастырь. Продержались фашисты больше года, пока потерявшие терпение республиканцы,

при активной поддержке населения, не ликвидировали этих бандитов, терроризировавших округу.

Вообще говоря, единственное, что могло вывести из равновесия невозмутимого Кальмана, это упоминание о «монахах». И если иногда во время телеграфных переговоров с Хаеном мы хотели подколоть соседа, то спрашивали о самочувствии «монахов». Как правило, в ответ на ленте были такие слова, которые не всякая цензура пропустила бы, но в общем жили мы с соседями очень дружно и иногда вместе осуществляли тактические операции, как правило, проходившие успешно.

Жизнь нашей немногочисленной миссии на вилле «Консуэла» постепенно входила в нормальную колею. «Реабилитация» кухарки Триниды вернула душевное спокойствие Киселеву. Все чаще стали появляться у нас товарищи из областного Комитета компартии и других партий, за обедом завязывались дружеские, непринужденные беседы, которые, при тактичном переводе нашей Маши Левиной, даже при наличии за столом анархистов, никогда не переходили в бурные дискуссии.

Положение на фронте несколько стабилизировалось: фашисты, бросившие все свои силы на Мадрид, пока оставили нас в покое, и мы могли даже иногда устраивать небольшие приемы. Особенно частыми гостями были у нас Виальба со своей секретаршей Марухой. Очаровательная испаночка окончательно вскружила мою двадцатишестилетнюю голову, и я, пользуясь своим положением завхоза, старался при их появлении не ударить лицом в грязь: цветы, наилучшие вина и все из лакомого, что можно было достать в военной Малаге, всегда было на столе. Все мои усилия с лихвой вознаграждались, когда полковники со своими картами уединялись в кабинете Киселева, а деликатный шифровальщик Вася Бабенко вдруг находил «срочные дела»: тогда мы с Марухой оставались вдвоем в гостиной. Полная луна, запах цветов, отдаленный рокот Средиземного моря быстро создавали соответствующее настроение, а мелодии, наигрываемые мною на нашем великолепного «Ронише», всегда находили отзвук в сердце

прекрасной Марухи. Но увы! Незнание языка ставило непреодолимую преграду на пути форсированного развития нашего романа, и именно из-за этого я вскоре попал у нее в опалу.

А произошло вот что: однажды, воспользовавшись тем, что оба полковника уехали на фронт, я пригласил Маруху в кино, на что она сразу же дала любезное согласие, сопровождаемое обворожительной улыбкой и многозначительным пожатием руки. Смотрели мы американский фильм под названием «Распутин и царица». Фильм с явным антисоветским душком и с невероятно «развесистыми клюквами» (это было понятно даже несмотря на то, что говорили по-английски, а титры были на испанском). Но все эти недостатки компенсировались великолепной записью цыганского хора, а главное — близостью Марухи. Досмотрев фильм, мы отправились домой. Проведенным временем Маруха, по-видимому, осталась довольна, ибо всю дорогу что-то щебетала, причем несколько раз упомянула название «авитасьон» (комната) и «ноче» (ночь). Смысла ее слов я не понял, но из вежливости на все ее вопросы «Компрендо?» («Понял?») отвечал «Си, си» («Да, да»).

Проводив Маруху до гостиницы, я деликатно поцеловал ей руку и в ответ впервые получил внезапный поцелуй в щеку. Пока я, опешив от неожиданной благосклонности, стоял в растерянности, она, сказав «эсперо» (к сожалению, я в тот момент еще не знал, что это слово обозначает «жду», а то события повернулись бы несколько иначе), упорхнула к себе в подъезд, послав мне прощальный воздушный поцелуй, а я, ответив ей «си», спокойно пошел домой и лег спать.

На другой день Виальба пришел к нам ужинать без Марухи. На мой вопрос о ней Виальба ответил «энферма» («больна»). День — «энферма», два — «энферма», на третий день встречаю «выздоровевшую» Маруху в коридоре штаба и кидаюсь ей навстречу с протянутой рукой. Гордо подняв голову, она проходит мимо меня, как будто совершенно со мной незнакома, и с тех пор не обращает на меня никакого внимания. К нам на виллу если даже и приходит, то держится с полным пренебрежением ко мне. Удивленный столь внезапным охлаждением, я пытался с ней объясниться, но абсо-

лютно безуспешно. Только много позже случайный эпизод, связанный с прибытием к нам советских летчиков, помог мне узнать причину столь внезапного конца моего романа с Марухой, но об этом несколько позже.

Однажды утром шифровальщик наш Вася Бабенко появился за завтраком в необычайно парадном наряде и с явно отличным настроением. «В чем дело, Вася? — спрашиваю я его. — Ты что, сегодня именинник? Или орденом тебя наградили?» — высказываю я наиболее невероятную из причин его странного вида. «Откуда ты знаешь?» — спрашивает Вася и протягивает мне принятую мною ночью из Валенсии и расшифрованную им радиограмму, в которой командующий поздравляет его с награждением орденом Красной Звезды. Это было настолько неожиданно и невероятно, что мы долго обсуждали, за что его могли наградить, и пришли к выводу, что скорее всего за участие в маневрах накануне его поездки в Испанию, так как во всей нашей испанской деятельности никак не смогли усмотреть особо героических подвигов, достойных такой награды. Выпив по этому поводу, решили все же на всякий случай запросить подтверждения из Москвы, ибо Валенсия могла и перепутать. Сразу же после расшифровки московской радиограммы Вася кидается меня обнимать: «Лева! и тебя тоже!» — потрясает он радиограммой. Читает текст: «Поздравляем Бельвера и Клера (клички Васина и моя) высокой наградой орденами Красной Звезды тчк Желаем здоровья дальнейших успехов работе. Подписи Директор (начальник разведупра РККА Урицкий) Хозяин (нарком обороны Ворошилов)»*.

Ошеломленный, смотрю на Васю: «А меня за что? — спрашиваю. — Может, это ошибка или ты меня, Вася, разыгрываешь?». «Нет, Лева, — отвечает Вася, — не ошибка и не розыгрыш, а просто нашу работу здесь очень высоко ценят. С нас с тобой магарыч!». Ну что ж, магарыч поставили и весьма обильный, благо особой проблемы с ним в Малаге не было. Произошло это 18 декабря 1936 года.

---

* В списке награжденных их имена стояли рядом, под №№ 85 и 91 (Известия. 1936. 17 дек. С. 1).

Я уже писал об Артуре Спрогисе. В Малаге он времени даром не терял: связавшись с Комитетом компартии Малаги, Артур подобрал небольшую группу молодых парней, преимущественно коммунистов, физически крепких и до отчаянности смелых. Основной задачей этой группы должно было стать осуществление всяческих акций в тылу у фашистов. Приданная поначалу к группе Спрогиса переводчица Регина Цитрон, старая коммунистка, работавшая в подполье в Польше, по своему возрасту — за сорок лет, по здоровью и природным склонностям, оказалась непригодной для такой работы. Ее быстро забрали обратно и направили в авиацию в город Альбасете, а взамен прислали молодую девушку — Хосефу, в миру Елизавету Александровну Паршину. Живет она теперь в Москве, на досуге занимается литературной деятельностью*. Вот она-то уж оказалась действительно на месте. Сухощавая, небольшого росточка, в мужском костюме, любительница оружия, не хуже переводчика Кальмана — Миши, она была настоящей сорвиголовой. Артур и его команда сразу же оценили ее таланты и буквально души в ней не чаяли. Эта девушка впоследствии показывала образцы храбрости и мужества в таких переделках, где не каждый мужчина выдерживал.

Поначалу у Артура бывали и накладки: всевозможные пакости фашистам за линией фронта требовали применения взрывчатки, и обучение своей группы Артур начал со взрывного дела. С утра они усаживались в машину и отправлялись на свой полигон, где многоопытный Артур с помощью Лизы посвящал своих ребят в тайны саперного дела. Поскольку дело не терпело отлагательств и от них ждали действий немедленных и эффективных, прохождение теоретического курса было сведено к минимуму. В качестве «генеральной репетиции» Артур решил устроить имитацию диверсии на нашей железнодорожной ветке, обслуживавшей нужды Малагского сектора. По плану группа Артура должна была

* См.: *Паршина Е. А.* Динамит для синьориты (Из испанского дневника). М., 1989. 2 ноября 1937 Е. А. Паршина была награждена орденом Красного Знамени.

скрытно от охраны дороги подобраться к железнодорожному полотну, заложить под рельсы один детонатор, замаскировать следы своего пребывания и, дождавшись подхода поезда, взорвать под серединой состава этот совершенно безопасный для поезда заряд, после чего так же незаметно исчезнуть с места «диверсии».

Все, вроде бы, было рассчитано и подготовлено хорошо, но было допущено несколько промашек. Во-первых, место «взрыва» было выбрано на подъеме, где поезд шел очень медленно и мог быстро остановиться, а во-вторых, на прямом пути отхода было большое, труднопроходимое болото, а в-третьих, и это сыграло роковую роль в этом инциденте, вместо ожидавшегося поезда со стройматериалами неожиданно по этому пути был направлен эшелон с обстрелянными на фронте солдатами, которых срочно перебрасывали на другой участок.

Дело происходило утром, при чудесной солнечной и безветренной погоде. Ребята Артура блестяще выполнили задачу заминирования рельсов (вообще говоря, сделать это было не трудно, так как охрана этот участок пути вообще не посещала, а свои функции выполняла в ближайшем кабаке, которых в Андалусии сколько угодно, как в населенных пунктах, так и прямо на дорогах), и когда показался поезд, медленно выползавший из ущелья на подъем, детонатор был своевременно взорван. Несмотря на довольно слабый (не сильнее пистолетного выстрела) звук, поезд немедленно остановился, а из вагонов посыпались вооруженные солдаты ловить «диверсантов».

Группе Артура пришлось туго: сухие пути отступления были сразу же отрезаны, а свободный путь — болото — отнюдь не прельщал ребят. Пока они, растерявшись, соображали что делать, солдаты уже окружили их и открыли огонь. Дело становилось серьезным: большинство «диверсантов» уже не смогли бы воспользоваться даже болотом, ибо быстро оказались в полном кольце. Артур с Лизой и еще несколькими ребятами быстро оценили обстановку и, не теряя времени, пустились через болото, хотя местами его глубина доходила до пояса. Солдаты, увлеченные преследованием

основной группы, не заметили этих нескольких человек, и им удалось ускользнуть, а всех остальных поймали (к счастью, обошлось без жертв с обеих сторон: наши ребята хоть и были вооружены, но в своих солдат, конечно, стрелять не стали, да и те были заинтересованы в том, чтобы взять «диверсантов» живьем).

Полностью окруженным превосходящими силами противника, «диверсантам» пришлось сдаться на милость победителя. Тут же на месте происшествия им был учинен допрос с пристрастием. Хотя ребятам крепко поддали и даже угрожали расстрелом на месте, они держались стойко. Никаких документов у них с собою не было, и, несмотря на все старания допрашивающих, никто из ребят ни словом не обмолвился о своей принадлежности к группе Спрогиса, а все в один голос требовали немедленной отправки в Малагу, где они обещали дать показания.

Связанных по рукам и ногам и крепко избитых «диверсантов» вместе с вещественными доказательствами — оружием и взрывной аппаратурой — на том же поезде доставили в Малагу и передали органам безопасности. Но и в жандармерии «диверсанты» молчали, пока к ним не прибыл секретарь компартии Малаги — Себастьян Ларо. Ларо сам подбирал эту группу, и когда их увидел, сразу же понял, в чем дело, и, заявив, что это очень опасные диверсанты, велел отправить их под сильной охраной в нашу миссию и сдать под расписку для дальнейшего расследования, что и было сделано.

На вилле их водворили в подвал, оказали медицинскую помощь и накормили. Только поздно ночью, перемазанные и по шею в грязи, появились Артур и Лиза с несколькими ребятами, и вся эта история с «генеральной репетицией» уладилась. Впоследствии группа Артура показала себя с самой хорошей стороны. Они совершили целый ряд смелых диверсий в тылу фашистов и часто оперативно помогали в тактических действиях нашего участка Южного фронта. Артуру и Лизе удалось сколотить очень сильный коллектив бесстрашных испанских ребят, которые, не жалея сил и даже жизней, выполняли самые опасные задания командования.

7

Несмотря на то что с начала войны фашисты не имели большого успеха в районе Малаги, им удалось не только закрепиться в непосредственной близости от побережья, но и местами довольно глубоко вклиниться в линии нашей обороны. Особенно сильно беспокоил нас десятикилометровый «клин» в районе деревни Картахимы. С помощью немецких инженеров фашисты создали там хорошо укрепленный узел обороны и, пользуясь слабостью заслонов, совершали оттуда дерзкие вылазки в наши тылы. «Клин» был очень выгоден фашистам не только для дезорганизации нашей обороны, но и как удобный плацдарм для готовившихся наступательных операций.

Киселев и Виальба прекрасно понимали опасность такого «клина», но, по-видимому, фашисты это тоже понимали и защищали его с большим упорством. Все наши попытки взять Картахиму фронтальным ударом или охватом с флангов оканчивались неудачей. Сильная оборона, обильно снабженная огневыми точками, почти полное накрытие всего участка фашистской артиллерией — все это вело к большим потерям с нашей стороны.

Уложив около батальона солдат, но потеснив противника очень незначительно, мы оставили попытки овладеть этим опасным участком. Новая идея ликвидации картахимского «клина» пришла неожиданно: как-то перед Рождеством мы слушали немецкие рождественские радиопередачи. Передавалась и поздравительная речь Гитлера немецкому народу по поводу предстоящего праздника. В этой речи фюрер поздравил немцев с Сочельником и пожелал каждому из них встретить его в кругу семьи, около елки, с бокалом вина. Отдельно поздравлял Гитлер тех немцев, которые находились за рубежом, где помогали своим «братьям по идее» (читай: немецких советников в Испании у Франко). Им он пожелал особенно хороших праздников: в рождественскую ночь, мол, поднимите бокалы за фатерлянд.

Известно, что немец — педант. Всякое слово фюрера для него закон. Поскольку оборона Картахимы в основном

держалась немцами (а они, по приказу фюрера, должны бы отправиться в Севилью пить за фатерлянд), а в отсутствие немцев испанцы перепьются до полусмерти, то было решено штурм Картахимы назначить в ночь с 24 на 25 декабря. Все прошло как по нотам: немцы отсутствовали, а пьяные и полупьяные фашисты-испанцы не в состоянии были оказать должного сопротивления, в результате Картахима была взята практически без потерь силами безбожных коммунистов и анархистов. Это был один из крупных тактических успехов в нашем секторе, а одержанная бескровная победа показала возросшее военное мастерство наших солдат и офицеров и окрылила их, вдохновив на дальнейшие успехи.

Узнав о потере Картахимы, командующий фашистскими силами Южного фронта генерал Кейпо дель Льяно*, за свои склонности к алкоголю и зверское обращение с подчиненными получивший прозвище «Ганчо» или «Бораччо» («Свинья» или «Пьяница»), пришел в ярость. Уж не знаю, скольких солдат и офицеров он разжаловал или расстрелял. Во всяком случае, он выступил по севильскому радио со страшными проклятьями в адрес «красных», которым он грозил самыми ужасными карами за нарушение правил ведения войны. Он заявил: «Коммунисты испортили нам светлый праздник — Рождество, но мы им покажем, как надо праздновать их большевистский Новый год!».

Правда, на линии фронта ему эту угрозу выполнить не удалось, но, как оказалось впоследствии, слова его не полностью пошли по ветру. Несмотря на угрозы Кейпо, мы все же решили торжественно отметить наступление Нового 1937 года в своем узком кругу. Из-за того, что в период между Рождеством и Новым годом намечалось еще несколько более мелких тактических операций, Киселев с Машей, а иногда и со всеми остальными членами нашей миссии, пропадали сутками на различных участках фронта. Артур с Лизой, Володей Базилевичем и своей командой также редко бывали дома, дел по тылам франкистов у них хватало. Дома бывал преимущественно я; поскольку, во-первых, я не мог срывать

* Кейпо де Льяно Гонсало (1875—1951) — см. Предисловие.

сеансов радиосвязи с Москвой и Валенсией, а во-вторых, как человек сугубо штатский, языка не знающий и, следовательно, ни на что более, как на работу с радиостанцией, не пригодный. Естественно, что все организационные заботы по встрече Нового года были возложены именно на меня.

Ожидалось человек пятнадцать-двадцать, и я постарался не ударить лицом в грязь. Не полагаясь на кулинарные таланты Триниды, я сумел через Комитет компартии заполучить на Новый год профессионального повара — надежного коммуниста (вероятность того, что нас попытаются отравить, не только не снималась с повестки дня, но все более возрастала), испанца по рождению, француза — по кулинарному образованию, а, как известно, лучших кулинаров, чем французы, на свете нет.

Повар, облаченный в белую спецодежду, священнодействовал на кухне вместе с Тринидой и двумя горничными, а я с двумя солдатами из нашей охраны носился на своем «Бьюике» по городу и окрестностям, обеспечивая вина и цветы к фестивалю. Наконец-то все готово: роскошный стол на двадцать персон накрыт, для чего было извлечено все столовое белье, серебро, хрусталь и прочий инвентарь из запасов бежавшего маркиза, бывшего хозяина нашей виллы. И надо сказать, получилось неплохо: испано-французский повар знал свое дело; моей компетенции для оценки качества приготовленных блюд и сервировки стола было явно недостаточно, но даже вызванная мною для консультации жена моего шофера Энкарна (долгое время служившая горничной в богатых домах) заявила, что к такому столу не стыдно пригласить и самого кардинала Испании.

Чтобы полнее описать степень роскоши предстоящего ужина, скажу, что только одних коньяков было приготовлено одиннадцать разных сортов. Горы фруктов, конечно, великолепные (даже эстепонские!) апельсины, чудесные яблоки, груши, различные сорта винограда дожидались любителей десерта. Не забыта была и знаменитая малагская черемойя — фрукт, по внешнему виду напоминающий грушу, но кожица у него несъедобная, а внутри находится розоватая

мякоть, очень сочная и нежная, по вкусу и запаху напоминающая клубнику. Запах из кухни шел поистине одуряющий.

Прислали нам из Валенсии даже две поллитровки «Московской», которые должны были стать гвоздем угощения и посему были мною лично установлены на самом почетном месте. С цветами я, наверно, даже несколько злоупотребил своим служебным положением: я очень люблю розы, а в Малаге, несмотря на конец декабря, выбор их был достаточным. И поверьте на слово: розы стояли везде, где их можно было поставить, и розы были что надо! Одним словом, готово было все — кроме гостей.

Начало было намечено на девять часов вечера, но вот уже восемь, девять, десять часов, а никого нет. Генерал-«бораччо» Кейпо де Льяно Гонсало обещание сдержал: ровно в одиннадцать налетели девять «Юнкерсов» и, с небольшими перерывами, бомбили беззащитную Малагу. Правда, бомбили бесприцельно, нашему кварталу большого ущерба не причинили, но жертвы среди мирного населения были, и немалые. Вот уже и полночь, только что, минут двадцать назад, окончился очередной налет фашистских стервятников, видимо полетели домой промочить глотку в честь Нового года, а ни наших, ни испанских товарищей нет. Решил я устроить свой сабантуй: сели за стол шеф-повар, Тринида, горничные и я. Охрана наша, соблюдая устав, составить нам компанию отказалась, — пришлось вынести им по стакану коньяку и кое-какую закуску.

Нельзя сказать, чтобы ужин был особо торжественным, уж больно донимало беспокойство за наших отсутствующих товарищей. Что с ними случилось? Мы договорились, что они прибудут не позднее восьми часов вечера, чтобы успеть привести себя в порядок до прихода испанских гостей. Неужели попали в фашистскую ловушку и теперь сидят у них в застенках?

Часа в два ночи опять прилетели «Юнкерсы», на этот раз, хотя бомбежка была и покороче, бомбы почти все легли недалеко от нашего дома, так что полностью разрушили один из соседних домов (сначала я даже подумал, что это прямое

попадание в наш двор). К счастью, за исключением выбитых стекол, наша вилла не пострадала. Кончилась и эта бомбежка, а наших все нет и нет. Несколько раз звоню в штаб сектора, там тоже ждут своих офицеров и ничего не знают. Только уже засветло, часов в шесть-семь утра, наконец послышался рокот моторов у ворот. Приехали! Но в каком виде? Мокрые, грязные, измученные, голодные, но самое главное — живые и невредимые. Оказалось, что франкисты то ли разбомбили, то ли подорвали мост, по которому они должны были проехать. Пришлось бросить машины и идти в большой обход пешком, темной безлунной ночью, по грязи, под дождем и не зная толком дороги. По пути попадались ручьи, болота, один раз их обстрелял свой же пост, но, к счастью, все кончилось благополучно. Конечно, никому и в голову не пришло воспользоваться всеми моими приготовлениями. Наскоро умывшись, присели перекусить, но две поллитровки «Московской» все же выпили и, не раздеваясь, на большее уже сил не было, повалились спать. Несмотря на то что Кейпо де Льяно держал свое слово — за день «гости» прилетали еще раза четыре, — никто даже не проснулся, а к вечеру уже началась текущая работа.

В общем, все мои хлопоты по встрече Нового года так и пошли прахом...

Сводки с фронта нашего сектора становились все тревожнее: полковник с Машей как поднялись, так сразу же и уехали. Обжегшись на Мадриде, который они думали взять с ходу*, фашисты вынуждены были к концу 1936 года притормозить наступление. Их ударная сила — марокканцы** — с наступлением холодной зимней погоды в районе Мадрида фактически теряли боеспособность и вместо яростных атак, против которых был бессилен даже убийственный пулеметный и артиллерийский огонь, сидели, согнувшись в окопах,

---

* Взять с ходу не удалось, бои за Мадрид начались 6 ноября 1936 года, в связи с чем Испанское правительство и переехало в Валенсию. Взят он был только 28 марта 1939 года.

** Выходцы из Испанского Марокко. Именно там Франко поднял мятеж 17 июля 1936 года.

закутанные в свои красные бурнусы. Фашисты, видимо, решили пока свернуть наступательные операции на Центральном фронте и развернуть их у нас — на юге. Во-первых, более теплая погода позволила бы им использовать марокканские войска, которые стали массово простужаться в холодной Кастилии, а во-вторых, им было важно занять хоть один порт на Средиземном море для более удобного подвоза подкреплений из Африки и от своих итало-германских покровителей.

Малага имела большую акваторию порта, средства механизации и хорошие коммуникации и находилась в непосредственной близости от занятых фашистами Севильи, Гранады, Кордовы и других центров Андалусии. Поэтому она представляла для франкистов весьма лакомый кусочек. Наше командование, по-видимому, не учло, что события могут развернуться так быстро, и не сумело вовремя сманеврировать своими резервами для усиления Южного фронта. Все чаще Киселев посылал в Валенсию тревожные сообщения. Сперва оперативная обстановка на нашем секторе зашифровывалась Васей Бабенко и передавалась по моей радиостанции, но это отнимало много времени у нас, и особенно в Валенсии, где служба расшифровки была сильно перегружена. Поскольку наши шифровальщики в своей работе пользовались многоступенчатыми кодами (практически не поддающимися расшифровке противником), а количество специалистов было весьма ограниченным, то было решено тактическую обстановку, как часто меняющуюся и через небольшое время уже не представляющую особой важности для противника, не зашифровывать, а просто передавать по прямым проводам на русском языке латинскими буквами на быстродействующих телеграфных аппаратах из участков фронтов непосредственно в наш главный штаб (в Валенсию на «Альборайя ого»). Таким образом были сразу разгружены шифровальщики, которые теперь могли в Валенсии спокойно заниматься своим основным делом — совершенно секретной связью с Москвой.

Мы получили разрешение пользоваться для передачи оперативных сводок в Валенсию прямым проводом одними

из первых. Тут-то и пригодилась моя телеграфная квалификация, полученная в 1927 году на спецкурсах связи. Имея при себе оперативную обстановку за прошедший день, я к ночи приходил на аппаратную телеграфа, занимал прямую линию на Валенсию, садился за аппарат Юза* и за сорок — сорок пять минут передавал все, что требовалось, сматывал контрольную ленту и ехал домой отдыхать. А ведь раньше на эту работу тратилось не менее четырех-шести часов работы шифровальщика и не менее двух-трех часов моей (не считая еще нескольких часов для расшифровки в Валенсии). Таким образом я стал частым гостем в аппаратной Малагского телеграфа.

Не обходилось и без конфузов. Как-то сижу я в кабинете шефа аппаратной и жду, когда освободится линия на Валенсию, попиваю с ним кофе с коньячком. Я уже давно обратил внимание на висевший в кабинете шефа большой портрет маститого старика с седой бородой и какой-то (видимо, почетной) цепью на шее. Зная, что обычно у нас во всех служебных помещениях висят портреты вождей, я решил, что и это, по-видимому, один из лидеров Республики, возможно, министр почты и телеграфа. Однажды я решил об этом спросить шефа. Он сперва округлил глаза от удивления, а потом расхохотался и ответил: «Нет, какой-то министр еще слишком малая персона, чтобы его портрет висел в нашей аппаратной. Неужели вы, такой квалифицированный инженер-связист (а они были очень высокого мнения о моей квалификации, потому что помимо радиосвязи я мог работать на всех имеющихся у них телеграфных аппаратах), не знаете, что это портрет изобретателя электрического телеграфа — великого Самуэля Морзе?». Я был и правда очень смущен.

А иметь такую оперативную связь оказалось довольно удобно; кроме всего прочего, всегда можно получать свежие новости с родины. Однажды словно обдало духом 1937 года. Валенсийский телеграфист как-то спросил меня: «Знаешь последнюю новость? Арестован Ягода».

---

* Юз Давид Эдуард (1831—1900), изобретатель буквопечатающего телеграфного аппарата.

Вообще говоря, в свое время я работал в ЦДКА радистом по связи с лагерями ОГПУ, встречался с некоторыми деятелями этого «почтенного» ведомства и по складу своего характера никогда не мог им симпатизировать, но все же после фразы «арестован Ягода» у меня по телу поползли мурашки. Ягоду — бесконтрольного властелина миллионов судеб, Ягоду, чье имя всегда произносилось рядом с именами Сталина, Ворошилова и пр., Ягоду, которого всегда изображали чуть ли не близким другом Максима Горького, — представить его арестованным было немыслимо! Но телеграфист в Валенсии — наш человек и врать, конечно, не стал бы.

Уже с 1936 года ходили слухи об арестах, связанных с убийством Кирова. Эти аресты и процесс Зиновьева, Каменева и других, может, и задели сознание людей более взрослого поколения, но для нас, молодежи, это были все старые оппозиционеры, враги генеральной линии партии — как бы гири на ногах советского народа. Но Ягода, чуть ли не правая рука Джугашвили, вдруг враг народа?! Это постигалось с трудом, тем более что в Испании эта терминология (враг народа), уже получившая к тому времени в Союзе свое зловещее значение, еще не была осознана нами. В общем, «горевали» мы по этому поводу недолго. Помог всеубеждающий, логический довод НКВД: «Органы не ошибаются, раз его взяли, значит что-то у него было! Ведь нас-то с тобой не взяли?». Довод, конечно, железный. Мы ни в чем не виноваты, нас-то не трогают, а кого взяли, то будь он хоть Ягодой, значит у него что-то было. И даже если после этого брали одного из отстаивавших этот довод, то другие продолжали уверять: «Его взяли, значит, что-то у него было, вот за нами ничего преступного нет, нас и не берут». И так без конца, а так как всех взять было невозможно, то какой-то конец все же был и этот конец, наверно, лимитировался техническими возможностями НКВД. Но в те времена я об этом почти не задумывался, меня это пока не касалось, и меньше всего я собирался вступаться за «поруганную честь» Ягоды, никогда не вызывавшего у меня, несмотря на все посвященные ему газетные «напечатки», ничего кроме неприязни и даже от-

вращения, тем более что произошло еще одно событие, из-за которого я быстро забыл про Ягоду.

Частый гость аппаратной телеграфа в Малаге, я быстро завоевал среди его сотрудников репутацию специалиста высокой квалификации. Испанские телеграфисты умели работать на одном, максимум на двух аппаратах, правда, делали они это превосходно. О работе на незнакомых аппаратах они не имели никакого представления. Поэтому когда я, 26-летний парень, садился за любой аппарат — как телеграфный, так и радио — и сносно с ним управлялся, это вызывало бурное восхищение и чуть ли не аплодисменты работников аппаратной, преимущественно матрон в возрасте тридцати пяти — пятидесяти лет. За высокую техническую эрудицию они считали меня чуть ли не вундеркиндом. Естественно, что я быстро завел хорошие отношения с большинством мамаш; часто во время ночных бдений они угощали меня своей стряпней, иногда довольно вкусной.

Как-то я обратил внимание, что к одной пожилой, чуть ли не сорокалетней, телеграфистке в ее ночные дежурства приходит очаровательная девушка, разворачивает принесенный с собой сверток, и они вместе едят. Когда я спросил о ней у шефа аппаратной, он ответил, что это Мерседес, дочь телеграфистки — синьоры Тересы. Узнав, что эта девушка мне очень нравится, а не нравиться она не могла, так как такие огромные черные глаза в сочетании с точеной фигуркой даже в Испании не часто встретишь, шеф вскользь заметил, что Мерседес невеста, причем не без приданого. Я не сразу разгадал матримониальные планы шефа, и поэтому когда он предложил познакомить меня с Мерседес, не стал уклоняться от этого.

Синьора Тереса после процедуры официального представления сразу взяла быка за рога. Заявив, что она и ее дочь Мерседес, которая, между прочим, является ее единственной наследницей, всю жизнь питали глубокую привязанность к советским людям, которых они, кстати, в лице Василия Ивановича и меня, видели впервые в жизни, и поскольку через несколько дней у Мерседес будет день ангела, то она и ее дочь

считали бы для себя большой честью, если бы такой крупный специалист по связи и такой обаятельный кабальеро осчастливили бы своим посещением их скромное семейное торжество. Несколько растерявшись от такого скоропалительного и напыщенного приглашения, да еще с явными матримониальными намерениями, я поблагодарил синьору и обещал через пару дней дать ответ: мол, я человек военный и не могу надолго вперед располагать своим временем.

Дома я первым делом поставил в известность о приглашении Василия Ивановича. Он пожелал увидеть невесту, для чего специально приехал со мною ночью на телеграф. Надо сказать, что Мерседес Киселеву понравилась, да и кому не понравится совершенная испанская красота. Но, вернувшись домой, он позвал меня в свой кабинет и заявил: «Я категорически запрещаю тебе какое-либо закрепление знакомства с этой девушкой. Если бы мы здесь были в туристской поездке, а не на войне, то я первым согласился быть на такой свадьбе хоть посаженым отцом, но в военной обстановке любое сближение с тобой может принести ей большое несчастье. Эта глупая корова — ее мать, ослепленная твоей эрудицией и элегантностью, — этого не понимает. После нашей победы я всегда буду рад помочь тебе найти эту девушку...»

После столь категорического запрета я через шефа аппаратной передал синьоре Тересе деликатный отказ от ее приглашения, сославшись на большую загруженность в работе. А любезным предложением Киселева найти Мерседес после нашей победы мне по ряду причин воспользоваться не пришлось. Во-первых, победы не было, а остальные девяносто девять причин меня, как говаривал Наполеон, уже не интересуют.

8

Между тем, события продолжали развиваться в неблагоприятную для нас сторону. Каждый день из разных источников получали мы сведения о концентрации фашистских сил в нашем секторе. Все более активной становилась помощь

Франко со стороны немецких и, особенно, итальянских фашистов. В этом мы получили возможность убедиться лично в начале января 1937 года: однажды утром в акватории нашего порта совершил посадку, причем очень неважную с точки зрения техники пилотирования, итальянский военный гидросамолет. В самолете оказалось два живых члена экипажа — механик и стрелок-радист — и один убитый офицер-летчик, в полной итальянской военной форме. На допросе механик и стрелок, оба унтер-офицеры, заявили, что они солдаты срочной службы, члены итальянской компартии и давно искали возможности перейти на сторону Испанской республики для активной борьбы с фашизмом. Их авиационное соединение, летающие лодки «Капрони», базировалось на военных аэродромах Сицилии. Оттуда, заправившись горючим и подвесив бомбы, они производили налеты на объекты республиканской Испании и, не совершая в Испании посадки, возвращались на свои базы в Сицилии.

Таким образом строго «соблюдалось» невмешательство в войну в Испании и вместе с тем осуществлялась помощь генералу Франко. Да и стоило это дешевле, чем отправлять целые контингенты регулярных войск в Испанию. Люди проходят себе срочную военную службу на родине, а цель частых боевых вылетов была известна только старшему офицерскому составу, целиком из фашистов. Для низших же чинов это были обычные учебно-тренировочные полеты. А если кого республиканская ПВО и собьет, то родных в Италии известят о смерти при несении воинской службы.

Так вот, перелетевшие к нам в Малагу нижние чины предпочли вместо гибели во время несения воинской службы пристрелить в воздухе своего командира-фашиста для того, чтобы вместе со своими товарищами из батальона имени Гарибальди воевать против фашистов, благо в Италии в те времена еще не было закона об измене родине, и их переход на сторону республики родственникам этих авиаторов ничем не грозил. Итальянцы вместе с гидросамолетом были переданы в распоряжение республиканских ВВС, и, как говорили, воевали они неплохо.

С каждым днем наше положение становилось все тревожнее. Убедившись, что попытки молниеносного овладения столицей Испании обречены на неудачу, фашисты поняли, что борьба здесь предстоит долгая и упорная, до полного истощения людских и материальных резервов. Полетели слезные мольбы в Берлин и Рим: «Помогите нам, дяди добрые!». «Добрые дяди», конечно же, отказать «племянничкам» не могли, но потребовали более оперативной обработки транспортов с «помощью». Единственный порт фашистов на юге Испании — Кадис — уже не устраивал союзников Франко. Им срочно потребовался еще один порт на Средиземном море, а самый удобный из них — Малага. Правда, по акватории и степени механизации она уступала даже Кадису, лучше бы, конечно, Барселона, но она пока была фашистам не по зубам. В Малаге же более удобные, чем в Кадисе, коммуникации с занятыми фашистами Севильей, Гранадой и Кордовой, удобное железнодорожное сообщение, развитые автодороги, и все-таки два порта — не один порт. Да и климат: зимы нет, вместо мадридской непогоды — сияющая весна, цветут розы.

Брошенные в срочном порядке на штурм Мадрида марокканцы вначале вели себя геройски, но, дойдя до мадридских окраин и натолкнувшись там на упорное сопротивление милиции и интербригадовцев, вынуждены были залезать в наскоро вырытые окопы. А тут зима, мадридская зима! Привыкшие к теплу марокканцы в таких условиях уже не вояки. Начались среди них массовые болезни, а в связи с этим и недовольство. И фашисты приняли разумное решение: не лезть в лоб на Мадрид, а взяв в быстром темпе еще один порт в Средиземноморье — Малагу, получать более интенсивное снабжение от итало-германских друзей и вести войну, ни в чем не нуждаясь, да и марокканцы, бесполезные в условиях суровой кастильской зимы, в благословенной Андалусии воспрянут духом и полностью проявят свои боевые качества. Все говорило за то, что направление наиболее вероятного удара фашистов — наша Малага. Все чаще становились мои ночные бдения на телеграфе, все длиннее — передаваемые

по радио и по проводам шифровки, поскольку не все данные можно было отправлять даже по быстродействующим телеграфным аппаратам открытым текстом.

По разным каналам получали мы сведения о концентрации войск противника на рубежах нашего сектора: то появится новая часть марокканцев, то регулярные итальянские войска. Все чаще и все интенсивнее становились налеты фашистской авиации. Видимо, в Валенсии тоже почувствовали, что неспроста фашисты стали проявлять повышенный интерес к Малаге. Нам обещали организовать морскую оборону и с этой целью собрались выделить одну пятнадцатидюймовую пушку и крейсер, но о том, что это был за «крейсер», я еще расскажу (за ним я ездил в Картахену к Н. Г. Кузнецову*).

Самое главное: нам, наконец, выделили для противовоздушной обороны эскадрилью истребителей И-15 (полутораплан**, 275 км крейсерская скорость, 4 пулемета, но самолет весьма маневренный) в составе пяти самолетов, раненых- израненых, чиненых-перечиненых. Четыре пилота советских, один испанец. Командир эскадрильи граф дон Педро, а в миру — Евгений Ефимович Ерлыкин***. Красавец, выше среднего роста, вьющиеся каштановые волосы. Одет, как и все наши товарищи в Испании, в кожаную куртку на замке «молния» и берет. Оружие — маузер в деревянной кобуре и нож. На всех пальцах — кольца. На правой руке — с камнями, на левой — с картинками (индейцы с перьями и т. д.). В левом ухе — большая золотая серьга. Свободно владел французским и почти свободно испанским языком. Неразлучен с собакой. Собака — обыкновенная дворняжка, подобранная где-то на улицах Мадрида, неотступно следует

---

* Кузнецов Николай Герасимович (1904—1974), адмирал, участник войны в Испании, Герой Советского Союза. Дважды понижался в звании по сфабрикованным обвинениям.

** Биплан, площадь нижнего крыла которого значительно меньше площади верхнего.

*** Ерлыкин Евгений Ефимович (1909—1969), генерал-майор, Герой Советского Союза, участник советско-финляндской войны 1939—1940 годов, позднее командовал авиационным корпусом.

за своим хозяином, участвуя даже в боевых вылетах, для нее в самолете Педро сделаны специальные лямки. По заверениям графа, пес, в отличие от иных передовиков политической и боевой подготовки, в воздушных боях держал себя достойно, признаков трусости не проявлял и по первому сигналу боевой тревоги мчался к самолету Педро, чтобы занять свое место, согласно боевому расписанию.

Сам граф вел себя в боях до дерзости храбро. В Испанию он попал буквально к началу «спектакля», через несколько дней после начала мятежа, прямо из Франции, где он в то время находился. О характере выполняемых им там заданий граф распространяться не любил, но версия о том, что он проходил курс наук в Сорбонне, как-то не вызывала у меня доверия. Но французским он владел вполне прилично и потому быстро стал бойко говорить и по-испански.

Вначале, сразу же после прибытия в Испанию, ему пришлось летать на всяких музейных редкостях вроде «Потез» и «Блерио» и пр., которые даже по тем временам были каменным веком авиации и сохранились в строю только в Испании. После получения первых советских самолетов «граф» пересел на И-15, и несмотря на их невысокие (по сравнению с немецкими и итальянскими самолетами того времени) технические и боевые качества, только благодаря своему искусству пилотирования и личной храбрости одержал к январю 1937 году в Испании семь индивидуальных побед над фашистами в воздухе. Семь «Мессершмиттов», «Хункеров», «Фиатов», «Капрони» и прочие, дымя хвостами, глубоко зарылись в испанскую землю, прошитые меткими очередями с его «Моска» («комар», так испанцы называли советский самолет И-15*), причем это были только индивидуальные, один на один, победы, а сколько «стервятников» падали в групповых боях при участии «графа», считали только соответствующие инстанции.

Как и все другие советские летчики, «граф» никогда не оставлял товарищей в беде: если фашист пристроится в хвост, всегда храбро бросался наперерез курсу противника

---

* Называли еще и так: мушка.

и часто принимал на себя очередь, предназначенную товарищу: по пятнадцать-двадцать пробоин зачастую привозил он на корпусе своего самолета после воздушного боя. Но солдатское счастье не оставляло его, и, пройдя через все беды испанской войны, живой-здоровый вернулся он в родной Ленинград, где, как поется в популярной песенке, «любимый город другу улыбнулся», что, между прочим, произошло далеко не со всеми вернувшимися из Испании. Три ордена Боевого Красного Знамени были вполне достойной наградой этому «гордому соколу» за его боевые действия за границей. Впоследствии к началу финской войны он был назначен начальником активной ПВО Ленинграда, причем, по его словам, перед этим его вызвал А. А. Жданов и предупредил, что если финны хоть раз будут бомбить Ленинград, то его, Ерлыкина, расстреляют, а если Ленинград будет во время войны в безопасности, то он, Жданов, будет ходатайствовать перед Верховным Советом о присвоении ему звания Героя Советского Союза. Ерлыкин, учтя опыт испанской войны, не стал ждать, пока противник появится над Ленинградом, а всей своей авиацией, в том числе и истребителями, которые были превращены в штурмовики, уничтожил основные силы финских бомбардировщиков на их же аэродромах. Большинство авианалетов финнов локализировалось в приграничных районах. Лишь несколько раз вражеским самолетам удалось прорваться через кордоны ерлыкинской авиации, да и то к городу их не подпустили дальше Парголова. Там они бесприцельно сбросили свои бомбы и почти все были уничтожены на обратном пути.

После заключения мира с Финляндией, на торжественном заседании Ленинградского совета, Жданов отметил, что если за все время войны с финнами на Ленинград не упала ни одна бомба, то это заслуга Евгения Ефимовича Ерлыкина, и тут же прикрепил ему на грудь золотую звезду Героя Советского Союза. Но портрет «графа» будет неполон, если его изображать только в радужно-розовых тонах непогрешимого героя. Это был человек со всеми своими достоинствами и слабостями. Обаятельный мужчина, самоотверженный

товарищ, храбрый офицер, в свободное время это был очень жизнерадостный, интересный собеседник, не дурак выпить и не всегда и не полностью равнодушен к женским чарам.

Надо сказать, что женщины липли к нему, как мухи на мед, и он, как говорится: «охулки на руки не клал». На всю жизнь он остался в моей памяти человеком, к которому можно испытывать хорошую зависть. Умер он в Ленинграде в 1969 году и похоронен в Александро-Невской лавре.

Заместителем «графа» по командованию эскадрильей был Антон Ковалевский, по кличке Казимир. Внешне он несколько напоминал начальника — такого же высокого роста, атлетического телосложения, с идеально правильными чертами лица. Но по характеру Казимир был полной противоположностью своему командиру. Немногословный, сдержанный в движениях, безо всякой внешней аффектации, выдержанный в быту и очень храбрый в бою, Казимир был рыцарем без страха и упрека. Только от знавших его еще по Союзу мы случайно услышали, что за достижение авиационных рекордов Казимир еще до испанской войны был награжден орденом Ленина (в те времена стесняться своих правительственных наград еще не считалось признаком хорошего тона). Казимир также имел шесть индивидуальных побед над фашистскими летчиками; в Испании находился с самого начала войны и, согласно приказу, уже должен был возвращаться домой, но изза ухудшения положения в Малаге задержался. Увы, он погиб под Малагой и был похоронен в андалузской земле.

Эта самая эскадрилья из пяти самолетов И-15 наконец-то прибыла в нашу многострадальную Малагу, и население города, после первого отгона налетевших на ранее беззащитный город фашистских стервятников, вздохнуло с облегчением. Фашисты поняли, что безнаказанно бомбить Малагу им больше не удастся, и мне уже не нужно было глотать перед сном этот окаянный ямайский ром.

Прибытие эскадрильи было для нас, конечно, большой радостью, и в честь этого события было решено устроить на нашей вилле парадный ужин. И опять мне пришлось взять на себя обязанности администратора-распорядителя. На

столе было все, а наши француз-метрдотель и Тринида снова надели белоснежные поварские колпаки. Снова столовая утопала в цветах. Снова было извлечено из шкафов фамильное серебро маркиза и снова можно было бы смело сказать: «К такому столу не стыдно было пригласить даже самого кардинала Испании».

На ужине были и все руководители партий, входящих в состав Народного фронта в Малаге, а также некоторые старшие офицеры командования Малагского сектора, в том числе и коронель Виальба с его прекрасной Марухой. На этот раз она явилась разодетой в пух и прах, с роскошной алой розой в волосах. Поскольку размещение гостей также входило в мои обязанности, то я посадил Маруху рядом с собой, надеясь во время ужина выяснить причину ее столь резкого охлаждения ко мне. И здесь я допустил роковую ошибку, посадив с другой стороны, рядом с Марухой, «графа» дон Педро. В ответ на мою попытку поздороваться и поцеловать ей ручку, Маруха с презрением отвернулась. «Граф» мгновенно увлек ее разговором, и в мою сторону Маруха больше даже и не глядела.

Но я не стал особо переживать. К тому же рядом оказался знакомый мне еще по Союзу бортмеханик Костя Артемьев. Когда я после нескольких рюмок посетовал ему на «измену» испанки, Костя стандартно ответил: «Плюнь ты на этих баб и давай лучше выпьем». И я послушаться его совета, тем более что выпить было чего.

Вообще я мог, не пьянея, выпить порядочно, но Костя, видимо, был в этом отношении еще крепче меня, и того, как я попал в свою комнату, я уже не помнил. Я очнулся от вылитого горничной Кандидой на мою голову стакана холодной воды и ее слов: «Синьор капитан, вас срочно вызывает коронель Крелинг». Зная, что Василий Иванович сам никогда допьяна не напивается и терпеть не может, когда это делают его подчиненные, а зря кого-либо в три часа ночи он не будит, я для освежения головы быстро выпил полстакана рома и стакан виноградного сока, чтобы изо рта не пахло, и спустился на второй этаж в кабинет Киселева.

Я ожидал строгого разноса, а возможно и домашнего ареста, но, к моему удивлению, все обошлось сравнительно благополучно: «Ну что, проспался, пьянчужка? Мы тебя целых полчаса не могли разбудить, пришлось дать Кандиде команду облить тебя холодной водой». Я стою и жду, что будет дальше: знакомая команда «марш в подвал» или что-то другое? Киселев начал успокаиваться.

Ну, думаю, пронесло. «Как, соображать что-нибудь можешь, или хмель все мозги отбил?» Отвечаю с радостью, хмель уже вылетел из головы: «Могу, Василий Иванович. Какие будут приказания?».

Увидев, что я в порядке, Киселев начал мне объяснять, что в нескольких пунктах (он показал их на карте и заставил меня записать названия) замечены скопления марокканской конницы, угрожающие нам опасным прорывом на флангах. Ввиду того, что телефон не работает, да и говорить об этом прямо по телефону рискованно, полно шпионов, возможно и знающих и русский язык, требуется срочно поехать к авиаторам (они расположились в городке Велез-Малага, километрах в двадцати пяти от нас) и передать «графу» боевой приказ срочно вылететь в район сосредоточения марокканцев: задача — их штурмовка с целью рассеяния и частичного уничтожения. В то время в Союзе на вооружении, кроме сильно устаревших самолетов Р-5, которых нам даже и не поставляли, никаких современных штурмовиков не было. В Испании, где сразу же обнаружилась острая необходимость в этом виде авиации, для этого использовали истребители И-15 и И-16, отлично справлявшиеся с такой работой. Заходя через ущелья гор на не ожидающие подобной атаки подразделения противника, истребители расстреливали на бреющем полете и, не давая им очухаться, мгновенно исчезали, практически не неся потерь (эту же тактику Е. Е. Ерлыкин применял и против финнов).

Тщательно записав все задания, я сел в свой «Бьюик», и шофер Хосе повез меня к авиаторам. Я был крайне удивлен, увидев при подъезде к штабному домику аэродрома свет в комнатах и сидевших там в такое позднее, около трех

часов ночи, время, летчиков во главе с заместителем комэска — Казимиром, так как полагал, что весь личный состав эскадрильи должен отдыхать после нашего парадного ужина. Вошел я в штаб, поздоровался, спрашиваю «графа». «А я это у вас хотел узнать, — отвечает Казимир, — "граф" еще не вернулся из города. Хотел я к вам на "Консуэлу" позвонить, да у нас не работает телефон. Собрался было к вам ехать, да вот вы приехали сами», — отвечает Казимир. «А где же, по-вашему, "граф" может быть?» — спрашиваю я у него. Он отвечает, что в Алкала-д-Энарес, где они раньше базировались, он знал те злачные места, где мог находиться после возлияний «граф», здесь же, в Малаге, дислокация этих мест ему неизвестна, и поэтому точных координат он дать не может, но рекомендует искать «графа» только в таких заведениях, ибо ни в музей, ни в церковь «граф», особенно ночью, конечно не пойдет, тем более после обильной выпивки. Тут уж мне пришлось принимать решение. Связи с Киселевым нет, ехать к нему за указаниями некогда, и я собственной властью передал командование эскадрильей (без «графа» в ней осталось четыре самолета) Казимиру и отдал ему боевой приказ на штурмовку марокканцев. Взяв поиски «графа» на себя, всем пилотам я велел до вылетов отдыхать, а в случае появления «графа», без записки Киселева или хотя бы моей, к полетам его не допускать, так как после столь бурной ночи мало оснований полагать, что он сохранит полную работоспособность, а самолетов у нас и так мало.

Отдав эти распоряжения, я тут же поехал назад в Малагу на доклад к Киселеву. Он одобрил все мои действия и велел немедленно разыскать «графа» живого или мертвого. На мой вопрос, как это технически выполнить, Киселев велел взять наряд полиции и обыскать все малагские бордели, пока не отыщется его след. Получив в четыре часа утра такое распоряжение, я только встал по стойке смирно и ответил: «Слушаюсь. Будет исполнено». Отдавая приказ, Киселев, конечно, не мог учесть его абсолютной невыполнимости. Ведь Малага — это не Алкала-д-Энарес, где подобные места были наперечет, Малага — это крупный торговый порт, в ко-

тором даже зарегистрированных заведений было, наверно, ненамного меньше, чем в Константинополе или Марселе, не говоря уже о разных нелегальных притонах. А черт его знает, этого «графа», куда его с пьяных глаз понесет? Смелости и дурости у него, по-видимому, хватает, язык он знает прилично. Вот задачка!

Но приказ есть приказ, и его надо выполнять или хотя бы попытаться это сделать.

Найти «графа» необходимо, хотя на проведение тщательного обыска во всех малагских борделях, которые в портовом районе были в каждом доме, а в некоторых и по нескольку штук, даже при участии не только всей малагской, но даже и мадридской полиции, потребовалось бы, пожалуй, не меньше месяца. Но время не терпит. В любом притоне «графа» могли еще подпоить и, связав, переправить к франкистам, а ведь за доставку такой «птицы» там могли очень хорошо заплатить.

С чего же начать? Пожалуй, прежде всего надо найти проводника, хорошо знающего дислокацию малагских борделей и имеющего там знакомства, которые могут облегчить поиски «графа».

Советуюсь со своим шофером Хосе, спрашиваю, не может ли он как коренной житель Малаги за хорошее вознаграждение послужить проводником по этим местам? Хосе полностью соглашается с трудностью проведения такой операции, но от роли проводника категорически отказывается, заявив, что хотя он и местный житель, но в таких заведениях он не бывает, так как у него есть жена, которая его вполне устраивает, и в дополнительных дозах испанской страсти он не нуждается. Я спросил Хосе, а нет ли у него знакомых, которые могли бы за хорошее вознаграждение помочь в поисках пропавшего «графа»? Подумав немного, Хосе ответил, что в охране Виальбы служит рыжий каталонец, Бернардо, который в свободное от службы время днюет и ночует в этих местах и охотно согласится быть проводником.

Пошли мы с Хосе искать рыжего Бернардо, и сделать это было нетрудно: я уже упоминал, что коронель Виальба вме-

сте со своей охраной жил напротив нашей виллы — через дорогу, в отеле «Калета». Заходим в вестибюль отеля. Вся охрана, в том числе и рыжий Бернардо, режется в кости (это испанская национальная игра, немного напоминающая нарды). Отзываю Бернардо в сторону: «Хочешь заработать пятьдесят песет?». Он не против: «Что от меня требуется, синьор капитан?». Я ему объясняю, что пропал русский летчик — Дон Педро, — и требуется срочно провести обыски в малагских борделях, чтобы его найти, и не может ли он, Бернардо, послужить мне проводником по этим местам?

Тут Бернардо сразу же у меня спрашивает: «А что нужно синьору капитану, производить обыски в борделях или отыскать Дон Педро?». Я конечно ему ответил, что на все малагские бордели мне наплевать, а требуется только найти Дон Педро — живого или мертвого, желательно, конечно, первое. «А если я вам сейчас покажу, где находится Дон Педро, живой и невредимый, без всякой необходимости в обысках, вы мне дадите пятьдесят песет?». Я, конечно, с радостью согласился и сказал, что машина стоит у входа, пусть только покажет, куда ехать. «Не надо машины, — ответил Бернардо, — давайте деньги, и я вас сразу же отведу к “авиадоро русо”».

Получив деньги, Бернардо повел меня на второй этаж в сторону апартаментов, занимаемых коронелем Виальбой, остановился около одной двери и сказал: «Он здесь». Я ему: «Стучи!» — «Нет, уж лучше вы сами», — ответил Бернардо и ушел. Я довольно энергично постучал. За дверью раздался голос Марухи: «Кто?» — «Откройте! Полиция!» — ответил я как можно решительней. Через минуту дверь открылась. На пороге стояла Маруха в полном неглиже, прикрытом накинутым халатиком, а из глубины комнаты выходил «граф», на ходу поправляя свой туалет. Отстранив в сторону Маруху, я попросил его пройти со мною в коридор. Сели в кресла, и началась беседа. В этот момент меня обуревали различные чувства: во-первых, огромная радость, что мой товарищ-земляк, боевой летчик жив-здоров и сидит рядом со мной в безопасности, а не лежит где-то с проломленной головой и не едет связанный, с кляпом во рту, в фашистский застенок на муки

и смерть; во-вторых, облегчение, что не придется делать этот дурацкий обыск по борделям, а вместе с тем и большое чувство досады: первым делом мне сразу же стала ясна причина столь внезапного ко мне охлаждения Марухи, я осознал, что не так уж она неприступна, как я полагал, и что на месте Дона Педро я мог бы оказаться еще месяц тому назад. Ко всему этому примешивалась большая злость на этого бретера, из-за какой-то бабы заставившего так переволноваться своих товарищей, да и эскадрилья должна теперь пойти на выполнение опаснейшего задания в ослабленном составе. Не допускать же его после такой ночи к боевым вылетам!

Все это, но не касаясь моих личных отношений с Марухой, я достаточно убедительно изложил «графу». Добавил, что взаимоотношения с испанским командованием у нас и так на волоске, а он своей связью с любовницей испанского командующего их еще осложняет. В конце разговора я объявил «графу», что от командования эскадрильей он, по распоряжению Креминга, временно отстранен, в боевых вылетах сегодняшнего дня участвовать не будет и что я не могу поручиться, что Креминг не пошлет подробного рапорта о его поведении в Валенсию, а может и в Москву.

Во мне говорили не только возмущение этой дурацкой бессонной ночью, но и вполне понятные личные мотивы. Педро то бледнел, то краснел, я довел его почти до слез. Поняв, что проняло основательно, я отправил его на своей машине в Велез-Малагу, передав с шофером записку Казимиру, в которой категорически запретил использовать «графа» в первом боевом вылете, но вместе с тем и не возражал, если Казимир, под свою ответственность, разрешит ему участвовать в дальнейших полетах.

Креминг полностью одобрил мои действия и разрешил идти отдыхать, сказав, что все остальное сделает сам. Докладывая, я всячески старался выгородить «графа», уверяя, что главная вина лежит на этой потаскухе и что нельзя было давать такой ужин накануне боевых вылетов (правда, о том, что боевые вылеты станут срочной необходимостью, сам Креминг узнал уже после ужина). Я сказал, что Педро уже и так

наказан отстранением от командования эскадрильей, запретом участия в операции и недовольством своих товарищей.

Короче, Креминг при мне порвал уже приготовленный им рапорт в Валенсию, но заявил, что в случае повторения подобных номеров он его уже больше не пощадит.

Главную роль в подобном милосердии сыграла все же не моя адвокатура, а скорее то, что такой мужской грех, вероятно, импонировал самому Василию Ивановичу (в молодости он и сам был слабоват к прекрасному полу), да и парня было жаль — уж больно Дон Педро хорош во всех отношениях. Рапорты и расследования претили солдатской натуре Креминга, поэтому он легко дал себя уговорить и порвал сгоряча заготовленный рапорт. Впоследствии оснований для таких рапортов «граф» больше не давал, и эскадрилья за все время своего пребывания в Малаге не только успешно защищала ее небо, но и оказывала существенную помощь в операциях по разведке и штурмовке наземных сил противника. Весь личный состав эскадрильи, и особенно пилоты, проявили героизм и за работу в Малаге вполне заслужили высшие награды, но к сожалению, основной своей задачи — удержания города — мы так и не выполнили, и со временем Малага была республиканцами оставлена.

9

Тем временем обстановка у нас продолжала ухудшаться. Креминг с переводчицей Машей Левиной все чаще и подолгу вынуждены были оставаться в непосредственной близости к передовым линиям и оборудовали себе временный штаб в прибрежной деревне Сан-Педро-Алькантера (это км в 70 от Малаги, в сторону Гибралтара). Пришлось и мне со своей «музыкой» временно покинуть обжитую нами уютную «Консуэлу» и перебираться в Сан-Педро, так как ежедневно возить в Малагу для Креминга корреспонденцию для Валенсии и Москвы становилось затруднительно. И вот мы с Васей Бабенко на моем «Бьюике», под водительством моего

личного шофера синьора Хосе (или попросту Пепе) поздним вечером прибыли в Сан-Педро-Алькантеру. Небольшой двухэтажный домик стоял на самом берегу Средиземного моря и весь утопал в зелени. Несмотря на январь месяц, погода стояла отличная, апельсиновые деревья сгибались под тяжестью огромных ароматных плодов. (Вес некоторых из них доходил до 300—400 граммов — неудивительно, поскольку и сама Эстепона находилась всего в пятнадцати-двадцати километрах от Сан-Педро!)

Нас с Васей поместили на втором этаже домика-штаба. Мы вдвоем быстро натянули антенну, и я без труда тут же установил уверенную радиосвязь с Валенсией и Москвой. Несмотря на небольшую (порядка пятнадцати-двадцати ватт) мощность и самую примитивную антенну (четвертьволновый вибратор с противовесом), радиосвязь все время была на редкость устойчивой. Оба моих корреспондента слышали меня очень хорошо, отвечали с первого вызова и, как правило, работа велась «дуплексом», то есть в случае сомнения в правильности принятого сообщения, в любое время мы могли друг друга перебить и попросить повторить сомнительный текст. Правда, в Москве и Валенсии были высококачественные американские радиоприемники типа «Хамервунд» на четырнадцати лампах, а у меня — обычный советский радиолюбительский регенеративный приемник типа «КУБ-4» (на четырех лампах).

Существенным его недостатком было то, что в процессе приема приходилось непрерывно манипулировать тремя ручками управления (настройка усилителя высокой частоты, настройка контура детектора и настройка порога обратной связи), а ведь нужно было еще и записывать принимаемые сообщения, так что на все это двух рук явно не хватало. Вскоре я убедился, что усилитель высокой частоты практически бесполезен, и просто выключил его (чем сэкономил одну ручку управления). Оставалось всего две ручки управления, что серьезно облегчило работу по радиосвязи, но не так легко было одной рукой держать настройку частоты принимаемой радиостанции, другой — непрерывно под-

держивать обратную связь на срыве генерации (в это время приемник обладал наибольшей чувствительностью), а еще записывать передаваемые со скоростью более ста знаков в минуту тексты шифровок, в которых нельзя было пропустить ни одного знака или исказить их (иначе радиограмма не расшифровывалась).

Если современному радиолюбителю-коротковолновику, считающему ниже своего достоинства вылезать в эфир, имея менее 200—300 ватт мощности в антенне, на трехчетырехкаскадном передатчике с кварцевой стабилизацией, да еще с 14—20-ламповым супергетеродинным приемником, сказать, что с той аппаратурой, о которой я говорил выше, можно иметь устойчивую радиосвязь в любое время суток и года на расстоянии свыше 3 000 километров, он посчитает вас как минимум за Мюнхгаузена от радиотехники. Но тем не менее в моем рассказе нет ни грамма выдумки, связь была, причем не только у меня, но и у всех остальных моих товарищей, таких же радиолюбителей-коротковолновиков, глубоко штатских людей и советских добровольцев, которых военная судьба разбросала по всей республиканской Испании. Из моих близких друзей там были: Алексей Перфильев, Олег Туторский, Георгий Ситников, Леонид Долгов и многие другие. Все они, несмотря на молодость (самому старшему — мне — было тогда двадцать шесть лет), были опытными радистами-коротковолновиками и всегда могли из своей весьма примитивной «музыки» выжать все, что только возможно.

В Испании я чаще всего навещал своего друга Алексея Перфильева (он умер в 1970 году в Москве в звании полковника в отставке), личного радиста главного советника Военно-морского флота республиканской Испании Н. Г. Кузнецова (впоследствии министра Военно-морского флота СССР). Несмотря на довольно большое разделявшее нас с Перфильевым расстояние (порядка 750 километров), я частенько бывал у него в Картахене, а один раз даже съездил туда без разрешения Креминга, экспромтом.

Нам иногда передавали из Москвы циркулярные шифровки. Эти шифровки передавались одновременно всем ис-

панским радистам, и поэтому всякие запросы о повторении пропущенных групп (а радиограммы были длиннющие, по полторы-две групп, по пять цифр в каждой группе) были невозможны ввиду отсутствия во время передачи двухсторонней связи. Для того чтобы во время приема таких циркулярок исключить влияние всяких индустриальных помех (трамваи и пр.), я оборудовал в своем «Бьюике» гнездо для приемника, и для приема шифровок выезжал за город, ставил машину подальше от дороги и, как правило, в этих спокойных условиях принимал весь текст без каких-либо пропусков. Правда, в это неспокойное время не исключалась возможность внезапного нападения какого-либо фашистского диверсанта, поэтому я всегда имел под рукой пистолет и пару гранат-«лимонок», да и верный друг шофер Пепе был рядом, так что небольшой риск всегда искупался возможностью уверенного приема очень важных для командования сообщений из Центра. Кроме меня, так поступали многие другие испанские радисты, и я не слыхал, чтобы с ними случались какие-либо происшествия.

В Малаге я купил за пятнадцать долларов великолепную авторучку «Уоттерман» с золотым пером и поршневым наполнением. Чернил эта ручка набирала столько, что я уже забыл о том, что они могут закончиться, и совершенно перестал при приеме радиограмм пользоваться таким испытанным средством, как пяток-десяток хорошо отточенных карандашей, вставленных в специальное гнездо на лицевой панели приемника, да и вообще перестал брать с собой на циркулярки эти карандаши, за что однажды жестоко поплатился.

Как-то вечером поехали мы с Пепе за город для приема циркулярок. Нашли укромное место, растянули антенну, я проверил прием — слышимость отличная, помех никаких. Отправил шофера в ближайшую деревню пропустить стаканчик (в Испании с этим делом у шоферов не очень строго), а сам приготовил бумагу, не забыв на всякий случай положить поближе пистолет и гранату, и стал ждать начала передачи. Надеясь на свой «Уоттерман», запасных каранда-

шей я с собой не взял. Началась передача. Групп триста я записал, но вдруг… ручка перестала писать, кончились чернила. Что делать? Шофера нет, запасных карандашей тоже! Московский радист «сыплет», а я как дурак сижу и ничего не могу записать! Когда Креминг узнает, что циркулярки нет, а он знал, что сегодня должна быть из Москвы циркулярка, и ждал ее, то никакие технические причины узнавать не захочет, и не миновать мне, в лучшем случае, нашего подвала. Такая меня взяла злость на эту американскую технику, что хватил я своего «Уоттермана» об камень, так что аж куски посыпались. С тех пор я всегда имел с собой во время работы по три-четыре отточенных карандаша.

Но что делать теперь?.. Тут появился Хосе. Поделился я с ним своим горем, он успокоил: «Ничего, синьор капитан (из уважения к моей технической эрудиции он всегда меня так величал), давайте съездим в Картахену и возьмем эту циркулярку у вашего друга, может быть, ему бог помог и чернил в его авторучке оказалось достаточно». Так мы и сделали: не заезжая в Малагу, махнули в Картахену. Поднял часа в три ночи Лешу Перфильева и объяснил в чем дело. Циркулярка у него, конечно, была, и я ее быстренько переписал, а к обеду мы уже были в Малаге.

Креминг для порядка немного поворчал, но ему явно импонировала моя оперативность и чувство ответственности за свою работу, так что экспромтная моя поездка в Картахену закончилась для меня благополучно. Впоследствии я отблагодарил Лешу Перфильева довольно неприятным для него образом: неожиданно у нас в Малаге, причем, по-видимому, не очень далеко от нашей резиденции, ибо слышимость была очень сильной, появился в эфире новый, раньше не работавший, радиопередатчик, пользующийся совершенно нам незнакомым четырехзначным кодом. Я принес записанную радиограмму этого передатчика Кремингу. Он направил ее в штаб для расшифровки, но там заявили, что этот код им незнаком и расшифровать они его не могут. Значит, шпион. Креминг дал команду немедленно запеленговать шпиона, который нахально работал точно по

расписанию. Не имея никакой пеленгаторной аппаратуры, я ничего сделать не мог. Пытался смастерить поворотную рамочную антенну, но абсолютно на всех углах поворота антенны слышимость шпиона оставалась одинаково отличной. Пеленгация оказалась мне явно не по зубам. Долго думал я, что бы предпринять? Нельзя же явного шпиона оставить спокойно работать? Ведь, возможно, передаваемые им материалы имеют государственную важность. Тут пришло мне в голову путем создания искусственных помех устроить ему трудную жизнь.

Я довольно быстро обнаружил и корреспондента нашего шпиона, слышимость которого оказалась гораздо хуже (видимо, расстояние оказалось приличным). Установил для себя круглосуточное дежурство — правда, мне помогал и шифровальщик Бабенко: когда я отдыхал, он следил за эфиром. Когда появлялся шпион, я включал в свой передатчик трансмиттер (автоматический ключ) со склеенной лентой, содержащей бессмысленный набор цифр, и, настроившись на его волну, создавал ему помехи.

Поскольку частота и мощность наших передатчиков, моего и «шпиона», были примерно одинаковы, то после окончания передачи я с удовольствием слушал ответ его корреспондента: «Нот ок; вери ку эрм рсе рпт» (ничего не принял, сильные помехи другой станции, прошу повторить радиокод). Если «шпион» пытался изменить частоту, то это же делал и я, и все начиналось сначала. Вот таким образом я почти месяц не давал ему работать. За все это время он сумел спокойно передать, в то время пока я работал по своей связи, лишь несколько радиограмм.

Однажды понадобилось мне по каким-то делам съездить в Картахену. Захожу, конечно, к Леше Перфильеву. «Здорово, Леша! Как дела?» — «Плохо, Лева! Дали какого-то нового корреспондента. Вначале вроде ничего было, а потом какой-то фашист прицепился: как только я сяду за прием, он настраивается на волну моего корреспондента и включает трансмиттер. Уже почти месяц не могу ничего от него принять, а объект, видно, очень важный, начальство все время

теребит: давай связь! Прошу его изменить частоту — фашист тоже ее меняет. Уж не знаю, что и делать. Кузнецов прямо рвет и мечет!» Тут я понял, что мой «шпион» — это и есть Лешин корреспондент, которого я почти месяц глушил. Это, видно, была радиостанция Малагской военно-морской базы, а так как в Испании военное и военно-морское министерства разделены, то естественно, что наши штабисты не могли расшифровать морской код и приняли его за шпионский. Получалось, что я сорвал нашим морякам всю связь с Малагой, и им приходилось наиболее важную часть сообщений передавать по армейской линии связи. То-то часто замечал, что за последнее время объем моей работы несколько увеличился! Выходит, я, усердно создавая «шпиону» помехи, сам себе добавлял работы!

Когда я обо всем этом рассказывал Леше, он буквально менялся в лице. Сперва он прямо рассвирепел, но потом успокоился: «Но все-таки ты, Лева, молодец: это же надо — обладать таким адским терпением, чтобы целый месяц следить за какой-то радиостанцией и не давать ей работать!» После этого связь Леши с нашей морской базой пошла нормально, а мы с Васей получили возможность спокойно отдыхать. Кузнецову, конечно, причину срыва радиосвязи с Малагой в течение месяца не сообщили.

Но вернемся в Сан-Педро-Алькантеру, куда мы приехали поздно вечером. Чтобы отработать всю московскую корреспонденцию Киселева, мне пришлось просидеть до трех часов ночи, после чего, закрыв ставни, я лег отдыхать. Проспал я, по-видимому, довольно долго и проснулся от того, что кто-то пытался сдернуть с меня одеяло.

Открыл глаза и вижу: стоит очаровательная кукла с огромными черными глазами, на вид так лет трех—четырех, в старепьком заплатанном платьице, с цветком в аккуратно причесанных черных волосах и с огромной, с нее ростом, веткой апельсинового дерева, на которой почти не видно было листьев из-за спелых желтых плодов. Увидев, что я проснулся, «кукла» произнесла тоненьким голосочком: «Синьор капи-

тан, бабушка поздравляет вас с добрым утром, посылает вам эти апельсины и просит вас спуститься вниз к завтраку, а то он остынет». Такого очаровательного ребенка я еще никогда не видел. Столько грации и изящества было в ее фигурке, так приветливо смотрели на меня ее глазки. Я поднялся, взял у нее ветку с апельсинами, расцеловал ее в обе щечки и сказал, что сейчас приду.

Внизу за завтраком я разговорился с ее бабушкой и узнал, что Пакита (сокращенная форма от имени Франциска) — круглая сирота. Отца убили на фронте, а мать умерла. Она ей совсем не внучка, а взяла она ее к себе случайно, найдя в Малаге на улице. Все имущество девочки заключается в том платьице, что она носит. У самой «бабушки» тоже никого родных нет, как нет и ни крова, ни средств для пропитания. Спасибо, русские офицеры (Креминг, а главное Маша Левина) разрешили ей жить в этом домике, и она теперь, слава Мадонне, имеет возможность накормить ставшую ей уже родной Пакиту. Хотя я по натуре человек и не очень сентиментальный, но, слушая эту историю, я еле удерживался от слез.

Позавтракав, я попросил «бабушку» разрешить мне покатать на машине Пакиту, и мы поехали в Эстепону. Там мы зашли в универсальный магазин, и я попросил одеть девочку с головы до ног во все самое лучшее, не считаясь с расходами. Кроме этого, в большой чемодан сложили все, что могло бы ей в дальнейшем пригодиться: замшевое осеннее пальтишко, обувь и прочее. Надо было видеть, как преобразилась девчушка. С чисто испанской грацией она поворачивалась перед зеркалом, рассматривая себя в новом наряде, и все, кто находился в это время в магазине, любовались ею.

«Обмундировав» Пакиту, я привел ее в игрушечный магазин и велел выбирать те игрушки, которые ей нравятся. Продавщицы наперебой совали ей кукол, мишек, зверят. Глазенки у нее разгорелись от такого изобилия, ведь до сих пор все ее игрушки ограничивались тряпичной куклой, которую ей смастерила «бабушка». Короче говоря, обратно мы ехали, с трудом втиснувшись в мой довольно вместительный «Бью-

ик». Кстати, при поездке в Эстепону я не забыл и «бабушку» и купил ей хорошую шаль и еще чего-то. Когда «бабушка» увидела все это великолепие, то заплакала и только и могла сказать: «Как хорошо, что Мадонна сотворила на свете таких добрых людей, как Вы, синьор капитан. Вам это зачтется!»

После этого у меня созрело решение взять девочку в Союз и удочерить ее. Когда вечером вернулись Креминг и Маша и я рассказал им об этом своем намерении, Креминг сразу одобрил это решение, а Маша даже всплакнула. С превеликим трудом удалось уговорить «бабушку», но в конце концов та согласилась.

Я хотел сразу же отправить девочку в Малагу, на попечение Триниды, но Василий Иванович меня уговорил отложить это до окончания одной фронтовой операции, после чего мы все должны были вернуться в Малагу.

Но на другой день, когда мы выехали на фронт, фашисты, разузнав, что в Сан-Педро помещается наш временный штаб, решили его уничтожить и со злости, что не застали там никого из офицеров, расстреляли из самолетных пулеметов бабушку и Пакиту, укрывшихся от бомбежки в саду. Как рассказывали очевидцы, девочку прошила пулеметная очередь из нескольких пуль.

Когда мы вернулись с фронта, то вместо нашего домика нашли развалины, а бабушку с Пакитой уже похоронили. Это преступление фашистские бандиты совершили вполне преднамеренно: ведь бомбили-то они днем и стреляли из пулеметов на бреющем полете в упор, великолепно видя, в кого стреляют.

Хотя я на слезы и не очень щедр, но на этот раз я их не стеснялся. Если до этого, бывая на передовой, я как-то избегал пользоваться стрелковым оружием, то после уже никогда не упускал случая дать хорошую очередь по фашистским бандитам: «Это вам, сволочи, за Пакиту!».

В дальнейшем обстоятельства сложились так, что фашисты начали проявлять активность не только на юго-западном направлении, но и на всех других: как-то на северном,

и даже на наиболее для нас опасном северо-восточном, где всегда перешеек нашей территории местами не превышал нескольких сот метров, а другим концом наша территория упиралась в Средиземное море. Ликвидация этого перешейка угрожала нам полным окружением, так как на море безраздельно господствовали фашисты, не давая даже мирным рыбакам удаляться дальше километра от берега. Воздух почти постоянно патрулировали итальянские гидросамолеты, и, завидев хотя бы одну рыбацкую посудину, безжалостно ее расстреливали из пулеметов, хотя прекрасно видели, что это мирный испанский рыбак, которого только крайняя нужда заставила в такое время выйти в море. Хотя с прибытием нашей эскадрильи фашисты уже стали остерегаться проводить днем массированные воздушные налеты на город, но ночью, когда из-за отсутствия прожекторов наши истребители бездействовали, фашистские гости все же частенько навещали нас, правда, без особого стратегического успеха.

На сухопутных же участках фронта активность фашистов все время возрастала, причем особо крупных операций они пока не проводили, а самое главное было то, что мы никогда не могли заблаговременно определить точное направление этих тактических ударов, ведь из-за скудости людских резервов, вооружения и боеприпасов мы все время должны были находиться в обороне, а противник держал наши части в постоянном напряжении, не упуская инициативы из рук. Кроме того, фашисты, по-видимому, имели в наших штабах надежную и хорошо законспирированную агентуру, с отлично налаженной системой связи, так как, по точно проверенным данным, особо важные решения, принимаемые нашим командованием, становились известны противнику примерно через сутки, максимум через двое, для нас же действия фашистов были почти всегда неожиданными и весьма неприятными.

Разведданные о действиях франкистов у нас были весьма нерегулярны, скудны и недостоверны. Агентуры в фашистских штабах у нас, по-видимому, почти не было, а войсковые части не были обучены ведению фронтальной разведки

и считали, что это совершенно необязательно: наше дело воевать на передовой, а сведениями о противнике нас обеспечит высшее начальство на блюдечке с голубой каемочкой. Это очень хорошо описано в «Испанских дневниках» у Михаила Кольцова, где он пишет, что когда наши офицеры как-то приехали в штаб батальона (которым, кстати, командовал не свежеиспеченный военспец из партийных деятелей, а кадровый капитан испанской армии) и спросили у командира, какова примерная численность и ближайшие намерения расположенного на его участке противника, то этот капитан был крайне удивлен даже самой постановкой такого вопроса и вполне резонно ответил: «К сожалению, противник не сообщает мне ни о своей численности, ни о своих намерениях, а если бы он это делал, то был бы не противником, а союзником».

Так чего же было требовать от основного костяка скороспелого республиканского офицерства, состоявшего в основном из вчерашних рабочих или мелких торговцев, если даже кадровые военные проявляли в вопросах разведки такую вопиющую военную безграмотность. А об анархистских вожаках и говорить не приходилось: те, как правило, в боевых действиях руководствовались в первую очередь своими узкопартийными интересами, а затем уже военной целесообразностью, да и то в том смысле, как они ее понимали.

Некоторое затишье на Мадридском фронте и возросшая активность фашистов на нашем южном заставили призадуматься наш генеральный штаб. Если нельзя помочь нашему сектору боеспособными воинскими частями, то нужно хотя бы улучшить его снабжение оружием и боеприпасами! Нет-нет, да подбросят грузовик с винтовками (нашими родными трехлинейками). Эти винтовки выдавались у нас в торжественной обстановке и то лишь особо отличившимся лицам, а остальные в большом количестве имели на вооружении всё, вплоть до дедовских кремневых пистолетов. Иногда поступали и пулеметы, а как-то даже пришла батарея полевых орудий (правда, неполного комплекта). Но на фоне потребностей нашего сектора все это были лишь капли в море.

10

Кстати, о море. Оно было вотчиной фашистов, там они были полными хозяевами. «Канариас» и иже с ним все чаще навещали наше побережье, оставляя на память изрядное количество гостинцев шести, восьми, девяти и даже двенадцатидюймового калибра. Как правило, такие визиты не наносили серьезного ущерба воинским объектам, но мирное население несло большие потери. Внезапность нападения, густота и скорострельность артиллерийского огня фашистов не позволяли своевременно укрыться в убежищах пожилым людям и женщинам с детьми, да и сами убежища были слабыми и маленькими.

Никакой активной морской обороны Малага не имела. И вот однажды приезжает из Валенсии Василий Иванович и, радостно потирая руки, изрекает: «Ну, Лева, конец фашистским морским разбоям! Вопрос решался в высших инстанциях. Нам выделили пятнадцатидюймовую пушку береговой обороны и вспомогательный крейсер. Все это можно немедленно получить. Езжай быстренько к своим друзьям-морякам в Картахену и получай у Николаса (кличка военно-морского советника Н. Г. Кузнецова) пушку и крейсер. Пусть теперь “Канариас” сунется к нам, 15-дюймовка плюется километров на двадцать гостинцами в тонну весом, да и крейсер-то кое-что стоит!» По своей морской наивности мы еще не знали, что за коварный смысл скрыт в слове «вспомогательный» и как нас накрыл хитроумный Николас, но об этом дальше.

Крикнул: «Пепе, машину!» Я так торопился, что не стал даже дожидаться очереди на заправку на бензоколонке, они в Малаге всегда были внушительными, а нарушения очереди в зависимости от ранга исключалось. Решили заправиться по пути в небольшом городке Мотриле, где очереди были меньше. За что впоследствии и были наказаны весьма оригинальным образом.

Подъехали мы в Мотриле к бензоколонке. Очереди действительно нет, но нужно поставить в военной комендатуре печати на наших талонах. Комендатура в нескольких сот-

нях метров от заправки. Пепе пошел ставить печати, а я сел в кафетерии при колонке выпить чашечку кофе с коньяком. Выпил чашку, другую, Пепе нет. Иду в комендатуру сам, там отвечают, что печати шоферу сразу же поставили и он уже давно ушел. Иду обратно к колонке, Пепе нет. Куда девался? Заблудиться невозможно, дезертирство исключается, в чем же дело? Ведь дорога каждая минута, Киселев поставил очень жесткие сроки для получения пушки и крейсера.

В задумчивости выхожу на главную улицу и слышу: из переулка раздаются звуки шарманки, играют революционные песни, других в те времена уличные шарманщики и не играли. Как-то машинально завернул туда, подхожу ближе и вижу — в первом ряду стоит мой Пепе и горланит вместе с другими «Интернационал». Заметил меня, смутился: «Ольвидадо (забыл), синьор капитан!» и бегом за мной к машине.

Такая меня злость взяла, ведь знает же, зачем едем, как спешим, а тут услыхал музыку и сразу забыл обо всем, а ведь ему-то не десять лет, а за сорок. Тут уж я не удержался и использовал часть лексикона Василия Ивановича, правда небольшую. Пепе русские ругательства понимал хорошо (школу у нас прошел), а иногда и сам любил щегольнуть, но настолько он в данном случае осознал свою вину, что даже не обиделся, а, быстро заправив машину, уселся на свое место и нажал на стартер, даже не выпив обязательной чашки кофе, хотя я, отойдя, сам ему это предложил. Всю дорогу Пепе молчал и меньше чем 90—100 километров в час не гнал.

В Картахену мы прибыли благополучно, уже под вечер. Сразу же к Николасу, он в курсе дела: «Насчет пушки я ничего сделать не могу, с береговых батарей крепости снимать не буду, а выделенная вам пушка находится на ремонте и будет готова через пару месяцев. Что касается крейсера, — тут он почему-то переглянулся с сидевшим рядом своим начальником штаба Симоном Гарсия (в миру Семен Спиридонович Рамишвили, умер году в 74-м в звании вице-адмирала), и на губах Николаса мелькнула какая-то в то время мне еще непонятная усмешка, — можете его получить хоть сейчас. Крейсер на ходу, командой укомплектован, боезапас имеет-

ся». Когда я спросил у Николаса, могу ли я обратно в Малагу поехать на этом крейсере, то получил ответ: «Если не очень торопитесь и не очень дорожите своей шкурой, то можете ехать». Эта фраза меня сразу насторожила, но ее истинный смысл стал ясен несколько позже.

Пошли мы с Симоном Гарсия получать крейсер. Ну, думаю, получаю грозный боевой корабль с мощной артиллерией, с торпедными аппаратами, — с каким же шиком завтра к вечеру подойдем мы к нашей многострадальной Малаге! Боны раскрыты, на пирсе полно встречающего народа, играют духовые оркестры. Из-за отсутствия артиллерии начальник нашей морской базы Сан-Мартин производит салют из своего счетверенного пулемета — того самого, из-за которого едва не погибли чуть ли не все работники нашей миссии. Я стою на мостике рядом с капитаном крейсера и победоносно, свысока оглядываю встречающих. Будут среди них, конечно, и коронель Виальба с Марухой, но в ее сторону я даже и не посмотрю. Примерно такие мысли проносились в моей голове, когда, в сопровождении Рамишвили, я шел получать крейсер. Шел и думал: «Хорошо бы «Либертад», ведь после торпедирования «Мигеля Сервантеса» он стал флагманом флота республики!» Но нет. Симон Гарсия спокойно проходит мимо «Либертада». Промелькнули и «Мендес Нуньес», и другие крейсера, но пока все бортиком. Остался позади и длинный ряд эсминцев. Неужели успели построить еще один неизвестный мне крейсер? Навряд ли: ведь крейсер даже в мирное время строится несколько лет.

Но Симон шагает все дальше, а за ним — и уже с гораздо меньшим энтузиазмом — шагаю я. Потянулся длинный ряд небольших рыбацких суденышек, неизвестно как оказавшихся в акватории военной базы. Наконец Симон останавливается около одного из таких суденышек, по качающимся сходням поднимается на его палубу и приглашает меня следовать за ним.

«Вот ваш крейсер», — торжественно объявляет Симон. Растерянно озираюсь вокруг: моторно-парусный ботик, водоизмещением тонн на тридцать-сорок, на носу и буквально

на соплях установлена 35-миллиметровая полуавтоматическая противокатерная пушечка, к которой приделано самодельное устройство, позволяющее использовать эту пушку в качестве зенитной. Тут до меня дошел зловещий смысл слова «вспомогательный» и стала понятна сардоническая улыбка Николаса, как и отсутствие гарантии с его стороны относительно благополучного прибытия в Малагу.

От этого крейсера я с негодованием отказался, заявив, что таких «крейсеров» и в Малаге достаточно, а при желании можно и посолиднее и побыстроходнее найти. Высказал я Симону, а потом и Николасу свое мнение относительно хитроумных моряков, которые, пользуясь малозаконной морской терминологией, называют всякую дребедень военными кораблями и втирают этим очки малокомпетентным штатским и военным руководителям. Николас с Симоном меня выслушали, но менять этот крейсер на «Либертад» или хотя бы на «Мендес Нуньес» отказались. Со злости я даже отказался от приглашения поужинать с моряками, а только поделился своей обидой с другом — Лешей Перфильевым, который долго смеялся, когда я ему рассказал, как Николас облапошил нашего Креминга как фраера, подсунув ему в Валенсии на совещании на высшем уровне этот «вспомогательный» крейсер и отсутствующую 15-дюймовую пушку. Так и пришлось мне уехать несолоно хлебавши, и вместо возвращения в Малагу на грозном боевом корабле, с крепостной пушкой на палубе, ехать обратно на своем «бьюике».

В пути мой Пепе изрядно наслушался адресованных морякам весьма нелестных и, конечно, малоцензурных эпитетов и выражений. Когда по приезде в Малагу я все доложил Василию Ивановичу, то в первую минуту подумал, что его хватит удар, но все же железное здоровье Киселева, закаленное в огнях империалистической, гражданской и испанской войн, не подвело его, и он быстро отошел, ограничившись значительно большей, чем обычно, порцией крепких словечек в адрес моряков. Впоследствии Василий Иванович еще неоднократно ездил в Валенсию и, надо полагать, ставил там и вопрос о жульничестве Николаса, но тот, видно, оказался

Киселеву не по зубам. Мы и потом не получили ни пушек береговой обороны, ни боевых кораблей, что сыграло впоследствии немаловажную роль в том жестоком поражении на нашем секторе, закончившемся сдачей Малаги.

Наше командование, несмотря на значительное преимущество противника в живой силе и технике, все же не всегда ограничивалось обороной, а иногда предпринимало и тактические операции, дававшие некоторый успех. Среди них следует особо отметить взятие деревни Вертахама, проведенное 24 декабря 1936 года, под самое Рождество, а также взятие городка Велез-Беноудалья, клинившегося в линию нашей обороны, и ряд других менее значительных операций, беспокоивших противника и путавших его планы по ликвидации нашего сектора Южного фронта.

Одной из основных бед планирования наших операций являлась чрезвычайная трудность соблюдения строжайшей секретности, ведь ввиду значительного преимущества сил противника над нашими успех той или иной операции мог быть обеспечен только фактором внезапности. Требовалось, согласно учению наполеоновской тактики, суметь обеспечить в нужное время, на нужном участке фронта значительное преимущество. Для разработки тактических операций необходимо было участие значительного количества штабных и строевых офицеров, что, при наличии хорошо законспирированной агентуры франкистов, приводило к утечке секретной информации. Фашисты, как правило, знали время и направление наших ударов раньше, чем об этом узнавали сами строевые офицеры-исполнители.

Зная это, Киселев прилагал все усилия к ограничению круга разработчиков наступательных операций до минимума. Под его руководством была спланирована операция по уничтожению значительной группировки фашистов, сжимающих кольцо нашего окружения юго-западнее городков Мотриль и Марбелья. В этом месте перешеек, соединявший Малагу с остальной республикой, был очень узким. Было решено навязать здесь противнику небольшие бои местного значения, заманить фиктивным отступлением на самое

побережье Средиземного моря, а в это время скрытно подошедший морской флот Республики должен был обрушить на фашистов всю мощь своей артиллерии и полностью их уничтожить. Здесь самым секретным было время операции, дислокация сосредоточения флота и время начала артогня кораблей. Ведь если бы фашисты узнали о дислокации флота в этой операции, им достаточно было бы заминировать место его предполагаемого сосредоточения, провести массированный авиационный налет, и это привело бы к полному уничтожению кораблей, а прорвавшиеся к морю фашистские части, вместо того чтобы найти свою гибель, завершили бы полное окружение Малаги.

В процессе разработки этой операции Киселевым были приняты все меры для устранения возможности утечки информации. К участию в планировании были допущены только особо проверенные офицеры, преимущественно коммунисты. Для дезориентации противника большой группе штабистов в это же время было срочно поручено разработать наступательную операцию совсем на другом участке фронта, словом, все, что можно было сделать для соблюдения секретности, было сделано. Все документы по операции Мотриль—Марбелья находились постоянно в личном сейфе Киселева на нашей вилле, и, кроме него лично, никто к ним доступа не имел. Требовалось, чтобы после окончательного установления сроков операции этот документ был немедленно доставлен в Картахену и вручен лично Николасу, причем абсолютно надежным курьером, ибо если этот документ попадет к фашистам и они, сняв с него копию, сумеют уговорить курьера вручить этот пакет Николасу, то весь флот, участвующий в операции (а по замыслу в операции должно было участвовать не менее 60—70% всех боевых кораблей Республики), может быть уничтожен.

Не доверяя доставку пакета никому из испанцев, Киселев решил поручить это мне. Я, конечно, не знал всех деталей операции, но в общих чертах был с нею знаком и прекрасно понимал важность этого документа. Как назло, к этому моменту мой «бьюик» с более-менее проверенным шофером-коммунистом Пепе оказался на ремонте (сейчас

я не исключаю и того, что этот ремонт был частью заранее подготовленной шпионской диверсии), и мне дали штабной «кадиллак» с молодым сержантом-шофером.

Получив от Киселева пакет с пятью(!) сургучными печатями, я тщательно завернул его вместе с гранатой-«лимонкой» в бумагу, оставив только свободный доступ к чеке гранаты, а сам сверток спрятал под курткой, на груди. Расположил я его так, что во все время поездки держал указательный палец в кольце чеки, и в случае крайней необходимости, выдернув чеку, мог мгновенно уничтожить пакет (конечно, вместе с собой и ближайшим окружением). Заверив Киселева, что пакет я вручу только лично Николасу, я продемонстрировал (конечно, без выдергивания чеки) возможность уничтожения пакета и, попрощавшись с нашими, спустился с Киселевым вниз, к машине. «Охрану дать?» — спросил полковник. От охраны я решительно отказался, так как стопроцентной уверенности в ее преданности у меня быть не могло, а пакет был таким лакомым кусочком, что за него фашисты не пожалели бы и миллионов. Тут ведь и ангел мог бы соблазниться, а не только наши штабные работники, среди которых были и скрытые фашисты, и просто авантюристы. Киселев тоже понимал, что ненадежная охрана это еще хуже, чем совсем без охраны, и что проще справиться с одним шофером, чем с ним и несколькими охранниками, и поэтому не стал настаивать на своем предложении.

На прощание Киселев еще раз напутствовал меня: «Смотри, Лева, пакет должен быть вручен только лично Николасу — и лучше граната, чем фашисты». Я уселся в просторную машину на заднее сиденье, и мы покатили.

Надо сказать, что в ту тревожную пору времени для отдыха у меня оставалось совсем немного, спать приходилось не более трех-пяти часов в сутки, да и то нерегулярно, так что если уж выдастся несколько свободных часов, то, конечно, единственным подходящим занятием было вздремнуть.

Плавно качается на шипящем гудроне комфортабельная машина, я сижу на мягком заднем сидении. Левая рука за пазухой, держит кольцо, правая в кармане около пистоле-

та. Неодолимо клонит в сон, веки сами смыкаются. Шофер время от времени твердит: «Спите, синьор капитан, дорогу я прекрасно знаю, к утру будем в Картахене». Скорость 100—110 км в час. Дорога пустынна, лишь на поворотах фары засвечивают оливковые и апельсиновые рощи с белыми домиками, просвечивающими сквозь чащу. Справа мерно рокочут волны Средиземного моря. Стараюсь сбросить с себя сонное оцепенение, но это не всегда удается, время от времени я как бы проваливаюсь в какую-то темноту, но потом все-таки срабатывает сознание, и голова рывком поднимается. Заняться нечем, курить я в то время еще не научился, так и едем. В придорожных городках и селениях жизнь уже замерла, даже кабаки закрыты, на улицах ни души. «Спите, спите, синьор капитан», — все время уговаривает шофер, и повторяет это так часто, что вместо убаюкивания заставляет меня насторожиться. Проехали Мотриль, Марбелью. Луны нет, темно как в могиле, только виден засвечиваемый фарами участок дороги перед машиной. Проехали военный пост, но магический пропуск генштаба на ветровом стекле и поднятый сжатый кулак шофера при восклицании «эстадо майор» («генштаб») делают в испанских условиях остановку машины и проверку документов ненужными, и мы, почти не сбавляя ход, мчимся мимо поста дальше.

После Мотриля и Марбельи мы должны были ехать почти прямо на север, а море остается далеко справа, и его уже не слышно. Должны ехать по территории Республики, все время удаляясь от передовой. Вдруг при повороте наши фары выхватили стоящие на обочине дороги фургоны с красными крестами в белых кругах и стреноженных около фургонов мулов. Сон сразу как рукой сняло, думаю: мы должны удаляться от линии фронта, а санитарные фургоны могут находиться только в непосредственной близости от передовой. В чем дело? Еще раз спрашиваю у шофера, правильно ли мы едем, а он уверенно отвечает: «Спите спокойно, капитан, я в этих местах родился и дорогу знаю прекрасно. Все в порядке». Промелькнул еще один военный пост. «Эстадо майор!» и поднятый кулак шофера сделали свое дело. Никто и не пытался нас остановить,

а ведь это, как потом выяснилось, был наш последний пост, после него уже начиналась ничейная зона.

Дорога пустынна. Время — около двух часов ночи. Спать вовсе не хочется, гложет какая-то смутная тревога. Что-то не так, уж больно подозрительны эти санитарные фургоны. И никого на шоссе нет, не спросишь, правильно ли едем? Вдруг с края шоссе появляется одиноко стоящий мальчик лет семи—восьми. Что он мог делать, один на дороге, в два часа ночи, одному Богу известно, единственное объяснение, что сработала молитва покойной бабушки из Сан-Педро-Алькантера, и Мадонна послала этого мальчика, чтобы спасти меня, ибо не появись он именно в это время, на этом месте, то пришлось бы мне воспользоваться гранатой со всеми вытекающими последствиями. «Пара ла коче» («Останови машину»), — командую я шоферу, и, видя, что он не торопится это делать, мгновенно достаю пистолет и упираю дуло шоферу в затылок, одновременно изготовившись в случае необходимости взять на себя управление. Это сразу подействовало, и машина, скрипнув тормозами, остановилась около мальчика.

«Пошевелишься — застрелю», — предупреждаю шофера и, подозвав к себе мальчика, спрашиваю: «Донде ла каритера?» («Куда эта дорога?»). — «А Гранада» («В Гранаду»), — отвечает мальчик. Это значит, что мы от Мотриля, вместо того чтобы ехать на север, свернули на северо-запад и находимся в непосредственной близости от линии фронта. «Серко ла Гранада?» («Близко ли Гранада?»), — продолжаю я разговор с мальчиком. «Синько километрос» («Пять километров»), — отвечает мальчик. Из последней утренней сводки по Южному фронту мне было известно, что линия фронта проходит в этом месте на расстоянии шести километров от Гранады. Значит, мы едем по ничейной территории, прямо в лапы к фашистам, уже более километра!

Шофер, бесспорно, предатель; зная, какой важности я везу документ, он после Мотриля, вместо того чтобы ехать прямо на Алькантерию, свернул налево — на Гранаду, занятую фашистами. Фашистский пост, находящийся впереди, конечно, давно уже увидал мчавшуюся в его направлении

машину со включенными фарами и, без сомнения, встретил бы нас как положено, и тогда уже неизбежно мне пришлось бы пустить в ход гранату. Спасибо мальчику, спас и меня, и пакет, и даже этого мерзавца-шофера.

Не убирая пистолета с затылка предателя, я другой рукой расстегнул его кобуру, забрал пистолет, затем вытащил из ножен его «наваху» (нож) и также спрятал у себя. Обезоружив шофера, командую: «Вольта» («Кругом!»). Только шофер начал разворачиваться на шоссе, как метров с 500—600 резанула пулеметная очередь. Фашисты, поначалу решившие, что к ним едет перебежчик, теперь поняли, что это просто заблудившаяся машина, а так как держали ее на мушке давно, то при попытке развернуться они и открыли огонь. К счастью, очередь прошла несколько выше и вреда нам не причинила, а в следующее мгновение мы уже мчались в обратном направлении вне досягаемости фашистских пулеметов.

Шофер был бледен как мел: «Извините, синьор капитан, заблудился!». Я же, не убирая пистолета от его затылка, думаю: «Сволочь ты, предатель и гад! Решил на моей жизни и жизнях всех наших товарищей заработать?». Скоро пост. Остановиться и сдать его как фашистского агента постовым. Потребуется вызов начальства, допросы шофера и меня, нежелательные вопросы о цели моей поездки, поиски нового шофера, а времени до моей обязательной явки в Картахену осталось часов пять-шесть, расстояние же, учтя крюк в Гранаду, — километров пятьсот, если не более. Не поспею вовремя в Картахену — сорвется вся, столь тщательно готовившаяся, операция. Шофера, конечно, расстреляют, но не миновать больших неприятностей и мне. А с другой стороны, уж больно не похож этот простой испанский парень на заядлого фашиста или на профессионального шпиона, да и если задуматься, то что ему мешало, пока я дремал до Мотриля, оглушить меня гаечным ключом, связать, сунуть кляп в рот и спокойно тем же путем привезти в Гранаду?

С одной стороны, мне лично ничего особенно серьезного не грозило даже в случае срыва операции: шофера я не выбирал, пакет к фашистам не попал, все от меня зависящее для того,

чтобы доставить пакет вовремя, я сделал. А с другой стороны, и парня жаль: правда, он меня не пожалел, обрекая на мучительную смерть в фашистских застенках, но все же труднее будет потом жить, имея на своей совести смерть этого парня, чья жизнь сейчас зависела только от меня. И разве я контрразведчик, чтобы ловить шпионов и диверсантов? Под влиянием матери, внушавшей нам: «Не делай другому того, что не хочешь, чтобы сделали тебе», христианская концепция («Прости врагов своих!») всегда брала во мне верх над иудейской («Око за око, зуб за зуб!»), и обрекать по своей воле человека, пускай и врага, на верную смерть мне было не по силам. Все эти мысли мелькали в моей голове, пока шофер под дулом моего пистолета медленно вел машину обратно к республиканскому посту, где его могла ожидать только неминуемая смерть.

И тут мгновенно пришло решение. Я приказал шоферу остановиться и, не отпуская пистолета, сказал: «Ты мерзавец и предатель. Ты вполне заслуживаешь пулю, которую ты можешь получить через пару часов около первого же нашего поста. Но я дарю тебе жизнь. Мы должны быть в Картахене у штаба флота в 7 часов 45 минут. По твоей вине у нас осталось всего пять часов времени, около пятисот километров отделяют нас от Картахены. Доставишь меня туда к сроку — отпущу на все четыре стороны, но только больше не попадайся мне на глаза, опоздаешь — пеняй на себя, сдам жандармам без всякой жалости».

От удивления у шофера чуть не вылезли из орбит глаза. Сперва он заплакал, потом что-то начал бормотать насчет Мадонны, которая почему-то должна меня отблагодарить, и даже пытался поцеловать мою руку, державшую у его затылка пистолет. Я ответил, что вряд ли Мадонна станет меня благодарить за спасение жизни такого негодяя и предателя, а за попытку добраться до руки с пистолетом так ударил его по лбу рукояткой, что у него вздулся синяк не хуже, чем у меня на пляже в Ялте, когда я проиграл в очко Савве Ирошникову сто щелчков в лоб.

Предупредив шофера, чтобы он не смел больше оборачиваться в мою сторону и прекратил поток благодарностей, я велел ему гнать машину в Картахену. В сон меня, понятно,

уже больше не клонило. В 7 часов 40 минут, за пять минут до назначенного мною срока, мы подъехали к подъезду главного морского штаба в Картахене. Мертвенно-бледный шофер выскочил из машины, открыл дверь и замер в ожидании, выполню ли я свое обещание или, оказавшись в безопасности, все же сдам его в жандармерию. Я молча вылез и произнес только одно слово: «Льявес!» («Ключи!»). Он их мне тут же отдал и даже не сразу отреагировал на мое обращение: «Убирайся!», заставив его повторить с некоторыми дополнительными эпитетами. Он никак не мог до конца поверить, что я оставил ему в живых. Когда в ответ на мои ругательства он посмотрел на меня, в его глазах видны были слезы. «Грасиас, амиго» («Спасибо, друг»), — чуть слышно прошептал он и исчез в толпе прохожих.

Я до сих пор не жалею о своем поступке, пусть и не совместимом с требованиями бдительности, которые всегда ставили у нас во главу угла, и воспоминание о его слезах и «грасиас амиго» до сих пор вызывает у меня хорошие чувства. Думаю, что этот испанский парень, если он жив, не забыл, что его ровесник из Советского Союза, в ответ на его предательство, оставил его в живых, и не думаю, чтобы он из этого не извлек для себя урок.

Разумеется, никому из наших руководителей я об этом случае не рассказывал. Ровно в восемь ноль-ноль я вручил Николасу, лично в руки, запечатанный пакет; он при мне его вскрыл, прочитал и разрешил возвращаться обратно. Отдохнув после такого нервного рейса пару часов на койке Леши Перфильева, я пошел в штаб и заявил, что у меня дезертировал шофер. Мне дали другого шофера, и мы с ним сразу же отправились в Малагу.

11

Не доезжая до Малаги километров шестьдесят, я увидел, что у самого берега моря, как-то необычно боком, на прибрежных камнях, лежал небольшой пароход, водоизмещени-

ем порядка тысячи тонн. С левого борта у него, чуть ниже ватерлинии, зияла огромная пробоина. По-видимому, пароход был в пути торпедирован, но у него хватило плавучести дойти до берега и выброситься на камни. По всей вероятности, второй торпеды у фашистов не было, что и позволило несчастному совершить свой рискованный маневр. Правым бортом пароход лежал почти на берегу, с берега на палубу были положены сходни, и по ним грузчики таскали какие-то мешки прямо на стоявшие неподалеку грузовики. Только по приезде в Малагу я узнал, какую роковую роль сыграл этот пароход в жизни наших товарищей.

Подъехав к нашей вилле, я с удивлением увидел на ее флагштоке, а также на находящемся напротив отеле «Калета», где помещался командующий сектором коронель Виальба со своим штабом, приспущенные флаги Испанской республики. Первым встретил меня Василий Иванович. Доложив ему о результатах поездки, я спросил, что здесь произошло? Оказалось, что в воздушном бою погиб советский доброволец — летчик Казимир (Антон Ковалевский). Ему пришлось одному сражаться с двумя «Капрони». Когда Казимир долетел до места, один «Капрони» уже отбомбился и улетел. Пароход стоял на месте, правда, все работы по разгрузке были приостановлены, и все грузчики и шоферы спрятались кто где мог, а второй «Капрони», не ожидая никаких сюрпризов, спокойно делал заход, чтобы положить очередную серию бомб, небольших, килограммов по пятьдесят, на беззащитный, полузатонувший пароход. Видимо, итальянец не был предупрежден о наличии в Малаге истребительной авиации и поэтому действовал весьма нахально и самоуверенно. Для увеличения точности бомбометания «Капрони» снизился метров до трехсот, и легкомысленные итальянцы настолько увлеклись своей работой, что перестали следить за небом.

Опытный Казимир сразу оценил обстановку, зашел на большой высоте с солнечной стороны и спикировал на не ожидавший такой атаки «Капрони», и после первой же очереди Казимира из «Капрони» пошел густой черный дым, и он попытался уйти от истребителя. Тут Казимир совершил

роковую ошибку: вместо того чтобы, выйдя из зоны обстрела «Капрони» (кстати, с этим типом самолетов наши летчики, воевавшие до этого в Центральной Испании, где морской авиации не было, совершенно не были знакомы и не знали расположения огневых точек «Капрони» и его возможных углов обстрела), еще раз атаковать его и добить до окончательного падения на землю, Казимир решил, что все уже кончено, и зайдя своей жертве с брюха, захотел сфотографировать свой очередной, восьмой или девятой, трофей. А у «Капрони», оказывается, имелась не то постоянная, не то выдвижная пулеметная точка в нижней части фюзеляжа, с точки зрения истребителя — самой незащищенной части самолета. Не знавший этой особенности «Капрони», Казимир попал под пулеметную очередь не более чем с 30—50 метров, и фашистский пулеметчик буквально прошил Казимира пополам. Впоследствии, при осмотре, в его теле обнаружили пять или шесть пулевых ранений. Казимир был убит мгновенно, а его самолет, сделав несколько невероятных фигур в воздухе, врезался в прибрежные скалы.

Так трагически погиб бесстрашный советский доброволец летчик Казимир — Антон Ковалевский, храбрый боец, пламенный патриот своей Родины, убежденный интернационалист, верный товарищ и хороший человек. Погиб частично из-за стечения целого ряда неблагоприятных обстоятельств: надо же было, чтобы у его ведомого, испанского летчика Хосе, на взлете открылся капот мотора, и Казимир оказался один на один с незнакомым по конструкции, до зубов вооруженным «Капрони», которых могло быть и две штуки. Погиб частично из-за господствовавшего в то время недоверия к людям, которых заставляли документально подтверждать совершенные ими подвиги. Сбил вражеский самолет, если нет свидетелей — представь фотографии. Даже бомбардировщикам устанавливали запломбированный перед вылетом киноаппарат, включающийся от бомбосбрасывателя, чтобы можно было потом проконтролировать показания летчиков о результатах бомбежки. Погиб Казимир частично из-за недостаточной информации о тактических

свойствах самолетов, с которыми приходилось вести бой, частично из-за своей неосмотрительности и самоуверенности. Ведь в те времена повсеместно бытовало такое мнение: раз самолет, с которым ведешь бой, задымил, значит ему конец, а оказалось совсем не так: дымящий «Капрони», сбив Казимира, благополучно ушел, причем еще неизвестно, то ли у «Капрони» уже в то время было приспособление для сбрасывания горящего бензобака, то ли хитрый итальянский пилот, чтобы отвязаться от насевшего истребителя, нарочно зажег дымовую шашку, имитирующую горящий бензобак, а мы потеряли одного из лучших наших летчиков, нашего дорогого Казимира, не говоря уже о самолете И-15, которых у нас теперь осталось всего четыре штуки.

Вся эта трагическая история была мне поведана, когда я по возвращении из Картахены увидел на нашей резиденции-вилле «Консуэла» приспущенные национальные флаги Испанской Республики. Ввиду того, что участие советских добровольцев в Испании считалось в то время делом совершенно секретным (несмотря на то что, кроме Советского Союза и самой Республики, во всей зарубежной прессе печатались подробные отчеты и фотографии о деятельности советских людей в республиканской Испании), было решено устроить Казимиру скромные похороны с участием только членов нашей миссии и наиболее тесно связанных с нами испанских товарищей. С тяжелым чувством ложились мы спать в ту ночь. Несмотря на сильную усталость после трудной дороги и всех передряг моего опасного путешествия, я почти не сомкнул глаз, ведь, несмотря на не очень длительное знакомство, все наши летчики, в том числе и Казимир, были нам очень близки, а для меня лично это была первая потеря, которую я пережил в Испании.

Рано утром, после завтрака, к которому, конечно, никто не притронулся, мы все, во главе с Василием Ивановичем, с вполне понятным, подавленным настроением отправились в военный госпиталь, в морге которого лежал наш погибший товарищ, чтобы отдать ему последний долг. При подъезде к госпиталю мы вынуждены были остановить машины, ибо

все подходящие к нему улицы были буквально запружены народом. Солдаты и матросы, старики и женщины с детьми на руках в скорбном молчании стояли или медленно двигались по направлению к госпиталю. Виднелись знамена всех партий Народного Фронта, на скорую руку написанные лозунги и плакаты и окаймленные траурной каймой портреты. Когда высунувшаяся из окна машины переводчица Маша Левина спросила у ближайших людей, в чем тут дело, ей ответили: «Неужели вы не знаете, что вчера, защищая наших женщин и детей, погиб советский летчик Казимир, и теперь вся трудовая красная Малага вышла на улицу отдать ему последние почести?»

Мы были очень удивлены, откуда весь город так быстро узнал о гибели Казимира, но стало ясно, что вместо скромных похорон в узком кругу состоится всенародная демонстрация солидарности с Советским Союзом. Кто организовал такую массу людей, так и осталось для нас тайной, но, по-видимому, здесь дружно сработали руководители всех партий Народного Фронта. Было все: знамена, венки, море цветов и даже неизвестно откуда взявшиеся (даже у нас их не было) большие портреты Казимира. Почти у всех в руках были типографским способом отпечатанные листовки с его портретом и кратким описанием боевой работы летчика в Испании.

Узнав, кто мы такие, толпа сразу же расступилась, и мы беспрепятственно проехали к госпиталю. Казимир лежал в гробу, обитом красным бархатом. Около гроба — почетный караул всех партий. Стояли как каменные, с винтовками на караул. Склоненные знамена и цветы, цветы, огромные алые розы. Мимо гроба проходят люди — очень много людей. Маленьких детей берут на руки, взрослые проходят, подняв сжатую в кулак правую руку. И каждый кладет к подножию гроба все новые и новые цветы. И никакой музыки — в Испании это не принято. Распорядители похорон уже нас ждали. Гроб поставили на пушечный лафет, запряженный шестеркой белых лошадей. На улице выстроился траурный кортеж: впереди эскорт — взвод пехоты, лафет с гробом, взвод морской пехоты, за ним руководители всех партий, во-

енное командование, а дальше — колонны людей, как организованные заранее, так и приставшие по дороге. Тут уже появились и оркестры, играющие траурные мелодии.

Процессия растянулась более чем на километр. По испанской военной традиции движение похорон происходило очень медленно. Эскорт (а за ним и вся процессия), делает несколько шагов, а затем остановка по стойке «смирно». Затем опять несколько шагов вперед, и опять остановка. Поскольку такая церемония нами не предусматривалась, а предполагались скромные похороны в узком кругу, которые должны были занять не более трех-четырех часов, то всему составу нашей эскадрильи было разрешено участвовать в похоронах. Но тут похороны вылились во всенародную демонстрацию трудящихся Малаги, и возникла опасность, что фашисты, используя создавшуюся ситуацию, могут организовать массированный авиационный налет на траурный кортеж, что повлечет за собой большое число жертв, и Василию Ивановичу пришлось распорядиться, чтобы летчики немедленно ехали на аэродром и по очереди, по два самолета, барражировали в воздухе над городом, чтобы в случае опасности сразу же вступить в бой со внезапно налетевшим противником. С большой неохотой, но понимая жестокую необходимость этого, пилоты и механики простились с товарищем и уехали на аэродром. Минут через сорок над процессией уже появились два наших истребителя. У Василия Ивановича сразу же отлегло от сердца: теперь фашистские стервятники не смогли бы безнаказанно убивать трудящихся Малаги, провожающих в последний путь своего погибшего защитника.

Самолеты беспрерывно кружились над городом, порой проводя каскады фигур высшего пилотажа. Неизвестно почему, возможно, потому что информаторы еще не успели сообщить своим шефам о возможности богато поживиться человеческим мясом, но фашисты в тот день ни разу не прилетали, и похороны Казимира прошли без печальных происшествий. На пути следования процессии, помимо традиционных остановок через несколько шагов, было еще

несколько более длительных остановок из-за стихийно возникших митингов, на которых выступали не специально подготовленные ораторы, а просто все желающие, большей частью женщины.

На кладбище прибыли уже во второй половине дня. Испанские кладбища как по территории, так и по способу захоронения, существенно отличаются от наших: земля в Испании ценится очень дорого, и позволить себе роскошь хоронить своих близких в отдельной могиле может далеко не каждый. Наиболее состоятельные имеют свои фамильные склепы, а для остальных по всей территории кладбища воздвигнуты кирпичные, снаружи бетонированные стены с ячейками, в которые вдвигаются гробы с покойниками. Затем с торца крышки ячеек замуровываются цементом и для большей надежности закрываются на замок, ключ от которого вручается ближайшим родственникам покойного. Таким образом, в одной такой стене, на месте которого, по нашим нормам, можно похоронить человек семь-восемь, в Испании свободно хоронят человек пятьдесят-шестьдесят.

В зависимости от расположения ячейки и удобства дальнейшего к ней доступа (около каждой такой ячейки имеется полочка, на которую можно ставить свечи и класть цветы) колеблется и цена захоронения. Казимира мы похоронили на самом почетном месте, у входа на кладбище. Гора венков и живых цветов легла около стены. Перед замурованием в стену гроба состоялся большой траурный митинг, на котором с горячими речами выступили все руководители Народного Фронта Малаги. Последним произнес краткую речь Василий Иванович. Он говорил по-русски, а Маша Левина переводила на испанский. Под звуки Интернационала гроб вдвинули в ячейку стены. Каменщик быстро замуровал крышку ячейки. Ключ взял с собой Василий Иванович. С тяжелым сердцем возвращались мы с похорон домой. Единственным утешением для нас было то, что в Испании высоко ценят своих подлинных друзей и защитников, сынов и дочерей Советского Союза, раз на похороны рядового бойца вышел весь город, бросив все дела и заботы.

ИСПАНИЯ: МАЛАГА —АЛЬМЕРИЯ — ВАЛЕНСИЯ

Падение Эстепоны. — Эвакуация мирного населения Малаги. — Перебои с электричеством. — Замурованный сейф. — Бегство из Малаги. — Митинг в Монтриле. — Гибель наших самолетов. — Отдых в Валенсии. — Миссия английского Красного Креста. — Отель «Симон» в Альмерии. — Гаванские сигары. — Приключение с пчелами. — Линкор «Хаиме Примейро». — Моряки Аннин и Лабудин. — Обстрел Альмерии немецкой эскадрой. — История с английским эсминцем. — Прибытие зенитной батареи. — Альмерийские блохи. — Увлечение фотографией. — Генерал Гомец. — Потеря линкора. — Приказ о возвращении на Родину. — Валенсия, покупка подарков. — Пароход «Фердинанд Магельянос». — Знакомство с будущим маршалом артиллерии Н. Н. Вороновым. — Разговор с Лешей Перфильевым. — Отплытие. — Странный прием на Родине.

1

Шло время, подходил конец января 1937 года. События на боевых участках нашего сектора складывались для нас явно неблагоприятно. Одним из первых пал наш оплот на крайнем юго-западе Средиземного моря — город Эстепона, отстоящий от Малаги километров на сто. Из-за очень напряженного положения на наших северных участках, командование не могло выделить сколько-нибудь серьезных сил для обороны этого очень для нас важного пункта. Не было в Эстепоне (как, впрочем, и в Малаге) никакой морской обороны, полностью отсутствовала и противовоздушная: наши несчастные четыре «истребка» не могли, конечно, хотя они и работали буквально полный световой день, прикрыть еще и Эстепону.

В одно январское утро фашисты начали операцию по захвату города с массированной бомбежки. Беззащитный городишко сперва волнами бомбили тридцать самолетов

Ю-52, а затем с тринадцати транспортов был высажен многочисленный десант, и наши полупартизанские, вооруженные чуть ли не дедовскими дробовиками формирования вынуждены были оставить город. Поскольку на побережье Средиземного моря, к северо-востоку от Эстепоны, отсутствовали какие бы то ни были естественные преграды (реки, ущелья и пр.), то остановить рвущегося к Малаге противника нашими силами было практически невозможно. С ходу фашистами были заняты Сан-Педро-Алькантера (о котором я уже писал выше) и целый ряд других пунктов на побережье.

Фронт теперь подступал к Малаге с юга почти вплотную. На северном участке нашего сектора фашистам удалось взять в окружение полуторатысячную группировку наших войск в районе Алора. Этой группировке пришлось с боями продвигаться к северу (на юг, к Малаге, не пускала сложившаяся обстановка), в неблагоприятные условия горных массивов, где обороняться от фашистов стало гораздо легче, но где ни продовольствия, ни боеприпасов и оружия достать было нельзя. Впоследствии с большими трудностями и потерями группа все же прорвала фронт противника и через полтора месяца после сдачи Малаги присоединилась к своим в районе юго-западнее Альмерии.

Потеря Алоровской группировки, в которой находились наиболее боеспособные и хорошо вооруженные формирования, преимущественно коммунисты, сильно повлияла на обороноспособность Малаги. В начале февраля фронт подошел уже почти вплотную к городу. Несмотря на самоотверженность и храбрость защитников города, оборонять его уже не было никакой возможности. Единственное естественное препятствие — ущелье в районе Кольминар-Вьехе, мост через которое взорвал и, надо полагать, вполне квалифицированно, лично Артур Спрогис, — оказалось настолько узким, что буквально через день немецкие саперы Франко навели через него новый мост, по которому тут же прошли танки, создавшие реальную угрозу нашим войскам, оборонявшим Малагу на дальних подступах. Возникла опасность выхода танковых частей противника к городу мимо наших главных

линий обороны. Пришлось еще уже сомкнуть кольцо обороны города и вести бои непосредственно у его западных и северных окраин. Свободным от фашистов оставался только узенький проход на северо-восток, по побережью Средиземного моря. Фашисты как бы намекали: «Вот вам последний путь отхода, торопитесь, пока и его не закрыли».

Между прочим, такую тактику они в Испании применяли часто. Понимая, что война идет гражданская, война не на жизнь, а на смерть, и что в полном окружении республиканцы будут драться с ожесточением, до последнего патрона, фашисты порой умышленно не замыкали полностью кольцо окружения, оставляя узкий выход в выгодных для себя и невыгодных для республиканцев направлениях. Когда солдат видит хоть какой-то шанс выжить, то он в последнюю минуту все же бросится к спасительному выходу. Тут-то фашисты и наносят по отходящим частям всю мощь заранее подготовленного огня, достигая порой при этом более полного уничтожения противника, чем при боях в окружении. Такую тактику применили они и в боях под Малагой.

Несмотря на возможность полного замыкания кольца окружения, выход из города в северо-западном направлении был пока открыт. Но Малага фактически была обречена. Уже несколько дней в порту находились аргентинский, мексиканский и английский пароходы, специально посланные правительствами для эвакуации своих подданных. Собрался уехать и секретарь конфедерации анархистов Каро; незаметно стали исчезать и некоторые офицеры штаба, ранее не вызывавшие ни у кого подозрений. Пропала и прекрасная Маруха, о чем, правда, и сам коронель Виальба не слишком печалился: узнав об ее исчезновении, он сразу же заявил, что ни к какой другой работе в штабе, кроме постельной, она не привлекалась.

Эвакуация мирного населения шла полным ходом. Город, в котором почти 20% составляли коммунисты, не мог рассчитывать на теплое отношение со стороны франкистов, повсюду безжалостно расстреливавших всех заподозренных в симпатиях к красным. Люди побогаче уезжали на своих

автомобилях, оставляя все имущество, поскольку даже слово симпатии или пожертвование в фонд Республики могло в это горячее время послужить достаточным поводом для расстрела всей семьи (по фашистским законам, все имущество казненных за сопротивление режиму Франко переходило в собственность его правительства), а о бедноте, семьях солдат-добровольцев Республики и говорить не приходилось: их расстреливали почти поголовно.

Все чаще стали встречаться на улицах характерные группы: идет солдат (безусловно, дезертир), одной рукой толкает тележку, нагруженную скудным скарбом, а другой держит ребенка годовалого или меньше, а ребятишки постарше передвигаются сами, держась либо за мамкину юбку, либо за отцов пояс. Винтовку обычно несет жена, дулом вниз. Все семейство покрыто густой пылью, все истощены и наверно уже давно ничего не ели. Как правило, это беженцы из окрестных деревень. По закону дезертира надо арестовать и расстрелять, но как это сделаешь, если его родное село занято фашистами, его родственники расстреляны, его жена с детьми чудом успела уйти из-под носа озверевших палачей? Как теперь солдат бросит свою семью на произвол франкистов?

И вот бредут такие дезертиры, понурив головы, по дорогам отступления, и ни у кого из патрульных не хватает сердца вырвать у него из рук детишек, а самого поставить к стенке. Собственно, сплошной линии фронта уже нет, а есть лишь отдельные очаги борьбы, уцелевшие участники которой подтягиваются к западным окраинам Малаги.

Полковники Киселев и Виальба прекрасно понимали полную невозможность организации какой-либо обороны города наличными средствами. Надеяться на подкрепления тоже не приходилось, ибо, во-первых, их просто не было у республиканцев, а если бы они и нашлись, то их все равно не удалось бы перебросить по узкой прибрежной дороге, простреливаемой и сверху, с гор, и снизу, с моря, навстречу сплошной лавине неорганизованных беженцев, многие из которых были вооружены, и на всякую задержку эвакуации своих семей могли бы ответить огнем.

Все эти соображения Василий Иванович уже давно сообщил командованию в многочисленных шифровках, из-за передачи которых у нас с Бабенко не оставалось времени не только поспать, но и поесть. Но, судя по поведению Киселева, в Валенсии страшились даже мысли о том, что Малага может быть сдана фашистам! Несмотря на то что полная невозможность ее обороны уже была ясна всем, отдать своевременный приказ об ее оставлении ради спасения наибольшего количества солдат и мирного населения командование все не решалось. После потери Толедо падение Малаги стало бы самым чувствительным ударом для республиканцев с начала войны. Никаких естественных препятствий на пути к Малаге не было, и задержать мятежников, ободренных предстоящей добычей — одним из богатейших городов-курортов Испании, — было уже невозможно. Марокканцы, отошедшие в андалузском тепле от суровых кастильских морозов, вспомнили, что их предки когда-то владели этим сказочным краем. Ведь почти в каждой марокканской семье хранился, как священная реликвия, ключ, которым их далекие предки замыкали свои дома в Кордове, Севилье или Малаге. Все это усиливало пыл этих головорезов, и они перли на пулеметы республиканцев, не считаясь ни с какими потерями (тем более что, по мусульманскому поверью, в рай после боя не попадают только зарезанные железом, а для убитых пулей или осколком снаряда в рай — прямая дорога).

Фашисты уже настолько обнаглели, что даже перестали бомбить Малагу. Их самолеты непрерывно висели над городом, иногда пролетая бреющим полетом, во время которого нет-нет да выпустят в скопление мирных людей пулеметную очередь, оставив на земле несколько трупов, но все были настолько заняты проблемами эвакуации, что на такие «мелочи» даже внимания не обращали. Как назло и наши «истребки» уже не могли больше бороться с фашистской авиацией: небольшая речка, протекающая возле аэродрома, на котором они базировались, в результате сильных дождей вышла из берегов и затопила его большую часть. Поэтому каждый взлет был связан с серьезным риском и чрезмерным расхо-

дом горючего, которого оставалось в обрез, а на пополнение запасов рассчитывать не приходилось, а ведь еще надо было думать и об эвакуации нашей авиации при сдаче города. От дождей аэродром размокал все больше и больше, и оставался лишь небольшой сухой пятачок, на котором совершенно открыто стояли самолеты. До сих пор не могу понять, почему фашисты не уничтожили их прямо на земле! Вероятно, они понимали, что существенного вреда «истребки» принести уже не смогут, и рассчитывали, что мы или сами их уничтожим, или, благодаря какой-либо случайности или диверсии, им удастся захватить самолеты в неповрежденном виде.

Серьезно затруднилась и связь с Валенсией: стало известно, что все переговоры, которые мы вели открытым текстом на быстродействующих аппаратах «Юз» или «Телетайп» (причем их всегда вел я сам и всегда забирал с собой контрольные ленты), становились известны фашистам (о чем донесла агентурная разведка). Или в самой Малаге имелись предатели, записывающие наши переговоры на параллельный аппарат, или, что более вероятно, где-то на телеграфной линии (а ее длина была около тысячи километров) кто-то, подключаясь прямо в нее, записывал на такой же, как у нас, аппарат наши переговоры. Поэтому был отдан строжайший приказ: для оперативной связи с Валенсией пользоваться только шифровками. Тут-то и досталось работы нам с Васей, причем не столько мне, сколько ему. А обмен информацией с Валенсией все рос, и от нашего Васи осталось только пол-Васи, а то и четверть, потому что и питание у нас резко ухудшилось.

Снабжением заниматься было некому: наша верная повариха Тринида заявила Киселеву, что ей больше у нас делать нечего, и отправилась в свой коммунистический батальон к своему любимому «аметреадору». Самое скверное было то, что постоянно возникали проблемы на городской электростанции, а ведь моя «музыка» могла работать только от сети переменного тока. Это вызывало задержки радиограмм, приходилось буквально ловить часы подачи электроэнергии. Как-то сижу под вечер за очередным радиосеансом, и вдруг вбегает шифровальщик Вася, бледный как смерть, и чуть ли

не трясется весь: «Знаешь новость, Лева? В порту “Канариас”, пушки наведены на город. Пришвартовался к причалам, но десанта пока не высаживает». У меня аж в глазах потемнело: «Все, конец, — не сейчас, так через час или два десант будет высажен. До порта от нас около километра, и адрес наш фашисты, конечно, знают». Хотели эту новость сообщить в Валенсию, но как назло ток опять выключили; электростанция не работает, и возможно, ее уже заняли фашисты, ведь она за городом. А раз нет электроэнергии, то не работают, конечно, ни телефон, ни телеграф. Ну что ж, будем готовить пистолеты и гранаты: жаль, что никто не узнает о нашей славной кончине!

Все это в шутку, умирать мы еще не собирались.

Город весь занят нашими войсками, и хотя бои идут уже в пригородах, но на основных направлениях марокканцам еще не удалось нас потеснить. Пошли в ход самодельные гранаты и мины, так что легко наши Малагу не отдадут. Надо сперва эвакуировать большинство населения со стариками, женщинами и детьми, а затем, по возможности, и всю материальную часть войсковых формирований. Специально заготовлены псевдоброневики для арьергардных боев. Сконструированы они очень просто: снимается задний борт, и кладутся мешки с песком, в щели между которыми смотрят тупые рыльца «Максимов». Наиболее расторопные успели даже приладить броневые щитки для защиты задних скатов от обстрела.

Крупных и средних танков на нашем участке появилось не очень-то много, не более десятка, да еще штуки две подбила пехота, а один подорвала бригада Артура Спрогиса. Основной костяк фашистских авангардных танковых сил составляли легкие итальянские танкетки «Чинелли» — двухместные, с резиновыми гусеницами, вооруженные двумя крупнокалиберными пулеметами. Их тактические возможности нам были хорошо известны: наши захватили такую танкетку дня три назад, основательно ее осмотрели и отправили в Валенсию для представления в Комитет по невмешательству в испанские дела. В открытом поле преследовать бегущих пехо-

тинцев такой танк может с большим успехом, но в условиях горных дорог наши псевдоброневики могут бороться с ними почти на равных.

И все же, хотя «Канариас» и стоит в нашем порту, но вся власть в городе пока в руках республиканцев. Тут приезжает Василий Иванович с Машей: «Ну ребята, отжились мы на “Консуэле”, больше нам здесь делать нечего, собирайте манатки и поехали в штаб, там будем решать, что делать дальше». Особого имущества мы в Испании не заводили: часы на руке и весь марафет, кожаная куртка на молнии, берет, перчатки и пр. на себе, в чемодане — пара белья да несколько верхних рубашек, вот и все имущество.

Штаб гораздо более безопасное место, чем наша «Консуэла». Там сейчас сосредоточено все управление обороной города. Имеются пулеметы, даже артиллерия, да и людей достаточно. Да еще каких людей! Вся «накипь» уже либо перешла к фашистам, либо удрала, либо заползла в какие-то щели, а уж те, кто остались, это настоящие бойцы, готовые на смерть, лишь бы уничтожить побольше фашистов.

Прибыли в штаб, который помещался в громадном доме бывшего германского консульства Малаги, там Киселев нам вкратце изложил обстановку. Хотя город окружен почти полностью, но есть еще связь с Республикой по очень узкому, в некоторых местах менее километра в ширину, перешейку вдоль Средиземного моря. Стоящий в порту «Канариас», видимо, не обладает достаточными для овладения городом десантными силами и пока, в ожидании захвата Малаги основными силами фашистов, занимает как бы нейтральную позицию, во всяком случае, по городу пока не стреляет. Самое главное сейчас — это связь с Валенсией, ведь там еще не знают всей сложности нашей ситуации, а когда узнают, то, возможно, помогут хотя бы бомбардировщиками, а там, глядишь, еще и удастся отстоять город.

Думаю, что и сам Киселев не очень-то верил в эти радужные прожекты, но что еще оставалось делать? Столь поспешный переезд из «Консуэлы» диктовался не только безвыходностью ситуации, но и наличием в штабе автомобильной

радиостанции, которая могла работать и без электросети, прямо от мотора автомобиля. Киселев рассчитывал, что на этой радиостанции мне удастся установить столь нужную нам уверенную радиосвязь с Валенсией (ни телеграфная, ни телефонная связь полностью иногда не выключались, но передавать что-либо серьезное, а тем более получать ответные указания открытым текстом было опасно, потому что была стопроцентная гарантия, что переговоры подслушают фашисты). Да и такая связь работала урывками, порой по нескольку минут, а установление устойчивой радиосвязи, с пользованием кодами, позволило бы сразу же, в условиях полной секретности, ставить командование в известность о наших делах и получать оперативные указания. Но, к сожалению, радиостанции в штабе не оказалось, и где она находится, в штабной неразберихе сходу не удалось выяснить.

Я сел за приемник. Валенсия все время меня вызывает, а я ей ответить не могу — нет электроэнергии. Кое-как удалось уговорить их по телефону передать для нас шифровку, которую я сразу принял без единой ошибки, несмотря на сильные помехи. Вася Бабенко ее тут же расшифровал и вручил Киселеву. Тот ее несколько раз прочел, но знакомить нас с содержанием не стал, — видимо, ничего утешительного для нас в ней не было. Таким же образом я принял еще несколько радиограмм, которые так же, после прочтения, сразу же попадали в емкую полевую сумку Киселева.

Все настолько устали, что буквально падали с ног. Прошли в бывший кабинет германского консула, где было несколько диванов, на которых можно бы было на пару часов прикорнуть. Тут я, в поисках подходящего места для установки радиостанции, случайно нажал на какую-то скобу, которая мешала придвинуть столик к стене. Внезапно открылась в стене совершенно ранее незаметная дверца, и за ней оказался замурованный в стену сейф. Естественно, возникло желание ознакомиться с его содержимым. Не без труда я отыскал среди ремонтников-артиллеристов автогенщика с набором инструментов: до войны он работал механиком в гараже, где

ему приходилось выполнять всякие работы, в том числе и открывать сейфы, к которым хозяева потеряли ключи. И действительно, он на редкость быстро вскрыл и этот сейф. Когда открылась дверца, наш полковник не удержался от матюка разочарования — сейф был пуст. Лишь в дальнем углу нижнего ящика лежала завернутая в целлофан граммофонная пластинка. На одной ее стороне был записан немецкий гимн «Дойчланд юбер Аллес», на другой — популярная песенка «Хорст Вессель». Когда я поставил пластинку на стоящий рядом граммофон, то из него послышалась исключительная по качеству записи мелодия духового оркестра. «И из-за такой пакости мы потеряли почти полтора часа времени! Лучше бы уж отдохнули!..» — буквально прорычал Киселев, схватил пластинку и изо всей силы грохнул ее о кафельный пол. Гимн разлетелся вдребезги, но наш мизерный отдых сократился почти на два часа. Киселев улегся на диване и долго еще материл гадов-немцев, оставивших в сейфе вместо штабных документов эту пакостную пластинку.

Задолго до рассвета мы все уже были на ногах. Василий Иванович с Машей отправились к штабистам, а я сел принимать из Валенсии длиннющую шифровку. Пришел Киселев с обнадеживающей вестью: пока мы отдыхали, штабистам удалось сколотить небольшую ударную группировку, преимущественно из коммунистов и комсомольцев, численностью почти в батальон полного состава и более-менее сносно ее вооружить. Особые надежды возлагались на ручные гранаты и самодельные мины, которые нам с большой неохотой отдали анархисты, окончательно разуверившиеся в возможности обороны Малаги и теперь драпавшие с фронта. Особенно угрожающим участком был юго-западный, где фашисты, большей частью марокканцы, подошли к городским окраинам почти вплотную. Этот батальон мог задержать франкистов на целые сутки, а то и больше, а там, возможно, еще удастся что-нибудь наскрести, да и Валенсия все время обещает помощь, правда, какую именно, этого, по-видимому, не знал и сам Киселев.

Кто-то сумел организовать обильный завтрак, и мы впервые за последние несколько дней с аппетитом поели. Тут вне-

запно появилась и штабная радиостанция на автомобиле, но частоты у нее несколько разнились от наших рабочих частот, так что Валенсия, несмотря на мои настойчивые вызовы, не отвечала. К счастью, на короткое время восстановилась телефонная связь, и я сообщил об изменении частоты моего радиопередатчика; после чего они меня сразу обнаружили, и таким образом была установлена устойчивая радиосвязь с нашим штабом в Валенсии. Тут уж мы с Васей прочно засели в будке радиостанции. Шифровки в обе стороны посыпались, как из рога изобилия. Все получаемое из Валенсии тут же расшифровывалось им и, после прочтения Киселевым, тут же падало в его необъятную сумку. Судя по озабоченному виду Васи и полковника, никаких особо приятных вестей для нас не было.

Весь большой двор штаба был запружен машинами и народом. Шум и гвалт стоял, что в царское время на еврейском базаре в Киеве. Внезапно воцарилось что-то похожее на тишину: во двор въехал запыленный и бледный как смерть мотоциклист и, бросив машину, направился к стоявшим в стороне Виальбе и Киселеву с Машей. Судя по тому, как реагировали Виальба и Киселев на сообщение мотоциклиста, я понял, что произошло что-то катастрофическое.

Поняли это и все другие, потому что поднялось нечто невообразимое. Все бросились к машинам, в воротах образовалась пробка, кто-то открыл стрельбу, кого-то ранили, раздались крики. Из машины-радиостанции выскочил Вася с пистолетом в одной руке и гранатой в другой. Случилось что-то очень страшное, а что — мы не знаем. Мы с Васей кинулись к звавшему нас Киселеву. Он уже пришел в себя и, не желая объясняться на улице, повел нас в комнату на втором этаже. В ней стояли в полной готовности два пулемета, винтовки, несколько открытых ящиков с пулеметными лентами и патронами, а в углу валялась целая куча гранат-лимонок. Пытаясь сохранять внешнее спокойствие, Василий Иванович изложил создавшуюся обстановку. Оказалось, что часть батальона, на который мы возлагали столь большие надежды, была уничтожена еще на марше агентами пятой

колонны*, притаившимися в городе, а теперь открыто ударившими по тылам наших частей.

Пулеметный огонь этих подлецов, неожиданно обрушившийся на батальон, был настолько силен и плотен, что через несколько минут боя уже не стало почти трети наших ребят. Потом они опомнились и рассеяли бандитов, после чего все же добрались до передовой. Но тут обнаружилось, что воевать нечем: гранаты и мины, полученные от анархистов, в большинстве своем не рвались. Оставшееся стрелковое оружие и несколько пулеметов не могли, конечно, оказать серьезного сопротивления озверевшим и до зубов вооруженным марокканцам. Короче: наш ударный коммунистический батальон почти полностью погиб, а марокканцы уже ворвались в город и, подавляя отдельные очаги сопротивления, двигаются к центру, с минуты на минуту их можно ожидать здесь.

Тут Василий Иванович сделал небольшую паузу и обратился к нам: «Вы знаете, я человек военный и без приказа оставлять вверенный мне для обороны город не имею права, а приказа такого у меня нет. За двадцать два года пребывания в армии и за восемнадцать лет в партии я никогда не запятнал свою честь трусостью или невыполнением боевого приказа, не хочу этого делать и сейчас. Я уже на склоне лет и хочу, в случае необходимости, умереть так же достойно, как и жил до сих пор. Но вы все молоды, вы должны еще жить. Вы находитесь в моем подчинении и обязаны выполнять мои приказы. И вот мой приказ о вашей эвакуации (он протянул заранее приготовленный конверт), машины с шоферами во дворе. В вашем распоряжении еще полчаса, за которые вы успеете проскочить кольцо окружения вместе с нашими арьергардными частями. Я остаюсь здесь. Если не удастся за это время сколотить группу и прорываться в горы к нашим, то здесь в комнате достаточно оружия и боепри-

---

* То есть агентурой генерала Франко. Термин, родившийся как раз во время Гражданской войны в Испании (во время наступления на Мадрид четырех колонн генерала Э. Мола). В действительности Малагу взяли войска полковника Ф. Б. де ля Торре при поддержке итальянского добровольческого корпуса генерал М. Роэтты.

пасов, один я не погибну, со мной вместе погибнет немало фашистов. Пулеметчик я отличный, живой не сдамся, последнюю гранату — под себя. Так и передайте, если сумеете добраться туда живыми, Старику, что свой пост я не оставил и в плен не сдался. Правда, прошу, заметьте прошу, а не приказываю, остаться со мной Левину, потому что если придется прорываться к Алоровской группе, то без языка мне будет трудно. А сейчас прощаемся и все быстро по машинам, а то будет поздно».

Мы трое стояли понурив головы и никто не решался первым нарушить молчание. В таких случаях, по военным традициям, всегда должен начинать говорить младший по возрасту и по воинскому званию, а таким был я. С трудом сдерживая предательскую дрожь в голосе, я, как только мог спокойнее, сказал Киселеву: «Товарищ полковник, мы с вами вместе работаем уже почти три месяца. Несмотря на опасности, я ни разу не отказывался выполнять любые ваши приказы. Этого вашего приказа я не выполню, не могу выполнить. Я остаюсь здесь, в этой комнате. Из пулемета и я умею стрелять, гранаты кидать тоже. Будем вместе или пробиваться к своим, или умирать. Все. Я кончил». И Вася, и Маша тоже отказались уезжать. Василий Иванович молча спрятал конверт с приказом в свою сумку и вышел из комнаты.

Через несколько минут вбежал мой шофер Пепе и сказал, что полковник нас всех срочно зовет вниз. Спустившись в почти опустевший двор, мы увидели Киселева на своем обычном месте, в «Крайслере», рядом с шофером. «По машинам!» — скомандовал полковник. На этот раз мы не заставили его дважды повторять этот уже вполне приемлемый для нас приказ, и через минуту наши машины влились в общий поток отступающих солдат и беженцев. До сих пор не знаю, имел ли Киселев приказ об оставлении города во время нашего разговора и просто хотел нас проверить. Во всяком случае, я до сих пор горжусь тем, что выдержал это испытание с честью. (Но никому рассказывать об этом было нельзя: сочтут вруном и хвастуном. А здесь, пожалуй, написать можно, потому что я дам прочесть это только близким людям, и они

не станут сомневаться в изложенном или смеяться над ним. Напечатать это при моей жизни никто не напечатает, а после моей смерти мне уже будет наплевать на то, кто еще это будет читать и что он по этому поводу скажет.)

И впоследствии, когда мне приходилось близко сталкиваться с Костлявой, я всегда себе говорил: «Ты уже с ней встречался и остался человеком, останься им и сейчас!» И несмотря на то что Киселев никогда мне не был симпатичен — и даже впоследствии сыграл не слишком почетную роль в тот момент, когда решалась моя судьба (о чем ниже), — я ни на минуту не пожалел о том, что не бросил его в безвыходном положении одного, с глазу на глаз со смертью. Все мы были искренне убеждены в том, что спасаем испанский народ, а вместе с ним и все человечество от фашистского рабства. Никто из нас и не думал получить какие-либо материальные привилегии от поездки в Испанию. Каждому жизнь была очень дорога, и ни за какие личные блага мы бы ее не отдали; здесь нужна была какая-то более высокая цена, и только за нее комсомолка Маша Левина оставила трехлетнего ребенка и приехала сюда, где ежеминутно рисковала жизнью.

2

Мешкать после команды Киселева мы не стали. Полковник с Машей разместились в своем «Крайслере», а мы с Бабенко в моем «Бьюике». Ехали мы втроем, так как жену свою мой шофер Хосе заранее отправил к родственникам в Гандию (около Валенсии). Он очень сокрушался, что пришлось оставить дом и все накопленное многолетним трудом имущество на разграбление фашистам, но прекрасно понимал, что, попадись он к ним в лапы, ему не сдобровать. А все же своя голова дороже любых ценностей, так что к потере имущества он, в конечном счете, отнесся философски.

Машины наши были заправлены полностью, ничто нас здесь больше не задерживало, и мы навсегда оставили Малагу — этот чудесный город, жемчужину Средиземноморья.

Лихо развернувшись в почти пустом дворе штаба, машины выехали на улицу и влились в общий поток отступающих войск и беженцев. До сих пор все вспоминается как сумбурный и страшный кошмар. Что делалось на дороге — трудно себе представить: редкие легковые машины, вроде нашей, перемешались с санитарными фургонами, грузовиками с различным военным и государственным имуществом, запряженными мулами хозяйственными повозками и сплошною массой людей: тут везут в кресле старика-инвалида, рядом солдат держит на руках маленького ребенка и одновременно толкает коляску с младенцем. За солдатом следует его жена, за ее юбку держится малыш лет четырех, а она сама тащит тележку, нагруженную скудным скарбом, поверх которого иногда лежит и винтовка мужа.

Узкая полоска шоссе запружена всякого рода транспортом и народом, и вся эта масса движется на северо-восток со скоростью очень медленного пешехода, временами надолго останавливаясь из-за образовавшихся пробок. Все знают, что фашисты уже приближаются к центру города, и не дай бог попасть к ним в лапы, ведь Малага — красная, каждый пятый — коммунист, а с ними, как, впрочем, и с другими республиканцами, у фашистов разговор короткий — или пуля, или петля. Уходить нужно не только бойцам-мужчинам, ведь фашисты не щадят и членов их семей. Всегда найдутся предатели, которые донесут, что муж сеньи Праскиты — Хуан, выступая на митинге, призывал к разгрому фашистов, и горе тогда сенье Праските и ее детям, не пощадят и грудных!

И вот все уходят. Шоссе вошло в горы. С одной стороны крутые склоны гор, а с другой о прибрежные скалы с грохотом бьются волны Средиземного моря. Тут скопление народа и транспорта становится еще гуще. По склонам гор гонят отары овец. Неожиданно какому-нибудь барану надоедает ходить по кручам, и он решает спуститься на дорогу. За ним, конечно, устремляется вся отара. На шоссе образуется грандиозная пробка. Овцы перемешиваются с людьми и транспортом, все движение сразу же останавливается до тех пор, пока какая-нибудь организованная группа солдат не начнет

скидывать овец прямо с обрыва в море. Поднимается невероятная ругань. Пастухи всеми средствами стараются защитить своих блеющих подопечных, порой не обходится и без стрельбы, ведь все вооружены.

В таких условиях нам на своих машинах не удается вырваться хоть немного вперед и приходится торчать в этих пробках. И чем дальше, тем становится хуже. Хорошо еще, что фашисты заняты захватом города, где еще действуют отдельные очаги сопротивления. Правда, артиллерию мы успели заблаговременно эвакуировать, но еще долго слышится ружейно-пулеметная стрельба: видно, в городе идут бои. Попасть в плен к фашистам — это верная и мучительная смерть. И защитники города сражаются до последнего патрона, до последней гранаты.

Изредка появлялись самолеты франкистов. Поначалу они нагло шли на бреющем полете и расстреливали людей на шоссе, но когда наши пулеметчики сбили одного такого нахала, стали осторожнее и начали бомбить с высоты. К счастью, это были лишь единичные бандитские налеты, но паники и потерь в результате таких действий было очень много. Ведь фактически это было бесчеловечное истребление мирного населения, преимущественно женщин и детей, которые нигде не могли укрыться. Но дальше стало еще хуже. Когда дорога пошла над самым морем, появился «Канариас». Против этого бронированного дьявола были бессильны не только наши пулеметы, но и полевая артиллерия. Его бортовой залп — это двадцать шесть шестидюймовых орудий со скорострельностью три-четыре выстрела в минуту*.

Пользуясь достаточной глубиной у побережья, крейсер подходил к дороге настолько близко, что расстреливал из своей артиллерии отступающих по шоссе людей буквально в упор. Трудно себе представить, что творилось на дороге. Для того чтобы увеличить количество жертв, они стреляли не прямо по шоссе, а в нависающие над ним скалы, в результате чего на отступающих обрушивались не только осколки

---

* На самом деле тяжелый крейсер «Канариас» имел восемь орудий калибра 203 мм и восемь зениток калибра 120 мм.

снарядов, но и громадные камни. Счастье, что зимний день в Испании короток: с темнотой ушел отдыхать и «Канариас», перестали появляться и самолеты.

Наконец, кончилось сужение, между морем и дорогой появились если не горы, то во всяком случае возвышенности: случись это часа на три раньше, сколько людей осталось бы в живых!

С наступлением темноты несколько затихли и арьергардные бои. Начала рассасываться и масса беженцев: одни погибли при бомбежках, другие пристроились на машинах и повозках, третьи, никогда не бывшие активистами Народного фронта и бежавшие из города, поддавшись общей панике, поостыли и, решив, что фашисты их не тронут, осели в придорожных селениях (многие впоследствии горько об этом пожалели). Большинство же настолько вымотались, что с наступлением темноты просто повалились спать где попало, не в силах продолжать далее свой крестный путь.

Инициативные армейские командиры начали собирать своих и чужих солдат и создавать из них боевые подразделения. В общем, на дороге стало спокойнее, и появилась возможность двигаться быстрей. Конечно, быстрота была условной: ехали в полной темноте и с выключенными фарами, дорога извилистая, частые серпантины. Заехали в какое-то селение, сделали остановку. Там нашелся телеграф, по которому удалось связаться с нашими летчиками. Оказалось, что Велез-Малага (в тридцати километрах к северо-востоку от Малаги), где размещались на аэродроме наши самолеты, еще не занята фашистами. К аппарату подошел механик Костя Артемьев. Хотя почти весь аэродром залило после дождей, пилоты решили все же не уничтожать самолеты, предпринять последнюю попытку улететь: летчик садился в кабину, под колеса ставились тормозные колодки, а мотор запускался на полные обороты. По команде одновременно вышибались обе колодки, и самолет, подняв сплошную стену водяной пыли, почти с места уходил в воздух. Таким образом удалось поднять в воздух все четыре истребителя, которые взяли курс на назначенный им для эвакуации аэродром Ка-

лаондра, недалеко от Мотриля и в непосредственной близости от моря, что впоследствии оказалось для них роковым. Оставшиеся механики и оборудование грузились на автомашины, чтобы эвакуироваться.

Рассказав вкратце Артемьеву о ситуации на дороге, Киселев посоветовал не задерживаться с отъездом, а ехать немедленно, пока темно и народу меньше, пока не работают фашистские летчики и еще не перерезан последний путь к отступлению. Успокоенные насчет судьбы нашей авиации, мы немедленно тронулись в путь и часа в три ночи добрались до первого от Малаги крупного населенного пункта — города Мотриль. Тут творилось что-то невообразимое: объезда не было, шоссе шло через город, и все улицы были запружены людьми, машинами и повозками. На главной площади, через которую проходило шоссе, анархисты устроили митинг, видимо, не найдя для него более подходящего времени и места. Вся площадь забита людьми, горят яркие фонари с киловаттными лампами, с импровизированной трибуны анархистские деятели толкают зажигательные речи, в которых клеймят позором трусов-коммунистов, оставивших Малагу, когда храбрецы-анархисты стояли насмерть. Правда, не совсем было понятно, как это стоявшие насмерть в Малаге анархисты оказались в Мотриле, за сто с лишним километров, гораздо быстрее коммунистов!

Тот, кто не бывал на анархистских митингах в Испании, и представить себе не сможет темпераментность этих мероприятий: у выступавших ораторов буквально пена шла изо рта, толпа ревела, поминутно раздавались выстрелы, мгновенно возникали драки с поножовщиной. Не знаю уж каким образом шоферу Киселева Понсу удалось проехать через площадь, но наша машина плотно увязла в толпе митингующих. Быть бы нам там, наверно, до конца митинга (а кончился бы он, наверно, не раньше, чем фашисты начали бы бомбить Мотриль!), но наш шофер Хосе как-то договорился с несколькими здоровенными солдатами, которые тоже не горели желанием дослушать до конца зажигательные речи анархистов. За обещание взять их с собой они стали рас-

чищать нам проезд руганью, плечами, кулаками, а иногда и прикладами винтовок. Постепенно мы выбрались из этого бедлама и двинулись дальше — с солдатами, разместившимися на подножках и крыльях нашей машины.

Но в пути приключилась новая беда: количество помощников настолько возросло, что наша маломощная машина аж скрипела под их тяжестью. К счастью, на окраине города были организованы заградительные патрули, задерживавшие всех бежавших с позиций военных, и наших пассажиров тут же сняли.

Пользуясь более благоприятными географическими условиями к северу от Мотриля, здесь решили создать прочную линию обороны (кстати, она просуществовала довольно долго). Всех задержанных солдат и офицеров тут же отвозили на грузовиках на сборные пункты, откуда вновь сформированные подразделения под командованием надежных офицеров сразу же отправляли прикрывать дыры в новой линии фронта. Справедливости ради следует сказать, что впоследствии в организации мотрильской линии обороны участвовали, и весьма активно, и анархистские подразделения.

Избавившись от пассажиров, мы уже беспрепятственно двигались по сравнительно спокойной дороге и вскоре встретились с ожидавшим нас Киселевым. Обнаружив после выезда из города, что мы за ними не следуем, и, зная ситуацию в Мотриле, он очень за нас беспокоился, остановил машину и решил, если здесь нас не дождется, собрать группу солдат и, вернувшись в Мотриль, искать там хотя бы наши трупы. Но, к счастью, все обошлось; мы встретились и без особых происшествий добрались до ближайшего провинциального (по-нашему областного) центра — города Альмерии.

Там мы остановились немного отдохнуть в знакомом отеле «Симон», куда вскоре подъехал и Артур Спрогис со своей переводчицей Лизой Паршиной и со всей командой. С ними был и ставший уже членом нашего коллектива бывший врангелевский ротмистр Володя Базилевич.

В Альмерии мы узнали о печальном конце нашей авиации: согласно приказу, четыре «истребка», с превеликим

трудом взлетевшие с залитого водой аэродрома буквально под самым носом наступающих фашистов, должны были к наступлению темноты добраться до аэродрома Калаондра (близ города Мотриль, на самом побережье Средиземного моря, в ста с лишним километрах от Малаги) и, переночевав там, на рассвете лететь дальше к своей основной базе в Алькала-д-Энарес. К сожалению, им это не удалось: добравшись благополучно до Калаондры, пилоты зачехлили моторы и остались ночевать прямо в машинах, готовые взлететь на заре, но еще задолго до полного рассвета были разбужены сильной канонадой крупнокалиберных орудий и разрывами снарядов в непосредственной близости от них. Ни о каком взлете уже, конечно, не могло быть и речи.

Едва успев выскочить из самолетов и укрыться в канавах, ребята увидели, как крейсер «Канариас», подойдя почти вплотную к берегу, своими бортовыми орудиями бьет прямо по аэродрому. Через несколько минут от открыто стоявших на поле самолетов не осталось и щепок, так как загоревшийся в баках бензин завершил начатое «Канариасом» дело. Счастье, что франкистские артиллеристы не сумели накрыть самолеты с первого залпа и все пилоты успели покинуть свои места в кабинах.

Вообще говоря, фашисты уже давно могли бы уничтожить эти самолеты еще в Велез-Малаге, так как полностью затопленный водой аэродром никак не давал им взлететь. Но, по-видимому, они намеревались захватить самолеты целыми, чтобы иметь возможность переправить их в Лондон в Комитет по невмешательству в испанские дела, и тогда нашему представителю Майскому пришлось бы туго. Очевидно, предатели в штабе постоянно держали франкистов в курсе дела с положением авиации, и когда наши ребята, несмотря на полную теоретическую невозможность, все же взлетели, франкисты поняли, что добыча ускользнула из их рук. Тогда они решили уничтожить самолеты на промежуточном аэродроме Калаондры — о прилете туда наших самолетов фашисты, конечно, были своевременно проинформированы. «Канариас», целый день обстреливавший отступающие части

и мирное население к северу от Малаги, скрытно, в темноте подошел к этому прибрежному аэродрому и в несколько залпов сделал свое черное дело.

Спасшимся от верной гибели пилотам пришлось добираться до Альмерии на случайных попутных машинах. Командир бывшей эскадрильи «граф» дон Педро доложил Киселеву обо всем случившемся, и, ввиду полной бесполезности в Альмерии летчиков без самолетов, по распоряжению самого Дугласа (Якова Смушкевича — главного военного советника по авиации в Испании, впоследствии первого в СССР дважды Героя Советского Союза, павшего жертвой культа личности Джугашвили в начале 1941 года) пилоты вместе с остальным персоналом эскадрильи были направлены на авиабазу в городе Алькала-д-Энарес.

На линии Мотриль и севернее фашистское наступление было приостановлено. Более выгодный рельеф местности позволил нашим частям организовать достаточно прочную линию обороны, которая еще усилилась прибывшими наконец-то подкреплениями. Правда, эти подкрепления были весьма незначительными, так что, если бы они прибыли и на месяц раньше, то вряд ли сыграли бы существенную роль в деле обороны Малаги: в лучшем случае это могло бы лишь несколько продлить ее агонию, уж слишком велики были силы на стороне франкистов.

Об обороне Малаги надо было серьезно думать не в январе-ноябре 1937-го, а в октябре 1936 года, но в это время республиканскому генштабу было не до нее: Мадрид висел на волоске, а падение Мадрида означало бы потерю самого главного узла коммуникаций и связи и было почти равноценно окончательному поражению, не говоря уже об огромном моральном значении столицы для Республики.

Реальную помощь Малаге мог бы оказать и флот, но здесь тоже были свои трудности: все снабжение Республики зависело от редких морских транспортов, следующих контрабандой из Советского Союза. Зная об этом, франкисты значительно усилили блокаду побережья и пытались удушить Республику, лишив снабжения как продовольствием, так

и оружием и боеприпасами. Целый ряд судов, следовавших в республиканскую Испанию, был потоплен.

Для того чтобы дать хоть некоторую гарантию нормальных морских коммуникаций из Советского Союза в Испанию, флоту Республики приходилось выделять усиленные конвои военных кораблей, причем все транспорты приходилось встречать на весьма значительном удалении от берегов Испании. Этим почти все время были заняты основные силы военно-морского флота. Так что выделять корабли для боевых действий у побережья Южного фронта командование не могло. Эпизодические рейды соединений нашего флота на Малагском побережье Средиземного моря для обороны города практически ничего не давали.

К тому же они были сопряжены с большим риском: фашистская морская разведка действовала весьма эффективно, а в качестве ее добровольных осведомителей работали все немецкие и итальянские торговые суда, которыми кишмя кишел этот участок моря. Пользуясь преимуществом в ходе и дальнобойности артиллерии, «Канариас» мог безо всякой для себя опасности наносить чувствительные удары по нашему флоту.

Конечно, очень печально было потерять такую обширную территорию, ведь франкисты оттяпали у нас почти 170 километров побережья Средиземного моря. Взятие Малаги было для них важной победой. Республиканцы потеряли крупный район снабжения мясом, вином и овощами. Погибли многие тысячи преданных Республике людей, ведь Малага издавна славилась как оплот левых сил в Испании, так что и моральный ущерб был нанесен огромный.

Впрочем, как порт снабжения или как военно-морская база Малага большого значения все же не имела, но противник, как ни крути, получил отлично оборудованный, с обширной акваторией, порт в укромном месте Средиземного моря. Коммуникации фашистов с основной базой снабжения — испанским Марокко — тоже значительно упростились. Если раньше марокканские войска были вынуждены высаживаться в Кадисе, а далее следовать на фронт по весь-

ма загруженной железнодорожной линии на Севилью, то теперь этот путь сокращался почти вдвое, да и Севилья с Гранадой находились значительно ближе к Малаге.

Правда, в потере города были и некоторые плюсы: сильно уменьшилась линия фронтов Республики, у генштаба отпала забота о снабжении этого участка по очень неудобным и растянутым коммуникациям, высвободились некоторые части. Но все-таки сдача Малаги не могла стать и не стала переломом к лучшему в Испанской национально-революционной войне.

3

В Альмерии Киселев связался с Валенсией и получил распоряжение следовать туда со всем персоналом для представления подробного отчета о своих действиях по обороне Малаги и для получения указаний по дальнейшей работе. Переночевав в Альмерии, вся наша миссия в полном составе двинулась в Валенсию, куда и прибыла благополучно в тот же день поздно вечером. Разместили нас в хорошо уже мне известном отеле «Метрополь».

Здесь же находилось и посольство Советского Союза, и обычно в этом отеле размещались советские добровольцы, как прибывшие из Союза, так и приехавшие с фронта. Вообще говоря, в «Метрополе» было нескучно: фашисты с наступлением весны значительно усилили действия своей авиации, и естественно, что новая столица Республики была для них весьма лакомым куском. Бомбить Валенсию фашистам было удобно еще и потому, что она находилась в пределах досягаемости итальянской авиации, базирующейся на Сицилии*. Итальянцы спокойно вылетали с вечера со своих сицилийских аэродромов, затемно добирались до Валенсии, сбрасывали туда свой бомбовый груз и возвращались от-

---

* Бои за Мадрид начались 6 ноября 1936 года, в связи с чем испанское правительство и переехало в Валенсию. Сдан Мадрид был сдан только 28 марта 1939 года.

дыхать домой, к своим семьям. Правда, не все итальянские пираты возвращались, ведь в Валенсии была организована довольно эффективно действующая ПВО, а наши зенитчики уже хорошо научились стрелять ночью с прожекторами, но все же ночные налеты фашистами проводились регулярно.

Надо сказать, что обслуживающий персонал гостиницы очень заботился о безопасности своих постояльцев. Как только объявлялась воздушная тревога, в номере уже не останешься: горничные как угорелые носятся по коридору, стучат в двери кулаками и во все горло вопят: «Авионес! Аппаратос!» Хочешь не хочешь, а спускайся в подвал. Подвал-бомбоубежище в «Метрополе», с точки зрения комфорта, был оборудован неплохо: столы, кресла, диваны, шахматные и карточные столики, все, вплоть до ящиков с вином (коньяк приносили с собой), чего никак нельзя было сказать о безопасности убежища с точки зрения технической. Потолки были из обычных бетонных плит, такие перекрытия при прямом попадании прошивались авиабомбой от 50 кг и более.

В Валенсии можно было видеть дома, аналогичные нашему «Метрополю», в которых бомба калибра 250 кг при прямом попадании пробивала все семь или восемь этажей и рвалась в подвале, после чего укрывшимся там людям медицинская помощь уже была не нужна. Так что безопасность дома могла быть обеспечена только в случае, если бомба в него не попадет, но в таком случае никакой опасности не представляла бы и ночевка в своей комнате. Но закон есть закон: надо не надо, а иди в подвал.

В подвале, конечно, скучно не было, собирались компании и в карты, и в шахматы, и насчет зеленого змия, и так просто языки почесать. Все, что нужно, было обеспечено, кроме безопасности и отдыха. Спать можно было только сидя, да и то лишь в случае, если перед этим несколько суток не спал.

Поскольку мы с Васей Бабенко ничем здесь днем заняты не были и имели полную возможность поспать, то ночью, если приходилось спускаться в подвал, мы не скучали. Днем и вечером свое свободное время мы, конечно, проводили не

только осматривая музеи, картинные галереи и прочие достопримечательности Валенсии, были и другие развлечения, по молодости лет простительные.

Через пару дней Василий Иванович собрал нас у себя и объявил, что все мы, в полном составе, отправляемся опять на Южный фронт, в город Альмерию. Сборы мои были недолгими, личных вещей у меня, как говорится, кот наплакал, а точнее — небольшой чемодан, с которым я еще выехал из Союза, да моя «музыка» с обновленными батареями питания приемника. Уселись мы вместе с Васей в «Бьюик» моего верного синьора Хосе и, пристроившись в хвост полковничьего «Крайслера», ранним весенним утром отправились в уже знакомую нам Альмерию.

Снова замелькали апельсиновые кущи вдоль дороги, знакомые города: Гандия, Аликанте, Мурсия. И вот мы опять в Альмерии, в отеле «Симон» на улице Колон (в честь Христофора Колумба, по-испански — Кристобаля Колона), но впоследствии эту улицу, без особых на то оснований, переименовали в Кале де Моску — Московскую улицу. Поскольку на этот раз мы должны были осесть в Альмерии надолго, то отель стал нашим временным местопребыванием, а постоянное жилье нам еще предстояло найти.

С утра полковник с Машей и мы с Васей обычно разъезжались по делам и, как правило, снова собирались только вечером за ужином в ресторане отеля, где для членов нашей миссии и обычно многочисленных гостей — испанских товарищей — было отведено несколько сдвинутых вместе столов. Кроме нас в отеле «Симон» размещалась миссия английского Красного креста, состоявшая из врача и нескольких медсестер. Все как на подбор худые как скелеты, ростом чуть ниже двух метров, огненно-рыжие и в возрасте от шестидесяти лет. Ели они отдельно от нас, при встрече очень вежливо раскланивались, но в более близкое знакомство вступать не стремились, чего мы, кстати, и не желали. Ездили англичане на необычайной дряхлости «Форде», еще с колесами на деревянных спицах, выпуска эта машина была, наверно, года моего рождения (1910), а то и старше. Почти вся связанная

проволочками и веревочками, в пути она часто ломалась. Но тем не менее англичане не хотели отказаться от нее, и единственный в их миссии мужчина — врач — по совместительству исполнял обязанности и шофера, и механика и все время ее чинил.

Как-то вечером едем мы с Васей на нашем «бьюике» и километрах в двадцати от города видим всю английскую миссию на обочине шоссе, около своего неподвижного драндулета, над которым колдовал сам врач. Поскольку было уже поздновато и довольно прохладно, я попросил Хосе остановить машину и на своем несовершенном испанском языке предложил подвезти женщин до города. В ответ врач на вполне приличном русском ответил: «Благодарю вас, товарищ, мы сейчас сами уедем». От удивления я раскрыл рот, но врач снова углубился в ремонт своей машины и продолжать беседу был, по-видимому, не намерен. Никто из них в нашу машину не сел, мы поехали одни, а англичане все же добрались своим ходом в Альмерию, правда часа через два после нас. Приехав, я предупредил Василия Ивановича, что англичанин знает русский язык и что в его присутствии надо быть осторожнее в разговорах.

Как я уже говорил, вместе с нами в отеле «Симон» ужинали многие испанские товарищи, но если я иногда немного опаздывал к ужину, то мое место за столом было всегда свободно. Как-то приезжаю я на ужин несколько позже, здороваюсь со знакомыми испанцами и собираюсь сесть на свое место, а Василий Иванович меня останавливает: «Чего же ты, Лева, не здороваешься с министром?» и показывает на невзрачно одетого человека небольшого роста, которого я было принял за одного из незнакомых мне шоферов (несмотря на испанские традиции, Василий Иванович распорядился, чтобы все шоферы, работавшие с нами, здесь же и питались).

Это, оказывается, был член Политбюро Компартии Испании Висенте Урибе* — министр агрикультуры (земледе-

* Винсенте Урибе Гальдеано (1897—1961) — один из лидеров Компартии Испании.

лия), прикрепленный ЦК Компартии Испании к нашему участку фронта. Я извинился и представился министру. Он, оказывается, бывал в СССР и немного объяснялся по-русски. Впоследствии мы с ним познакомились поближе, и он, то ли в шутку, то ли всерьез, пытался сватать меня за одну из секретарш альмерийской военной комендатуры — Кармен, очаровательную черноглазую испаночку лет восемнадцати в чине лейтенанта, но, к сожалению, вскоре Урибе отозвали, и его матримониальные планы (а он все набивался, по русскому обычаю, быть на нашей свадьбе посаженым отцом) не исполнились, потому что в его отсутствие Кармен перестала оказывать мне знаки внимания.

Тем временем альмерийские власти подыскивали нам помещение для постоянного пребывания. Нашли было хороший дом в самом центре города, на площади Санто-Доминго (Святое воскресенье). В этом доме мы прожили несколько дней, но он оказался в слишком людном месте, окружен жилыми домами, так что очень неудобно было организовывать охрану. Крайне нежелательно было и афишировать нашу деятельность, Киселев это очень не любил.

Другое помещение нашел я: изолированная вилла-шале из восьми комнат, гараж, но очень неблизко от черты города. Лично меня особенно прельстил в этом шале великолепный концертный рояль марки «Рониш», но Киселеву дом не понравился: далеко от города, требуется специальная усиленная охрана для защиты от возможных диверсий фашистов. Наконец нашлось вполне подходящее помещение: двухэтажный дом с флигелем во дворе, с гаражом, недалеко от Альмерии, в тихом месте. В этом доме до мятежа жил богатый испанский негоциант, который, помимо того что был главным уполномоченным по торговле гаванскими сигарами в Испании, являлся еще и бельгийским консулом, из-за чего на флагштоке башенки, украшавшей крышу дома, гордо развевался большой бельгийский флаг. Мы несколько раз пытались его снять, ибо это был хороший ориентир для бомбардировки как с воздуха, так и с моря, но добраться до башенки оказалось невозможно. Пытались очередями из пу-

лемета перебить флагшток, но попасть в него никак не могли, а тут подъехал Киселев и велел немедленно прекратить это не вполне безопасное для окрестных жителей занятие, и так и остались мы жить под эгидой бельгийского флага.

Хозяин дома в начале мятежа удрал к франкистам, семью его выселили, а дом реквизировали и теперь предложили для нашей резиденции. Дом нас вполне устраивал: большая, персон на двадцать, столовая, обставленная темной дубовой мебелью и обитая по стенам дубовыми же панелями, служила нам для трапез и приема гостей; кабинет бывшего хозяина с обширной, в несколько тысяч томов, библиотекой и шикарной постелью — нишей в стене, с отдельным электрическим светом, облюбовал себе Василий Иванович. Маша-переводчица с комфортом разместилась в будуаре и спальне бывшей хозяйки; после пребывания в Москве — шесть человек в одной комнате — она и представить себе не могла, что когда-нибудь будет, хоть и временно, жить в такой роскоши и с таким комфортом. Мы с Васей удобно устроились в трех детских комнатах на первом этаже; все с лоджиями и жалюзи, на солнечной стороне и с выходом прямо в сад. Тут же недалеко разместились и Артур Спрогис с переводчицей Лизой Паршиной, а вся команда Артура, к тому времени увеличившаяся до пятнадцати человек, заняла флигель во дворе. Наш новый сотрудник, бывший врангелевский ротмистр Володя Базилевич, стал, помимо работы в команде Артура, еще и комендантом резиденции. Не забыли даже гауптвахты, для этой цели Базилевич, памятуя, что при крутом характере Киселева, возможно, и самому придется в ней сиживать, оборудовал теплую комнату в подвале, уставил ее мягкой мебелью, не забыл и книги на испанском и русском языках Когда однажды за какую-то провинность Киселев меня туда поместил, но, конечно, с выводом, ибо второго радиста у нас не было, то там оказалась даже бутылка с коньяком.

Вообще говоря, бывший владелец этого поместья был настоящим хозяином: помимо торговли гаванскими сигарами и устройства бельгийских дел, он еще установил у себя в усадьбе мощную насосную станцию с большим бетони-

рованным водоемом. Воду он за плату пускал для орошения окрестных полей, а в водоеме разводил рыбу. Помимо этого была в усадьбе еще и пасека, ульев на двадцать, если не больше, и даже небольшая лужайка, где специально высаживались цветы для пчел. Эти пчелы нам однажды доставили довольно много неприятностей: в столовой, на время разработки очередной фронтовой операции, Киселев организовал что-то вроде оперативного отдела штаба, где были собраны все топографические карты с отметками на них. Обычно работа с картами начиналась с восьми утра и шла до семи вечера, после чего помещение опечатывалось, и около него ставился специальный караул. Из столовой на большой балкон выходила стеклянная дверь, закрытая деревянными жалюзи.

Как-то утром приходят офицеры работать с картами. Снимают печати, открывают двери и сразу же отскакивают назад: вся комната заполнена пчелами, которые, жужжа, носятся по комнате и жалят всех туда входящих. Что только ни делали с этими пчелами: пытались гнать их метлами, жгли сильно дымящие материалы, ничего не помогало: пчел в комнате становилось все больше, и ни войти, ни тем более работать там с картами не было никакой возможности. Под угрозой была вся картографическая подготовка операции, что могло привести к полному ее срыву.

Тут один из офицеров вспомнил, что его родственник занимается разведением пчел. Специально послали машину для какого-то деда. Он надел свою антипчелиную форму, зашел в комнату, что-то там сделал, и пчелы сразу же начали улетать обратно через жалюзи двери на балкон. Оказалось, что во время ночного перерыва в работе какой-то пчелиной матке вздумалось сменить свое местопребывание, и более подходящего помещения, чем наша картографическая комната, куда она проникла через жалюзи балконной двери, эта матка не нашла.

За ней сразу последовали ее многочисленные подданные, которые и устроили в комнате с картами свой новый улей. Прибывший дед-пчеловод, зная повадки пчел, сразу же по-

нял, в чем дело. Войдя в комнату, он нашел матку и просто выпустил ее на волю, а за ней устремился и весь рой. После этого, дабы не оставлять пчел без присмотра, пришлось попросить этого деда, чтобы он хоть изредка следил за нашими пчелами, на что он охотно согласился, так как весь мед он мог забирать себе.

Кроме того, бывший хозяин оказался еще и заядлым радиолюбителем, и был у него довольно мощный радиопередатчик. Судя по оставшимся квитанциям «Q12» на радиолюбительские связи «Q10», был он весьма квалифицированным коротковолновиком. К сожалению, от его приемника остались одни квитанции: он, по-видимому, успел куда-то его спрятать или уничтожить: получи я вместо своей плюгавой «музыки» такую аппаратуру, какая была у него, был бы я, как говорится, и кум королю и министру сват.

Помимо увлечения радио, бывший хозяин дома был еще и заядлым кинолюбителем: были у него как съемочный, так и проекционный узкопленочные киноаппараты. В шкафах детских комнат хранились многочисленные коробки с различными кинофильмами, зафиксировавшими путешествия всей семьи бывшего хозяина этого дома по Испании, Франции, Италии, Германии и пр. В свободное время мы охотно просматривали эти довольно умело снятые ленты.

Перед вселением в библиотеке хозяина нашли много богато иллюстрированной литературы на испанском, французском и немецком языках. Эту литературу Маша признала антисоветской, и Киселев велел ее немедленно уничтожить. Кроме того, там же нашли деревянный, выложенный внутри сукном футляр от пистолета какой-то немецкой марки, не то «Вальтер», не то «Парабеллум», к сожалению без пистолета — по-видимому, хозяин прихватил его с собой, когда бежал к франкистам. Нашли мы в его кабинете еще и небольшой ящик с сигарами. Поскольку из всей нашей миссии курил один только Вася, то этот ящик он забрал к себе, но особого качества этих сигар, в силу недостаточно аристократического воспитания, Вася оценить не мог и продолжил курить русские папиросы, присылаемые ему из Валенсии.

Однажды к Киселеву по делам приехал сам Берзин и угодил прямо к обеду. После обеда Старик решил закурить, но оказалось, что он забыл в машине свои папиросы. Тогда Вася вспомнил, что у него в комнате стоит ящик с сигарами, сбегал и принес Берзину одну сигару. При виде нее (а в них Берзин, по-видимому, знал толк) у Старика округлились глаза. Узнав, откуда эти сигары, он сразу же велел перенести весь ящик в свою машину, заметив, что Васе курить такие сигары еще не положено и что ими, сигарами, он, Берзин, будет угощать только старших генералов и министров, и то не всех и не всегда. Надо сказать, что в Испании такие сигары ценились очень дорого, стоимость одной высококачественной гаванской сигары марки «Корона» примерно равнялась стоимости пары хороших лакированных туфель.

4

Итак, мы уже основательно устроились в Альмерии. Линия фронта на нашем участке окончательно стабилизировалась, и мы зажили относительно спокойной жизнью, если не считать ставших уже привычным авиационных бомбежек и обстрелов с моря. В первое время город был совершенно беззащитен как с воздуха, так и с моря. После падения Малаги Альмерия стала прифронтовым городом, в ней концентрировались штабы, склады военного оборудования, госпитали и пр., в результате всякие «угощения» и «обеды» (так на нашем жаргоне именовались авиабомбежки и артобстрелы) стали весьма частыми явлениями и причиняли нам немало неприятностей.

После долгих хлопот Киселеву удалось добиться некоторой защиты с моря: в Картахене попусту стоял на приколе устаревшей конструкции линкор «Хаиме Примейро». Постройки чуть ли не середины XIX века* и тихоходный,

---

* На самом деле линкор «Хаиме Примейро» был спущен на воду в 1921 году. Его вооружение: 8 орудий калибра 305 мм, 20 орудий калибра 102 мм и 4 пушки калибра 47 мм.

«Хаиме» был не столько грозной боевой единицей, сколько плавучей мишенью, на охрану которой надо было выделять другие суда. И вот его решили перебазировать в Альмерию в качестве плавучей береговой батареи. И надо сказать, что результат мы почувствовали сразу: линкор плевался двенадцатидюймовыми снарядами километров на двенадцать-пятнадцать, а таких пушек было у него восемь штук (правда, расположение пушек в башнях было ромбическое, так что одновременный башенный залп «Хаиме», из орудий главного калибра, был всего четыре пушки). Если к этому прибавить еще около шестнадцати бортовых шестидюймовых пушек, то залп получался все же внушительным.

Несмотря на то что прибытие «Хаиме» держалось в строгом секрете, встречать его вышел весь город. Вместе с линкором к нашему советскому коллективу добавились еще два советских товарища: капитан I-го ранга Грегорио (в миру — Николай Петрович Аннин, после возвращения из Испании попал в опалу) и советник линкора по артиллерии (считай, старший артиллерист) — Хуан Санчес (в миру — старший лейтенант Балтфлота Александр Петрович Лабудин; ныне контр-адмирал в отставке, проживает в Ленинграде*).

Грегорио квартировал в нашем доме, а Хуан Санчес жил на корабле. Особенно импозантен был Грегорио: почти двухметрового роста, соответствующей комплекции, весом центнера на полтора с гаком, с солидным брюшком, он на фоне сравнительно низкорослых испанцев выглядел великаном. Говорили, что до отъезда в Испанию он носил окладистую черную бороду и, обладая громоподобным басом, надо полагать, представлял из себя на мостике военного корабля весьма внушительную фигуру. Николай Петрович по своему характеру был весьма правдивым и прямолинейным человеком, и в дипломатическо-разведывательных тонкостях искушен не был, что позднее ему сильно навредило.

Уже после моего отъезда из Испании, в июне 1937 году, произошел так называемый «альмерийский инцидент», сви-

* Лабудин Александр Петрович (1907 — 1988), контр-адмирал (1955). В 1936—1939 принимал участие в боевых действиях в Испании.

детелем всех этих событий я не был, а потому воспроизвожу все это по рассказу самого Аннина, с которым я встретился в Москве года за два до его смерти.

Надо сказать, что фашистский линейный крейсер «Канариас» сидел у нашего командования, особенно флотского, в печенках, и потопить этого пирата было заветной мечтой каждого моряка, а особенно летчика, потому что для летчика это была бы индивидуальная победа, и бесспорно, что звание Героя Советского Союза было бы ему обеспечено. Согласно решению лондонского Комитета по невмешательству в испанские дела, итало-германская эскадра осуществляла контроль побережья Испанской Республики. Обычно фашистские корабли держались в пределах положенной трехмильной зоны от берега, а если иногда ее и нарушали, то только в ночное время, чтобы под маркой «Канариаса» пострелять для практики по мирным жителям. Но поймать их на этом пока не могли: как говорится, не пойман — не вор.

Немецкая эскадра «по невмешательству» состояла из пяти кораблей: «Дойчланд», «Фатерлянд», «Эмден», «Адмирал граф Шпее» и «Адмирал граф Шеер».

В середине июня 1937 года один из советских летчиков, недавно прибывший из Союза, имея на борту не использованную во время предыдущей бомбежки 50-килограммовую бомбу, когда пролетал вдоль побережья Средиземного моря, заметил внизу военный корабль. Различить детали с большой высоты — дело нелегкое даже для опытного моряка-летчика, а этот и видал-то военные корабли только на картинках. Наслушавшись рассказов о кознях проклятого «Канариаса», он почему-то решил, что это именно он. Подлетел ближе — корабль (а это был осуществлявший свои «функции по невмешательству» немецкий крейсер «Дойчланд») по нему не стреляет, и решил, что у него есть шанс повалить медведя (своей 50-килограммовкой он мог причинить «Дойчланду» не больше вреда, чем настоящему медведю дробинкой «бекасинника»). Летчик сделал заход по всем правилам и сбросил на корабль свою бомбу. К сожалению, он попал прямо в палубу, на которой грелись на испанском солнышке немец-

кие моряки. Существенного вреда его пшикалка «Дойчланду» не причинила, но убила несколько десятков матросов, и летчик, решив, что если даже он «Канариаса» и не потопил, то достаточно сильно его повредил, отправился к себе на базу хвастаться «подвигом». Когда Гитлеру донесли, что республиканский самолет бомбил немецкий корабль, осуществлявший в законной трехмильной зоне свои функции по патрулированию побережья Республики, и убил при этом много немецких моряков, он пришел в ярость и дал приказ всей немецкой эскадре проучить «бандитов» — так немецкие фашисты называли законное правительство Испании. В те же сутки, около трех часов ночи, вся эскадра скрытно подошла к совершенно в то время беззащитной Альмерии (стоявший там ранее линкор — береговая батарея «Хаиме Примейро» — отсутствовал по причинам, о которых я еще расскажу) и в течение двух часов всей своей башенной и бортовой артиллерией обстреливала город, в котором не было никаких военных объектов. Пять кораблей, в среднем по тридцать стволов (6, 8 и 12 дюймов — калибры) на каждом, скорострельность — два-три залпа в минуту: с трудом можно представить, что делалось в городе! И все это внезапно, поздней ночью, когда все спали*.

Неизвестно почему (надо полагать, что немцам была все же известна дислокация нашей резиденции), но наш дом не пострадал . Почти все наши люди в это время были в Валенсии и ужасов этой трагедии не видели.

Рано утром, буквально сразу же после окончания немецкой акции, Николай Петрович узнал о ней и тут же выехал в Альмерию. Когда он добрался туда, в городе еще полыхали пожары и вовсю шли спасательные работы. Подъехав к дому и убедившись, что он не пострадал, Аннин отправился в порт, где располагалось его хозяйство. Прибыв туда уже в сумерках, он смутно увидел силуэт какого-то корабля, стоявшего

* Этот инцидент произошел 31 мая 1937 года, то есть уже после возвращения Л. Хургеса в СССР. Лидером группировки был карманный линкор «Адмирал граф Шпее», остальные корабли были эсминцами. В тот же день Германия и Италия вышли из системы морского контроля за соблюдением «невмешательства».

на рейде. Моряки рассказали Аннину, что это английский эсминец из Гибралтара, который должен был эвакуировать перед немецкой акцией английских граждан, проживавших в Альмерии. Эсминец немного опоздал и прибыл в Альмерию уже после обстрела, что же касается альмерийских английских подданных, то их, по-видимому, предупредили по другим каналам, и они успели смыться еще до начала обстрела, не предупредив своих испанских соседей. Но немцы еще оставили несколько плавучих мин на рейде, и вот на одну из них и напоролся английский эсминец из Гибралтара. Ему сильно разворотило корму, и капитан, чуя неизбежную гибель, приказал спустить шлюпки и отбыл со всей командой на берег — в город.

Невероятно, но факт: эсминец не затонул, а остался на плаву, даже покинутый всей командой. Аннин, подъехав к порту незадолго до рассвета, обнаружил этот факт. В его распоряжении была самоходная баржа и, собрав оказавшихся поблизости испанских моряков, он отправился к эсминцу. Объехали вокруг него — никто голоса не подает, флагов нет, предусмотрительные англичане успели перед эвакуацией снять и флаги. Поднялись на борт эсминца — никого нет.

По международному морскому закону, брошенный командой военный корабль является призом того государства, чьи поданные его спасли. Море под утро оказалось спокойным, и, под руководством Аннина, его морякам удалось каким-то образом подвести под пробоину пластырь и несколько изменить продольную центровку корабля, установив дифферент в нос, что существенно уменьшило поступление воды через пробоину и сделало возможным ее откачивание. С помощью самоходной баржи эсминец отбуксировали в порт и поставили у причала. Когда окончательно отдохнувшие на берегу англичане с удивлением увидели свой корабль в порту около стенки, командир эсминца явился к Аннину с заявлением, что этот эсминец находится в составе флота Его Величества. Николай Петрович, неплохо владевший английским языком, вежливо разъяснил капитану, что корабли Его Величества плавают по морям и океанам нашей планеты под флагом Его

Величества и со своей командой, а лишившись того и другого, эти корабли становятся бесхозными и принадлежат тому государству, чьи подданные его спасли — то есть Испанской Республике.

С такой железной логикой капитан, конечно, не мог поспорить и попросил только разрешения связаться с Гибралтаром. Это ему было разрешено, и он доложил о случившемся своему командованию. Вряд ли гибралтарские адмиралы пришли в особый восторг от такого позорного происшествия: моряк флота Его Величества бросил на плаву свой корабль и его подобрали какие-то испанские штафирки*! Было от чего прийти в ужас! Надо полагать, что дальнейшей судьбе незадачливого бывшего командира эсминца завидовать было нечего.

Начались дипломатические переговоры на высшем уровне. Испанское правительство, не желая еще обострять и так уже натянутые взаимоотношения с Великобританией, приняло решение, в виде дружеского жеста, вернуть этот злополучный эсминец его прежним владельцам. Для приемки и буксировки эсминца из Гибралтара прибыл крейсер под флагом какого-то адмирала. Корабль как могли подлатали и, дождавшись более тихой погоды на море, оттащили в Гибралтар.

В тот же вечер Аннин получил из Москвы шифровку с приказом немедленно переслать в Москву все обнаруженные им в сейфе корабля документы, ведь эсминец несколько дней был в полном распоряжении Аннина, и за это время, конечно, вполне можно было успеть поинтересоваться содержимым сейфов. Но Грегорио был настолько уверен, что эсминец уже не будет возвращен англичанам, что за текущими работами по определению степени поврежденности корабля и возможностей его ремонта не удосужился вскрыть сейфы или хотя бы снять их целиком. А когда англичане прибыли принимать корабль, делать это было уже поздно. Понятно, что англичане не стали бы даже разговаривать насчет сейфов, как и то, что их содержимое представляло немалый интерес и для наших моряков.

* Презрительное среди военных прозвище штатских людей.

Тем не менее Грегорио вернул англичанам корабль с нетронутыми и даже не вскрытыми сейфами. По своей простоте, вместо того чтобы хотя бы соврать, что в них не было обнаружено никаких документов, как, по всей вероятности, и было бы на самом деле (и тогда его оставили бы в покое), Аннин ответил в Москву, что, согласно приказу, сдал англичанам корабль «в полном комплекте», то есть со всем содержимым. Когда об этом узнал нарком обороны К. Е. Ворошилов, он пришел в ярость, обозвал Аннина по радио не разведчиком, а болваном, и обещал ему, что дальше своего теперешнего воинского звания он в своей военной карьере не пойдет. Слово свое нарком сдержал: Николай Петрович Аннин так и умер в 1959 году в Москве в звании капитана I ранга, причем по возвращении из Испании он длительное время, до самой отставки, работал на отнюдь не военной должности начальника управления кадров Главсевморпути.

А вообще, Грегорио был очень хорошим, общительным человеком, компанейским и в то же время очень деликатным в коллективе товарищем. Будучи с Киселевым в одном воинском звании, Аннин всегда подчеркивал свое подчиненное положение, всегда просил у него разрешения сесть за стол и все свои морские дела обязательно согласовывал с Василием Ивановичем, хотя тот в них и не очень-то разбирался.

Второй наш моряк, Хуан Санчес, был молодым человеком, на два года старше меня — 1908 года рождения. Среднего роста, коренастый, светловолосый, с типично русской физиономией. Хотя он постоянно проживал на линкоре, но частенько, почти каждый вечер навещал нас. Неизменно участвовал во всех наших культурных мероприятиях, преимущественно в игре в очко на небольшие деньги, в поездках в различные увеселительные заведения в городе и проч.

Жизнь в нашей усадьбе вошла в нормальную колею. Артур с Лизой и со всей их командой куда-то периодически уезжали, а потом после возвращения о чем-то долго докладывали Киселеву. Бедного коронеля Виальбу, бывшего начальника

обороны Малагского сектора Южного фронта, посаженного в тюрьму за сдачу Малаги, куда-то увезли, и у меня остался на душе очень неприятный осадок из-за того, что Киселев, на мой взгляд, одинаково ответственный с ним за сдачу города и, конечно, убежденный в полной невиновности Виальбы, даже ни разу не навестил его в тюрьме, а когда я предложил ему это сделать, грубо оборвал меня, сказав, чтобы я не совал нос не в свое дело.

Через некоторое время вышла из окружения наша бывшая Алоровская группа, которая после сдачи Малаги так и не смогла прорваться к морю, где отступали основные силы защитников города, и ушла в горы, где начала свой героический рейд уже в тылу у франкистов. Группа несла большие потери от значительно превосходящего ее как по численности, так и по вооружению противника, постоянно наседавшего на наших ребят. В обмундировании, пришедшем в полную негодность, пользуясь продовольствием и фуражом, захваченным у противника или подаренным крестьянами, почти без боеприпасов, Алоровская группа, руководимая, в основном, коммунистами, все же не потеряла своего воинского порядка и неуклонно двигалась по труднодоступной для фашистской техники горной дороге (что хоть отчасти уравнивало силы противников) на северо-восток, чтобы вырваться из окружения и соединиться с главными силами Южного фронта. И вот, в середине марта 1937 года, прорвав последние заслоны франкистов, Алоровская группа вместе с обозом и ранеными вышла в расположение частей нашего Альмерийского сектора.

Это был большой праздник для всех. Заросшие, оборванные, полуразутые, полуголодные, алоровцы обнимали своих собратьев по оружию. Правда, из вышедшей из Малаги полуторатысячной группы сюда дошло чуть больше половины, но это уже были настоящие солдаты, на которых можно было положиться в любом случае. Всю Алоровскую группу немедленно отправили в тыл для отдыха и переформирования. Большинство из них стали впоследствии командирами армии Испанской Республики.

5

Поскольку в нашем порту стоял единственный (правда, уже давно устаревший) линкор Республики «Хаиме Примейро», обладавший весьма незначительными зенитными средствами (несколькими пулеметами и одной пушченкой малого калибра), то возникла вполне реальная опасность, что фашисты могут его потопить своей авиацией. Для защиты корабля с воздуха срочно потребовались либо истребители, либо зенитная артиллерия достаточной мощности и дальнобойности. Ведь потеря этого линкора (хоть в боевом отношении сейчас и бесполезного), помимо материального фактора, имела и значительное моральное значение: это был единственный линкор флота Республики. И то, что долго не находилось для защиты женщин и детей стотысячного города, сразу же нашлось, когда дело коснулось сохранности линкора.

Военное министерство выделило для Альмерии советскую, образца 1931 года, четырехпушечную батарею с центральной наводкой. Пушки калибром 75 мм били на расстояние до 15 километров по горизонтали и до 10 километров по вертикали, что для авиации того времени было более чем достаточно. Управление огнем батареи было полностью механизировано: командир и главный наводчик находились у дальномера с оптической наводкой, обеспечивающего точное измерение расстояния до цели. Поймав в окуляр цель, ее вели, поворачивая специальные ручки горизонтальной и вертикальной наводок в нужные стороны. Перед наводчиком каждого орудия на специальной доске находились два прибора горизонтальной и вертикальной наводки с красной и зеленой стрелками.

Слежение за целью осуществлялось так: командир, поймав в дальномер цель и определив до нее расстояние, соответственно поворачивал ручки горизонтальной и вертикальной наводок орудий с таким расчетом, чтобы пушки все время следили за целью. Это обеспечивалось тем, что на приборной доске каждого орудия красные стрелки все время перемещались в зависимости от продвижения цели,

которую командир вел, поворачивая ручки. Наводчики же всех орудий, соответственно, поворачивали их до полного совпадения положений красной командирской стрелки и своей зеленой, вместе с которой двигался и ствол орудия. Таким образом обеспечивалось непрерывное слежение всех орудий батареи за целью. В нужный момент командир батареи передавал по телефону наводчикам орудий деление дистанционной трубки снаряда (то есть дистанцию, пройдя которую снаряд взорвется), заряжающий быстро его устанавливал, и по команде производился залп. Если орудия все время строго следили за целью, дистанционная трубка разрыва снаряда установлена верно и все полученные командиром данные правильны, то стрельба могла быть успешной.

Надо сказать, что стреляла эта батарея весьма эффективно. Потеряв несколько самолетов (причем один был сбит прямым попаданием снаряда в фюзеляж так, что начали рваться его же бомбы, что для зенитной стрельбы было уникальным случаем), фашисты перестали испытывать судьбу и отваживались бомбиться только ночью, да и то только в облачную погоду, потому что наши зенитчики приловчились стрелять даже в ясные лунные ночи.

Так вот эту-то батарею мы должны были получить, и она уже следовала к нам по железной дороге. Вызывает меня Киселев: «Лева, завтра в час дня прибывает к нам зенитная батарея. Возможно, об этом знают и фашисты, и тогда во время разгрузки они могут произвести авианалет. Мы должны свести до минимума пребывание батареи на станции. За час до прибытия поезда нужно обеспечить на станции не менее двенадцати трехтонных грузовиков и человек сто солдат, чтобы тут же погрузить батарею с платформ на грузовики и отправить на заранее выбранную и уже подготовленную позицию. За это ты отвечаешь головой. Если фашисты из-за задержки батареи с перегрузкой разбомбят ее на вокзале, тебе несдобровать. В штабе уже все известно, и тебе окажут всяческую помощь. Действуй — и начинай пораньше. Лучше машины и люди лишний час постоят на станции, чем батарея хоть пять минут простоит на платформах в их ожидании».

Часов в семь утра я уже был в нашем штабе. Началась обычная канитель: то одного, то другого нет, пришлось на своей машине колесить по всему городу, пока часам к одиннадцати удалось все организовать, и грузовики с людьми уже на подъездных путях ожидали поезда.

Уже входила в силу испанская весна, солнце начало жарить, как у нас в июне. По-видимому, франкистские марокканцы и все другое их теплолюбивое воинство, перезимовав в андалузском тепле, немного отошло, и теперь их можно было использовать на северных фронтах, что для Франко и его сообщников представлялось более важным. Надо полагать, что этим и объяснялось некоторое успокоение на нашем благоуханном юге (ведь сейчас Альмерия была самым южным флангом фронтов Республики).

С радиосвязью у меня никаких затруднений пока не возникало, электроэнергию давали бесперебойно, и Валенсия, и Москва сразу же отвечали на мои вызовы, обмен производился очень быстро, тем более что, в связи с затишьем на фронтах нашего района, количество радиограмм существенно сократилось. У меня появилось довольно много свободного времени.

Вообще, о днях в Альмерии у меня осталось впечатление как от пребывания в фешенебельном санатории на берегу моря: отличное, и даже более, питание, сверхкомфортабельное жилье, прогулки на машине по живописным краям одного из самых красивых мест нашей планеты, не очень обременительная работа, выражавшаяся в нескольких сеансах радиосвязи в сутки, — вроде бы лучшей жизни и желать нечего.

Но ох уж всегда эти «но»: но одолели… блохи! Я и не представлял себе до тех пор, что эти казалось бы ничтожные насекомые могут причинить человеку столько неприятностей. Из-за близости меловых гор в Альмерии развелось невероятное количество блох. Идешь по улице и буквально топчешь их ногами. Кусают так, что невозможно удержаться и не расчесать себе тело до крови. Днем еще как-то можно терпеть, пользу-

ясь не очень жаркой погодой, я надевал не испанские трусы, а обычные наши кальсоны, которые по моим эскизам сшила мне белошвейка из плотного полотна. Для герметичности на прореху я нашил замок-молнию, а все кругом обвязал плотными резинками, и то негодницы-блохи пролезали туда и шпилили, правда в небольшом количестве и потому более-менее терпимо, причем уничтожение блох на теле — операция совершенно невыполнимая, ведь они маленькие и твердые, как камешки. Но самое мученье начиналось ночью, когда ляжешь спать. Тут уже вся герметичность пропадает, и ты находишься в полной власти блох. Кусают везде и при любых условиях, как при погашенном свете, так и на свету. Давить — бесполезно, твердые, да еще и упрыгивают. Никакие медицинские или химические средства не помогают, не помогло против альмерийских блох даже испытанное русское средство — полынь.

О тревожных днях пребывания в Малаге мы вспоминали как о чудесном лучезарном сне, ведь там не было этих тварей. И еще долго, уже после возвращения на Родину, на моем теле оставались следы расчесов после укусов альмерийских блох. Но что ж поделаешь: раз приказано — надо оставаться там, где велят.

6

Как-то побывал я еще раз в Картахене у Леши Перфильева, и он показал мне свой альбом с фотографиями, сделанными им в Испании. Он купил фотоаппарат «Контакс» (немецкий, фирмы «Цейс и Кон») и теперь увлекся любительской фотографией. Снимки у него были очень интересными: порт, военные корабли (у нас бы ему за такие снимки запросто сунули бы по статье «ПШ» — «Плохая шутка», или «Подозрение в шпионаже» — минимум лет десять срока), бой быков в Валенсии, народные танцы и т. д. Этот аппарат обладал очень большими возможностями: при выдержке в 1/1500 секунды на фотографии самолета с запущенным мотором его винт получался остановившимся, с чуть смазанными краями, а однажды Леше

даже удалось поймать вылет снаряда из ствола пушки. Такой аппарат в Союзе был, наверное, у считаного числа корреспондентов, да и то из работавших за рубежом. Правда и стоил он недешево: Леша купил свой, с объективом светосилой 1:1,5, более чем за три тысячи песет (почти два моих месячных оклада), но нисколько не жалел об этом, аппарат того стоил.

Одним словом, мы с Васей заболели фотографией и, приехав в Альмерию, сразу же занялись поисками фотоаппаратов. Я тоже купил себе «Контакс», правда с объективом не 1:1,5, а 1:2,8. Он, конечно, не мог работать с такими малыми выдержками, как Лешин аппарат, но зато стоил в два раза меньше, всего 1500 песет. Вася купил себе камеру «Роланд» (тоже немецкую), с объективом 1:2,8, за 1200 песет. Разница между нашими аппаратами в основном заключалась в том, что Васин аппарат мог работать только на пленке 6х6 см, которую не всегда можно было достать, мой же — на обычной кинопленке (как у аппаратов «ФЭД», «Зоркий» и проч.), которая не была особым дефицитом. Правда, Васины снимки можно было печатать простым контактным способом, мои же только через увеличитель, который мы приобрели вместе с аппаратом. Оборудовали у себя дома фотолабораторию и начали щелкать.

Надо сказать, что снимки у нас сразу же начали получаться отличные, ведь, не доверяя своему глазу, я приобрел фотоэкспонометр «Электро-Бэви», и потому мы почти никогда не ошибались с выдержками при фотографировании.

Василий Иванович одобрил наше увлечение (еще бы, вместо того чтобы шататься по всяким сомнительным местам, мы все вечера просиживали в фотолаборатории, проявляя пленки и печатая снимки). Чтобы запечатлеть свои физиономии, мы с Васей обычно обменивались аппаратами, он работал моим «Контаксом» и фотографировал на всевозможных фонах меня, я то же самое делал его камерой. Фотографировались мы на линкоре «Хаиме Примейро», на зенитной батарее, но большей частью дома, в своей усадьбе, а также в многочисленных поездках.

Особенно удачно у меня получился снимок на линкоре: Вася щелкнул нас с Сашей Лабудиным около башни орудий

главного калибра так, что мы находились между открытыми жерлами 12-дюймовых орудий, а сами пушки, сужаясь, уходили назад. К сожалению, все мои снимки хоть и не пропали, но достать их сейчас я не могу и не думаю, чтобы это удалось в обозримом будущем. Сохранилась и подаренная мне в 1958 году Н. П. Анниным фотография нас обоих в гостиной нашего дома в Альмерии.

Чтобы наш фотографический раж не проходил зря, Киселев дал нам задание сфотографировать все шоссейные мосты в нашей округе. Памятуя, что у нас в Союзе подобная любознательность могла закончиться знакомством с весьма компетентными органами, я запасся специальным удостоверением, которое мне выдали в штабе. Мне пришлось долго доказывать необходимость такого документа, но, как мне кажется, там этого так и не поняли и, пожалуй, были вполне правы, потому что, хотя мы с Васей сфотографировали все мосты в нашей округе (поставив каждый раз для масштаба на мост нашего шофера), но ни разу бдительные стражи мостов, которые при этом присутствовали, не спросили у нас никаких документов.

Фотографии получались отличными. Сперва мы для гарантии делали по два-три одинаковых кадра, а впоследствии настолько обнаглели, что обходились одним, и надо сказать, что за все время делать повторный снимок нам не пришлось ни разу.

Весна все больше вступала в свои права. В связи с потеплением фашисты активизировались на центральном и других, более северных, фронтах, а нас совсем оставили в покое. Командование полагало, что наш участок может сыграть роль в некоторой степени «оттяжного пластыря», и решило провести у нас несколько небольших тактических наступлений, с целью оттяжки фашистских сил с других фронтов, где складывалось тяжелое положение.

С этой целью к нам временно перебросили одну интербригаду, под командованием генерала Гомеца*. По прибы-

* Генерал Гомес (настоящее имя В. Цайссер) был одним из руководителей базы интербригад в Альбасете.

тии на наш участок ее штаб разместился в небольшой рыбацкой деревушке на побережье Средиземного моря (южнее Альмерии) — Аква-Дульсия (Сладкая вода) — километрах в двадцать от Альмерии. Поскольку бригадой командовал генерал, то Киселев как младший по званию должен был первым к нему приехать и представиться, а заодно и поговорить о координации действий наших сил.

Я в то время уже довольно бойко болтал по-испански, правда с грамматическими ошибками, но словарный запас мой, особенно в военной терминологии, был достаточно велик, и испанцы меня более-менее сносно понимали. Не помню почему, но для беседы с генералом Гомецем Василий Иванович, познания которого в испанском языке так и ограничились ненавистными ему словами «маньяна» («завтра») и «муй дефисиль» («очень трудно»), взял меня с собой в качестве переводчика.

Приехали в Аква-Дульсию. Генерал нас очень любезно встретил и пригласил в свой кабинет. Надо сказать, что, несмотря на свою фамилию — Гомец, он мало напоминал испанца: высокого роста, могучего телосложения, с рыжеватыми волосами и белесыми бровями, он больше смахивал на скандинава или немца. Когда сели беседовать, оказалось, что «испанский» генерал Гомец по-испански объясняется еще хуже, чем я. Если с испанцами у меня разговор еще кое-как получался, то здесь я потерпел полное фиаско: какое слово я знаю — он не знает, и наоборот. Из разговора явно ничего не получается. Попробовали французский — тут я явно швах. Спрашиваю: «Шпрехен зи дойч?» («Говорите ли вы по-немецки?»). Генерал сразу же оживает: «О я! Дас ист майн муттершпрах!» («О да! Это мой родной язык!»).

Ну, думаю, уж на муттершпрахе я уж как-нибудь сумею объясниться, ведь еврейский жаргон, который я более-менее прилично знаю, — это почти немецкий. Но если по-русски я говорю совершенно без всякого акцента, то когда перехожу на немецкий, у меня появляется сильнейший еврейский акцент. После первых моих фраз «на немецком» генерал меня перебил: «Зайен зи юде?» («Вы еврей?»). Получив утверди-

тельный ответ, он сразу же перешел на идиш. Оказалось, что генерал не испанец и не немец, а голландский еврей.

После выяснения этого обстоятельства мы с ним довольно бойко заговорили на идиш, который и в Голландии оказался весьма похожим на еврейский жаргон в России. По окончании беседы, выходя из кабинета, Киселев спросил у меня, на каком это языке мы говорили с генералом. В том, что это был не испанский, он разобрался, а узнав, что это был еврейский, то ли удивленно, то ли восхищенно заметил: «Ну уж эти жиды, куда только не пролезут, даже в испанские генералы!».

Надо сказать, что Василий Иванович страдал многими грехами, но в национализме, а тем более в антисемитизме, обвинить его было никак нельзя. За все время нашей совместной работы ни по отношению к Маше Левиной, ни по отношению ко мне я ни разу не наблюдал у него ни малейшего намека на недоброжелательность на национальной почве.

После беседы генерал пригласил нас пообедать. Обед прошел в дружеской обстановке. Я сидел рядом с адъютантом генерала, который оказался эмигрантом из России, откуда его вывезли еще мальчиком. По национальности тоже еврей, он вполне прилично говорил по-русски.

Эту интербригаду к нам, конечно, не зря перебазировали, намечалась довольно серьезная наступательная операция, в результате которой мы должны были оттяпать у фашистов довольно большой кусок побережья Средиземного моря, а так как они не любили отдавать обратно единожды занятую ими территорию, то было основание полагать, что для контрнаступления они снимут часть своих сил с других фронтов, чем облегчат положение наших войск на тех участках.

В нашем наступлении должен был принять участие и наш линкор «Хайме Примейро». Всю мощь своей артиллерии он должен был обрушить на крепко обороняемые фашистами участки побережья, что значительно облегчило бы задачу нашим войскам. На помощь нам должны были выделить и самолеты-бомбардировщики, чтобы бомбить участки фронта, недоступные артиллерии линкора. Самое главное в этой опе-

рации — внезапность и четкая координация взаимодействия наземных сил, артиллерии линкора и авиации. Для этой цели в моих руках была сосредоточена радиосвязь со штабом пехоты, авиацией и линкором. По радиосигналу «пахара»* вылетает на бомбежку заранее указанных целей авиация и начинает обстрел побережья линкор.

Не знаю, насколько нашим удался элемент внезапности, но моя радиосвязь работала безупречно. В основном вся операция прошла успешно, и мы оттяпали у франкистов не менее десяти-пятнадцати километров побережья, но в конце случилось происшествие, которое фактически свело на нет все наши успехи и даже серьезно ухудшило наше положение, во всяком случае в Альмерии.

На обратном пути линкор, вместо того чтобы спокойно войти в порт Альмерии, по ошибке или по чьему-то злому умыслу завернул в несколько похожую на альмерийский порт акваторию причалов у деревни Аква-Дульсия, о которой я уже говорил. Самое скверное, что корабль сделал это на достаточно большом ходу, и когда на командирском мостике поняли ошибку, исправлять ее было уже поздно, инерция такой громадины оказалась слишком большой. Попав на мелководье, линкор прочно сел на грунт, и все попытки своими силами выбраться оттуда оказались безуспешными. Прибывшие специалисты пришли к заключению, что снять его с мели можно будет только после демонтажа орудийных башен главного калибра и не менее 70% всей брони и максимально возможной разгрузки корабля, на что, по самым скромным подсчетам, потребуется не два, а то и три месяца.

И вот «Хайме Примейро» прочно сидит на мели в Аква-Дульсии, Альмерия полностью открыта для морских пиратов, и никто уже не сумеет их отогнать. Но это еще не все: сам линкор находится примерно в тридцати километрах от города; практически не имея никакой защиты с воздуха, он может стать легкой добычей фашистской авиации, так как единственная наша зенитная батарея, основной задачей которой была защита линкора с воздуха, расположена в Аль-

---

* Птица *(исп.)*.

мерии. Пришлось срочно снять ее с города и перебросить в Аква-Дульсию для прикрытия корабля с воздуха.

Таким образом, крупный провинциальный центр — город Альмерия — оказался совершенно беззащитным как с моря, так и с воздуха. Это, по-видимому, сыграло важную роль в том, что немцы в июне 1937 года именно Альмерию выбрали для проведения акции возмездия — за бомбежку республиканским летчиком линейного немецкого крейсера «Дойчланд». Ведь напади они на другой республиканский приморский город, где была береговая артиллерия, то могли бы получить по зубам, а в разоруженной с моря и воздуха Альмерии им все сошло с рук. Но это было уже позднее, а пока кончилась наша спокойная жизнь, когда ни военные корабли фашистов, ни самолеты не решались нападать на город, боясь «Хайме Примейро» и нашей зенитной батареи, — теперь же всю эту мощную защиту получила никому не нужная деревенька Аква-Дульсия.

Опять начались ночи с непрерывными воздушными тревогами и внезапные разрывы в городе снарядов, посылаемых с невидных, спрятавшихся за горизонтом фашистских военных кораблей, причем не только франкистских, но и принадлежавших их друзьям из флотилии невмешательства.

7

Совершенно неожиданно окончилась для меня испанская жизнь.

26 апреля 1937 года приезжает из Валенсии Василий Иванович и привозит с собой уже мне известного по Севастополю одесского радиста Юзика, фамилии которого я не помню. Как я писал ранее, этот Юзик перед отправкой из Севастополя парохода «Мар-Кариб», на котором я должен был следовать в Картахену, мудрил там до моего приезда из Москвы с какой-то антенной, в работе которой он, по-видимому, не очень хорошо разбирался, и до того домудрился, что чуть не сорвал срок отплытия парохода. Он с этой антенной никак

не мог установить радиосвязи с Москвой, а без этого пароход, конечно, из Севастополя не выпускали, и пришлось мне тогда попросить Юзика с парохода и самому заняться антенной. И вот теперь этот самый Юзик и приехал вместе с Василием Ивановичем к нам в Альмерию.

«Лева, — обратился ко мне Киселев, — тебя отзывают на Родину. Радиостанцию и все дела по радиосвязи сдай этому товарищу». Поскольку все у меня было в полном порядке, связь с Валенсией и Москвой устойчивая, то передача дел Юзику у меня много времени не отняла. Оформив все, я тепло распрощался со всеми нашими товарищами и с накопленным в Испании имуществом сел в машину, специально предоставленную мне Киселевым для поездки в Валенсию, а оттуда в Картахену. Ехать из Испании домой я должен был также пароходом из Картахены, куда я прибыл из Севастополя чуть меньше полугода тому назад, и ранним погожим утром навсегда покинул Альмерию со всеми ее прелестями, в том числе и с блохами. Это единственное, о чем я не жалел, уезжая из оттуда.

Трудно описать мою радость, когда я выезжал из ворот нашего дома, провожаемый всем персоналом нашей миссии. Еду домой! Главное, живой! Руки-ноги целы, свой долг перед Родиной выполнил безупречно. Не струсил и в самые тяжелые дни: как во время рейса из Севастополя в Картахену на пароходе, груженном боеприпасами, когда улыбалась перспектива взлететь на воздух вместе с пароходом от снаряда или торпеды фашистского эсминца, так и во время отступления из Малаги, когда отказался эвакуироваться и оставить на верную смерть своего старшего товарища — Василия Ивановича Киселева, а ведь это были очень серьезные экзамены на право называться человеком. Впереди почетное возвращение на Родину, рукопожатие «Всесоюзного старосты» Калинина при вручении мне боевого ордена, а самое главное — встреча с родными, особенно с матерью, ведь она, наверно, все глаза выплакала, вспоминая обо мне. Только имея своих детей, начинаешь понимать, насколько ты был дорог родителям. И вот — я еду домой!

Часть подарков родным и приятелям уже лежат в чемоданах, остальные еще предстоит купить в Валенсии, ведь не

возьмешь же домой испанскую валюту, надо здесь истратить все до сантима. Хороший подарок везу отцу — кошку Мурку, но лучший подарок и ему, и матери — я сам, живой и здоровый, благополучно возвратившийся после всех испанских передряг.

В Валенсии меня долго не задерживали. В штабе на улице Альборайя мне велели быстрее ехать в Картахену, так как пароход «Магельянос», на котором мне надлежало плыть, в тот же вечер должен был отправиться в Советский Союз. Оставалась проблема — как истратить испанские деньги. Ведь Валенсия апреля 1937 года уже не была Валенсией декабря 1936 года: война съела большинство наиболее дефицитных товаров из ширпотреба, особенно импортных. Купил портативный фотоувеличитель, накупил кинопленки, фотобумаги, химикатов, ведь у нас в Союзе все это было дефицитом. Накупил подарков: белье, обувь и прочее — сестрам и зятьям, всякое детское «оборудование» и игрушки — племянникам.

Денег уже осталось не так много, а ведь кроме авторучек, которыми я запасся еще в Альмерии, надо было еще купить что-нибудь из сувениров многочисленным московским друзьям. Подошел к газетному киоску и — эврика! — не литература, а «ягодки»: как говорится, не для дам, с цветными иллюстрациями. Ну, думаю, это, пожалуй, то, что надо: и недорого, и здорово, ведь таких перлов мои друзья в Союзе не только нигде не купят, но и не увидят. Большинство точно не откажутся полюбоваться таким жанром, а уж текст как-нибудь переведут, ведь число людей, знающих испанский и французский, у нас за это время значительно выросло. Пользуясь дешевизной, накупил я порнографии с достаточным запасом для всего контингента моих приятелей.

Купил грампластинок, преимущественно народных испанских песен и танцев и, конечно, модных в те времена Вертинского и Лещенко. Зашел в нотный магазин и приобрел там большой сборник избранных произведений Шопена в роскошном переплете, ноты испанских мелодий и революционных песен, купил даже очень красочно оформленные ноты марша испанских анархистов «Хихос дель пуэбло» («Сыны народа»). Свои два чемодана набил до отказа, а ведь

надо же еще привезти и спиртного. Пришлось для этого купить еще что-то вроде нашей хозяйственной сумки, достаточно большого размера, чтобы в ней поместилось бутылок десять: испанский коньяк «Педро Домек», французский ликер «Куантро», ямайский ром «Негрита» и проч. Несколько десятков наилучших гаванских сигар я припрятал еще в Альмерии из запасов бывшего хозяина нашей усадьбы. Деньги практически кончились, надо ехать в Картахену, а то еще опоздаешь на пароход, и придется там натощак ожидать следующей оказии в Союз.

Ехать прямо в Картахену запретили (неудобно собирать там много людей), а велели сперва отправляться на нашу авиационную базу в Сан-Хавьер (это километрах в двадцати оттуда), а там, когда прибудут все отъезжающие на Родину, следовать в Картахену для посадки на пароход.

Корабль в Картахене уже стоит «под парами», в списке отъезжающих я есть. Пароход грузо-пассажирский, название — «Фердинанд Магельянос», приписан к порту Барселона, до войны совершал регулярные рейсы Барселона — Гавана. Сейчас ходит только по спецрейсам и в данное время направляется в Советский Союз, в Крым, в порт Феодосию. Восемь с половиной тонн — водоизмещение, длиной метров двести.

Выделили мне великолепную одноместную каюту, почти в самом центре парохода. Положил вещи и вышел на палубу. Кругом предотъездная суматоха: догружаются последние грузы, размещаются последние пассажиры. По старой привычке зашел в радиорубку и познакомился со старшим по перевозке. Звали его Николай Николаевич. Высокого роста, с отличной воинской выправкой, по званию комбриг (по-нынешнему генерал-майор). В то время я его не знал, потому что в Испании с ним встречаться не приходилось, но это был впоследствии один из главных героев Отечественной войны — маршал артиллерии Николай Николаевич Воронов. Предложил я свои услуги как квалифицированного радиста. Николай Николаевич очень любезно меня поблагодарил и ответил, что штат радистов на пароходе укомплектован полностью и потому в моих услугах они не нуждаются.

Еще бы, подумал я, домой да еще на порожнем пароходе радисты всегда найдутся, это не то что туда, да еще на бочке с порохом и зажженным фитилем. Ну что ж, это предложение я, собственно говоря, сделал из вежливости, не нуждаются — и ладно: баба с возу — кобыле легче, поеду пассажиром, никакой лишней мороки вроде ночных вахт.

Каюта вполне комфортабельная, харч тоже, по-видимому, будет неплохой, хоть отдохну, если, конечно, в пути не потопят. Уже совсем стемнело. Забыл в суматохе зайти к дружку — Леше Перфильеву — здешнему радисту, попрощаться, да уже и поздно. Жаль, конечно, но уже ничего не поделаешь, вот-вот отдадут концы, а пароход меня ждать не будет. Бог даст, в Союзе еще встретимся, если оба живы будем. За день я настолько накрутился, да и на авиабазе немного поддал, что, вернувшись в каюту и улегшись в постель, сразу же уснул. Не было даже сил побыть на палубе во время отдачи концов — да оно, пожалуй, и лучше, так как идти ко дну от фашистской торпеды приятней в сонном состоянии, чем в бодрствующем. Просыпаюсь — светло. Глянул в иллюминатор — стоим в порту. Что за черт, это же Картахена. Значит этой ночью мы не ушли. Почему? Поднялся на палубу, спрашиваю у наших ребят, почему мы не ушли прошлой ночью? «Ну и здоров же ты спать, приятель!» — ответил мне длиннющий сутуловатый парень в кожаной курточке со значком танкиста. Парня этого звали Вадимом Анатольевичем Протодьяконовым. Сейчас он подполковник в отставке. Живет в Москве и регулярно, по «табельным» дням, отвечает открытками на мои поздравления. «Как это можно было уснуть в ночь, когда покидаешь Испанию, тем более с риском попасть на корм к рыбам», — сказал он. Выяснил, что не отплыли накануне из-за слишком хорошей погоды. Опасаясь фашистских рейдеров, решили отложить отплытие на сутки, потому что на сегодня синоптики обещают шторм с плохой видимостью, а это как раз то, что нам нужно. Ну что ж, пробудем еще день в Испании.

Начал с осмотра парохода: корабль — ничего, посередине широкие коридоры, устланные мягкими дорожками, по обе стороны коридора — каюты. Моя в первом классе, но,

по-видимому, и остальные ненамного хуже, потому что все неудобные на пароходе места, где обычно размещаются каюты третьего и четвертого классов, здесь заняты грузовыми трюмами. Имеется несколько салонов, все с ресторанами для пассажиров. Наш — главный, самый большой. Посреди него большая статуя Магеллана, в честь которого и назван пароход, большой концертный рояль и столы для питающихся здесь пассажиров. По краям салона мягкие диваны, кресла, столики для игры в карты и шахматы. Все прикреплено к полу, надраено и блестит чистотой. Есть на пароходе даже плавательный бассейн и площадка для спортивных игр. Вообще говоря, путешествие на таком лайнере, если, конечно, в перспективе нет встречи с фашистскими рейдерами с последующим кормлением рыб собственными потрохами, кроме удовольствия, ничего не обещает.

После осмотра парохода я спустился на берег, ведь отплыть можно было только после наступления темноты, и зашел к Леше Перфильеву. Он уже знал, что я возвращаюсь на Родину, но почему-то все время как-то странно на меня смотрел. Когда я его об этом спросил, он не ответил, а я не придал особого значения его взглядам. Полагал, что ему немного грустно, что он, приехавший в Испанию раньше меня, еще остается здесь, а я уезжаю. Причину столь раннего, менее чем через шесть месяцев, возвращения я объяснял себе тем, что, по-видимому, отправлявший меня в Испанию Абрамов захотел сдержать свое обещание и дать мне наконец возможность защитить свой дипломный проект в Московском институте связи. Плохо же я знал этот энкавэдэшный народ!

На этот раз синоптики нас не подвели, погода действительно начала портиться: задул холодный ветер, небо заволокло тучами, на море стали гулять барашки, в общем, через несколько часов погода будет для нас что надо, ведь шторм — это нашему козырю в масть, меньше шансов встретиться с фашистскими пиратами, не больно-то скоро они нас увидят в такой муре. Вот бы нам такую погоду, когда мы плыли из Севастополя в Картахену со своим страшным грузом, избежали бы многих волнений.

Через некоторое время начало темнеть. Непогода разгулялась на славу, и решили отплывать, чтобы успеть добраться затемно до Алжира, после которого фашистские рейдеры уже не были нам так страшны (правда, через некоторое время после нашего рейса фашисты потопили республиканский пароход «Сиудад де Кадис» почти у самого выхода из Дарданелльского пролива, да и сам «Магельянос» впоследствии был потоплен фашистами недалеко от Алжира).

Почему-то проводить меня пришел Леша Перфильев, хотя мы с ним простились еще под вечер. По его виду я понял, что чем-то он очень расстроен. Спустившись на пирс, я спросил его, в чем дело, и он, помявшись, ответил: «Лева, я не имею права этого говорить. Но я не могу от тебя утаить эту ужасную новость: мне стало известно, что ты в Испании в чем-то провинился и дома тебя должны арестовать и предать суду. Вот и все, что я знаю, а дальше делай что хочешь, я тебе ничего не говорил». Надо сказать, что для того, чтобы передать в те времена товарищу такие сведения, нужно было иметь очень большое гражданское мужество. Далеко не каждый был на это способен, и Леша доказал, что действительно был преданным другом и порядочным человеком.

Когда я услыхал Лешины слова, у меня прямо ноги подкосились, но я постарался сделать вид, что в этом нет ничего особенного и что это простая сплетня. Но сам я прекрасно понимал ситуацию начала 1937 года, особенно после мартовского пленума ЦК, на котором было решено «усилить борьбу с врагами народа»*.

Признаться, такой чудовищной несправедливости я никак не мог ожидать. Ведь мне был поручен пароход с боеприпасами, от прибытия которого в сильнейшей степени зависело будущее Испанской Республики, мне доверялась судьба почти всего ее флота. За все время после отъезда из Севастополя я ни разу не уклонялся ни от какой работы, ни

---

* Точнее — февральско-мартовский пленум: начался 23 февраля 1937 года, а 27 февраля из партии были исключены Н. И. Бухарин и А. И. Рыков.

от какой опасности — и все во имя нашей Родины и победы Испанской Республики. Нет, в такую несправедливость я никак не мог поверить.

Подумав немного, я попросил Лешу оказать мне одну услугу: сбегал в свою каюту, достал там конверт и бумагу и написал, для передачи Берзину—Урицкому, письмо примерно такого содержания: «Уважаемый товарищ командующий! Отбывая на Родину по распоряжению Центра, я делаю это с полным сознанием выполненного перед ВКП(б) и нашей советской родиной долга. Я не чувствую за собой ни малейшей провинности и готов отчитаться перед кем угодно в своей деятельности в Испании. Работая в Испании, я никогда не уклонялся ни от какой работы, ни от какой ответственности, ни от какой опасности во имя победы Испанской Республики и возвращаюсь домой с полным сознанием выполненного долга, и если моя жизнь снова понадобится нашей великой Родине, то она всегда в ее полном распоряжении». Это письмо я запечатал в конверт и передал его Леше, чтобы он переслал его по назначению. Не знаю, сделал ли он это, но уже в Москве, когда мы с ним впервые встретились через много лет после описываемых событий, от ответа на мой вопрос о письме Леша уклонился, сказав, что он вообще забыл о нашем разговоре около трапа «Магельяноса», и тем более о письме. Надо полагать, что, в отличие от меня, у него хватило благоразумия не делать этого, иначе ни его, ни меня уже, конечно, не было бы в живых, ибо это ведомство терпеть не могло, когда посторонние суют свой нос в его страшную кухню. Во всяком случае, тогда Леша взял мое письмо и положил в карман. По-видимому, он и сам не верил в эту чудовищную версию, потому что попросил меня выполнить одну его просьбу: передать в Москве его младшему брату посылку — небольшую коробку, в которой были часы, маленький фотоаппарат, пара шелковых верхних рубашек и несколько авторучек. Эта просьба окончательно меня успокоила, и я решил, что Лешино сообщение — это только сплетня, распускаемая людьми, которые завидуют моему столь скорому возвращению на Родину.

Тут прозвучала команда к отплытию. Мы с Лешей последний раз обнялись, и я поднялся на палубу. Почти сразу же убрали сходни, и два буксира потащили наш пароход к выходу из порта. Долго стоял я на палубе и махал рукой все уменьшающейся фигурке Леши Перфильева.

Сопровождать нас вышло несколько кораблей военно-морского флота Республики. Они все время патрулировали море, то несколько уходя вперед, то снова приближаясь к нам.

С нашим конвоем мы простились примерно на траверзе Алжира и далее спокойно продолжали свой путь под своим законным красно-желто-фиолетовым флагом, не делая даже никаких попыток маскировки. По-видимому, и на этот раз мы уклонились от обычных морских путей: мы почти не встречали встречных кораблей, несмотря на то что обычно судоходство здесь бывает довольно оживленным.

На «Магельяносе» возвращались на родину человек пятьдесят советских добровольцев, часть легкораненых, часть просто по истечению срока пребывания в Испании, преимущественно это были люди, прибывшие в Испанию в октябре-ноябре 1936 года, то есть чуть раньше меня. Это обстоятельство меня еще больше успокоило: значит, ничего экстраординарного в моем возвращении домой, по-видимому, нет.

В пути каждый развлекался, как мог. Я особенно сдружился с Вадимом Протодьяконовым. Мы с ним все время загорали на палубе, занимались фотографией, а иногда я немного концертировал на рояле в главном салоне. А наше путешествие пока протекало безмятежно, и с каждым днем мы приближались к родине, к близким.

После Алжира установилась безоблачная, теплая погода, ведь уже был самый конец апреля. Первомайские праздники мы встречали в районе острова Мальта, который опять обходили с юга. Николай Николаевич организовал небольшой митинг вместе со свободными от вахт испанскими моряками. Было сказано немало теплых слов как нашими товарищей в адрес испанского народа, так и испанцами в адрес Со-

ветского Союза. После митинга был устроен торжественный обед. Радисты наши сумели организовать прямой прием передач из Москвы, и мы у себя в салоне слушали в громкоговорителе уже давно не слышанную нами Москву и первомайскую демонстрацию на Красной площади. За обедом произносились многочисленные тосты за партию, ее руководителей, за Испанию, за победу испанского народа в борьбе с фашизмом и многие другие, благо великолепного испанского вина было вполне достаточно.

И вот, наконец, в предвечерней серой дымке появляются берега Крыма. Это уже Родина! И встретили мы появление родных берегов громким несмолкаемым: «Ура-а-а-а!». Всю ночь мы еще будем двигаться, все приближаясь к родным берегам, и на рассвете окажемся в Феодосии. Как я ни крепился, но в конце концов сон сморил меня, и я спустился в свою каюту немного вздремнуть, ведь день предстоял весьма хлопотливый. Встреча с Родиной, погрузка на поезд, чтобы уже послезавтра быть в Москве, утереть наконец слезы матери и увидеть радостную улыбку на лице отца. И вот он, долгожданный день возвращения — 6 мая 1937 года.

На рассвете мы уже в Феодосии. Правда, к причалу еще не поставили, стоим пока на рейде. Уже привезли свежие московские газеты. С жадностью на них набрасываемся, ведь столько времени мы их не читали. В Испании они к нам попадали редко, а если и попадали, то минимум двухнедельной давности. Сразу бросилась в глаза печально известная статья Уранова* о коварных методах иностранных разведок. Надо сказать, что не только на меня, но и на многих других наших товарищей, вернувшихся из Испании, эта статья произвела очень неприятное впечатление: во-первых, факты, изложенные в ней, не всегда были достаточно убедительными, многое, как говорится, было высосано из пальца и из мух делались слоны; во-вторых, выводы были сделаны чрезвычайно кровожадные, да и откуда в нашей стране, среди наших людей со столь высоким морально-политическим уровнем могло взяться столько

---

* *Уранов С.* О некоторых коварных приемах вербовочной работы иностранных разведок // Правда. 1937. 4 мая. С. 2—4.

агентов иностранных разведок? Помню, что никто даже и не стал обсуждать эту статью, уж больно тяжелым духом она повеяла на нас, привыкших за последнее время к возможности существования различных точек зрения на одно явление.

Через некоторое время подошел к нашему пароходу катер, а на нем приехал уже хорошо мне известный (да и не только мне) корпусной комиссар Мейер — тот самый Мейер, который, отправляя в ноябре 1936 года нас в Испанию на пароходе «Мар-Кариб», заявил нам, что будет счастлив, если когда-нибудь встретит хоть одного из нас живым. Меня он сразу узнал: «А, радист! — приветствовал он меня, обнимая за плечи. — Ну, живой и невредимый! — обрадованно восклицал он, вглядываясь в меня. — Ну, рад! Очень рад! О тебе имею самые лучшие отзывы. И на "Мар-Карибе" провел рейс как следует, и в Испании лицом в грязь не ударил. Ну, молодец! Приехал — теперь отдыхай. Может, еще свидимся, ведь такие, как ты, для нашей работы очень нужны», — заключил он.

Всех прибывших собрали в большом салоне. Мейер поздравил нас с возвращением на Родину и сказал еще много хороших, прочувствованных слов. Он объявил, что обедаем мы еще на пароходе, но обед уже будет «наш», из феодосийского ресторана, а вечером на скором поезде Феодосия—Москва всех нас отправят в специальных вагонах. Потом Мейер стал спрашивать, кто что хочет на обед. Сразу раздалось дружно-хоровое: «Черного хлеба!», «Соленой капусты!», «Водки!», «Черной икры», «Клюквы» и т. д. Мейер все это терпеливо выслушал, а потом ответил, что будет все, что попросили, и добавил, что встречает уже не первый транспорт с возвратившимися добровольцами, а просьбы все одни и те же: черный хлеб, водка, квашеная капуста и т. п. Это, конечно, понятно: земляки соскучились по давно привычным «расейским» блюдам, ведь в Испании-то их не было. «Ладно ребята, все это вам будет, вы это заслужили. Потерпите несколько часов, а пока последний раз позавтракайте испанскими харчами», — заключил Мейер.

Через несколько часов на большом катере к нам прибыл феодосийский курортный ресторан почти в полном составе:

и повар, и его помощники, и официанточки в белых передничках и наколках, а также ящики с продуктами и — что нас, конечно, больше всего интересовало, — с водочкой.

Обед, как говорится, прошел в непринужденной дружеской обстановке, правда, боясь, что с отвычки от нашей водки мы можем спьяну наделать глупостей, Мейер пожадничал, и водки нам к обеду дали всего по четвертинке, но зато черной икры — по полному блюдцу. Хорошо пообедав и слегка навеселе, вышли мы все на палубу. Прямо в порт подали два мягких вагона, нас на катере привезли в порт и подвели к ним. Командовал посадкой какой-то старший лейтенант, который отрекомендовался комендантом этих вагонов. Когда я захотел устроиться в одном купе с Вадимом, комендант не разрешил, заявив, что у него в списке указано, кого куда и с кем поместить.

Поместили меня в ближнем к выходу купе, вместе с хорошо мне знакомым дипкурьером Никифором Яковлевичем Шубодеевым*. Он ехал с восемью чемоданами дипбагажа, отчего в наше купе больше никого не подсадили (все это, как вскоре выяснилось, было не случайно).

Поскольку пообедали мы обильно и поздно, то есть не хотелось, а спали мы накануне мало, и я, как только лег на свою полку, почти сразу же заснул. Проснулся я оттого, что кто-то меня тормошил. Открыл глаза — наш комендант, а с ним двое в штатском и один в военной форме, но без знаков различия. Одновременно со мной подняли и Шубодеева. Когда я осведомился, в чем дело, один из штатских мне сказал тихо, но убедительно: «Прошу вас, не поднимайте шума, быстрее одевайтесь, забирайте вещи и выходите из вагона. Придется

---

* Шубодеев Никифор Яковлевич, 1899 г. р., уроженец д. Мошок Чаусского р-на Могилевского окр., белорус (по др. данным русский), член ВКП(б) в 1920—1937, шифрработник Наркомвнешторга, проживал: п. Перловка Московской обл., Железнодорожная ул., д. 29, общежитие. Арестован 7 мая 1937 в Симферополе. Выездной сессией Военной коллегии Верховного суда СССР в Ленинграде 2 декабря 1937 приговорен по ст. ст. 58-1а-8-11 УК РСФСР к высшей мере наказания. Расстрелян в Ленинграде 2 декабря 1937. Посмертно реабилитирован.

ехать в Симферополь, где с вами должен побеседовать наркомвнудел Крыма». То же самое сказали и Шубодееву.

Ну что ж, приказ есть приказ, спорить не приходится. Быстро оделись. Я свои два чемодана и сумку взял сам, а Шубодееву его дипбагаж помогли вытащить штатские. Ведь зря нас тревожить не будут, значит, стоит в Севастополе еще один такой «Мар-Кариб», с еще более страшным (если это только возможно) грузом в трюмах, и ждет радиста, то есть меня. Два раза испытывать судьбу опасно, но что поделаешь: раз велят — надо ехать, такая уж у нас работа, никто меня в это ведомство за уши не тянул, сам полез.

Попрощались мы с нашим комендантом и в сопровождении товарищей сошли на перрон. Оказалось, что это станция Джанкой, а время 4 часа 25 минут утра. Я пытался выяснить у товарищей, зачем нас везут в Симферополь, но они отвечали, что сами ничего не знают, что, дескать, они люди подчиненные и выполняют то, что им было приказано. После этого я окончательно убедился, что мне предстоит еще одна поездка в Испанию и, возможно, не такая удачная, как первая.

Через некоторое время подошел пригородный поезд Джанкой—Севастополь, и мы с провожатыми сели в одно купе. Были они не из болтливых, и вскоре я понял, что всякие попытки вызвать их на разговор обречены на неудачу. Шубодеев молчал, с виду казалось, что он совершенно спокоен, но чувствовалось, как он переживает перерыв в нашей поездке в Москву.

Сижу я на скамейке и думаю: ну, сняли меня с поезда — понятно, стоит пароход без радиста, но при чем же здесь дипкурьер? Да еще с дипбагажом! Этот алогизм все никак не укладывался у меня в голове.

Ну вот мы и подъехали к Симферополю, скоро все прояснится. Наши провожатые помогли нам вместе с багажом выйти из вагона. На привокзальной площади мы сели в ожидавший нас «газик», который привез нас прямо в... комендатуру НКВД.

Это произошло утром 7 мая недоброй памяти 1937 года.

АРЕСТ В КРЫМУ И СЛЕДСТВИЕ В МОСКВЕ

С Н. Я. Шубодеевым в КПЗ Симферопольской тюрьмы. — Этап в Москву. — Лубянка. — Конфискованная порнография. — «Собашник». — О. О. Дрейер и другие сокамерники. — Бутырская тюрьма. — Я. М. Раевский, А. А. Буланов, отец Николай и другие арестанты. — Следователь В. И. Касаткин и первые допросы. — Начальник Бутырской тюрьмы Попов. — Приговор. — Пересыльная камера. — М. Е. Нехамкин. — Каралифтеров. — Пфейфер. — Нарбут и Поступальский. — Денежный перевод из дома. — Д. П. Вознесенский. — С. Л. Смирнов.

1

Итак, еще раз: 1937 год, 7 мая, около девяти часов утра.

Привезли нас с Шубодеевым к ничем не примечательному одноэтажному домику, сложенному из светлого кирпича. Я сам взял свои чемоданы, а Шубодееву с его дипбагажом помогли. Над входной дверью была прибита небольшая вывеска: «Комендатура НКВД города Симферополя Крымской АССР». Завели нас в караульное помещение. За невысокой, до пояса перегородкой письменный стол, деревянный диван, два или три канцелярских шкафа, несколько стульев и на стене неизменный портрет Джугашвили. Из-за стола поднялся военный в форме НКВД, с одной «шпалой» в петлице (по-армейски — капитан). Он пригласил нас за перегородку, куда были уже сложены наши вещи. С нами остался какой-то сержант, а капитан вышел на улицу о чем-то поговорить с нашими провожатыми. Через несколько минут он вернулся и сказал (как обычно в таких случаях), что товарищ, который нас вызвал, сейчас занят, и нам придется обождать здесь, пока он освободится. Поскольку тон, которым он это произнес, не располагал к дальнейшим расспросам, то с нашей стороны они и не последовали. Нам не оставалось ничего, кроме как ждать.

Все эти события пока на меня особого впечатления не произвели, ведь органы НКВД всегда работали в весьма тесном контакте с нашим ведомством. Перед моей отправкой в Испанию я был в командировке в Ленинграде, а поскольку от моего отсутствия могла задержаться отправка парохода с боеприпасами, то разыскать меня было поручено ленинградскому управлению НКВД, которое, кстати, с этой задачей не справилось, и в Москву я приехал без их участия. Так что, полагал я, не было ничего удивительного в том, что крымское НКВД сработало оперативнее ленинградского и, найдя меня в поезде, привезло в Симферополь.

Что же касается Шубодеева, то он был лучше меня информирован о ситуации на Родине, и внезапное снятие с поезда и доставка в симферопольское НКВД явно его беспокоили, хотя он и старался этого не показывать. На мои попытки вызвать его на разговор он отвечал односложно, и я решил оставить его в покое.

Но пауза явно затягивалась, надо было чем-то заняться. На столе у капитана я заметил стопку газет (кажется, «Советский Крым»). Я попросил разрешения их посмотреть, и капитан молча протянул мне всю стопку. Хотя я уже и был несколько подготовлен статьей Уранова в «Правде», но того, что я прочел в этих газетах, я до тех пор еще не читывал: судя по статьям и заметкам, чуть ли не все более-менее ответственные работники Крымской республики были разоблачены как вредители, шпионы, диверсанты, явные или скрытые троцкисты, которых доблестные органы вовремя разоблачили и обезвредили, и теперь они понесут заслуженное наказание.

Нельзя сказать, что эти материалы особенно благотворно повлияли на мое настроение, но себя я считал далеким от этого разоблаченного сброда. Ведь я, что ни говори, все же герой Испании, орденоносец, безупречно выполнял опаснейшие и ответственнейшие особые задания Партии и Правительства, — понятно же, что все прочитанное мною в газетах ко мне лично никакого отношения иметь не может. Видимо, Шубодеев по этому вопросу был несколько иного мнения,

потому что, прочтя газеты, он еще больше помрачнел и на мой вопрос, что он думает, ничего не ответил и только молча протянул газеты капитану, листавшему за своим столом какие-то бумаги в папках.

Но время шло, и желудок подсказывал, что со вчерашнего вечера я ничего не ел. На вопрос, как бы нам перекусить, капитан осведомился, а есть ли у нас деньги. В ответ я протянул ему несколько мелких испанских монеток, взятых мною в Союз для сувениров. Тут он впервые за все время улыбнулся и заметил, что с такой валютой я вряд ли сумею в Симферополе прилично пообедать, но тут же вызвал сержанта и что-то ему сказал. Через некоторое время сержант появился с буханкой белого хлеба, кружком «Полтавской» колбасы и двумя бутылками пива. Это меня окончательно успокоило: ну, думаю, если кормят копченой колбасой, да еще и пиво дают, дела не так уж плохи. (Мне даже в голову не приходило, что в следующий раз я отведаю пива не раньше, чем через десять лет!)

Перекусив, я осведомился у капитана, долго ли нам еще ждать и нельзя ли, если есть время, немного пройтись по городу? Он ответил, что ему ничего не известно, а поскольку вызвать нас могут в любое время, то придется нам побыть здесь. И опять мы сидим с Шубодеевым на том же диване и иногда совершаем пятишаговые прогулки по комнате, не выходя за пределы перегородки. Наш капитан несколько раз куда-то уходил, неизменно оставляя на своем месте сержанта.

Часов в шесть вечера капитан появился с какой-то бумажкой в руках и не очень веселым тоном, как бы извиняясь, объявил, что только что получил из Москвы телеграмму с распоряжением «водворить» нас (так он и выразился — «водворить») в камеру. Осведомился, есть ли у нас оружие, и, получив отрицательный ответ, поручил сержанту произвести личный обыск. Сержант забрал у нас авторучки, часы, галстуки, пояса, испанские монеты, документы, у Шубодеева дипломатический, а у меня липовый нансеновский паспорт, выданный краковским воеводой. Все отобранное капитан

занес в специальные описи, в которых мы расписались, затем капитан вызвал четырех солдат, те вынули из кобуры наганы, зачем-то взвели курки, нам приказали заложить руки за спину, и вся процессия двинулась вперед: сначала капитан с солдатом, затем мы с Никифором, а сбоку и сзади нас еще трое вооруженных солдат.

Провели нас через двор и завели в одноэтажный домик с окнами, закрытыми козырьками, — изобретением джугашвилиевского НКВД. Уж больно жирно зэкам смотреть в полное окно, хотя бы и в крупную клетку! Так что это окно снизу доверху; и даже немного выше, закрывалось металлическим козырьком, наглухо прикрепленным к стенам. Козырек образует угол градусов десять, внизу он прибит к стене, а сверху отходит от нее сантиметров на тридцать-сорок, в которые зэк может увидеть небольшой клочок неба. Но и этого оказалось много. На просвет еще надевалась густая металлическая сетка, якобы для того, чтобы зэки не могли через эти щели в козырьке общаться с верхним этажом. Между прочим, хотя наш новый домик был одноэтажный, но все же на всякий случай щель в верхней части козырька была забрана густой сеткой.

Заведя нас в коридор, по обеим сторонам которого были расположены двери камер, капитан что-то сказал дежурному сержанту. Тот прошел по коридору, открыл ключом одну из камер, произнес: «Заходите» и, когда мы вошли в камеру, запер за нами дверь. Я впервые услышал грохот запираемого тюремного замка и оказался в тюремной камере. Тут-то я понял, что свое предупреждение в Картахене Леша Перфильев не высосал из пальца, и оценил, что значит настоящая дружба. Ведь если бы после его предупреждения я не стал бы садиться на пароход, а уехал в другую страну (а сделать это мне было бы не очень трудно, поскольку был настоящий паспорт и немного денег), то, узнав, что перед моим бегством Леша разговаривал со мной, его бы тут же арестовали, и пуля была бы ему обеспечена.

Но Леше я не поверил, да если бы и поверил, то все равно с парохода бы не ушел, потому что иначе в Москве тогда

арестовали бы и осудили моих престарелых родителей, ведь в то время еще действовал печально-знаменитый джугашвилиевский закон об измене Родине*, предусматривающий ответственность вплоть до десяти лет заключения или даже расстрела ни в чем не повинных родственников за «преступления», совершенные их мужьями, сыновьями и т. д. (настоящая система заложников, применявшаяся только в Средневековье да еще впоследствии германскими фашистами). В СССР эту систему Джугашвили ввел в начале 30-х годов, после того как из заграницы не вернулись известные советские ученые Ипатьев и Чичибабин**.

2

И вот я на Родине, но в тюрьме. Я никогда не терял присутствия духа, и если на душе скребли кошки, всегда старался казаться спокойным, а иногда даже и веселым. Но тут и моих железных нервов не хватило. До того несправедливой показалась мне эта джугашвилиевская «благодарность», что я, войдя в камеру, тут же бросился ничком на жесткие нары, чтобы не показать Шубодееву своих слез, и так пролежал минут пять.

Шубодеев начал меня утешать, хотя не думаю, чтобы он сам в это верил: мол, произошло какое-то недоразумение, все выяснится, перед нами извинятся, с почетом доставят в Москву, и все, дескать, будет в порядке и т. д. Несмотря на все очевидное-невероятное, в глубине души я все-таки продолжал надеяться на такой вариант, и для того, чтобы не расстраивать Никифора, поднялся с нар и стал оглядывать наше новое жилье.

Камера как камера, ведь к тюрьме, а особенно в КПЗ, куда нас водворили, чрезмерных требований к комфорту

---

* Закон об измене родине, предусматривавший коллективную ответственность (вплоть до смертной казни) членов семей изменников Родины, опубликован 8 июня 1934 года.

** *Чичибабин Алексей Евгеньевич* (1871—1945), *Ипатьев Владимир Николаевич* (1867—1952), химики, с 1930 года за границей.

предъявлять не приходилось: шагов семь-восемь в длину и пять-шесть в ширину. На уровне головы небольшое окошечко в крупную клетку. Решетка надежная: прутья в палец толщиной, а для верности еще и сваркой прихвачены. Снаружи окно закрыто козырьком, о котором уже писал. В левом углу, около двери, параша, прикрытая не очень плотной, но достаточно тяжелой крышкой. Для надежности и сама параша, и ее крышка прикреплены к стене массивной железной цепью с замком. Когда надо ее выносить, надзиратель отпирает замок, снимает цепи, и параша становится транспортабельной.

От окна и почти до самых дверей на металлических опорах были нары. Они состояли из отдельных щитов длиною около двух метров и шириною по метру. Когда в камере требуется сделать дезинфекцию, то все щиты просто снимают и прожаривают паяльной лампой, отчего на них всегда обугливаются верх и края. Это, возможно, и не очень красиво, но зато полностью избавляет многочисленных обитателей камер от клопов, которые были бичом дореволюционных российских тюрем.

Щитовая система существенно облегчает администрации тюрем и шмоны (обыски) камер в поисках недозволенных предметов, до чего тюремные деятели очень большие охотники. Делается это так: зэков выгоняют в коридор, снимают с нар щиты, и все становится видным как на ладони, иголки не спрячешь. Когда камеру обыщут, начинают по одному обыскивать зэков: заставляют раздеваться догола, заглядывают в открытый рот, если есть съемные протезы, то заставляют и их вынуть, осматривают подмышками, заставляют нагнуться и осматривают задний проход. Если нигде запрещенного не обнаружат, то начинается шмон шмоток (личных вещей). Прощупывают все швы нижнего белья, каждый осмотренный предмет тут же отдают владельцу, и тот его быстро надевает, потому что в коридоре, особенно в холодное время, бывает нежарко, а стоять нагишом иногда приходится долго. Так же тщательно осматривают и верхнюю одежду. При малейшем подозрении, что там может быть спрятан

какой-либо запрещенный предмет, шов немедленно вспарывается: подозрения, как правило, оказываются напрасными, но зашивать швы считается уже не обязательным, и приходится зэку ходить потом в ободранном виде. Особенно не любят тюремщики ватников и меховых вещей, тут у них работы при шмонах прибавляется. Но все эти подробности я узнал, конечно, несколько позже, в более солидных, чем симферопольская, тюрьмах — на Лубянке, в Бутырке и т. д.

Здесь же нравы были попроще: в комендатуре нас догола не раздевали, а просто осмотрели карманы пальто, пиджаков и брюк. Ну что ж, раз уж поместили на новую квартиру, значит надо устраиваться на ночлег, тем более что начало смеркаться. Поначалу было непривычно круглосуточное освещение (под потолком, забранная густой сеткой на каркасе из толстой проволоки, горела стоваттная лампа, которую почему-то не гасили даже днем), но и к этому пришлось привыкнуть, причем на многие годы.

Положил я на нары свое кожаное пальто, пиджак. В камере довольно тепло: несмотря на начало мая, батареи горячие, так что укрываться надобности нет (тем более что и нечем). Шубодеев устроился так же, и мы улеглись впервые в жизни на тюремных нарах. Сон, правда, не шел. И все же нервы немного успокоились, и Шубодеев начал мне рассказывать эпизоды из своей бурной жизни. До революции он был матросом Балтийского флота. В партии с мая 1917 года. Нес охрану особняка Кшесинской в Петрограде, где жил прибывший из эмиграции Ленин. Неоднократно с ним встречался и разговаривал.

Но время шло, усталость взяла свое, и мы, наконец, забылись тяжелой дремой. Проснулись поздней ночью от звука открываемых дверей. Надзиратель впустил в камеру еще одного человека и запер за ним дверь. В камере оказался стройный молодой человек высокого роста с густой черной шевелюрой. Вошедший поздоровался и на ломаном русском языке отрекомендовался Брайаном.

Оказалось, что он прибыл на нашем же пароходе из Испании, но уже в Картахене, как только он вошел в каюту,

у него отобрали оружие и из каюты больше не выпускали. В течение всего рейса рядом с ним находились два человека (по-видимому, сотрудники НКВД). Работал он в Валенсии радиотехником передающего радиоцентра. На пароход его заманили под предлогом получения из Союза новой радиоаппаратуры. По национальности он был англичанином, точнее ирландцем. Его отец в свое время был приговорен к смертной казни за активное участие в Ирландском восстании*, но, пока шел суд, ирландский народ выбрал его в члены парламента, после чего его тут же освободили, вернули конфискованное имущество и восстановили в правах (аналогичный случай я уже описывал ранее: он произошел с комиссаром Южного фронта в Испании — коммунистом Каэтано Боливар).

Сам Брайан был комсомольцем, до отъезда в Испанию жил в Москве, где его старший брат был редактором московской коммунистической газеты на английском языке**. И вот, в этой камере, нас оказалось уже трое, настоящий интернационал: русский, еврей и англичанин. Обращались с нами корректно, кормили, по-тюремному, вполне сносно и, несмотря на наличие в камере параши, по первому требованию водили в туалет во дворе. Правда, эта процедура обставлялась весьма торжественно: впереди шел надзиратель, за ним один из нас (больше одного человека не брали), сбоку еще два надзирателя, а замыкал шествие еще один. Несмотря на то что двор был огорожен высокой кирпичной стеной и сопровождающих было четверо, каждый из них держал в руках наган со взведенным курком. Дверей туалет не имел, и весь процесс происходил под тщательным наблюдением надзирателей.

Так нам давали понять, какими опасными преступниками мы являемся. Все наши обращения к дежурному над-

---

* Восстание в Дублине 24—29 апреля 1916 года, организованное членами Ирландского республиканского братства, поддержанное партией «Шин фей». Пятнадцать главных мятежников были казнены.

** По всей видимости, газета «The Moscow News». Ее первый номер на английском языке вышел 5 октября 1930 года (с 6 июля 1980 года газета выходила и на русском языке).

зирателю с просьбой вызвать начальника или хотя бы дать бумаги для написания жалобы по поводу нашего ареста кончались ничем: следовал стандартный ответ: начальству все известно, когда надо будет, вам все скажут. Через три дня после нашего задержания в камеру вошел уже знакомый нам капитан, который сообщил, что назавтра нас отправляют в Москву, где все и будет объяснено.

И действительно, на следующий день после обеда нас вывели из камеры и погрузили уже не в обычную машину, а в «воронок» и привезли на вокзал, где к скорому поезду Симферополь—Москва было прицеплено несколько столыпинских вагонов. В один из них нас завели всех троих, а затем внесли туда и наши вещи.

Тут нас ожидала еще большая строгость: каждого поместили в отдельном купе, причем одного от другого отделяло пустое купе, а передняя стенка, выходящая в коридор, еще и завешивалась одеялом. Но обращались с нами в пути вполне сносно: воду и чай давали регулярно, кормили «Полтавской» полукопченой колбасой и белым хлебом и даже в туалет водили в любое время.

В первом от него купе помещалось двенадцать женщин, преимущественно молодых и симпатичных: по-видимому, проституток, съезжавшихся к началу сезона в Крым, где их вылавливали, оформляли по 35-й статье Уголовного кодекса — «без определенных занятий», или «БОЗ» — и отправляли лет на пять в места не столь отдаленные для перевоспитания. Я был одет с иголочки: серый коверкотовый костюм-тройка, шелковая рубашка, лакированные туфли, синий берет, темные очки, и когда меня проводили мимо женского купе, то сразу же послышались голоса: «Машка! А это, наверно, шпион?» — «Ну, — отвечала Машка. — Наших-то таких франтов не бывает». — «А он по-русски понимает?» — «Ну откуда, француз или немец», — отвечала, видимо, более искушенная в шпионских делах Машка. «А какой молодой, симпатичный, нам бы сюда такого!» — вздыхает ее собеседница. Я, конечно, улыбнулся, услышав столь лестное о своей особе мнение, но конвоир задержаться не дал.

На обратном пути кто-то из женщин окликнул меня: «Шпрехен зи дойч?». Тут уж я своей шпионской роли не выдержал и ответил: «Да я, девочки, такой же немец, как и вы», — за что впервые в своей арестантской жизни получил приличный тычок в спину. Приведя меня в купе, конвоир заявил, что если я еще раз попытаюсь вступать в разговор, больше в неположенное время водить он меня на оправку не будет. Судя по тычку, он не шутил, так что потом я на все заигрывания симферопольских блудниц не отвечал.

3

На третий день утром мы прибыли в Москву на Курский вокзал. Наш вагон отцепили и поставили где-то в стороне.

Через несколько часов к выходу из вагона подъехала крытая автомашина с надписями на кузове «Мясохладобойня»: обычно в таких машинах развозили по городским магазинам и столовым мясо с боен и холодильников. В те годы интенсивность работы НКВД увеличилась во много крат, и перевозка зэков «воронками» только по ночам уже не могла обеспечить энкавэдэшный «конвейер», да и гонять по Москве в дневное время большое количество «воронков» было как-то неудобно. Поэтому стали прибегать к такой маскировке: на машинах, перевозящих зэков, были надписи «Хлеб», «Молоко», «Мясохладобойня» и т. д.

Нам как раз досталась «Мясохладобойня». Когда открыли заднюю дверцу, там оказалось несколько человек в фуражках с синими околышами и малиновыми верхами, готовых принять предназначенный для них «груз». Внутри машина была разделена на несколько «конвертов» (помещеньице, в котором едва помещался в сидячем положении один человек средней комплекции). Нас троих, поодиночке, вывели из вагона и поместили в такие «конверты». В наружней, закрывающейся дверце были традиционные «волчок» и форточка.

Мы куда-то поехали, куда — неизвестно, окон в «конвертах» не было. Примерно через полчаса шофер затормозил.

Послышался скрип открываемых ворот, машина проехала еще немного вперед и на этот раз окончательно остановилась. Поскольку в ближнем от выхода «конверте» был я, то я вышел на тюремный двор первым. Велев взять свои вещи, меня повели через двор-колодезь.

Все окна, выходившие на этот двор, имели решетки-козырьки, и уже не оставалось сомнений, что это не комфортабельный отель, куда по совести и закону следовало бы привезти на отдых героя Испанской войны, а именно тюрьма. Судя по автомобильным гудкам, хорошо слышимым со двора, тюрьма эта помещалась в центре Москвы и не могла не быть ничем иным как Лубянкой.

Наконец-то все стало ясно. Приехали! Спасибо тебе, родной и любимый отец народов! Век не забуду, даже после того, как ты умер, твоей «благодарности» за то, что с твоим именем я шел на смерть!

Повели меня по лестнице, на которой от перил до потолка была мелкая металлическая сетка. Она, как мне рассказали старые арестанты, была введена после самоубийства Бориса Савинкова, бросившегося в пролет лестницы Бутырской тюрьмы в Москве*. Это усовершенствование лишило зэков всякой возможности распоряжаться жизнью по своему усмотрению.

Поднялись мы, как мне помнится, на третий этаж. Надзиратель открыл своим ключом дверь, и по небольшому, застеленному дорожкой коридору мы прошли в довольно просторное помещение, пол и стены которого были выложены керамической плиткой. Тут стояло несколько больших столов. За письменным сидел военный в форме НКВД с двумя шпалами в петлицах (по-армейски майор). Мои вещи поставили на большой стол и велели открыть чемоданы. Надзиратель в синем халате поверх формы стал извлекать

---

* *Савинков Борис Викторович* (1879—1925), политический деятель, публицист, писатель, член партии эсеров, один из руководителей ее «Боевой организации». По официальной версии, покончил жизнь самоубийством.

мое имущество, а сидевший за письменным столом заносил наименование вещей и их количество в лежащий перед ним бланк.

Хочу напомнить, что из-за столь внезапного отъезда из Испании я не смог купить всем своим многочисленным друзьям в Союзе сколько-нибудь ценных подарков. Поэтому я запасся достаточным количеством картинок не для дам, которые в Испании продавались свободно и стоили гроши. У нас же они, конечно, были ценнейшей редкостью.

Среди моих покупок — брошюрок с цветными иллюстрациями — оказались такие перлы, что на их досмотр собрался, вероятно, персонал со всего корпуса. Все они дружно гоготали, рассматривая всевозможные способы любви, из-за чего досмотр моих вещей растянулся часа на два. Всю эту «литературу» в опись моего имущества не включили, а когда я спросил, почему это нарушение прав человека имеет место, ответили, что вся эта «безнравственная порнография» будет немедленно уничтожена, а о моральном облике ее владельца сделают специальную отметку в моем личном деле*. Полагаю, однако, что своей угрозы — в смысле уничтожения — энкавэдэшники не выполнили, а «безнравственная порнография» просто разошлась вместо рук моих московских друзей по их рукам. Но, как говорится, снявши голову по волосам не плачут, и я не стал предъявлять претензий. Опись же остальных вещей была проведена весьма скрупулезно, в нее внесли даже завалявшиеся в углу чемодана старые кальсоны, в которых я приехал из Союза в Испанию и которые просто забыл выбросить.

Не обошлось и без колкостей в мой адрес: я вез с собой штук двадцать элегантнейших шелковых рубашек с одноцветными, модными в те времена, галстуками и всего одну пару сменного нижнего белья. Дело в том, что таких рубашек в Союзе не купить, а нижнее белье, даже в те годы, не было у нас дефицитом, и тратить на него в Испании валюту я не считал нужным. Офицер, составлявший опись моих вещей,

---

* Отметки в личном деле нет, но нет этих журналов и в списке отобранного при аресте.

блеснул тем, что вспомнил английскую королеву Елизавету, у которой после смерти обнаружили шесть тысяч роскошных платьев и всего одну ночную сорочку.

После составления описи мне дали подписать все ее экземпляры, чтобы с моей стороны впоследствии не возникало по этому поводу никаких претензий. Один экземпляр вручили мне, с указанием хранить тщательно. На этом бланке было типографским способом напечатано: «Вещи, не востребованные через три месяца после вынесения приговора, переходят в собственность государства».

Весь издевательский смысл этой надписи я понял значительно позже: сразу же после оглашения приговора я написал почти подряд четрые заявления с просьбой переслать все забранные у меня вещи родителям. Ни на одно я ответа не получил. Следующее заявление я писал уже из срочной тюрьмы, и на него через два месяца я получил ответ, тоже напечатанный типографским способом, только с проставлением моей фамилии и т. д. Он гласил: «Все ваши изъятые при аресте вещи, ввиду несвоевременного востребования и истечения срока хранения, перешли в собственность государства».

Покончив с вещами, меня повели в другие помещения для дальнейшего оформления. После заполнения подробнейшей (вплоть до фамилий бабушек и дедушек) анкеты я должен был впервые в жизни, как говорили урки, «сыграть на рояле». С меня сняли отпечатки пальцев (впоследствии такую операцию со мною повторяли раз пять, почти при каждом переводе из одного места в другое). Отпечатки снимались весьма тщательно: надзиратель брал мою руку, плотно прижимал ее к плоскости, смоченной черной краской, и аккуратно клал на специальный бланк, где оставался четкий след всей ладони. Потом в специальных квадратах того же бланка делались отпечатки каждого пальца в отдельности. То же самое и с другой рукой.

После «игры на рояле» меня обстригли наголо нолевкой и повели фотографироваться. В небольшой комнате стоял весьма солидных размеров фотоаппарат с объективом не

менее 20—25 сантиметров в диаметре. Посадили меня на табурет в трех-четырех метрах от аппарата, повесили на грудь табличку с номером моего личного дела, и фотограф сделал снимок в анфас, затем пересадили на 90 градусов, перевесили табличку на плечо и сделали снимок в профиль. Впоследствии мне довелось увидеть эти снимки у следователя. Четкость была просто изумительной, виден был буквально каждый волосок моей недельной щетины (в последний раз я брился еще на пароходе перед прибытием в Феодосию). Из-за этой бороды с фотографии смотрел прямо-таки закоренелый преступник, так и просившийся в тюрьму не менее чем на десять лет, да еще и эта табличка с личным номером — ни дать ни взять, настоящий уголовник!

На этом мое оформление можно было считать оконченным.

Оставалась только баня. Надо сказать, что баня на Лубянке была на самом высоком уровне: как предбанник, так и одноместная душевая были выложены плиткой. Поскольку у меня не оказалось своего мыла, мне дали кусочек казенного. Полотенца не полагалось, у меня его тоже не было (не догадался во время досмотра взять из своих вещей, а теперь уже было поздно, все вошло в опись), пришлось вытираться нижним бельем.

После бани надзиратель прочел мне целую лекцию о правилах следования по тюремным переходам. Мне запрещалось: оглядываться, смотреть по сторонам, здороваться со встречными, заглядывать в открытые окна и двери и т. д. и т. п. Все эти предупреждения оказались совершенно напрасными: ни одного человека, кроме дежурных, нам ни разу навстречу не попалось, как и ни одного открытого окна или двери.

Не надеясь на сознательность подследственных, принимали и другие меры предосторожности: когда предстояло пройти через какой-либо коридор, надзиратель предварительно запирал меня в «конверт» (ниша в стене, закрываемая снаружи светонепроницаемой дверью) и, только убедившись в том, что в коридоре посторонних нет, выпускал

меня и вел дальше по коридору. Еще один приемчик во избежание нежелательных встреч: надзиратель, входя в коридор, щелкал пальцами — и надо сказать, что лубянские надзиратели достигли в этом замечательного мастерства. Звук у них получался никак не слабее выстрела из браунинга. Когда я впервые услышал это щелканье, то вздрогнул от неожиданности. Сигнализация такого назначения в разных тюрьмах была различной: в Бутырках, например, стучали ключом по пряжке пояса.

Долго вел меня надзиратель по коридорам и лестницам, пока, наконец, мы не пришли в какое-то здание на первый этаж. Там он сдал меня дежурному. Тот расписался за меня в книге первого провожатого и повел меня уже по своему коридору. Подведя меня к одной из дверей, он открыл ее своим ключом и произнес: «Заходите».

Я вошел в камеру, дверь за мной захлопнулась, лязгнул замок.

И только тут я окончательно понял, что все это не кошмарный сон, не случайная ошибка, а самая что ни на есть очень серьезная и суровая действительность.

4

В камере было два небольших зарешеченных и закрытых неизменными козырьками окошка, через которые не было видно и клочка неба, а лишь часть стены противоположного корпуса. Освещалась камера потолочной лампочкой в защитной сетке. Это был единственный источник света, его не выключали ни днем, ни ночью. О смене времени суток можно было судить только по куску стены в верхней части козырька: видна стена — день, не видна — ночь.

На полу камеры лежали деревянные щиты, на которых размещались зэки. Было несколько деревянных тумбочек и неизменная параша в углу, возле двери. В отличие от симферопольской, она была не столь массивной и не была прикреплена к стене.

В камере уже находилось человек десять. В ответ на мое «здравствуйте» лежавший около окна и заросший густой щетиной человек осведомился: «Вы только с воли? Что там нового?». Я вспомнил, что сегодня утром, перед прибытием в Москву, во время оправки конвоир дал мне кусок газеты, в которой я с удивлением прочел, что первый заместитель Наркома обороны маршал СССР М. Н. Тухачевский снят с поста и назначен командующим Приволжским военным округом. Помню, что такое перемещение меня очень удивило: с замнаркома да в такой захолустный округ, но особого значения этому факту я не придал, да и не до того было. Когда я сказал об этом, спрашивавший о новостях, недобро улыбнувшись, ответил: «Ваше сообщение, товарищ, несколько устарело: Михаил Николаевич уже находится здесь, на восьмом этаже». Услыхав такое, я ужаснулся: неужели даже сам Тухачевский может быть арестован? От подробностей спрашивавший уклонился и больше ни с кем из сокамерников в разговоры не вступал.

Ну, раз уж попал сюда, надо устраиваться, решил я — и опустился на свободный щит. Моим соседом оказался пожилой человек лет за шестьдесят, с большой гривой совершенно седых волос и очень интеллигентного вида. Мы с ним быстро разговорились, и он начал вводить меня в курс здешних дел.

Находился я в так называемом «собашнике». Это камера, в которую приводят только что взятых с воли людей. Люди эти, как правило, до этого никогда не попадали в тюрьму и потому бывают сильно подавлены столь резкой переменой в своей жизни. Обычно они считают, что произошло какое-то ужасное, нелепое недоразумение, что пройдет несколько часов, все выяснится, перед ними извинятся и отправят на легковой машине домой, досыпать на мягких перинах со своими женами. Как правило, попавшие сюда чуждаются друг друга, считают остальных настоящими преступниками и лишь себя — жертвами недоразумения. Потому такие камеры и назвали «собашниками», по аналогии с фургонами, в которые бросают выловленных бродячих собак. Они мгно-

венно забывают былые распри и, в предчувствии неминуемого страшного конца, жмутся по углам и жалобно скулят.

Так и в нашем «собашнике»: все молчат, ушли в себя, друг с другом не разговаривают и, конечно, аппетита на тюремную пищу ни у кого нет. Баланду и кашу уносят нетронутыми, а в тумбочках скапливается несъеденный хлеб. В такой камере не держат долго, обычно до первого допроса, на который, чтобы огорошить человека, его вызывают через два-три часа после помещения в «собашник». Очень редко здесь держат по нескольку дней, но никогда не более четырех-пяти.

Обо всем этом мне поведал мой новый сосед Оскар Оскарович Дрейер. В тюрьму он попал во второй раз. До революции он был крупным чиновником — инженером путей сообщения, одним из ближайших сотрудников известного русского путейца фон Мекка*. После революции Дрейер сразу же перешел на сторону советской власти, работал на ответственных должностях по железнодорожному транспорту, неоднократно бывал в загранкомандировках и всегда считал себя безупречным, заслуженным работником, которого уважают за хорошее отношение к подчиненным и ценят как высококвалифицированного специалиста. В начале тридцатых годов его внезапно ночью подняли с постели и привезли сюда на Лубянку. Ни передач не принимали, ни свиданий с родными не давали. Допрашивали непрерывно, чуть ли не сутками. От него все требовали показаний о том, что в загранкомандировках он был завербован капиталистами, бывшими владельцами крупных предприятий в царской России, и здесь он состоит в шпионско-диверсионной организации

---

* Провалы и неудачи социально-экономической политики ВКП(б) в конце 1920-х — начале 1930-х годов вынудили партийное руководство переложить вину за срывы темпов индустриализации и коллективизации на «вредителей» из числа «классовых врагов». Сразу после Шахтинского процесса в 1928 году в стране были произведены аресты, захватившие работников Наркомата путей сообщения. Главных обвиняемых (Н. К. фон Мекка и А. Ф. Величко) не удалось подготовить к открытому процессу, аналогичному «шахтинскому», и они были расстреляны весной 1929 года.

под названием Промпартия, которой руководит академик Рамзин*.

Эта организация якобы ставила себе задачу путем умышленного развала народного хозяйства свергнуть советскую власть и утвердить в России власть капиталистов и технократов. Несмотря на то что он, Дрейер, ни о какой Промпартии понятия не имел, ему предъявили подписанные его начальниками и подчиненными, также арестованными по делу «Промпартии», показания, которые изобличали его как одного из организаторов и руководителей этой организации. Он категорически отказывался это подтвердить даже на очных ставках, которые ему давали. Правда, никаких физических мер воздействия к нему не применяли, если не считать продолжавшихся сутками допросов, на которых следователи сменяли друг друга.

Несмотря на то что никаких признательных показаний Дрейер не подписал, ему все-таки дали на «тройке» ОГПУ десять лет заключения и отправили в лагерь на строительство Беломорканала. На общих тяжелых земляных работах он там почти не работал, а выполнял обязанности руководителя проектно-конструкторского бюро. Материально, в лагерном смысле, жил неплохо. Иногда к нему даже приезжали жена и дочь. Родных его репрессии не коснулась, они продолжали жить в Москве на старой квартире и работать на своих местах. Никто не напоминал им о судьбе их мужа и отца.

Менее чем через три года после ареста Дрейера однажды утром, прямо с работы, вызвали в контору, предъявили постановление об освобождении из мест заключения, одели в его старый костюм и в мягком вагоне отправили в Москву, где он был снова восстановлен на старой должности, на которой и проработал до второго ареста. Правда, за границу его уже больше не посылали, да и по службе в этом у него не возникало необходимости. Дрейер был настроен весьма оптимистично: «Просто Джугашвили надоело его временное

---

* Рамзин Алексей Константинович (1887—1948), инженер-теплотехник, репрессирован в 1930 по делу Промпартии, помилован в 1936 году.

бездействие, и он решил провести очередное мероприятие. Пройдет несколько лет, жизнь покажет, что все это только вредит стране, Джугашвили это поймет, и все войдет в старое русло».

К сожалению, его слова не оказались пророческими. Дальнейшая судьба Дрейера мне неизвестна, его забрали из «собашника» после первого допроса. Сильно сомневаюсь, что он отделался легким испугом, были все основания полагать, что он больше не увидит семью, да и вряд ли его жена и дочь остались жить в роскошной квартире.

Порядки в «собашнике» были несколько более жесткими, чем в обычных камерах: здесь не практиковался обход начальника тюрьмы, не выдавалась бумага для написания заявлений или жалоб, отсюда не водили ни в баню, ни на прогулку. Все это подчеркивало то, что «собашник» — это временное и даже кратковременное место пребывания зэков.

Контингент здесь собирался самый разнообразный: другим моим соседом оказался бывший шофер французского посольства в Москве. Он до революции попал в русский экспедиционный корпус, направленный во Францию. В военных действиях этот корпус не участвовал, а пока их формировали и переучивали, в России произошла революция. В корпусе началось сильное брожение: пошли сплошные митинги, солдат разоружили, наиболее активных (особенно поддерживавших большевиков — к ним относился и мой сосед) поместили в концентрационные лагеря. Когда началась Гражданская война в России, в эти лагеря стали приезжать вербовщики в Белую армию. Часть солдат, которым осточертел лагерь, согласились на все, лишь бы попасть на Родину, надеясь при первой же возможности перебежать к красным. Сосед мой не пожелал вербоваться к белым. В конце концов его все же освободили из лагеря. К тому времени война уже кончилась, и он остался жить во Франции в городе Гренобле. Женился там на француженке, работал шофером и все время хлопотал о возвращении на Родину. Это удалось ему только в начале 30-х годов. Жена поехала с ним. Прибыв в Москву,

он, как хорошо знавший французский язык, устроился шофером во французское посольство. Там он проработал до марта 1937 года, а потом уволился, соблазнившись более выгодными условиями на одной из московских строек. При увольнении у него почему-то не отобрали удостоверение шофера посольства.

1 мая 1937 года он, как и все, пошел на демонстрацию. Когда ему надоело стоять на улицах и площадях, ожидая, пока их колонну пропустят через Красную площадь, он вспомнил, что в кармане у него удостоверение шофера французского посольства. По этому документу милиция его везде беспрепятственно пропускала, и так он дошел до самой Красной площади. Тут попался более дотошный милиционер, который осведомился, где же стоит его машина. Поскольку на этот вопрос он толком ответить не смог, его тут же передали товарищам в штатском. И вот он оказался здесь, в «собашнике». Сидел он уже двенадцатый день, никто его не вызывал, заявлений отсюда писать не давали, и что с ним будет в дальнейшем, он, конечно, не знал. Это был единственный старожил в «собашнике», все остальные так долго тут не задерживались.

Мое положение в камере было не из простых: одежда явно выдавала свое заграничное происхождение. Сказать, откуда я прибыл, было нельзя, ведь испанская кампания была так засекречена, что только за ее разглашение можно было получить срок. Даже внушавшему мне полное доверие Дрейеру я и то не решился об этом рассказать, так как не было уверенности, что на допросе его следователь не спросит обо мне, а его информированность могла бы грозить мне неприятностями. Пришлось выдумать легенду, что, будучи в Одессе, все эти шмотки я приобрел у иностранных моряков. Не знаю, поверили ли в это мои соседи, но я все время настаивал на этой версии.

Попал к нам даже один дипломат, которого взяли прямо с приема, во фраке и с цветком в петлице. Попадались и работяги в спецовках, студенты, «гешефтмахеры», которых

брали около магазинов «Торгсин», одним словом, самая разнообразная публика. Никто из них, тех, которые не замыкались в себе, а, немного отойдя, общались друг с другом, даже понятия не имел, какое же преступление он совершил и за что его привезли сюда. Конечно, можно было вывести и некоторую закономерность, что в основном попадали сюда либо старые коммунисты, работавшие на более-менее ответственных постах, либо люди, побывавшие за рубежом. Через пару дней забрали отсюда и шофера, и капитана, и из старожилов остался я один.

В смысле питания я жил неплохо: баланды и каши, преимущественно гречневой сечки, которой в Испании не было и которую я всегда очень любил, было сколько угодно, ведь почти все вновь попавшие еще ничего есть не могли; хлеба тоже сколько угодно; скучать особенно не приходилось, ведь почти каждый день приводили все новых и новых людей взамен убывших. Несколько освоившись со своим новым положением, я стал самозваным старостой камеры, и по всем хозяйственным вопросам (вынос «параши», пополнение бачка водой и пр.) надзиратели вели переговоры уже только со мной. На мой вопрос, не забыло ли начальство о моем существовании, один из наиболее разговорчивых надзирателей ответил: «Не беспокойся, старик («старику» было всего двадцать шесть лет, но с отросшей черной щетиной, наверное, можно было дать и все пятьдесят), у нас тут никто не теряется, никого не забывают. Сиди, отдыхай. Ты еще потом как сладкий сон будешь вспоминать эту райскую жизнь». И действительно, когда впоследствии джугашвилиевские опричники показали мне настоящую кузькину мать, я часто вспоминал добрым словом жизнь в «собашнике».

Но всему приходит конец, кончилась и моя райская жизнь в «собашнике». Поскольку 17 мая был мой день рождения и мне исполнялось в тот день двадцать семь лет, я готовился отметить это знаменательное событие большим сабантуем. Для этого я несколько дней собирал единственный деликатес, который нам здесь выдавали, — сахарный паек, кучка сахарного песка на человека в сутки; его не съедали и неко-

торые мои товарищи по камере. За неимением более подходящих напитков, я собрался 17 мая утром угостить сокамерников особо сладким чаем. Но человек предполагает, а бог (то есть НКВД) располагает: в ночь с 16 на 17 мая, точнее уже 17-го, в двери нашей камеры открылось окошечко, и просунувший в него голову надзиратель тихо произнес: «Кто на букву “Х”?» Я сразу же подошел: «Хургес». — «Правильно. Собирайтесь с вещами».

Все мои вещи были на мне, сборы были недолгими. Все спали, прощаться было не с кем, и я тут же вышел в коридор. Там уже нас собралось человек двенадцать. Отвели нас во двор, усадили в «воронок», уже не в «конверты», а на скамейки в будку, захлопнулась дверь, сзади поместились в отдельном отсеке конвоиры, загрохотали открываемые ворота, и мы поехали по ночной Москве.

5

В будке была полная темнота, но рейс наш продолжался недолго, и поэтому познакомиться друг с другом мы не смогли. Привезли нас в Бутырскую тюрьму, на так называемый «вокзал». Это был просторный и довольно высокий зал. Пол цементный, стены метра два-три в высоту, выложенные цветной керамической плиткой. Посадили на табуретки, поставленные метрах в четырех друг от друга, чтобы нельзя было между собой переговариваться, и поодиночке стали вызывать к столу регистрации. Вызванный садился на табурет около стола и отвечал на вопросы дежурного. Тот все записывал в какой-то бланк, подшитый к личному делу вызванного. После регистрации снова сажали на прежние места и держали так часа два.

Поскольку дело было ночью, то несмотря на некоторое нервное напряжение, все же я задремал, сидя на табурете, и очнулся только когда меня взял за плечо надзиратель: «Чего разоспался? — грубо прикрикнул он. — Не к теще на блины приехал. Давай в баню!» Баня была не такая комфор-

табельная, как на Лубянке, но все же вполне приличная: предбанник и один душ на двух человек. Пока мы мылись, все наши вещи унесли на дезинфекцию. Единственное, что не взяли, это мое кожаное пальто, почему-то его (а также меховые вещи) дезинфицировать не полагалось, хотя по логике насекомые и здесь могли бы завестись.

Через полчаса вещи принесли, и мы с напарником надели совершенно влажные белье, брюки, пиджаки, и надзиратели уже только нас двоих повели по бутырским коридорам. Вышли во двор, зашли в какой-то другой корпус (причем все двери, через которые мы проходили, надзиратель открывал единственным ключом, им же, стуча по пряжке пояса, сигнализировал при входе в коридор о том, что ведет зэка). Поднялись на второй этаж, дежурный по коридору расписался в книге нашего сопровождающего, что он нас принял, и подвел к одной из дверей. Открыл ее своим универсальным ключом и произнес ставшее уже привычным: «Заходите». Мы вошли в камеру, загрохотал запираемый замок, и аккурат в свой день рождения, 17 мая 1937 года, около трех часов утра я оказался в следственном корпусе Бутырской тюрьмы в Москве.

Два окна, забранные решетками, козырьки несколько выше окон, так же, как в Симферополе и на Лубянке, закрыты мелкой металлической сеткой (видимо, это уже тюремный ГОСТ), по стенам вдоль камеры с обеих сторон щитовые нары, на которых буквально впритирку лежат головой к стене люди. Под этими нарами, прямо на полу — такие же щиты, на которых с такой же плотностью помещаются люди, лежащие уже головами к проходу. Слезать с верхних нар нужно с опаской, иначе можно наступить на голову лежащего внизу человека. В проходе между нарами длинный стол и сбоку две деревянных скамейки. На столе алюминиевые миски и кружки, по количеству обитателей камеры. Каждому вновь прибывшему надзиратель в коридоре выдает миску, кружку и ложку. Миску и кружку ставят на стол, а ложку оставляют при себе. При убытии из камеры с вещами весь этот инвентарь сдается дежурному в коридоре. Также на

столе стоит большой алюминиевый чайник и бачок с водой, кучками насыпана крупная соль. Около дверей массивная параша с неплотно закрывающейся крышкой.

В камере площадью примерно 25—30 м^2 помещаются до восьмидесяти человек. В верхней части окон открыты так называемые фрамуги (небольшие, примерно в $^1/_8$ часть окна, форточки, открывающиеся вовнутрь камеры градусов на тридцать, на специальных шарнирах. Несмотря на ночную прохладу, воздух в камере спертый и душный), еще бы, ведь на каждого человека здесь не более 1—1,5 м^2 объема — чуть больше, чем в гробу. Испарения от такого количества собранных в такой мизерной кубатуре людей делают воздух совершенно нетерпимым для дыхания, и можно только удивляться приспособляемости человеческого организма: тому, что все эти люди пока живы и даже спят (правда, неспокойным сном); многие во сне тяжело дышат — как рыба, выброшенная на берег, а другие что-то говорят или стонут.

Около окон еще терпимо, но дальше, к дверям, а особенно у параши, мало того, что доступа свежего воздуха от окна практически нет, так добавляются еще и парашные ароматы. Первые несколько минут я просто задыхался, но к чему не привыкнешь? Молодость и здоровый организм взяли свое, принюхался и я к камерной атмосфере. Но вспомнил лубянского надзирателя и его слова о райской жизни в «собашнике».

Уселся я на лавку около стола (на нарах и даже под ними ближе к окну мест не было), положил голову на руки и задремал. Разбудил меня шум в камере: оказывается, начался «подъем». Около меня с нар поднялся заросший густой черной щетиной человек лет так под пятьдесят. «Что, новенький? — произнес он. — Будем знакомиться. Ян Раевский».

Тут открылась дверь камеры, и все высыпали в коридор на оправку. За несколько минут все восемьдесят человек должны были успеть справить свои естественные нужды (пользоваться камерной парашей для оправки по большому категорически запрещалось, и если кому-либо в самом крайнем случае приходилось это сделать, то он становился объ-

ектом насмешек всей камеры и в качестве первой меры воздействия немедленно переселялся на нижние нары у самой параши) и ополоснуться у пяти-шести рукомойников. После оправки приносили хлеб с кучкой сахарного песка на каждой пайке и кипяток.

Надо сказать, что хлеб в Бутырках был всегда свежевыпеченный и вкусный, но не последнюю роль тут играла известная поговорка: «Лучшая приправа к любому кушанью — аппетит», а уж при тюремном рационе он был всегда отличным. Даже желудочники, которые на воле ограничивались бутылкой кефира и булочкой, здесь мгновенно выздоравливали и уплетали свою утреннюю пайку — аж за ушами трещало. Пайки хлеба делились на горбушки и середки. Почему-то считалось, что в горбушке больше питательности, чем в середке. Дело в том, что горбушка имеет с трех сторон корку, в которой «припек» меньше, чем в мякише хлеба, а так как пайки нарезались по весу, то по логике, муки в горбушке должно было быть больше, чем в середке. Поэтому дележка хлеба производилась по занимаемым местам. Сперва раздавались горбушки и запоминался человек, на котором они кончались; на следующий день раздача горбушек уже начиналась с него, таким образом соблюдалась полная справедливость в дележке хлеба.

После завтрака я начал знакомиться со своими товарищами по несчастью. К своему удивлению, несмотря на их уголовный вид, ни одного, хоть сколько-нибудь подходящего под общепринятый тип уголовного или государственного преступника, я здесь не заметил. Большинство моих новых «коллег» были старыми коммунистами, ответственными работниками и даже не только вполне порядочными, но и по большей части заслуженными людьми.

Уже представившийся мне Ян Михайлович Раевский оказался профессором, начальником кафедры марксизма-ленинизма Высшей партийной школы Свердловского комвуза в Москве. Неоднократно сидевший в царских тюрьмах, живший в эмиграции и прекрасно владевший, кроме русского, польским, немецким и английским языками, Раевский

представлял собою образец лучшей части нашей партийной интеллигенции. Активный участник Гражданской войны, он был первым комиссаром знаменитой 51-й дивизии, которой командовал В. К. Блюхер. За участие в боях на Перекопском перешейке при разгроме Врангеля был награжден орденом Красного Знамени.

На допросы его вызывали не очень часто. О чем с ним беседовали, Раевский распространяться не любил, но держали его там подолгу и, как правило, «на стойке». В то время до ноября 1937 года* настоящие физические пытки применялись только по особому разрешению высших чинов НКВД. В Бутырках они не практиковались: для этого были Лубянка, Лефортово и, как говорили, самая страшная в этом отношении тюрьма — Матросская тишина в Сокольниках. Но бутырские следователи все же ввели для своих клиентов так называемые «стойки»: подследственного заставляли все время допроса стоять, а длились они иногда более суток без перерыва. Следователи менялись, а подследственный все время стоял. После такого допроса зэков, особенно пожилых и с больным сердцем, приводили под руки в камеру с распухшими как колоды ногами. Как в дальнейшем сложилась судьба Раевского, я не знаю. После ухода из этой камеры ни его, ни других моих здешних сокамерников я больше не встречал.

Анатолий Анатольевич Буланов**: обаятельнейший человек, совершенно невероятной эрудиции, доктор исторических наук, защитивший докторскую диссертацию по царствованию Ивана Грозного. С самого начала Гражданской войны был в ближайшем окружении Троцкого, которого буквально боготворил. После смерти Ленина и опалы Троцкого Буланов был отстранен от всякой партийной и научной деятельности. Начиная с 1928 года непрерывно на-

---

* Чрезвычайные полномочия, в том числе и на применение пыток, были даны наркому Н. И. Ежову на пленуме ЦК ВКП(б) 23—29 июня 1937 года, хотя такая практика существовала и до этого.

** *Буланов Анатолий Анатольевич* (1907—1937), научный работник, экономист, до ареста 5 ноября 1936 года проживал в Алма-Ате. Расстрелян 29 мая 1937 года. В 1958 реабилитирован.

ходился то в ссылках, то в политизоляторах. Были в конце 20-х — начале 30-х годов и такие места заключения, куда преимущественно помещали деятелей вроде Буланова, вместе с меньшевиками, эсерами, анархистами. Режим там был весьма либеральный: двери камер днем не запирались, заключенные могли свободно общаться друг с другом, гулять по обширному тюремному двору, получать с воли письма, посылки и любую, вплоть до политической, литературу, часто видеться с родными и знакомыми и даже устраивать всевозможные диспуты, вечера самодеятельности и прочие культурные мероприятия. В начале 30-х годов эти санатории для контрреволюционеров, как их называли в тюремном ведомстве, были закрыты, часть их обитателей раскидали по ссылкам, в места не столь отдаленные, а остальных — по лагерям и обычным, типа Бутырок, тюрьмам.

Буланова доставили в Бутырки из лагеря близ Воркуты, где он заканчивал свой очередной пятилетний срок. Надо сказать, что никаких иллюзий насчет скорого освобождения Буланов не питал, хотя многие, даже наиболее пессимистично настроенные арестанты, считали, что весь этот кошмар обязательно закончится к ноябрьским праздникам 1937 года: в честь 20-летия Октябрьской революции будет объявлена широчайшая амнистия, и всех нас, пусть и безо всякой помпы и извинений, но распустят по домам. Судя по всему, Буланов знал, что вместо амнистии будет дальнейшее усиление репрессий. После праздников Особое совещание НКВД сможет давать не до пяти, а до двадцати пяти лет заключения и даже «вышки», то есть смертные приговоры. Если сейчас физические меры воздействия (читай — пытки) являются большой редкостью и санкционируются только высшими инстанциями, то после праздников такое санкционирование будет уже во власти средних чиновников НКВД, вроде начальника отдела или даже его зама. Все прогнозы Буланова подтвердились, но летом 1937 года ему в Бутырках верили не больше, чем в свое время дочери царя Приама — Кассандре, которая предсказывала войну и падение Трои. В моей же дальнейшей судьбе Буланов сыграл немаловажную роль,

и, возможно, если бы не его советы, то еще в конце 1937 года меня бы уже не было на свете.

Что касается Рубинштейна, то его смело можно было назвать антиподом Буланова: высокого роста, лысоватый, заросший густой, рыжей с проседью щетиной, Рубинштейн производил впечатление человека, привыкшего приказывать. Начав после конца Гражданской войны свою карьеру с заведующего небольшой строительной конторой, Рубинштейн, благодаря громовому голосу и недюжинным организаторским способностям, а также твердой преданности генеральной линии Партии и ее великому вождю и отцу народов, вырос в руководителя больших строек первой пятилетки. После окончания Промакадемии он был назначен начальником строительства крупного химкомбината Кара-Богаз-Гол на Каспийском море, где на базе колоссальных запасов глауберовой соли должны были вырабатываться важнейшие для нашей страны химические продукты.

Надо полагать, что руководителем Рубинштейн был неплохим, на работе он, как говорится, горел, и его чаще видели подчиненные ему начальники стройки, чем собственная семья. Во всяком случае, даже находясь в заключении, он будто загорался, рассказывая о стройке, видно было, что эта работа поглощала его целиком.

Рубинштейн относился к числу самых что ни на есть оптимистов, и если кто-либо из отчаявшихся зэков позволял себе какой-нибудь неодобрительный отзыв об органах НКВД, то он буквально взрывался, причем, по-видимому, не притворно, а совершенно искренне. Диссидент немедленно умолкал, потому что, кроме доноса следователю, тут могла грозить и немедленная кулачная расправа, а силушки у Рубинштейна хватало: роста он был немного меньше двух метров, да и комплекции соответствующей.

Единственным, кто совершенно не боялся Рубинштейна и даже частенько издевался над ним, был Буланов. Обычно после мертвого часа, с двух до трех после обеда, в камере проводились культурные мероприятия в виде лекций-бесед наиболее эрудированных зэков.

Лекции читали на самые разнообразные темы. Так, бывший заведующий московской бойней Михаил Кастерин* рассказывал о технологии убоя скота. Выступал бывший шеф-повар московского «Гранд-Отеля» Алексей Васильевич Макин. Еще мальчишкой его вместе с Андреем Андреевичем Андреевым**, ставшим впоследствии членом Политбюро ВКП(б), отдали работать поваренком в знаменитый в царское время трактир «Арсентьич». После этого их пути разошлись: Андреев пошел по тюрьмам и ссылкам за революционную деятельность, а Макин — по московским ресторанам. Послали его совершенствоваться во Францию, в Париже он окончил высшую поварскую Академию. Как он хвалился, он был единственным в России поваром, знавшим рецепты приготовления 153 различных подливок-соусов: это, оказывается, самая квалифицированная работа в поварском деле. Арестовали Макина еще в марте 1937 года. Дальнейшая его судьба мне неизвестна, потому что его вскоре куда-то забрали с вещами, по-видимому, в Лефортово: Макин ни в чем не сознавался и своих сообщников называть не хотел, и потому следователь пригрозил ему Лефортовым, и, по всей вероятности, свою угрозу выполнил. Макин в течение нескольких дней читал лекции о правилах хорошего тона и обращения с дамами. Правда, большинству из нас эти знания уже или совсем не понадобились, или понадобились лет через десять и более. Один богобоязненный старичок очень интересно рассказывал о пчеловодстве и поведении пчел.

Две лекции о Кара-Богаз-Голе прочел Рубинштейн, с воспоминаниями о штурме Перекопа выступил Раевский. Особой популярностью пользовались лекции по русской истории Буланова: прекрасный разговорный стиль, глубокая эрудиция делали их настоящими событиями в нашей камерной жизни. В отличие от остальных лекций, всегда имевших аполитичный характер, у Буланова нет-нет да проскользнут

---

* Кастерин Михаил Евлампиевич (р. в 1901), приговор 5 лет.

** Андреев Андрей Андреевич (1895—1971), член Политбюро ЦК ВКП(б) с 1932 по 1952 год, в 1935 секретарь ЦК, с 1939 по 1952 год председатель КПК при ЦК ВКП(б).

аналогии с современностью: так, рассказывая о царствовании Ивана Грозного, он сравнил совет опричников с особым совещанием НКВД.

Тут уж Рубинштейн взорвался: «Я запрещаю вам клеветать на наши доблестные органы НКВД», — заорал он на Буланова, и если бы не удержали соседи, то кинулся бы на него с кулаками. Буланов, обычно очень деликатный с другими зэками, на этот раз не сдержался и грубо обматерил Рубинштейна. Лекция была сорвана, и в дальнейшем Буланов на все просьбы еще что-нибудь рассказать неизменно отвечал: «Пока этого дурака отсюда не заберут, вы от меня не услышите ни слова».

Косить в Бутырках под одесского спекулянта, как я это делал в «собашнике», не имело смысла: тот же одессит Коханов мог бы легко изобличить меня во лжи. Надо было придумывать что-то более правдоподобное, да и все время чесался язык рассказать об Испании, в те времена бывшую темой номер один. Пришлось мне представиться радистом парохода «Нева», который доставлял из Советского Союза в Испанию грузы с продовольствием и медикаментами, о чем писали и в наших газетах. Поскольку «Нева» разгружалась в портах Аликанте и Валенсии, хорошо знакомых мне по Испании, я мог, не рискуя получить дополнительно статью «РВТ» («Разглашение военной тайны»), рассказывать товарищам по камере любые подробности испанской жизни и быта, да и появление на мне заграничной экипировки также объяснялось вполне правдоподобно.

В нашей камере, как и во всех политических тюрьмах, места ввиду большой скученности распределялись по стажу пребывания. Старожилы лежали у окон, где хоть ночью можно было подышать более-менее свежим воздухом, а вновь прибывшие — под нарами, поближе к параше. По мере выбытия старожилов производилось перемещение (из-под нар — на нары, от параши — к окну), но процесс этот был весьма длительным и мог продолжаться неделями. В действительности у окна располагались либо действительно старожилы, либо более сильные физически, которые впоследствии уже

не пускали к себе плебеев, вроде богобоязненных старичков и т. д. Мне бы тоже пришлось полежать и под нарами, и возле параши, но мой заграничный вид и испанское «происхождение» снискали у оконных аристократов такое уважение, что почти в первый же день, несмотря на протесты богобоязненных, я получил освободившееся место, между Раевским и Переваловым.

Поскольку к испанским воспоминаниям я часто прибавлял французские, итальянские, английские, вычитанные из книг или рассказанные бывалыми людьми, то поймать меня на вранье было нетрудно, однако единственный, кто заподозрил в моих рассказах что-то неладное, был Буланов, но до поры до времени я держался с ним сдержанно, к тому же лежал он на противоположных нарах и встречались мы не так часто.

Кроме недостатков (скученности) следственная камера, по сравнению с «собашником», имела и преимущества: ежедневно водили на прогулку в крошечный тюремный дворик, огороженный со всех сторон восьмиметровой кирпичной стеной. В течение тридцати минут, руки назад и в полном молчании, мы крутились парами по периметру двора, на площади, равной примерно четырем нашим камерам. Единственное развлечение — голуби на тюремных стенах. В Москве того времени еще было очень мало голубей: как во время голода 1918—1921 годов их хорошо подъели, так они к 1937 году еще не расплодились. За малейшее нарушение режима прогулки она немедленно прекращалась. За продолжительностью следил надзиратель по висевшим на стене песочным часам. После атмосферы камеры духота дворика с асфальтовым полом казалась нам чуть ли не морским бризом, и прогулки всегда ждали с нетерпением.

Раз в неделю желающие могли написать заявление: для этого их вызывали в коридор, где на столе у надзирателя были чернила, ручка с пером и один тетрадный листок бумаги. Написал два заявления и я — в НКВД и Наркомат обороны, но никакого ответа, конечно, не получил.

По численности заселения наша камера была перегружена в три-четыре раза. Днем, когда часть народа находилась

на допросах, остальные сидели на лавках около стола, некоторые совершали трех-четырехшаговые прогулки по свободной части камеры от стола до параши. Можно было и лежать, но после отбоя, когда каждый занимал свое место, положение становилось нестерпимым. Лежать приходилось на боку, да и то вытянувшись в струнку, повернуться на другой бок — нельзя: сосед будет дышать тебе прямо в лицо, ты ему тоже, а воздуха и так еле-еле хватало. Поворачиваться на другой бок можно было только организованно, всем рядом, человек по двадцать, а уж лечь на спину и вовсе было невозможно: ляжешь на соседа, и ему это не понравится, дело доходило до драк. Поэтому многие старались днем немного покемарить, а часть ночи просидеть на скамейке около стола.

Практиковал такое и я. И вот однажды, в душную безветренную (собственно говоря, даже самый сильный ветер через козырьки на окнах к нам никогда не проходил) ночь, когда воздух в нашей камере был настолько пропитан испарениями и желудочными выделениями, что даже противоположная стена камеры была едва видна, я, выбравшись из своей норы, сидел у стола на лавке, опустив в полудремоте голову на руки. Часа в два ночи с грохотом открылась дверь, послышалось обычное «заходите», и в камеру вошел высокий старик — священник, в зеленом подряснике подпоясанном веревочкой, в камилавке на голове, с посошком в руке и небольшой сумкой в другой руке. Окладистая белая борода его спускалась почти до пояса, а на плечи падала из-под камилавки густая грива совершенно седых волос. Старик был, по-видимому, в последней стадии усталости. Когда он уселся на лавку, то голова его упала на стол и сам он чуть не сполз на пол. Жаль мне стало старика, тронул его за плечо и предложил лечь на мое свободное место. «Спаси тебя Христос, сынок», — с благодарностью произнес старик и просунулся в узкую щель, которая осталась от моего места. Соседи мои — Раевский и Перевалов — сразу почувствовали разницу наших со стариком комплекций, спросонок начали ворчать, но, разобравшись в чем дело, нажали на своих соседей. Старик кое-как поместился и мгновенно уснул. Я так и просидел до утра у стола.

Утром, после оправки и поверки, познакомились. Старик оказался непростым: восемьдесят два года от роду, до ареста был не больше не меньше чем архиереем Молдавии (высший духовный сан в республиканском масштабе). Видимо, на месте он пользовался у верующих таким авторитетом, что даже НКВД не решился его там трогать. Его вызвали в Москву на какой-то якобы созываемый церковный собор. Прибыл он в столицу в международном вагоне, ему подали легковой «Линкольн», на котором и привезли прямо на Лубянку. Там обыскали, оформили, и, не заводя в «собашник», привезли прямо сюда, в Бутырку. Видимо, особых преступлений за ним не числилось, потому что в Бутырку обычно привозили преступников, так сказать, второго сорта.

Отец Николай оказался широко и разносторонне образованным человеком. В свое время окончил Петербургский университет, затем принял постриг. Окончил в России духовную академию и впоследствии был одним из ее ведущих профессоров. Еще до революции был избран почетным доктором теологических наук Кембриджского и Гетингенского университетов. Неоднократно бывал за границей на различных духовных мероприятиях. Кроме того, отец Николай был настоящим полиглотом: он великолепно, не хуже русского, владел латынью, древнегреческим, древнееврейским, арабским, фарси, всеми европейскими, вплоть до португальского и датского, языками. Испанский он, конечно, знал гораздо лучше меня, хотя бывал в Испании совсем не подолгу, и по моему выговору сразу определил, что учил я испанский отнюдь не по учебникам, в русских учебных заведениях, а на месте, но когда я попросил его об этом не распространяться, перестал говорить на эту тему. Ко мне он относился буквально с отеческой нежностью, и я ему платил за это глубоким уважением и всеми в нашем положении возможными заботами. Но оказалось, что кроме богословия и теологии, кроме блестящего знания всех религиозных и народных сокровищ, которые он почти все, как финскую «Калевалу», индийскую «Сакунталу» и прочие, знал наизусть, он мог часами цитировать всех русских классиков, целые поэмы и пьесы Шекс-

пира и Байрона, Гете и Гейне, Данте и Сервантеса, причем как на русском языке, так и в оригинале. Как уверял находившийся в нашей камере раввин, еврейские «Хумеш», «Танах», «Сфорим» и весь «Талмуд» отец Николай знал не хуже любого раввина, которые обязаны были всю эту литературу помнить наизусть, так как на экзаменах им наугад из любого из десяти объемистых томов, страниц по 800 мелкого шрифта каждый, читали два-три слова, а дальше экзаменующийся уже должен был продолжить текст, пока не остановит экзаменатор. Иначе звание раввина получить было нельзя. Просто невозможно было поверить, как это такой объем самых разносторонних сведений мог помещаться в голове одного человека, причем в возрасте восьмидесяти двух лет.

Помимо этих знаний, так сказать, по основной специальности, отец Николай великолепно разбирался в истории Российского государства, прекрасно знал философию всех времен и народов, и — что самое удивительное — политические науки. Труды Маркса, Энгельса, Канта, Гегеля, Ленина и прочих он помнил во всех подробностях. Тут уж наш профессор Ян Михайлович Раевский получил достойного оппонента: любо-дорого было слушать, как они порой сцеплялись по какому-либо политическому или философскому вопросу. Мы, окружающие, конечно, ничего не могли понять из этого ученого спора и просто хлопали ушами, но удовлетворение такие диспуты всем доставляли большое.

По историческим вопросам, особенно по всеобщим, зачастую «сажал» отец Николай и нашего доктора Буланова, который был буквально влюблен в этого попа. Можно было себе представить, какое впечатление производила его эрудиция на полуграмотных энкавэдэшных следователей, которые вели его дело. Конечно, будь отец Николай помоложе, не миновать бы ему, несмотря ни на что, «баранки» (десять лет), или даже «вышки», уж больно это была на общем фоне белая ворона, но его преклонный возраст не дал возможности сделать такое черное дело, и как я узнал позже, отец Николай получил вольную ссылку. Ну что ж, спасибо НКВД и за то, что не поднялась даже у него рука загубить окончательно

такого выдающегося и по учености, и по ангельскому характеру человека.

Не изгладился из моей памяти и такой эпизод: был в нашей камере бывший член редколлегии «Правды» — старый коммунист Павел Иванович Боговой. Это был уже немолодой, сумрачный и малообщительный человек. Меня он иногда жаловал непродолжительными беседами: он, очевидно, догадывался, откуда я прибыл, да и к тому же у нас был общий знакомый — Михаил Кольцов.

Богового довольно часто вызывали на допросы, преимущественно по ночам, по-видимому, над ним там особенно не издевались, потому что приходил он не очень измученным. В таких случаях Павел Иванович молча ложился на свое место и, если кто-либо пытался завести разговор, отвечал односложно и очень неохотно, в отличие от других, любивших делиться своими впечатлениями от допросов. Зная это, я никогда не заговаривал с ним после его прихода.

Ни радио, ни газет в нашей камере не было, и все новости с воли мы обычно получали от новеньких, то есть свежеарестованных товарищей. Правда, обычно эти новости бывали минимум четырех-пятидневной давности. Но на безрыбье и рак рыба, все же мы кое-что знали, что творится у нас и за рубежом.

Накануне к нам в камеру поместили новенького — преподавателя Военно-химической Академии, которого взяли всего два дня назад. По его словам, самой знаменательной новостью в Москве было возвращение из Испании Михаила Кольцова. Его наградили орденом Ленина, почему-то без публикации в печати, но это было вполне достоверно, потому что сам наш новенький, еще будучи на воле, присутствовал на лекции Кольцова о событиях в Испании, и на груди докладчика сиял новенький орден Ленина, которого до поездки у него не было. По всей Москве, по словам новенького, висели афиши, извещавшие об очередной лекции Кольцова об Испании.

В тот же день, точнее поздней ночью, когда все спали, а я сидел на любимом месте — на скамейке у стола и, опустив голову на руки, слегка кемарил, открылась дверь и вошел

Боговой, по-видимому, прямо от следователя. Почему-то Павел Иванович изменил своим обычным привычкам и, вместо того, чтобы сразу же молча лечь на нары, подсел ко мне и тихо сказал на ухо: «Лев Лазаревич, что делается? Ничего не могу понять!» и рассказал такую историю. Вызвали его на допрос. Заходит в комнату. Следователь любезно предлагает присаживаться. На столе у него, кроме дела Богового, которое он уже здесь видел несколько раз, лежит еще одна пухлая папка с четкой надписью на обложке «Михаил Кольцов-Зильберштейн» (не ручаюсь за точность, возможно, что фамилию я мог и перепутать*), причем лежит эта папка так, чтобы Боговой мог ее отчетливо видеть. После обычных вопросов о самочувствии и делах в камере следователь достает пачку папирос «Пушка», предлагает закурить, закуривает сам и после небольшой паузы лезет в ящик стола.

Достав оттуда фотографию Кольцова и показав ее Боговому, он официально спросил: «Знаете ли вы этого человека?» Боговой даже удивился такому вопросу: «Ну как же, конечно знаю. Это журналист и писатель Михаил Кольцов. Что за странный вопрос! Ведь его знает не только весь Советский Союз, но и весь мир». Игнорируя такой ответ, следователь повторил свой вопрос: «Я вас спрашиваю официально, для протокола: кто этот человек? Знаете ли вы его, а если знаете, то где, когда и как вы с ним встречались?» Раз беседа приняла такой оборот, Боговой ответил: «Человек на этой фотографии — известный журналист и писатель Михаил Кольцов, член редколлегии газеты "Правда". Знаком я с ним очень хорошо по многолетней совместной работе в редколлегии». Следователь аккуратно записал в протокол свой вопрос и ответ Богового и дал ему расписаться под ответом. Такой у них был порядок: в протоколе допроса следователь записывает свой вопрос и ответ подследственного, который для подтверждения достоверности каждого своего ответа должен был скреплять его своей подписью.

После этого следователь сделал еще одну паузу и огорошил Богового совершенно невероятным вопросом: «Так что

---

* Настоящая фамилия Кольцова — Фридлянд.

вы можете рассказать нам о контрреволюционной деятельности этого злейшего врага народа?» И это в то время, когда «враг народа» только что вернулся с фронтов Испанской Республики, получил высший орден Советского Союза — орден Ленина, и буквально на каждом столбе в Москве висели афиши с его фамилией и портретом и народ валом валил на его лекции об Испании! «Я от неожиданности чуть со стула не упал, — рассказывал Боговой. — Назвать Кольцова врагом Советского Союза мог только или фашист, или сумасшедший». Но следователь совершенно спокойно повторил свой вопрос, после чего протянул Боговому стопку чистой бумаги и ручку с пером: «Подумайте хорошенько и напишите здесь как можно подробнее о всех деталях контрреволюционной деятельности Кольцова. И учтите, что чем подробнее и обстоятельнее вы напишете об этом негодяе, о всех его подлых и преступных делах, тем будет лучше для вас. Этим вы хоть частично загладите свою вину перед партией и родиной и тогда сможете рассчитывать на снисхождение нашего правосудия. Ведь вы сами понимаете, что вам грозит, если вы полностью не осознаете свою вину и не поможете нам разоблачить всех, кто вас толкал на путь контрреволюции и руководил вашими преступными деяниями». Тут Боговой умолк, и через несколько минут продолжил: «Ну что я ему мог ответить? Ведь до сих пор мне ни разу не представили никакого доказательства моей преступной деятельности, все требовали, чтобы я для облегчения своей судьбы во всем сознался, а тут еще такого преданного партии и родине человека, как Кольцов, ко мне приплели как руководителя моей контрреволюционной деятельности и еще требуют, чтобы я на него давал какие-то клеветнические показания. Посидел я за столом минут пять, все это время следователь ходил по комнате и курил, и не переставая твердил мне: «Ну пишите, пишите».

Что ж, пришлось взять ручку и начать писать. Написал я очень коротко, что знал Кольцова по совместной работе в «Правде». Знал как честнейшего и преданного партии и родине человека, ни о каких его, так же как и моих, контр-

революционных деяниях не имел ни малейшего представления, ни в каких с Кольцовым особых отношениях, кроме служебных, не был. Следователь прочел все это, подумал немного и сказал: «Ну что ж Боговой, раз вы не желаете «разоружаться» и помогать следствию в разоблачении контрреволюционных преступлений, то мы беседуем в последний раз. В дальнейшем с вами будут работать другие товарищи, в другом месте и, по всей вероятности, другими методами». Потом он вызвал конвоира и отправил меня в камеру. Думаю, что теперь недолго пробуду в Бутырках», — закончил Боговой, пожелал мне спокойной ночи (точнее, утра, потому что было уже светло) и улегся на свое место.

Действительно, в тот же день его забрали с вещами и, надо полагать, не на волю, а либо в Лефортово, либо в Матросскую тишину. Больше я с Боговым никогда не встречался и о его дальнейшей судьбе ничего не знаю. Что же касается Михаила Кольцова (следует учесть, что этот разговор Богового со следователем НКВД происходил в июне 1937 года), то вскоре он спокойно уехал обратно в Испанию и пробыл там почти до конца войны. В 1939 году он все же был арестован органами НКВД вместе с женой Лизой и погиб в северных лагерях в 1942 году*. Лиза же Кольцова выжила и впоследствии была освобождена, а затем и реабилитирована**.

---

* С самого начала Гражданской войны в Испании М. Е. Кольцов был направлен туда как корреспондент «Правды» и одновременно как негласный политический представитель властей СССР при республиканском правительстве (бригадный комиссар и советник генерального военного комиссара А.дель Вайо). Его газетные репортажи легли в основу книги «Испанский дневник» (1938), где о легальной части своей работы говорится от первого лица, а о тайной — как о деятельности мексиканского коммуниста Мигеля Мартинеса. В конце 1938 Кольцова отозвали из Испании и в ночь с 12 на 13 декабря арестовали в редакции газеты «Правда». Кольцов не выдержал пыток и сам оговорил более семидесяти участников «заговора». 1 февраля 1940 года Кольцов был приговорен к смертной казни по обвинению в шпионаже и тогда же расстрелян. Весьма вероятно, что Кольцов был устранён как нежелательный свидетель тайных операций НКВД в Испании.

** Имеется в виду Елизавета Николаевна Ратманова-Кольцова, вторая жена М. Кольцова, работавшая с ним в Испании.

Рассказывают, что во время обыска при аресте Кольцова (а жил он в Москве, в доме правительства возле кино «Ударник») у него было собрано семь больших мешков с рукописями, фотографиями и прочим. Кольцовы очень просили сохранить эти бесценные документы хотя бы в архивах НКВД, но работавшие на обыске сотрудники, смеясь, заявили: «Нас не интересует всякая писанина врагов народа», — и все эти материалы были сожжены во дворе дома, где жили Кольцовы.

Вот так выглядела эта жуткая кухня: человек спокойно живет на воле, пользуется всеобщим уважением и мировой славой, ездит в ответственнейшие зарубежные командировки, а судьба его, в сущности, уже решена: где-то в сейфах НКВД пухнет папка с личным делом и, по-видимому, не всегда в окружении этого человека только честные и порядочные люди вроде П. И. Богового (да еще неизвестно, хватило ли у Богового честности и порядочности на Лефортово или Матросскую тишину? Ведь там товарищи умели работать), а сплошь и рядом найдутся такие, которые за обещанное облегчение своей участи готовы наговорить на своего бывшего сослуживца все что угодно, вплоть до явных и совершенно невероятных и нелепых инсинуаций, если того требовали от них ежовские палачи.

Но время шло, а обо мне никто не вспоминал; все мои заявления оставались безответными. Общаясь с сокамерниками, я уже прилично изучил методы ведения следствия, тем более что они, как правило, были стандартными: в ящике стола у следователя лежала какая-то шпаргалка, глядя в которую он задавал вопросы. В общих чертах они заключались в предложении «разоружаться», рассказать самому, как вредил, шпионил, готовил террористические акты, назвать всех членов своей контрреволюционной организации и т. д. и т. п. Иногда подследственному предъявляли изобличающие его показания сослуживцев или близких друзей, причем иной раз они содержали нелепые и невероятные факты, но подпись под показаниями была подлинная и сомнений не вызывала.

Другой раз пытались воздействовать на партийное чувство арестованного примерно в таком духе: «Мы знаем, что вы

были честным коммунистом, возможно даже, что вы ни в чем особом и не виноваты, здесь вы находитесь только до тех пор, пока не будут полностью изобличены злейшие враги народа, втершиеся к вам в доверие (или бывшие вам начальниками и дававшие вам вредительские указания, которые вы выполняли, не имея полного представления об их контрреволюционной цели и т. д. и т. п.), и ваш партийный долг, если вы себя еще считаете коммунистом, помочь органам НКВД распутать этот зловещий клубок змеиного гнезда контрреволюционеров». Некоторые клевали на такую приманку и либо под диктовку следователя, либо напрягая собственную фантазию, писали и подписывали самую невероятную клевету не только на знакомых или сослуживцев, но даже и на самых близких друзей, и иногда даже лично на себя, причем некоторые из них считали при этом, что действительно помогают органам НКВД разоблачить деятельность функционирующей контрреволюционной организации. Уж чего-чего, а сталинско-ежовские следователи умели обставить такое предательство как «выполнение партийного долга». При этом частенько назывались фамилии людей, еще находившихся на воле. Их немедленно арестовывали, предъявляли показания бывших сослуживцев или друзей, предлагали, опять-таки во имя партийного долга, оговорить человека, который ранее дал на них эти показания. От обиды и злости на предателя многие это и делали, и дутое дело обрастало, как снежный ком, новыми невероятными фактами деятельности контрорганизаций и, что самое важное, новыми фамилиями людей, которых также сразу арестовывали. Дело все разбухало, и те, кому нужно, могли торговать костью этого сделанного из жалкой мухи слона.

Конечно, никого, несмотря на все посулы следователей, на волю не выпускали, и все они получали свои «баранки» (десять лет). Этот срок до ноября 1937 года считался предельным, далее следовал уже расстрел*. Вот так зачастую и стря-

---

* Соответствующий нормативный акт (Постановление ЦИК СССР) был издан немного раньше — 2 октября 1937 года. См.: Собрание законов СССР. 1937. № 66. Стлб. 297. В качестве предельного срока лишения свободы он вводил двадцать пять лет вместо десяти.

пались все эти дела времен культа личности. Обо всем этом меня довольно быстро просветили в камере. Заключенными были даже составлены, в ответ на шпаргалки-вопросы следователей, краткие инструкции, как вести себя на следствии, вроде широко известного афоризма: «Не верь, не бойся, не проси, лишних слов не говори».

6

Можно сказать, что я уже был более-менее подготовлен к энкавэдэшным допросам. И вот, наконец, пробил и мой час. В один из погожих июньских дней 1937 года, после обеда, форточка в двери нашей камеры открылась, и просунувший в нее голову надзиратель четко произнес в мгновенно наступившей тишине: «На букву “Х”». Как раз в это время я находился около двери и подошел к ней первым: «Хургес» — ответил. Спросив имя, отчество и год рождения, надзиратель сказал: «Тебя. Собирайся легонько». Легонько означало без вещей, на допрос.

Собирать мне было нечего, и я вышел в коридор. Тут меня уже ждал другой надзиратель с амбарной книгой в руках (почему-то книги учета зэков в тюрьмах носили название амбарных). Спросив еще раз мои данные, он повел меня к выходу из коридора. Поместив меня в конце коридора в «конверт», он вышел на лестницу и постучал ключом по пряжке ремня. Не получив ответа (что означало: по лестнице другого зэка не ведут), он вывел меня на лестницу, затем во двор и повел в какой-то другой корпус. В этом корпусе и помещались кабинеты следователей. Проделав такую же процедуру при входе на лестницу, повел меня на третий этаж.

Коридор третьего этажа был похож на коридоры обычных солидных учреждений: паркетный пол с постеленной дорожкой, скрадывающей шаги, тисненые обои на стенах и целый ряд дверей по обеим сторонам. Посреди коридора стоял небольшой письменный стол, за которым сидел надзиратель. Он расписался в амбарной книге моего провожа-

того, тот сразу же ушел, а коридорный повел меня к одной из закрытых дверей и нажал кнопку звонка. В ответ раздалось легкое жужжание дистанционно открываемого замка, знакомое мне еще по дверям Разведуправления РККА. Надзиратель открыл дверь и впустил меня внутрь.

Небольшая прямоугольная комната производила бы вполне приличное впечатление, если бы не решетка и козырек на окне. Пол паркетный, на стенах коричневые панели, а выше — тисненые обои белого цвета, с потолка свисает лампа с абажуром. Вся меблировка: письменный стол возле окна, несколько стульев вдоль стен и простой табурет недалеко от стола — для зэков. Потолочная лампа выключена, на столе настольная лампа, графин с водой, несколько стаканов на подносе и чернильный прибор с пресс-папье. За столом, спиной к окну, сидел военный, на вид лет сорока, с лицом, изрытым оспой. На его малиновых петлицах красовались две «шпалы» (по-армейски майор). Эти две «шпалы» меня не очень обрадовали, потому что с большинством моих сокамерников работали максимум лейтенанты госбезопасности (одна «шпала»), а раз уж мне достался следователь с двумя, то я, по-видимому, являюсь особо опасным преступником и дело мое швах.

Войдя в комнату, я подошел к столу и вежливо поздоровался с гражданином следователем; мы, зэки, любое лицо из ведомства НКВД обязаны величать не иначе как гражданином. Не обращая на меня ни малейшего внимания, следователь продолжал листать какую-то лежащую перед ним папку. Так прошло минуты две. Я стоял, а следователь сидел, уткнувшись в свое дело. Мне надоело стоять, и я опустился на табурет. Тут он взглянул на меня и внезапно заорал, для убедительности хлопнув по столу ладонью, да так, что я вздрогнул, а письменный прибор на столе зашатался: «Встать! Кто тебе разрешил садиться?»

Я молча поднялся и в упор посмотрел на него. На меня глядели такие ненавидящие глаза, что я даже оторопел, подумав: что я ему такого сделал, что он так на меня смотрит? Следователь тоже встал со стула и шипящим голосом про-

изнес: «Что, попался, гаденыш? Признавайся, ебена мать, фашистский ублюдок!» — и разразился целым каскадом отборнейшей матерщины. Я, хоть и был немного подготовлен, но такого ласкового приема с первого же раза не ожидал. А следователь буквально из себя выходил, у него аж слюна изо рта брызгала, настолько он озверел. Но чем он больше распалялся, тем больше я успокаивался, потому что в камере бывалые арестанты всегда говорили, что чем злее ведет себя следователь, тем меньше у него улик на подследственного.

Через некоторое время его словарный запас, по-видимому, иссяк, он замолчал, опустился на стул и неожиданно спокойным тоном произнес: «Садись».

Я сел на табурет, и наступила довольно продолжительная пауза. Потом он поднял на меня глаза, в которых уже не было ничего, кроме скучающего взгляда чиновника, выполняющего свою довольно для него обычную и даже неприятную обязанность. «Ну так вот, сам знаешь, что ты здесь не случайно. Нам достоверно известны все детали твоей биографии. (Между прочим, тут он был честен, потому что впоследствии рассказывал мне такие факты как из моей личной жизни, так и из жизни родителей и родственников, которые я сам давно забыл. Видно было, что время с момента моего ареста до первого допроса он провел недаром. Мое досье было известно ему до малейших подробностей.) Нам известно, что ты делал и чем занимался в Испании. Нам известно, как ты там вредил, предавал свою Родину и своих товарищей, выводил из строя вверенную тебе аппаратуру, как ты с помощью своих фашистских дружков выбрался из осажденной Малаги, для того чтобы продолжать свою контрреволюционную деятельность. Имеющегося у нас материала вполне достаточно, чтобы сегодня же поставить тебя к стенке, но мы хотим, чтобы ты сам обо всем этом нам рассказал, назвал своих хозяев и сообщников. Ты уже можешь считать себя покойником, но ты ведь знаешь, что работать мы умеем и до своего расстрела, если ты только не "разоружишься", ты еще тысячу раз пожалеешь, что не погиб на "Горьком" или во время бомбежек в Испании. Будь же благоразумен, не за-

тягивай следствие и помни, что только чистосердечное раскаяние и полное разоблачение твоих хозяев и соучастников может хоть немного смягчить твою участь».

С этими словами он положил передо мною стопку чистой бумаги, а сам закурил. Я отодвинул бумагу в сторону, и как мог спокойнее, твердо произнес: «Гражданин следователь, кроме заслуг перед партией и Родиной я за собой ничего не знаю. Судя по всему, вы должны быть в курсе моей работы как на Родине, так и в Испании. Вы должны знать, что я был радистом на пароходе, который доставил в Испанию пять тысяч тонн боеприпасов. Если бы этот груз не прибыл своевременно, то вполне вероятно, что фашисты уже заняли бы всю Испанию, потому что на фронтах Республики оставалось всего по несколько снарядов на пушку; самолеты стояли без бомб, да и каждый патрон у бойцов был на учете. На этом пароходе я был радистом, то есть единственным человеком, который имел бесконтрольную связь с внешним миром. Кроме меня, на корабле никто не мог оказать никакого влияния на исход нашего рейса. Вот вы здесь что-то говорили насчет того, что я якобы выводил из строя какую-то радиостанцию, кого-то предавал, и прочую невероятнейшую чушь. Вы сами должны понимать, насколько это нелепо! Если бы я действительно был врагом, то мне бы ничего не стоило нажать ключ передатчика, и через некоторое время нас бы встретил фашистский рейдер. Так зачем же настоящему врагу, каким вы меня считаете, мелочиться с какими-то радиостанциями и прочей ерундой, когда он мог бы очень легко повлиять на исход войны в Испании в сторону победы фашистов, сообщив им по радио координаты нашего парохода. Вы сами прекрасно понимаете, что обвинять меня в каком-то вредительстве или предательстве — это просто кощунство. Я был и остаюсь до конца преданным своей Родине и Коммунистической партии. Все, что я вам сейчас заявил, я могу написать и на этой бумаге. Больше ничего я добавить не могу, а что касается вашей безответственной ругани, так я ее просто и не слушаю. Если у вас есть какие-либо доказательства моей, как вы выражались, преступной деятельности, то выкладывайте их.

Давайте не глупую матерную ругань, а конкретные факты, а их у вас нет и быть не может. Мне, конечно, неизвестна истинная причина моего ареста, но я твердо заявляю, что все это либо гнуснейшая клевета действительных врагов нашей Родины, либо какое-то чудовищное недоразумение».

Эту тираду я выпалил одним духом, и надо сказать, что следователь меня ни разу не перебил. Все это время он смотрел на меня каким-то совершенно отсутствующим взглядом, и я сперва даже решил, что думает он о чем-то постороннем и меня не слышит.

Наступила долгая пауза. Следователь курил, а я, выговорившись, молча сидел на своем табурете. Через некоторое время он заговорил совершенно спокойно и даже доброжелательно: «Да, мы прекрасно знаем, что транспорт с боеприпасами, на котором ты был старшим радистом (он особо подчеркнул слово «старшим»), своевременно прибыл в Испанию и сыграл некоторую роль в борьбе испанцев с фашистами. Но давай рассуждать логически: ведь в данном случае у тебя просто не было другого выхода, потому что, если бы пароход ваш был встречен фашистскими военными кораблями, то находившиеся на пароходе, действительно преданные Родине люди, конечно, не сдали бы его, а просто взорвали бы вместе с собой и тобой, а судя по всему, тебе своя шкура дороже всего. Так что выпячивать свое геройство тебе здесь нечего. Ты расскажи нам не о своем героизме, а о своей преступной деятельности в Испании. Вот чего мы от тебя требуем и, будь уверен, добьемся».

Судя по всему, мой следователь был очень хорошо информирован о нашем рейсе на «Мар-Карибе», но все же в его рассуждениях я обнаружил существенные пробелы, на которые обратил его внимание: «Гражданин следователь, если уж вы взываете к логике, то давайте будем рассуждать логически и, по возможности, опираясь на факты: насчет шкуры вы до некоторой степени правы, кое-какую ценность она для меня действительно представляет, но, по всей вероятности, далеко не такую, как вы полагаете. Вы должны знать, что когда нас у берегов Испании вместо ре-

спубликанского военного флота встретили эсминцы неизвестной принадлежности, которых мы ввиду незнания ими нашего секретного пароля, который должны были знать корабли военного флота Республики, с полной уверенностью приняли за фашистов, то никто иной как лично я передал в Москву последнюю радиограмму следующего содержания: “Берегов Испании встречены фашистскими эсминцами. Сдаваться не будем. Пароход с грузом и людьми будет взорван. Испанских моряков, в случае возможности, отправим на шлюпках. Да здравствует наша Коммунистическая партия и Советская Родина. Прощайте товарищи. Подписи: Коротков, Спрогис, Хургес”. Эту радиограмму я передал в Москву, а сам приготовил гранаты и пистолет, чтобы в случае необходимости вместе с остальными отразить возможное нападение, если испанская команда решит сдать пароход фашистам, чтобы спасти свои жизни. Им, по-видимому, их шкуры были дороже, чем нам свои. Это насчет моей шкуры. А теперь насчет моего безвыходного положения на корабле: вы считаете, что я предал бы пароход с грузом еще в пути, если бы мог это сделать. Это утверждение не выдерживает ни малейшей критики: представим себе, что я был в действительности скрытым фашистским агентом еще на Родине, обманул всех и, наконец, добился цели своей жизни — стал радистом парохода, от прибытия которого зависели в некоторой степени судьба Испанской Республики и триумф моих фашистских шефов в Германии и Италии. Если бы я действительно был таким матерым врагом, то, безусловно, вполне мог бы без особой опасности лично для себя, с помощью испанской команды, захватить пароход и сдать его фашистам, причем надо полагать, что они бы за это не пожалели раскошелиться и я мог бы, по западным понятиям, даже стать богатым человеком. Ведь вся испанская команда, а их было раза в три больше, чем нас, советских добровольцев, была настроена по меньшей мере анархистски. Их прислали в Советский Союз для доставки в Испанию продовольствия и медикаментов, а вместо этого загрузили боеприпасами: сами понимаете, какое у них

было настроение. Хотя в Севастополе у команды и отобрали оружие, но произвести детальный обыск не было возможности, и часть оружия у команды, возможно, осталась. Так представьте себе: матерый фашистский агент, каким вы меня считаете, пользующийся полным доверием у советских добровольцев, пробрался на такой пароход в качестве старшего радиста. Он мог бы запросто ликвидировать всех советских людей на пароходе, так как сговориться по этому поводу с командой парохода было бы нетрудно, а затем связаться по радио с фашистами и без всякой для себя опасности сдать им пароход со всем грузом. Так что ваши попытки рассуждать логически не выдерживают ни малейшей критики, и никаких обвинений по поводу моей работы во время рейса на «Мар-Кариб» вы предъявить мне не можете, как и вообще по всей моей работе на Родине и в Испании. Чист я перед партией и Родиной».

Надо сказать, что особого впечатления все мои логичные доводы на следователя не произвели, он просто отмахнулся от них, как от назойливой мухи, да это и понятно: в те времена ни одного следователя НКВД абсолютно не интересовала степень виновности клиента. Будучи грамотными и неглупыми людьми, они прекрасно понимали, что никто из схваченных, и в большинстве своем совершенно случайно, людей ни в чем не виноват и никаких преступлений не совершал. И если следователь не хотел пересесть со своего стула на табурет, он должен был как-то выжать из заключенного хоть какой-то обличающий материал. Какой — безразлично, чем страшнее — тем лучше. Тут уж подследственному представлялся полный простор для фантазии. Так что если он ударялся в логику, то следователь просто начинал скучать, ведь его интересовало только то, что помогло бы ему поскорее закрыть дело — любое признание, на основании которого можно поскорее оформить своего клиента и выкроить себе несколько часов для отдыха.

Тут мой следователь, убедившись, что нахрапом меня не взять и придется менять тактику, все же решил сделать в этом направлении еще одну попытку: «Значит, ты все же

отказываешься полностью “разоружиться” и подписать, что ты действительно был фашистским агентом, засланным здешними хозяевами в Испанию?»

Когда я в ответ только рассмеялся, то он спокойно, даже без всякой угрозы, произнес: «Ну смотри, я сделал все, чтобы тебя спасти, а ты сам себе копаешь могилу. Все ты нам подпишешь, во всем признаешься, твою мать, фашистская сволочь!» — внезапно разъярившись, заорал следователь.

Успокоившись, он снова закурил и после небольшой паузы нажал какую-то кнопку на столе. Дверь открылась, и вошел надзиратель. «Уведите», — коротко приказал следователь. Надзиратель вывел меня в коридор, подвел к сидевшему за столом дежурному, и тот дал мне расписаться в какой-то книге об окончании допроса. Из этой записи я узнал, что меня допрашивал старший лейтенант госбезопасности (по-армейски — майор), работник спецотдела НКВД — Касаткин.

В камеру я попал уже после отбоя, но соседи мои еще не спали. Я им рассказал о методах допроса, о ругани следователя, о его угрозах, избегая, конечно, даже упоминаний об Испании. Поскольку и Раевский, и Перевалов, и отец Николай были такими же тюремными неофитами, как и я, то никаких советов я от них и не ждал.

На другой день я решил поговорить с бывалым арестантом — с Булановым. Он меня сразу предупредил, что всякие побасенки и недоговоренности его не интересуют: если я хочу получить от него совет, то должен рассказать ему всю правду. Почему-то к Анатолию Анатольевичу я сразу почувствовал полное доверие, как к родному отцу (и действительно, как я впоследствии убедился, все, о чем мы с ним говорили, дальше никуда не пошло). Все подробности своего первого допроса я рассказал ему как на духу.

Узнав, что со мною работает спецотдел НКВД, да еще и следователь с двумя «шпалами», Буланов помрачнел: «Это очень плохо, сынок. Из спецотдела заключенные живыми не выходят, да и следователь-то у тебя непростой, все-таки две “шпалы” — это только на одну меньше чем у начальни-

ка Бутырской тюрьмы — Попова*, а с двумя "шпалами", да еще в спецотделе, это очень большая шишка, такие работают только на особо важных делах. Но тогда вопрос: чего же тебя держат в Бутырках? Спецотдел обычно "работает" на Лубянке, в Лефортове и т. д. Правда, время сейчас горячее, и у них, возможно, все заведения переполнены еще более опасными преступниками, чем ты. Во-вторых, уж больно либерально он вел твой допрос: обычно, особенно с первого раза, они пытаются ошарашить своих клиентов длительной, до нескольких суток, "стойкой", зуботычинами, вплоть до выбивания нескольких зубов, а тут твой следователь ограничился сравнительно невинной матерщиной, да и весь допрос у тебя прошел очень быстро. Все это выглядит, на мой взгляд, весьма странно: либо они считают, что в силу твоей молодости и неопытности получат от тебя все нужные им показания, не прибегая к экстраординарным мерам, на которые они в каждом отдельном случае должны испрашивать разрешение высокого начальства, либо вообще ко всем арестованным героям Испании имеются указания не применять особых методов ведения следствия.

Если такое указание имеется (а оно, по-видимому, и впрямь было), это может облегчить твою судьбу. Но отставь иллюзии о том, что, не получив от тебя ничего, они перед тобою извинятся и с почетом отправят на волю. Это абсолютно исключено. Если тебя после небольшой, чисто формальной процедуры, именуемой "заседанием военной коллегии верхсуда", которая будет проводиться здесь же в Бутырках, в одной из освобожденных для этой цели камер, не расстреляют, то срок заключения, и немалый, ты получишь наверняка, причем рассчитывать на досрочное освобожде-

---

* Попов Михаил Викторович (1889—?), капитан госбезопасности, с августа 1930 по декабрь 1937 начальник тюремного отдела ОГПУ и комендант Бутырской тюрьмы ОГПУ. С 1934 — начальник тюремного отдела АХУ НКВД СССР, он же начальник изолятора особого назначения, комендант Бутырского и Сретенского изоляторов НКВД СССР по совместительству. С февраля 1937 — начальник Бутырской тюрьмы тюремного отдела ГУГБ НКВД СССР. С декабря 1937 — комендант УНКВД МО.

ние или на пересмотр дела с целью отмены приговора в обозримом будущем не приходится. Мой тебе, сынок, совет: не затягивай следствия и старайся поскорее отсюда выбраться с возможно меньшим сроком заключения, до октябрьских праздников. Имей в виду: никакой амнистии к 20-летию Октября, как здесь многие фраера надеются, не будет. Если задержишься до после праздников, то, помяни мое слово, как бы ты ни был крепок, все равно подпишешь что угодно, лишь бы скорее получить свою пулю в затылок. А чтобы тебе скорее дали минимальный срок заключения, советую категорически отпираться от всяких попыток пришить тебе шпионаж, диверсию или террор. Никаких реальных улик на тебя у них, по-видимому, нет, но раз тебя уже взяли, то они будут рассчитывать только на твое признание. Его им будет вполне достаточно для твоего осуждения, даже если на суде ты откажешься от всех своих показаний на предварительном следствии. (Так оно и было: на суде многие категорически отказывались от всех своих показаний на следствии и заявляли суду, что они давали их под принуждением; тем не менее, суд, даже не отправляя дело на доследование, тут же выносил приговор: десять лет или даже расстрел с последующей заменой десятью годами, а несколько позже и двадцатью пятью годами заключения.) Это тебе нисколько не поможет: все равно ты будешь осужден, и чем легче будет статья, тем лучше, а ты ведь знаешь, что для нашего брата самая легкая — это статья 58, параграф 10 — контрреволюционная агитация, то есть пустая болтовня. За нее ты уже расстрел не получишь, да и десять лет за нее дают редко. Но тут еще одна закавыка: если ты и признаешься в таких разговорах, то ведь ты не сам с собой разговаривал. Обязательно спросят, с кем ты разговаривал, их фамилии. Тут пострадают и другие совершенно невинные люди. Все фамилии ты обязательно должен будешь назвать, и если этих людей сразу же не арестуют, то будут долго турзучить, и они со злости могут тебя оговорить, так как им прикажет следователь, в надежде этим спасти себя. Правда, если это устроит следователя, ты сможешь сказать, что вел разговоры в пьяном виде с совер-

шенно незнакомыми тебе людьми, может быть, у тебя такой номер и прорежет. Во всяком случае, избави тебя Бог впутать в свое дело хорошо знакомых тебе людей или родственников: тебя это не спасет, а для них может кончиться очень плохо.

Теперь по части разговоров. Ни в коем случае не упоминай имени Сталина, иначе, если не пуля, то верная десятка. Можешь что-нибудь ляпнуть: про колхозы, про низкий по сравнению с заграницей уровень жизни, а еще лучше скажи что-то хвалебное в адрес моего бывшего шефа Троцкого, например что он быстро и хорошо в Гражданскую войну освоил военное дело или что он был хорошим оратором. Этого, по всей вероятности, хватит для твоего осуждения на сравнительно небольшой срок, а впоследствии ты всегда сможешь сослаться на то, что Троцкого ты никогда в жизни не видел и не слышал, ни с кем из троцкистов никогда знаком не был, а об этих качествах Троцкого неоднократно говорил и даже упоминал в своих трудах и сам Ленин. Это потом может стать хорошим козырем в твоих заявлениях о пересмотре дела. Вот, пожалуй, и все, что я тебе сейчас могу посоветовать».

Полностью доверяя порядочности и опыту Буланова, я не мог не согласиться с железной логикой его доводов и с нетерпением стал ждать следующего вызова на допрос, чтобы, перестав запираться, попытаться подсунуть Касаткину булановскую версию, авось клюнет.

7

Через некоторое время, как раз после выходного дня, почти сразу же после завтрака (кстати сказать, довольно легкого, потому что на завтрак давали хлеб, который еще надо было разделить на три части, и горсточку — граммов десять-пятнадцать — сахарного песку), меня снова вызвали на допрос. Войдя в уже знакомую мне комнату, я увидел своего следователя уже не в военной форме, а в белом костюме. Гладковыбритый, пахнущий одеколоном, он про-

изводил впечатление не энкавэдэшного сатрапа, а вполне респектабельного служащего солидного учреждения. Зная заранее, что на мое приветствие он не ответит и садиться первым не предложит, я молча опустился на табуретку перед его столом. К моему удивлению, никакой реакции с его стороны подобная наглость не вызвала. Не глядя на меня, он курил и молча листал какую-то папку, по-видимому, мое «дело». Кончив курить, он погасил окурок в пепельнице, полез в ящик своего стола, достал пистолет «ТТ» и, держа локоть руки на столе, стал прицеливаться мне в переносицу и совершенно спокойным тоном произнес: «Ну, фашистская сволочь, я получил полномочия тебя ликвидировать прямо здесь в кабинете, но даю тебе последний шанс спасти свою шкуру. Я буду считать до трех, на счет "три" — стреляю. Говори, будешь давать показания? Раз!» Несмотря на его угрожающую позу и наведенный в мою переносицу пистолет, мне совершенно не было страшно, ведь я прекрасно знал, что стрелять в меня он не сможет. Надо сказать, что шанс он мне давал вполне достаточный, ибо между «раз» и «два» прошло не менее двух минут. Прозвучало угрожающее «два», пистолет по-прежнему наведен на меня.

Я спокойно сижу. Это начинает уже мне надоедать: «два с половиной» — его же тоном говорю я. Он, несколько опешив, смотрит на меня. Я продолжаю: «Слушайте, Касаткин, неужели вы меня считаете полным идиотом? Ведь я прекрасно знаю, что вас сюда с заряженным оружием не пускают, так что чем вы меня пугаете? Вы приехали с дачи, а я с фронта, а там я видел «игрушки» пострашнее вашей «пфыкалки», причем из них действительно стреляли в меня, а не просто пугали. Так что лучше спрячьте ваш «пугач» и скажите толком, что вам от меня нужно? Возможно, мы и сумеем найти общий язык, если вы начнете мне толком объяснять, в чем меня обвиняют, а не просто материться. Давайте бросим эту дуристику и начнем деловой разговор, а иначе я просто перестану с вами разговаривать и попрошу сменить следователя».

Не думаю, что его сильно испугала моя угроза, но пистолет он сразу же спрятал в стол и, как и ранее делал после пауз, закурил. «Ну хорошо, — уже совершенно спокойно заговорил Касаткин, — факты так факты. Нам известно, что, будучи в Малаге, в самый критический момент ты вывел из строя свою радиостанцию. Это уже факт, который ты не сможешь отрицать. Скажи, по чьему указанию и с какой целью ты это сделал?» Я сразу же понял, что этот «факт» они могли получить только от моего начальника в Испании — полковника Василия Ивановича Киселева (по кличке Креминг). Видимо там его как следует прижали и заставили сказать хоть что-нибудь, что могло бы меня скомпрометировать, а это было единственное, что он мог бы вспомнить.

Дело в том, что что-то похожее действительно имело место в самые напряженные дни обороны Малаги. Мой передатчик питался от городской электросети. Обмен у меня в это время значительно увеличился и задерживать работу, убегая в убежище во время авиабомбежек и обстрелов с моря, которые продолжались целыми часами, я не мог и поэтому всегда работал и после объявления тревоги. Но, по-видимому, персонал городской электростанции не проявлял такой же храбрости, как я, и сразу же убегал в убежище. Поскольку значительная часть нагрузки электростанции во время бомбежек выключалась, то напряжение в сети в такие моменты значительно (раза в полтора, а то и больше) возрастало. Это приводило к тому, что появлялась сильная перегрузка для повышающего трансформатора моего передатчика, и однажды, во время особо длительной бомбежки, от перегрева этот трансформатор получил электропробой между обмотками. Правда, из положения я все-таки вышел: накал ламп передатчика стал питать от автомобильных аккумуляторов, а аноды — прямо от сети переменного тока (вместо 400 — 220 вольт). Мощность передатчика при этом несколько уменьшилась, но и Валенсия и Москва слышали меня вполне прилично, и ни одного сеанса связи я не сорвал. Поскольку своими силами исправить трансформатор я не мог, в электромастерских Малаги это сделать также от-

казались из-за отсутствия нужных материалов, а работать с пониженной мощностью мне тоже было неудобно (из-за худшей слышимости увеличивалось число просьб о повторе моей корреспонденции), я стал просить Киселева отпустить меня на несколько дней в Валенсию исправить трансформатор. Только отсюда Киселев узнал об аварии на моей радиостанции, потому что перебоев в радиосвязи у меня не было ни одного.

Через некоторое время такая возможность представилась: Киселев поехал по делам в Валенсию и взял меня с собой. С помощью наших ребят-радистов трансформатор мы быстро исправили, я достал в Валенсии регулятор напряжения, который, вне зависимости от колебаний в сети, давал на выходе точно 220 вольт, и теперь я уже мог не бояться неполадок во время бомбежек. С тех пор и до самого конца моей работы в Испании радиостанция меня ни разу не подводила и связь как с Валенсией, так и с Москвой всегда была безупречной. Вот к чему свелся тот «факт», который мой бывший шеф Киселев подбросил НКВД и на основании которого Касаткин решил пришить мне диверсию и вредительство.

Смехотворность этого «факта» была очевидна любому, хоть немного понимающему в технике, но только не следователю НКВД в 1937 году, ищущему повод, чтобы оформить своего клиента по самой тяжелой статье уголовного кодекса. Узнав про суть дела, я первым делом огорчился за своего шефа. «Эх ты, — подумал я, — герой империалистической, гражданской и испанской войн, кавалер орденов! Ну и трус же ты! Ты и пальцем не решился пошевельнуть, чтобы заступиться за бывшего коллегу по обороне Малаги — честнейшего испанского офицера — полковника Виальбу, которого арестовали за сдачу Малаги, хотя он в этом был виноват ничуть не больше тебя, ведь все решения по обороне города вы принимали вместе. Да и со мною: как только тебя слегка прижали, ты сразу стал копаться в памяти и искать на меня «фактики», чтобы помочь сталинско-ежовским следователям НКВД отправить на тот свет случайно попавшего к ним в лапы товарища и однополчанина. А я перед сдачей

Малаги, вместо того чтобы, по твоему же приказу, драпануть для спасения своей жизни, предпочел остаться с тобой, потому что не мог бросить тебя на растерзание фашистам при полном окружении города. А ты при этом даже слезу пустил, а теперь, в благодарность, — предаешь меня этим людям, которые стремятся меня уничтожить. Хоть ты и на свободе, а я в тюрьме, но я тебе не завидую! На твоем месте я бы до Сталина дошел, но преданного Родине да и лично тебе товарища защитил бы. Ну что же, видно, ты можешь безбоязненно разгуливать под пулями, но кладешь в штаны при виде красно-синей фуражки. Могу тебя, Василий Иванович, только пожалеть».

Пока эти мысли носились в моей голове, Касаткин пристально смотрел мне в глаза, ожидая, как меня убьет эта неоспоримая улика, и с ехидцей улыбался. Я понимал, что рассказывать ему все это — значит метать бисер перед свиньей. Ведь его же абсолютно не интересовала моя полная невиновность и преданность Родине, ему нужно было побыстрей закрыть мое дело и довести до расстрела. За это ему могли бы и премию, а то и орденок подбросить, и больше ничего его не интересовало.

Я мог оперировать только понятными ему фактами. Еще немного подумав, я спокойно сказал: «Хорошо, Касаткин, в технике вы, конечно, ничего не понимаете, и поэтому излагать вам полную техническую нелепость вашего «факта» бесполезно, но вы ведь юрист, и вроде на первом допросе даже пытались рассуждать логически. Давайте продолжим: радиостанция сама по себе никакого значения не имеет, если ею не пользуются, имеет значение только то, что при ее помощи могут быть переданы какие-то важные сообщения. Значит, если радист умышленно вывел из строя радиостанцию, то этим своим действием он сорвал сеансы радиосвязи, и его начальник, в очень нужный для него момент, не мог передать своим корреспондентам и принять от них важные сообщения.

Спросите моего бывшего начальника — полковника Креминга (тогда я еще не знал, что его настоящая фамилия —

Киселев), был ли хотя бы один раз, когда мною была задержана его радиограмма? Не было! Это же может подтвердить и мой бывший шифровальщик Василий Иванович Бабенко. Вся радиосвязь Кременга обрабатывалась только Бабенко, и у него имеется документация, подтверждающая, что ни одна наша исходящая, данная мне для передачи, радиограмма не пропала и не была задержана. Из этого очевидно, что умышленный вывод радиостанции из строя — нелепость. Что касается технической стороны, то прошу назначить техническую экспертизу, которой я дам самые подробные объяснения. С вас же, Касаткин, достаточно того, что никто не докажет, что я не передал или задержал хоть одну радиограмму».

Все это, за исключением размышлений о Киселеве, я изложил следователю. Но Касаткин не был бы следователем НКВД в те времена, если бы это его переубедило. «Это все беллетристика и сантименты, — вдруг заявил он мне категорически. — Ведь свою радиостанцию-то ты из строя вывел? Трансформатор сжег? Ты мне сам сейчас в этом признался. Так напиши: по чьему распоряжению и зачем ты это сделал? Фашистский ублюдок, твою мать!» — снова заорал Касаткин.

Тут я окончательно понял, что рассуждать с ним логически, значит зря терять время. «Нет, думаю, тут тебе не прорежет». Выждав, пока он выматерится, я ему спокойно сказал: «Вот что, Касаткин, ничего вы от меня не добьетесь, никакой радиостанции я никогда из строя не выводил, все радиограммы мои принимались и передавались своевременно, и говорить со мною дальше на эту тему бесполезно. Опустите меня в камеру, наш обед и в горячем виде не очень-то съедобен, а в холодном тем более».

Касаткин на некоторое время успокоился и, подумав немного, заявил мне: «Никуда ты не пойдешь. Баланда твоя никуда не денется, а если и прокиснет, все равно с голодухи сожрешь. Обедать пойду я, а тебе — вот бумага. Подумай и опиши все свои преступления, и учти, что либерально я с тобой говорю в последний раз, а уж потом — пеняй на себя.

Дальше с тобой будут работать другие товарищи, а уж они церемониться не будут, все жилы у тебя вытянут, и ты все равно напишешь все, что нам нужно. А что нам надо, ты уже знаешь, я тебе об этом прямо сказал. Подумай хорошенько и все напиши, а то потом жалеть будешь, что не сделал этого сейчас, но уже поздно будет».

С этими словами он снова протянул мне стопку бумаги и ручку, а сам нажал кнопку звонка. В дверях появился надзиратель. Касаткин молча поднялся и пошел к двери, а надзиратель сел на его место.

Сколько времени мы с ним просидели так в ожидании Касаткина, я, конечно, установить не мог, но я сто раз ерзал на своем табурете, на мою просьбу разрешить мне встать и пройтись по комнате надзиратель отозвался односложно: «не разрешается», а сам хоть бы пошевелился, сидит и упорно смотрит мне прямо в глаза.

Появился Касаткин уже под вечер, отпустил надзирателя, закурил и, не упоминая больше Испанию, радиостанцию и прочее, начал меня прощупывать насчет окружения в камере. Он был очень хорошо информирован и сразу же стал задавать хитрые вопросы о моральном состоянии моих соседей, об их разговорах, настроении и прочем. Вначале я уклонялся от прямых ответов, уверяя, что в камере держусь особняком, ни с кем в разговоры не вступаю и абсолютно не интересуюсь чужими делами. Касаткин легко меня разоблачил, рассказав даже, в каких дискуссиях я участвовал и с кем больше всего беседовал. Видно, Буланов был прав, «наседка» в нашей камере была, но это не Буланов, не Раевский, не Перевалов, не Кругликов, не тем более отец Николай — никаких деталей доверительных бесед с ними Касаткин не привел. Я получил урок, что в камере лучше держать язык за зубами.

Он вскользь намекнул, что некоторые товарищи все же помогают органам НКВД в разоблачении скрытых врагов народа, выдающих себя на следствии за порядочных людей, и что следствие учтет их помощь при определении их дальнейшей судьбы. Намек был слишком прозрачен, короче го-

воря, я понял, что Касаткин предлагает мне сотрудничество в обмен на облегчение участи. Я оборвал его разглагольствования и твердо заявил: «Касаткин, перестаньте кружить вокруг да около. Я вас сразу же прекрасно понял. Давайте раз и навсегда покончим всякие разговоры на тему о сотрудничаньи. Когда партии и Родине понадобилась моя жизнь, я ее предоставил без раздумий и колебаний, но когда вам требуется моя совесть человека и коммуниста, то она мне дороже жизни, и вы ее не получите». Примерно в таком духе (не ручаюсь за 100% точность формулировок) я отбрил Касаткина. Принял он мою отповедь без особых эмоций и больше до самого конца следствия к этой теме не возвращался. Возможно, что в результате именно этой беседы в моем личном деле появилась запись, удивившая даже видавшую виды начальницу II-й части Рыбинского лагеря, из которого в 1946 году я освободился. Запись гласила: «К секретно-осведомительской работе привлекать не рекомендуется».

После провала затеи с вербовкой Касаткин завел разговор о моих друзьях по вольной жизни, причем делал это очень тонко: дескать, кто бы из моих старых товарищей мог ему дать характеристику моей особы, ведь в случае, если она будет положительной, это сыграет некоторую роль в ведении дела. Памятуя указания Буланова и собственный опыт в смысле того, что Касаткина могут интересовать только изобличающие меня свидетельства, я решил ни в коем случае не называть ни одной фамилии, чтобы не увеличивать снежного кома ежовско-сталинских клиентов, поэтому категорически отрицал наличие близких товарищей, ссылаясь на особенности своего характера. Пришлось даже приписать себе излишнее самомнение и замкнутость, и что я якобы отталкиваю от себя окружающих. В общем, ни одной фамилии Касаткин из меня не выжал.

Пытался Касаткин прощупывать меня и по женской линии: с кем я гулял, кто были мои девушки и сожительницы, и проч. И здесь я ему никого не назвал. Окончательно выйдя из себя, Касаткин начал говорить всякие скабрезности. Я без стеснения отвечал ему тем же, упорно настаивая на том,

что в свои двадцать семь лет свободно обхожусь без женщин и девушек.

Как Касаткин не крутил, но лист допроса так и остался у него чистым. Вообще, ареста и следствие производились на редкость секретно: о том, что я арестован и нахожусь в Москве, родные узнали только после моего осуждения, да и то лишь по той причине, что Разведуправление РККА перестало им выплачивать условленные при моем отъезде в Испанию четыреста рублей в месяц. Никого из моих родных или знакомых ни разу не вызывали, дома не было обыска, в Институте связи, где я учился, даже после осуждения в течение нескольких месяцев на доске почета висел мой большой портрет, ведь в те времена студенты-орденоносцы были еще очень большой редкостью.

Но это все, по Буланову, тоже было не очень хорошо. Ведь раз я здесь, меня все равно так не выпустят, хочешь не хочешь, а в чем-то надо сознаваться; то, что Касаткин не собирается меня отпускать на волю, было предельно ясно; собственно говоря, даже если бы он и имел такое желание, то исполнить его он, конечно, не смог бы, так как если бы в этом отношении он пытался проявить хоть какую-нибудь инициативу, то в лучшем случае был бы сейчас же смещен со своей должности, а судя по нему, он себя очень неплохо чувствовал со своими двумя энкавэдэшными «шпалами», а в худшем случае мог бы оказаться и в моем положении.

Тем не менее, как мне потом рассказывал один зэк — бывший начальник Особого отдела Ленинградского военного округа и бывший комдив Никонович — Касаткин был арестован. Лично Никонович вел его дело и довел до расстрела.

Судя по всему, Касаткин пока прекратил свои попытки пришить мне 58-ю статью, параграфы 7 и 9 (контрреволюционное вредительство и диверсия). По-видимому, на применение ко мне особых методов следствия он по каким-то причинам санкции пока не получил, а обычными методами он от меня добиться ничего не смог. По части статьи 58, параграф 11 (контрреволюционная организация) я ему тоже ничего не подбросил. Помня наставления Буланова, я ре-

шил, не проявляя никакой инициативы, признаться Касаткину в каких-нибудь недозволенных в данное время разговорах с совершенно незнакомыми мне людьми и подбросить ему мое предположение, что причиной моего ареста явился донос одного из них. Это тот максимум, который я собрался дать Касаткину, и здесь самым важным было не упомянуть в моем деле ни одной фамилии.

Но здесь, как мне казалось, и это, конечно, было очень правильно, нельзя было переигрывать, и инициатива такого признания ни в коем случае не должна была исходить от меня, потому что это было бы очень легкой победой следователя и, естественно, могло бы вызвать его подозрения. Признание в недозволенных разговорах с совершенно мне незнакомыми людьми и, желательно, в пьяном виде (что у трезвого на уме — то у пьяного на языке) Касаткин должен был из меня долго и нудно вытягивать.

Когда он стал уводить разговор в сторону моей эрудированности и болтливости, я понял, что все-таки он клюнул на булановскую приманку. Первым делом он начал наталкивать меня на разговоры о Сталине, но в ответ я с большим энтузиазмом стал восхвалять своего великого вождя, для выполнения предначертаний которого я не жалел в Испании своей молодой жизни. Поняв, что и о Сталине у него не прорежет, Касаткин начал щупать дальше: про советский строй, про колхозы, про НКВД, а когда дошел до Троцкого, то я понял, что дальше мне упираться нельзя.

Сначала я вспомнил, что во время службы в ЦДКА моим начальником был В. И. Мутных, в тюрьме мне стало известно, что вместе со многими другими высшими военачальниками он был арестован как троцкист. Услышав эту фамилию, Касаткин насторожился, но когда узнал, что за время службы в ЦДКА я всего два раза разговаривал с Мутных, сразу сник, потому что пришить меня к делу Мутных было нельзя, ведь я никогда в партии не состоял и к троцкистской оппозиции примкнуть не мог.

Но своей цели я все же достиг: на вопрос Касаткина, что я знаю о Троцком, я ответил, что хотя Троцкого я никогда

в жизни не видал и не слыхал, ни с кем из бывших троцкистов никогда в жизни не встречался и никакой троцкистской литературы никогда и в глаза не видал, но слыхал, что Троцкий принимал активное участие в Гражданской войне и считался, после Ленина, лучшим оратором. Когда Касаткин спросил у меня, откуда я получил такую информацию, то, понимая, что ему нужна любая фамилия, назвал своего двоюродного дядю — участника Гражданской войны, умершего лет десять назад. Касаткин записал фамилию дяди.

Я, конечно, над ним смеялся: «Пиши, — думаю. — Дурак! Поищи-ка и арестуй его на том свете, тем более и жена его умерла, а детей у них не было». Делая вид, что все это его не очень интересует, Касаткин вскользь осведомился, не делился ли я такой информацией со своими знакомыми и сослуживцами? Я, недолго думая, ему ответил, что поскольку я сталкивался с работниками его ведомства во время работы в ЦДКА по радиосвязи с лагерями ГУЛАГа, был вполне осведомлен о наличии их информаторов буквально везде и прекрасно знал, что мне грозит в случае доноса о таких моих разговорах, то, естественно, вел себя очень осторожно и никогда ни с кем из своих знакомых или сослуживцев никаких разговоров о Троцком не вел. Касаткин, конечно, усомнился: «Ты такой болтливый и мог по такому интересному вопросу долго держать язык за зубами? Кто тебе в этом поверит? Уж с кем-нибудь ты ведь наверняка поделился этими сведениями?»

И тут я понял, что пора колоться. Стараясь как можно лучше разыграть удивление и возмущение, я воскликнул: «Теперь я понял!» Касаткин встрепенулся: «Чего ты понял?» — «Почему я здесь, — ответил я. — Вот мерзавцы! Неужели они? Откуда они узнали мою фамилию? Ведь я их всего один раз в жизни видел!» — «Ну, рассказывай», — заинтересовался Касаткин. Пришлось мне «вспомнить», что однажды в Валенсии, в приличном подпитии в ночном кабаре «Аполло» я оказался за одним столиком с несколькими нашими добровольцами, вроде бы танкистами. Завязался разговор, и кто-то из них уж очень нелестно отозвался о Троцком. И дернул

меня черт за него заступиться: я заметил, что хотя Троцкий и стал предателем, но в свое время он был хорошим оратором и сыграл некоторую роль в разгроме белогвардейцев. Все они на меня дружно напустились, и я, все поняв, сразу же замолчал и вскоре ушел.

«А как же их фамилии?» — заинтересовался Касаткин. «А вам лучше знать! — парировал я. — Ведь свой донос на меня, надеюсь, они подписали? А я их ни до этого, ни после, никогда больше не встречал, а в «Аполло» документов не спрашивают. Помню только, что одного из них звали Андреем». Припомнил я еще, что ребята были в кожаных курточках на молниях и в синих беретах (в Испании все наши, в том числе и я, одевались точно так же) и что один из них был рыжеватый, а один жгучий брюнет. Больше я ничего, конечно, «вспомнить» не мог, да и немудрено, потому что все это я экспромтом придумал по совету Буланова.

Внимательно выслушав меня, Касаткин сделал вид, что все это ему уже давно известно, не стал меня разубеждать насчет доноса и, убедившись, что никаких дополнительных данных о своих собеседниках-предателях я ему сообщать не собираюсь, сказал в ответ: «За такие пустяковые разговоры НКВД не арестовывает. Такую ерунду я даже в протокол записывать не буду. О том, что Троцкий был хорошим оратором и наркомом, известно каждому. Уж больно ты, фашистская тварь, хочешь дешево отделаться. Убирайся к такой-то матери».

Вызвал дежурного и отправил меня обратно.

8

С тяжелым сердцем вернулся я в камеру. Не помогли булановские советы. Касаткин на разговоры не клюнул. Значит, он все еще не расстался с мыслью оформить мне вышку и теперь, наверно, будет добиваться санкции на применение особых методов. Плохи мои дела: выйду отсюда если не покойником, то уж полным инвалидом.

На другой же день я как мог подробнее рассказал о всех перипетиях допроса Буланову. Он надолго задумался, а потом сказал: «Может, ты, сынок, и прав в своих мрачных предположениях. Вообще говоря, спецотдел НКВД — это один из самых страшных углов этого заведения, но особых методов они здесь в Бутырках не применяют, так что пока ты здесь, бояться нечего. Вот если тебя переведут в Лефортово или на Лубянку, тогда держись и моли своего еврейского бога, потому что там, кроме него, тебе уже никто помочь не сможет».

С тех пор началась для меня жизнь на нервах: при каждом открытии дверной форточки я с трепетом ожидал слов: «на букву "Х", собирайся с вещами», что могло означать только перевод в Лефортово и осуществление самых мрачных прогнозов Буланова. Но время шло, и никто меня не трогал, и с каждым пройденным днем я становился все спокойнее: ведь если бы Касаткину удалось получить на меня санкцию, то мало оснований полагать, что начальство стало бы тянуть с этим делом. Ведь получить подпись чиновника, даже очень высокого ранга, недолго, а раз ее до сих пор нет, то, возможно, какие-то особые причины, не зависящие от большого начальства, препятствуют разрешению на применение ко мне особых методов.

Тем временем потерял я своего консультанта — вечного зэка Анатолия Анатольевича Буланова. Кончилось его следствие, он подписал статью 207 (окончание следствия) и ждал вызова для объявления приговора: таких, как он, обычно пропускали не через суд, а через Особое совещание НКВД и давали от трех до пяти лет лагерей. Однажды донеслось из форточки в двери: «На букву "Б" — Буланов. Выходи с вещами».

Особого транспорта для вещей Буланова не потребовалось. Он взял под мышку свой узелок, попрощался с сокамерниками, потрепал меня по щеке: «Ну, прощай, сынок. Не вешай нос, еще выкрутишься, похоже, что санкции твоему Касаткину все же не дали. Хотя и хотелось бы еще разок увидеться с тобой, но я не надеюсь, я-то ведь «вечный», а ты максимум через два-три года выскочишь».

«Прощайте, товарищи, — обратился Буланов к остающимся. — Желаю всем быть дома как можно скорее». Больше я его никогда не встречал, пути наши в архипелаге разошлись навсегда, о чем я всегда жалел. Если бы не он, уже давно сгнили бы мои косточки в каком-нибудь подмосковном овраге. Я бы упорствовал, доказывая свою невиновность, а после ноябрьских праздников безо всякого бюрократизма меня бы стали обрабатывать особыми методами, после чего я подписал бы, что собирался взорвать Кремль, уничтожить Политбюро, и любую другую чепуху. Лишь бы скорее и вернее получить свою «вышку».

После ухода Буланова я остался один на один со своими мыслями, со своим делом, со следователем Касаткиным и всем его мощным спецотделом. Время же шло и шло, народ в камере все обновлялся: увели и Раевского, и Перевалова, и отца Николая, и даже Рубинштейна. Уже теперь я на правах старожила камеры лежал на самом почетном месте — у окна, откуда через верхнюю щель козырька хоть иногда доносилось легкое дыхание ветерка. Раз я еще здесь, в Бутырках, значит, санкцию Касаткину не дали, можно пока жить спокойно.

К сожалению, многих интересных людей, разделявших мое камерное житье-бытье, я, за давностью лет, забыл, но помню одного старшего лейтенанта интендантской службы Белорусского военного округа. Он, единственный в нашей камере, шел по статье 58, параграф 1б (для военнослужащих — «Измена Родине и присяге»). Это была самая тяжелая статья УК, и по ней, кроме расстрела, другого приговора и быть не могло. Обвиняли его в продаже мобилизационных планов Б. В. О.* иностранной державе. По его рассказам, он никогда в жизни не только не видел этих планов, но даже и понятия не имел, где и как они хранятся. Сам он, будучи причисленным к интендантской службе, в основном занимался фуражом для обозных лошадей, и тут он, видимо, кое-что знал о конском поголовье в своем соединении, но не думаю, что иностранная держава, которой бы этот человек

* Белорусский военный округ.

предложил продать секреты, раскошелилась бы. Да и вряд ли в Бобруйске, где он служил, находилось какое-нибудь посольство державы. Тем не менее, его привезли в Москву; занимался им тот же спецотдел, что и мною.

Следует отметить, что питание в Бутырках было, по тюремным условиям, вполне приличным. Особенно вкусным казался хлеб, хотя и ржаной, но всегда отличной выпечки, ноздреватый, с хрустящей корочкой. Он был для нас самым вкусным лакомством; правда, как говорят французы, лучшей приправой для любого блюда является аппетит, отсутствием которого никто из нас, конечно, не страдал. Неплохой была и баланда: густая, наваристая и иногда даже с «самородками», — так на Колыме называли кусочки мяса, плавающие в ней. Начальник Бутырской тюрьмы — капитан госбезопасности Попов (он носил в петлицах три «шпалы», что в те времена соответствовало званию армейского полковника), высокий, худощавый, с длинными черными усами*, внешне напоминающий Дон-Кихота Ламанчского, видимо, был неплохим хозяином. Говорили, что он имел договор с московской бойней и получал оттуда мясные отходы, а так как в те времена никто из руководителей, в том числе и московских боен, не был застрахован от попадания в Бутырки, то Попов всегда получал лучшее из того, что ему можно было дать.

Еще одной достопримечательностью Бутырок была баня. Надо сказать, что организация была безупречной и здесь: в баню водили сразу целой камерой (в «пересылке» в два приема, по сто — сто двадцать человек). Одна камера раздевается в предбаннике, вторая моется в бане, а третья, помывшись, уже одевается в послебаннике. Этот конвейер действовал очень четко — в двери камеры открывается форточка и раздается: «собирайся в баню». В камере начинается оживление: все собирают свои шмотки и выходят в коридор, в камере оставлять нельзя было ничего, так как сразу же после выхода зэков здесь специальной командой надзирателей проводилась полная дезинфекция и капитальный шмон. Снимались все щиты с нар, тщательно осматривались все

* У В. Шаламова М. В. Попов фигурирует как рыжеусый.

щели в стенах и нарах в поисках спрятанных там ножей, иголок и прочих запрещенных предметов. После этого паяльными лампами прожигались все щели в стенах, металлические кронштейны для поддержки щитов для нар, а особенно сами щиты. Уж их-то не жалели, ведь всякие паразиты, конечно не человеческого происхождения, заводились прежде всего там. Щиты были всегда обуглены, но зато за все время пребывания в Бутырках (а я пробыл там в общей сложности около года), я не помню ни одного случая, чтобы там был обнаружен хоть один клоп или таракан.

Идти следовало, соблюдая тишину. За попытку установить связь с обитателями других камер, открыв форточки в дверях или через тайники в бане, грозил карцер. Несколько надзирателей, принимая обычные меры предосторожности, постукивали ключами по пряжкам ремней и вели всех в баню. Все было точно рассчитано: мы попадаем в предбанник как раз в тот момент, когда предыдущая камера уже моется в бане, а банные надзиратели уже сделали шмон в тайниках предбанника, где неосторожные зэки оставляли записки для установления связи со своими знакомыми в других камерах. Поскольку банным надзирателям все эти тайники были хорошо известны, вся корреспонденция попадала к ним. Если из содержания записки удавалось установить фамилии, то и отправитель, и получатель водворялись в карцер сроком до пяти суток.

Войдя в предбанник, все размещались на деревянных лавках, раздевались догола и все свои вещи вешали на специальные крючки. Все это потом отправлялось в дезинфекционные шкафы и выдавали хозяевам лишь после выхода из моечного отделения — в послебаннике. Когда вещи «уезжали» в дезинфекционную, надзиратели выдавали зэкам несколько ручных машинок для стрижки волос и несколько кусачек-бокорезов для обрезания ногтей на руках и ногах. Среди зэков всегда находились добровольцы-парикмахеры, которые всем желающим стригли волосы, бороды и всю растительность, которую клиент считал лишней. Если у когонибудь не оказывалось своего мыла (большинство его имело,

так как они еще сравнительно недавно попали в следственную камеру с воли), то надзиратель выдавал ему маленький, граммов тридцать, кусочек хозяйственного. Поскольку процедура мойки была длительней раздевания, то после стрижки еще оставалось время, которое каждый использовал по своему усмотрению. Наконец, открывалась дверь в моечное отделение, и все сразу же туда устремлялись. Эта спешка объяснялась просто: по бутырским традициям, последнему проходящему через двери предбанника в моечную (и то же самое после мытья из моечной в послебанник) надзиратель припечатывает на мягком месте, пониже поясницы, свой ключ. Ключи эти довольно увесисты (граммов 150—200), висят на шнурках, так что у зэка надолго остается четкий отпечаток бутырского ключа и уж в следующий раз он последним не будет. Обижаться здесь никто и не думал, традиция эта уже всем была известна, посвящали в нее сразу же после помещения в камеру старожилы. К чести надзирателей надо сказать, что к старикам или инвалидам она не применялась, ключом доставалось только последнему здоровому, молодому или средних лет человеку.

На саму баню жаловаться не приходилось: чисто кафельные полы и стены, мраморные лавки, достаточно шаек, кранов, всегда горячая вода, а главное — туалет без ограничения. Многие зэки, особенно из больных желудочно-кишечными заболеваниями, чрезвычайно страдали от жесткого ограничения времени оправки, ведь за считаные минуты, камера в 70—80 человек должна была умыться, справить все нужды, так что по-домашнему рассиживаться не приходилось, а тут в бане — раздолье, сиди сколько угодно.

Надо сказать, что многие болезни, мучавшие людей на воле, как-то совершенно излечивались в тюрьме. Особенно это относилось к желудочно-кишечным недугам, в основном возникавшим от чрезмерного потребления жирной и плохо перевариваемой пищи. Здесь же излишеств не было: суп-баланда и каша, все постное и в более чем умеренных количествах. Такая диета весьма благотворно влияла на многих людей на воле; здесь же, к сожалению, эта «диета» затягива-

лась лет на десять и больше, так что воспользоваться ее сильными свойствами после отбытия срока удавалось не всем.

Попадало в тюрьму и немало заядлых, хронических алкоголиков, на воле не вылезавших из больниц принудительного лечения и вытрезвителей. Любо-дорого было смотреть, как они здесь мгновенно излечивались. Через неделю ни один из них даже не вспоминал о водке.

9

Вернемся в Бутырскую тюрьму лета 1937 года. Когда открылись врата рая в моечную и все устремились туда, я был, естественно, среди первых и избежал отпечатка ключа на своих ягодицах. Началось раздолье: все моются, кряхтят, обливают друг друга холодной и горячей водой, трут до крови друг другу спины, в общем, настоящее веселье. После мытья, получив в послебаннике свое продезинфицированное белье и одежду (все совершенно влажное, правда неизвестно, подействовало ли это на паразитов), которую следовало надевать на мокрое тело, так как обтираться было конечно нечем (полотенца пропаривали вместе с одеждой), мы были довольны тем, что это происходило летом, а не зимой, когда такая процедура была бы не только менее приятной, но и опасной для здоровья. Особенно нас задерживать в послебаннике не стали и, когда все оделись, быстрым темпом препроводили обратно в камеру. Перед входом в нее опять шмон: каждый снова раздевается догола, все вещи тщательно осматривают и по мере готовности отдают хозяину, который после этого имеет право войти «домой» — в камеру. Обед уже на столе. Все, конечно, давно остыло, но отсутствие должного вкуса пищи вполне компенсируется возросшим аппетитом.

Только расположился я после бани вздремнуть, как открывается дверная форточка: «На букву “X”». Подхожу — меня. «Собирайся легонько — на допрос». Конечно, передрожал я, пока шел к двери, порядком, все думал: ну, сейчас с вещами и в Лефортово, но пока, раз «легонько», пронесло. Значит,

Касаткин санкцию так и не получил, и пока все в порядке. И вот опять та же комната и тот же следователь за столом. На этот раз он вполне спокоен: ответил на мое приветствие, сам предложил сесть на табурет, не пытался пугать пистолетом и даже, закурив, подвинул ко мне пачку «Пушки» (почему-то в те времена почти все работники НКВД среднего ранга курили папиросы «Пушка»). Я тогда еще не курил и потому вежливо отказался. Опять началась старая песня, но на этот раз без всякой ругани и даже на вы. Я поначалу не сообразил, к лучшему это или к худшему.

Он: «Разоружайтесь! Выдавайте ваших хозяев и сообщников. Только полное признание может несколько облегчить вашу участь!» и т. д. и т. п. Все происходит так, как будто бы перед тобой не живой человек в форме НКВД, а граммофон с одной и той же пластинкой, остановившейся на одной и той же испорченной строке. Я, конечно, тоже завожу свою пластинку: «Честно служил партии и Родине. Ни в чем не виноват. Не понимаю, почему нахожусь здесь» и т. д. и т. п.

В таком духе мы беседовали около часа. У Касаткина аргументы тоже железные: «Значит, вы ни в чем не виноваты? Значит, органы НКВД вас несправедливо арестовали и столько времени незаконно держат в тюрьме? Значит, по-вашему, органы НКВД нарушают советские законы и арестовывают ни в чем не повинных людей, даже заслуженных перед партией и родиной? Значит, по-вашему, в органах НКВД сидят вредители, умышленно наносящие вред нашему государству? Ведь такие утверждения уже являются злостной клеветой на надежный оплот нашего общества — органы НКВД. Это уже преступление, которое может караться высшей мерой!» Что и говорить, логика железная, и возражать против нее трудновато. Тут как в басне Крылова «Волк и ягненок»: «Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать». Так и здесь получается: раз тебя арестовали органы НКВД, то ты уже виноват и должен сам найти и описать свое преступление, а раз ты этого не делаешь, то клевещешь на НКВД, что тебя незаконно арестовали, и потому заслуживаешь еще более строгого наказания.

В душе я был полностью согласен с тем утверждением, что в органах НКВД засели вредители, умышленно уничтожающие лучшие кадры советского общества, но высказывать этого не стал. Как можно спокойнее я отвечал Касаткину, что никаких обвинений в адрес органов НКВД у меня нет, но лично свой арест я считаю либо ошибкой, либо результатом какой-то злостной клеветы. Почему-то Касаткин перестал упоминать об инциденте с радиостанцией в Малаге, видно, никаких данных о срыве оперативной связи по моей вине он из Испании не получил.

Он опять затеял длинный разговор о моих знакомых, родственниках, коснулся даже упомянутого мною на прошлом допросе дяди-покойника. Когда я по этому поводу наивно осведомился о дядином здоровье, Касаткин сперва резко ответил, что НКВД не справочное бюро, а потом, ехидно улыбнувшись, добавил, что я, возможно, скоро сумею об этом справиться лично у дяди (из этого я понял, что справки о дяде Касаткин наводил и что теперь он мне намекает о плохом конце моего здесь сидения). Так в пустых разговорах, цель ведения которых для меня осталась неясной, прошло часа два-три. Я уже начал просить у Касаткина отпустить меня на ужин. Он, конечно, меня грубо оборвал, а я так и не мог понять, зачем он меня на этот раз вызвал. Ведь ничего нового он от меня и не требовал, все разговоры носили сугубо отвлеченный характер, все время он (да и я) совершенно откровенно зевал, и по всему видно было, что этот допрос ему так же нужен, как и мне, просто чиновник отбывает свою скучнейшую обязанность.

Несколько раз Касаткин пытался перевести разговор на окружающих меня в камере людей, называя ту или иную фамилию (он, конечно, был информирован о составе зэков нашей камеры), он пытался получить от меня на них что-то вроде политической характеристики. Эти попытки я отклонял, отвечая, что вся обстановка камеры мне настолько надоела, что ни с кем из ее обитателей я больше не общаюсь. И в самом деле, новое пополнение оказалось настолько серым, что я действительно замкнулся в себе и целые дни проводил либо в лежании на своем месте, либо в трехшаговых прогулках от

стола к параше и обратно. На повторное предложение о сотрудничестве я, к его крайнему удивлению, впервые за все время грубо выматерился и ответил, что поскольку ничего меньше пули он мне не обещает, то с какой стати я, потенциальный покойник, возьму на себя еще и Иудин грех?

После этого Касаткин куда-то вышел, оставив со мной неразговорчивого надзирателя. Начало смеркаться, я незаметно придвинул свой табурет ближе к стене и, облокотившись на нее, задремал. Разбудил меня вошедший Касаткин. Как всегда, усевшись за стол, закурил неизменную «Пушку» и почти дружелюбно спросил: «Кемаешь?». Я ответил, что уж больно скучно он начал вести свои допросы, и еще ехидно осведомился, неужели столь осведомленный аппарат не смог найти в моей бурной жизни ничего более криминального, чем сгоревший трансформатор, без которого моя радиостанция все равно нормально работала?

«Ничего, — ответил Касаткин, — твое дело еще только начинается, скоро тебя так развеселят, пожалеешь, что на свет родился». После этого повисла длинная пауза, в течение которой я уже в присутствии Касаткина начал клевать носом и попросил его отпустить меня в камеру или хоть чем-то накормить здесь. «Это еще надо заработать, — ответил Касаткин. — А ты к этому не желаешь приложить никаких усилий. Даром мы здесь не кормим». Не получив желаемого ответа, после долгого раздумья, Касаткин процедил сквозь зубы: «Ну ладно, хрен с тобой, иди пока в камеру».

И тут я понял, что все мои попытки подсунуть Касаткину недозволенные разговоры и выскользнуть из его лап с малым сроком дали осечку. Видимо, начальство дало Касаткину последний шанс расколоть меня, и он понял, что это ему не удалось, и потому он меня отпускает в камеру, так и не завербовав «наседкой», и, по-видимому, теперь мне уже не миновать Лефортова или Лубянки со всеми отсюда вытекающими последствиями. Ну что ж, чему быть, того не миновать. Что бог ни делает, все к лучшему, или как говорил философ Панглос в вольтеровском «Кандиде»: «Все к лучшему в этом лучшем из миров».

Даже на признание в троцкистских разговорах я шел с нелегкой душой: несмотря на все булановские заверения, что 20-летие Октября для нас, зэков, принесет не амнистию, а ужесточение, в глубине души я все же надеялся, что весь этот кошмар рассеется как страшный сон, и к праздникам нас распустят по домам. Эти противоречивые мысли крутились в моей голове, пока я ожидал надзирателя для водворения в камеру. И вдруг Касаткин, поднесший уже было палец к кнопке вызова, отвел руку и, будто внезапно вспомнив что-то, сказал: «Да, в прошлый раз ты что-то говорил насчет троцкистской трепни и даже не отказался подписать это в протоколе. Как сейчас? Подпишешь или уже раздумал?»

Это было для меня настолько неожиданным, что поначалу я даже растерялся: неужели они и в самом деле убедились в моей полной невиновности и теперь перед ними стоит дилемма: или отпустить меня по чистой или дать срок по троцкистской трепне? Решать надо мгновенно: верить Буланову — сверхпорядочному человеку и многоопытному зэку или своей ничем не подтвержденной, а скорее опровергаемой всей логикой событий, интуиции, которая допускает освобождение случайно взятых НКВД людей или полную амнистию к 20-летию Октября? Ведь ни Раевского, ни Перевалова, ни даже отца Николая домой не отпустили. Да и сделанного мною в прошлый раз признания назад не заберешь, тем более что если не звукозаписывающий аппарат, то уж свидетель где-нибудь за дверью вполне мог иметься. «Нет, — думаю, — от этого признания отказываться не стоит, но и формулировку в протоколе надо бы выторговать полегче». Твердо заявил Касаткину, что от своих показаний на предыдущем допросе не отказываюсь и готов подписать их в протоколе. Тут у нас началась довольно долгая торговля за каждое слово в моем признании. Наконец сошлись примерно на таком: «В нетрезвом состоянии, в испанском городе Валенсии, в ночном баре «Аполло», в разговоре с совершенно мне незнакомыми советскими товарищам и в ответ на их ругань в адрес Троцкого, я повторил слова своего двоюродного дяди (следует фамилия) о том, что Троцкий, несмо-

тря на то что впоследствии стал предателем (на этой фразе я особенно настаивал, хотя Касаткин упорно не желал ее включать в протокол), во время Гражданской войны быстро освоил военное дело и оказал некоторое влияние на разгром белогвардейцев. Кроме того, Троцкий был очень хорошим оратором. Поскольку лично я его никогда в жизни не видел и не слыхал, ничего из его произведений никогда не читал, то все мною сказанное я знал только со слов дяди». Все это, почти слово в слово, и было записано в протокол, который я, скрепя сердце, подписал. После этого Касаткин спрятал протокол в папку, вызвал надзирателя, и уже поздно ночью я, наконец, попал в свою камеру, где меня ожидали несколько ложек остывшей овсяной каши. Так появилась моя первая подпись в протоколах моего дела.

10

Собственно, процедура моего оформления еще только начиналась, мне еще не предъявили ни статьи 203 («меры пресечения»), которую обязаны были предъявить перед первым допросом, ни, тем более, статьи 207 («окончание следствия» и «предъявление обвинения»). После долгих бессонных ночей на своем месте у окна в ожидании следующего вызова к следователю я твердо решил, в пределах моих моральных и физических возможностей (ведь меня еще никогда в жизни не пытали, и я, конечно, не мог быть твердо уверен, что, подобно бывшему командующему Черноморским флотом Ивану Кожанову*, сумею доблестно умереть под самыми изощренными пытками, не проронив ни слова кроме матерной

---

* Кожанов Иван Кузьмич (1897—1938), флагман флота 2-го ранга (1935). В 1931—1935 годах командующий морскими силами Черного и Азовского морей, с 1935-го — Черноморского флота. В апреле 1937-го получил строгий выговор за строительство для себя роскошной виллы за счет средств на возведение береговых укреплений. Арестован в 1937 году; отказался признать вину в заговоре и не оговорил ни одного человека. Расстрелян в 1938 году. В 1956 реабилитирован.

ругани в адрес палачей), не давать своим мучителям больше никаких показаний ни против себя, ни против кого-либо другого.

С такими мыслями я и жил все последующие дни до четвертого вызова к следователю. Он не заставил себя долго ждать. Дня через три я снова предстал пред светлые очи Касаткина. На этот раз с ним рядом сидел мужчина лет 30—35 в штатском, атлетически сложенный. Касаткин мне его представил как прокурора, курирующего мое дело. Надо сказать, что мои познания в области юриспруденции в те времена были весьма ограниченными: я не знал, что прокурор — это блюститель закона, а полагал (да фактически так оно и было), что это самый главный враг зэков, который стремится во что бы то ни стало уничтожить попавшего в его лапы человека, вне зависимости от степени его виновности в приписываемых ему преступлениях. Между прочим, в те времена с легкой руки злейшего врага народов Советского Союза — Вышинского — роль прокурора была сведена именно к этому. Раз тебя арестовали, значит, ты виноват и должен быть физически уничтожен для того, чтобы другие боялись и не знали, что человека могут уничтожить и безо всякой вины.

Основным принципом Вышинского была «презумпция виновности», то есть не органы НКВД доказывают виновность арестованного, который по кодексам всего цивилизованного мира считается невиновным до бесспорного доказания властями его виновности, а наоборот: человек с момента ареста считается преступником и должен доказывать свою невиновность (как это видно и на моем примере). Эта преступная концепция стоила нашей стране очень дорого.

Для характеристики Вышинского, его личности, могу привести рассказ моего покойного дяди, на которого я ссылался Касаткину. Он еще в царское время учился в Московском Университете, где Вышинский был приват-доцентом по кафедре права. В 1912 году царское правительство отменило автономию университета. В ответ на это все передовые студенты и подавляющее большинство преподавателей

объявили забастовку. Лишь ничтожная кучка «белоподкладочников» и реакционно настроенных преподавателей продолжали занятия, и среди них Вышинский. Студенты этим преподавателям объявили бойкот, и до самой Революции на лекциях Вышинского присутствовало всегда не более трех-пяти «белоподкладочников». После Октября Вышинский перековался и в 1928 году уже был главным общественным обвинителем на процессе «шахтинских вредителей». С тех пор его дела пошли в гору, и к 1937 году он уже был прокурором СССР. Кстати, ордер на арест мой был подписан лично им*.

Но вернемся к допросу: на этот раз процедура была предельно проста. «Подтверждаете ли вы свои показания на предыдущем допросе?» — спросил меня прокурор. Я ответил утвердительно. «Добровольно ли вы дали эти показания, или следователь оказывал на вас давление, моральное или физическое?» — снова спросил прокурор. Хотя меня и подмывало сказать, что у меня не было другого выхода, но я ответил, что показания давал без давления со стороны.

После этого Касаткин вызвал надзирателя, который отвел меня в коридор и посадил в «конверт». Через некоторое время меня снова ввели в комнату Касаткина, где он протянул мне какой-то типографским способом напечатанный бланк с вписанными туда дополнениями. «Прочтите и распишитесь», — сказал Касаткин. Читаю: «На основании ст. 203 УК РСФСР Хургесу Льву Лазаревичу 1910 года рождения, уроженцу г. Москвы, в качестве меры пресечения предъявляется статья 58, § 10 УК РСФСР («контрреволюционная агитация» — самая легкая из статей, даваемых в 1937 году). Дату ареста считать с 31 мая 1937 года». Переспрашивать, что это за статья, мне было не нужно. Это был самый легкий параграф статьи 58-й — единственный, по которому в мирное время даже не полагалось расстрела (все остальные параграфы имели и расстрел). Что же касается даты ареста (31 мая вместо фактического дня моего ареста — 7 мая), то на такую мелочь я просто не обратил внимания. После подписания

---

* Неточность. Первый ордер был подписан Штэпой, а второй — М. П. Фриновским.

мною меры пресечения прокурор спросил у меня, имею ли я к нему какие-либо вопросы, на что я ответил отрицательно, и меня отпустили в камеру.

Вот теперь я уже официально прописанный зэк, имею уже и «меру пресечения», и теперь держись, Лева! Представление только начинается! Дай бог, чтобы к твоему десятому параграфу не прибавились еще и другие. Когда в камере я рассказал соседям о своем только одном десятом параграфе, они сильно удивились, ни у кого из них этого параграфа «соло» не было, а у всех добавлялся минимум еще одиннадцатый.

И вот снова началось мое сидение в ожидании вызова на допрос. Надо же кончать мое дело, ведь 203-я статья это еще не 207-я («окончание следствия и предъявление обвинения»). Но дни шли, и пока никто мною больше не интересовался. На мою просьбу о предоставлении бумаги для заявления старший надзиратель заявил, что бумага зэкам дается только для написания особо важных признаний, а если таковых нет, то мне рекомендуют сидеть и не рыпаться и ждать, когда позовут, потому что в НКВД никто и ничего не пропадает. Когда надо — обо мне вспомнят те, кому полагается.

Я продолжал терпеливо ждать. И вот в погожий августовский день, вскоре после моего последнего допроса, вдруг открывается форточка в двери, и надзиратель говорит: «На букву “Х”». Харитонов ему не понадобился, а когда подошел я, то, вместо обычного: «Соберитесь легонько» (на допрос), услыхал: «Соберитесь с вещами».

Поскольку обступившие меня товарищи по несчастью знали, что я ничего не подписал и статью 207 мне не предъявляли, то из самых лучших побуждений они стали меня уверять, что я иду на волю. Мне пришлось разрешить некоторым из них наколоть на полах моего кожаного пальто номера телефонов, по которым следовало передать весточки их близким, и, сопровождаемый дружным хором наилучших пожеланий, я вышел в коридор.

Надзиратель повел меня через двор в бывшую тюремную церковь, в переделанном помещении которой находился пересыльный корпус, куда помещались уже осужденные

зэки в ожидании отправки в места отбывания срока. Поднявшись на второй этаж пересылки, надзиратель посадил меня в «конверт», запер дверь, а сам куда-то ушел. В этом «конверте» просидел я довольно долго, не менее часа, и так как в решетку над дверью проходил свет от расположенной над «конвертом» лампочки, то я успел детально ознакомиться с нацарапанными настенными надписями.

Все они были более-менее похожи: «Десять лет! За что?», «Передайте, что Сергеев стукач», «Дали вышку! Прощай, молодая жизнь!», «И это называется самая свободная страна? Десять лет ни за хуй!» и прочее, в том же духе. Все надписи снабжены подписями и датами, кроме тех, в которых содержалась критика режима и вождей. Мороз пробирал по коже, когда я читал эти страшные слова. Тут уж я окончательно понял, что искололи мне кожанку зря: если бы и вздумали меня освободить, то не давали бы возможности это прочесть. Скорее всего так: откроется дверь «конверта», надзиратель выведет меня во двор, сдаст конвою, посадят меня в «воронок» и отвезут в Матросскую тишину на особые методы, не выдержав которых, я подпишу все, что потребуют мои мучители, и мало того, что сам погибну или в лучшем случае останусь калекой, но еще сгублю жизнь и кое-кому из ни в чем неповинных людей. Я ведь неженка, вряд ли из меня выйдет Иван Кожанов.

И вот наконец-то открывается дверь. «Выходите», — командует надзиратель и вместо двора с «воронком» ведет меня по длинному коридору. Подошли к одной из дверей. Надзиратель открывает ее: «Заходите». Маленький кабинет, в котором едва помещаются небольшой шкаф с папками каких-то дел, письменный столик, с одной стороны которого стул, а с другой табурет. На стуле сидит военный в форме НКВД с двумя «шпалами» на малиновых петлицах. Надзиратель закрывает за мной дверь, а сам остается в коридоре. «Садитесь», — любезно произносит военный. Заглянув в лежащий перед ним список, продолжает: «Ваша фамилия, имя, отчество, год и число рождения, место рождения, последняя занимаемая должность и место работы?» Когда я ответил на

все эти вопросы, военный достал из ящика стола небольшую, в полтетрадного листа, бумажку и протянул ее мне. «Ознакомьтесь и распишитесь на обороте», — спокойно сказал он. Я взял в руки отпечатанный типографским способом бланк, на котором часть текста была дописана от руки, и, не веря своим глазам, прочел: «Выписка из постановления Особого совещания НКВД от ... 1937 года. Особое совещание НКВД в составе ..., рассмотрев дело Хургес Льва Лазаревича ..., постановило: за контрреволюционную троцкистскую деятельность подвергнуть Хургес Льва Лазаревича ... 8 (восьми) годам тюремного заключения. Началом срока считать 31 мая 1937 года. Выписка верна ... подпись (закорючка)».

Уж чего-чего, но такого я никак не мог ожидать. Чуть не выронив на пол эту бумажку, я только и мог спросить: «За что?». Военный, для которого подобная реакция, по-видимому, не была редкостью, спокойно мне ответил: «Мне поручено только ознакомить вас с содержанием этого документа. Никаких справок по существу его содержания я вам дать не могу. Если вы уже ознакомились с ним, то прошу вас расписаться на обороте» и протянул мне ручку. «А если я, считая такой приговор несправедливым, откажусь расписаться на этом документе?» — придя в себя, спросил я. Он мне так же спокойно ответил: «В случае, если вы считаете это постановление (так и сказал — «постановление», а не «приговор») несправедливым, можете обжаловать его в любой инстанции, по своему усмотрению. Если же вы отказываетесь расписаться, то я просто напишу на обороте “от подписи отказался” и распишусь сам». После такого ответа мне ничего не оставалось, как взять ручку и поставить свою подпись на документе. «Дату не забудьте», — напомнил мне военный. Поставил я и дату.

После этого он аккуратно промокнул мою подпись и дату пресс-папье, положил документ обратно в стол и нажал кнопку звонка. В дверях появился мой надзиратель, я взял свой узелок с вещами и вышел в коридор. Мы поднялись на этаж выше и попали в круглое помещение, по периметру которого располагались двери камер с неизменными форточками и «волчками».

Это и были пересыльные камеры. В отличие от следственных, где всякое проявление излишнего шума строго — вплоть до водворения в карцер — пресекалось, здешние надзиратели (а их было четыре дюжих молодца) совершенно спокойно мирились с довольно сильным шумом, доносящимся изо всех камер, и не обращали на него никакого внимания. Мой надзиратель сдал меня здешним, те что-то записали в своей книге, а затем один из них выдал мне «реквизит»: ложку, миску и кружку, которые у меня отобрали при уходе из следственной камеры, и, не задав ни одного вопроса, один из них, по-видимому старший, открыл ключом одну из камер и, впустив меня внутрь, захлопнул дверь.

Итак, свершилось: несмотря на то что я ни в чем более-менее серьезном не признался, никаких улик мне предъявлено не было, никаких обвинений тоже, даже объявления об окончании следствия (предъявление статьи 207-й) не было сделано, а все же заочно, безо всякого суда, мне был вынесен почти самый суровый приговор, да еще и не лагерь, а тюремное заключение. Вот тебе и юстиция, вот тебе и свобода, вот тебе и самая демократическая в мире сталинская конституция! С такими мыслями стоял я в августе 1937 года в дверях пересыльной камеры Бутырской тюрьмы в Москве.

Осматриваюсь: почти квадратная, с едва заметными закруглениями (видимо, тюремная церковь имела приличный диаметр) по наружному обводу, камера. Три больших окна, забранных решетками с неизменными «козырьками». Как и в следственных камерах — нары в два яруса (также щитовой системы). Они расположены как вдоль всех четырех стен, так и посредине камеры. Между ближними к дверям нарами и средними стоит стол, заставленный алюминиевыми мисками. Около дверей две параши, и на краю стола большой бачок с питьевой водой. И люди, люди — буквально кишат. В камере площадью 80—100 метров размещалось от двухсот до трехсот человек. Спасибо еще, что строители церкви «для благолепия» не пожалели высоты, хоть можно было более-менее свободно дышать, не то что в следственной камере. Пол и стены, до высоты человеческого роста,

выложены керамической плиткой. Посредине под самым потолком, в металлической решетке, электролампа ватт на 100—150 тускло освещает весь этот ад. Скопление людей и теснота еще больше, чем в следственной камере, шум гораздо сильнее.

Стою в дверях, оцениваю обстановку. Видимо, мой заграничный вид (кожаное пальто, коверкотовый костюм, шелковая рубашка, берет и прочее) произвел какое-то впечатление на старожилов камеры: из самого «аристократического» угла раздался голос: «Товарищ новенький, подойдите сюда». Подхожу, оказалось, что там расположилась группа военных (преимущественно средних командиров из Кремлевской школы ВЦИК), прошедших по одному делу — УВЗ (участники военного заговора) через Военную коллегию Верхсуда. Вся «юстиция» проходила весьма примитивно: вызов с вещами из следственной камеры, час или два в «конверте», затем обычная камера (в той же Бутырской тюрьме), только без нар, за столом двое военных и несколько штатских: «Признаете себя виновным в ...?» — «Нет, не признаю». — «Материалы предварительного следствия подтверждаете?» — «Нет, у меня их получили принуждением». Две-три минуты обсуждения прямо на месте: «Встать! Именем ... за ... по статье ... десять лет заключения и пять лет поражения в правах». Вот и весь суд.

А бывало и пострашнее: комдив (по-нынешнему генерал-лейтенант) Мацон — участник империалистической и Гражданской войн, георгиевский кавалер, за Гражданскую войну награжден орденом Боевого Красного Знамени, за участие в подавлении Кронштадтского восстания. Тот же суд, процедура та же, и, наконец, приговор: высшая мера (уж не помню, наказания или социальной защиты — фигурировали обе формулировки). Затем длинная пауза. Мацон, неоднократно в боях за советскую власть смотревший смерти в лицо, спокойно стоит. Пауза затягивается. Мацон спрашивает: «Можно идти?», секретарь суда грубо его обрывает: «Пойдете, когда поведут».

И через несколько минут: «Но, принимая во внимание ... заменить расстрел десятью годами заключения, с довеском,

пять лет поражения в правах». Это называлось «десять лет с испугом». Не всем заменяли расстрел десятью годами прямо на суде, большинство приговоренных к расстрелу, но потом помилованных по несколько месяцев просиживали в камерах смертников. Впоследствии в этой камере я встретил человека, оставившего свой автограф: «Вышка! Прощай, молодая жизнь!» Его, оказывается, тоже помиловали, и теперь он направлялся на десять лет в отдаленные лагеря, просидев несколько недель в камере смертников, а что это такое, я еще расскажу.

Один из военных, поглядев на меня, нагнулся ко мне и тихо на ухо спросил: «Из Испании?» Хотя я понимал, что, откровенничая с кем попало об Испании, запросто могу к своему сроку получить и довесок — десять лет по статье «РВТ» (разглашение военной тайны), но тут уж настолько мне было горько и обидно на душе, да и сам вояка задал свой вопрос с таким участием в голосе, что я просто не смог не кивнуть утвердительно головой. «А ну ребята, подвиньтесь! — скомандовал вояка, бывший, по-видимому, старшим в их группе, своим соседям, — этот товарищ заслужил среди нас самое почетное место!»

Ребята подвинулись и, несмотря на отчаянные протесты отдаленных соседей, место для меня сразу нашлось (надо сказать, что иерархия получения места на нарах поближе к окну, подальше от параши, соблюдалась весьма скрупулезно: прежде чем попасть наверх, приходилось полежать и в «Шанхае», как почему-то именовались места под нарами, — на щитах, уложенных прямо на полу, головой к проходу, ногами «в пещеру» — к стене). Для того чтобы можно было как-то дышать, голову приходилось высовывать подальше — в проход, но при этом всегда существовал риск, что, особенно ночью, спросонок, вставший по надобности обитатель верхнего яруса нар может запросто наступить на голову лежащему внизу. Но тут уж ничего сделать нельзя было, лезть головой «в пещеру» (к закрытой верхними нарами стене) совершенно немыслимо, пригодного для дыхания воздуха там не было вовсе, а дышать и на верхнем-то ярусе не

очень легко. Но так как мест на верхних нарах хватало чуть больше, чем на половину зэков, то естественно, что кому-то приходилось помещаться и под нарами. Это, конечно, было участью новеньких.

Правда, в отличие от следственных, в пересыльных камерах состав быстро обновлялся: обычно из них одновременно забирали на Краснопресненский этапный пункт сразу по несколько сот человек, и когда их там набиралось достаточно, туда подавался специально оборудованный эшелон товарняка — по старому принципу: сорок человек или восемь лошадей в шестнадцатитонный вагон. Таким образом, к формированию такого эшелона пересыльные камеры Бутырок разгружались, иногда за один прием уводили почти всю камеру, оставались в ней только предназначенные к так называемым спецэтапам, и тогда уже оставшиеся могли занимать любые места. Но энкавэдэшный конвейер работал четко, проходило всего несколько дней, и пересыльные камеры снова заполнялись под завязку, опять новеньким предстояло лезть в «Шанхай». Мне повезло с вояками, а то належался бы под нарами до самой отправки.

В те времена уголовники жили в Таганской тюрьме, а в Бутырках помещались только «контрики» (весь букет 58-й статьи). Так что здесь царила своего рода демократическая справедливость, то есть если вы уж лежите на хорошем (около окна, подальше от параши) месте, то никто вас не сбросит, чтобы занять самому ваше место, никто не покусится на ваши шмотки, не отнимет продукты, купленные в тюремном ларьке. (На деньги, изъятые при аресте или принесенные в тюрьму родственниками, здесь разрешалось покупать продукты три раза в месяц, но на сумму не более 50 рублей.)

Но зато уж на Красной Пресне, а тем более в вагонах во время этапа, бытовики (так ласково называли в те времена энкавэдэшники социально близких уголовных преступников — бандитов, убийц и прочих, в отличие от нашего брата контрика — социально опасных) имели полное раздолье: когда хотят — разденут, отберут все съестное, а чуть кто

пикнет — изобьют, а то и ножом пырнут. Несмотря на самые строгие шмоны, бытовики все же где-то разживались не только самодельными, из кусков ножовочного полотна ножами, но даже и самыми настоящими финками, да еще и с наборными ручками. Все дело было в том, что все уголовники были более-менее организованы, и беспрекословно подчинялись одному какому-нибудь своему фюреру, и в одиночку, невооруженными, никогда не нападали на нас — фраеров, а уж когда этих бандюг наберется человек пятнадцать-двадцать, то тут уж они становятся полными хозяевами в камере Красной Пресни или в вагоне, даже если контриков будет сто и более человек. Ведь любой фраер и пальцем не пошевелит, когда рядом с ним бытовики будут раздевать его соседа, он знает, что за одно слово протеста может стать калекой, а то и покойником. Нигде человеку жизнь так не дорога, как в заключении, ведь в этом кошмаре всегда маячит надежда — свобода, встреча с родными и близкими, и ради этого он готов на все, иногда даже и на предательство. Такого рода невмешательство являлось почти общей нормой поведения, но каждый знал, что когда очередь дойдет до него самого, то и за него никто не заступится. Апеллировать к персоналу НКВД совершенно бесполезно, никто из них в камеру или в вагон во время такой «шуровки» даже и не войдет, тем более что такое общение фраеров-контриков с бытовиками, по-видимому, заранее планировалось руководством НКВД, чтобы поиздеваться над невинными людьми.

Про Бутырки этого не скажешь, там поведение надзирателей с этой точки зрения было безупречным, по первому требованию они смело заходили в камеру и наводили порядок, если кто-нибудь из бывших бытовиков*, по ошибке попавших по 58-й статье, пытался тряхнуть стариной и покуситься на имущество ближнего. Но в некоторых тюрьмах надзиратели чуть ли не открыто вступали в контакт с быто-

---

* Здесь и далее такое сближение, а иногда и отождествление бытовиков и блатных неточно. На деле бытовики — это лица, осужденные по не самым тяжким уголовным статьям и не являвшиеся профессиональными преступниками — блатарями.

виками, и те отдавали им часть добычи, взамен получая некоторые льготы, вплоть до водки, а иногда и доступа в женские камеры.

Но все это мне, конечно, пришлось узнать позже, а пока, устроившись с вояками, я начал знакомиться с обитателями и нравами пересыльной камеры. Первым делом я положил в общую кучу свои миску и кружку, полученные мною у надзирателя перед входом в камеру, ложка же была личной собственностью каждого зэка.

Ввиду кратковременности пребывания зэков в пересылке (в основном, не более четырех-пяти дней), все лица менялись как в калейдоскопе, и в памяти моей остались только наиболее примечательные личности. Почти сразу же мое внимание привлек человек с густой, черной, как у Карла Маркса, бородой, чувствовавший здесь себя чрезвычайно уверенно и независимо. По всей его осанке и поведению видно было, что в подобных заведениях он не впервые. Возраста примерно лет сорока, анархист синдикалистского толка — Марк Евсеевич Нехамкин* действительно успел «отведать» некоторые царские тюрьмы, вплоть до знаменитого Александровского централа, близ Иркутска, а в советских политизоляторах, тюрьмах, лагерях и ссылках он находился почти непрерывно, с 1921 года.

Побывал он сначала в либеральных политизоляторах, куда, конечно, безо всякого суда, втихомолку, помещали бывших, более-менее видных, революционеров меньшевистского, эсеровского и анархистского толка. Там были созданы вполне сносные условия жизни: камеры не запирались, гулять во дворе разрешалось от подъема до отбоя, питание вполне приличное и достаточное, разрешалось получать любую, в том числе и политическую, литературу. Но весь этот либерализм кончился в начале 30-х годов. Начались пяти-

---

* Нахамкес [Нехамин, Нехамкин, Нехамкес] Марк Исаевич (Евсеевич) (1892, по др. данным 1895). Анархист. В 1920—1930-е неоднократно арестовывался по обвинению в контрреволюционной агитации и отбывал ссылку или тюремное заключение (в Архангельской и Вологодской губ., в Казахстане, Ташкенте и Воронеже). Причина репрессии, совпавшей по времени с хургесовской, не установлена.

летки, и все эти «санатории» для контрреволюционеров ликвидировали, а их самих поотправляли в лагеря.

Начал активизироваться и ГУЛаг: Вишера, Магнитогорск, Беломорканал — вот вехи крестного пути Марка Евсеевича. Правда, больших сроков (подобно уже ранее упомянутому мною А. А. Буланову) он не получал, а большей частью «по особому совещанию» — два-три года, но уж перерывов свободы между этими сроками у него почти и не было: не успел отбыть один, как уже готов следующий. Сейчас его опять сюда привезли из какого-то лагеря. Ожидал он два-три года, но неожиданно получил сразу пять лет, да еще и тюремного заключения.

Как видно, я оказался более опасным преступником, чем он, потому что моя «троцкистская деятельность», в отличие от его анархистской, потянула почти по высшему баллу нашего уголовного кодекса — восемь лет тюремного заключения. Но надо сказать, что в дальнейшем эта разница в сроках оказалась совершенно несущественной: началась Отечественная война, и в связи с этим после окончания сроков не освободили не только «пятилетников», но даже и «восьмилетников». И те, и другие даже после победы над фашистами оставались в заключении до так называемого «особого распоряжения», которое лично для меня пришло только в октябре 1946 года, то есть более чем через полтора года после окончания данного мне в 1937 году восьмилетнего срока.

Так что я пересидел всего-навсего полтора года, и мне, можно считать, еще повезло. Многие (не считая тех, которым уже в лагере был добавлен новый срок от десяти до двадцати пяти лет, в результате чего они становились вечными зэками) осужденные в 1937 году на пять лет заключения оставались там еще и после моего освобождения. Видимо, их «особое распоряжение» еще по каким-то причинам не поступило, и хотя они и не схлопотали себе дополнительного срока в лагере, но тем не менее пересидели более пяти лет безо всякого по этому поводу объяснения. Причем, как говорили опытные зэки, писать куда-либо по этому поводу ни в коем случае нельзя, этим можно только себе навредить.

О тебе могут вспомнить те, кому не надо показываться на глаза, и запросто вместо «особого распоряжения» сунуть еще и дополнительную «баранку» (десять лет) по ОСО. Так что уж сиди тихонечко, как мышонок в норке, и не пищи, а там, глядишь, и «особое распоряжение» придет и выпустит тебя на волю, правда с «волчьим паспортом» (статья 39 — ограничение в проживании), но хоть за тобой не будет всегда следовать человек с ружьем.

А вообще, даже на фоне наиболее примечательных людей пересыльной камеры Нехамкин был весьма колоритной фигурой: лицом — копия Карла Маркса, только в лагерном обмундировании. Марк Евсеевич являл собой классический тип политзаключенного доежовских времен. Не боялся он никого и ничего, знал, что воли ему все равно не видать никогда вне зависимости от того, откажется ли он от своих убеждений анархиста или останется при них, и потому он никогда даже и не пытался делать вид, что «перековался» и перешел на советскую платформу, как делали многие меньшевики и эсеры, но это им, кстати, и не помогало. Джугашвили, и сам никогда в жизни никому правды не говоривший, не доверял и им, полностью оправдывая народную поговорку: «Свекровь снохе не верит». Так и сгнили их косточки по разным тюрьмам и лагерям необъятной нашей страны.

Правда, ни к кому Нехамкин со своими убеждениями не навязывался, но, в отличие от других, охотно и абсолютно не боясь стукачей, которых в каждой камере было более чем достаточно, высказывал свои взгляды, критиковал действия властей, рассказывал все подробности своих тюремно-лагерных перипетий (за что, между прочим, НКВД еще и до 1937 года давало новый срок, зачастую даже больше первоначального). Эта его откровенность пугала многих однокамерников, некоторые даже подозревали в нем «наседку», уж больно он откровенно высказывался по любому вопросу, но во мне он сразу вызвал полное доверие.

Я с ним быстро сдружился. Он мне много рассказывал о своей жизни, я же, не боясь доноса, беседовал с ним даже об Испании, а особенно о сотрудничавших с нами анархи-

стах. Эти рассказы были для Марка Евсеевича как бальзам на душу. Как-то этот суровый вечный каторжник, прошедший все семь кругов ада джугашвилиевских застенков, даже всплакнул тяжелыми мужскими слезами. «Эх, побыть бы там хоть один денек, за это не жалко и весь остаток жизни отдать!» — стукнув кулаком по нарам, прошептал Нехамкин, а потом сказал, блеснув темно-карими глазами: «А все же хорошо, что наши товарищи живут и борются под красно-черным знаменем».

Впоследствии оказалось, что мы с Нехамкиным были направлены в одну тюрьму, Полтавскую, но находились там в разных камерах. К сожалению, больше я этого человека не встречал и о его дальнейшей судьбе ничего не знаю. Во всяком случае, после Буланова, это был второй человек в Бутырской тюрьме, которого я полностью уважал за его смелость, принципиальность и порядочность.

Вообще говоря, наиболее колоритные фигуры мне встречались преимущественно в тюремных пересылках: через пару дней после моего осуждения в нашей камере появился весьма скромно одетый человек, лет сорока, очень интеллигентного вида, с ухоженной бородкой клинышком. Представился слесарем-инструментальщиком одного из московских заводов с совсем непримечательной фамилией Минаев. Сроку он имел восемь лет по ОСО по моей же статье — КРТД (контрреволюционная троцкистская деятельность).

Обычно в нашей камере после обеда следовал, как и в каждом порядочном санатории, «мертвый час», а после него часа два, до ужина, проводились камерные культурные мероприятия. Кто-либо из наиболее эрудированных зэков, а в таких наша камера никогда не испытывала недостатка, делился либо рассказами о своем участии в Гражданской войне, либо воспоминаниями из быта царских тюрем, в которых они провели до революции и за революционную деятельность немало времени. Некоторые читали наизусть стихи и поэмы русских и зарубежных классиков, другие — весьма детально пересказывали романы Дюма, Вальтер Скотта, Гюго, Флобера, Толстого, Достоевского. Были и та-

кие, которые прямо на ходу занимались импровизацией, то есть сочиняли всякие занимательные истории. Один бывший работник КВЖД (Китайской Восточной железной дороги) — а таких и в следственных, и в пересыльных камерах было довольно много — Павел Качерец, мог часами безо всякой подготовки рассказывать настолько интересные, логически и литературно безупречные повести и романы, что вся камера, в которой были и высокоинтеллигентные, начитанные люди, ими заслушивались: слышно было, как муха пролетит. На мой взгляд, его рассказы смело можно печатать в любом литературном сборнике безо всякой правки. Но подробнее о Качереце — чуть позже, он, как и прочие работники КВЖД, заслуживает особого внимания.

Так вот, перед началом очередного культурного мероприятия слово попросил вновь прибывший Минаев. Обычно выступавшие являлись представителями высшей партийной и беспартийной интеллигенции, это было в порядке вещей, а тут какой-то слесаришка туда же лезет: с суконным рылом в калашный ряд. Слово Минаеву все же дали, и начал он, в собственной транскрипции, читать наизусть сказки Салтыкова-Щедрина, причем почти дословно, лишь с небольшими добавлениями применительно к современным условиям. После каждой такой аллегории в камере долго не смолкал гомерический хохот. Как, например, в «Карасе-Идеалисте» голавль приплывает за карасем и просит его «собраться легонько», точь-в-точь как нас вызывали на допросы, и так далее, в том же духе.

После первого же выступления Минаев стал у нас в камере «солистом первой категории». Как-то, удивленный его литературной эрудицией, я осведомился у Минаева, давно ли он работает слесарем? «Два года», — ответил он. Оказалось, что до этого он был каким-то крупным работником, чуть ли не замом председателя ВЦСПС*, и за свои прежние уклоны был снят с ответственной работы и послан на производство, в те времена, до 1937 года, это часто практиковалось. Джугашвили заменял людей, которые в прошлом выступали про-

* Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов.

тив него, а снятых пока не арестовывал, а посылал работать простыми рабочими. Минаев несколько лет спокойно работал и даже систематически выбирался в партбюро завода, но в 1937 году о нем вспомнили, и вот теперь он находится здесь со своими восемью годами заключения.

Вообще, это был обаятельный, интеллигентный и остроумно-находчивый человек. Как-то у нас в камере появился Каралифтеров, старый коммунист, в прошлом директор вагонного завода в Калуге. Его взяли еще в 1936 году, почему-то очень быстро оформили на пять лет лагерей, и где-то на севере он, по-лагерному, очень неплохо устроился нарядчиком (ведал учетом, распределением и выводом на работу зэков). Реальной обстановки на воле Каралифтеров не знал, слухам об ужесточении репрессий не верил и считал, что какие-то отдельные вредители из НКВД то ли из садизма, то ли чтобы свести с ним личные счеты, злостно оклеветали его — старого коммуниста, участника Гражданской войны, награжденного орденом Боевого Красного Знамени. Поэтому он полагал, что как только его заявление попадет в ЦК, его сразу освободят, извинятся перед ним, восстановят во всех правах, а клеветников из НКВД пошлют на его место в лагерь. Поскольку он знал, что лагерное начальство, как правило, все заявления зэков о пересмотре их дел попросту бросает в мусорные корзины, то Каралифтеров ухитрился свое пространное заявление переслать с какой-то оказией прямо в Москву, в приемную ЦК. Оно попало в Москву в самые горячие дни марта-апреля 1937 года и, как говорится, угодило в точку. Каралифтерова почти сразу привезли из лагеря в Москву, но, вместо извинений и почетного освобождения, поместили на Лубянку, где после нескольких допросов прокрутили через Военную коллегию Верхсуда, методом, уже описанным мною: в тюремной камере трое судей и т. д. Приговор — десять лет тюремного заключения с довеском (пять лет поражения в правах). Вот к чему привела его апелляция в высшие инстанции.

Попав в нашу камеру, Каралифтеров казался совершенно убитым. Все его иллюзии были рассеяны; все, для чего он

жил, боролся, не жалел ни труда, ни крови, ни даже жизни, оказалось каким-то миражом, вся жизнь и партийная деятельность закончены. Если он еще не покончил самоубийством, то отнюдь не от отсутствия к этому желания, а из-за отсутствия для этого технических возможностей. Увидев такое его настроение, мы поместили Каралифтерова к себе в кружок и всячески старались поднять его жизненный тонус рассказами о своих злоключениях и логическими рассуждениями о неизбежных переменах.

Не обошлось здесь, конечно, и без вездесущего оптимиста Минаева. Поскольку у него для каждого жизненного случая всегда была запасена соответствующая сентенция, то нашлась она и для Каралифтерова. Привожу ее почти дословно: в школе ученикам задали написать сочинение, в котором бы отражались следующие элементы: 1) реальность; 2) возможность; 3) философский смысл. И вот один умный еврейский мальчик написал: «Стояла зима. Было очень холодно. Над деревенской улицей летел воробей. Он был голоден, замерз и, потеряв последние силы, упал на обледеневшую дорогу. Жизнь уже покидала воробья, но вдруг он почувствовал живительное тепло — это проходившая по дороге лошадь наложила кучу прямо на него. Воробей согрелся, силы стали к нему возвращаться, и он, высунув из кучи голову, радостно зачирикал от счастья, что остался жив. В это время мимо пролетал голодный коршун и, увидев чирикавшего в говне воробья, схватил его и съел».

Вот и все сочинение. Займемся его разбором: 1) реальность: воробей, летая голодным на сильном морозе, замерз и упал на дорогу; 2) возможность: проходившая по дороге лошадь наложила большую кучу теплого говна прямо на замерзающего воробья, и он, согревшись, ожил; 3) философский смысл: если тебя уже обосрали, то сиди в теплом говне и не чирикай, а то коршун сожрет.

Все это было настолько кстати сказано, что даже не расположенный к особому юмору Каралифтеров не мог не рассмеяться. И вообще, убедившись, что не с ним одним произошла такая вопиющая несправедливость (до суда он сидел

в одиночке на Лубянке и всей массовости этих ужасов еще не знал), уверовал, что все это как внезапно произошло, так внезапно и кончится, как нелепый страшный кошмар, и поэтому свои мысли о самоубийстве вроде бы оставил. Вернулся к нему и нормальный аппетит, и чувство юмора, особенно когда он нас потчевал своими лагерными историями. Вот только прогнозы наши насчет быстрого окончания кошмара, к сожалению, не оправдались.

Не могу не вспомнить и еще об одном очень интересном человеке. Привели к нам в камеру немца, советского гражданина, почти ни слова не знавшего по-русски. Высокого роста, атлетического телосложения, на вид — лет около пятидесяти, одет в великолепный заграничный костюм. Поскольку немец по-русски ничего никому объяснить не мог, то сразу нашелся переводчик — бывший работник Коминтерна по фамилии Бергер, по национальности немецкий еврей, одинаково хорошо говоривший по-немецки, по-русски и даже по-древнееврейски. При помощи Бергера вновь прибывший сумел нам поведать свою одиссею. Фамилия его, имя и отчество были: Пфейфер Карл Фридрихович. Он имел редкую специальность укротителя диких зверей и в Германии работал в знаменитой фирме «Гагенбек», занимавшейся поставкой диких зверей чуть ли не во все зоопарки и цирки земного шара. До прихода к власти Гитлера Пфейфер состоял в коммунистической партии Германии, но, по-видимому, особой активности на политической арене не проявлял, так что фашисты его не только не посадили в лагерь, но даже дали возможность продолжать работу по специальности, несмотря на то что это было связано с частыми и длительными поездками за границу. Правда, с него в Гестапо взяли подписку, что он не будет в дальнейшем заниматься коммунистической деятельностью. Когда фирме «Гагенбек», согласно договору с Советским Союзом, было поручено комплектовать дикими зверями вновь открывающийся в Сталинграде зоопарк, то кандидатура Пфейфера как ответственного исполнителя такой комплектации не вызвала в Германии

ничьих возражений, и он приехал в СССР, где к нему была прикреплена молодая русская женщина в качестве переводчика. Из-за непрерывных командировок Пфейфер оставался холостяком, поэтому, не встретив особого сопротивления со стороны своей опекунши, сошелся с ней. Та, по-видимому, рассчитывала сочетаться с Пфейфером законным браком и уехать с ним за границу, но к концу работы в СССР он дал ей понять, что то, что было, прошло, в дальнейшем он в ее услугах такого рода больше не нуждается. Переводчица со злости приняла некоторые меры — а год-то был 1937-й, — и германский подданный Пфейфер оказался на Лубянке по обвинению в контрреволюционной деятельности. Но подданный-то он был не наш, и его судьбой сразу же заинтересовалось германское посольство.

Через несколько дней после ареста Пфейфера вдруг вызывают из камеры, тщательно подстригают и бреют, моют в ванной, гладят костюм и стирают белье, возвращают все изъятое при аресте и запрещенное в камере имущество (пояс, галстук, авторучку, часы и прочее), кормят изысканным обедом и в полном порядке приводят в обставленный мягкой мебелью кабинет. По-джентльменски любезный человек в штатском на чистейшем немецком языке приветствует Пфейфера, усаживает в кресло, предлагает кофе, сигары, пиво и начинает беседу: он, Пфейфер, арестован по явному недоразумению некомпетентными работниками НКВД, которые за это будут строжайшим образом наказаны, донос его бывшей переводчицы был, конечно, лжив от начала до конца, за что она уже уволена с работы и будет строго наказана, возможно, вплоть до ареста. Он, Пфейфер, будет немедленно освобожден и сумеет по собственному желанию либо продолжать работу в Сталинграде, конечно, уже с другой переводчицей, либо уехать обратно в Германию. Для советской стороны предпочтителен первый вариант, но, к сожалению, немецкое посольство в Москве, узнав об инциденте, настаивает на немедленном возвращении Пфейфером в Германию, так что за ним остается выбор: либо, оставаясь немецким гражданином, вернуться в фашистский рейх,

либо, попросив политического убежища в Советском Союзе, получить советское гражданство и остаться постоянно работать в СССР. Ведь, кроме сталинградского, намечается организация зоопарков еще в ряде крупных городов Советского Союза, так что работой, причем интересной и хорошо оплачиваемой, он будет здесь обеспечен.

Пфейфер, естественно, задумался: слишком свежа была в его памяти одиночная камера, из которой его только что привели. Тут в разговор вмешался другой, пока молча сидевший в кабинете, человек. Он напомнил Пфейферу, что, пока он работал в Союзе, в фашистской Германии произошел целый ряд перемен в худшую сторону: теперь уже не ограничиваются взятием у бывших коммунистов подписки о прекращении ими политической деятельности, а просто всех под гребенку забирают в концлагеря, а тем более тех, которые так долго работали у большевиков, да еще были в связи с русскими женщинами-коммунистками. Так что даже в лучшем случае работы в «Гагенбеке» ему уже больше не видать, ведь по возвращению в Германию его за границу больше не выпустят. Все эти доводы подкреплялись подчеркнутыми красным карандашом выдержками из статей в фашистских газетах, лежавших перед Пфейфером на столе.

Таким образом обрабатывали Пфейфера часа два: пугая расправой и безработицей в Германии, взывая к его коммунистическим убеждениям, прельщая ослепительными перспективами райской жизни в СССР и т. д. и т. п. В конце концов Пфейферу заявили, что через полчаса сюда прибудет представитель германского посольства в Москве, который хочет забрать его с собой для немедленной отправки в фашистскую Германию, и если он хочет остаться на своей работе в СССР, то должен тотчас же подписать заявление о предоставлении ему политического убежища и гражданства СССР.

Прижатый к стенке железной логикой собеседников, Пфейфер подписал такое заявление. Его шумно поздравили и даже тут же вручили заранее приготовленный советский паспорт. Через некоторое время прибыл чиновник герман-

ского посольства в Москве и заявил Пфейферу: «Господин Пфейфер, все обвинения, предъявленные вам, абсолютно абсурдны, я привез постановление о вашем освобождении. Сегодня же вечером вы можете выехать в фатерлянд, где беспрепятственно сможете продолжать работу».

Подготовленный своими собеседниками Пфейфер ответил ему: «Господин советник, я был и остался по убеждениям коммунистом. В настоящее время я попросил политическое убежище и гражданство в СССР. Мою просьбу удовлетворили, и вот мой советский паспорт. В Германию я вернусь тогда, когда немецкий народ сбросит со своей шеи ненавистную клику Гитлера, а пока я остаюсь здесь». Огорошенный таким ответом советник посольства только процедил сквозь зубы: «Осел!» и, ни с кем не прощаясь, вышел из кабинета.

Присутствующие начали дружно поздравлять Пфейфера, жать ему руку, все повторяли, что он говорил как настоящий коммунист, а потом попросили пока, для дальнейшего оформления, вернуть советский паспорт. После этого Пфейфера завели в другую комнату, уже без мягкой мебели, где дежурные надзиратели быстро привели его в прежнее состояние (отняли пояс, галстук, запонки, часы) и водворили в камеру, на этот раз уже не в одиночку (такие камеры в те времена считались дефицитными и заполнялись только в особо важных случаях), а в общую — следственную.

Еще пара месяцев сидения, с несколькими допросами по существу доноса своей бывшей переводчицы, и свежеиспеченный советский подданный Карл Фридрихович Пфейфер в обычном порядке получил по линии ОСО свои пять лет лагерей и оказался в нашей пересыльной камере. Он явно еще полностью не осознал всей метаморфозы своего положения и, по-видимому, строил какие-то иллюзии, что в НКВД иногда правая рука не ведает, что делает левая, но на этап его, вместе со многими другими, забрали быстро.

До отправления на этап он, через своего переводчика Бергера, несколько раз во время культчаса рассказывал нам интереснейшие эпизоды из своей практики общения с дикими зверями и путешествий по самым диким местам Африки,

Южной Америки, Австралии. Эти рассказы были настолько интересны и необычны, что вся камера их слушала, буквально затаив дыхание.

Вот такая история произошла с укротителем диких зверей — Пфейфером. Дальнейшая его судьба мне, конечно, неизвестна, но уж чего-чего, а модный костюм он наверняка утратил еще на Краснопресненской лагерной пересылке, которая целиком находилась под властью бытовиков-урок. Да и в лагере, по-видимому, его судьба была незавидной: диких зверей там нет, во всяком случае четырехногих, а двуногие там никакому приручению не поддаются. Ни к какой блатной, вроде сапожника, портного, фельдшера или кузнеца, лагерной работе он не пригоден, так что останутся на его долю только так называемые общие — лесоповал, земляные и другие работы, от которых он в своем возрасте и без привычки к тяжелому физическому труду быстро «нарежет дуба».

11

Следует отметить, что, несмотря на обилие осужденных по статьям ПШ (подозрение в шпионаже) и даже ШД (шпионская деятельность), никто из них не являлся, да и по роду своей деятельности не мог являться, шпионом. Никто не мог понять, с какой целью его оторвали от близких, от работы и сейчас посылают на физическое уничтожение. Каждый был самым обыкновенным советским обывателем и ничем не отличался от миллионов таких же, как он, но находящихся пока на воле и прорабатывающих его как разоблаченного и обезвреженного врага народа (как правило, никто из осужденных не вспоминал, как лично он сам, будучи свободным, с пеной у рта разоблачал преступные действия арестованных ранее сослуживцев или знакомых). Вся вина большинства осужденных заключалась в нескольких неосторожно брошенных словах критики каких-либо аспектов нашей жизни, и это влекло за собой значительный срок заключения, ведь

осужденные даже на небольшой срок — пять лет — оставались, из-за войны, в заключении еще на пять и более, лет, до так называемого «особого распоряжения», не говоря уже о том, что большинство умирало в заключении, не отбыв даже и календарного срока.

Правда, была небольшая прослойка молодежи, которая, собираясь у кого-нибудь на квартире, вела между собою крамольные разговоры, но дальше разговоров дело не шло. Я лично их не встречал, но однокамерники по пересылке часто рассказывали о сидевших в одних с ними следственных камерах и очень нахально себя державших желторотых сопляках, именовавших себя членами групп «Пектус» или «ПОБИСК». Расшифровка тут очень проста: «Пектус» — это сладкие, мятные, белого цвета лепешки, продававшиеся в ларьках и в продмагазинах, кажется, по пятнадцать или двадцать копеек за десять штук. Так вот, участники этой крамольной организации, стремившейся, как было указано в протоколах допросов, к ниспровержению советской власти, на своих сборищах уничтожали путем съедания большое количество этих самых конфет. По непроверенным данным, членам этой группы давали чохом по десять лет. Сколько их было, сказать не могу, но средний возраст колебался от пятнадцати до восемнадцати лет. Надо полагать, что операцию по аресту членов «Пектуса» энкавэдэшники провели блистательно, благо это были в основном дети обеспеченных родителей и опасаться сопротивления не приходилось. Взяли, наверно, не только активных членов группы, но и всех, кто мог иметь к ней хоть какое-то отношение.

Вторая организация именовала себя «ПОБИСК», что расшифровывалась: «Поколение Октября Бойцы и Строители Коммунизма». Я в своей следственной камере ее членов тоже не встречал, но скудные сведения о ней имел через третьих лиц, сидевших с «побисками» в более авторитетных, чем Бутырки, тюрьмах (Лубянка, Лефортово и прочие). По-видимому, «побиски» были взрослее и серьезнее «пектусов». Говорили, что одним из руководителей «побисков» была дочь известного немецкого коммуниста, осужденного по

процессу Рыкова, Бухарина и других — Карла Радека*, а также называли фамилии еще нескольких детей родственников многих арестованных и ликвидированных бывших крупных деятелей партии и правительства, но я эти фамилии уже забыл. Какая судьба постигла этих юношей и девушек, я, конечно, не знаю, но, во всяком случае, на протяжении своего почти десятилетнего крестного пути по тюрьмам и лагерям НКВД я ни разу никого из них не встречал.

Из сокамерников по пересылке запомнились мне еще два литератора. Один из них без левой руки (она была у него ампутирована по локоть), поэт Нарбут**, а второй — литературный критик — Поступальский***. Нарбут был подтянутым, худощавым, жилистым, до черноты загоревшим человеком. Не очень разговорчивый. Своих стихов он никогда не читал не только на культурных мероприятиях, хотя его об этом много

---

* Радек (Собельсон) Карл Бернгардович (1885—1939), публицист, деятель международного рабочего и коммунистического движения, известный своими метаниями и беспринципностью. Убит в Верхнеуральском изоляторе. Его дочь, Софья Карловна Радек (1919—?), в лагерях не сидела, но отбывала ссылку.

** Нарбут Владимир Иванович (1888—1938), поэт-акмеист и издатель, директор издательства «Земля и фабрика». В 1928 году исключен из ВКП(б) за утаивание сотрудничества с белыми в годы Гражданской войны. В 1936 году арестован по обвинению в принадлежности к группе «украинских националистов — литературных работников», занимавшейся антисоветской агитацией. Руководителем группы был объявлен И. С. Поступальский, членами — переводчики П. С. Шлейман (Карабан) и П. Б. Зенкевич, а также литературовед Б. А. Навроцкий. 23 июня 1937 года постановлением Особого совещания НКВД все пятеро приговорены к пяти годам лишения свободы по статье 58, §10 и осенью 1937 года оказались на Колыме. Встреча с Л. Х. датирует августом нахождение в московской пересыльной тюрьме всей группы. 20 сентября 1937 года Нарбут был во Владивостокском пересыльном лагере и, вероятно, в октябре — уже на Колыме. В середине декабря его отправили из Магадана сначала на прииск Стан Оротукан, а затем на прииск Пасмурный. В марте 1938 года его вернули в Магадан, на карантинно-пересыльный пункт № 2 «Дальстроя». Здесь его судили как саботажника и 14 апреля 1938 года, по решению тройки, расстреляли.

*** Поступальский Игорь Стефанович (1907—1989), поэт, переводчик и критик, неформальный лидер группы «украинских националистов — литературных работников». Выжил на Колыме и вернулся в Москву.

раз просили, но даже никому из сокамерников с глазу на глаз. Поскольку до ареста я с творчеством Нарбута знаком не был, то никакого суждения о нем иметь не могу. Поступальский же, в отличие от Нарбута, был толст до безобразия, буквально расплывчат, все его тело болталось как студень. Он был общительнее Нарбута, и когда я спросил его, за что он сидит, то Поступальский ответил, что главным пунктом его обвинения был формализм в искусстве. Так как в этих вопросах я особо искушен не был, а Поступальский как-то избегал распространяться на эту тему, то я решил спросить у Нарбута, в чем же, собственно говоря, заключался формализм Поступальского? Нарбут нехорошо улыбнулся и процедил сквозь зубы, что формализм у Поступальского заключался в том, что он иногда предпочитал мальчиков девочкам. Надо сказать, что ответ Нарбута меня покоробил, ведь как-никак, а оба они были в нашей камере представителями литературы, держались всегда вместе, и если сказанное Нарбутом действительно имело место, в чем у меня были некоторые основания сомневаться, так как педерастия не входила в состав 58-й статьи, и члены этой «почтенной корпорации» не считались врагами народа, вследствие чего могли содержаться не в Бутырках, а только в бытовой тюрьме — Таганке, с гораздо более легким режимом, чем у нас, то совершенно необязательно было об этом говорить первому встречному, каким был я. После этого я потерял к Нарбуту всякую симпатию, Поступальский же стал вызывать у меня просто брезгливость.

Осужденные в пересыльной камере на моих глазах сменялись, как в калейдоскопе: почти каждый день вызывали лагерников на этапы, так же интенсивно происходило и пополнение камеры, так что численность зэков у нас постоянно поддерживалась на уровне 220—250 человек, но нас, «тюремщиков»* (таких было в этой камере двое: я и Нехамкин), пока не трогали. Мы уже и здесь обжились и занимали «аристократические» места — у окна, далеко от параши.

---

* Автор называет здесь «тюремщиками» не охранников, а, наоборот, заключенных, но не всех, а лишь тех, чей приговор предусматривает не лагерный, а именно тюремный, как и у него самого, режим.

И вот, наконец, я получил весточку из дома. Открывается форточка в двери. «Хургес», — возглашает надзиратель (здесь уже нравы попроще, нет такой секретности, как в следственных камерах: «на букву “X”» и т. д.) и вручает мне квитанцию: денежный перевод на пятьдесят рублей. На эти деньги в установленные дни я имел право приобрести в тюремном ларьке кое-какие продукты — хлеб, сахар, колбасу, дешевые папиросы и т. п.

До тех пор я очень беспокоился, что мои родные, перестав получать от меня письма, могут подумать, что я погиб. Из Испании писал более-менее регулярно. Мои письма и письма из дома шли ко мне дипломатической почтой через сотрудницу Разведупра — Урванцеву, которая все время поддерживала связь с моими родителями: платила им за меня деньги (по четыреста рублей в месяц), организовала ремонт нашей квартиры, а когда отец мой немного прихворнул, даже достала ему путевку в хороший подмосковный санаторий.

После ареста я не имел возможности писать домой и потому очень боялся, что такой внезапный конец нашей переписки может показаться матери подозрительным. Ведь как-никак она, даже если твердо не знала, но во всяком случае догадывалась, что я не в какой-то там командировке в Арктике (так я объяснил свой отъезд), а скорее всего в Испании, ведь за Арктику-то боевых орденов не дают. А раз оттуда я перестал писать, значит, меня убили, и помимо всех моих мучений здесь в тюрьме, еще и моя бедная мама, наверное, выплакала все глаза по мне — «покойнику», а это угнетало меня сильнее всего.

Раз денежный перевод, то только из дома, больше ниоткуда я здесь денег ждать не мог, и значит дома уже знают, что я жив и нахожусь в тюрьме в Москве. А это, хотя и печально, но все же лучше, чем на том свете, да и сама тюрьма для порядочных людей перестала быть такой редкостью, как при Николае Кровавом. Когда я получил эту квитанцию и прочел надпись на ней, гласившую, что отправителем перевода является А. М. Хургес, то есть моя мать, у меня прямо гора с плеч упала! Слава Богу, дома уже знают, что я жив, и у бедной моей мамы хоть останется надежда когда-нибудь

меня увидеть. Правда, надежда эта не сбылась: умерла моя мать в эвакуации в 1942 году, когда я был в городе Свободном, в БАМлаге. Да и съесть кусочек белого хлеба, запив его сладким кипятком, полакомиться колбасой после более чем трехмесячной тюремной диеты тоже что-нибудь да значило. Одним словом, день получения квитанции о переводе был для меня самым светлым днем с момента ареста.

Дома, как мне уже после освобождения рассказала сестра, действительно очень обеспокоились тем, что письма мои перестали приходить, но Урванцева все время успокаивала родных, заявляя, что я жив и здоров, но только временно не имею возможности им писать, и даже регулярно, за все время следствия и до самого осуждения, выплачивала им за меня деньги.

Сразу же после осуждения Урванцева позвонила по телефону моей матери и заявила, что я, как не оправдавший доверия, больше никакого отношения к их ведомству не имею и что всякая выплата денег за меня прекращается. Урванцева попросила ей не звонить, потому что больше ничего она обо мне не сможет сказать. Год был 1937-й, и матери быстро подсказали, что я, наверно, арестован. Начались скитания отца и матери по приемным НКВД, остальным родственникам было опасно наводить справки, запросто можно было и самим загреметь. Нигде никто со стариками даже и говорить не хотел. Очень вежливо выпроваживали, уверяя, что давать такие справки неправомочны.

Где-то в этих местах мать познакомилась с одной женщиной, у которой муж был тоже арестован, и та посоветовала матери не ходить по приемным, а попытаться передавать деньги по московским тюрьмам: если деньги для перевода в тюрьме возьмут, значит там я и нахожусь. Ни на Лубянке, ни в Лефортове, ни на Таганке денег у матери не приняли, заявив, что моя фамилия у них не числится, а в Бутырской тюрьме приняли, и она сразу же успокоилась, поняв, что я жив и нахожусь в Бутырках. Сколько она после этого ни толкалась по всем инстанциям НКВД с просьбой дать ей со мной свидание, отовсюду бедную старуху просто выгоняли, не удостаивая даже разговором.

Мне еще повезло, что день получения квитанции совпал с лавочным днем, а они бывали раза три в месяц. Вечером мы с Марком Евсеевичем уже гужевались белым хлебом, колбасой и сладким чаем. За время пребывания в пересылке я сумел еще раз воспользоваться своей квитанцией, но уже перед самой отправкой в срочную тюрьму.

В пересылке у меня возникла еще одна проблема: при аресте у меня были изъяты личные вещи, причем ценные и в большом количестве — всё, что я сумел нажить в Испании на полугодовую капитанскую зарплату и вез домой лично для себя и в качестве подарков родным и знакомым.

Забрали у меня прекрасный цейсовский фотоаппарат «Контакс» с экспонометром и увеличителем, штук восемь часов, из которых четыре были золотыми, несколько костюмов, большое количество белья, одним словом, только опись вещей заняла два листа, исписанных убористым почерком. После реабилитации в 1957 году мне с учетом всевозможных уценок, на которые они были большие мастера, за эти вещи уплатили около пятнадцати тысяч рублей старыми деньгами. Но самое главное, на бланке описи стоял штамп: «Вещи, не востребованные через три (или два, точно не помню) месяца после вынесения приговора, переходят в собственность государства».

Поскольку я был осужден без конфискации имущества, то на другой же день после помещения в пересылку я стал просить у надзирателя бумагу для написания заявления по поводу своих изъятых вещей. Через некоторое время, после вечерней поверки, меня вызвали в коридор, и там я написал обстоятельное заявление с просьбой передать все забранные у меня при аресте вещи моей матери, указал, конечно, фамилию, имя, отчество и подробный адрес и передал это заявление старшему надзирателю — корпусному. Когда я исполнил этот свой гражданский долг и, вернувшись в камеру, радостно сообщил Нехамкину, что мать хоть мои вещи получит, тот хмуро улыбнулся и сказал: «Ох, Лева, не знаешь ты их-них порядков, что-то не верится мне, что из этого дела может выйти толк. Слишком уж лакомый кусочек ты им подбросил. Советую тебе не ограничиться одним заявлением, а писать

еще, да и то вряд ли что получится. Твои вещи уже давно разошлись по рукам следователей и другого энкавэдэшного начальства. Не думаю, чтобы они упустили такую добычу». Как потом оказалось, Марк Евсеевич был совершенно прав: несмотря на то что, воспользовавшись сменой дежурных, еще в Бутырках я написал два аналогичных заявления, никакого ответа я не получил. И лишь больше чем через полгода, уже в Полтавской тюрьме, где я начал отбывать свой срок, после двух новых заявлений я получил ответ, причем только на мое последнее заявление. На типографском бланке, с проставлением моей фамилии и даты отправки, было напечатано: «Ваши вещи, за невостребованием и истечением срока хранения, перешли с ... числа в собственность государства».

12

Но вот, наконец-то, пришел конец и моему пребыванию в Бутырках: в конце августа, двумя днями после второй «лавочки» (закупки продуктов в тюремном ларьке), меня и Нехамкина вызвали с вещами. Наскоро собрав свой скарб и распрощавшись с остающимися в камере соседями, мы вышли в коридор. Надзиратель повел нас в другой корпус, не забывая при входе в коридор или в марш лестницы стучать ключом о пряжку ремня во избежание встреч, и завел нас в комнату, служившую, по-видимому, в прежние, более либеральные, времена, когда еще разрешались в тюрьмах свидания зэков с родными, комнатой для свиданий. Описывать ее мне, пожалуй, нет надобности, ибо она гораздо более талантливо описана Л. Н. Толстым в его «Воскресении» и с тех пор не изменилась, если не считать того, что необходимость в ней исчезла.

В этой комнате нас с Нехамкиным рассадили по разным боксам, и больше я его никогда не встречал. Когда я вошел в свой бокс и пригляделся (в боксах света не было, а горела одна общая тусклая лампочка в коридоре для надзирателя), то в полутьме заметил еще двух человек. Предупредив, чтобы мы вели себя тихо и не пытались установить связь с со-

седними боксами, надзиратель удалился, оставив нас на попечение коридорного, прохаживающегося перед закрытыми дверями наших боксов.

Начали вполголоса знакомиться. С этими людьми мне пришлось впоследствии просидеть в одной камере больше двух лет. Как и я, они имели по восемь лет тюремного заключения по особому совещанию НКВД.

Первым представился мне Дмитрий Петрович Вознесенский — человек лет пятидесяти, очень интеллигентного вида, со шрамом под губой и негустыми, торчавшими в стороны, усами. Бывший военный, еще подпоручик царской армии, до ареста работавший экономистом в каком-то учреждении, Вознесенский имел восемь лет «ТЗ» по статье «АСА» (антисоветская агитация — самая легкая статья, по которой уже давали «ТЗ» по особому совещанию). Вторым был Сергей Леонидович Смирнов, до ареста — парторг литейки серого чугуна ЗИС (Московского автозавода им. Сталина, ныне им. Лихачева). Высокого роста, лет около тридцати, очень худой и изможденный, Смирнов имел статью «КРД» (контрреволюционная деятельность). Ему припомнили выступление на партсобрании в 1931 году, на котором он высказывал осторожные сомнения насчет сплошной коллективизации. По его словам, на одном из допросов присутствовал сам Н. С. Хрущев*, который был в те времена секретарем горкома и обкома в Москве, и по этой причине Смирнов считал себя «крестником» Хрущева.

В тот же день, после ужина, который принес нам надзиратель, всех нас вывели во двор и посадили в один из «конвертов» большого «воронка». Этот «конверт» был рассчитан на одного человека, но нас туда втиснули троих. Хотя в потолке и была отдушина, заделанная мелкой сеткой и прикрытая сверху колпаком, все равно дышать было не намного легче, чем в немецкой душегубке времен Отечественной войны. К тому же погода стояла очень жаркая, тюремный двор, окруженный со всех сторон корпусами, за день буквально раскалялся, и никакого движения воздуха не ощущалось.

---

* Из различных мемуаров известно участие Н. С. Хрущева в допросах арестованных как в Москве, так и в Киеве.

Хуже всех пришлось Вознесенскому: он страдал астматической болезнью и с первых же минут в «конверте» еле-еле дышал открытым ртом, как рыба, выброшенная на берег. К счастью, мы были последними при загрузке «воронка», и довольно скоро машина тронулась. На ходу было уже легче дышать, через отверстие в потолке к нам начал проходить более прохладный воздух вечерней Москвы.

Везли нас минут двадцать-тридцать, и, проехав несколько переездов, по-видимому, железнодорожных (ехали мы в полной темноте и сориентироваться было невозможно), машина остановилась. Открылась задняя дверь, и вылезший оттуда конвоир затем снова влез в машину, открыл нашу дверь и произнес: «Выходите». Мы сошли на землю и оказались у знакомого мне по путешествию из Симферополя в Москву «столыпинского» вагона. От самой дверцы воронка до подножки вагона, один к одному, в два ряда, с проходом между ними, выстроились солдаты НКВД, вооруженные винтовками с примкнутыми штыками. Конвоир повел нас через проход между рядами солдат к вагону. «Быстрее! Быстрее!» — поторапливал он нас. Когда мы влезли в тамбур, один из конвоиров, по-видимому, старший, опросил каждого из нас по энкавэдэшному ГОСТу: фамилия, имя, отчество, год рождения, статья, срок — и, отложив в сторону папки наших личных дел, повел нас в самое дальнее от входа купе.

В отличие от симферопольского, в этом вагоне все купе были отгорожены друг от друга толстыми деревянными стенками, а на решетчатых железных дверцах, в целях конспирации, висели плотные шерстяные одеяла, так что увидеть что-либо ни из купе в коридор, ни наоборот было невозможно. Ввиду того, что нас было всего трое, мы все спокойно разместились на нижних полках, и опускать верхние не пришлось. А ведь в такое купе, как я впоследствии имел возможность неоднократно убедиться, втискивали до пятнадцати-двадцати зэков — мы же свободно разместились ногами к стенке вагона, а головами к дверце.

Конвоир предупредил нас, что разговаривать разрешается только вполголоса и что за всякое нарушение тишины

или попытку связи с другими купе виновные будут водворены в «купе-карцер» и на них будут одеты наручники. Что за ужасное изобретение эти энкавэдэшные наручники, мы хорошо знали по рассказам бывалых зэков: конструкция их такова, что стоит только, имея их на руках или на ногах, хоть чуть-чуть пошевелиться, как они автоматически защелкиваются еще на зубец туже, их диаметр уменьшается, а это причиняет такую нестерпимую боль, что человек непроизвольно еще раз пытается пошевелиться, а тогда наручники защелкиваются еще на один зубец, и такая цепная реакция приводит к тому, что наручники впиваются в тело до кости, причиняя совершенно нестерпимую боль, и так до тех пор, пока человек не теряет сознания! После этого предупреждения конвоир запер нашу дверцу. Мы остались лежать в полной темноте, так как свет в купе мог проникать только из коридора, дверь в который была завешена одеялом, и только по топоту ног мы могли судить, что наш вагон продолжает заполняться зэками. Через полчаса шум в вагоне прекратился, и конвоир, еще раз предупредив нас, чтобы мы вели себя тише, снял с дверей одеяло, по всей вероятности, не из соображений гуманности, а просто потому, что, наверно, эти одеяла были из спального комплекта конвоя.

В купе стало светлее, но все равно увидеть что-либо за пределами части коридора около нашего купе мы не могли, потому что противоположное окно было плотно занавешено непрозрачной материей. Выдали нам по полбуханки хлеба и по куску (граммов сто пятьдесят) колбасы, предупредив, что это на сутки, и велели устраиваться на ночлег. Часа через три наш вагон начал производить маневры по железнодорожным путям, и вскоре после их окончания мы двинулись.

Ехали мы больше суток, во всяком случае хлеб и колбасу мы получили еще раз. В пути нам три раза в сутки давали по кружке кипятка и два раза в сутки водили в вагонный туалет на оправку. Куда ехали — неизвестно. Спрашивать у конвоиров — бесполезно, во всяком случае — прощай, родная Москва, и, по-видимому, надолго.

ПОЛТАВСКАЯ ТЮРЬМА

Этап в неизвестном направлении. — Регистрация в неназванной тюрьме. — Камера № 15, койка № 2. — «Правила для содержащихся в тюрьмах ГУГБ НКВД». — Препирательство и наказание. — Начальник тюрьмы. — Кормежка и оправка. — Отбой и прогулка. — Соседи по камере: Шалва Цитлидзе, Дмитрий Вознесенский, Сергей Смирнов и Акопа Рустамян. — Визит тюремного врача. — Клички персонала. — Баня и первый карцер. — Камера-читальня. — Тюремная лавочка. — Переписка с родными. — Письмо от Зои Р. — Второй карцер и третий: «трансы». — Всесоюзная перепись населения. — Новая камера и новые соседи: Федор Зотов, Нерсес Арутюнян, Александр Волин, Владимир Вельман, Герольд. — Конец карцерной эпопеи. — «Красная звезда».

1

Уже в темноте, во всяком случае больше, чем через сутки, мы прибыли к месту назначения. Наш вагон отцепили от поезда, затем были еще какие-то маневры по путям и, наконец, полная остановка. Поздно ночью, вернее уже под утро, когда мы спали, внезапно открылась дверца нашего купе, и конвоир велел быстро собираться с вещами и выходить. Все дверцы были, как и при посадке или проходах на оправку, завешены одеялами, так что никого из соседей по вагону мы увидеть не смогли.

Прямо к ступенькам был подан «воронок», причем так близко, что даже и ступить на землю не требовалось, прямо из вагона — и в «воронок». Несмотря на то что было еще темно и увидеть что-либо вокруг мы все равно бы не смогли, между вагоном и «воронком» был сделан завешенный одеялами «туннель». В машине нас снова поместили в «конверт», закрыли дверь и начали заполнять остальные «конверты» «воронка» зэками из нашего вагона. Так как на этот раз дело было ночью и «воронок» в ожидании нашего приезда, по-

видимому, долго стоял в ночной прохладе, такой удушающей жары, как в Москве, не было, и дышать в «конверте» можно было более-менее сносно. Наконец погрузка закончилась, и мы куда-то поехали.

Где мы находимся, куда едем, об этом мы не имели ни малейшего представления, все происходило в полной темноте. Наконец «воронок» сделал небольшую остановку. Послышался скрип отворяемых ворот, машина немного проехала вперед и остановилась. Открылась задняя дверь, послышался какой-то приглушенный разговор, и началась выгрузка. На этот раз мы оказались последними и прождали в своем «конверте» более часа. Уже через отверстие в потолке стал виден утренний свет, когда наконец-то открылась дверца нашего «конверта» и какой-то военный велел нам выходить.

Выйдя из машины, мы оказались в большом проеме между двумя массивными железными воротами. Быстро спросив нас по ГОСТу — фамилия, имя, отчество, год рождения, статья, срок, — военный, взяв под мышку папки с нашими делами, велел нам следовать за ним. Кроме этого военного нас сопровождали еще двое в форме ГУГБ: малиновые петлицы, знак «щит и меч» на рукаве и фуражка с синим околышем и красным верхом.

Через тюремный двор нас привели в баню. Чистый предбанник с деревянными скамейками. Велели раздеваться догола, а все свои вещи, кроме мыла, зубной щетки и зубного порошка, который надзиратели тщательно осмотрели в поисках чего-либо запрещенного, сложить вместе и завязать в узлы. Всем выдали по кусочку мыла; надзиратель, выполняющий обязанности парикмахера, быстро остриг нам волосы на голове и бороды с усами (впоследствии, уже в камере, нам разрешили отращивать и усы, и бороды), и нам велели заходить в душевую. Просторная комната, бетонированный пол, четыре душа, деревянные решетки стока: когда бы не решетки на окнах, вполне можно было бы подумать, что находишься в душевой солидного предприятия.

Каждому велели встать под отдельный душ. Для начала нас окатили холодной водой. Все сбежали со своих мест

с криком «Холодно!». Воду закрыли и опять велели всем встать на свои места, после чего нас ошпарили почти кипятком. Такие процедуры повторили еще раза три, пока банщик не отрегулировал воду, но после этого на мытье дали не более одной-двух минут, так что мы едва успели смыть мыло со своих тел.

Из душевой нас запустили в послебанник, где наших старых вещей уже не было, но на скамейках лежало приготовленное для нас тюремное обмундирование. Не обращая внимания на комплекцию, все выдали одинакового размера: кальсоны, нательные рубахи, портянки, все чисто выстиранное, только с большим черным штампом: «Тюрьма ГУГБ». Затем синие сатиновые гимнастерки — прямоворотки с коричневыми воротниками, подлокотниками и обшлагами рукавов, все это нашитое не поверх сатина, а вшитое в вырезанные места гимнастерки. По-видимому, это было сделано для того, чтобы в случае побега нас можно было легче опознать, потому что спороть эти знаки принадлежности к тюремному ведомству значило остаться в гимнастерке без ворота, рукавов и с дырками на локтях. Такие же синие брюки со вшитыми коричневыми леями, наподобие кавалерийских, такой же синий бушлат с коричневым воротом, налокотниками и обшлагами рукавов, фуражка, тоже с коричневым околышем и синим верхом, и ботинки типа «коты» — без шнурков.

Стандартность размеров привела к тому, что мне пришлось подворачивать концы брюк и рукава гимнастерки, а долговязому Сереже Смирнову брюк и кальсон хватило едва до колен, рукава же гимнастерки были как бы засученными. Лишь Вознесенский, обладавший по нормам НКВД стандартной фигурой, выглядел в своей униформе более-менее прилично. Обещав в дальнейшем отрегулировать вопрос с размерами одежды, надзиратели повели нас к двухэтажному главному корпусу тюрьмы.

Войдя в корпус, надзиратель направился к крайней справа по коридору камере № 15. Дежурный по коридору открыл своим ключом дверь, и мы вошли в свое обиталище, где, со-

гласно приговору, должны были пробыть по восемь лет каждый. До нас в камере уже находились два человека, они встали с коек при виде надзирателей.

Камера была метра три в ширину и метров пять в длину. Стены и потолок чисто выбелены, а дощатый пол покрашен коричневой масляной краской. Около двери круглая печь, топящаяся из коридора, в дверях форточка и неизменный глазок. Окно, расположенное в полутора метрах от пола, забрано толстой железной решеткой со сваренными местами соприкосновения прутьев, и снаружи, конечно, «козырек» от самого низа окна и на полметра выше его верха. Чтобы не допускать общения с расположенной над нами камерой, козырек сверху закрыли густой металлической сеткой, через которую был виден кусочек голубого неба и вершинка пирамидального тополя. Когда я его увидел, то сразу же вздохнул с облегчением: ведь нас перевозили из Москвы с такой секретностью, что мы даже не имели представления о том, где оказались, но поскольку ехали мы чуть более суток и здесь растут пирамидальные тополя, которых в Москве не бывает, значит, привезли нас не на север, а на юг, а это уже лучше.

В углу камеры, около двери, была параша. В камере стояло пять железных коек, разделенных между собой полуметровым проходом. Койки были застелены чистым бельем и имели полный спальный комплект: матрац, подушка, одеяло и две простыни, все чистое, выглаженное и, конечно, с жирным черным штемпелем — «Тюрьма ГУГБ», на изголовье постели вафельное полотенце и около каждой койки небольшая тумбочка. На стене висели «Правила для содержащихся в тюрьмах ГУГБ НКВД», ставшие отныне нашими Конституцией, Библией и Кораном. Вот и все, что было в нашей камере.

Приведший нас надзиратель, оказавшийся здесь старшим, или, как его здесь называли, «корпусной», разместил нас по койкам. Мне досталась вторая койка от двери. На третьей поместили Вознесенского, на четвертой Смирнова, первая же и пятая койки были заняты прибывшими сюда несколько ранее — грузином Цитлидзе и армянином Руста-

мяном. Корпусной нас предупредил, что отныне при общении с тюремной администрацией мы больше не имеем ни имен, ни фамилий, а только номер камеры и номер койки. Так я, например, стал уже только 15/2, то есть камера 15, койка 2 и т. д. Если в двери откроется форточка и надзиратель произнесет: «Койка два», то я должен немедленно подойти. Обращаться к администрации можно только на вы и обязательно с добавлением слова «гражданин». Разговаривать в камере разрешается только вполголоса. Всякий шум: громкий разговор, пение, громкое топтание по полу и прочее — категорически запрещается, и виновные в нарушении тишины будут подвергнуты наказанию, согласно правилам, вывешенным на стене.

От ответа на вопрос, где мы находимся, надзиратель уклонился, сказав, что если найдут нужным, нам об этом сообщат. Корпусной обратил наше внимание на обращение с постелями: лежать на них разрешается только от отбоя до подъема, конечно только раздетым, на правом боку (чтобы надзиратель в глазок мог увидеть каждого в лицо), с руками, вытянутыми поверх одеяла. От подъема до отбоя разрешается сидеть, причем только на своей койке. Сигнал «подъем» или «отбой» — троекратное мигание лампочки, висящей посреди камеры под самым потолком и забранной густой металлической сеткой. Всякие нарушения «коечного режима» также будут наказываться, согласно правилам, которые корпусной посоветовал изучить сразу же после его ухода.

Окончив свое «Отче наш», он ушел, а мы, сгрудившись у правил, принялись их изучать. Оказалось, что мы имеем довольно много прав, но еще больше обязанностей. Самый большой раздел был о наказаниях, которым мы могли подвергаться в случае нарушения правил. Что касается прав, то мы имели право на: 1) ежедневные прогулки в тюремном дворе, длительность прогулки определяется администрацией тюрьмы; 2) пользование книгами из тюремной библиотеки; 3) покупки в тюремном магазине продуктов питания и прочих разрешенных предметов — дважды в месяц, при наличии денег на лицевом счету и на сумму, не превышаю-

щую пятьдесят рублей в месяц; 4) дважды в месяц отправлять и получать (в незапечатанных конвертах) письма — только близким родственникам (отец, мать, жена, сын, дочь, сестра, брат); 5) писать в любые инстанции по существу своего дела — не чаще одного раза в три месяца. В компетенции начальника тюрьмы было расширять или сужать эти права, но об этом в правилах не было ни слова, узнали мы об этом уже потом и на своей шкуре.

Наши обязанности были гораздо обширнее, перечислять их полностью я, пожалуй, не стану, это заняло бы слишком много места и времени, но вот главная заповедь: беспрекословно выполнять все распоряжения тюремной администрации, содержать камеру и спальные места в чистоте, а тюремный инвентарь и прочее — в исправности. Самым подробным было перечисление градаций наказаний за нарушение тюремного режима: самое легкое — лишение прогулки на срок до пяти суток, затем — лишение права пользования тюремной библиотекой на срок до двух месяцев, лишение права покупок в тюремном магазине на срок до двух месяцев, лишение права переписки с родными на срок до двух месяцев. Далее следовало: водворение в карцер на срок до пяти суток, в сноске значилось, что за особо злостные нарушения режима начальник тюрьмы, по согласованию с начальником тюремного отдела ГУГБ, может продлить срок пребывания в карцере до пятнадцати суток, и как самое страшное — перевод в одиночную камеру, без права пользования библиотекой, магазином и перепиской с родными на срок до шести месяцев.

Все эти кары нам грозили за нарушение тюремного режима, и как мы вскоре смогли убедиться, это были не пустые угрозы, а самая что ни на есть страшная реальность. Прочли мы эти правила, и каждый молча сел на свою койку.

Самое существенное для меня — переписка с родными. Какое счастье получить живую весточку из дома! Отсутствие даже намека на возможность свидания в тюрьме меня лично нисколько не удивило и, пожалуй, даже не огорчило: не хватало еще моей старухе матери тащиться сюда из Москвы,

чтобы через две решетки и сетки, как это было в камере свиданий Бутырской тюрьмы, увидеть на несколько минут меня в этой дикой униформе, заросшего и изможденного. Да и что я ей сумею сказать? Что я ни в чем не виноват? Она это и так знает, да и надзиратель, услышав крамольные слова, немедленно прервет свидание. Что бы я ни говорил, я для него — опаснейший государственный преступник, покусившийся на все, что честным советским гражданам дорого.

Переписка, библиотека, лавочка и прогулки — это, конечно, хорошо и хоть немного может скрасить эту поганую тюремную жизнь. А она, судя по капитальному состоянию тюрьмы, — всерьез и надолго. Так сидел я на койке, согласно правилам, и предавался всяким криминальным мыслям: хоть в петлю лезь. Но повлиять на все это я не мог и довольно быстро успокоился. Когда же в дверях открылась форточка и надзиратель произнес: «Получайте завтрак», то к дверям я подошел первым.

Тут я явно поторопился: мои стандартные ботинки были великоваты, а поскольку шнурков к ним не дали, то один из «котов» стукнул по полу. Когда я подошел к двери, надзиратель спросил у меня, почему шумлю? Надо бы мне перед ним извиниться или хотя бы смолчать, а я стал качать права: мол, ботинки мне велики, шнурков нет, и иначе я, дескать, ходить не могу. В ответ надзиратель спросил у меня номер моей койки и, записав его, сказал назидательно: «Для первого раза, с завтрашнего дня вы будете на два дня лишены прогулки и тогда научитесь не стучать по полу, а ходить нормально».

Вот тогда я понял, что раздел «О беспрекословном повиновении» в правилах помещен не зря. Правда, я утешил себя тем, что отделался легким испугом — лишением прогулки, а ведь могли бы еще лишить и лавочки, а то и переписки, но потом оказалось, что в течение первого месяца, пока мы числимся на карантине, ни книг, ни лавочки, ни переписки нам и не полагалось.

Выяснилось, однако, что наказали не только меня, а всех пятерых: дело в том, что открывать форточку в окне для проветривания камеры разрешалось только во время нашего

общего в ней отсутствия, а так как я был лишен прогулки, то эти двое-трое суток наша камера вообще не проветривалась. На дворе стоял август, и погода была очень жаркой, поэтому вскоре воздух в нашей камере стал напоминать атмосферу следственной камеры Бутырской тюрьмы в июне 1937 года.

Объявив мое наказание, надзиратель стал раздавать завтрак, состоявший из ломтя (граммов 100—150) ржаного хлеба, довольно приличной порции каши из ячневой сечки и кружки чуть сладковатого чая. Уже около суток в желудках у нас не было ни крошки, так что от завтрака мы не оставили ничего и, все съев, уселись на свои койки.

От неподвижности очень ныло все тело, и немного поразмяться можно было, походив в проходе между койками и стеной — от окна до двери. В этом проходе два человека разминуться без шума точно бы не могли, а что за таким нарушением может последовать, мы уже знали по моему горькому опыту. Поэтому решили ходить по очереди и по одному. Между прочим, нас предупредили, что снимать одежду или обувь с портянками разрешается только перед сном, поэтому прогулки по камере босиком отпадали, и ходить нужно было очень осторожно, чуть поднимая ногу от пола, и так же аккуратно ставить ногу обратно, а иначе наши «коты» могли бы опять стукнуть по полу со всеми отсюда вытекающими последствиями.

Часа через два после завтрака вдруг открылась дверь, в камеру вошел надзиратель и скомандовал: «Встать». Вошел молодой, лет 30—35, военный в тюремной форме ГУГБ, с одной «шпалой» в петлицах (примерно соответствует армейскому капитану) и отрекомендовался начальником тюрьмы. Когда на вопрос, знаем ли мы, где находимся, он получил отрицательный ответ, он сказал, что мы находимся в городе Полтаве, в «срочной» тюрьме ГУГБ НКВД. После этого капитан разрешил задавать вопросы.

На вопрос, когда нам будут разрешены прогулки, ларек, библиотека и переписка, он ответил, что прогулки нам разрешены с завтрашнего дня, а что касается всего остального, то мы здесь в течение месяца будем находиться на каранти-

не, после окончания которого все, кто за это время не будут нарушать тюремный режим, смогут получать все полагающееся по правилам. На вопрос, можно ли написать заявление по существу своего дела, он ответил, что да, по окончании карантина.

Я рассказал об изъятых у меня вещах и упомянул, что за время карантина может истечь срок их хранения. Он, видимо, об этом знал, так как квитанцию на вещи у меня при обыске здесь отобрали, и он ее наверно видел. Немного подумав, капитан сказал, что в виде исключения он мне разрешит написать по этому поводу заявление немедленно. И действительно, почти сразу же после его ухода из камеры, надзиратель вызвал меня в коридор, где я написал заявление и отдал его дежурному.

Узнав номер моей койки, капитан объяснил мне, что я наказан лишением прогулки не столько за стук ботинками по полу, это мне по первому разу могли бы и простить, но главным образом за пререкания с тюремной администрацией, что категорически запрещено. Делать замечания имеет право только тюремная администрация, заключенные же обязаны их беспрекословно выполнять, не задавая никаких вопросов и «не делая никаких разговоров» (так он и выразился: «не делая никаких разговоров»), потому что это будет только усугублять их вину, и администрация вынуждена будет ужесточить наказания. С этими словами начальник удалился, и мы смогли снова сесть на свои койки. Начались длинные, тягучие дни карантина.

Надо сказать, что питание в условиях сидения в теплой камере и ничегонеделания было сносное: на обед — довольно вкусный жирный суп. В первом, как правило, плавали либо кусочки колбасы, либо рыба треска. Первое мы все съедали до конца, чего нельзя сказать о втором: почти всегда была каша из ячневой сечки, очень редко давали пшенку или овсянку, а еще реже — гречку, причем оставлять в миске ничего не разрешали, выкидывать в парашу тоже, хоть давись, но съедай все. Через неделю эта сечка так приелась, что и глядеть на нее мы уже не могли. Глупые, мы не знали,

как в лагере после 12—14-часового рабочего дня и пребывания на лютом, колымском морозе, еще будем вылизывать каждую крошку такой каши с наших мисок. На ужин опять была такая же каша с кружкой чая. Но ничего не поделаешь, первые дни мы эту кашу volens-nolens*, но ели.

Следует сказать несколько слов и об оправке: на нее нас выводили два раза в день, после подъема и после ужина. При открытии двери и команде надзирателя: «На оправку», дежурный по камере должен взять парашу и идти в туалет, а остальные — следовать за дежурным, не стуча «котами» по полу коридора. При входе в туалет каждому выдавалось по кусочку примерно восемь на восемь сантиметров чистой, но довольно жесткой бумаги. Первым делом выливалась и ополаскивалась под краном параша, а затем уж можно было и садиться. Использованную и неиспользованную бумагу полагалось бросать не в «очко», а в специальную урну, стоявшую у входа. После окончания оправки надзиратель пересчитывал бумажки в урне, и если хоть одной не хватит, то тогда целое ЧП и скандал! Ведь посредством этой бумажки, в принципе, можно передать сообщение в другую камеру, которая будет оправляться после нас!

Но самое главное издевательство заключалось в умывании. В небольшой, непроветриваемой камере нас было пять человек. Окно и форточка все время закрыты наглухо, август в Полтаве был всегда очень жарким, снимать днем гимнастерки воспрещалось, и несмотря на то что мы все время обтирались и обмахивались полотенцами, пот покрывал все тело, и хоть чуть-чуть смыть его с лица и шеи можно было только на оправке. Но не тут-то было: хотя из крана в углу туалета непрерывно текла вода, которой мы ополаскивали парашу, умываться самим под этим краном запрещалось. Когда мы входили в туалет, дежурный из другого крана наполнял небольшого размера, литра три-четыре, рукомойник. Только этой водой мы, все 5 человек, и имели право умываться. Так как носик рукомойника довольно сильно протекал, а добавлять воду в рукомойник надзиратель, наверно, не имел пра-

* Волей-неволей *(лат.)*.

ва, то все умывание заключалось в возможности плеснуть себе на лицо две-три пригоршни воды, с расчетом, чтобы рукомойника с текущим носиком хватило на всех пятерых человек, а если кто задержался на оправке (а обычно это был самый пожилой из нас — Вознесенский, кроме всего прочего еще страдавший желудком), то оставленная для него вода вообще вся вытекала и даже ополоснуться ему не удавалось.

В общем надо сказать, что основа режима Полтавской тюрьмы заключалась в прямом и утонченном издевательстве над личностью зэка. Формально все правила выполнялись, но кормили так, чтобы пища тебе как можно скорее опротивела; ведь надо же возить в Полтаву из Архангельска треску, еще откуда-то — ячневую сечку. Куда дешевле бы кормить местными продуктами, но нет, больно жирно будет для зэков: пусть жрут протухшую треску и, как мы ее называли, резиновую кашу. Вода в туалете полной струей зря льется из крана, но на всех пятерых для умывания предоставляется только небольшой рукомойник с водой, и больше ни-ни. Окно в камере забрано решеткой, снаружи еще козырек, закрытый сверху сеткой, на улице жара градусов тридцать, в камере испарения от пяти сидящих в ней людей, как в парной бане: а не то что окно, даже форточку открыть нельзя! А вдруг зэки в камере этажом выше попытаются установить с нами связь через прибитый к стене козырек и плотную металлическую сетку. Каким образом — неизвестно, ведь бумаги, карандаша или бечевки, на которой можно было бы опустить сверху записку, ни у кого быть не может, шмон здесь еще более основательный, чем в Бутырках. И вот задыхаемся мы в этой парилке, а тут еще меня наказали лишением прогулки, а это значит: раз в камере во время прогулки остается зэк, то открывать даже форточку и то нельзя, а вдруг он попытается через нее установить связь с другими камерами?

Это, конечно, далеко не полный перечень всех идиотских издевательств, которым мы подвергались в Полтаве, в тюрьме ГУГБ. Единственный из нас, кто считал, что ему повезло — это лежавший на пятой койке, около окна, прибывший несколько раньше нас троих бывший старый лагерник — Акопа Руста-

мян, о нем я позже расскажу подробно. «Это еще все очень хорошо, кормят достаточно, сидим в тепле, на работу не гонят, не то, что в лагере, повезло нам непрестанно», — повторял он в ответ на наши сетования о строгом тюремном режиме. Как впоследствии оказалось, был он более чем прав.

Но вот, наконец, и вечерняя поверка: вошел в камеру корпусной, мы все встали, и он нас пересчитал. «Раз, два, три, четыре, пять» — говорил ему дежурный надзиратель, показывая на каждого из нас, между прочим, они вполне могли бы, не заходя в камеру, пересчитать всех нас через глазок. Через некоторое время лампочка под потолком мигнула три раза — отбой. Слава богу, можно снять насквозь пропотевшую «шкуру»-гимнастерку, брюки с портянками и «котами» и ложиться на койку. Так за день сиденья заныла спина, что еле-еле дождались мы этого момента. Верхнюю одежду — на спинку койки, в ногах, ложиться на правый бок, лицом к двери, руки поверх одеяла. К ночному свету привыкли еще в Бутырках. Так и уснули, впервые за долгое время на мягкой постели и чистом белье. Вот так и кончился первый день в Полтавской тюрьме.

На другой день все это повторилось, с той лишь разницей, что мои товарищи примерно в полдень отправились на прогулку, а я остался сидеть на койке один, в нашей душной запаренной камере. Да и прогулка-то была не ахти какое удовольствие: дворик 8 х 8 метров, со всех сторон огорожен пятиметровым деревянным сплошным забором. Посредине дворика надзиратель. Ходить против часовой стрелки по периметру, гуськом, руки назад, голову опустить. Останавливаться, а тем более разговаривать друг с другом запрещается. На заборе, около входа, песочные часы. Гулять до двух пересыпаний песка в часах. Песок второй раз высыпался, и звучит команда: «Прогулка окончена». Дверь в заборе открывается, и все, марш в камеру. Но и это блаженство: ведь солнышко, сравнительно свежий (видно, дворик недавно построили, еще сильно пахнет краской и асфальтом) воздух, конечно, не идущий ни в какое сравнение с атмосферой в камере.

2

Поскольку в камере делать было абсолютно нечего, то естественно, что первые дни пребывания в ней прошли в более обстоятельном знакомстве ее обитателей друг с другом.

Койка № 1 — Шалва Багиевич Цитлидзе. Грузин, старый коммунист. По специальности — инженер-строитель. До ареста работал начальником строительства стекольного завода в Кутаиси. Жена его тоже член партии. Хотя она с ним и не развелась, что вынуждены были делать почти все жены арестованных в 1937 году более-менее крупных коммунистов для того, чтобы власти оставили в покое хотя бы их с детьми, но после ареста она ему не писала. Тем не менее письма из дома и даже денежные переводы Шалва получал регулярно. Писали ему и переводили деньги сын Леван, названный так в честь Льва Троцкого, и дочь Тамара, оба ученики старших классов средней школы.

Цитлидзе участвовал еще в боях с грузинскими меньшевиками за установление советской власти в Грузии. После изгнания меньшевиков Шалва был одно время заместителем председателя Тифлисского ревкома. Впоследствии он попал в троцкистскую оппозицию и даже несколько раз подписывал какие-то «платформы», но к концу 20-х годов от активной политической работы отошел, поступил учиться, окончил строительный институт, женился, работал на среднеруководящих работах и жил как обычный партийный чиновник, полностью поддерживающий генеральную линию. Но подписанных им «платформ» не забыли, и в 1937 году, после февральско-мартовского пленума ЦК, Цитлидзе из кресла начальника строительства Кутаисского стекольного завода перебрался на табурет следственной камеры, где после непродолжительного следствия (дело-то кристально ясное — «платформы» подписаны, подпись не оспаривается) получил свои восемь лет тюремного заключения по особому совещанию НКВД за «контрреволюционную троцкистскую деятельность», т. е. оказался он моим «полным коллегой».

Койка № 3 — Дмитрий Петрович Вознесенский. Обаятельнейший человек. Пожалуй, что главным несчастьем в его жизни было то, что он опоздал родиться на свет лет на пятьдесят-семьдесят. Это был типичный русский интеллигент конца XIX — начала XX веков. Человек редкой порядочности и высочайшей культурности. По происхождению — из разорившихся мелкопоместных дворян.

С Дмитрием Петровичем мы были неразлучны с августа 1937 по октябрь 1939 года, когда он умер от истощения и дизентерии. Умер он буквально у меня на руках в РУРе (штрафная рота усиленного режима) лагеря прииска Скрытый на Колыме. Перед смертью он очень просил меня, если я переживу эти кошмары и окажусь на воле, обязательно увидеться с его женой Елизаветой Петровной и дочерьми и передать им, что до конца своих дней он любил их и величайшим счастьем своей жизни считал то, что когда-то мог быть им нужным и полезным.

Мне удалось исполнить его просьбу через десять лет после освобождения. В 1956 году я был реабилитирован и приехал в Москву на длительный срок устраивать свои дела с институтом, который я в 1936 году так и не успел закончить из-за отправки в Испанию. Я узнал номер телефона старшей приемной дочери Дмитрия Петровича — артистки Малого театра Натальи Сергеевны Карпович-Мастеровой — и позвонил ей на квартиру. Когда она подошла к телефону, я первым делом осведомился, жива ли Елизавета Петровна, ее мать. Узнав, что она уже давно умерла, я спросил, не интересует ли Наталью Сергеевну судьба Дмитрия Петровича Вознесенского? Она резко ответила: «Нет» и повесила трубку. После этого я больше никогда не предпринимал никаких попыток с ней связаться, исключив ее из числа людей, достойных уважения.

Самого Дмитрия Петровича я могу назвать своим духовным отцом, он оказал на формирование моего мировоззрения очень большое влияние. Самое главное, что он внушил мне: нельзя делить людей на друзей и врагов, которых, если они не сдаются, надо уничтожать. С его помощью я понял,

что хороших людей всегда гораздо больше, нежели плохих. И чем больше я живу на свете, тем больше в этом убеждаюсь, и одной из самых больших удач своей жизни считаю встречу с Дмитрием Петровичем.

Койка № 4 — Сергей Леонидович Смирнов. На четвертой койке нашей камеры поместили бывшего парторга литейного цеха серого чугуна завода им. Сталина, ныне им. Лихачева, в Москве — Сергея Леонидовича Смирнова. Высокого роста, очень худой и изможденный, Смирнов считал причиной своего ареста выступление на одном из партсобраний в начале 1930-х годов. Будучи связан с деревней, где у него было много родни, Сергей воочию видел и сильно переживал все беды, внезапно обрушившиеся на русское крестьянство. Он считал преждевременной столь жесткую сплошную коллективизацию сельского хозяйства, о чем и сказал в довольно мягких выражениях на одном из партсобраний в цеху. Его тогда резко одернули за оппортунизм, но потом, после его чистосердечного раскаяния, вновь стали оказывать полное доверие: послали на целый год в США, в Детройт, на заводы Форда на практику, а по возвращении даже избрали секретарем цеховой парторганизации. Казалось бы, все шло хорошо, но наступил 1937 год, и кто-то из тех, «кому полагается», нашел на Смирнова «досье». И из кабинета секретаря парторганизации он попал в камеру Бутырской тюрьмы.

На допросах с ним обращались либерально, от факта своего контрреволюционного выступления на собрании он и не пытался отказываться, хотя и сильно сожалел о глупых словах. Свои восемь лет тюремного заключения он, как и мы, все же получил.

Все мы, находящиеся в камере, в глубине души считали наше здесь нахождение временным и полагали, что этот кошмар как внезапно наступил, так внезапно и окончится. Лишь Смирнов не питал никаких иллюзий. С мрачным видом он всегда повторял, что все свои сроки мы отбудем полностью и что, если еще не добавят, то после отбытия мы станем не второстепенными, а более чем третьестепенными

гражданами, то есть получим ограничения как в проживании, так и в работе. Что, между прочим, и сбылось.

Акклиматизировавшись в нашем коллективе и поверив, что среди нас нет провокаторов, Сергей стал разговорчивее. Вначале он просто сидел на койке, погруженный в свои невеселые думы, и часто подолгу рассказывал нам об американской жизни и о заводах Форда в Детройте, где он пробыл около года.

Койка № 5 — Акопа Александрович Рустамян. Последним в нашу камеру, на койку № 5, у самого окна, поместили армянского колхозника Акопу Рустамяна. Низенького роста, очень щуплого телосложения, с почти седыми волосами, Акопа был совершенно безграмотен. По-русски он научился разговаривать, только попав в первый раз в тюрьму. Он уже сидел вторично, но более-менее свободно читал и писал только по-армянски. Во время революции 1917 года он был мобилизован в ополчение армянских националистов-дашнаков. Он и понятия не имел об их программе, но под угрозой расстрела на него надели шинель и фуражку с какой-то кокардой, дали винтовку и велели в кого-то стрелять. Он и стрелял, но так боялся своей винтовки, что когда нажимал на спуск, закрывал глаза. После разгрома дашнаков Акопа вернулся в свою деревню. Местные власти, конечно, хорошо знали, что это за политический деятель, и не трогали его. Акопа женился на бедной армяночке и от зари до зари мирно занимался тяжелым крестьянским трудом. Родилось у них двое детей: сын Цалак и дочь Мушаник (по-русски — Роза), и так он мирно жил. По первому призыву вступил в колхоз, благо имущества у него было столько, что обобществлять не жалко. Работал Акопа в колхозе так же добросовестно, как на своем поле. Это был настоящий крестьянин-труженик, который ни о чем не думал, кроме своего труда и своей семьи. Лет двадцати пяти он с грехом пополам научился читать и писать по-армянски, но в своей жизни не прочел до конца ни одной книги.

Так бы он мирно и жил, но однажды ночью (году в 31-м или 32-м) к нему в окно постучали. Акопа открыл дверь

и узнал бывшего командира по дашнакскому отряду. Тот был весь в грязи, голодный и измученный, и попросился у Акопы переночевать. Обладая добрым и отзывчивым сердцем, Акопа не мог отказать в приюте голодному человеку, тем более знакомому, да еще и армянину. Акопа пустил его в дом, накормил, обсушил его одежду и уложил спать. А утром пришли из ОГПУ и забрали гостя, а заодно и Акопу.

3

Время шло, и тюремный режим мы научились более-менее нормально соблюдать. Духота в камере становилась невыносимой. Окно выходило на солнечную сторону, и жаркие лучики полтавского солнышка проходили в нашу камеру через промежуток между стеной и козырьком, делая пребывание в ней невыносимым. От жары и отсутствия воды все мы покрылись прыщами.

И вот однажды в нашей камере блеснул действительно луч солнца: открылась дверь, и к нам в сопровождении коридорного надзирателя и корпусного вошла замечательной красоты женщина в белом халате. Она ласково поздоровалась с нами, представилась тюремным врачом и осведомилась, не имеем ли мы каких-либо жалоб на санитарное состояние. Мы все единодушно пожаловались на духоту и отсутствие воды при оправке, продемонстрировали свои прыщи. Она с сочувствием нас выслушала и обещала поговорить с тюремной администрацией.

И действительно, дня через два наступило для нас облегчение: надзиратель стал дважды в день примерно на час открывать нашу форточку. Нам разрешили днем снимать гимнастерки и находиться в нательных рубашках, что тоже было большим облегчением, так как плотные сатиновые гимнастерки в такой духоте буквально жгли тело. Но с водой, по-видимому, ничего сделать не удалось. На такой либерализм, как разрешение умываться свободно текущей из крана водой, администрация пойти не решилась. Спасибо

нашему чудесному доктору и за то, что она для нас сделала, ведь в те ужасные времена для таких действий нужно было недюжинное гражданское мужество. И земной ей поклон за сочувственный взгляд, которым она нас одарила.

Надо сказать, что наши надзиратели обычно смотрели на нас волками и буквально не давали ни минуты покоя, придираясь ко всему, что можно и что нельзя, как если бы мы были их злейшими личными врагами. Коридорные были вышколены идеально и даром деньги не получали: ни минуты не сидели они на своем месте, а бесшумно ходили по мягкой дорожке в коридоре и непрерывно открывали глазки камер. В небольшом, камер на двенадцать, коридоре их было двое. Как правило, какое-нибудь нарушение они всегда находили. Например: «Койка № 5, подойдите!» Акопа подходит, и надзиратель с самым серьезным видом читает ему нотацию: «Пятая койка, не сидите согнувшись», — или еще что-то в этом роде. Особенно допекали они ночью: за день устав сидеть на койках, мы ждали отбоя, чтобы, наконец, спокойно вытянуться под одеялами. Но не тут-то было: только задремлешь, открывается форточка — и: «Вторая койка, не держите руки согнутыми, вытяните их вдоль одеяла!».

Фамилий или имен надзирателей мы не знали, а поэтому в разговорах между собой давали им клички. По ним можно было судить о наших «симпатиях» к надзирателям: «негодяй», «мерзавец», «скотина», «боров» и пр. Начальнику тюрьмы, с моей легкой руки, присвоили кличку «гонококк». Только одного корпусного, который как-то меньше издевался над нами, мы прозвали Як, это потому что в ответ на какой-нибудь наш вопрос он всегда переспрашивал: «Як?».

Долго мы раздумывали, как бы окрестить нашего милейшего врача. Ее помощника, фельдшера — хохла с обвислыми усами и обритой головой, — за грубость и хамство мы окрестили «эфиоп», а над кличкой врача призадумались: назвать «ангел», «красавица», «радость» и как-то еще в этом духе считали тривиальным. С подачи Дмитрия Петровича мы назвали ее «Клавдия Михайловна» — имя первой любви Вознесенского еще в кадетском корпусе; он этим именем очень

дорожил, и когда предложил так назвать нашего чудесного доктора, никто возражать не стал.

Вскоре я получил свое первое крещение: первое серьезное наказание — карцер. Это случилось так: через десять дней нашего пребывания в тюрьме наступил банный день, и вошедший в камеру Як велел нам собрать постельное белье и сложить его в стопочки, а самим собираться в баню. Я что-то закопался, и Як начал меня торопить: «Быстрее, быстрее». Пребывая в ожидании бани, в которой можно будет отмыть, наконец, десятидневные пот и грязь, в хорошем настроении и без умысла его обидеть, я ответил поговоркой, что-то вроде: «Быстро, мол, только кошки делаются, да и то слепые родятся». Он ничего не сказал, а только записал номер моей койки в своей книжке.

Надежды на то, что удастся толком помыться, оказались тщетными. Привели нас в баню, заставили в предбаннике раздеться догола и аккуратно сложить свои вещи, завели в моечную, где каждый стал под отдельный душ. Как я уже упоминал, душ был с центральной наводкой, то есть вода подавалась централизованно, с диспетчерского пульта. Когда мы встали под душ, нас для начала окатили холодной водой. С возгласами «Холодно!» мы все выскочили. «Становитесь на места, — скомандовал банщик, — сейчас отрегулирую». Все снова стали под душ, и на этот раз нас окатили буквально кипятком. Мы снова соскочили с криком «Горячо!». Нам снова велели встать, и эти циклы повторились раза три. После этого банщик в окошко изрек: «На вас не угодишь. Ваше время кончилось, марш в раздевалку». Так и прошла наша вторая баня.

В отличие от первой, на этот раз воду нам банщик так и не отрегулировал, и мы отправились одеваться, так и не смыв толком накопившейся у нас за десять дней грязи и пота. Надев чистое белье и прихватив с собой постельный «приклад», мы возвратились в камеру. Но какая ни была баня, а почувствовали мы все-таки некоторое облегчение, хоть белье чистое, а не пропитанное насквозь потом.

На другой день перед завтраком в нашу камеру вошел Як и велел мне собираться. Я надел бушлат и фуражку (несмо-

тря на теплую погоду, на улицу нас без бушлатов и фуражек не выпускали), и он повел меня через двор в другой корпус. В коридоре дежурный надзиратель отнял у меня бушлат и почему-то велел снять также и портянки. Завел меня Як в маленькую камеру, в которой окно наружу было наглухо забито и кроме табурета и параши ничего не было, и объявил: «По распоряжению начальника тюрьмы, за злостное нарушение тюремного режима вы водворяетесь в карцер на трое суток». Когда я поинтересовался, за что же меня, собственно говоря, наказывают, Як коротко ответил: «За кошек» и вышел из камеры.

Вот таким образом я впервые в жизни оказался в карцере. Правда, как потом выяснилось, это еще был не настоящий карцер (настоящие меня еще поджидали впереди), а обычная камера-одиночка, приспособленная под карцер. Время было еще теплое, и если бы не резко сокращенный рацион, триста граммов хлеба и три кружки кипятка в день, то, несмотря на жесткость сидения, пребывание в карцере было бы вполне терпимым: наружная стена выходила на северную сторону, здесь был только я один, и потому не было такой духоты, как в общей камере. Сел я на табурет и задумался, благо времени для этого было более чем достаточно. О чем думал, полагаю, писать не надо, каждый, кто сумеет поставить себя на мое место, поймет. Вскоре открылась форточка в двери и надзиратель подал мне ломоть хлеба, суточную норму, и кружку теплой воды. После обрыдлой в камере ячневой сечки я особенно голоден не был, поэтому решил (и во время своих впоследствии довольно частых пребываний в карцерах полтавской тюрьмы неукоснительно этого придерживался) всю пайку — триста граммов — делить пополам: в первые сутки съедать не более половины пайки, во вторые всю пайку, а на последние третьи сутки у меня останется четыреста пятьдесят граммов хлеба.

Позавтракав примерно пятьюдесятью граммами хлеба и положив обеденную и ужинную порции на подоконник, я начал свое «сидение». Думать старался только о чем-либо приятном, про себя, потому что глазок открывался почти непре-

рывно, наигрывал любимые мелодии Шопена, читал стихи, которых я знал наизусть довольно много, вспоминал особенно радостные моменты пребывания в Испании и т. д. В обед мне дали еще кружку совсем горячей воды. Эту воду я тоже заел маленьким ломтиком — пятьюдесятью граммами хлеба хлеба. К вечеру вдруг послышалась музыка: где-то поблизости включили уличный громкоговоритель. Но начальство быстро обнаружило этот непорядок, ведь зэки должны находиться в абсолютной изоляции от внешнего мира; часа через два музыка прекратилась и больше не возобновлялась.

Никаких коек в карцере не полагалось. С шести утра и до двенадцати ночи можно было либо чуть слышно ходить по камере (пять шагов в длину и три в ширину), либо сидеть на табурете. В двенадцать ночи в камеру вносился деревянный ящик, который мы впоследствии окрестили «гробом», на котором наказанный обязан был лежать до шести утра. В шесть утра «гроб» убирался, и на этом отдых заканчивался. Ходи по камере или сиди на табурете до двенадцати ночи. Так кончились мои первые карцерные сутки.

Свой хлебный рацион выполнял я скрупулезно: первый день сто пятьдесят граммов, второй — триста, третий — четыреста пятьдесят, поэтому к концу срока, хотя я и был голоден, но не ослабел, и когда меня выпускали из карцера, легко поднял тяжелую, сварную парашу и без отдыха донес ее до туалета, правда, я ею почти не пользовался, потому что от такого рациона желудок не перенапрягался.

И вот я опять «дома», в родной пятнадцатой камере, со своими друзьями. Рассказал я им о жизни в карцере, привел их в восторг своим сочинением, и жизнь наша потекла по-прежнему. Окончился срок нашего карантина. Нам объявили, что отныне мы можем пользоваться всеми тюремными благами, как то: библиотекой, ларьком и перепиской с родными.

Раз в десять дней открывалась в двери форточка, корпусной подзывал каждого в отдельности и вручал под расписку по одной книге. Мы были предупреждены, что после каждого прочтения все книги тщательно просматриваются, и если будут обнаружены какие-либо следы сделанных отметок, то

это будет рассматриваться как злостная порча тюремного имущества и попытка связи с другими камерами, в результате чего, как минимум, вся наша камера будет лишена права пользования книгами на срок до двух месяцев. Каждому из нас корпусной вручал по одной книге, внутри камеры мы, конечно, обменивались ими, так что получалось в общем пять книг на десять дней, что было вполне терпимо.

Книги давались безо всякого выбора, самые разнообразные, от описания паровоза «ИС» или антологии узбекских сказок до «Записок террориста» Савинкова-Ропшина, или «Дней» и «20-го года» Шульгина. На воле такие книги можно было бы достать только в особом зале Ленинской библиотеки, а тут их свободно давали зэкам, видимо, тюремные библиотеки комплектовались из конфискованных у арестованных книг.

И вот мы зажили по-новому. Всякие разговоры в камере прекратились: за месяц карантина успели наговориться всласть, и каждый из нас знал обо всех остальных всю их подноготную. Все так оголодали по чтиву, что сразу же уткнулись в свои книги. Даже неграмотный Акопа Рустамян, шевеля губами, тщательно разбирал на 80% непонятные ему слова книжных фраз. И к тому же ведь надо было торопиться, через десять дней все книги заберут на обмен. После изъятия прочитанных книг и до получения новых обычно бывал перерыв дня на два-три. Тюремная администрация тщательно изучала сданные нами книги в поисках каких-либо пометок, и если их не обнаруживала, то в камеру приносили новые книги.

Надо сказать, что тут администрация тюрьмы действовала честно. За все время только один раз нас наказали: в книге, сданной Смирновым, глазастые контролеры обнаружили на одной странице след нажатия ногтем. Следствие вел сам Як. Вместо того чтобы наказать нас на полагающиеся два месяца, либеральный Як, поняв, что эту отметку пропустили при приемке книг в библиотеку, все же наказал нас, всего на десять дней, обосновав это тем, что каждый зэк, обнаружив в книге непорядок, обязан тут же сдать ее дежурному надзирателю, а не дочитывать до конца.

Те, у кого на лицевом счету имелись деньги, могли три раза в месяц покупать в тюремной лавочке продукты по списку, утвержденному начальником тюрьмы. Разрешались: белый хлеб, не более 2 кг, колбаса полукопченая, не более 1 кг, сахар-песок, не более 1 кг, дешевые папиросы-«гвоздики», не более 5 пачек, и обязательно сырой лук, не менее 1 кг, но всегда отличного качества. По-видимому, администрация боялась, что зэки могут здесь от однообразного безвитаминного питания заболеть цингой, и поэтому, если он в своей заявке не упомянет лук, то ему исключат колбасу или сахар, но включат лук.

До ареста я не ел лука ни в каком виде, даже из котлет выковыривал мельчайшие его кусочки, здесь же мне пришлось его полюбить, и в конце концов я так к нему привык, что свободно съедал по два и более килограммов лука в десять дней. Для приобретения продуктов в лавочный день каждому имеющему на счету деньги (а имели их все, даже «незаможному»* Акопе после установления переписки с домом сын Цолак присылал по тридцать рублей в месяц; а все остальные регулярно получали из дома максимум по пятьдесят рублей в месяц) выдавался бланк, на котором зэк писал наименование и количество продуктов, которые хочет приобрести. Часа через два-три эти продукты приносились в камеру и выдавались хозяевам, и начиналась «гужовка». В одном отношении эта лавочка выходила нам боком: четверо из нас были некурящие, курил только Сережа Смирнов. Все время сидения в следственной тюрьме и в нашем карантине Сергей курева не имел и очень изголодался по табачку.

Сейчас же, получив сразу пять пачек папирос, он блаженствовал — и пришлось нам, некурящим, дышать, кроме собственных испарений, еще и табачным дымом. Но все это, конечно, с лихвой компенсировалось тем, что вместо обрыдлой ячневой сечки можно было полакомиться полтавской колбасой и в сладковатый казенный чаек добавить от пуза сахара.

Два раза в месяц, согласно правилам, нам разрешалось писать домой, но только самым близким родственникам. И по одному письму получать. Для этого требовалось написать

---

* Бедняку *(укр.)*.

заявление начальнику тюрьмы. В заявлении указывалось: фамилия, имя, отчество, подробный адрес и степень родства корреспондента. Я указал в заявлении отца, мать и двух родных сестер. Сестер мне вычеркнули, а с отцом и матерью переписку разрешили. Писать можно было только о самочувствии и больше ни о чем. Текст писем, кроме адреса, разрешалось писать только простым карандашом. Для написания адреса все зэки по очереди вызывались в коридор, давать в камеру чернила и ручки с перьями почему-то побаивались, и писали адрес чернилами, стоявшими на столе у надзирателя.

И вот наконец наступил долгожданный день переписки. Надзиратель открыл форточку двери, сказал: «Койка один, подойдите» и дал ему конверт и листок бумаги, чуть меньше ученического, а потом то же самое и всем остальным. Карандаш на всю камеру давали один, впоследствии, когда нам разрешили покупать в лавочке тетради и карандаши, они в дни переписки нам уже не выдавались. Каждый, по очереди, писал свое письмо. Текст был примерно одинаков: «Здравствуйте, дорогие... Я жив и здоров и чувствую себя хорошо. Нахожусь в городе Полтаве и мой адрес п/я № ... Погода у нас стоит хорошая. Обо мне не беспокойтесь. Мне можно переводить по почте не более 50 рублей в месяц». Вот и все, что разрешалось нам писать. В последующих письмах уже ни адреса, ни просьбы о денежных переводах не повторялись, и поэтому письма стали еще короче. Письма сдавались в незапечатанных конвертах и, конечно, тщательно проверялись тюремной цензурой. Ответные письма мы получали тоже раскрытыми, и так как наши родные не знали правил тюремной цензуры, то зачастую не только отдельные слова, но даже и целые строчки бывали намертво зачеркнуты черными чернилами.

Получение писем из дома было самой большой радостью в нашей жизни. Но однажды, получив очередное письмо, я был смертельно напуган. Не зная наших порядков, мать написала мне, что одна девушка из моих однокашников по институту, Зоя Р., с которой мы были в очень хороших отношениях, узнав, что я жив, здоров и нахожусь в Полтаве,

попросила у матери мой адрес, чтобы написать, и мать просила разрешения дать Зое мой адрес. До чего же они на воле глупы и наивны! Она, дурочка, не понимала, что только одно упоминание ее фамилии в моем личном деле может стоить ей потери свободы на долгие годы, а до меня ее письмо все равно не дойдет, поскольку она не была мне ни женой, ни близкой родственницей.

Как быть? Как, не нарушая правил цензуры, дать понять матери, чтобы она в своих письмах даже не упоминала ее имени? И я ответил ей примерно так: «Дорогая мама! Прошу тебя даже не упоминать больше имени этой дряни и проститутки. Я еще удивляюсь, как у нее хватило наглости, после того как она там шлялась с каждым встречным и поперечным, звонить тебе по телефону?» — и так далее. Я знал, что мама, по простоте душевной, примет все это за чистую монету и передаст Зое, да еще и со своими комментариями, и что я смертельно обижу эту чудесную, благороднейшую девушку, не убоявшуюся ничего, лишь бы своим письмом облегчить мою тяжелую участь. Но другого выхода у меня не было. Такой жертвы я принять не мог. Ведь не мог же я поставить под удар судьбу такого человека, как Зоя!

Много лет спустя, уже после освобождения из заключения, я, будучи в Москве, с большим трудом сумел уговорить Зою встретиться со мной. Встретились мы на Чистых прудах, куда она пришла с мужем. У них уже был взрослый сын, и она очень неохотно согласилась на эту встречу. Я очень подробно объяснил им мое положение в начале 1938 года и причины моего столь жестокого поступка. Она очень долго плакала, да и мы с ее мужем чувствовали себя не в своей тарелке

4

Пользуясь теперь всеми благами, мы старались скрупулезно выполнять все правила тюремного режима. И все же это нам не всегда удавалось, к чему-нибудь наши надзиратели да придерутся. Как-то во время прогулки я, задумавшись,

машинально сплюнул на землю. Прогулочный надзиратель тут же спросил номер моей койки.

На следующее утро после поверки в нашу камеру вошел Як и велел мне идти с ним. Он повел меня через двор в одноэтажный флигель; дежурный открыл дверь одной из камер, и мы с Яком вошли. Это был опять карцер, но на этот раз настоящий: четыре шага в длину, три в ширину, посередине наглухо заделанная в бетонный пол тумба для сидения, в углу прикована цепью на замке к стене параша, и больше ничего. Окон, даже забитых, нет и в помине, лишь над дверью забрано решеткой небольшое окошечко, через которое проникает в камеру тусклый свет от коридорной лампочки. Температура бодрящая: на полу около наружной стены даже прихваченная льдом лужица. Дело было уже зимою — не то в конце декабря, не то в конце января. В коридоре надзиратель сидит в полушубке и валенках, Як — в шинели, а меня, по уставу, заставили снять бушлат и портянки и оставили в сатиновой гимнастерке, таких же брюках, в нательном белье и в «котах» на босу ногу. Карцер — это как бы арест в квадрате, по сравнению с ним находиться в обычной камере это все равно что быть на воле.

Заведя меня внутрь, Як достал из кармана какую-то бумажку и зачитал: «За злостное нарушение тюремного режима и антисанитарное поведение во время прогулки водворить в карцер сроком на пять суток». Сволочи, за что дали «высшую меру»? Як вышел, лязгнула запирающаяся дверь, и я оказался один в этом холодном каменном мешке. Тут-то я и начал постигать настоящую кузькину мать. Подошел, пощупал уголок печи, выступавший в камере, — чуть тепленький. Снаружи мороз градусов пятнадцать, печи в карцере протапливались только через день, а ведь по тюремным законам зэки должны находиться в нем без бушлата и без портянок. Замерз я, конечно, очень быстро. Начал ходить по камере, сесть на тумбу нельзя, холодная как лед, хоть и деревянная. Открылась форточка в двери: «Арестованный, не стучите ботинками. Будете нарушать тишину, продлят срок ареста».

Пришлось утихомирить свою прыть. Вскоре опять открылась форточка: «Арестованный, получите пищу». Рацион прежний: триста граммов хлеба и три кружки теплой воды в сутки. Понимая, что в таких условиях к концу срока я могу окончательно потерять силы и буду выглядеть в глазах этих негодяев совершенно беспомощным, я решил опять установить строгий режим питания: первые два дня по 150 граммов хлеба, третий день — 300, а четвертые и пятые сутки — по 450. Как ни бурлило пузо, но я имел достаточно характера стойко выдерживать этот режим, да еще и помогала злость на этих извергов: не увидят они моей слабости, как бы этого ни хотели.

Хоть кипяток был действительно кипятком. Выпил я его, обжигаясь, заел крохотным кусочком хлеба и вроде бы немного согрелся. Ходил-ходил, вернее еле-еле шаркал ногами, чтобы не создавать шума, до тех пор, пока ноги почти не отнялись. Что делать? Сесть? Тумба как лед. Но куда денешься, на пол-то ведь не сядешь. Он бетонный, еще холоднее. Хочешь не хочешь, пришлось садиться на тумбу. Подложил под себя ладони и сел на них, все вроде не так холодно. Ладони закоченели, но тумба вроде стала теплее. Потом приспособился: на одну ладонь сядешь, другую греешь за пазухой. Таким образом я эту тумбу своим теплом постепенно согрел до того, что уже можно было скрепя сердце сидеть и без ладоней. Но другая беда: встанешь походить, чтобы согреть ноги, которые, когда сидишь на холодном полу, коченеют, — тумба остывает, опять ее греть надо. Кое-как установил режим: сколько шагов сделать, сколько времени сидеть на тумбе. А печь уже совсем остыла — видно, топили ее только вчера, а как позже выяснилось, позавчера. К вечеру послышался стук дров и печь стала медленно нагреваться. Тем временем в камере становилось все холоднее. Лужица в углу уже совсем замерзла. Сижу я на тумбе, ведь до чего выносливая скотина человек, ко всему привыкает, даже к этим собачьим условиям, как-то уже не так остро чувствую холод, и думаю свои невеселые думы.

Надзиратель в коридоре уже начал протапливать печь, общую на две камеры и коридор, но в камере становилось

все холоднее: видно, мороз крепчал. Несмотря на мои усилия хоть как-нибудь согреться, у меня зуб на зуб не попадал и все тело била мелкая дрожь. Думать о чем бы то ни было уже не хватало сил, и я, тупо уставившись в глазок двери, сидел на своей тумбе, либо почти бесшумно шаркал закоченевшими ногами по полу камеры, передвигаясь по ней как тень. Вскоре надзиратель подал мне ужин — кружку кипятка. Я настолько замерз, что даже не замечая его горячести, буквально проглотил его залпом. Сперва почувствовал приятное тепло, но вскоре стал мерзнуть еще больше, чем прежде. Но самые «ягодки» наступили позднее, к отбою.

Надзиратель открыл дверь и втащил в камеру ящик — «гроб», о котором я писал выше, и приказал: «Ложитесь на ящик и не вставайте до подъема». Ящик, по-видимому, хранился во дворе и промерз насквозь. Когда я на него улегся, на наиболее узкую часть, шириною примерно 70 сантиметров, меня буквально пронзило холодом. Я вскочил, не зная, что делать. Открылась форточка, и надзиратель тихо произнес: «Арестованный, после отбоя с постели (так он, мерзавец, и назвал этот проклятый ледяной гроб — «постель»!) вставать нельзя. Ложитесь или будете наказаны». Понимая, что это не пустые слова, я снова лег, но, как я ни крепился, более одной-двух минут на одном боку улежать все же не мог. Несмотря на усталость, вздремнуть не удалось. Лишь незадолго до подъема, часов в 6 утра, когда я своими боками немного согрел ящик, да и печь все же топилась, я порой на некоторое время, полагаю, что не более чем минут на десять-пятнадцать, впадал в полузабытье, из которого меня выводил только леденящий холод в боку, на котором я лежал. Но, как говорится, все имеющее начало имеет и конец.

Открылась дверь карцера и надзиратель скомандовал: «Подъем. Выносите постель в коридор». Вообще-то, по инструкции, он не имел права выпускать меня даже в коридор, где было все же теплее, чем в камере, но я думаю, что он сделал это просто потому, что было лень самому тащить тяжелый «гроб». Не знаю, откуда у меня взялись силы? Ведь я съел за сутки всего 150 граммов хлеба и больше ничего, все

время мерз, ночью не спал, на теле ни одного теплого места, сплошная ледышка!

Но такая меня брала злость на этих негодяев, что я подумал: «Нет, мерзавец, мертвым ты меня, может быть, еще увидишь, но ослабевшим и ползающим у твоих ног никогда!» Стиснул зубы, чтобы как-то унять предательскую дрожь, напряг все силы, чтобы оторвать от пола этот проклятый «гроб», и волоком вытащил его в коридор. Видимо, на такой подвиг были способны немногие, потому что надзиратель, у которого тоже нос посинел, взялся было мне помогать, но я ему коротко бросил: «Отойдите».

А дальше — как в Библии: «И была ночь, и было утро, и был день второй». Он прошел для меня, пожалуй, не столь мучительно, как первый: все же хоть и слабо, но печь протопили, а возможно, и на дворе потеплело. Да и сам я акклиматизировался в этом бетонном мешке: я уже мог более-менее длительное время сидеть на своей тумбе и думать о чем-либо другом, кроме мучительного голода и насквозь пронизывающего холода.

Тут я обнаружил еще одно интересное свойство моего организма, при этом я сразу же вспомнил прочитанные мною когда-то рассказы про индусских йогов. Оказалось, что если очень долго сидеть неподвижно, уставившись немигающим взором в какую-нибудь блестящую точку впереди себя, то предметы, о которых ты думаешь, могут обретать как бы некоторую реальность: по-видимому, это какой-то самогипноз. Внезапно все вокруг меня исчезло, вернее, превратилось в легкую дымку, а передо мною возник, да так реально, что я ощущал руками сопротивление клавиш, прекрасный, белого цвета концертный рояль. Я уже сидел не на холодной жесткой тумбе, а на удобном стуле. Со стороны я отчетливо видел себя во фраке, с пластроном, с белой астрой в петлице. Руки самопроизвольно прошлись по клавишам. Звуки рояля становились все отчетливее и сильнее. В концертном зале, освещенном большими люстрами и полном затаившего дыхание народа, я играл свою любимую Четвертую балладу Шопена — f-moll. Играл я ее так, как никогда в жизни не играл. Ни одного сбоя, ни мельчайшей ошибочки в акцен-

тировке, даже те места, которые мне раньше не давались, прошли виртуозно.

Очнулся я то ли от грома аплодисментов после последнего крещендо, то ли, что более вероятно, от легкого постукивания надзирателя по дверной форточке. «Подойдите», — скомандовал он. «Арестованный, — назидательно произнес надзиратель. — Спать разрешается только ночью, днем нельзя». Зная, что спорить с ним опасно, я выслушал его сентенцию, молча отошел от двери и сел на свою тумбу. Все прошло: снова холод и давящий голод. Не знаю, сколько времени пробыл я на своем «концерте», но почти сразу же после нотации надзиратель принес мне обеденный кипяток. Боясь дополнительного наказания, я больше не пытался впадать в транс. Так, в ходьбе по камере и бессмысленном сидении прошел мой второй день. И снова «гроб», снова всю ночь ворочаюсь, прогревая его своими боками. И только под утро краткое забытье, и вот уже день третий.

В этот день я съел полный рацион — 300 граммов хлеба, и еще столько же осталось у меня в запасе на четвертый и пятый дни. Мне из камеры не было видно, но на улице значительно потеплело, потому что хотя печка и совсем холодная, топят-то через день, но лужица около наружной стены оттаяла, и даже зашевелились на полу мокрицы, еще вчера лежавшие неподвижно: тоже живучая скотина, не хуже человека.

За два с половиною дня я основательно изучил режим работы надзирателей. С утра, сразу же после смены, они проявляли наибольшую активность, все время в коридоре слышны были шаги, а глазок в моей двери то и дело открывался и закрывался: надзиратель бдел своих арестованных. После обеда, надо полагать, более обильного, чем у меня, в коридоре стихало: возможно, служаки позволяли себе немного покемарить. Смекнув, что именно в это время я смогу беспрепятственно впасть в транс, я снова сел на тумбу, вперил глаза в блестящий гвоздик на двери и стал сосредотачиваться на одной мысли — концерте. Но как назло, ничего не получалось. Мысли в голове не переставали разбрасываться: то возникнет поганая, рябая харя Касаткина, то расплывшийся

от жира литератор Поступальский из пересыльной камеры, то корпусной Як, одним словом, все какая-то дрянь. Ни тебе концертного зала, ни рояля, да и стены карцера совсем не расплывались, а четко виднелись.

Так же реально ощущались и холод, и урчание в кишках. Невольно вспомнился «контрреволюционер» Хворобьев из «Золотого теленка» Ильфа и Петрова, который в искусственно вызываемых снах вместо желаемого крестного хода у храма Христа Спасителя в Москве видел расширенный пленум месткома и поганую морду его председателя. Так и прошел у меня послеобеденный кайф, а потом снова затопал сапогами и начал проявлять активность надзиратель, тут уже не до транса. Лишь к вечеру последнего, пятого, дня сидения на меня снизошел транс. На этот раз я был зрителем: в Колонном зале Дома Союзов я слушал прекрасные стихи, декламируемые каким-то молодым поэтом с длинными, иссиня-черными волосами.

Надо сказать, что по ощущению трансы были для меня одними из самых счастливых моментов в жизни не только в заключении, но и вообще — уж больно велик был контраст между карцером и видениями. Ведь в трансе я существовал вне времени и пространства, не чувствовал ни голода, ни холода и был абсолютно счастлив.

Последние два дня я съедал уже по 450 граммов хлеба, что в совокупности с горячим кипятком и сносной температурой делало мое существование терпимым. Наконец, на утро шестых суток пребывания в карцере открылась дверь и надзиратель скомандовал: «Выносите». Сказалось мое усиленное питание в последние двое суток, и я без особого труда поднял тяжеленную, сварную парашу, отнес ее в туалет, опорожнил, ополоснул и поставил обратно. Стоявший в коридоре Як вернул мне бушлат и портянки, и когда я оделся, отвел меня обратно в родную камеру.

На дворе действительно была оттепель: снег почти стаял, и к полудню засияло по-зимнему щедрое украинское солнышко. Оказалось, что за мое страшное преступление — плевок в прогулочном дворике — меня наказали не только пятью

сутками этого убийственного карцера, но и лишением переписки и лавочки. Товарищи по камере встретили меня очень сочувственно — наперебой совали мне белый хлеб, колбасу, а в чай насыпали чуть ли не полкружки сахара.

5

И опять потекли нудные и однообразные тюремные дни. Все уже друг с другом обо всем переговорили. Вознесенский уже перечитал нам на память почти всего Толстого и Достоевского, а Смирнов рассказал все свои американские впечатления; никакие игры в камере не разрешались — нам оставались только книги и, конечно, самое главное — ожидание переписки.

К концу весны вышло нам еще послабление: разрешили за счет своего лавочного лимита покупать по одной тетрадке, обычной, ученической, в месяц и по одному карандашу, а также по одному учебнику, только не политическому, никакой политической литературы нам иметь не разрешалось. Тетради были все с нумерованными листами, и при получении новой мы обязаны были сдавать старую, которую надзиратель, а впоследствии, наверно, не только он один, тщательно просматривал. Я себе приобрел курс дифференциального исчисления Гренвиля и Лузина и проштудировал весьма основательно, благо времени для этого было более чем достаточно, и если я до сих пор кое-что помню из этого раздела математики, то благодаря не институтским профессорам, а генеральному комиссару госбезопасности, да будет проклято его имя, Ежову, еще большей сволочи — Вышинскому — и, конечно, еще кое-кому.

Но все эти поблажки были несколько позже, а пока мы встречали недоброй памяти новый 1938 год. В связи с похолоданием в камере уже не было прежней духоты, дышать стало гораздо легче, тем более что после вмешательства нашей Клавдии Михайловны открывать и закрывать форточку в окне днем стали, по нашей просьбе, в любое время. Но

чем дальше, тем противнее становилось для меня пребывание в камере: одни и те же стены, лица, хоть и очень милые и симпатичные, но одни и те же, все это доводило меня почти до исступления. Вспоминались мне и трансы в карцере, все страшное и мучительное там как-то сгладилось, а вот они остались в памяти каким-то сияющим, светлым пятном и до смерти захотелось их повторения. Все время я мечтал только об этом, но в общей камере, где кроме меня находятся еще четыре человека, да еще двигающихся и разговаривающих, даже думать о повторении этих явлений было бесполезно. Стал я разбираться в причинах трансов: во-первых, на сильном холоде они у меня не возникали, значит нужна хотя бы относительная теплота и даже оттепель на дворе; во-вторых, в общей камере такое средоточие мысли на определенных ситуациях невозможно, нужна полная тишина и покой — значит, карцер, больше ничего в наших условиях не подходит. Но карцер — это вместе с тем и лишение лавочки, а главное, переписки, значит попадать туда надо сразу же после получения продуктов (хранились они у нас по тумбочкам, и после выхода из карцера можно будет подкормиться своими, а не побираться у соседей) и письменного дня (письма писались и выдавались для прочтения только в определенные дни).

Тут как раз повезло: только получили и продукты, и переписку, а на улице оттепель, и какая! Снег весь стаял, солнышко как весной, ну, думаю, пойду в карцер добровольно, может еще с трансами повезет. Вывели на прогулку, решил применить испытанный способ: демонстративно и смачно сплюнул на землю, да так, чтоб надзиратель заметил, а он ноль внимания. Сплюнул еще раз и только получил деликатное замечание: «Имей совесть, люди же здесь убирают, что ж ты плюешься, як верблюд». И даже номер койки не спросил. «Что за черт, — думаю, — ничего не получается, а ведь сейчас самое подходящее время для карцера!» Да и нарушение бы надо посерьезнее, а то еще вместо карцера возьмут да лишат переписки, а это уже удар по матери.

Мне повезло: как раз в тот день по графику был обход камер начальником тюрьмы. Решил нагрубить ему: две пользы

— душу отведу да и пять суток карцера получу! Вошел он в камеру. Все встали с коек, а я продолжаю сидеть. Начальник ко мне: «Почему не встаете?». Я спокойно отвечаю: «Не считаю нужным. По воинскому званию (тут я, конечно, несколько преувеличил, по существу говоря, никакого воинского звания у меня и не было, кроме звания капитана Испанской Республики), я старше вас, вы должны у меня просить разрешения сидеть в моем присутствии, а не наоборот». Такой наглости начальник не ожидал, повернулся на каблуках и, ничего не сказав, вышел из камеры. Ребята ко мне: «В чем дело, Лева? Какая муха тебя укусила? Опять в карцер захотел?». Я упорно отмалчивался. Не стану же я им говорить, что все мне здесь так обрыдло, что я действительно хочу в карцер. Да и про трансы говорить опасно, могут подумать, что я психически болен, а возможно, так оно и было на самом деле.

На следующее утро входит Як: «Вторая койка, одевайтесь». Завел в карцерный особняк и: «Пять суток карцера за грубость с начальником тюрьмы». И вот я опять, уже в третий раз, в карцере, кстати, в той же камере, где и в прошлый раз был. Попал я как раз в день топки печи, то есть накануне вечером ее протопили, да и на улице, несмотря на январь, была полная оттепель, что на Украине бывает, да еще и Як, то ли по забывчивости, то ли жалеючи (как-никак за три месяца третий раз в карцере!), оставил мне портянки, так что и ноги были в относительном тепле.

Получил я свою пайку, съел с кипятком граммов пятьдесят, походил по камере и уселся на тумбу. В прошлые разы, садясь на тумбу, я для полного отдохновения слегка прищуривался, что, по-видимому, вызывало у надзирателя подозрение, не сплю ли я. На этот раз, вперив открытые глаза в блестящий гвоздик на двери, я попытался полностью расслабиться в этом положении и с открытыми глазами. И действительно, довольно быстро мне удалось, не закрывая глаз, отрешиться от окружающей обстановки. Снова я был на свободе, причем на свободе абсолютной, во власти своих дум и грез. Поскольку дело было до обеда и активность надзирателя еще не притупилась, он, видимо, не раз заглядывал

в глазок, но, увидев меня спокойно сидящим на тумбе, да еще и с открытыми глазами, не посчитал нужным меня беспокоить, и я пробыл в трансе почти до самого обеда. Все это время меня в камере не было, я не чувствовал ни холода, ни голода. Можете мне верить или не верить, но моему тренированному организму вполне хватило в этих условиях 150 граммов хлеба в сутки, ведь в камере я находился не более четырех-пяти часов, не считая ночи, которую из-за потепления я почти полностью проспал на «гробе». Правда, в эти часы я был гораздо голоднее, но в периоды трансов мне ничего не было нужно. Вот, господин Хворобьев из «Золотого теленка», как надо работать! Учитесь!

Так благополучно прошли четверо суток. На последние сутки, по-видимому, на улице сильно похолодало. Снова холодная дрожь, две бессонных ночи, а что самое неприятное — полная невозможность впадать в трансы. Что ж поделаешь, спасибо, что хоть четверо суток подряд мне везло, а уж сутки настоящего карцера — не такая дорогая цена за четверо суток почти полной нирваны. Вернулся я в родную камеру в еще более хорошем моральном и физическом состоянии, чем в прошлый раз.

И опять потекла однообразная тюремная жизнь. Сидя в общей камере, я почти с нетерпением ожидал потепления, чтобы снова напроситься в карцер. Но, к сожалению (а может, и к счастью, потому что эти мои трансы были явлением ненормальным и при частом повторении могли привести к серьезному психическому расстройству), украинская зима взяла свое. Установились морозы и уже не отпускали до самого апреля, так что идти добровольно в карцер не имело смысла: кроме возможного воспаления легких, ничего там не высидишь, — так что пришлось и мне вставать при появлении начальства.

Тут произошел интересный эпизод: в начале 1938 года* проводилась Всесоюзная перепись населения. Нас это тоже касалось. Переписные листы могли заполнять только в при-

* Ошибка — Всесоюзная перепись населения СССР началась 17 января 1939 года.

сутствии и со слов переписываемых, и нас для этого поодиночке вызывали в кабинет начальника тюрьмы, где лично он, сверяясь для гарантии с лежащим перед ним личным делом, заполнял переписной лист. На вопрос: находились ли под судом и имеете ли судимость? — начальник, не дожидаясь моего ответа, написал: «Не находился. Не имею». На мой недоуменный возглас, как же так, сижу в тюрьме и еще долго буду здесь находиться, и вдруг: «не судим, не имею судимости», начальник спокойно ответил: «Вы не судимы, а административно репрессированы». К сожалению, никаких привилегий это не давало, да и после отбытия срока паспорт-то выдали с ограничением в проживании, вот тебе и не судимый, а административно репрессированный! Но тогда этот ответ начальника все же вселил в нас какие-то надежды, и после переписи мы возвращались в камеру в хорошем настроении.

6

Однажды в начале марта после завтрака к нам в камеру вошел Як и объявил: «Быстренько собирайтесь со всеми вещами, в том числе и с постелями, перейдете в другую камеру». Мы обрадовались, настолько нам за эти более чем шесть месяцев опротивела эта 15-я камера, где мы знали каждую трещинку в стене и на потолке. Куда угодно, хоть к черту на рога, только бы отсюда убраться.

Собрав свой немудреный скарб и нагрузившись матрацами и прочим, мы зашагали за Яком. Идти пришлось недалеко: вторая дверь от нашей камеры, направо, была открыта. «Заходите», — скомандовал Як, и мы вошли в большую, раза в два больше нашей, камеру. Два таких же, как и в 15-й, окна, забранных решетками и с козырьками. Но коек в камере уже не пять, а десять. На половине из них уже сидят люди в такой же униформе, как наша. Войдя, мы негромко поздоровались с «аборигенами». Як разместил нас по свободным койкам. Поскольку свободными оказались первые пять коек, то наша

нумерация не изменилась. Я как был, так и остался койкой № 2. Когда Як вышел, мы разложили свои постельные принадлежности, положили в тумбочки свое имущество и стали знакомиться.

К нашему приходу в этой камере уже находились пятеро: Федор Сергеевич Зотов, Нерсес Григорьевич Арутюнян, Александр (отчества не помню) Волин, Герольд (имя и отчество также не помню) и Владимир Иванович Вельман. До нас здесь сидели хорошо мне знакомые по Бутырской пересылке Павел Качерец и Марк Нехамкин. Их обоих забрали с вещами за несколько дней до нашего прихода. И вот начали мы жить-поживать уже вдесятером.

Расскажу о новых соседях.

Федор Сергеевич Зотов. Небольшого роста, коренастый, с кривыми кавалерийскими ногами. Носил густые, топорщившиеся усы. Активный участник Гражданской войны, которую полностью провел в составе 1-й конной армии Буденного, где дослужился до начальника оперативного отдела 6-го кавалерийского корпуса. За боевые заслуги был награжден двумя орденами Боевого Красного Знамени. По рождению — астраханский казак. По его словам, одна из улиц Астрахани была названа в его честь — улица Зотова. Это вполне вероятно, потому что в те времена для такого «увековечения» человеку не требовалось умирать, делалось это и при жизни. Имел статью КРТД, как и я, и те же восемь лет тюремного заключения. Знал хорошо многих высших военных, особенно кавалеристов, очень много рассказывал о своих, и не только о своих, боевых делах во время империалистической, в которой тоже участвовал, и Гражданской войн.

Ни у кого из нас никогда никаких сомнений в его честности и порядочности не возникало, уж больно это была яркая личность: боевой командир Красной Армии, кавалер боевых орденов, старый коммунист, каждый из нас верил ему, как самому себе. И громом с безоблачного неба стало для меня конфиденциальное сообщение начальницы 2-го отдела (Отдела учета заключенных) лагеря Рыбинского мехзавода, где

я заканчивал свой срок. В октябре 1946 года, оформляя мое освобождение, она сообщила, что «наседкой» в нашей камере был именно Зотов. Он заводил крамольные разговоры и докладывал о них начальству в тюрьме. После того как я усомнился в том, что Зотов мог быть стукачом, она показала мне один рапорт за его подписью, по которому меня в Полтавской тюрьме водворили в карцер на пять суток. И этот рапорт, по ее словам, не был единственным.

Во всяком случае, никто из нас даже не подозревал, что Зотов был «наседкой», а информированность тюремного начальства о всех наших разговорах мы списывали на вделанные в стены микрофоны. Правда, мы были хорошо выдрессированы еще в Бутырках, знали, что у стен есть уши, и никогда не позволяли себе особо крамольных разговоров, так что особой политической карьеры на нас Зотов не сделал, и расстались мы с ним, не получив дополнительных сроков. Конечно, я не исключаю возможности, что вызов с вещами Качереца и Нехамкина произошел при участии Зотова, но что ж сделаешь, все мы, клиенты 1937 года, за очень редким исключением, были настолько честны и порядочны, что, конечно, представить себе не могли, что среди нас есть такие подлецы и мерзавцы, как Зотов! Пусть эти слова будут эпитафией на могилу, где гниют его поганые кости.

Нерсес Григорьевич Арутюнян. Почти всю жизнь прожил в Харбине, где служил на КВЖД. Перед арестом работал в Наркомате путей сообщения начальником отдела спальных вагонов. Высокого роста, почти седой, очень представительный, сильно прихрамывал на правую ногу. Человек европейски образованный. Прекрасно владел немецким, английским и французским языками, вполне сносно — китайским, все это, конечно, помимо родных — армянского и русского. Институт путей сообщения закончил не то во Франции, не то в Германии еще до революции. О своем деле, и вообще о своей биографии, по-видимому, богатой на интересные события, распространяться не очень любил. Статью имел «Плохая шутка» — «ПШ», в миру — подозрение в шпионаже, то есть неуличенный шпион. По занимаемой должности, если

бы он был шпионом, то мог бы принести много вреда, за что и получил восемь лет. За что конкретно, и сам не знал: всех бывших работников КВЖД хватали, взяли и его.

Александр Волин, по национальности еврей. В партии состоял с 1918 года. В Гражданскую войну дослужился до комиссара дивизии, это в девятнадцать-двадцать лет. В 1932 году за троцкизм был исключен из партии и больше не восстанавливался. Последнее время работал где-то под Москвой библиотекарем. Подписывал все троцкистские платформы, и к середине 30-х годов так и не «разоружился», то есть не признал официально ошибочность своих прежних взглядов. Правда, ему бы это мало помогло, потому что в 1937 году брали как неразоружившихся, так и разоружившихся. Взяли и его. Следствие было легким, все улики налицо. Статья КРТД, моя, и восемь лет тюремного заключения. На редкость культурный и образованный человек, а по части литературной памяти мог заткнуть за пояс и Вознесенского. Особенно любил и хорошо знал рассказы Джека Лондона. Все его произведения читал по памяти не хуже, чем Вознесенский «Бесов» Достоевского.

Владимир Иванович Вельман. По национальности эстонец. Высокого роста, крупный, осанистый, лет так около пятидесяти, почти седой, с заметно осевшим в тюрьме брюшком. Бывший крупный работник, по его словам, зампред Совнаркома РСФСР. Участник нескольких партийных съездов.

Приведу один случай, который вполне характеризует Вельмана. В нашей камере курил (да и то из уважения к нам, некурящим, очень немного) один Сережа Смирнов. Как-то, задумавшись во время курения, нечаянно уронил на пол кучку пепла от папиросы, и то ли не увидел это, то ли просто не обратил на внимания. Подошло время прогулки, и вошедший в камеру надзиратель, заметив нарушение, грозно спросил: «Кто занимается антисанитарией в камере?» Понимая, что Сереже грозит карцер, все молчали. Тогда надзиратель заявил: «Если вы не признаетесь, кто занимался антисанитарией, то вся камера лишена прогулки». Все молчат. Конечно всем хотелось хоть на двадцать минут выйти из душной ка-

меры на свежий воздух, но ведь такое признание угрожает Сереже зимним карцером. Надзиратель опять: «Ну что молчите? Останетесь в камере!» — и собрался уже уходить. Тут выступил Вельман с высоты своей наркомовской солидности, которая просвечивала даже в тюремной форме: «Ну что ж, товарищи! Из-за одного неряхи, который и так нам своим курением отравляет воздух в камере, мы должны еще страдать и лишаться даже прогулки? Нет! Так не будет! Я всегда стою за справедливость. Каждый должен отвечать за свои проступки. Гражданин надзиратель, этот пепел бросил на пол Смирнов, койка номер четыре, он один в нашей камере курит». Надзиратель обратился к Сергею: «Так это вы, койка номер четыре, бросили на пол пепел?» Тому ничего не оставалось, как молча кивнуть. Нас повели на прогулку, а Сергея на другое утро на пять суток в карцер. После этого все мы объявили Вельману бойкот. Никто с ним не разговаривал и не обращал на него никакого внимания. Вот таким был бывший зампредседателя Совнаркома РСФСР Владимир Иванович Вельман.

Герольд. Лет около сорока, худощавый, седоватый блондин, выше среднего роста, очень гордился тем, что его дальние предки были выходцами из Англии, и потому считал себя тоже англичанином, что, возможно, и послужило причиной его ареста. По-английски знал только несколько слов и песенку «Типерери». До ареста работал на одном из московских заводов слесарем-инструментальщиком самого высокого разряда. Мастер он, по-видимому, был отличный. Позже, в более либеральные времена, когда нам разрешили приобрести на камеру, в счет лавочных денег, шахматы, Герольд вылепил из хлеба с примесью зубного порошка и черного пепла великолепнейшие фигуры, красивее и прочнее купленных. Во время обхода их увидел начальник тюрьмы; взяв в руки одну из фигур и полюбовавшись ювелирной работой, он велел эти шахматы изъять, как неположеные. Как ни удивительно, но Герольда не наказали, несмотря на то что он признался в изготовлении шахмат, а шахматы, по всей вероятности, начальник взял себе.

Но вот к нам пришло и еще одно послабление, на этот раз весьма существенное: на одном из обходов начальник тюрьмы сообщил, что нам разрешается выписать на камеру одну из центральных газет. Почему-то нам выделили «Красную Звезду», орган Вооруженных Сил СССР, и мы стали получать ее почти ежедневно, но с опозданием дней на пять, за исключением некоторых номеров, чтение которых, по мнению администрации тюрьмы, нам не рекомендовалось. Помнится, что в газете очень часто появлялись заметки и статьи о войне в Испании. Читая их, я отворачивался к стене, чтобы товарищи не могли увидеть подступавших слез, нет-нет да катившихся из моих глаз.

Вскоре в газетах появилась, и после этого долго и часто повторялась, знакомая фамилия: завершился женский перелет на Дальний Восток экипажа Гризодубовой*, Осипенко**, Расковой***. Про Осипенко и Раскову я до тех пор ни разу не слыхал, но Гризодубову хорошо знал по совместной работе в Агитэскадрилье имени А. М. Горького.

Перелет Гризодубовой очень подробно описывался в «Красной Звезде», и мы все эти материалы внимательно читали. Особенно непонятна была выброска на парашюте Расковой в глубокой тайге. Никакой логики в этом мы никак найти не могли. Особенно трогательно описывалась одиссея Расковой в тайге: при приземлении у нее оказался наган с тремя патронами, плитка шоколада и фотография нашего наркома — Ежова. С этим арсеналом она и начала свои скитания по сибирской тайге. Однажды ей встретился медведь, который почему-то не стал на нее нападать, а тут же скрылся в чаще леса. Мы все единодушно решили, что Марина, по-видимому, показала медведю карточку Ежова, и тот в ужасе удрал в тайгу.

---

* Гризодубова Валентина Степановна (1910/11—1993), Герой Советского Союза (1938), Герой Социалистического Труда (1986), после войны работала в авиационной промышленности.

** Осипенко Полина Денисовна (1907—1939), Герой Советского Союза, погибла в авиакатастрофе.

*** Раскова Марина Михайловна (1912—1943), Герой Советского Союза. Во время войны — командир женского бомбардировочного полка, погибла.

Вскоре тюремный либерализм пошел дальше: нам разрешили и днем ложиться на койки, но без гимнастерок и без права спать. Ликвидировали лимитирующий воду бачок, и теперь мы могли вволю умываться, что было особенно ценно в летнюю жару. Но, несмотря на это, нахождение в камере становилось для меня все более невыносимым. Снова и снова стал я прибегать к нарушениям, чтобы попасть в карцер и оказаться там во власти трансов, благо время было летнее, и самое страшное зло карцера, холод, отпадало.

Самым удобным нарушением было не вставать с койки при входе в камеру начальника тюрьмы; тут уж «пятерка» карцера обеспечена. Была у меня еще одна причина искать уединения: в марте 1938 года я внезапно получил из дома письмо, но на этот раз написанное матерью, обычно писал отец; в нем она мне сообщила, что отец надолго уехал на курорт и теперь писать мне будет только она. Получив это письмо, я сразу же понял, что это за «курорт»: значит, отца уже нет. Умер и, по-видимому, не без моей помощи, хоть и не по доброй воле, но горя ему на старости лет я принес немало. Это известие надолго вывело меня из равновесия, в тот же день я попал в карцер уже не умышленно.

В общей сложности в Полтавской тюрьме пробыл я в карцере тридцать восемь суток (это примерно за год), поставив этим рекорд и, наверно, не только по своей камере. Но пришел конец и моим карцерам: какой-то сердобольный надзиратель, наблюдая, как я целыми днями неподвижно сижу на тумбе с открытыми глазами и совершенно бессмысленным взором и даже после оклика надзирателя не сразу на это реагирую, заподозрил что-то неладное. Вызвали врача — Клавдию Михайловну. И вот как-то в карцере я очнулся от ласкового прикосновения нежных женских рук. Смотрю, стоит возле меня Клавдия Михайловна и гладит меня по голове. «Что с вами, голубчик?» — участливо спрашивает она. В ответ я не мог удержаться, и слезы так и брызнули из моих глаз. В нарушение всех тюремных правил я взял ее руку и прижал к губам. Она не стала ее отдергивать, а только обернувшись к стоявшему в дверях Яку, строго ему сказала: «Немедленно

обратно в камеру». Как врач Клавдия Михайловна сразу же поняла, что я нахожусь на грани психического расстройства, и оказала мне впоследствии медвежью услугу, запретив начальнику тюрьмы водворять меня в карцер.

И вот, когда я в очередной раз захотел в карцер и не встал с койки при входе в камеру начальника тюрьмы, мне вместо полагающихся пяти суток карцера объявили два месяца лишения переписки. Тогда я понял, что моя «карцерная карьера» окончилась. При следующем появлении в нашей камере начальника тюрьмы я первым, как подброшенный пружиной, поднялся с койки. Злорадно усмехнувшись, он произнес с издевкой: «Ну что? Видно, теперь подействовало?»

Глядя с ненавистью в его поганую морду, я спокойно сказал: «Гражданин начальник, когда вы наказывали лично меня, я плевал на это. Но сейчас вы наказали не меня, а ни в чем не повинную мою старуху мать, а ради ее спокойствия я готов даже ваши сапоги лизать. Понимаете?» Он ничего не ответил и вышел из камеры. Больше меня в карцер ни за какие проступки не водворяли, но без прогулок и лавочки я оставался частенько.

Уже после освобождения из заключения, через четыре года после смерти матери, мне рассказали, что, не получая от меня писем, она собрала последние силы и приехала в Полтаву. Но, как ни валялась она в ногах у всего местного энкавэдэшного начальства, ей не разрешили даже издали взглянуть на меня, а только объяснили, что за нарушение режима я лишен на два месяца права переписки. Возможно, что ее приезд повлиял на то, что это наказание ко мне больше не применяли.

ДОРОГА НА КОЛЫМУ

Перегон Полтава. — Новочеркасск. — Старорежимная Новочеркасская тюрьма. — Сокамерники. — Формирование и отправка эшелона на Колыму. — Прибытие во Владивосток. — Пересыльный лагерь «Вторая речка». — Десяток бывших военных держатся вместе. — Женская зона. — Лыковые лапти. — Холодный парикмахер. — Пешком к океану. — Погрузка на пароход. — В трюме «Дальстрой». — Фраера и блатные. — «Шуровка». — Визит к Аиду. — Прибытие в Нагаево.

1

Прошло лето 1938 года. Прошла и зима. И вот в марте 1939 года вдруг открывается дверь нашей камеры и раздается команда: «Соберите свои вещи, постели оставьте на месте, а сами, с вещами, в коридор». На дворе уже ждал «воронок», и снова нас повезли на железную дорогу. С такими же предосторожностями, как и в прошлый раз, нас погрузили в столыпинский вагон — всех десятерых в одно купе. Поначалу показалось тесновато: ведь на нижней полке, которая, как и две верхние, занимала всю ширину купе, пришлось поместиться четверым, а на двух верхних — по трое. Потом мне приходилось ездить в таких же купе, набитых пятнадцатью и более людьми, вот тогда я понял, что такое настоящая теснота.

К вечеру наш вагон и еще несколько заполнились: полтавская тюрьма разгружалась, и всех зэков из нее вывозили. Вагон прицепили к какому-то поезду, и мы поехали. Прощай, недоброй памяти полтавская тюрьма! Не зря тебя еще Махно взорвал! Жаль, что не в моей власти сделать то же самое!

В пути нас конвой не кормил, перед отправкой нам выдали по буханке хлеба, по пригоршне сахарного песку и по две копченых трески, да еще у нас кое-что осталось от недавней лавочки. Давали только кипяток по три раза в день. По мизерному пайку на дорогу мы поняли, что везут нас не очень далеко. Строгость в вагоне на этот раз была все же не такой, как раньше. Одеялами двери не завешивали, так что мы виде-

ли и наших соседей по вагону, и маршрут следования. Вскоре выяснилось, что везут нас на юг, в сторону Ростова-на-Дону. Через сутки наши вагоны отцепили в Новочеркасске.

Погрузка в «воронок», и вот мы уже в Новочеркасской тюрьме ГУГБ.

Проверка по личным делам, санобработка в приличной (не то, что в Полтаве!) бане — и вот мы и «дома», на «новой квартире». Тюрьма, в отличие от полтавской, капитально отремонтированной, очевидно старая, дореволюционная. Солидно строил Николашка: стены не тоньше четырех-пяти кирпичей, потолки высокие, не менее четырех метров, камера просторная, не менее 60—70 квадратных метров, койки, правда, не такие, как в Полтаве, а жесткие и вмурованные в цементный пол. Два больших окна с открытыми фрамугами, причем без ставших уже привычными козырьков, но стекла в окнах не прозрачные, а матовые, и внутри стекла вделана очень густая решетка из толстой проволоки. Если его попытаешься разбить, то ничего не выйдет, получится только несколько трещин, а стекло останется целым, не даст ему выкрошиться эта густая проволочная сетка внутри. Снаружи через открытые фрамуги видна только неизбежная тюремная решетка из массивных железных прутьев, так что поговорка «небо видно через окно в крупную клетку» осталась в силе и в Новочеркасске.

Коек в камере уже не пять и не десять, а двадцать. Занятыми оказались не все, хотя к нашей полтавской десятке добавилось еще несколько человек, но запомнились из них мне только трое: Денисов, Орехов и Сальников.

Александр Алексеевич Денисов ничем особо не был примечателен. Лет сорока. Коммунист ленинского набора, то есть с 1924 года. Работал где-то по снабжению. Попал за какие-то знакомства, с кем — и сам толком не знал. Видимо, кто-то из денисовских влиятельных знакомых сознался на допросах с пристрастием, что в «его организации» состоял и Денисов, а этого было вполне достаточно, чтобы сцапать и его. Сам он, как уверял, на допросах держался крепко, ни в чем не признавался и ни одной фамилии не назвал, но даже наше-

го, менее чем полугодового, с ним знакомства в камере было достаточно, чтобы в этом усомниться.

Жена Денисова, также партийная, после его осуждения сразу же с ним развелась, но письма и переводы он, как и наш Цитлидзе, аккуратно получал от двух своих несовершеннолетних сыновей.

Ваня Орехов. Воришка, мелкий уркач, неоднократно судимый, старый лагерник. Побывал и на Вишере, и на Воркуте, и на Беломорканале, и еще черт его знает где. Добродушный, неунывающий, на этот раз, впервые в жизни, погорел не на краже или на грабеже, а на политике — по статье 58, параграф 10 (контрреволюционная агитация): где-то в общественном месте после нескольких неудач разжиться по чужим карманам выразил несогласие с властью, понатыкавшей этих долбаных ментов, что порядочному человеку и пройти невозможно. На этот раз Орехов оказался уже не на привычной Петровке, 38 (Московский уголовный розыск), а на Лубянке, и по совокупности всех его деяний и как «нетрудовой элемент», и как контрагитатор получил восемь лет тюремного заключения, которые и отбывал сперва во Владимире, а теперь вот снова в Новочеркасске. Условиями он был доволен: харч приличный, и мантулить* никто не заставляет.

Ни роду ни племени Ваня не имел: в детстве беспризорничал, потом был в трудколонии, оттуда удрал, попал к «деловым», и те его вывели в люди. Имя и фамилию ему дали в трудколонии чисто русские, хотя и имел он неопровержимые доказательства своей иудейской принадлежности. Было у Вани одно хобби: обожал вышивать гладью. Терпение у него было адское: он мог за пять минут распороть свою недельную работу, если убедится, что сделал что-нибудь не так, и его салфетки и наволочки, которые он «работал» из кусочков тряпок, выпрошенных у надзирателей, вполне можно было продавать даже самым взыскательным покупателям.

Однажды, во время обхода камер начальником тюрьмы, Ваня обратился к нему с просьбой выделить кусок холста и набор цветных ниток для вышивки известной картины Вас-

---

* Мантулить — выполнять тяжелую работу.

нецова «Три богатыря». Поскольку переводов денег ниоткуда бездомный Орехов не получал, то купить все это он не мог. Но начальник тюрьмы заинтересовался таким талантом и предоставил Орехову все, что тот просил. Получив материалы, Ваня взялся за настоящее дело. Через пару месяцев кропотливого, непрерывного труда вышивка была готова: и правда, сделана она была здорово. Увидев изделие, начальник тюрьмы пришел в восторг и предложил Орехову купить у него произведение. Поскольку все материалы дал Ване он же, то дорожиться Ивану было совестно, он не назвал цены, а тот предложил 50 рублей, что было гораздо больше, чем собирался запросить сам Орехов. С тех пор Ваня уже не стрелял у жадных на курево Смирнова и Денисова, а стал курить на свои.

Характера Ваня был незлобивого, очень веселого и жизнерадостного. Он любил рассказывать разные блатные истории, и мы его охотно слушали, хотя и были убеждены, что вранья здесь минимум 95%, но все это было враньем безобидным. Он совершенно не смущался, когда дотошные Денисов и Смирнов ловили его на чем-то, а сам никогда не пытался подколоть кого-нибудь из нас, и даже наоборот, если видел, что человек не в настроении, никогда не лез к нему со своими штучками.

Вообще, все его в камере любили, и в лавочный день никто из нас не упускал случая чем-либо его угостить. Попади этот паренек в добрые руки, вышел бы из него полезный стране человек, а не вечный зэк.

Федя Сальников был из Коми АССР. По профессии охотник, лет тридцати. Промышлял преимущественно белкой. Не видел ничего особенного в том, что белку стреляют только в глаз — дробинкой. Он даже удивлялся, как это можно иначе. «Да если я принесу отцу простреленную тушку, он меня так отходит, что и деваться будет некуда. Если белке в глаз не попаду, лучше я ее выброшу, а отцу не принесу!»

Жил он в какой-то глухой деревушке, читать умел только по слогам, а писал и вовсе коряво, да и то в тюрьме научили. Паровоз впервые увидел, когда везли в столыпинском вагоне в тюрьму, а яблоко знал только по картинкам в букваре, пото-

му что на воле, кроме букваря, ни одной книги не прочел. Сам того не понимая, оказался троцкистом (или, как он сам выражался, «рапцистом»), хотя ни о Троцком, ни о троцкизме ни малейшего понятия не имел. Был он нашим с Волиным и прочими «коллегой», тоже имел восемь лет за КРТД. Парень был очень спокойный, молчаливый, относился ко всем благожелательно, и единственное, чего хотел, это попасть обратно на родину.

После Бутырок и особенно Полтавы, в Новочеркасске в смысле режима был сущий рай. По существу говоря, режима как такового здесь вообще не было. Внутри камеры мы могли делать все что угодно, хоть на голове ходи. Если в Полтаве глазок в двери открывался не реже, чем раз в две-три минуты, то здесь дозваться надзирателя в случае необходимости было целой проблемой, для этого надо было барабанить в дверь минут пять-десять. Где он находился — неизвестно, а когда минут через десять подходил к двери, то еще и ворчал: «Ну, чего расстучался? Терпежу, что ли, нет?».

Время оправки и тем более количество воды для умывания не лимитировались. Использованные в туалете бумажки никто не считал, на прогулки водили по полчаса, причем прогулочные дворики были не асфальтовыми пятачками, а просторными дворами, правда, огороженными высокими кирпичными стенами, с прорастающей травкой и даже со скамейками, на которых не желающие ходить могли и посидеть. Книги давали аккуратно, и если выданная книга не понравилась, то ее можно было тут же, в день выдачи, заменить у надзирателя-библиотекаря — их целый ящик стоял.

Шахматы и домино выдавались казенные. Но здесь появилась новая беда: доминошники, устроившись за посудным столом, которых в Полтаве и в помине не было, пользуясь отсутствием режима, поднимали такой стук, что аж голова разламывалась, но уж с этим, конечно, приходилось мириться, ведь не станешь же на них жаловаться надзирателю? Но вот что отрадней всего — исчез дамоклов меч наказаний: за все время пребывания в Новочеркасске никого из нас не наказали даже лишением прогулки. Одним словом, когда б не домино, то полный рай, конечно, в тюремном понимании.

2

Так прошла у нас весна 1939 года, пока, наконец, во второй половине мая всю камеру не вызвали в коридор и не повели в административный корпус. Подошли к одной из комнат, рассадили по стульям в коридоре и начали вызывать по одному человеку. В кабинете находилось несколько энкавэдэшников и трое врачей в белых халатах, но под халатами тоже в форме НКВД. Обычный медосмотр. Я был молод, недавно стукнуло двадцать девять лет, здоров, и мой осмотр занял всего несколько минут. После этого — назад в камеру.

Прошло несколько дней. И вот как-то после обеда всем велели собраться в баню, но почему-то не в банный день. Помывшись и выйдя в послебанник, мы с удивлением увидели на скамейках не свою обжитую тюремную форму, а узлы со своими вольными вещами, которые у нас забрали еще в Полтавской тюрьме. Надзиратель скомандовал: «Разбирайте свои вещи и одевайтесь». Не понимая, в чем дело, мы быстро облачились в свои вольные одеяния. Импозантнее всех выглядел я: серый коверкотовый костюм с сверхмодным двубортным жилетом, синий берет, желтое кожаное пальто, лакированные туфли, лайковые перчатки и даже дымчатые очки, которые в те времена у нас считались редкостью.

Повели нас обратно в наш корпус, и — о чудо! — двери всех камер открыты, по коридору, как в Одессе на Дерибасовской, прогуливаются денди в модных костюмах, военные в генеральских шинелях и т. д. Тут уж наши оптимисты окончательно уверовали, что всех нас распускают по домам.

Надзиратели молча сидят у своих столов и на все вопросы отвечают: «Ждите». Часа в четыре в коридоре появилось начальство с папками личных дел. Стали вызывать по одному человеку. Вопросы: фамилия, имя, отчество, год рождения, статья, срок и — выходите во двор. Во дворе тюрьмы уже стояло несколько ЗИС-5 с брезентовыми верхами. По списку вызывают двадцать пять человек и велят усаживаться в кузов. В кабине энкавэдэшник, в кузове четыре конвоира с карабинами: двое сидят на лавке в передней части кузова,

двое, на такой же лавке, в задней. Нам велят садиться прямо на пол, правда, чисто подметенный, лицом к кабине, ноги раздвинуты, а между ними помещается передний и т. д. Тут уж и оптимисты поняли, что волей не пахнет, все окончательно приуныли.

Разместились мы кое-как на полу машины, конвоиры заняли свои места, задраили в задке кузова брезент, и мы покатили. Привезли на один из запасных путей железнодорожной станции, выгрузили и усадили в холодок, прямо на землю, у большого пакгауза, под надзор большого числа конвоиров с карабинами. На путях уже стоял большой состав из товарных тысячепудовых (или 16-тонных) вагонов, оборудованных для перевозки зэков*. Машины с людьми прибывали каждые десять-пятнадцать минут, старший по конвою еле успевал принимать их и их личные дела. Часам к семи вечера доставка зэков на станцию и приемка были закончены. Из нашей камеры мы недосчитались Вельмана, Арутюняна, Рустамяна и Зотова. Первых трех могла забраковать медкомиссия, а что касается Зотова, то здесь было совсем непонятно: вроде бы здоров, не так уж стар, только много лет спустя, при освобождении, я узнал причину: Зотов в нашей камере был «наседкой», а такие ценные кадры энкавэдэшники оберегали, поэтому с нами на верную колымскую смерть не послали.

Новочеркасскую тюрьму, по-видимому, полностью разгрузили, и набралось из нее зэков на полный эшелон, вагонов так около ста. Появился начальник конвоя, кажется старший лейтенант, только уже не в форме НКВД, а в форме конвойных войск: на воротнике темно-синие петлицы с малиновым кантом. Он нам сказал:

«Заключенные, я начальник вашего конвоя. Вы следуете спецэшелоном на Дальний Восток до города Владивостока. В пути будете получать горячее питание два раза в день, конечно, только на остановках. По мере возможности будете проходить санобработку (из этого следовало сделать вывод, что ехать мы будем долго). В пути следования вы должны со-

---

* Крытый грузовой двухосный вагон дореволюционной постройки, переоборудованный для перевозки заключенных.

блюдать строжайшую дисциплину и беспрекословно выполнять все распоряжения конвоя. За всякие нарушения виновные будут водворяться в вагон-карцер, а за особо злостные нарушения там будут надеваться наручники. Что такое наши наручники вы, наверно, слышали, и потому не советую доводить нас до принятия таких мер. Отдельное предупреждение насчет попыток бежать: в голове, середине и хвосте эшелона круглосуточно расположены стрелки с пулеметами. Ночью эшелон освещается прожекторами. В случае попытки, нарушив решетку, высунуть голову из окошка, конвой открывает огонь без предупреждения, а стрелять они умеют. Особо предупреждаю насчет попыток выломать на ходу эшелона пол в вагоне и попытаться совершить побег через такую дыру: обратите внимание, что через каждые десять вагонов, около сцепки, имеются “кошки” (так называлось дьявольское изобретение конвойных войск, состоящее из толстой стальной гребенки с заостренными на концах и выгнутыми в сторону движения зубьями, смонтированное так, что зубья эти, заняв всю ширину колеи, не доходили до земли сантиметров на десять-пятнадцать. Так что, если бы кто-нибудь и попытался, выломав доски в полу вагона, на ходу спрыгнуть на колею и лечь на нее, в расчете что поезд пройдет над ним, то этими “кошками” он был бы буквально разорван в клочья). А теперь по вагонам, сорок человек на вагон».

Принесли ящики с личными делами и начали выкликать по фамилиям, дополнительно записывая вызванных в свою книгу. Называют фамилию, краткий опрос, и — «Отходи в сторону!». Отберут сорок человек, конвой ведет их к вагону, кладут сходни, и: «Заходи по одному». В вагоне еще раз считают, с грохотом закрывается дверь, задвигается засов, который для надежности еще заматывается толстой проволокой. Таким образом, часам к двенадцати ночи весь эшелон был загружен. Прицепили паровоз ФЭД*, гудок, резкий рывок и — прощай, Новочеркасская тюрьма. Пребывание в ней, пожалуй, стало для меня единственным светлым пят-

* Аббревиатура от «Феликс Эдмундович Дзержинский».

ном на долгом крестном пути по тюрьмам НКВД и гулаговским лагерям.

Начали размещаться в вагоне. Вагон стандартный, еще царского времени, размещение — сорок человек, или восемь лошадей. По переднему и заднему краям вагона были настелены гладкие доски длиной примерно в рост среднего человека. Над ними, на расстоянии около метра, а то и больше, имелся второй ярус таких же досок. Посередине вагона, против дверей, был проход в ширину дверей вагона, в нем в зимнее время помещалась печка, но мы ехали летом, и проход был свободен. На постеленных досках могли более-менее свободно разместиться по десять человек средней комплекции. Правда, лежать вдесятером на спине было тесновато, но бочком все помещались нормально. Таким образом, в вагоне могли находиться сорок человек. Над верхними нарами с двух сторон были окошечки, примерно 25 на 40 сантиметров, забранные железными прутьями. В проходе между дверями можно было хоть немного размять уставшие от лежания ноги. Вот и вся обстановка. Двери во время движения закрыты наглухо, и наблюдать за дорогой можно только в окошечко, лежа на верхних нарах с краю.

Меня вызвали на посадку одним из первых, и я занял аристократическое место на верхних нарах по ходу движения поезда, около окошечка. Позднее установилась очередь из желающих смотреть в окошко, и я часто уступал им свое место.

3

Утомленные сегодняшним суматошным днем, все, как только устроились, сразу уснули. Вдруг, среди ночи, нас разбудил дикий грохот по стенкам вагона. Оказалось, что наши бдительные стражи, воспользовавшись остановкой эшелона на каком-то полустанке, решили проверить, не расшатали ли мы какую-нибудь из боковых досок, готовясь к побегу. Для этого у них имелись специальные деревянные молотки

на длинных ручках. При ударе такого молотка об доску обшивки вагона оторванная или плохо закрепленная доска издавала дребезжащий звук. Проверяли все очень тщательно, каждую доску в отдельности. Не найдя нарушений, конвоиры оставили нас в покое и взялись за следующий вагон. Поскольку наш спецэшелон шел, по-видимому, вне расписания, то останавливались мы часто и стояли подолгу. Только поезд остановится — а ночью это случалось почему-то чаще, чем днем, — бух! бух! по стенкам вагона, и сна как не бывало. Днем такие проверки были еще терпимы, но ночью они сводили с ума. Хорошо, что можно было и днем кемарнуть: на ходу проверок не делали.

Был в вагоне небольшой бачок с водой, но из-за сильной жары и духоты его хватало не более чем на час-два. Основной «водопой» производился только на длительных дневных остановках.

На вагон было десять мисок и ложек. На остановке конвоиры открывали дверцу вагона и подавали туда в ведрах суп и кашу, а уж как это все делить — дело самих зэков. Воды у нас, как правило, не было, мыть миски и ложки было нечем, обходились и так. Если остановка была длительной, то в тех же ведрах приносили и воду, кипяток. Его мы выпивали тут же, пользуясь, вместо стаканов, пустыми консервными банками. Но конвоиры ленились ходить за водой по два раза для каждого вагона, и наш «водопой» ограничивался двумя ведрами, а бачок оставался пустым. Особого голода или жажды мы в пути не ощущали, за исключением, пожалуй, участка от Нижнедвинска, когда температура снаружи поднялась выше тридцати градусов. За все время пути никто из нашего вагона не заболел чем-либо серьезным.

Труднее всего было «курцам»: все запасы они выкурили сразу и с завистью поглядывали на курящих конвоиров. Перед отъездом из Новочеркасска всем имевшим на лицевом счету деньги выдали на руки по тридцать рублей, остальные, по идее, должны были перевести по месту нашего назначения, но никто во Владивостоке ни копейки из новочеркасских денег не получил. На какой-то остановке при подъезде

к Уралу наш вагон посетил сам начальник конвоя. К нему обратились с просьбой разрешить имеющим деньги купить продукты и курево. Продукты он не разрешил, ссылаясь на то, что все зэки получают полную норму питания, а курящим разрешил, через конвоиров, купить по пять пачек махорки и спички, а также несколько старых газет — для закруток. После чего «курцы» ожили: дым в вагоне стоял столбом, вентиляции-то, по существу, не было.

При переезде через Уральский хребет к эшелону прицепили сзади еще один паровоз, но и вдвоем они еле-еле тащили наш состав по довольно крутому подъему. Зато мы, установив очередь по полчаса, вовсю любовались в окошечко красотами Урала. Когда покатили по Сибири, один из наших товарищей, старый сибиряк, вспомнил, что в этих местах живут потомки ссыльных каторжников, которые считают своей священной обязанностью пересылать выбрасываемые зэками из арестантских вагонов письма по назначению. Некоторые, в том числе и я, решили использовать такой канал связи с родными. Выпросил я у одного «курца» обертку от махорочной пачки, расцарапал себе руку (карандаша, конечно ни у кого не было) и своей кровью написал, что я жив-здоров и следую на Дальний Восток, и как можно четче написал адрес. Таких писем, проезжая по Сибири, я написал три штуки.

Уже после освобождения я узнал от родных, что два моих письма они все же получили. Не перевелись еще на Руси добрые люди. Не поленились купить конверт и отправить по адресу. Не испугались даже всемогущего НКВД! Спасибо вам сердечное, мои незнакомые друзья, и низкий поклон! Как же плакала моя мама, читая письмо, написанное кровью ее сына, но и такая весточка лучше, чем полная неизвестность. Пусть эти материнские слезы пудовыми гирями лягут на совесть тех, кто пытается реабилитировать Иосифа Джугашвили.

Хоть и медленно, но верно двигался наш эшелон на Восток. Нам еще раз повезло: самый живописный участок пути, по берегу Байкала, мы проходили днем. Сгрудившись у левых, по ходу поезда, окошек, мы с восхищением любовались озером. Поезд шел высоко над ним, по его крутому берегу,

и не запеть: «Славное море, священный Байкал» было невозможно.

В Иркутске мы стояли более суток, на дальних запасных путях, и тут впервые начальник конвоя проявил либерализм, разрешив нам выйти на твердую землю и даже полчасика поваляться на травке.

Следующая долгая остановка была в Чите. Здесь была большая баня специально для перевозимых в эшелонах зэков. Просторное помещение, достаточное количество душей позволяли одновременно обрабатывать по пять-шесть вагонов. Мыло у всех было еще с тюрьмы, полотенце тоже, одним словом, помылись на славу, сбросив с себя по три пуда грязи. Переехали Амур, постояли в Хабаровске, и вот, наконец, пройдя несколько туннелей, рано утром наш эшелон прибыл во Владивосток.

4

Пару часов заняла выгрузка, сверка с делами и построение. Растянувшись длинной колонной, окруженные нашими конвоирами с карабинами, мы отправились к своему пункту назначения — пересыльному лагерю «Дальстроя» во Владивостоке у так называемой пятой речки*.

К полудню закончились и марш, и процедура сдачи-приемки в лагере. Покормив, нам разрешили размещаться по свободным местам в бараках. После поверки я обрел новых знакомых и здесь. Особенно сдружились мы с работником моего же Разведуправления РККА Яковом Васильевичем Козловым. Военный инженер второго ранга (по-нынешнему инженер-майор), он окончил радиофакультет Военной академии связи имени Подбельского в Москве и перед арестом работал начальником узла связи при нашем военном советнике в Китае, в Синьцзяне. И вот в пересыльном лагере «Дальстроя» сошлись два радиста: один — «испанец», другой — «китаец».

---

* Имеется в виду пересыльный лагерь близ станции «Вторая речка».

Яша Козлов получил не восемь, как я, а пятнадцать лет. С момента встречи и до прибытия в Магадан, где нас разослали по разным приискам, мы были с ним неразлучны. Но после я Яшу никогда не встречал и о его дальнейшей судьбе ничего не знаю,

Житуха на владивостокской пересылке была вольготная: только кормежка, три раза в день, и, по сравнению с тюремной, гораздо более обильная и вкусная, происходила организованно: всех нас разбили по ротам и в столовую водили сразу целой ротой. Все остальное время мы были предоставлены сами себе. Делай что хочешь, живи где хочешь, благо погода стоит очень теплая, градусов тридцать, и свободных мест сколько угодно. Есть захочешь — найдешь свою роту.

Эта лафа продолжалась до прибытия парохода на Колыму. Как только он приходит, то сразу же весь лагерь «прочесывают под густой гребешок». До следующего рейса оставляют только нетранспортабельных — лежачих больных в стационаре (лагерной больнице), всех остальных — на погрузку к пристани. После отправки лагерь сразу же пустеет, а потом опять быстро заполняется все новыми эшелонами: конвейер НКВД.

А жара тогда стояла одуряющая: солнце пекло, на небе ни облачка, а ведь Владивосток находится на одной параллели с Баку. Искали мы с Яшей какое-либо укромное место, чтобы спрятаться от жары, и случайно набрели на небольшой, совершенно пустой барак, часть которого стояла в тени большого дерева. Зашли в барак и забрались на верхние нары. Вроде чуть прохладнее. В бараке полутьма. Яша решил закурить. Свернул цигарку, зажег спичку и вдруг удивленно обратился ко мне: «Смотри, Лева, тут что-то написано!»

Зажгли еще спичку и прочли вырезанную ножом на доске нар надпись: «Здесь лежали писатель Бруно Ясенский* и артист МХАТа — Хмара». Вспомнил я произведения Ясенско-

---

* Ошибка памяти. Писатель Бруно Ясенский (Виктор Яковлевич Зускинд, 1901—1938) был арестован 31 июля 1937 года и расстрелян 17 сентября 1938 года, так что на пересылке «Вторая речка» быть не мог.

го — «Я жгу Париж», «Человек меняет кожу» и другие, и подумал: «Поднялась же у этих мерзавцев рука даже на такой талант». С тяжелым сердцем выходили мы из этого барака. За что? Ведь истребляется цвет нашей интеллигенции, гордость литературы и искусства. Ответов на эти вопросы мы найти не могли.

В тот же вечер у меня произошла еще одна интересная встреча: после поверки ко мне подошел какой-то пожилой еврей и, убедившись, что моя фамилия Хургес, спросил, не родственник ли я Мойши Хургеса из Минска. Когда я ответил, что я его прямой внук, еврей кинулся меня обнимать. Оказалось, что его фамилия Финкельштейн, он был членом партии меньшевиков с 1905 года и еще мальчиком работал учеником в портняжной мастерской моего деда в Минске. «Ой, какой это был человек! — восторгался Финкельштейн. — Какой это был мастер! Какая у него была тяжелая рука! Если бы за каждую затрещину, которую я от него получал за свои провинности, мне давали бы хоть по рублю, то был бы я миллионером». Долго потом он вспоминал свое детство и моего деда.

Через некоторое время у нас сколотилась небольшая группа военных. Видя, как уголовники издеваются над фраерами, мы решили держаться вместе, чтобы в случае чего суметь дать им отпор. Собралось нас человек десять.

Некоторых я помню до сих пор. Полковник пограничных войск Турченко — старый коммунист, участник Гражданской войны, косая сажень в плечах. Напоминал рослого медведя, вставшего на задние лапы, что производило на уркачей должное впечатление. Комкор, а точнее — корпусной комиссар (по-нынешнему генерал-полковник) Иван Адамович Михайленко, бывший замначальника Разведуправления РККА, тоже старый коммунист и участник Гражданской войны. Никонович — комдив, генерал-лейтенант, начальник особого отдела Ленинградского военного округа. Сам немало людей отправил на тот свет или в места не столь отдаленные. Когда мы с ним разговорились, то оказалось, что он хорошо знал моего следователя Касаткина. Касаткин в 1938 году был аре-

стован, и Никонович вел его дело и довел до расстрела. Сам Никонович получил двадцать лет и вместе с нами следовал на Колыму.

Была в этой пересылке и женская зона. Правда, никакого общения с женщинами у нас не было, все заведения — столовая, санчасть, баня — были раздельные, но через двойную ограду из колючей проволоки можно было более-менее свободно, конечно, несколько повышенным голосом, переговариваться. Было среди них и довольно много тюремщиц.

Из женщин мне запомнились две: Клара Бердичевская и Маша Волгина.

Бердичевская была уже пожилой, около пятидесяти лет. Все беспокоилась за сына Сашу. По ее словам, Саша так ее любит, что будет лезть повсюду с жалобами, и кончится тем, что могут и его арестовать. Между прочим, она оказалась совершенно права: в 1944 году я встретил Александра Бердичевского в лагере Рыбинского мехзавода, где я заканчивал свой срок. Он был осужден Особым совещанием по статье КРД — контрреволюционная деятельность, которая заключалась в том, что он не мог забыть свою мать и всюду заступался за ее партийную честь. Взяли его в 1943 году, уже из армии.

Маша Волгина была очаровательной женщиной лет около тридцати. Типично русская красавица, даже окаянная тюремная форма ее не портила. До ареста — личный секретарь начальника Разведуправления РККА (и при Берзине, и при Урицком). Яша Козлов и Иван Михайленок ее хорошо знали. Я ее не знал, а она меня тем более. Познакомил нас Яша. Когда она его увидела, то даже расплакалась: «Ну хорошо — меня за Ивана Адамовича (фамилии Берзина и Урицкого даже назвать не решилась!), но тебя, Яша, за что? Ведь ты-то еще мальчик!» — твердила она сквозь слезы.

Прибыл я из Испании в Союз «как денди лондонский одет». Особенно хороши были мои сшитые на заказ лакированные туфли. Сшиты они были первоклассным мастером, точно по ноге. Я носил их буквально не чувствуя, что на но-

гах у меня что-то есть. Но за время пребывания в Полтаве и Новочеркасске ноги мои от тюремных «котов» как-то разбухли, и мои испанские туфли превратились для меня в «испанские сапоги», средневековое орудие пытки. Ходить в них я уже практически не мог, жали они мне со всех сторон, и каждый шаг причинял мучительную боль.

Во Владивостоке я сразу же попросил выдать мне какую-нибудь обувку. Местное начальство ответило, что полный комплект лагерного обмундирования мы получим только в Магадане, а до той поры мы должны носить свою одежду и обувь. Но, учитывая мое тяжелое положение, выдали мне пару лыковых лаптей, случайно завалялвшихся в каптерке. Вид у меня после этого получился импозантный: желтое кожаное пальто, синий берет, черные дымчатые очки, серый коверкотовый костюм с иголочки, вязаная шелковая рубашка, на руках желтые лайковые перчатки, а на ногах — огромные, не меньше 46-го размера, лапти, подвязанные веревочками. Так я и щеголял по лагерю.

Последний раз санобработку мы проходили по прибытии, и за десять дней я зарос густой черной щетиной. Все это вроде и ничего, но Яша стал брать меня с собой к ограде женской зоны на разговоры с Машей Волгиной. Лапти-то уж бог с ними, тут уж ничего не сделаешь, но борода? Это уже совсем неловко, ведь мне как-никак еще и тридцати не было. Никаких инструментов, годных для бритья, у нас не было. Но однажды, проходя по лагерю, я увидел работающего «холодного» парикмахера. Усадив клиента на табурет, он за несколько минут соскабливал сравнительно острой бритвой любую заскорузлую растительность на лице и брал за это по рублю. У меня еще оставалось немного «домашних» денег, и я решил привести себя в порядок. Подошла моя очередь. Мастер усадил меня на табурет, намылил щеки, направил на ремне свою бритву и принялся за работу. Как и всякий уважающий себя парикмахер, в процессе работы он развлекал своих клиентов разговорами.

Оказалось, что мы с мастером земляки, он тоже из Москвы. Когда он опросил меня, настал мой черед поинтересо-

ваться его данными. На вопрос о статье, он коротко ответил «136-я». По неграмотности я попросил расшифровку. Оказалось, что эта статья дается за преднамеренное убийство. По его словам, с целью грабежа он «пришил» целое семейство: мать, бабушку и двоих детей. Я внутренне вздрогнул от такой откровенности — как раз в это время он обрабатывал мою шею. У меня сразу же чиркнула мысль: что́ стоит ему сейчас «чирикнуть» меня бритвой по шее! И когда, окончив первое бритье, мастер взялся за кисточку, чтобы произвести второе — чистое, я поднялся с табурета и сунул ему рубль, сказав, что я бреюсь только один раз. Он промолчал и сразу же посадил в кресло очередного желающего. Довольный, что с бритьем у меня все обошлось благополучно, я пошел в лагерь по своим делам. Позднее я узнал, что парикмахер никакой не убийца, а обыкновенный воришка-карманник. Своими страшными откровениями он просто отпугивал клиентов и на их отказе от чистого бритья экономил время и бритворесурсы, а я, как и многие другие попался на эту наивную ложь.

Прошло еще около недели, и, наконец, с вечера нам объявили: на следующий день — погрузка на пароход. С самого утра в лагере началась «шуровка»: всех выгоняли из бараков с вещами на огромный плац, оцепленный со всех сторон охраной и лагерными придурками. Отсюда уже никого не выпускали. На плацу всех разместили по ротам, и каждого в отдельности подзывали к штабным столам, где в алфавитном порядке находились наши дела. Собрав таким образом человек сто, личные дела которых имелись в наличии, людей выводили за зону и сдавали конвою. По-прежнему стояла дикая жара, более 30 градусов. Хоть воду и подвозили беспрестанно в бочках, но все же ее не хватало. Всех мучила ужасная жажда, ведь людей собралось тысяч так шесть: где же в такую жару напоить такую ораву? Насчет еды никто и не думал, с утра нас накормили особо плотным завтраком, но за воду все время возникали драки, вплоть до кровопролития. От жажды люди буквально зверели, и если уж кому уда-

лось дорваться до воды, то он прилипал к ведру и оторвать его можно было только с превеликим трудом. Лично я и мои «коллеги-вояки» были спокойны насчет воды. Некоторые из нас служили в Средней Азии и знали, что в такую жару чем больше пьешь, тем больше мучает жажда. Поэтому, раз напившись, больше в эту «костоломку» мы не лезли.

Наконец, уже во второй половине дня, сдача-приемка зэков была закончена. Народу собралось не меньше шести тысяч. Для конвоирования выделили не менее батальона солдат с карабинами. Пароход стоял у причалов так называемой Черной речки, примерно в пятнадцати-двадцати километрах от нашего лагеря. Вся дорога туда была заранее очищена от посторонних, и наша колонна, окруженная со всех сторон конвоем, начала выползать на всю дорогу. Жара после полудня усиливалась, и колонна растянулась не менее чем на четыре-пять километров. Среди нас было довольно много пожилых и больных людей, которые падали от жары и усталости прямо на дорогу. Особо слабых подбирали на подводы, следующие в составе колонны; остальным же помогали подняться с земли товарищи, а иногда и приклады конвоиров.

Многие были взяты тепленькими, с квартир, и имели при себе большие баулы с разным имуществом, иные были взяты зимой и щеголяли по такой жаре в тяжелых шубах с каракулевыми воротниками и теплых сапогах. Вначале все тщательно оберегали свои вещи, но чем дальше, тем невыносимее становились жара и усталость, силы все убывали. Уже к середине дороги можно было видеть брошенные прямо на землю баулы и чемоданы, а потом и шубы на меху, меховые шапки, драповые пальто, суконные пиджаки и т. п. Пожилым, и особенно больным (а таких было не менее четверти колонны, ведь основной контингент тюремщиков состоял из советских и партийных работников, как правило, старых коммунистов) уже не под силу было тащить ставшие им совершенно ненужными вещи.

Несмотря на то что в пути следования были организованы «водопои», воды не хватало, и все буквально обезумели от жажды. Из-за больных и ослабевших, из-за заторов око-

ло «водопоев», колонна двигалась очень медленно, никак не быстрее двух-трех километров в час, и несмотря на наступившие сумерки, конца пути не было видно.

Наша группа следовала в самом хвосте колонны. Старые солдаты, необремененные имуществом, форма, шинель и больше ничего, более-менее привыкшие к таким маршам, в армии, в Средней Азии и не то еще бывало, как говорится, потерь не несли. Всем перед дорогой выдали по буханке хлеба и еще какие-то харчи. Некоторые из впереди идущих, жалея свое имущество бросали этот хлеб. Мы же, памятуя, что не человек несет хлеб, а хлеб несет человека, свои харчи берегли, ведь на пароходе-то ехать никак не меньше пяти суток, а там особых разносолов ведь не будет, даже хлеб-то в таком беспорядке навряд ли достанется, и мы подобрали несколько валявшихся на дороге буханок хлеба, которые хозяйственные Турченко и Козлов тут же спрятали в свои необъятные вещмешки.

С наступлением сумерек идти стало легче. Не так уже мучили жара и жажда. Потери в колонне были ощутимые: по пути следования лежали без сознания жертвы солнечных ударов и сердечных приступов, возможно, и мертвые. Их подбирали на специальные подводы, следовавшие в хвосте колонны. Наступила ночь, но дорога была хорошо видна, потому что взошла полная луна. Конвой движения не остановил.

Наконец, голова колонны достигла причала, где у стенки стоял пароход «Дальстрой» водоизмещением около 7500 тонн. Погрузка началась немедленно, ведь конвой тоже устал, хоть парни и молодые, но по такой жаре, в полном обмундировании, правда, без шинелей, с карабинами, да и не по дороге шли, а по обочинам.

Особых формальностей не было, людей наш конвой сдавал, а пароходный принимал целиком, прямым счетом. Все личные дела, заранее запакованные в ящики, были уже на корабле. Там разберутся: кто жив, кто умер по дороге, кто еще умрет на пароходе. Побеги, при такой постановке вопроса, исключались: баланс обязательно сойдется. В НКВД ни один зэк не пропадает, учет здесь поставлен основательно.

Непрерывной чередой тащились зэки с пристани по сходням на пароход — и спускались в трюмы с заранее подготовленными нарами. Самые первые обрадовались тому, что их места поближе к трюмным люкам. Как-никак и воздуха свежего глотнешь, да и какие-либо харчи, выдаваемые во время следования на пароходе больше шансов получить, ведь кормежка-то производится только через люки, и кто поближе, тот и получит. Со временем выяснилась вся тщетность их надежд: нагрянувшие уголовники и рецидивисты согнали их и заняли все более-менее привилегированные места.

Наконец, прибыл на пристань и хвост колонны, в котором находились и наша группа. Мы могли бы немного прижать и попасть ближе к голове колонны, но бывалые этого не советовали: хороших мест все равно не займешь, бандюги снимут с них да еще и накостыляют. Зато есть еще и такой шанс: как правило, лагерное начальство шлет на пароход гораздо больше людей, чем он может вместить, и если попадется принципиальный капитан, а на пароходе верховная власть его, то он лишних людей не возьмет и придется конвою их вести обратно в лагерь, а это еще две-три, а то и больше, недели полного отдыха. Как говорится, игра стоит свеч, и поэтому мы не торопились, тем более что непогруженных зэков обратно пешком не гонят, а так как их бывает не очень много и конвой тоже устал, то все едут обратно в лагерь на машинах.

Расположились мы на причале, съели пару буханок хлеба и ждем, что будет дальше. Пароход, и особенно сходни, ярко освещены прожекторами; по сходням бесконечной чередой идут зэки со своим барахлом: не понимают еще, что «друзья народа» в трюме все равно все отнимут. Есть и такие, вроде нас, с одной котомочкой в руках.

На палубах суета, снуют взад-вперед матросы, готовятся к скорому отплытию. Все люки в трюмы открыты, и в них спускаются, иногда с помощью пароходных конвоиров, один за другим зэки. Около верхнего конца сходен стоят начальники конвоев: сдающего и принимающего, громко выкрикивают порядковые номера поднимающихся на пароход зэ-

ков и что-то записывают в своих книжечках. На небе сияет полная луна, словом, все в ажуре. Хотя на пристани уже порядком поредело, но тысячи две народа еще осталось.

Мы спокойно сидим на земле и даже подремываем, за день-то уморились с этими передрягами, и ждем, когда конвой начнет, работая прикладами, загонять в трюмы последних зэков. Так прошло еще часа два. На пристани осталось менее тысячи человек. Вдруг погрузка почему-то приостановилась. Какой-то моряк подошел к начальникам конвоя и начал им что-то доказывать. Сдающий начальник спустился на пристань и начал, не поднимая с земли, на глазок пересчитывать оставшихся зэков. Примерно подсчитав, начальник крикнул стоявшему у сходен наверху моряку — по-видимому, капитану парохода: «Да прими ты их ради бога! Ведь осталось всего триста! (наврал, конечно, на пристани сидело никак не меньше шестисот человек.) Куда я их обратно поведу? Все измучены, не дойдут!» Капитан в мегафон начинает доказывать сдающему, что пароход перегружен и больше принять людей не может. Но начальник опять за свое: прими да прими! Тогда капитан, видимо потеряв терпение, ляпнул в мегафон такое, что все люди на пристани, находившиеся на последней грани изнеможения и отнюдь не расположенные к веселью, дружно расхохотались. Он рявкнул: «Ну чего пристал? Пароход не хуй, всех не посадишь!»

5

Но все же капитана удалось уговорить. И вот, в числе последних, мы поднимаемся по сходням и сразу же спускаемся в преисподнюю парохода. Высоченное, не менее пятнадцати метров в высоту, помещение, нары в пять-шесть ярусов. Все нары около люка битком набиты людьми, гвалт. Запах во время пути от сотен насквозь пропотевших людей такой, что даже около люка нечем дышать. Со всех сторон несутся ругань и крики — то ли ссорятся из-за мест, то ли урки уже начали свою «шуровку».

Стали мы около люка и думаем: куда податься? Ведь не стоять же здесь всю дорогу? Да и ноги почти не держат. Идти дальше, к бортам? Страшно даже подумать: духота там такая, борта выше ватерлинии и за день накалились, так что около них и дышать-то нечем. А идти ведь куда-то надо!

Выручила моя морская смекалка: я сообразил, что духота эта от того, что борта парохода на стоянке в порту прогрелись от солнца, а в море они быстро остынут. Вентиляторы же у бортов, работавшие по естественной конвекции*, начнут эффективно действовать только в пути, потому что сейчас, несмотря на ночь, все же жарко снаружи. И потопали мы всей командой к совершенно свободным местам на последнем ярусе, около раскаленного борта парохода, под самым раструбом бездействующего пока вентилятора.

Когда мы там расположились, пробыть на этих местах более пяти-десяти минут было невозможно — просто не хватало воздуха. Но я хорошо знал, что на ходу, в море, здесь будет гораздо лучше, чем даже у самых люков: во-первых, люки всегда могут задраить, во-вторых, они находятся посредине парохода и обдув их ветром будет хуже, чем у бортов парохода. Еще одно немаловажное обстоятельство: находясь у борта, мы имели полностью защищенный тыл на случай урочьей «шуровки». На пароходе — несколько сот отпетых бандюг-уголовников, вооруженных ножами и спаянных в коллектив, подчиненный единому центру. Они представляют собой грозную силу и станут полными хозяевами трюма, куда охрана ни за что не сунется.

Конечно, шансы наши на успех в случае схватки с уголовниками — нулевые, потому что никто из разобщенных фраеров к нам на помощь не придет. Если навалятся скопом, нам не устоять, но все же приятнее чувствовать, что хоть сзади нам ничего не угрожает. Но пока уголовникам было не до нас. Они занимались размещением, то есть сгоняли фраеров с мест около люков и отбирали у них то, что им понравится.

Часа через два, наконец, послышался грохот якорных цепей, сильнее загудели машины, просипел гудок, и мы трону-

* Перенос тепла в газообразной или жидкой среде.

лись. И уже через час в нашем логове стало терпимо: борт быстро остывал, а в вентилятор начал поступать свежий морской воздух.

В трюме установилось некоторое спокойствие, видимо, усталость сморила не только фраеров, но и урок. Можно было немного отдохнуть. Расстелили мы свои шмотки, улеглись на них и, оставив вахтенного, на первый раз Яшу Козлова, сами уснули тяжелым сном. Разбудил нас Яша не раньше полудня, да и то потому, что около люка началась возня, принесли хлеб и кашу. Никаких тарелок и ложек, конечно, и в помине не было, а подавляющее большинство зэков никакой посудой запастись не догадались. Спасибо наш «завхоз», Турченко, сообразил еще в лагере подобрать большую, литра на три, банку из-под консервов и даже приделать к ней проволочную ручку. Сейчас она нам пригодилась, и «баландер» наложил нам ее кашей до самых краев. Хлеба нам не досталось, его сразу же расхватали уголовники около люка. Пришлось обойтись имевшимися запасами, как хорошо мы сделали, что на крестном пути подобрали не шубы, совершенно нам пока не нужные, а хлеб! За кашей успели смотаться еще раза два, мы ее тут же вываливали на чисто выскобленную доску нар. Короче говоря, мамон свой мы все же набили, и с большим оптимизмом стали смотреть на свою дальнейшую судьбу: с голоду мы здесь, по-видимому, не умрем.

Все бы хорошо, но отдохнувшие и наевшиеся «уркачи» начали заниматься «шуровкой»: идет такая кучка бандюг, человек пять-шесть, и видит зэка в хороших сапогах. «А ну, скидавай прохоря! Чего надел чужие? Или пера захотел?» — орет главный из бандюг, помахивая перед носом владельца сапог ножом. Что тут сделаешь? Снимает человек сапоги, ведь в случае конфликта — он слаб и безоружен, из соседей-фраеров никто за него не заступится, все отвернулись в сторону, делают вид, что ничего не замечают. Правда, сняв «прохоря», всегда дают «сменку» — старые стоптанные ботинки, и на том спасибо. Костюмы и пальто снимали уже без «сменки». «В Магадане начальник новую лепеху даст», — из-

девательски произносил старший, забирая костюм или пальто. Так и оставались люди в рубашках, а то и в нижнем белье, благо в трюме не замерзнешь.

Находились поначалу храбрецы, вступавшие с бандюгами в спор, но дело кончалось плохо: удар ножом, и в трюме раздается дикий вопль. Бандюги тут же исчезают, забрав отнятую вещь, а соседи пострадавшего, оказав ему первую помощь, спешат к люку вызвать медиков. В трюм спускаются санитары с носилками и забирают пострадавшего. Если живой — в санчасть, если готов — то на списание: за борт. После нескольких таких уроков, храбрецы перевелись, и люди добровольно отдавали бандюгам все, что тем нравилось.

Наблюдали мы все это, сидя на нарах, и мороз по коже пробирал. Ведь если до нас пока очередь не дошла, то может скоро и дойти: уркачи уважают военную форму, особенно генеральские шинели и сапоги, а мой наряд их тем более привлечет. И мы решили упредить события и отправиться на переговоры с фюрером бандитов. Ведь в любом бандитском коллективе всегда существует полное единоначалие. В банде всегда есть главный обер-бандит, или, как они выражаются, авторитет. Это не обязательно самый физически сильный, и, откровенно говоря, я до сих пор не представляю себе критериев, по которым бандюги выбирают фюреров, но единожды выбранный фюрер обладает всей полнотой власти, имеет фаворитов, которые в случае необходимости жестоко, вплоть до убийства, расправляются с нарушителями дисциплины и тщательно оберегают хозяина, зная, что в случае любого «дворцового переворота» им тоже худо придется.

Такая иерархия была, конечно, и в нашем трюме. Как я узнал, фюрером там был еврей, одесский бандит по кличке Аид, что на идиш и означает «еврей». Небольшого роста, отнюдь не богатырской комплекции, Аид все же был полновластным хозяином трюма, и несколько сот уголовников ему беспрекословно подчинялись. Вот с этим-то Аидом я и решил вступить в переговоры. Для убедительности я попросил богатыря Турченко встать в проходе около наших мест и слегка поигрывать самодельным «перышком», а сам, небрежно на-

кинув на шелковую рубашку свой шикарный пиджак, надев на одну руку лайковую перчатку и держа в этой же руке другую, заложив на затылок берет и покрепче привязав, чтобы не очень шлепали, лапти, отправился в «резиденцию» Аида.

Там толпились телохранители, но видя, что я, не обращая на них внимания, иду прямо к логову, они решили, что я свой в доску, и беспрепятственно пропустили мен. Свою «резиденцию» Аид оформил неплохо: почти рядом с люком он занимал целый ряд мест на втором ярусе нар. Снаружи все было закрыто ковриками с голыми женщинами, на нарах лежали матрацы и даже перины, белье сияло ослепительной белизной. Тут же несколько ящиков со спиртным, а один — с новенькими игральными картами с нераспечатанными бандеролями. Сам фюрер, сыграв несколько талий с новой колодой, отдавал потом эти карты младшим приспешникам, а сам брал другую колоду. Уже у самого логова меня остановил здоровенный верзила, не слишком интеллектуальной внешности. «Чего тебе?» — рявкнул он. Я презрительно оглядел его и сквозь зубы процедил: «Во-первых, не «тебе», а «вам», а во-вторых, мне нужен Аид».

Ошеломленный таким нахальством, телохранитель с явным одесским акцентом спросил меня: «А кто вы, собственно, будете и зачем вам Аид?». Решив его окончательно огорошить, я спокойно ответил: «Передайте, пожалуйста, Аиду, что с ним хочет поговорить шпиён Лева из Егупеца». Егупец — это старинное еврейское наименование Киева, а коренные одесситы, дабы показать свое презрение к второстепенному городу Киеву, всегда называли его Егупец. В Киеве я никогда не был, но Егупец мне был нужен для начала разговора с Аидом. Телохранитель слегка отодвинул закрывающий «резиденцию» коврик, сунул туда свою голову и стал с кем-то совещаться. Через некоторое время коврик отодвинулся больше, телохранитель знаком подозвал меня и впустил к Аиду.

На матраце лежала большая куча денег, не меньше чем несколько тысяч тридцатками, кругом расположились отнюдь не джентльменского вида личности с картами в руках,

несколько поодаль стояли раскрытые бутылки с коньяком и чайные стаканы. Прямо на меня смотрела типично еврейская физиономия, с горбатым носом и пронзительными черными глазами. «Я Аид, — глядя на меня и, по-видимому, поражаясь моей наглости, произнес этот человек. — Чего надо, шпиён Лева из Егупеца?» Немного удивленный такой несолидной внешностью фюрера, я в тон ему ответил: «Рад познакомиться. Так, может быть, вас не затруднит спуститься вниз, где я имею сказать вам несколько слов?». Аид спустился, и я уже без всякого одесского акцента начал ему говорить: «Вот что, Аид, я действительно бывший шпион, то есть работник военной разведки Красной Армии. Взят прямо из Испании, за что, говорить не буду. Пока там был — смерти глядел в глаза каждый день, никого и ничего не боюсь. Понятно?» Аид молча кивнул головой, и я продолжил: «Все, что имею — на мне, и так просто отдавать это не собираюсь, потому что на Колыме мне все это придется менять на хлеб. Если в вас осталось хоть немного человеческой совести, то вы эти шмотки у меня не отнимете, а если отнимете, то только у мертвого, а мне бы очень хотелось выжить, потому что надо кое с кем посчитаться. Я здесь не один, нас двенадцать человек, все военные, бывшие фронтовики. Драться умеют, и есть чем (я показал на стоявшего вдали Турченко, поигрывающего ножом). У них всех, кроме шинелей и сапог, тоже ничего нет, и так просто они вам свое имущество тоже не отдадут. Конечно, вас больше, и вы сумеете нас одолеть, но будет много крови, с обеих сторон. Давайте лучше по-хорошему договоримся: мы не вмешиваемся в ваши дела, а вы нас не трогаете. Договорились?»

Аиду, видимо, пришлись по душе моя откровенность и храбрость, ведь не побоялся же я один, безоружный, в хороших шмотках, сам прийти сюда. Возможно, сыграла свою роль и моя принадлежность к еврейской нации: ему явно импонировало, что такой же еврей, как и он, был храбрым советским разведчиком. Немного подумав, он подал мне руку и сказал: «Хорошо, шпиён Лева. Вы мне нравитесь. Слово Аида здесь закон. Живите спокойно, никто вас пальцем не

тронет, а если кто и полезет без моего ведома, то бейте чем хотите, хоть ножом, я вам за это и слова не скажу. Все», — заключил он и полез к себе наверх.

Я уже собрался уходить, но вдруг коврик приоткрылся, и в щель просунулся Аид, держа в руке полный стакан коньяка: «На, шпиён Лева! Выпей. У вас-то этого нет. Пей за что хочешь, — а потом, спохватившись, сказал: — Извините, пожалуйста, по привычке на ты, а с вами я на это не имею права. Выпейте, пожалуйста», — и вместе с коньяком протянул мне пригоршню шоколадных конфет. Я поблагодарил, выпил коньяк, заел конфетой, а остальные положил в карман, чтобы угостить товарищей. Обратно я шел, провожаемый уважительными взглядами аидовских телохранителей.

Пришел к своим, рассказал о переговорах и о «договоре о невмешательстве». Ребята, а особенно Михайленок и Козлов (коллеги по разведке), сильно за меня переволновались: что стоило этим бандюгам меня раздеть догола или зарезать? Турченко даже несколько раз порывался идти мне на помощь, но остальные его удержали. Ведь помочь он мне ничем не смог бы. Но все кончилось хорошо. Слово Аида оказалось железным: кругом шла «шуровка», а к нашему углу никто даже не подходил. Мы до того избаловались, что перестали выставлять ночную вахту. Все же изредка становилось не по себе: совесть никак не могла примириться с тем, что мы непрерывно слышали крики обворовываемых и избиваемых этими бандитами людей. Но что мы, жалкая кучка из двенадцати человек, могли тут поделать?..

Но время неутомимо шло вперед. Стали стихать и «шуровки». Тех фраеров, у которых было что взять, уже ограбили, уркачи начали держаться спокойнее, сидели на нарах и резались на «носки» и щелчки в карты, полученные с царского стола Аида. Наша дюжина коротала время за рассказами разных историй из бурной жизни каждого. Я поведал об эскадрилье имени М. Горького, а об Испании помалкивал.

Понемногу начал устанавливаться и корабельный быт: выдавать хлеб стали более регулярно и организованно. Иногда, в порядке очереди, которую организовывала охрана,

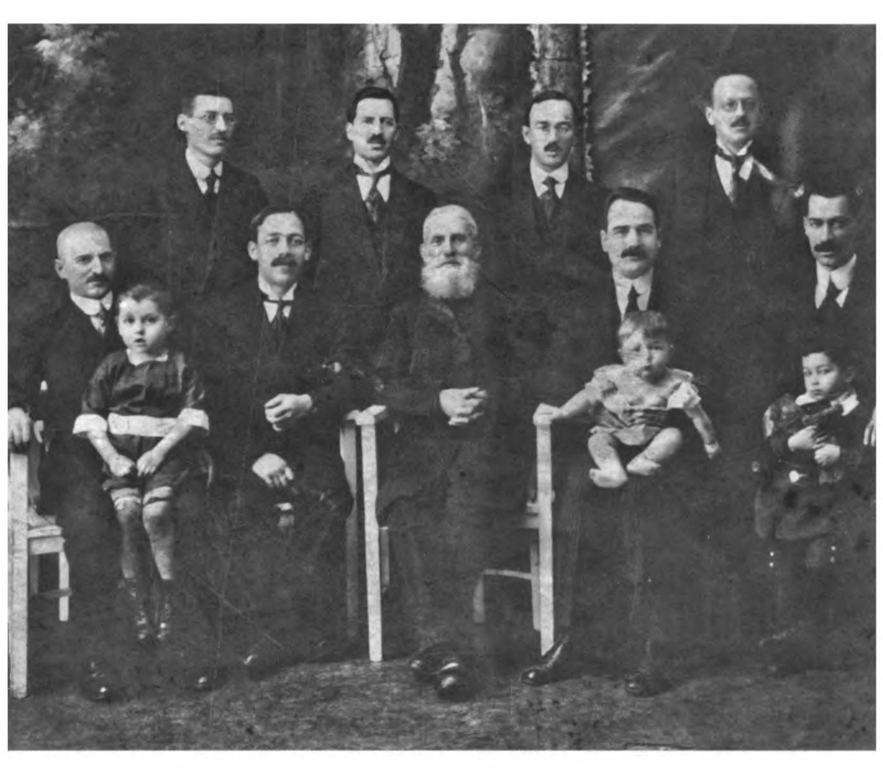
даже выпускали на палубу, где под строгой охраной стрелков с карабинами одновременно человек сто могли получить горячую пищу и подышать свежим морским воздухом. В нашем углу стало совсем хорошо: из вентилятора непрерывно шла прохлада, борт парохода остыл. Правда, со светом было неважно: лампочка, ватт на сто, висела от нас метрах в двадцати, но глаза привыкли, и в такой полутьме мы могли не только свободно ориентироваться, но даже играть в шахматы, доску для которых мы расчертили на нарах, а фигуры нарисовали на клочках картона, который нашли в трюме.

Прошло около недели, пока нам не объявили, что пароход подходит к бухте Нагаево, что в четырех километрах от Магадана. Была вторая половина июля 1939 года, наш путь от Новочеркасска до Нагаево, вместе с отдыхом на Владивостокской пересылке на Второй речке, растянулся на три с лишним месяца.

Через несколько часов стихли машины, загрохотала якорная цепь, и наш «Дальстрой» причалил к пристани. В Нагаево мы прибыли еще до восхода солнца. Несколько часов заняла выгрузка, прошедшая без особых инцидентов. И вот, наконец, мы почувствовали под ногами твердую землю. Часа два длилась процедура сдачи нас корабельным конвоем уже колымскому конвою, и затем, растянувшись длинным хвостом, мы двинулись от Нагаево к Магадану.

Александра Хургес-Эдельман, Мер Эдельман, жена раввина; Мордехай Эдельман, раввин из Долгиново; их дочь; неустановленное лицо. Мина Хургес, жена Гавриила. Стоят: Хася Гавриловна Эдельман; Лазарь Хургес; три неустановленных лица. Гавриил Матвеевич Эдельман.

Сидят: Гавриил Матвеевич и Мина Хургесы. Стоят: Лазарь Моисеевич и Александра Матвеевна Хургесы. Эмма Матвеевна Эдельман (в замужестве Полян). Два неустановленных лица.



Мужчины рода Хургесов. Сидят: Лазарь Моисеевич Хургес с сыном Львом на коленях; Мендель Исаакович Хургес; Моисей Львович; Ефим Исаакович Хургес с сыном Зорей (Захаром) на коленях, Абрам Моисеевич с сыном Борей на коленях . Стоят: Евель Моисеевич, Матвей Моисеевич, Яков Исаакович, Израиль Исаакович. 1916, Москва. Фотография «Чистые пруды»

Лазарь Моисеевич и Александра Матвеевна Хургесы. Минск, Фотография Г. А. Миринского.

Александра Матвеевна Хургес

Лазарь Моисеевич Хургес с с сыном Львом.
Минск, Фотография Г. А. Миринского.

Лазарь Моисеевич Хургес (справа) на велосипеде-тандеме.

Лев Хургес и Леонид Тепляков. 1930 г.

Эльбрус. «Кругозор». 1933 г.

Л. Хургес в Сталинграде вместе с корреспондентом «Крокодила» Е. Весниным. 1925 г.

Выпуск Московского электротехнического института связи. 1936 г.

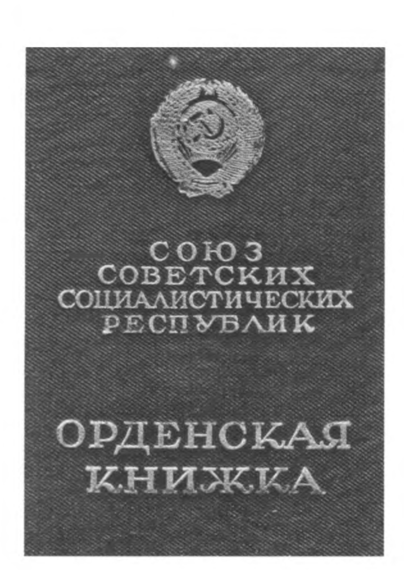
Гражданская война в Испании, район Малага-Альмерия (карта из газеты «Правда»).

Командир Орджоникидзевской дивизии НКВД генерал-майор В. И. Киселев.

Командир эскадрильи Е. Е. Ерлыкин («Граф Дон Педро») в Испании.

И. Эренбург с испанскими летчиками. 1936 (Собрание Б. Фрезинского)

Обзор событий на фронтах в Испании (карта из газеты «Правда»).



Хургес
(фамилия)
Лев
(имя)
Лазаревич
(отчество)

Награжден орденом	№ ордена	Указом Президиума Верховного Совета СССР
Красной Звезды	3349790	от 16 Декабря 1936 г.
		от . 19 г.
		от . 19 г.
		от . 19 г.
		от . 19 г.
		от . 19 г.
		от . 19 г.
		от . 19 г.
		от . 19 г.
		от . 19 г.

г № 564921

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. Горкин

14 Января 1957 г.

Орденская книжка

С. С. С. Р.

Н. К. В. Д.

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ЗАИНВЕНТАРИЗОВАНО в 1941 г.

ДЕЛО № 11977

Обвин Хургес Л. Л.

261385

ТОМ №

261385

Количество томов 1

31

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
[Особ]ого Совещания при Народном Комиссаре Внутренних Дел СССР
от „23“ июля 1937 г.

СЛУШАЛИ	ПОСТАНОВИЛИ
[Де]ло № 11977/д о ХУР[ГЕСЕ] Льве Лазаревиче, 1910	ХУРГЕС Льва Лазаревича — за к.-р. троцкистскую деятельность — приговорить к тюремному заключению, сроком на ВОСЕМЬ лет, сч. срок с 31.V-37 г. Дело сдать в архив.

Отв. Секретарь Особого Совещания

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

На старшего радиотехника сейсмической партии № 3/53 треста "Грознефтегеофизика" тов. ХУРГЕС Льва Лазаревича, беспартийного, рождения 1910 года, еврея, образование незаконченное высшее.

тов. ХУРГЕС Лев Лазаревич работает в системе треста "Грознефтегеофизика" с 1947 года, занимая должности радиотехника и и.о. инженера-оператора в сейсмических партиях.

Работая радиотехником, а затем и.о. инженера-оператора, тов. Хургес Л.Л. освоил технику сейсморазведочных работ и является знающим специалистом этого дела.

На ряду с этим, тов. Хургес Л.Л., как в работе, так и в быту неаккуратен, а со своими подчиненными допускает грубость в обращении. Очень высокого мнения о себе и очень низкого о подчиненных и работающих с ним. Свои личные интересы всегда ставил выше производственных.

В общественной жизни коллектива партии участие принимал и принимает незначительное.

В 1951 году за успешное выполнение плана работ сейсмической партии тов. Хургес Л.Л. был награжден почетной грамотой треста. Кроме того тов. Хургес Л.Л. подано ряд незначительных рационализаторских предложений, которые приняты и внедрены в производство.

Характеристика выдана для представления в МВД.

Управляющий трестом
Грознефтегеофизика /И. Дидура/

17.У1-1953г.
гор. Грозный.

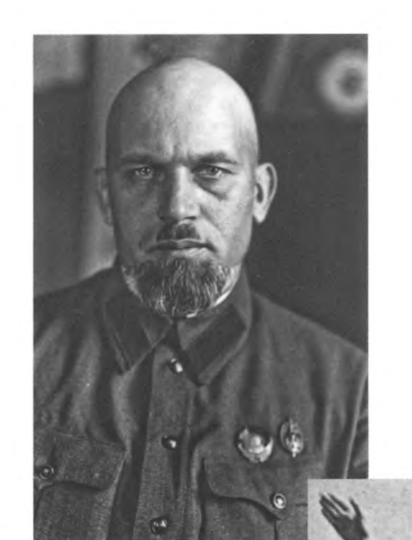
Фрагменты из следственного дела № 11977 Л. Л. Хургеса. Дело № 11977. (ЦА ФСБ. Д. 261385)

Пароход Дальстроя «Джурма». Архив Д. И. Райзмана.

Бухта Нагаева. 1990-е гг. Архив Д. И. Райзмана.

Автобус Магадан — Нагаево — Магадан. 1930-е гг.
Архив А. Г. Козлова.

Пос. Нагаево зимой. 1930-е гг. Архив А. Г. Козлова.



Э. П. Берзин. 1930-е гг.
Архив А. Г. Козлова.

Магадан. Памятник Сталину. 1930-е гг.
Архив А. Г. Козлова.

Магадан. Первая в городе гостиница. 1930-е гг.
Архив А. Г. Козлова.

Магадан. Дирекция Дальстроя. 1930-е гг. Архив А. Г. Козлова.

Магадан. Первое здание городского театра. 1930-е гг.
Архив А. Г. Козлова.

Магадан. Военный парад. Конец 1930-х гг. Архив А. Г. Козлова.

Колыма, прииск Штурмовой, 1937 г. Центральный лагпункт, бараки. Рис. заключенного Кусургашева, 1988 г. Архив Д. И. Райзмана.

Мальдяк. 1993 г. Архив Д. И. Райзмана.

Поселок 72-й км. Стеклозавод. 1942 г. Архив А. Г. Козлова.

Памятник узникам Колымы на «Серантинке» — Аргакалинском перевале — 687 км Колымской трассы (Сусуманский район), с цитатой из стихотворения А. Жигулина. Поставлен в 1999 г.

Трудовая книжка

Фамилия Хургес

Имя Лев

Отчество Лазаревич

Год рождения 1910 г.

Образование: начальное, среднее, высшее
(подчеркнуть)

Профессия

Подпись владельца Трудовой книжки

Дата заполнения Трудовой книжки 28.

Трудовая книжка Л. Л. Хургеса

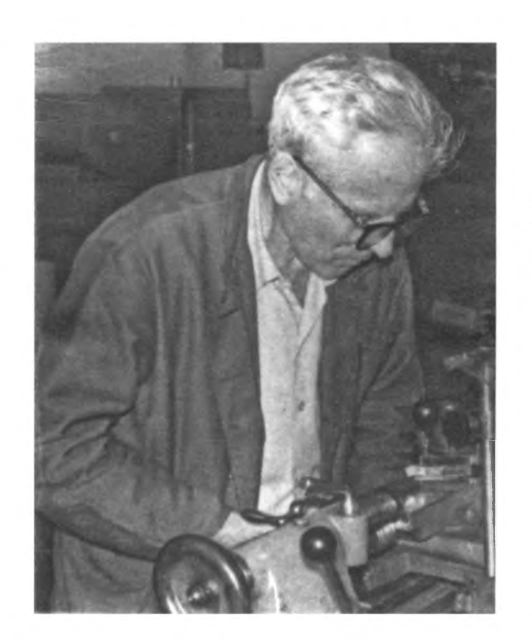
С женой. 1950 г.

С женой и сыном у Большого театра. 1957 г.

На буровой 1952 г.

Бакрес. «Очко». 1955 г.

В НИИ Геофизики. 1958 г.



У станка: токарь по металлу. 1974 г.

Ветераны Испании: радисты Л. В. Долгов, Л. Л. Хургес, А. П. Перфильев и командир торпедного катера.

Ветераны Испании: Л. Л. Хургес с В. И. Киселевым

Ветераны Колымы: Л. Л. Хургес с М. Г. Мартыщенко

КОЛЫМА: ПРИИСК СКРЫТЫЙ

Магаданская пересылка: обед с красной рыбой, регистрация, медосмотр. — Данишевский и Мейденберг. — Дорога на прииск Скрытый и ночь на свободе. — Певец Абалмасов. — Нормы выработки, туфта и кормежка. — Бригада Коломенского. — Кайлом и тачкой. — Бутара. — Хозяева Дальстроя: Берзин, Гаранин, Павлов, Никишов. — Милонов и доктор Приблудный. — Напарник Мотя Лерман. — Украденная тачка. — Поединок Давида и Голиафа: повержение Коломенского.

1

Особого впечатления на меня эта колымская столица не произвела: дома примитивнейшей архитектуры в два, три, редко в четыре, этажа, зелени мало, улицы, правда, заасфальтированы и содержатся в чистоте — по-видимому, зэков и на эту работу здесь хватало. В общем, никаких достопримечательностей я не заметил, даже знаменитый Дворец культуры имени М. Горького и то был на уровне заурядного клуба какого-нибудь крупного предприятия в областном центре.

Примерно через час наша колонна уже вползала в центральный распределительный лагерь Дальстроя в Магадане. Надо сказать, что вся организация приема и оформления зэков в этом лагере была на высоте: первым делом нас без всякого бюрократизма накормили досыта. Под большим навесом стояли столы, на которых уже лежал нарезанный хлеб в неограниченном количестве. Неподалеку стояли бочки с соленой рыбой, горбушей и селедкой очень хорошего качества, и брать ее, как и хлеб, можно было сколько угодно. Когда некоторые особо изголодавшиеся зэки, попав в столовую, начинали пихать в свои сумки хлеб и рыбу про запас, работники столовой, не препятствуя, только удивлялись: «И чего запасаетесь! На приисках этого добра больше, чем здесь!» После чего даже самые жадные переставали делать запасы.

На отдельном столе были подносы, миски, ложки, вилки. Каждый брал поднос с приборами и подходил к окну разда-

чи. Окон этих было много, и несмотря на то, что в столовую одновременно запускали по несколько сот человек, а таких столовых было несколько, очередей больших не было, обслуживали быстро. Повар наливал по полной миске макаронного, с мясными консервами, супа, очень густого, жирного и вкусного. Правда, даже без признака каких-либо овощей, но они на Колыме считались деликатесом и доставались только вольняшкам.

Во вторую миску накладывали каши, кажется, рисовой, причем, как говорится, от пуза. Желающие могли повторить суп и кашу, повара не жалели, и к окну раздачи можно было подходить и по несколько раз. Чего же еще можно желать? Хлеб, рыба, суп, каша в неограниченном количестве — не жизнь, а малина, не то что ячневая сечка в Полтавской тюрьме! Да к тому же еще и полная воля: зона огромная, иди куда хочешь, садись, ложись, благо погода все еще стоит хорошая, солнце печет, ни одного облачка на небе, только с моря тянет чуть прохладный ветерок. В общем, лафа!

Никто, даже самые заядлые пессимисты, уже не жалели, что попали сюда. Бедняги, мы даже не догадывались, что за «лафа» ждет нас впереди. Не знали мы, что это только реклама, а настоящую кузькину мать мы узнаем на приисках попозже, особенно зимой. Не ведали мы, что немногие из нас переживут даже эту, предстоящую зиму. Не знали мы, что будут наши косточки, с биркой на ноге, лежать в братских ямах приисков Мальдяк, Чай-Урьи, Ленковый или имени Водопьянова. (Эх, не знал мой знакомый Миша Водопьянов, что его именем назовут один из самых страшных приисков, где будет особенно много таких страшных братских ям!)

А пока: «Все хорошо, прекрасная маркиза, дела идут и жизнь легка».

После кормежки, дав нам еще часок отдохнуть, чтобы жирок завязался, нарядчики стали приглашать людей на регистрацию в специальный барак. Нарядчики — это надсмотрщики над рабами, их функции заключались в помощи администрации лагеря по учету и эффективному выводу зэ-

ков на работу. Как правило, это бытовики и почти никогда враги народа, как мы.

Если приглашаемый сразу же поднимался с места и шел, куда ему велят, то все обходилось благополучно. Если же он мешкал или выражал желание еще отдохнуть, то здоровенные лбы — нарядчики помогали ему подняться энергичными пинками.

В этом бараке были большие стойки с окошками, за которыми сидели люди в форме НКВД. Над окошками — таблички с буквами алфавита: каждый подходил к окошку со своей буквой, выстраивались небольшие, человек в пять-десять, очереди. У каждого спрашивали фамилию и инициалы. Сидящий за окошком довольно быстро находил личное дело опрашиваемого, сверял по нему все остальные данные и начинал вносить, уже в свой бланк, подробные сведения о человеке.

Окошки были расположены довольно близко друг от друга, шум в помещении стоял сильный, и бывали случаи, когда опрашивающий, по ошибке, записывал в анкетные листы опрашиваемого данные его соседа по окошку. (Такой случай произошел и со мной, но об этом я расскажу несколько позже.) Всех переписанных через другие двери направляли в следующую зону, не менее просторную, чем первая, где им надлежало пройти санобработку, экипировку и дожидаться отправки на прииски. Поскольку в этой зоне все были уже зарегистрированы и занесены в списки, то порядка здесь было больше.

Санобработка совмещается с медосмотром: вызывают сразу человек пятьдесят, заводят в предбанник, заставляют раздеться догола и все вещи повесить на крючки для последующей дезинфекции. Затем медосмотр: в комнате сидит несколько человек в белых халатах. Один из них подходит к голому зэку, осматривает его, выслушивает: «Дышите — не дышите» и т. д. и уже через минуту-две диктует сидящему за столом регистратору: ТФТ или СФТ (тяжелый физический труд, средний физический труд). Зэки обеих категорий пригодны к использованию на земляных работах на золотых приисках.

В принципе, имеется еще и категория ЛФТ (легкий физический труд), и, по положению, такую категорию на прииски посылать нельзя. Медкомиссия же работает сдельно, по количеству отправляемых на прииски зэков, и ЛФТ здесь дают очень редко, практически никогда, ведь все присланные сюда из тюрем люди проходили там предварительный медосмотр и всех явных инвалидов и стариков уже прямо оттуда направляли в другие лагеря, где требования к состоянию здоровья были не такие жесткие, как в Дальстрое.

После медосмотра вся партия направляется в моечную. Баня хорошая, душей достаточно, мыло, нарезанное небольшими кусочками, лежит на специальной полочке, в общем, вымылись мы хорошо. После моечной, в послебаннике, нас полностью экипировали: выдали чистое нательное белье, гимнастерки, летние шаровары, портянки, ботинки (наконец-то я расстался со своими лаптями), фуражки, вплоть до полотенец, которые тут же пригодились. Все это можно было подбирать более-менее по размеру. Одевшись во все новое, мы получили из дезинфекции свою вольную одежду. Она уже практически была нам не нужна, потому что мы с ног до головы были одеты во все лагерное, вплоть до телогреек.

В отличие от тюремной робы, все лагерное обмундирование никаких отметок о принадлежности к месту заключения не имело, что и понятно: куда же с Колымы убежишь? Сообщение только морем, специальными пароходами Дальстроя НКВД, каким-либо «фуксом» попасть на них невозможно, проверяют на совесть. По суше до материка, как здесь называют всю остальную часть Союза, не относящуюся к бассейну реки Колымы, тысячи километров тайги и болот, так что если и уйдешь с бесконвойного прииска, то все равно погибнешь, так и не добравшись до человеческих мест.

Вольные свои вещи мы связали в узлы, у некоторых получились весьма внушительные баулы. Так как, по-видимому, и насчет одежды здесь все было благополучно, то и эти вещи казались нам ненужным грузом.

Во второй зоне были такие же столовые, как и в первой; точнее, кухня была одна, а раздаточные окна выходили

и в первую, и во вторую зоны. В эти столовые кто угодно мог зайти в любое время и поесть суп с кашей, хлеб и рыба лежали свободно, но мы уже не были голодны, а часть из нас предпочла лагерной пище ларечные деликатесы. Здесь работали ларьки, где можно было купить всякие деликатесы, вроде колбасы, дешевых конфет, сахара, консервов и прочего, но денег ни у кого не оказалось. Тут же из числа лагерных придурков нашлись сердобольные люди, желавшие нам помочь, и пошла бойкая торговля вольными вещами. Скупалось все буквально за бесценок: приличный костюм — рублей за восемьдесят, на воле за него было уплачено никак не меньше трехсот, ботинки — за пятнадцать-двадцать рублей. Но уж больно хотелось изголодавшимся по вкусностям зэкам полакомиться, и они отдавали последние шмотки чуть не даром, потом об этом жалели: ведь на приисках, когда подпер голод, эти деньги ох как пригодились бы, там за те же вещи заплатили бы раза в два-три больше, — а уж ничего «забить» не осталось, все «сплавили» в Магадане. Да и таскаться с узлами по жаре (а после полудня ветерок стих, и жара стала еще сильнее) было тяжело, а оставить, хоть на несколько минут, рискованно: кругом квалифицированные воры, стащат и продадут немедленно.

Продал и я свой костюм, но поскольку он был особый, взял у меня его сам вольный врач за сто двадцать рублей. Торговал он и кожаное пальто, но я решил его пока не продавать, и напрасно: на другой же день после прибытия на прииск у меня его украли. Получив деньги, я накупил в ларьке всякой всячины и начал угощать своих товарищей-военных, которые так и не пожелали расстаться со своими военными реликвиями и потому денег не имели. Мы договорились снова держаться всем вместе, но человек предполагает, а ГУЛАГ — располагает. В скором времени начали подходить машины ЗИС-5. Как только подъезжала машина, из административного барака выходил человек со списком и выкликал двадцать пять фамилий. Эти люди тут же забирались в кузов машины. В кабине сидел старший конвоир. Двое конвоиров, с карабинами, садились на скамейку в передней части кузова. Машины, подняв клубы густой пыли, тут же уезжали.

Одними из первых забрали Яшу Козлова и Турченко. Они залезли в кузов, на прощанье махнули нам руками, и больше я их никогда не видел. Живы ли они, или так и остались на Колыме, не знаю, но скорее второе. Вскоре наша группа, да и вообще все приехавшие на нашем пароходе, начала рассеиваться. Машины подходили непрерывно, и скопление людей в зоне № 2 таяло на глазах. Из своих сокамерников по Полтавской и Новочеркасской тюрьмам я здесь встретил только Вознесенского и Цитлидзе. На пароходе они, оказывается, попали в другой трюм. Там их уголовники «пощупали», и продавать им здесь было уже нечего. Купил я им на дорогу по килограмму конфет и по кругу краковской колбасы. Но наш разговор прервался очень скоро, их вместе вызвали на машину, а я остался. Уже нас в зоне осталось совсем немного, а потом и вообще не более чем на одну-две машины.

2

Начинало темнеть, солнце зашло, пришлось надеть телогрейки, не зря нам их здесь выдали, на Колыме они и в июле пригодились. Сидели мы, оставшиеся, почти до полной темноты. Начали шпилить комары, которые здесь днем особенно не допекали. Пришлось нам перейти в столовую, благо она и на ночь не закрывалась. Сидим мы, думаем и гадаем: почему же нас не забирают? Неужели мы уж такие особо опасные преступники, что нас должны отправлять как-то экстраординарно? Кто-то даже высказал предположение, что нас хотят оставить в Магадане. Ни то, ни другое никак не вязалось с логикой: сроки у нас были самые различные: от пяти лет у бывшего директора небольшого завода — Мейденберга до двадцати пяти у бывшего директора одного из крупнейших в СССР авиазаводов — Новосибирского авиамоторостроительного — Данишевского*. Был с нами и кандидат техни-

* Данишевский Иван Михайлович (1897 — между 1974 и 1979), уроженец Варшавы, еврей, проживал в Харькове. В 1916—1918 левый эсер, с октября 1919 член ВКП(б), активный участник Гражданской войны

ческих наук Баламутов, и колхозник из Коми АССР — мой однокамерник по Новочеркасску Федя Сальников.

С усталости мы начали подремывать, так и не придя ни к какому выводу. Уже совсем было уснули, как вдруг снаружи послышался шум подъехавшей машины, и вбежавший в столовую придурок заорал: «Чего прячетесь? Обыскал весь лагерь, насилу нашел. Быстро в машину!» На скамейке в передней части кузова разместились два конвоира с карабинами, а мы все — двадцать пять человек, по пятеро в ряду, уселись прямо на полу, лицом к движению машины, вытянув ноги вперед. Места было в обрез, требовалось поместить пять рядов зэков, да еще и оставить между конвоирами и нашим первым рядом дистанцию около метра, чтобы при попытке бунта конвоиры смогли воспользоваться своим оружием. Вот и уселись так, что каждый ряд упирался спинами в животы людей следующего ряда, а последний, пятый ряд — в задний борт машины, и мы поехали.

Было уже совсем темно, так что любоваться красотами колымской трассы нам не пришлось. Только и виден был впереди кусок дороги, высвечиваемый фарами. Чем дальше уходили мы по трассе, тем становилось прохладнее. Еще раз поблагодарили мы, в душе, начальство за телогрейки, а я еще

на Украине. С 1919 в органах ВЧК, в связи с назначением на должность зам. начальника Особого отдела ВЧК (военная контрразведка) ненадолго был переведен в Москву. В 1920 году возглавил Особый отдел 13-й армии, воевавшей с Врангелем и беспощадно «зачищавшей» освобожденный Крым в ноябре-декабре 1920-го. В 1922 перешел на гражданскую работу. С 1930 студент Военно-воздушной академии. Став специалистом по авиадвигателестроению, в 1935 году начал инженерную работу в Перми. С июля 1937 года директор и начальник строительства авиазавода № 153 в Новосибирске. Арестован 13 августа 1938 года и осужден к расстрелу по ст. 58, пп. 7, 8, 11. 27 ноября 1938 года по протесту В. В. Ульриха пленум Верховного суда СССР отменил приговор и вернул на новое рассмотрение. Осужден на 20 лет ИТЛ. Сидел на Колыме до 12 сентября 1952, затем вольнонаемный. С 1954 ст. мастер автомехбазы облместпрома в пос. Стекольный под Магаданом (там же работал с сент. 1941 старшим мастером и начальником механического цеха, более 100 раз поощрялся за рационализаторство и хорошую работу). 14 сентября 1955 реабилитирован, со временем перебрался в Москву. Инженер-полковник в отставке, доктор технических наук.

сверху накинул и свою кожанку, потому что сифонило более чем прилично. Повезло нам еще, что ветерок был встречный и пыль сдувал назад, так что мы могли дышать свежим воздухом, а дуй ветер в другую сторону, то на таком тихом ходу, не более 35 километров в час, дышать было бы просто невозможно. Ехали мы без остановок, проезжали какие-то не очень крупные поселки, но время было ночное и разглядеть ничего было нельзя, да и не до этого нам было, за этот суматошный день все настолько уморились, что, едва сев в машину, большинство начали дремать.

Часа в три ночи машина затормозила, потом свернула в сторону, заехала в какие-то ворота и совсем встала. Хлопнула дверь кабины, и старший конвоир скомандовал: «Вылезайте! Шофер устал, дальше ехать не может. Будем делать привал». Открыли задний борт машины, и мы, соскочив на землю, начали разминать свои отекшие от дальней поездки и неудобного положения ноги. Шофер со старшим тут же ушли в расположенный неподалеку поселок, оставив нас на попечение двоих, уже отчаянно зевающих, конвоиров. Во дворе, в который нас завезли, стоял небольшой барак с традиционными двухъярусными нарами, на которых мы и разместились. Некоторые из нас, улегшись на нары, сразу захрапели, а часть — я, Мейденберг, Данишевский и еще несколько человек, успевших кемарнуть еще в столовой и в машине, вышли на воздух.

Развели мы небольшой костерчик, на котором, в имевшемся у Мейденберга котелке вскипятили чай и с удовольствием смаковали его с конфетами, наслаждаясь свежим ночным воздухом и почти полной, по сравнению с тюремной камерой, свободой. Наши стражи, сидевшие неподалеку, о чем-то посовещавшись, подошли к нам, и один из них начал переговоры: «Вот что, ребята, вы, конечно, понимаете, что никуда убежать отсюда невозможно, кругом секретные посты, и если кто стреканет, его тут же пристрелят, а не пристрелят, так тут же поймают и — гарантированная «баранка» (десять лет добавки к сроку). Чего же мы вас здесь будем караулить? Все равно шофер и старший раньше десяти утра

не придут (они и впрямь пошли к каким-то знакомым женщинам в поселок, там гульнули и появились у машины только назавтра, часам к одиннадцати), пойдем в поселок и мы. Вы уж тут оставайтесь сами. Хлеб у вас есть, а рыбы полно в бараке (там стояла полная бочка с соленой горбушей), вода — рядом, в речке. Перебьетесь до утра. Только смотрите, со двора никуда не уходите, подведете нас, а главное себя. Договорились?» — и, получив наше добро, стрелки, оставив здесь за старшего Данишевского, он выглядел солиднее нас всех, взяв на ремень свои карабины, направились к воротам.

И вот мы остались на полной свободе. Как это было приятно после Бутырок, Полтавы и даже Новочеркасска! Сидим у костерчика, пьем чай с конфетами, беседуем о всякой всячине, одним словом, рай да и только. Посидев так часа два, уже перед самым рассветом мы отправились в барак и спокойно спали там до самого прибытия наших конвоиров — часов до девяти утра. В награду за дисциплину стрелки принесли нам буханок пять хлеба и столько же банок мясных консервов. Скорее всего, они получили это в качестве пайка нам на дорогу — но ведь могли и зажать.

Пока прибыли отдохнувшие шофер и старший, мы успели плотно поесть и хорошо отдохнуть. «Садись, — скомандовал старший. — Уже недалеко, больше половины проехали». Снова погрузились в машину. На этот раз конвоиры, убедившиеся в нашем послушании, разрешили нам разместиться попросторнее, то есть уменьшить дистанцию между первым рядом зэков и собой, и мы поехали дальше.

Если накануне ночью встречных машин почти не было, то сейчас движение на трассе было оживленнее, ведь на Колыме автотранспорт — это единственное средство сообщения между разбросанными на большие расстояния приисками и центром. Трасса, надо сказать, была на высоте, конечно, ни в какое сравнение с испанскими дорогами она не шла, но по сравнению со среднероссийскими была великолепна; построенная силами зэков, эта трасса (а на Колыме нет названия «дорога», только «трасса»), поддерживалась в надле-

жащем порядке: ровный асфальт*, если местами и попадались отдельные участки грейдера, то они были ровные, без глубоких колей, присыпанные щебнем; мосты и мостики через часто встречающиеся речки и канавы — в исправном состоянии; бродов вообще нет, аккуратно стояли дорожные знаки, встречались бригады зэков, бесконвойно занимавшиеся ремонтом трассы, — одним словом, эта «дорога жизни» поддерживалась как надо.

Окрестности очень живописны: сопки, покрытые густо-зеленым лесом, на Колыме из-за сильнейших морозов зимой растет, преимущественно, сибирская лиственница, зимой полностью оголяющаяся, а с наступлением тепла сплошь покрывающаяся зеленью — тоненькими листиками, по размеру не более сосновой иглы. Полянки и луга сплошь покрыты цветистым ковром. Много ягод: клюква, брусника, морошка, голубика, жимолость и другие, часто встречаются заросли шиповника, летом расцветающего большими розовыми цветами, к осени покрытые сочными ягодами.

Только все это зэкам не на пользу: заниматься сбором ягоды не дают, несмотря на то, что цинга косит людей тысячами; летом все на промывке металла, — на Колыме слово «золото» не употребляют, только «металл», — а зимой ягод не бывает. Спасаются от цинги только кедровым стлаником — это такой кустарник, стелющийся по земле, с тонкими иголками, содержащий некоторое количество витамина С. Настойка этого стланика, коричневого цвета, очень противная на вкус горькая жидкость, всегда стоит в бочках при входе в зэковские столовые, и, как правило, пищу зэкам не выдают, пока они не опрокинут стаканчик этой дряни. Многие пытаются закосить и проскочить в столовую, не выпив его, но за это можно получить от дежурного и хорошую плюху. Но все это мы узнали уже несколько позже, а пока после вольной ночевки ехали в машине, любовались всеми кра-

---

* Асфальт на основной трассе имелся только до 56-го км; далее, примерно до 150—160-го км — бетонка, положенная только в 1970-х годах (асфальтированные участки только местами), а все, что дальше — грейдер, по которому, впрочем, ехать лучше, чем по бетонке, искореженной мерзлотой.

сотами трассы, и пребывали в отличном настроении. Как-никак, а после наших тюрем Колыма нам показалась почти что раем и почти что волей.

Часов через пять езды наше начальство устроило привал на обед. Конвоиры, а особенно шофер и старший, почувствовали надобность немного отдохнуть после своей ночевки в поселке и, разлегшись на травке, тут же захрапели. Поскольку они заверили нас, что на прииске харчей достаточно, мы решили доесть свои запасы. Развели костерчик, вскипятили чай и подъели все подчистую. Через час наша охрана, отдохнув, скомандовала: «Садись», и мы поехали дальше.

Трасса уже проходила почти сплошь через густую тайгу. Часов в пять вечера машина наша свернула на боковую дорогу и, проехав по ней несколько километров, остановилась. Мы выгрузились, и старший заявил: «Дальше дороги нет, мы поедем на главный лагпункт, чтобы оформить вас, а вы идите вот по этой тропинке (в тайге виднелась хорошо протоптанная тропка, извивавшаяся между деревьев), она вас выведет прямо на прииск Скрытый. Народ вы, как я вижу, порядочный, нас не подведете, чего ж я будут таскать вас с собой. Никуда вы не денетесь, а эта дорожка выведет вас прямо куда надо».

Конвоиры наши залезли в кузов, шофер со старшим сели в кабину, машина, развернувшись, поехала обратно, а мы гуськом потопали по тропинке. Шли мы не спеша около часа. Наконец, впереди показался небольшой поселок, со всех сторон окруженный тайгой. Подошли: стоят десять рубленых бараков, и на краю дымит полевая солдатская кухня. Никого, кроме повара в белом колпаке и двух его помощников в зэковском обмундировании. Подошли к повару, поздоровались. Повар оказался здоровенным лбом, не из интеллектуалов. «Что, новенькие?» — спросил он. Мы ответили утвердительно. Спросив насчет земляков и узнав, что из Ростова Великого тут никого нет, повар потерял к нам интерес. «Вот тот барак вроде свободен», — сказал он, указывая на стоявший с краю сарай. «Размещайтесь и отдыхайте, а вечером придет к вам нарядчик и распорядится. Ужинать придете сюда, как солнце

сядет». Неподалеку от кухни были врыты в землю несколько деревянных столов и скамеек — как видно, столовая.

Мы поплелись в указанный поваром сарай. Зашли: судя по всему, это была времянка, дверь болталась на одной петле, окон вообще не было. По бокам — нары, с насыпанной на них сухой травой, посредине — железная печка из бензиновой бочки. В основном, все печи для зэков на Колыме изготовлялись из таких бочек*. Поскольку труба от печки выходила коротко наружу, то отапливала эта печь преимущественно тайгу. Ох, сколько тысяч, если не больше, гектаров ценнейшей древесины «сожрали» эти ненасытные печи на Колыме! Привели мы в порядок сено на нарах, подстелили свои шмотки и, отдохнув с полчасика, решили побаловаться чайком, так как харчи свои подъели еще на привале. Хвороста кругом в тайге было достаточно, растопили мы печку, набрали в котелки воды (памятуя тяжелое положение с посудой на пароходе, каждый из нас запасся на Магаданской пересылке большой жестяной консервной банкой, благо их там на свалке было достаточно, наиболее хозяйственные даже приладили к ним ручки из проволоки) и поставили кипятить. Кружки, которые продавали в ларьке Магаданской пересылки, тоже были почти у всех. Печь быстро нагрелась, и минут через сорок мы уже пили чай с конфетами: на Магаданской пересылке продавали самые дешевые — «подушечки».

В это время в дверях нашего барака появился здоровенный верзила в несколько необычной для нашего глаза экипировке: на голове черная суконная шапка об одном ухе, на грязнейшую, почти коричневого цвета, нательную рубаху надета рваная распахнутая телогрейка, вся в дырках, из которых торчали клочья ваты, такой же кондиции ватные брюки. На телогрейке и брюках явно виднелись следы ожогов, наверно, этот человек грелся у огня, не очень-то заботясь о сохранности своей одежды, на ногах какие-то опорки, прямо на босу ногу, без портянок, оторванные подметки подвязаны проволокой, из носков обуви виднелись посиневшие пальцы ног. Физиономия — распухшая, волосы, усы и борода, видимо, не менее

* Такие печки-бочки и по сей день используются в зимовьях.

трехмесячной давности, всклокочены, и торчат в них куски соломы, судя по всему, этот человек до прихода сюда валялся на соломе и не позаботился о приведении своей внешности в надлежащий порядок, одним словом, вид у нашего гостя был такой, что даже горьковские босяки из пьесы «На дне» по сравнению с ним были «джентльменами комильфо».

Личность, стоя в дверях, прохрипела простуженным басом: «Что, новенькие?» и, не дожидаясь ответа, продолжала: «Разрешите представиться: бывший солист Харьковской оперы Абалмасов». Мы буквально опешили, у каждого в голове мелькнула мысль: неужели человек и даже, по-видимому, очень культурный и интеллигентный, может здесь дойти до такого состояния? Неужели и мы станем здесь такими же? Холодок пробежал по коже, и Колыма уже перестала казаться столь привлекательной. Поняв, о чем мы думаем, Абалмасов сказал: «Чего удивляетесь? Я здесь уже третий год и, как видите, пока еще живой. Считаю, что мне повезло».

Мы пригласили его отведать нашего чаю, на что он охотно согласился. Прихлебывая горячий чай и посасывая конфеты (зубов у него почти не было, и разгрызть конфету он не мог), Абалмасов интересовался новостями с воли. Выпив две кружки чаю и закурив цигарку махорки, он погрузился в нирвану.

Мы уже немного привыкли к необычному виду нашего гостя, и Данишевский полушутя обратился к нему с вопросом, чем же он может доказать, что действительно был солистом оперы? Абалмасов поднялся и прохрипел: «Намек понял! Короче говоря, вы просите меня тряхнуть стариной. Хорошо, я вам спою единственную подходящую к данным условиям арию». И запел арию Мефистофеля из «Фауста» Гуно: «На земле весь род людской...». Абалмасов сразу преобразился: куда девалась хрипота? Чистый, прекрасно поставленный бас. Не портило Абалмасова даже надетое на нем тряпье! Перед нами стоял настоящий артист, во фраке с пластроном и с белой астрой в петлице! Все сильнее становились чарующие звуки арии: «Люди гибнут за металл», — со слезами в голосе, протягивая вперед руки, гремел Абалмасов; види-

мо, он очень хорошо пережил эти страшные слова. Как зачарованные слушали мы это чудесное исполнение, у многих на глазах появились слезы. Как можно было губить такой талант? Нет названия такому преступлению, и нет за него достаточного наказания. Ох, Джугашвили-Джугашвили! Нет и не будет тебе прощения никогда.

Только окончил Абалмасов пение и обессиленный опустился на нары, как в дверях появились люди в военной форме, а впереди молодой парень в штатском, лет так тридцати, как потом оказалось — начальник прииска. Вошедшие поздоровались, а начальник тут же с иронией произнес: «А! Абалмасов уж здесь? И уже, конечно, проводит агитацию за срыв золотодобычи!» Осведомившись, когда мы прибыли и сверившись с имевшимся у него списком, начальник передал нас присутствовавшим в его свите нарядчикам. Те уже более подробно познакомились с нами, записали все данные, вплоть до специальности, в особые карточки и, предупредив, что мы зачислены в бригаду Коломенского, разрешили идти ужинать, но велели не забывать, что завтра после общего сигнала «подъем» и завтрака все мы обязаны выйти на работу.

3

Нарядчики ушли, а мы отправились к уже знакомой кухне на ужин. Насчет харчей здесь было неплохо, ведь Колыма кормилась промывочным сезоном, и в это время, для того чтобы зэки могли бы хоть кое-как двигаться, работали-то по четырнадцать часов в сутки, без выходных, — их приходилось подкармливать. Меню, правда, однообразное: суп — густые макароны с мясными консервами — и каша, или те же макароны, только погуще, но и того и другого от пуза. Бочки с соленой рыбой, горбушей и иваси, стояли около столовой и брать ее можно было сколько угодно.

Существовали среди работяг и так называемые рекордисты, которые выполняли норму на 125% и больше. Как

правило, это была туфта: либо у работяги был блат с бригадиром и учетчиком и те записывали ему лишние тачки выработки, либо несколько человек сговаривались часть своих тачек записывать на одного из них, и он становился рекордистом. Практически выполнить норму не то что на 125%, но и на 100% было невозможно, потому что эта норма бралась из общесоюзных расценок, где грунт был легче, а также из расчета восьмичасового рабочего дня здорового, нормально живущего и нормально питающегося человека, всю жизнь занимающегося физическим трудом. Здесь же на Колыме грунт был очень тяжелый — галька, оттаявшая из вечной мерзлоты, рабочий день четырнадцать часов, а союзные нормы пересчитывались механически без учета полной изможденности людей, в подавляющем большинстве на воле не занимавшихся физическим трудом, да еще и истощенных зимней голодухой. (С окончанием промывочного сезона нормы питания зэков резко снижались.) Бытовые условия — бараки с нарами застланными сеном, немаловажным фактором были гнус и комары, буквально заедавшие людей, причем не спасали никакие накомарники; да и питание, хотя оно и было обильным, но уж очень низкокалорийным: ни свежего мяса, ни овощей и в помине не было. Так что все победные реляции о перевыполнении планов, исходившие от начальства, были сплошной липой и служили лишь для получения начальством премий и оправдания выдачи повышенных пайков зэкам. Все это сходило с рук, потому что запасы золота на Колыме были очень велики, и эксплуатировать их можно было сколь угодно варварски, все окупалось, это ведь не Клондайк. Рабочая сила — дармовая и в неограниченном количестве, этапный морской путь из Владивостока в Нагаево работает с полной нагрузкой, правда, обратно возвращается очень мало людей, да и те полуживые инвалиды. Но несмотря на все, план есть план и выполнять его лагерное начальство обязано во что бы то ни стало.

Промывочный сезон на Колыме короток, три — три с половиной месяца, и за это время из зэков надо выжать все, на что они способны, и даже больше. Раньше, когда в лаге-

рях существовали так называемые зачеты, то есть если зэк образцово трудился, то один день заключения ему считался за два, а то и больше, и люди старались, рвали пупки, так как впереди маячила надежда поскорее вырваться из этого ада, начальству было легче, сейчас же зачеты отменили. Никакой надежды у людей не было, а от звонка до звонка на Колыме все равно не протянуть. Работать стали хуже. Начальству тоже стало тяжелее: ущемлять пайком — перемрут все, и так-то голодную зиму переживают немногие. А выработку сверху требуют, вот и придумывают всяких там рекордистов: рекордистам в обед сверх положенного давали по три больших пирожка из белой муки с изюмом. Находились, правда в очень небольших количествах, недавно прибывшие особо здоровые люди, которые старались честно заработать эти пирожки, но таких было мало и их хватало ненадолго. Подавляющее же большинство зэков норм не выполняли, а уж тут хоть 40% нормы, хоть 90%, та же пайка — 1,2 кг хлеба и «приварок». А пироги? — да бог с ними, можно обойтись и без них. А если уж находились особо желающие полакомиться пирогами, то они мухлевали: три-четыре человека, оставляя себе 30—40% выработки, остальное отдавали одному из них и, сделав его рекордистом, пирожки съедали сообща. Такова была ситуация с кормежкой зэков и работой летом 1939 года на прииске Скрытый.

Поужинав, мы отправились отдыхать и сразу же уснули как убитые. Утром, еще до восхода солнца, нас разбудил звон рельса, по которому ударяли железной палкой. Это означало общий подъем. На туалет, завтрак и построение полагался час. Сам прииск был километрах в двух от лагеря, и часов в шесть утра мы уже были на месте работы.

Еще в лагере мы представились своему бригадиру — Коломенскому. Это был среднего роста, коренастый парень лет тридцать, с типичной физиономией уголовника. Сроку он имел в совокупности лет на пятьдесят и потому был вечным зэком. Как бригадир он был освобожден от работы, получал рекордный паек и еще пользовался подношениями от подопечных. Были и такие, что отдавали ему последний рубль

из денег, полученных за продажу вольных вещей, лишь бы не замечал, что они сделали небольшой перерыв в работе. А к остальным он относился как зверь, не давал вздохнуть. Правда, Коломенскому было абсолютно наплевать на то, что ты делаешь, — лишь бы ты не сидел, а ковырялся в забое кайлом или лопатой. Но стоило ему увидеть своего бригадника сидящим, как он кидался на него с изысканной бранью, а если человек не сразу поднимался, то помогал ему пинком ноги или ударом кулака.

На прииске Коломенский разбил нас на пары и отвел участки работы. Тут же выдали инвентарь: тачку, два кайла, две лопаты штыковых и две шуфельных*. Выдали и по паре рукавиц, предупредив, что это на две недели. Но рукавицы были такого качества, что даже при самой малоинтенсивной работе превращались в тряпки максимум через два-три дня, а так как новых раньше чем через две недели не выдавали, то приходилось их ремонтировать самим в свободное время из подручных материалов подручными средствами.

Попался мне в напарники Мотя Лерман из Новосибирска — тоже еврей и тоже радиоинженер! Срок у него был пятнадцать лет, а умер он в том же 1939 году осенью — перед тем, как отправиться в специальный тюремный лагерь на прииск Мальдяк, когда нас, всех «тюремщиков», перевели в РУР (роту усиленного режима).

Кайла и лопаты были неплохими, но тачка никуда не годилась: колесо у нее еле-еле крутилось, баланс был намного в ручку и тащить ее, груженую, к бункеру (это метров двести-триста) было сплошным мучением. Я попросил у Коломенского разрешения отремонтировать тачку и, вооружившись топором, молотком и клещами, взялся за дело. Часа через два мы с Мотей привели ее в рабочее состояние: колесо крутилось, как на подшипниках, баланс отрегулировали так, что даже полно груженная тачка в руках почти не чувствовалась, и везти ее к бункеру можно было, затрачивая силы только на преодоление трения колеса о дощечки трапа. После этого мы взялись за работу: вдвоем кайлили грунт, насыпали тач-

---

* Совковых.

ку, и пока один отвозил ее на бункер, второй кайлил грунт, заготавливая его на следующую тачку. Коломенский, видя, что мы работаем на совесть, не трогал нас и даже раз угостил курящего Мотю махоркой на цигарку.

Технология работы нашего прииска была проста: сердцем прииска была бутара — длинное деревянное корыто, длиной метров сто. На дне этого корыта лежали специальные сита, под которыми находились ящики для сбора металла. Русло текущей неподалеку речки Красавицы отвели так, что вся ее вода сильной струей протекала через корыто бутары. Само корыто было наклонено к горизонту градусов на десять, и в верхней части его находился бункер, в который высыпали грунт из тачек. Вся работа проходила следующим образом: землекопы (как мы с Мотей) кайлили золотоносный грунт и грузили в тачки, которые по дощатым трапам отвозили на бункер бутары и там опорожняли. Высыпанный в бункер, грунт сразу же попадал под сильную струю воды и вместе с ней передвигался по корыту (в этом помогали рабочие-бутарщики, которые специальными швабрами проталкивали застрявший грунт). В процессе следования по корыту металл, более тяжелый, чем порода (удельный вес золота — 19,6, а грунта — 2,5—3,0 г/куб) через отверстия сит в нижней части корыта проваливался в ящики для его сбора, а промытую породу сбрасывали в отвалы, высота которых достигала пятнадцати-двадцати метров. В такой бутаре по этой технологии за световой день намывалось до пяти-шести килограммов металла. Игра явно стоила свеч!

Использованная вода скапливалась под бутарой в небольшие озерца. Для более полного использования этой воды около них были установлены две так называемые «американки»: это были такие же, только меньшей длины, бутары, но поскольку вода в них самотеком уже не заходила, то в голове бутар установлено было по два обыкновенных четырехручных пожарных насоса, на которых работали посменно восемь зэков. Насосы непрерывно качали воду из озерец к голове бутары, а вся остальная технология была такой же, как и на большой бутаре. Худо-бедно, а килограмм, а когда

и больше, металла давали в день и эти американки. Никакой механизации на прииске не было, все вручную. Не было даже электрического освещения, о чем сильно печалился начальник прииска, ведь будь такое освещение, можно было бы организовать и ночную смену, а так вся ночь проходит даром.

Общее начало работы в шесть утра, конец — в восемь часов вечера. Перерыва на обед нет, в двенадцать часов дня те же зэки-повара привозят на себе (лошадей очень мало, и начальство их использует для своих разъездов) из лагеря две полевые кухни (потом приспособились варить обед прямо на прииске), а все рабочие поочередно, не останавливая работ, подходят, получают пищу и тут же с жадностью ее поглощают. Еду получают в котелки, сделанные из консервных банок, литра по два-три, так что добавок уже не надо. Поел — дай поесть и своему напарнику, ведь работа на бутаре не прекращается ни на минуту. Сначала хотели сделать общий обеденный перерыв с двенадцати часов, но от этого отказались, так как в этом случае подъем пришлось бы делать на час раньше, а это было неудобно всем, ведь и охрана, и все начальство находится на прииске весь день. Почти в полной темноте, уже к девяти вечера, сопровождаемые роем комаров и гнуса, которые к вечеру особенно звереют, зэки отправляются в лагерь. Надо было еще успеть поужинать, но у многих на это уже сил не хватало, и они как убитые кидались на нары. Но я взял себе за правило: ни при каких условиях кормежку не пропускать.

Вот в такие-то «райские» условия попали мы по прибытию на Колыму. Но пока все это было еще терпимо: погода стояла теплая, светило солнышко, насекомые днем не сильно допекали, с нормой выработки не очень пристают, правда о 100% — 250 тачек на двоих в день, даже и речи быть не может, тачек шестьдесят-семьдесят еще кое-как, да и то не разгибая спины; черт с ними, что хлеба не 1,4 кг, а 1,2 кг, можно поднажать и на приварок, как-нибудь «мамон набьешь». Ведь оба мы, молодые и здоровые, основательно «отдохнули» по тюрьмам.

Конечно, вся жизнь заключается в тяжелой, изнурительной, полностью тебя опустошающей работе, и в коротком, как смерть, сне — но что тут поделаешь? На то и каторга. Конечно, ни за что и незаслуженно, но такой уж нам выпал жребий: все равно, что шел ты по улице, а с крыши на тебя упал кирпич и сделал тебя калекой.

Так тянулись наши дни на Скрытом. Поначалу набили мы кровяные мозоли, потом руки задубели, да и мы втянулись в свою лямку, все стало привычным.

4

Иногда старые лагерники рассказывали всякие истории из своей жизни на Колыме. Самые старые рассказывали о житухе при первом начальнике Дальстроя Берзине*.

Между прочим, я этого Берзина знал довольно хорошо: высокого роста, атлетического телосложения, светловолосый латыш, с тремя ромбами на малиновых петлицах. Он был моим частым гостем, когда я работал на коротковолновом передатчике ЦДКА в Москве в 1932—1933 годах. Наша радиостанция, по договору с ГУЛАГом, работала со строительством целлюлозно-бумажного комбината на Урале, на реке Вишере. Стройку эту, как и многие другие великие стройки, осуществлял ГУЛАГ силами зэков. Начальником этой стройки по линии ОГПУ и был Берзин.

Он частенько приходил к нам поговорить по радио со штабом строительства, и у меня с ним установились неплохие отношения. Когда его назначили начальником Дальстроя на Колыме, он несколько раз предлагал мне поехать с ним для организации радиосвязи, соблазняя очень хорошими условиями. И каждый раз я вежливо отклонял его предложения.

---

* Берзин Эдуард Петрович (1894—1938), дивизионный интендант, в органах ВЧК—ОГПУ—НКВД — с 1921 года, с января 1931-го — начальник Вишлага, с 1931 по 1937 — директор треста Дальстрой. Арестован в 1937, расстрелян в 1938 году.

В 1937 году Берзина, вместе со многими другими ответственными работниками НКВД арестовали и, по слухам, расстреляли. При нем не было законвоированных зон, нормы выработки были гораздо ниже, и к их выполнению никто не придирался. Кроме вполне достаточного питания, почти каждый работающий на приисках зэк получал приличную зарплату; действовали зачеты, и десятилетний срок можно было отбыть за четыре-пять лет, да еще и привезти малую толику денег. Все обмундирование при Берзине было только первого срока. Совершенно не было случаев ни рукоприкладства, ни произвола со стороны конвоя и лагерного начальства. Контрики допускались к любым лагерным работам, вплоть до кухни и хлебопекарни. Одним словом, с кем бы из старых лагерников я ни говорил, все отзывались о Берзине с большим уважением и жизнь при нем вспоминали как райскую.

После снятия Берзина на Колыме все пошло кувырком. Колыма превратилась в лагерь физического уничтожения людей, в особенности людей совершенно невинных и имевших большие заслуги перед Родиной и революцией. Их сразу же стали считать социально-опасными и отправляли на дальние, особо законвоированные прииски. Вся лагерная власть сосредоточилась в руках бытовиков-уголовников-рецидивистов, другие на Колыму не попадали. Контриков использовали только на общих физически тяжелых работах. Началась «доходиловка». Но все это еще было полбеды, настоящая беда наступила с прибытием на Колыму вновь назначенного заместителем начальника Дальстроя — Гаранина*.

Про него рассказывали легенды: по одной из них, настоящего Гаранина убили во Владивостоке японские агенты, а на

---

* Гаранин Степан Николаевич (1898—1950), с декабря 1937 начальник УСВИТЛ НКВД СССР в Магадане. Награжден знаком «Почетный чекист». Арестован в 1938 году, после пыточного следствия в Магадане переведен в Москву, с 30 мая 1939 находился в Сухановской тюрьме. Осужден ОСО при НКВД СССР в январе 1940 года «за участие в контрреволюционной организации» на 8 лет ИТЛ; впоследствии срок заключения был во внесудебном порядке продлен. Умер в Печерлаге МВД. Реабилитирован в 1990 году как осужденный внесудебным органом.

Колыму вместо него прибыл японец, похожий на настоящего Гаранина. В Магадане в это время жила и работала родная сестра Гаранина, которая приехала на пристань встречать брата. Когда она увидела вновь прибывшего, то якобы вскрикнула: «Это же не он!» Но Гаранин грубо втолкнул ее в ожидавшую машину и велел ехать. На другой день сестру нашли дома мертвой. Врачи установили: скоропостижная смерть от разрыва сердца. Похоронив сестру, Гаранин начал действовать.

Про его «работу» ходили жуткие слухи, один другого страшнее. Наделенный неограниченной властью, Гаранин был полным хозяином жизни и смерти не только зэков, но и вольняшек. Любые его приговоры немедленно приводились в исполнение, задним числом оформлялись каким-либо трибуналом и без звука утверждались в Москве. Все было шито-крыто, и никто из самого высокого начальства к Гаранину претензий не имел.

А бывало примерно так: приезжает Гаранин на прииск, устраивается на каком-либо пригорке, откуда ему виден весь фронт работ, берет сильный бинокль и наблюдает за зэками. Стоило только ему заметить, что кто-нибудь присел на минуту перекурить или просто, опершись на лопату, ненадолго остановился, или просто физиономия ему не понравилась, как он отдает приказ стоящему с ним рядом начальнику охраны: «Вот того, того (и т. д.) немедленно доставить сюда». Людей тут же «изымают», составляют список с основными данными (фамилия, имя отчество, год рождения, статья, срок) и изолируют в отдельный барак с усиленной охраной.

Набрав таким образом человек двадцать-тридцать, составляют приказ: «За контрреволюционный саботаж заключенных ... приговорить к высшей мере наказания — расстрелу». К вечеру этих людей уже расстреливают, причем всегда в присутствии Гаранина, который следит за пунктуальностью исполнения приговора. Лишь иногда, в зависимости от его настроения, части этих людей дают вместо расстрела добавку к сроку — «баранку», в те времена больших сроков не было. Сколько людей погубил таким образом этот зверь, одному

богу известно, да еще, наверное, архивам НКВД, но, во всяком случае, счет идет не на десятки или сотни, а на тысячи душ.

Так же внезапно, как появился, Гаранин и исчез. Куда? — этого никто из зэков знать не мог. Расстрелянных им не воскресишь, но самое парадоксальное то, что гаранинские сроки оставались в силе и отменять их никто и не думал. Ни на какие заявления по этому поводу от людей, получивших такие сроки, а их была не одна тысяча, ответа не было, и досиживали эти бедолаги как основные, так и гаранинские сроки от звонка до звонка.

К нашему прибытию на Колыму Гаранина, к счастью, там уже не было*. Появился какой-то Павлов**, тоже издавававший грозные приказы, но уже без массовых расстрелов, однако он при нас пробыл всего месяца три и был сменен Никишовым***, который пережил все, даже войну, и ушел на пенсию по выслуге лет в конце 50-х годов. Кажется, он был генерал-лейтенантом или генерал-полковником.

Я еще раз услышал о нем уже после реабилитации: находившийся со мною на Колыме профессор Ю. К. Милонов****

---

* Неточность. Гаранин возглавлял УСВИТЛ до конца сентября 1938.

** Павлов Карп Александрович (1895—1957), ст. майор ГБ, начальник Дальстроя с декабря 1937 по октябрь 1939. Застрелился.

*** Никишов Иван Федорович (1894—1958), комиссар ГБ 3 ранга, начальник Дальстроя с октября 1939 по декабрь 1948 года.

****Милонов Юрий Константинович (1895—1980), партийный и государственный деятель, ученый-историк. С 1922 ученый секретарь Главлита, в 1922—1930 секретарь, заместитель директора, заведующий Истпрофом ВЦСПС, член президиума ВЦСПС. В 1922 поступил на золотопромышленный факультет Московского института народного хозяйства им. Г.В.Плеханова. В 1922-1924 преподавал в разлтчных вузах. Директор Государственного исторического музея, член Совета Истпарта. Делегат всероссийских съездов Советов, член ВЦИК восьми созывов. Руководитель авторского коллектива по изданию 3-х томного труда «Всеобщая история техники». 14 сентября 1938 Коллегия Верховного Суда приговорила его к 10 годам лишения свободы за контрреволюционную деятельность, и с 1939 по 1956 год он был на Колыме главным инженером золотого рудника. В марте 1948 года освобожден, в сентябре вновь осужден на 10 лет. После освобождения работал во Всесоюзном Магаданском институте золота и редких металлов МВД СССР, преподавал в Магаданском филиале Всесоюзного заочного политехнического института, в1956 году реабилитирован, персональный пенсионер союзного значения,

после окончания срока остался на Колыме и, ввиду того что его жена на материке умерла, женился на Н. П. Приблудной (отбывшей «баранку» по статье ЧСИР — «член семьи изменника родины» за первого мужа, известного поэта Ивана Приблудного, расстрелянного в 1937 году). После реабилитации Милонов и Приблудная вернулись в Москву, где были полностью восстановлены во всех правах. В те времена у Приблудной еще был жив отец, уже глубокий старик, но очень опытный и известный хирург. Ушедшему в то время на пенсию Никишову необходимо было срочно сделать операцию, которую успешно мог провести только он. И старик-хирург успешно прооперировал главного мучителя единственной дочери: вот что такое этика настоящего русского врача.

Когда я, будучи в гостях у Милонова, познакомился с отцом Приблудной и узнал об этом, то страшно возмутился: как мог он, отец, спасать палача своей дочери? Старик же грустно улыбнулся и сказал: «Мы с вами люди разных поколений. Для вас Никишов был палачом, а для меня он был только больным человеком». Мне осталось лишь крепко пожать его благородную руку.

4

Работал я все время в паре с Мотей Лерманом. Мы с ним сдружились, ели вместе и делили пополам все, что имели. От всей моей вольной амуниции оставалось у меня только испанское кожаное пальто. Много раз находились на него покупатели, но я решил его пока придержать, зная по рассказам старых лагерников, что этот «курорт» с едой от пуза кончится с окончанием промывочного сезона, когда ненужных уже людей не будет необходимости подкармливать, я

в 1958 году ВАК присвоил ему степень кандидата, а в 1975 году — доктора экономических наук. Член Ученого Совета Московского архитектурного института и Института теории, истории и проблем архитектуры. Работал в Государственном музее революции СССР. Автор многих публикаций, книг и брошюр, профессор, руководитель кафедры в Московском инженерно-строительном институте.

твердо решил продать это пальто только тогда, когда отчетливо вырисуется знаменитая русская кузькина мать.

В нашем бараке, после ухода на работу зэков, оставались только «доходяги»-дневальные, и все остальные наши соседи спокойно оставляли на их попечение свои малоценные вещи — телогрейки, одеяла, белье и прочее. Но оставлять там свое сокровище я не стал: рискованно, сопрут. Брал я свое пальто на работу, там клал в укромное место в нашем забое и не сводил с него глаз. И все-таки его «увели»: както повез я тачку с грунтом на бутару, а там вышла какая-то задержка, то ли трапы поломали, то ли еще что-то. У моего Моти от сверхобильного питания разболелся живот, и он был вынужден срочно отлучиться за отвал, специальных туалетов у нас не полагалось. Вроде бы он занял там удобную позицию и все время держал в поле зрения наш забой, но когда он туда вернулся — пальто уже не было. Кто и когда это успел сделать, так и осталось тайной: я воочию мог убедиться в том, какие специалисты по этой части были в колымских лагерях. Мое пальто уже давно было обречено, и просто чудо, что оно у меня пробыло так долго! Вот теперь я полностью уравнялся со своими товарищами по несчастью. Конечно, я очень жалел, что не продал пальто заблаговременно, да и костюмные деньги у меня к тому времени уже растаяли, но что ж поделаешь. Чему быть, того не миновать. Единственное утешение: жить и спать стало спокойнее, воровать у меня было уже нечего. В отличие от многих вновь прибывших, мы с Мотей уже довольно скоро стали приближаться к норме, то есть давали по 60—70%, тогда как другие пары давали не более 30—40%. Мы даже попали на хороший счет у Коломенского, несколько раз выписывавшего нам повышенные пайки хлеба — по 1,4 кг.

Тачки свои к бункеру мы катили по дощатым трапам, а доски для них делала специальная лесопилка, расположенная в тайге, километрах в десяти от нашего прииска. Затем эти доски привозили на подводах и оставляли у конца дороги, в тайге, километрах в двух от прииска, а оттуда уже сами работяги тащили их на прииск на своих плечах. Работа

эта производилась по очереди, и за ее время насчитывалось определенное количество тачек.

Как-то утром подходит к нам Коломенский и велит, бросив работу, сходить в тайгу, принести несколько досок для ремонта трапов. Как ни тяжело тащить на плечах эти доски, но все же развлечение: не видеть хоть некоторое время этот проклятый забой, прогуляться по зеленой тайге, отведать брусники и голубики. Черт с ней, если немного урежут выработку: без всякого сожаления мы с Мотей бросили свою тачку и прочий инвентарь и отправились в тайгу. Как ни старались, но больше чем на два-три часа растянуть это удовольствие не смогли. Наевшись досыта голубики и принеся с собой несколько досок, мы с Мотей вернулись на прииск.

Сдали плотнику доски и выслушав от него, что «кот в своих лаптях принесет больше, чем вы, лодыри», пошли в свой забой. Приходим и видим, что вместо нашей самоходной тачки, которую я так тщательно регулировал, стоит какая-то развалина, а нашу тачку нагружает в соседнем забое Круглов, бывший на воле заведующим гаражом, здоровый лоб, получивший срок за нанесение увечий. Подхожу я к Круглову и требую свою тачку обратно. Он, для порядку обматерив меня, заявляет, что тачку не отдаст, так как ему велел ее взять сам Коломенский: без его санкции тачку я обратно не получу. Иду к Коломенскому. Он стоит на вершине высокого, метров пятнадцать-двадцать, отвала и курит. Я ему все рассказал, и он велел передать Круглову, чтобы тот отдал нам нашу тачку. Иду опять к Круглову, а ему, видно, моя тачка понравилась, и он уперся: «Не знаю, мне эту тачку дал сам Коломенский, пусть сам и отнимает. А тебя я и не знаю, может, ты все брешешь?» Иду опять к Коломенскому. Тот — в пузырь: «Так и так твою мать! Иди работать, нечего зря шляться!» — и дальше, на лагерно-уркацком жаргоне.

Меня тоже заело: «Что ты лаешься, как кобель? С тобой по делу говорят, а ты и слушать не хочешь». От удивления Коломенский аж рот раскрыл: «Как?! Какой-то фраерюга меня еще учить вздумал!?»

Парень он был здоровый, срока имел больше чем «пожизненно», терять ему было нечего, а чужая жизнь для него плевое дело. Стояли мы с ним на самом краю отвала, вниз естественный скос (45о), прямо в речку Красавицу, а сам отвал весь из острых булыжников, есть и здоровые каменюги. И решил Коломенский проучить фраера: замахнулся своей лапищей и ударил меня с такой силой, чтобы я покатился вниз. Но я по его физиономии угадал это намерение и немного отклонился, что самортизировало удар, и он лишь слегка задел меня по макушке. Чтобы не упасть, я схватил Коломенского за пояс. Но замах был слишком силен, и мы покатились с отвала вместе. Я вцепился в бандита и, чтобы не покалечить об острые камни голову, прижался ею к животу Коломенского. Так мы, переворачиваясь друг через друга, и покатились вниз. У меня голова была защищена, а Коломенский ободрал все лицо, и кровь начала заливать ему глаза.

Так бы мы и катились до самой речки, но, к счастью, примерно на полпути оказалась площадочка, где наш полет остановился. Я сразу же отпустил Коломенского и отбежал на другой конец площадки. Коломенский поднялся несколько позже: кровь заливала его лицо, вид был ужасен. Расстояние между нами было шагов пять. Коломенский, растопырив руки, шел прямо на меня. Ну, думаю, конец! Сейчас этот бандюга меня убьет! Под ногами у меня лежал здоровенный булыжник. В одно мгновение я схватил его и закричал: «Не подходи! Убью!» — и видя, что Коломенский не обращает внимания на предупреждение, швырнул что было сил в него камень, норовя попасть в голову. В голову я не попал, он как-то отвел ее в сторону, но попал в плечо. Булыжник был увесистый, удар получился, по-видимому, очень сильный. Коломенский, не дойдя до меня шага два, потерял равновесие и покатился вниз по отвалу уже до самой речки. Не обращая ни на что внимания, я с трудом вскарабкался наверх и пошел к своему забою.

С самого начала конфликта все бросили работу и следили за поединком Давида и Голиафа. Я подошел к Круглову, молча вытряхнул из своей тачки уже насыпанный туда грунт, подкатил ее к своему забою и сказал: «Мотя, грузи».

Вид у меня, наверно, был внушительный, потому что здоровяк Круглов и не думал больше протестовать. Мотя нагрузил тачку, а я, немного успокоившись, покатил ее к бункеру. Глянул вниз, а там уже санитары кладут на носилки неподвижно лежащего Коломенского. «Убил, — думаю. — Ну герой! Заработал к своим восьми годам еще и лагерную "баранку"! А с другой стороны — не я его, так он меня! Ничего не поделаешь, будем ждать, что дальше». Все молча работают, работаем и мы с Мотей.

Приехала полевая кухня с обедом. Взял я котелок и отправился за едой. Выстроилась очередь. Повар Серега, здоровенный верзила из бытовиков, раздавая обед, что-то оживленно говорит, а его собеседник показывает ему на меня. «Ну, — думаю, — не иначе Коломенский повару был керей*, и сейчас, как я подойду к кухне, долбанет меня Серега черпаком, а он больше полкило весит, и мне хватит». Хотел было уже уйти и прислать за обедом Мотю, но вдруг Серега кричит мне: «А ну, пахан, подойди сюда». Деваться некуда, стану я еще и эту сволочь-повара бояться.

Подошел на дистанцию. «Это ты Коломенского уеб?» — спрашивает. Я было начал оправдываться: он, дескать, первым напал и т. д. , но Серега меня перебил: «Молодец, пахан! Так ему, гаду, и надо. Ну подходи ближе, не бойся, не обижу!» Я подошел ближе и протянул ему котелок. Серега в амбицию: «Чего ты суешь? Баланду пусть фраерюги жрут! Подставляй подол!» — и стал мне накладывать туда «рекордные» пироги. Положил штук восемь пирогов, в котелок — почти одно мясо, и напутствовал: «Заслужил, пахан, чтобы с этими фраерюгами в одной очереди не стоять».

Удивленный таким обращением, я отправился обратно, делить с Мотей свою добычу. Как потом выяснилось, среди уркачей Коломенский считался «ссученным», так как он стал придурком и прижимал старых друзей. К таким урки относились хуже, чем к фраерам, и потому моя расправа с Коломенским у настоящих урок встретила полное одобрение.

---

* Кореш.

Но есть еще и лагерное начальство, которое за убийство, даже и в целях самообороны, «баранку» обязано было прилепить. Ждать пришлось недолго: почти сразу же после обеда на прииске появился начальник в сопровождении нескольких стрелков. «Ну, это за мной!» — понял я, видя, что они направляются прямо к нашему забою. Начальник подошел к нам. Но вместо команды «Забрать его!» неожиданно произнес: «Здорово, ребята!» — «Здравствуйте, гражданин начальник», — ответили мы с Мотей.

«Уж слишком вежливо он начинает, — подумал я. — К чему бы это?» А начальник как ни в чем не бывало: «Ну, как дела? Самородки есть?» Я ответил, что вроде не замечал. «А ну-ка давай кайло», — скомандовал начальник. Я протянул ему кайло, а сам инстинктивно отодвинулся. «Ну, раскроит он мне сейчас череп за убийство своего бригадира, — сразу мелькнула мысль. — Ведь ему же за это ничего не будет! Одним контриком меньше! Спишут и все». А начальник этим кайлом начал ковырять стенки забоя, и довольно быстро извлек оттуда несколько кусочков золота грамм по десять-двадцать каждый: видно, золотоискатель он был, несмотря на молодость, опытный. «Что ж, самородки-то есть, надо только смотреть внимательней», — заключил начальник, возвращая кайло.

И уже уходя, тихо сказал мне: «Твое счастье, что Коломенский жив остался. Смотри у меня, в другой раз не пощажу, вояка испанский». Я с благодарностью молча смотрел, как он удаляется со своей свитой. Тому, что Коломенский остался жив, я несказанно обрадовался: я остался без лагерного довеска, а главное — человека, хоть и бандита, все-таки не убил. Пролежал Коломенский в стационаре месяца два, но я его больше не встречал, так как вскоре нас со Скрытого забрали.

КОЛЫМА: ПРИИСК МАЛЬДЯК

УСВИТЛ. — Разговор генерала с Абрамовичем. — Месяц в РУРе. — Врач Иван Калинин. — Штрафной прииск Мадьдяк. — «Курослены». — Валенки в изголовье. — «Вскрышка торфов»: бурки и взрывы. — Стрелки и зэки. — Морозы и одежда зэков. — Конец рабочего дня. — Баня, оправка и голод. — Смерть капитана Передерия. — И. Г. Кизрин, Н. Н. Поляков, И. М. Данишевский, Ю. К. Милонов, Н. Я. Гринфельд, Г. Я. Влодовский. — Смерть Лисицына. — Вызовы к «куму». — Мальдякский стационар. — Поносник Баламутов. — Врачи К. Ш. и Б. Иванов. — Плеврит и воспаление легких. — Выписка на прииск Ленковый. — Остановка в РУРе Мальдяка: общие работы и штрафная яма. — Бригада баптистов и Левин

1

В системе ГУЛАГа тех времен существовали различные управления, отличавшиеся климатическими условиями и режимом содержания зэков. УСВИТЛ, или Управление Северо-Восточными Исправительно-Трудовыми Лагерями, было самое страшное из всего, что в конце 30-х годов находилось в ведении НКВД. Совершенно необжитые, необъятные просторы бассейна реки Колымы. Все сообщение и снабжение только с материка, то есть морем, от Владивостока до Нагаево, а дальше — на автомашинах на расстояния в 800—1000 км. Зимой морозы до —60оС, короткое лето тоже не приносило особой радости: мошкара и комары заедали буквально до смерти, не спасали никакие накомарники или дымовые костры, да и лето-то продолжалось не более двух-трех месяцев. Недаром бытовала поговорка: «Колыма-Колыма, чудная планета, двенадцать месяцев зима, остальное лето».

Зимой, промерзая до костей при пятидесяти-, а иногда и шестидесятиградусном морозе, за двенадцать часов рабочего дня в открытых забоях на золотых приисках, мечтаешь о летнем солнышке, когда хоть чуточку можно обогреться

и снять то тряпье, что натягиваешь на себя зимой. И вот, наконец, наступает конец мая — начало долгожданного колымского лета, а вместе с ним тучи комаров и гнуса. Все тело зудит от укусов, никакого спасения. Расчесываешь себя до крови, лицо как сплошная язва, и тогда ты начинаешь клясть и это проклятое время — лето. Кажется, что перенес бы самые лютые морозы, лишь бы унять нестерпимый зуд от укусов этих зверей.

В системе ГУЛАГа недаром УСВИТЛ считался особорежимным и штрафным управлением, куда направлялись только самые страшные государственные преступники и наиболее отпетые рецидивисты-уголовники. Соответственный был и подбор администрации и охраны. Человеческая жизнь для них гроша ломаного не стоила. Кляня свою злосчастную судьбу, и их забросившую в эти богом забытые места, они вымещали свою злость на беззащитных зэках, особенно на контриках, потому что рецидивист-уголовник, которому терять нечего и для которого лагерь и тюрьма — дом родной, мог и топором рубануть, а контрик своей жизнью всегда дорожил и всегда лелеял надежду на освобождение. Вот тут-то администрация и охрана лагерей, блокируясь с бытовиками, и пила их, контриков, кровушку.

Все теплые должности в лагерях — повара, пекари, хлеборезы, нарядчики и прочие — занимали только уголовники, которые, нещадно урезывая и без того скудный лагерный паек, наедали себе ряшки, не забывая делиться с администрацией и охраной, а малейший протест фраеров безжалостно подавлялся жестокими побоями, вплоть до убийства, причем все это не только не преследовалось администрацией, но даже и поощрялось ею. Никогда не забуду состоявшегося при мне разговора заместителя начальника Дальстроя (высокого роста, выше средней упитанности, в пограничной форме с двумя ромбами в петлицах, примерно по-нынешнему генерал-лейтенант, фамилии не знаю) с одним из наших зэков — горным инженером Рабиновичем. Этот Рабинович до ареста работал на высоком руководящем посту в управлении «Алданзолото», и почти всю свою жизнь провел на золотых

приисках. На момент разговора Рабинович, как и я, его сосед по забою, кайлил золотоносный грунт и возил его на тачке к бункеру промывки, исходя из нормы 250 тачек на двоих за четырнадцатичасовой рабочий день.

Многоопытный Рабинович углядел в методах работы нашего прииска ряд существенных технических ляпсусов, устранив которые можно было бы при том же количестве людей повысить выработку. Так вот, однажды, когда к нам на прииск прибыл этот самый генерал, а с ним целая свита сопровождающих, Рабинович попросил у генерала разрешения к нему обратиться. Тот остановился, и Рабинович начал ему излагать свои предложения, поясняя свои мысли эскизами, заранее начерченными на фанерной дощечке. Генерал внимательно выслушал его соображения, ни разу не перебив. А когда Рабинович закончил, он спокойно, не повышая тона, ответил так: «Судя по всему, Рабинович, вы очень дельный и опытный горный инженер и излагаете весьма ценные, с технической стороны, мысли. Все, что вы сказали, в случае осуществления, безусловно повысило бы выработку этого участка. Но, разбираясь в технической стороне вопроса, вы совершенно не понимаете его политической стороны: с деловой, технической точки зрения надо было бы вместо наших полуграмотных начальников поставить вас, создав вам благоприятные для работы условия. Вместо этих слабосильных, не приспособленных к физической работе людей, привезти сюда здоровых, привыкших к такой работе, создать им нормальные бытовые условия, хорошо им платить и кормить, снабдить необходимой механизацией. Рабочий день установить не четырнадцать часов, а семь или восемь, и тогда, бесспорно, выработка на прииске значительно возрастет. Так бы мы и поступили, если бы от нас требовалось давать стране металл в максимальном количестве и больше ничего. Но дело как раз в том, что не это наша главная задача. Все вы, присланные сюда, являетесь для нашего общества не только лишними, но и опасными людьми, подлежащими физическому уничтожению. В основном для этого вас сюда и привезли. Сколько вы здесь до своего конца сумеете на-

работать, вопрос второстепенный, а вот основная задача — ваше физическое уничтожение — будет здесь решена тихо и незаметно для остального общества. Надеюсь, я доходчиво изложил? Прощайте».

И генерал спокойно повернулся и зашагал со своей свитой дальше, оставив нас в оцепенении от своих страшных и циничных слов.

2

Слова эти были настолько невероятны, что никто из нас не придал им в первое время особого значения, тем более что произнесены они были в обычном колымском лагере, с приличным питанием и бесконвойной системой: в пределах данного участка мы могли свободно передвигаться и даже общаться с вольнонаемными работниками прииска, сбывая вольняшкам остатки своих вольных вещей за пачку махорки или кусок сахара. Но вскоре выяснилось, что весь этот «рай» — лишь на время, покуда для нас готовили особую зону. А попав в нее через полтора месяца, мы сразу же вспомнили слова генерала.

Пробыв около месяца на Скрытом, все мы — «тюрьзаковцы», то есть имевшие в своем приговоре страшные слова «тюремное заключение», были переведены в так называемый РУР (рота усиленного режима). Зэки туда водворялись за особо тяжкие нарушения: подследственные, совершившие преступления уже в лагере; злостные отказчики от работы; беглецы, почему-то не застреленные при поимке конвоем и т. д. Уже будучи строго законвоированными, мы пробыли в РУРе около месяца, работая на не менее тяжелых земляных работах, но уже на крайне урезанном штрафном пайке.

Тут-то у нас и начались первые потери. Люди умирали от истощения, от физической перегрузки сердца, но особенно часто от поноса и дизентерии. Крайняя скученность, обилие мух, недостаточное питание доводили людей до крайности; появившиеся «доходяги», то есть совершенно ослабевшие от

тяжелой работы и недоедания, люди, оставленные по болезни в лагере, шастали в поисках пищи где угодно. В РУРе нас преимущественно кормили овсяным супом и кашей. В каше попадалось довольно много нелущеных овсяных зерен, которые желудком не переваривались и оставались в целости в кучах кала, в местах, отведенных для оправки. Обезумевшие от голода доходяги щепочками вытаскивали такие зерна из кала, обмывали их, лущили и варили на кострах в самодельных котелках суп. Естественным следствием такой «трапезы» была не мнимая сытость, а дизентерия или понос. Сам я такой суп не варил, но скученность (а все спали вповалку, без постелей, на голых нарах, даже без соломы) и мухи сделали свое дело, и я заболел поносом, правда, не кровавым, но тем не менее изнуряющим и обессиливающим.

Совершенно ослабев, я не мог есть даже наш скудный паек и навряд ли смог бы написать эти строки, если бы не врач нашего РУРа, зэк Иван Иванович Калинин* из Калинина. Конечно, возможности у него были очень ограниченные, но для меня, героя Испании, нашлись у него и несколько таблеток лекарств, и белые сухарики (ничего иного мой желудок уже принимать не мог), и моральная поддержка...

Надо сказать, что эти же средства Иван Иванович находил и для других наших товарищей, но возраст, состояние здоровья, а главное, отсутствие воли к жизни делало их выздоровление невозможным. Я же был молод, здоров и полон воли во что бы то ни стало, лишь бы не за счет своих товарищей, выжить. И я выжил!

После месячного пребывания в РУРе я под строжайшим конвоем был доставлен на место своего дальнейшего постоянного пребывания — в сугубо режимную, тюремную и особо законвоированную зону прииска Мальдяк**.

Там нас ожидала «резиденция» из четырех больших брезентовых палаток. Зона была огорожена двойными рядами

---

* Калинин Иван Иванович (1905—?), ассистент кафедры нормальной физиологии Казанского гос. медицинского института. Получил 10 лет, по статье 58, пп. 8, 10, 11.

** Золото в ручье Мальдяк было обнаружено в 1935 году, и в 1937-м открылся прииск. Его первым начальником был М. А. Заборонок.

колючей проволоки, с вышками по углам и с часовыми на вышках. Внутри палаток была устроена двухъярусная вагонка, стояли три печки из бензиновых бочек с выведенными прямо наружу трубами, на 70% согревавшими тайгу.

Палатки мы уже сами обложили дерном, а с наступлением снегопадов и снежными плитами. Всего нас в палатках поместилось человек шестьсот. В результате такого перемещения складывалась не очень для нас благоприятная ситуация. В системе ГУЛАГ имелось самое страшное режимное штрафное управление УСВИТЛ (Дальстрой), попросту — Колыма. В УСВИТЛе было свое особо режимное, строгое управление — СЗГПУ (Северо-западное горнопромышленное управление), отличавшееся от других тем, что там был «полюс холода» северного полушария земли, а также очень строгим режимом. А в СЗГПУ был особо режимный штрафной прииск Мальдяк, а уж на этом-то Мальдяке и была организована эта наша особо-особо-особая, режимная, штрафная и т. д. тюремная зона.

Обреченные кто на медленную, а большинство на скорую и верную смерть, мы должны были работать на общих особо тяжелых физических работах. В связи с наступлением холодов возникла проблема топки: после работы в забое мы должны были сами себя, но в первую очередь охрану, кухню, санчасть, придурков и прочих обеспечивать дровами. Колымские печи-бочки пожирали дрова в огромных количествах, и после 12— или 14-часовой работы в забое нам приходилось идти за ними на сопку за три-пять километров в холоде и сырости, под непрерывным моросящим дождем и мокрым снегом (а к концу зимы, ввиду вырубки близрасположенного леса, и на все восемь-десять километров).

К концу осени, из-за тяжелой работы, плохого питания, а главное из-за полного отсутствия витаминов все мы ослабели, — и это несмотря на то, что вся тайга была буквально усыпана голубикой, брусникой, морошкой, жимолостью, шиповником: но попробуй съешь хоть одну ягоду! В забое ягоды не растут, а когда тебя ведут через тайгу, то «шаг впра-

во, шаг влево — побег» и «конвой стреляет без предупреждения». А стрелять они, сволочи, умели! Многие из нас заболели так называемой «куриной слепотой»: человек, совершенно нормально видящий днем, с заходом солнца становился абсолютно слепым. Симптом такой болезни — расширенные зрачки после захода солнца. Лечение — несколько ложек рыбьего жира, но, несмотря на изобилие на Колыме рыбы, лечебный рыбий жир у нас был остро-дефицитным. Поскольку работа в забое кончалась после захода солнца, когда «курослены» уже ничего не видели, то при подходе к вахте конвой отделял их от здоровых и отправлял в лагерь, а здоровые, не заходя в лагерь, шли прямо в тайгу за дровами.

После 12-часовой работы в холодном мокром забое никому не хотелось топать еще два-три часа за дровами, и многие старались закосить это мероприятие. Часто здоровые объявляли себя больными, и нужен был врач, чтобы отделить «овец от козлищ», а это требовало дополнительного времени, порядка часа (ведь народу было человек шестьсот, и каждому надо было хотя бы поглядеть в глаза).

Вот тут-то я, единственный раз за все время пребывания в заключении, был вознагражден за честность. Подходим мы как-то ненастным осенним вечером, после 12-часовой работы в забое, к вахте. Сыплет мелкий дождик, грязи по колено. Все мы насквозь промокшие, совершенно обессиленные, голодные как волки, еле-еле доплелись до вахты. Слепые держатся за зрячих. Конвою тоже хочется поскорее домой, ведь проводят-то они свой день вместе с нами, — правда в безделье, сытые, тепло и сухо одетые. Оттого решил начальник конвоя сэкономить время на врачебном осмотре слепых и обратился к нам: «Ребята, в лес за дровами идти все равно придется, так что давайте по-честному: слепые — направо, а здоровые — оставайтесь на месте».

Сам я куриной слепотой не болел и, понимая, что меня все равно разоблачат, остался на месте. Было нас всего человек шестьсот, но таких дураков, как я, набралось не более пятидесяти: все остальные перешли в правую колонну якобы слепых. Начальник конвоя, прекрасно понимая, что

их столько быть не может и что подавляющее большинство в правой колонне симулянты, пришел в ярость и заорал: «Раз вы все такие негодяи и не хотите по-честному, то все, кто слева (то есть мы, добровольно признавшие себя здоровыми), идут в лагерь отдыхать, а остальные — в лес за дровами!» Мы получили награду за честность, а остальные пришли часам к одиннадцати ночи с дровами и совершенно измученные: ведь им пришлось тащить еще и своих действительно слепых товарищей! А подъем на работу, по летнему расписанию, неизменно в пять часов утра.

Но все это были цветочки — ягодки пошли с наступлением холодов: как врежет мороз в 40—45о, так в палатке, даже на расстоянии метра—двух от раскаленной печки, замерзает вода. Ляжешь на нары, на свой «матрац» (мешок набитый прессованными опилками), сунешь ноги в рукав телогрейки, бушлатом завернешься, тоненькое одеяльце еще заранее обмотаешь на себе, под бушлатом, и дрожишь от холода, пока не сморит тебя тяжкий, без сновидений, и краткий, с перерывами, сон. Только задремлешь, чуть согревшись, немного основательней — как зазвенит рельс на вахте: подъем! Знай натягивай на ноги лежавшие в изголовье и примерзшие к нарам валенки. (По идее, их полагалось сушить в специальной сушилке, но кто их туда будет сдавать? Во-первых, времени сколько потеряешь — сдавать и получать, да и идти босиком по ледяному полу от сушилки до своего места не очень-то приятно, а самое главное — обязательно заменят на совершенно рваные, а тогда уж совсем плохо будет.)

Спешишь на улицу набрать в котелок снега и, если окажется на печке место, то растопив этот снег, приготовить себе утренний чай, а если до выхода к вахте еще останется время, то часть хлеба немного поджарить на печке, вроде сытней. А тут уж опять звенит рельс на вахте — выходи на развод. А там: «Разберись по пять; первая — проходи, вторая — проходи» и т. д. — и под конвоем до места работы. А там устанавливается оцепление: стрелки зажигают себе костерчики, и в своих овчинных шубах, собачьих рукавицах и унтах, новых валенках и меховых шапках, сытые под за-

вязку да еще и хватившие по стаканчику спирта — и то часа через два у этих костерчиков пританцовывают. А мы, бедные зэки, в своих тоненьких суконных шапчонках, залатанных телогрейках и бушлатах, рваных, на скорую руку подшитых, валенках, рваных брезентовых рукавицах, голодные и невыспавшиеся в холодных палатках, могли греться только за счет скудного остатка своих физических сил.

Зимой, когда вся речка вымерзала, промывка золота не велась, а производилась так называемая «вскрышка торфов»: снимался верхний слой (незолотоносный) почвы, толщиной метра полтора-два. Производилось это таким образом: на определенном расстоянии друг от друга, по углам квадратов, ломами в мерзлоте пробивались так называемые «бурки» — отверстия в мерзлоте диаметром 20—25 сантиметров и глубиной полтора метра. Работа очень тяжелая: приходится откалывать по маленькому кусочку мерзлого грунта, а потом чем-то вроде круглой ложки, укрепленной под углом 90о на конце полутораметровой палки, выгребать их из бурки и выбрасывать наружу. Пока бурка еще мелкая, это делать не так трудно, но по мере ее углубления выгребать грунт становится все труднее, да и долбить ломом эту бурку с каждым сантиметром проходки все тяжелее: вечная мерзлота — хуже гранита, в нем хоть можно откалывать куски покрупнее, а в мерзлоте больше чем орешину нипочем не отколешь. Глубина бурки должна быть не менее полутора метров, а норма — две бурки в день, точнее до обеда: не сделаешь — урежут паек, а его и так не хватает для поддержания жизни. Приходится расходовать первоначальное накопление, а когда оно кончится — тут тебе и конец.

Вот когда мы убедились в страшной правде слов генерала: эдак и впрямь долго не протянешь. Не сделаешь до обеда двух бурок — получишь вместо 800 граммов хлеба 600 (а то и 400), а с таким рационом потом и одной не продолбишь. Вот так и переходят люди в разряд доходяг, а это уже, считай, одной ногой в яме.

Но, помимо хлеба, существуют еще и проблемы рукавиц и брюк: лом тяжелый, бить надо часто и сильно, ни одни ру-

кавицы не выдерживают больше одного дня. Голыми руками к лому на пятидесятиградусном морозе и не притронешься: обжигает как раскаленное железо, аж куски кожи на нем остаются. Пришел с работы, но, как бы ни измучился, — не ложись, чини рукавицы.

Иголку делали из куска проволоки: один конец об камень заточишь, а дырку на другом конце пробьешь гвоздиком, вот тебе и лагерное сокровище — иголка. Только прячь получше: иголка — предмет запрещенный, при шмоне обнаружат — карцер, а это зимой, при таком морозе и физическом истощении — верная смерть. Материал для пошива или ремонта рукавиц один — кусок палатки, ведь она большая и из крепкого материала, всегда можно от нее немного отрезать. Если поймают — тоже карцер. Что ж, хочешь жить — умей крутиться и рисковать.

С брюками ненамного лучше, чем с рукавицами: чуть бурка углубилась сантиметров на тридцать-сорок, грунт оттуда ложкой уже стоя не достанешь, приходится становиться на колени, и так до конца бурения, а это примерно 75% рабочего времени. Первоначального материала брюк хватает только на несколько дней, а дальше уже приходится класть на колени заплаты, и не одну, и преимущественно брезентовые, и менять их приходится не реже, чем заплаты на рукавицах, и это все тоже за счет времени отдыха.

К обеду, по идее, должны быть готовы все бурки на площадке. Если объект вблизи лагеря, то еще существовала возможность похлебать чуть теплой баланды (конечно, без хлеба — его съели еще утром). Стрелки в таком случае пригонят в зону, а там, хоть в палатках и не топлено, но все же теплее, чем снаружи: ветра нет, да и посидеть можно на нарах, а в забое на мерзлую землю не очень-то сядешь. Но такая лафа была редкой: стрелки не любили водить зэков в лагерь, ведь нас надо собирать, строить, пересчитывать, привести в лагерь, здесь снова пересчитывать при сдаче лагерной охране, потом снова принимать обратно, снова вести на участок — одним словом, до черта мороки. К тому же зэк должен работать, а не шастать в лагерь и обратно, уж лучше

пусть жрут на месте свою мороженую баланду и кусок мерзлого льда вместо каши, больше ничего к обеду за 12-часовой рабочий день на страшном морозе не полагалось.

Пока мы наслаждаемся этим лукулловым пиршеством, взрывники, преимущественно вольняшки из освободившихся зэков, закладывают заряды аммонала в пробитые нами до обеда бурки и готовят участок к массовому взрыву. Когда производили взрывы, стрелкам было лень вести нас далеко; укрывшись за какими-нибудь деревянными щитами, они зачастую оставляли нас стоять скученно и на открытом месте, чтобы им было удобно наблюдать за нами.

Так и стояли мы в зоне досягаемости довольно больших кусков твердокаменного мерзлого грунта, летевших во время взрыва. Бывали при этом и несчастные случаи, правда, без смертельных исходов.

Но если до обеда работа была еще как-то терпимой, все-таки светло, а иногда даже солнышко светит, то самое страшное время — это вторая половина рабочего дня. Весь взорванный грунт нам полагалось погрузить на сани-волокуши и отвезти метров на триста-четыреста на отвал, где его высыпать и заровнять. Задержат до того времени, пока все не кончим.

Делили нас на четверки, и каждая получала свою часть работы. Руками, а уж очень большие глыбы — с помощью ломов, грузили мы эти куски мерзлоты в сани. Двое запрягались спереди и двое толкали сзади — так и тянули их к отвалу. Перевернув ковш саней, разравниваем кучу для отвода глаз — лишь бы издали видно не было.

После обеда темнеет почти сразу же, мороз крепчает еще быстрее. Свету совсем нет, только блестят огоньки костерков стрелков в зоне оцепления. Усталые, голодные и замерзшие, копошимся, обреченные, в этом холодном аду. Остановиться нельзя, мороз сразу схватывает ледяными тисками, и, хоть из последних сил, хоть и вовсе без сил, но двигайся, — пока весь грунт не вывезен на отвал, лагеря все равно не видать.

А стрелки — сытые, полупьяные, в новых валенках, в меховых чулках, в овчинных тулупах. Они все время находятся

около костерков, дрова для которых приносим им мы в свои выходные. Приведя нас с работы в лагерь, они по часу сидят в жарко натопленных дежурках около печек, пока, наконец, не решатся снова выйти на мороз и дойти до своих квартир.

А каково нам?! Обычное полотняное белье, летняя гимнастерка, ватные брюки, так называемое «б/у», на котором больше заплат, чем «живых» мест, такого же качества телогрейка и валенки старой подшивки, тоже б/у, а уж портянки — как разживешься: хорошо, если удается как-нибудь организовать использованный мешок из-под аммонала. Про шапку и говорить нечего: тонкое сукно с ничтожной прослойкой ватина, вот и весь головной убор. И в довершение — бушлат, качеством не лучше телогрейки, который натягивают поверх. По расчетам гулаговских специалистов, сидящих в теплых кабинетах в Москве на Кузнецком, 26, эта экипировка должна полностью обеспечивать нормальное состояние здоровья и работоспособность зэков. И это при 50о мороза, 12-часовом рабочем дне, при рационе 600 граммов хлеба, баланда и два раза в день по несколько ложек жиденькой кашицы на тяжелейшей физической работе!

Конечно же, прав был тот генерал — это не случайный произвол отдельных увлекающихся начальников, а скрупулезно продуманная и планомерно исполняемая *система* физического уничтожения заключенных.

И вот в полной темноте, натыкаясь друг на друга, копошимся, ворочая глыбы мерзлой земли и грузя их в сани, которые из последних сил волокем к отвалу. Время течет медленно-медленно. Вроде, судя по Большой Медведице, пора и закругляться (это обычно видно и по тому, что стрелки начинают гасить свои костерики), но на участке еще много глыб, и их приказано «подгрести под метелочку». А сил уже совсем нет, двигаешься — лишь бы не упасть, а упал — все: считай, умер. Тогда тебя поднимут и «оживят»: поставят на ноги внутрь круга из семи—восьми стрелков покрепче и начинают бить.

Иногда это помогает, зэк от движений по хордам круга разогревается, начинает проявлять признаки жизни, а ино-

гда и давать сдачи. На этом процесс оживления считают оконченным, ведь сил-то в обрез. Но если упавшего прозевают и зэк пролежит на земле с полчаса, то тузить его уже бесполезно: клади на сани и вези в лагерь. «Отмаялся, бедолага», — скажут соседи по нарам. Таких бедолаг мы везли в лагерь почти ежедневно, а в иные дни и по нескольку человек сразу. В лагере их оформят, разденут догола, на левую ногу привяжут фанерную бирку со сделанной на ней химическим карандашом надписью по ГОСТу: фамилия, имя, отчество, год рождения, статья, срок, дата смерти — и в заранее приготовленную яму, а для порядка немного присыплют снежком. Вот и все похороны.

Но всему имеющему начало приходит и конец. Стрелки гасят костерики. Подъехала машина, засвечивая фарами место для построения зэков. Раздаются свистки стрелков, и все дружно вылезают на освещенную площадку. Раздается приказ: «Разберись по пять!» — и зэки вытягиваются в длинную колонну. «Первая пятерка, проходи», — командует старший. Затем вторая, третья и т. д. Как окончится «прохождение», подсчитают и лежащих в санях: они уже никогда не встанут, это уже бывшие зэки.

Если счет сойдется, раздастся очередное «отче наш» конвоя: «В пути следования не растягиваться, шаг вправо, шаг влево — побег, конвой открывает огонь без предупреждения. Понятно? Пошли!» Направляющий: «Шире шаг, задние — подтянись!»

Но если, не дай бог, хоть одного зэка не хватит, то это уже ЧП. Всех зэков оставляют стоять неподвижно под охраной стрелков, а бригадиры и начальство отправляются искать пропажу, ведь за каждого зэка отвечают головой. Ищи хоть неделю, но беглеца, живого или мертвого, предъяви! И вот выходят утром зэки на работу, а около вахты лежит один или несколько покрытых рогожей трупов. Это бывшие беглецы. И горе, если на участке найдут эту пропажу еще в живом состоянии: уж тут-то озверевшие от бесполезного ожидания стрелки ему так дадут, что не спасет никакое тряпье, и мало шансов у этого бедолаги избежать ямы, имея на ноге бирку.

Но такие случаи в нашей практике бывали очень редко, как правило пропажа уже была мертва. Обычно стрелки срывали злость на бригадире беглеца: его избивали, и чаще всего до смерти.

Если же все сошлось, раздавалась команда: «Пошли! Направляющий, шире шаг!» и т. д. У вахты еще один пересчет: зэков у конвоя принимает охрана лагеря. Но тут уже все обходится благополучно. И вот, наконец, ты перешагиваешь черту ворот, ты уже «дома». В палатке температура не намного выше наружной, правда, ветерка нет, ведь днем здесь остаются только дневальные, из доходяг, и освобожденные от работ за зоной по болезни. Дров им практически не дают. Если удастся собрать что-либо горючее на территории зоны — протопят чуть-чуть прожорливую бочку. А нет — и так обойдутся: накинут на себя все что можно и лежат под крышей, «продают дрожжи».

Попасть в число освобожденных тоже не просто: надо иметь либо температуру выше 38о, либо хотя бы распухшие, как колоды, до колен ноги, как явный симптом сердечной недостаточности. Таких лагерный врач освобождал на день-два от работы за зоной. Но у него был очень жесткий лимит: всего можно было оставить человек пять-шесть на весь лагерь. Да и оставшихся, кроме лежащих с высокой температурой, сразу же после развода выгоняли из палаток наружу. А уж там придурки им работу найдут: либо территорию убирать, либо на кухне дрова попилить и поколоть. Но все же это не забой, да и лишняя чашка баланды может перепасть или закурить подбросят. Так что освобождение от работ всегда было желанным праздником для любого работяги.

По прибытию с работы в зону зэки сразу же растекались по всей территории. Самые слабые и истощенные плелись в санчасть, преимущественно для того, чтобы услышать от нашего добрейшего и культурнейшего врача Малинского грустный ответ, что начальство ему опять урезало лимит по освобождению от работы слабосильных и что ввиду отсутствия у пациента высокой температуры и отечных опухолей на ногах, ему остается только плестись в палатку с перспек-

тивой такого же следующего дня, каким был прошедший. Когда еще в РУРе Скрытого он пытался протестовать, его просто сняли с врачей и послали в забой, поставив вместо него врача-«проститутку», которому лишь бы самому не попасть на общие. Тот выгонял в забой всех, не оставляя даже больных кровавым поносом. (Фамилию «проститутки» я помню, но называть не хочу. Если придется ему прочесть эти строки, пусть лишний раз покраснеет от стыда.)Начальство быстро поняло, что это не врач, и снова поставило на место Малинского, предварительно дав ему «накачку». Но Малинский делал для доходяг что мог и освобождал иногда от работы, даже если у них не было ни температуры, ни опухолей.

Все спешили в свои палатки, где уже топились наши бочки. Принесли ужин, который, в большинстве случаев, состоял из одного блюда — каши-магары, разновидности наименее питательного проса. Изредка бывало и первое — жидкий супчик, всю гущу и жир из которого предварительно съедали придурки. Хлеб, конечно, был съеден еще утром и, проглотив ужин, зэки укладывались на свои места, закутавшись во все, во что можно было закутаться, — чтобы всю ночь дрожать от холода и голода.

Вот и прошел еще один день Льва Лазаревича…

3

Утром звон рельса у вахты возвестит о наступлении подъема и еще одного дня нашей столь счастливой и радостной жизни, дарованной родным и любимым отцом и учителем. Но картина нашего счастья будет не полной, если не рассказать еще и о бане.

В зимнее время баня на прииске Мальдяк, по-видимому, была одной из самых страшных кар, сваливавшихся дополнительно на наши бедные души и тела. В условиях скученности и антисанитарии, тяжелого и непосильного труда и отсутствия сносного питания вши отнюдь не были для нас диковиной. У меня, по молодости, они еще не очень плодились,

но пожилых и стариков, а таких у нас было большинство, вши просто одолевали. Если днем на морозе они засыпали, то ночью, стоило человеку чуть-чуть пригреться, как они начинали нещадно кусать. Раздеться догола в палатке и попытаться выжечь вшей из белья около печки решались очень немногие, разве что бывшие военные, уже делавшие это еще на фронтах Гражданской. В условиях ледяной палатки это грозило воспалением легких, а это уже почти верная смерть. Попасть в стационар было весьма непросто, даже при наличии явных симптомов болезни и высокой температуры: для этого требовалось наличие свободного места, а стационар был всегда переполнен. Кроме этого, мы же «тюрьзаковцы», следовательно, даже в стационар нас должен был отводить спецконвоир, а добиться конвоя было не легче, чем места в стационаре. До сих пор удивляюсь, как это в таких условиях у нас не возникло эпидемии сыпняка.

Начальство, по-видимому, тоже боялось эпидемий. Наше физическое уничтожение должно было проводиться постепенно, по плану, а не стихийно. Кроме того, зараза могла перекинуться от нас и на бесконвойную зону, а оттуда и на вольняшек, и даже на охрану. Вот отчего, кроме уже описанных бед, сваливалась на нас еще и баня.

Баня на всем прииске Мальдяк была одна. Состояла она из предбанника, мытьевой, послебанника и камеры пропарки одежды. Вроде бы все, что полагается. Но это только с виду: мытьевая могла вместить одновременно человек пятнадцать-двадцать, а баня обслуживала весь лагерь, так что все выходные были заняты лагерной аристократией, а для нашего брата оставались только рабочие дни, а точнее — ночи. Днем все на работе, и вот часа в два ночи, в самый трескучий мороз, раздается в палатке команда: «Пятьдесят человек с левого края, в баню!» Тут уж никакая медицина не поможет, здоров ты или освобожден от работы, — все равно собирайся в баню, в чем тебе энергично «помогут» краснорылые, одетые в овчинные тулупы, стрелки и их помощники из придурков — нарядчики и учетчики. На сборы даются считаные минуты, потому что за ночь, то есть до подъема,

надо пропустить через баню всю палатку, человек сто пятьдесят — двести. А ведь надо еще успеть припрятать дополнительное тряпье, «организованное» зэками и спасающее их на работе от холода. Не спрячешь его, — а ведь в бане надо раздеваться догола, — то все лишнее, не положенное зэку по лагерной норме, отберут и сожгут, ведь в этом тряпье и находится главный рассадник вшей.

Наконец, пятьдесят человек собрались: вместо отдыха, после 12-часовой работы на морозе, им предстоит снова марш-бросок, только ночной и на еще более лютом морозе. Стрелки (для них это тоже дополнительная нагрузка, да еще в ночное время и за счет отдыха, но он смогут днем, пригревшись у костерика, вздремнуть, прекрасно зная, что зэки никуда не денутся) совсем звереют: удары прикладом сыплются на бедных, измученных бессонной ночью зэков градом, а задним в колонне приходится всех хуже: стрелки пускают на длинной сворке своих собачек — немецких овчарок, спасибо, «друг» Гитлер обеспечил, специально дрессированных на зэков, и эти собачки безжалостно рвут брюки, и не только брюки, наиболее слабых, оказавшихся в хвосте колонны зэков, так что хочешь не хочешь, можешь не можешь, а выдерживай темп стрелков.

Баня неблизко — километра два-три. Наконец, добрались до нее. Мороз не менее сорока градусов, да и поземка метет. Всех заводят в предбанник. Стрелки остаются в тамбуре. Баня деревянная, из рубленых бревен. Потолок низкий, закопченный. Посреди предбанника печка, как обычно из бензиновой бочки. Топки не жалеют, печь раскалена, притронуться нельзя — обожжет. В помещении по скамейкам могут рассесться человек двадцать (на столько и рассчитана баня), а нас пятьдесят. Все сгрудились около печки, протягивают к ней закоченевшие руки. Раздается команда: «Всем раздеться догола, вещи повесить на крючки для прожарки». С раздеванием не спешат: если около печки еще терпимо, то по краям комнаты, особенно по углам, иней и лед. Но хочешь не хочешь, а раздеваться надо, ведь лимит времени установлен жесткий, стрелки, оставив в тамбуре дежурных,

уже ушли в лагерь за следующей партией зэков. За эту ночь должна вымыться вся палатка, а это еще два-три такие партии, как наша. Нам-то хорошо, мы первые, может быть даже удастся полежать в палатке на нарах часа два, а следующих уже наверно подняли, мыться они будут после нас, так что после бани у них сразу развод, и на лютый колымский мороз на двенадцать часов.

И вот все разделись, вещи повесили на крючки и сдали банщику на пропарку. Открылась дверь моечной и сразу же из нее выкатились клубы пара: «Заходи мыться!» В дверях моечной банщик мажет палочкой из банки каждому входящему на ладонь немного вонючего, полужидкого зеленого мыла. В моечной под закопченным потолком тускло светит керосиновая коптилка, вот и все освещение. Посреди моечной топится кирпичная печь, в которую вмазан большой железный котел. В этом котле и греется вода для мытья. Рядом бочка с холодной водой, в ней как будто особой нужды нет, да и вода в котле чуть теплая. Вокруг печки несколько лавок со стоящими на них деревянными шайками. Всего сидячих мест и шаек пятнадцать-двадцать — на пятьдесят вошедших людей. По краям, на стенках, кроме заскорузлой, годами не очищавшейся грязи, иней и лед, особенно по углам. Более-менее терпимо только возле печки, чуть подальше — и температура уже не очень-то плюсовая.

Некоторые из вошедших первыми схватили свободную шайку, чтобы набрать в нее воды и ополоснуться, но тут же осознали свою ошибку: сухому еще можно вытерпеть температуру моечной, а вот мокрому — ни за что. В действие вступает известный закон физики о скрытой теплоте испарения, про который несчастные чистюли, рискнувшие ополоснуться, забыли. От холода их, как в лихорадке, бьет озноб, а обтереться им нечем: клацая зубами, несчастные начинают руками обтирать с себя остатки воды, пока дрожь не прекратится.

Остальные, вытерев о лавки налепленное на ладонях мыло, только теснее придвигаются к печке и с нетерпением ждут конца помывки, когда можно будет пройти в после-

банник и натянуть на себя свое тряпье, а не стоять нагишом в этой «погибаловке».

За это время успевают привести из лагеря следующую партию зэков из нашей палатки, и нам слышно, как они шумят, раздеваясь в предбаннике. Банный конвейер работает без перебоев.

Когда окончилось время прожарки наших шмоток, банщик открывает дверь в послебанник и не без издевательства в голосе возвещает: «Ну, хорош размываться! Давай, выходи, другим тоже надо». Все скопом заходят в послебанник, где на лавках лежит куча наших пропаренных вещей. Так как крючки нужны и следующей партии, то вещи с них сняты и все перепутано и перемешано. Все мокрое или влажное, хоть выжимай, и в эту сырость мы должны облачаться и выходить на сорокаградусный мороз.

Кое-как разобравшись, где чьи кальсоны, рубахи, брюки, телогрейки и прочее, все, наконец, напялили на себя влажную одежду. К счастью, валенки не пропаривают, и хотя бы ноги будут сухими. Но тут же открывается дверь наружу (в послебаннике нет тамбура), и в помещение клубами врывается морозный воздух с улицы. Раздается команда: «Выходи быстро!» Снова построение по пять, но на этот раз нас немного, всего пятьдесят, и счет много времени не отнимает. «Пошли, быстрее», — звучит команда охраны, подкрепляемая пинками сапог, ударами прикладов и тявканьем собачек, удерживаемых на сворках. И вот тут-то начинается самое страшное: почти мокрое обмундирование — брюки, бушлаты, шапки — сразу же прохватывает мороз. Все превращается в ледяные панцири, которые трещат и ломаются на ходу. Все тело, а особенно голову, стягивает, как ледяными обручами, и я до сих пор не пойму, как только мы это выдерживали. А конвоиры безжалостно гонят: «Давай! Давай! Шире шаг!», собачки покусывают отстающих. Может, в такой экипировке и кроется секрет спасения людей от замерзания?!

Однако до лагеря добегают все, даже доходяги. Скорее в палатку, к печке, благо она горячая! Дневальный знает, что такое колымская баня, и дров не жалеет. Около печки, кому

удается туда протиснуться, наши ледяные панцири начинают помаленьку оттаивать, вместе с ними оттаивают, превратившиеся уже было в ледяные сосульки, и наши души. До развода еще можно часок-другой полежать на нарах, но не каждый в силах туда залезть. Большинство рассаживается по краям нар, ближе к печке и, по возможности, сидя дремлет, ожидая звонка на подъем.

Вот что представляла собой колымская баня в зоне тюремных заключенных на прииске Мальдяк СЗГПУ Дальстроя в ноябре-декабре 1939 года. Так что не удивительно, что в послебанные дни количество привезенных на санях жмуриков значительно увеличивалось.

Серьезной проблемой была и оправка, особенно по-тяжелому. Уборная была, разумеется, на дворе — деревянная будочка. Терпишь до последней крайности. В палатке приготовишься, расстегнешь все пуговицы, и свою одежду держишь одной рукой в рукавице. Всю операцию проводишь молниеносно, а то можно сильно поморозиться. Особенно страдали при этом пожилые и желудочные больные, которые не могли быстро оправляться, а еще те, у которых, кроме желудочных, были и болезни сердца. Пища грубая, желудок болит, сидеть долго невозможно, ноги распухли и не гнутся, а сидеть-то надо на корточках. Под себя в палатке не сделаешь, кругом люди. Прибежит такой бедолага из уборной, весь замерзший, руки как грабли, даже застегнуться не может. Чуть погреется возле печки и опять бежит туда же.

Еще одним страшным бедствием был постоянный и нестерпимый голод. В середине зимы 1939—1940 годов, увидав страшные цифры смертности в нашей зоне и устрашившись, не перебор ли это, какое-то вновь назначенное начальство решило нас немного подкормить нас: была установлена норма в 1,4 кг хлеба в день — вне зависимости от выработки. Но тут ударили снежные заносы и три дня невозможно было завезти хлеб, обходились баландой и кашей, однако для вывода на работу заносы не помеха. После окончания снегопада к нам в лагерь наконец-то прибыл долгожданный хлебный обоз. Какая была радость, ведь

каждый зэк получил сразу же на руки по 4,2 кг хлеба, хоть и недопеченного, но все же хлеба.

В тот день я и мой сосед по нарам, бывший профессор Свердловского комвуза в Москве, 60-летний Сергей Васильевич Козлов, получили от доктора Малинского освобождение от работы и остались в лагере. Проводив работяг, нагрев в котелке чай из растопленного снега, мы с Козловым уселись на верхних нарах, поставили перед собой кружки с чаем и одолженным на кухне ножом разрезали на толстые ломти свой хлеб. Все же 4, 2 кг — не такая уж маленькая порция для одного. Мы намеревались плотно ею позавтракать, отобедать с хлебом и даже оставить на ужин и на завтра. Но человек предполагает, а голодное брюхо располагает. Короче, обедали мы уже без хлеба. Удержаться было невозможно: аппетит явно переборол силу воли.

Одним из моих соседей по нарам был Рувим Мейденберг, бывший директор небольшой фабрики, награжденный за боевые заслуги в Гражданской войне орденом Боевого Красного Знамени. Однажды он со своим соседом (русским) делили хлеб. Пригласили меня. Почему-то Мейденбергу показалось, что кусок, на который он положил руку, больше другого. И после традиционного: «Кому?», Мейденберг, зная, что я еврей, тихо произнес по-еврейски: «Гиб мир» (дай мне). Несмотря на мое уважение к Мейденбергу, ведь он был старше и заслуженней меня, а может быть, именно по этой причине, я не смог удержаться, и вместо ответа «тебе» обернулся и закатил ему плюху. Мейденберг заплакал, лег ничком на нары и только потом, успокоившись, подошел ко мне и тихо сказал: «Спасибо, Лева! Если бы ты отдал этот хлеб мне и я бы его съел, то был бы позор на весь остаток жизни».

Могу привести пример, касающийся лично меня. Этот инцидент до сих пор лежит камнем на моей совести. В наших условиях особенно тяжелым было положение «курцов», за закурку махорки готовых отдать все, даже часть скудной пайки хлеба. Одним из таких был бывший летчик-истребитель, капитан Борис Неуструев. Как только почует махорочный дым, то за затяжку готов был на все. А достать табак можно

было только у вольняшек через придурков и только в обмен за какие-либо вольные вещи, которых давно ни у кого, а тем более у Неуструева, не было.

Иногда на исходе 14-часового рабочего дня, когда все вымотались до конца и поступление тачек с грунтом к бункеру промывки почти прекращалось, вдруг снова начинали бодро стучать о трапы колеса тачек. Это означало, что на бункер пришел начальник и за каждую дополнительную тачку дает по маленькой щепотке махорки. И сразу же начинается бешеная гонка тачек «курцов» к бункеру.

Однажды в такой ситуации у меня в забое стояла полностью насыпанная тачка, но сил везти ее к бункеру уже не было. Когда началась гонка тачек, я все же ее погнал и получил щепотку махорки. Спрятав сокровище, я понес его в лагерь с намерением отдать одному из заядлых «курцов», своему соседу по нарам — Мейденбергу.

Не знаю как, но Боря Неуструев, которому махорки не досталось, узнал, что она у меня есть, и пристал ко мне, чтобы я ему ее отдал. Я отказывался, и тогда он достал из-за пазухи ломоть неизвестно каким образом сохранившегося у него хлеба и предложил мне его за мою махорку. И много раз после этого я казнил себя за то, что взял у него хлеб, а не отдал махорку даром, но было именно так. А Борис, вскоре после начала зимы, умер в стационаре от истощения.

Запомнилась и самая первая смерть прямо в палатке. С конца стоявшего за печкой стола поднялся наш бригадир — полковой комиссар из Армавира Наумов. Своим не потерявшим военной зычности голосом он громко произнес: «Товарищи! Только что на своем месте на нарах, по-видимому, от сердечного припадка, скончался капитан Каспийского торгового пароходства товарищ Передерий. Прошу всех почтить его память вставанием».

И до этого люди умирали, но не в бараках, а в больнице, если только можно ее так назвать. Больные лежали там вповалку на соломе и тихо умирали, но это происходило все же как-то в стороне, а здесь умер вроде бы совершенно здоровый, даже не освобожденный от работы человек, который

еще вчера вместе с нами долбил ломом бурки, а сегодня еще таскал с сопки, за несколько километров, тяжеленное бревно!.. А теперь дневальные выносят труп, чтобы, привязав к ноге фанерную бирку, бросить его в заготовленную заранее яму...

С наступлением холодов темпы заполнения ямы значительно выросли. Все быстро слабели, и некоторых ослабевших, как и поносников или дизентерийных, наш врач ухитрялся класть в стационар, где они и умирали, уже полностью выпав из поля нашего зрения.

4

Но не мешает вспомнить хотя бы некоторых моих товарищей по несчастью.

Хорошо помню интеллигентнейшего, обаятельнейшего человека и старого коммуниста, доктора исторических наук Ивана Глебовича Кизрина. Темой его докторской диссертации, не без помощи которой он после ученой степени получил свои двадцать лет, было «Движение Махно на Украйне»*. Кизрин был блестяще эрудированным ученым и увлекательнейшим рассказчиком. Собравшись в кружок около него, мы, молодежь, забывали голод и холод, непосильный труд, слушая его рассказы о боевых днях Гражданской войны. Историю Махно он знал досконально. Умер Иван Глебович Кизрин одним из первых, тихо и незаметно.

Особо хорошие отношения я поддерживал с Николаем Николаевичем Поляковым, бригадным инженером, по-нынешнему генерал-майором инженерных войск. Служил в Ленинграде начальником танкового завода. Типичный партийный интеллигент еще дореволюционной закваски, культурный, порядочный и мягкосердечный. До сих пор не

---

* См.: *Кизрин И. Г.* Распад старой армии. Воронеж, 1931; К истории комбедов. Воронеж, 1932; Курская партийная организация в эпоху Октября и гражданской войны. Воронеж, 1933. Книги Кизрина о Махно не установлены, однако этой теме посвящен ряд его рецензий.

пойму, как такой человек мог при Джугашвили и Жданове добраться до высоких постов?

Здоровья, как говорится, не богатырского, да и годы приличные, порядком за пятьдесят, Николай Николаевич одним из первых моих приятелей на Мальдяке стал доходягой. Особенно его одолевали вши, которыми он был буквально усыпан. Кончилось дело тем, что с ним уже никто не хотел лежать на одной вагонке. Наш врач определил Полякова в стационар, где он вскоре умер.

Иван Михайлович Данишевский был директором крупнейшего Новосибирского авиамоторостроительного завода. Вопреки своей суровой внешности он обладал душевной добротой, редкой честностью, порядочностью и принципиальностью. Он уцелел после мальдякской зимы и впоследствии, когда режим несколько облегчился, был переведен на «23-й километр», а затем на «72-й километр». Как опытнейший инженер-механик он был назначен начальником механической мастерской, и очень многие из интеллектуальных контриков, зэков с большим партийным стажем, обязаны ему спасением своей жизни. Человека, никогда не державшего в руках напильник, Данишевский оформлял в мастерскую как опытного слесаря, то есть в относительное тепло и под крышу.

Имел Данишевский «полную катушку» — двадцать пять лет тюремного заключения. Типичная сталинская награда за дореволюционную партийную деятельность на родине и в эмиграции, за участие в Гражданской войне, на которой он дослужился до комиссара дивизии, и за активную деятельность на крупнейших хозяйственных постах в период первых пятилеток. Этот благороднейший человек, не сгибаясь, пережил все ужасы Колымы и, дожив до полной реабилитации, вышел в отставку в воинском звании подполковника. Иван Михайлович долго занимался литературной деятельностью: при его активном участии был выпущен сборник «Были индустриальные» о видных хозяйственных деятелях первых пятилеток. Был он и одним из главных редакторов известной книги заместителя министра авиационной про-

мышленности Смелякова «Деловая Америка»*. Данишевский подарил мне ее с такой надписью: «Молодому Леве от старого Ивана», а «молодому» уже было тогда порядком за шестьдесят. Жил он на проспекте Вернадского в Москве, и я никогда не упускал возможности зайти к нему и пожать его благородную «лапу».

И умер он достойно. Один писака, член Союза писателей по фамилии, кажется, Колесников**, написал книгу про Куйбышева, в которой упоминались некоторые видные самарские коммунисты, в том числе и наш с Иваном Михайловичем общий друг и однокашник по Колыме — доктор технических наук и профессор, специалист по истории техники Юрий Константинович Милонов. Неизвестно из каких источников, скорее всего из доносов в 1937 году в НКВД, автор этого труда излил на Милонова такую кучу клеветы и грязи, что все читавшие книгу старые коммунисты настояли перед ЦК на организации публичного разбирательства. Единственное оправдание, которое мог привести в свою пользу автор, так это то, что он полагал, что Милонов умер на Колыме, а на покойника, по мнению таких авторов, можно списать что угодно. Причем выступал Колесников настолько нахально, что председательствовавший на разборе Данишевский был так потрясен этой наглостью, что его сердце не выдержало, и он умер прямо за столом Президиума, защищая своего друга. Ничьей жизни, ничьему богатству или счастью не завидую, но такой смерти откровенно завидую.

Сам Милонов — высокого роста, похудевший до состояния скелета, в очках, одна из поломанных дужек заменена веревочкой — даже в этих условиях своего профессорского вида не терял. Еще до революции он отсидел несколько лет в Самарской тюрьме за большевистскую деятельность. На Колыме у него был срок двенадцать лет тюремного заключения, причем осужден он был как «провокатор царской охран-

---

* *Смеляков Н.* Деловая Америка (записки инженера). М.: Изд-во политич. литературы, 1970.

** Колесников Михаил Сергеевич (1918—?), член КПСС (1942) и Союза писателей СССР (1954). Имеется в виду роман М. С. Колесникова «С открытым забралом» (1977).

ки». Поводом послужило то, что у Милонова некоторое время скрывался крупный партийный деятель, который потом уехал в другой город, где был арестован. Свой срок Милонов отбыл на Колыме полностью и по окончанию его остался там на вольное поселение.. После реабилитации он вернулся в Москву и жил на Ленинском проспекте. Бывая в Москве, я всегда улучал возможность к нему заглянуть, тряхнуть стариной, а на праздники не забывал поздравить открыткой. Умер он в 1979 году.

Кстати, попался мне недавно стенографический отчет X съезда РКП(б), где упоминался в качестве руководителя делегации Самарской губернии Ю. К. Милонов. Он, оказывается, в те дни был сторонником так называемой рабочей оппозиции и весьма задиристо выступал на съезде, дав отвод намеченному в Президиум съезда М. В. Фрунзе, мотивируя это тем, что нет еще четких доказательств непричастности Фрунзе к вскрывшимся в Красной Армии злоупотреблениям. Обвинял он и других руководителей в насаждении бюрократизма и даже назвал В. И. Ленина «главным чиновником России». По-видимому, эти выступления Милонова и явились главной причиной его ареста и осуждения. Но, поскольку после съезда Милонов стал твердо придерживаться генеральной линии и придраться к нему было уже нельзя, энкэвэдэшные следователи и нашли это его «предательство»: обошлись с ним весьма милосердно, и за меньшие преступления давали и двадцать пять лет, и даже вышку!

Интересной фигурой был старый большевик и полиглот Натан Яковлевич Гринфельд*. До революции он долгое время пробыл в эмиграции и изъездил немало стран. После Октября Гринфельд некоторое время работал директором Малого Театра в Москве. Там его отыскал его старый приятель нарком иностранных дел Чичерин и взял к себе личным секретарем. С Чичериным Гринфельд участвовал во многих международных конференциях, в том числе Генуэзской и Гаагской. Умер он на Мальдяке одним из первых, и лежат его

* В 1906 бежал с акатуйской каторги. Одно время работал директором Ленфильма.

косточки с фанерной биркой в одной из бесчисленных колымских ям.

Одним из моих лучших друзей был молодой журналист из Николаева Григорий Яковлевич Владовский*. Часто, особенно к концу рабочего дня, когда сил оставалось все меньше, а мороз все крепчал, когда уже было совсем темно, а мы, как грешники в аду, еле волочили ноги, когда хотелось просто лечь на мерзлую землю и скорее умереть, тогда Гриша всегда меня подбадривал.

5

Но время шло, морозы крепчали, питание не улучшалось, и даже мой железный организм начинал сдавать. Все чаще, особенно по утрам, чтобы подняться с нар, приходилось употреблять всю силу воли, потому что если не поднимешься по сигналу, то не успеешь даже выпить кружку кипятку, который дневальные регулярно готовили из снега, и нагреть на печке холодный хлеб, выдаваемый по утрам.

Особенно пугали явные признаки апатии: не хотелось ни с кем общаться, доплетешься вечером в барак, съешь ложку каши и скорей на свое верхнее место на вагонке закутываться во все имеющееся тряпье, чтобы как-то передрожать до подъема, проваливаясь иногда в черное небытие. И думать о чем-то уже сил нет, просто лежишь как в могиле. Как-то меньше стал донимать и голод, организм, видимо, начал привыкать к постоянной нехватке пищи. Хотя я и на воле был худощав, но тут уж совсем кости стали вылезать. В бане страшно было на себя смотреть: все ребра на виду, ляжек на ногах практически нет, в задний проход можно чуть ли не кувшин свободно вставить**, но как ни удивительно, все же

* Владовский Григорий Яковлевич (1913 —?), приговорен к 10 годам ИТЛ.

** Указание на специфический синдром раздраженного кишечника, к важнейшим причинам возникновения которого относятся стресс и дистрофия. Как правило, сопровождается утратой контроля над наружным сфинктером прямой кишки и, как следствие, диареей.

пока не только жил, но мог и двигаться, и даже выдерживать не только лютые колымские морозы, но и тяжелейший каторжный труд, который плохо ли, хорошо ли, но делать приходилось, иначе-то ведь моментально замерзнешь. До чего все-таки выносливая скотина — человек!

Но все же умирать стали все чаще и чаще и не только в забое, но и в палатке. Надо сказать, что умирали легко. Помню, как в один из редких выходных дней нас с утра погнали на сопку за дровами. Дело было в середине зимы, ближние к лагерю деревья уже давно вырубили и сожгли, и идти приходилось километров по пять-шесть. Поднимешься на сопку, а там нарядчики уже ждут с напиленными баланами*. Взялся со своим напарником — бывшим машинистом Лисицыным — за один такой балан (спасибо нарядчикам, что дали не самый тяжелый) и потащили вниз. Останавливаться отдохнуть нельзя, потому что сбросишь балан на землю — потом уже не поднимешь. Если одно плечо занемеет, то остановишься и переложишь балан на другое. Единственная мысль — скорее добраться до лагеря и погреть руки около печки.

Кое-как добрались мы до лагеря, сдали балан на вахте — и в палатку. Там тепло, дневальные по случаю выходного дня дров не жалели, печи красные. Обогрелись немного, а Лисицын мне говорит: «До обеда еще часа два. Полезу наверх, немного отдохну, а то чувствую себя неважно. Когда обед принесут — толкани», — и полез наверх на свое место. А я остался кемарить около печки, лень было лезть наверх. Часа через два принесли обед. Я толкаю Лисицына в ногу: вставай, обед принесли. Но что-то он не реагирует, да и нога какая-то твердая, неподвижная. Поднялся, глянул наверх, а он уже мертвый. Когда и как он умер, никто не заметил.

Не сказать, чтобы начальство не проявляло интереса к нашей зоне. В феврале 1940 года через дневальных было объявлено, что желающие могут записаться на прием к «куму» — уполномоченному оперчекистского отдела. Отдел этот ведал поведением зэков и играл не последнюю роль при решении вопросов об освобождении. Не в смысле досрочного осво-

---

* Бревнами.

бождения, а в смысле дать или не дать добавку к нашим срокам. Надо полагать, что этот же отдел интересовался и вербовкой «сексотов». И тут малосрочникам вроде меня надо было держать ухо востро: за неосторожный разговор запросто могли сунуть еще одну «баранку».

Желающих добровольно прийти к «куму» на прием оказалось немного, и тогда он сам к себе стал вызывать персонально и почти всех. Содержание бесед с ним каждый оставлял при себе, но бесспорно, что вопрос стоял, по всей вероятности, в прощупывании настроения вызванного, в смысле перспектив его вербовки в сексоты. Это было, между прочим, не так уж глупо: вызови он только нескольких, то они сразу стали бы заметны. А так подписку о неразглашении давали все «кумовы» гости, так что возможности отличить стукачей от незавербованных практически не было.

Почему-то «кум» упорно не желал заниматься лично мною. На случай беседы с ним у меня был заготовлен деликатный по форме, но издевательский по содержанию ответ, за который я, бесспорно, получил бы карцер.

Но время, хоть и очень медленно, но шло, и дела мои становились все хуже. Все больше становилось у нас в бараке доходяг, все выше становилась гора трупов в яме, а лимиты на освобождение от работы в нашей санчасти не то что не увеличивались, а уменьшались. Если раньше хотя бы раз в четыре-пять дней можно было через санчасть получить однодневную передышку, то сейчас эта возможность практически исчезла: весь лимит освобождений уходил на бесспорных, с опухшими как колоды ногами и с постоянно высокой температурой, доходяг.

Уже дважды меня в забое находили лежащим и приводили в себя увесистыми пинками, причем оба раза первым обнаруживал меня не разговаривавший со мной Гриша Владовский. Второй раз это случилось перед самым построением для возвращения в лагерь. Стоять самостоятельно я уже не мог, хотя в чувство меня привели. Буквально под руки доставили в лагерь — и прямо в санчасть. Освобождение от работы я получил, хотя температура у меня была только 37,3°.

Помимо истощения, или дистрофии, врач обнаружил у меня экссудативный плеврит и счел его достаточным поводом для госпитализации.

Но не все так просто. Наша тюремная зона считалась строго законвоированной, и за каждого зэка, пропавшего без вести, охрана отвечала головой. Поэтому любой перевод больного в бесконвойный стационар очень ее беспокоил. Ведь если больной воспользуется ситуацией и сбежит или даже просто замерзнет в тайге, то начальнику конвоя грозили бы серьезнейшие неприятности, вплоть до разжалования, а в особо скверных случаях и переход на положение зэков. Поэтому вопрос о госпитализации окончательно решал не врач, а начальник режима и опер.

Особенно боялись они госпитализировать «большесрочников» (пятнадцать и более лет), ведь тем вообще терять было нечего. У меня же было всего восемь, так что отменять решение нашего врача и ангела-хранителя Малинского не стали, и конвоир повел меня в стационар.

Я был не первый больной из нашей зоны, но ни одного случая возвращения зэка, выздоровевшего в стационаре, я не знаю. Все они были или сердечники в последней стадии болезни, или желудочники-поносники: но привилегия лечь не в нашу законвоированную, в бесконвойную яму — слабое утешение, как сказал бы мой отец. Так что с нелегким сердцем плелся я за своим конвоиром в стационар: не верилось, что Малинский мог меня туда отправить с такой слабенькой болезнью, как плеврит, — наверное, было что-то еще посерьезнее, а он, по доброте душевной, не хотел меня перед смертью расстраивать.

Мальдякский стационар представлял из себя такую же или даже чуть большую палатку, как наша в зоне. Примерно одна четверть ее была отгорожена для жилья медперсонала — все из зэков. Помещение для больных условно, без всякой перегородки разделялось на чистую и вонючую части. В чистой помещались сердечники, легочники и прочие больные, не связанные с желудочно-кишечными заболеваниями. Здесь постели были по вагонной системе, в два яруса: на-

верху — способные хоть как-то передвигаться, внизу — с высокой температурой или совсем неподвижные. В вонючей части палатки помещались только поносники (дизентерия и прочие желудочные болезни). Здесь вагонка не годилась, и постели были в один ярус, зато потеснее, чем в чистой части. Но поскольку никаких перегородок между частями не было, то ароматность воздуха, в силу естественной конвекции, была одинакова по всей палатке, со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Но по сравнению с нашими тюремными палатками стационар можно было считать дворцом. Здесь было электрическое освещение: три или четыре тусклых, не более чем по сорокшестьдесят ватт, лампочки бросали слабый свет на весь этот рай. Кроме того, здесь было по-настоящему тепло. А самое главное: не надо выходить на тринадцать-четырнадцать часов в сутки на лютый колымский мороз. И еще один райский признак: в первый раз после прибытия на прииск я более-менее основательно помылся: в теплой кабинке, сколько угодно и горячей и холодной воды, на дощечке вдоволь жидкого зеленого мыла, время не ограничивают — одним словом, помылся я в этой бане в свое удовольствие.

Шмотки мои забрали в склад, а взамен выдали полный комплект больничного обмундирования: рубаху, кальсоны, халат и шлепанцы (все б/у). Белье от частой стирки неизвестно чем из белого стало светло-коричневым: его меняют только раз в десять дней, во время бани, но мыло выгоднее украсть и продать вольняшкам, чем тратить на стирку каких-то кальсон, которые доходяга-поносник все равно через полчаса загадит. Еще одна доходная статья у банщиков — шмотки поступающих, а особенно умерших в стационаре больных: все, хоть в какой-то степени приличное, немедленно изымается и идет налево, а при выписке, если таковая, конечно, имела место — всегда выдается невероятная рвань. Мне здесь терять было нечего — ничего вольного у меня уже давно не было: валенки, пять-шесть раз чиненные и замененные лагерным сапожником на все худшие и худшие, одеяло с дырой посредине, наподобие шинель-плаща

у испанских солдат, эту дыру я нарочно вырезал, чтобы, просунув в нее голову, одеяло надевать под телогрейку. После минутного осмотра мои шмотки, как не представляющие для него никакого интереса, были с презрением брошены банщиком на пол.

После бани меня определили на место в чистом отделении, на верхнюю полку вагонки, так как я еще мог самостоятельно передвигаться. До этого меня осмотрел врач и подтвердил диагноз: экссудативный плеврит и назначил лечение — какие-то пилюли, через день инъекционное откачивание жидкости из плевр (втыкается в лопатку длинный шприц с толстой иглой и выкачивает из плевр жидкость — экссудат). После первой инъекции и порции пилюль я залез на свое место, и началась моя райская жизнь в тепле и относительной сытости.

В стационаре уже находилось несколько больных из нашей зоны. Все они были в очень тяжелом состоянии, все желудочники-поносники — их желудки так износились от голодухи и поедания всяких отбросов, что принимать нормальную пищу уже не могли. Все, что они съедали, почти без задержки выходило у них обратно. Двигаться они тоже не могли. Сами они больше походили на скелеты, чем на живых людей: глубоко запавшие глаза и щеки, буквально дыры в ключицах, все ребра можно было пересчитать, даже на расстоянии, ноги абсолютно без мяса — кости и сухожилия*. Шансов выжить у них не было, и довольно скоро их места в стационаре должны были освободиться.

Из наших больных я хорошо знал Баламутова: высокого роста, атлетического, конечно в далеком прошлом, телосложения, кандидат или доктор технических наук, главный инженер торпедного завода в Ленинграде, Баламутов бесспорно принадлежал к элите советской интеллигенции. Элегантная внешность, широкая эрудиция как в технических, так и в гуманитарных вопросах ускорили его карьеру. Как

---

* Это симптомы пеллагры, тяжелейшего авитаминоза, одного из основных причин лагерной смертности. При пеллагре разрушается слизистая оболочка кишечника, и он не всасывает пищу.

он рассказывал, под стать ему была и его жена-красавица — преподаватель консерватории и сама блестящая пианистка. После ареста мужа она начала обивать все энкэвэдэшные пороги и добралась-таки до следователя, который вел дело Баламутова. Лучше бы она этого не делала: следователь начал ее шантажировать и понудил к сожительству обещаниями смягчения участи ее мужа. Этот мерзавец цинично рассказывал Баламутову на допросах все подробности своих интимных встреч с его женой. Конечно, ничего для Баламутова следователь не сделал, и тому дали по военной коллегии пятнадцать лет тюремного заключения с довеском: пять лет поражения в правах. После осуждения все попытки Баламутова связаться с женой кончились ничем: она куда-то исчезла — то ли уехала из Ленинграда, то ли следователь из «благодарности» оформил и ее лет на пять-восемь.

Попав после тюрьмы на Колыму, Баламутов еще в РУРе начал «доходить». Он одним из первых стал варить себе суп из непереваренных зерен овса, добываемых из кала. Крупногабаритный, привыкший не отказывать себе ни в чем, он особенно остро чувствовал голод и пытался удовлетворить его чем попало. И вот он здесь и, можно сказать, при последнем издыхании. Большую часть времени он лежал безмолвно, вытянувшись на своем месте во весь рост, и ни на что не реагировал. Иногда бывали минуты просветления: он садился на койку, просил есть, и все, что ему давали, моментально съедал. Правда, через короткое время все это оказывалось в его постели, которую санитары уже и не чистили. Не обращая внимания на зловоние, с какой-то идиотской улыбкой он по секрету сообщал санитарам и своим соседям по нарам, что его вот-вот должны освободить. Тогда он поедет домой в Ленинград и закатит обед в «Астории». Никто его разговоров всерьез не принимал: обычный предсмертный бред поносника.

Последние несколько дней Баламутов уже не поднимался и ничего не ел. И вот в день, когда наступила агония (а поносники умирали обычно медленно), появляется в палатке курьер из управления лагерем и сообщает, что Баламутову

пришло освобождение и полная реабилитация. Но, к сожалению, было уже поздно. К обеду, не приходя в сознание и так и не узнав о своем освобождении, Баламутов умер. Как свободного его не похоронили в нашей больничной яме, а куда-то увезли.

Особым разнообразием меню в стационаре не баловало: утром жиденький суп-кашица и чай с хлебом, в обед — суп и каша из той же крупы, на ужин опять такая же каша и чай. Порции мизерные, но при лежании в тепле их вполне хватало для поддержания жизни.

Все санитары были из бывших доходяг-бытовиков, «друзей народа», в отличие от нас — «врагов народа». За счет больных «друзья» жрали в три горла, наедали себе ряшки и давно уже не походили на доходяг. Имели они и свои левые доходы от реализации наших шмоток. Единственное, чего они боялись, это медкомиссии, состоявшей из вольных врачей: стоило комиссии вместо имеющейся у санитаров категории труда ЛФТ, поставить им СФТ, то — прощай, привольная жизнь в стационаре, в тепле, сытости и с доходами, и обратно в забой на пайку и 12—14-часовой лютый колымский мороз.

Вызов на комиссию в большей степени зависел от лагерных нарядчиков, тоже бытовиков, но пограмотней, ведающих распределением рабочей силы. Санитары вовсю старались их умаслить: им шла и украденная из больничной кухни еда, и лучшие шмотки поступающих больных, одним словом, все, что можно было в стационаре украсть.

6

Вся жизнь в стационаре в большой степени зависела от главного врача.

Чаще всего это были полуграмотные фельдшера из вольняшек или освободившихся зэков. Уж если попадет в главные такой хлюст, то из больницы тащат все: и продукты, и белье, и простыни, и одеяла, причем так открыто и нахально, что

даже Альхен из «Двенадцати стульев» Ильфа и Петрова, показался бы, по сравнению с ним, образцом честности и порядочности. В таком стационаре вместо лечения и отдыха для больных устанавливалась настоящая доходиловка, зэки туда, особенно, конечно, из обычных бесконвойных зон, остерегались попадать, знали, что это почти верная смерть.

Что касается нашего стационара, то нам повезло: здесь главным был настоящий врач, бывший ординатор клиники одного из крупнейших городов Советского Союза. Он был осужден по бытовой статье: сделал, угрожая оружием, кастрацию любовнику своей жены. К. Ш., ни фамилии, ни адреса его я называть не стану, хотя прекрасно их помню. Он был человеком редкой честности и порядочности. И в том, что я остался жив и могу писать эти строки, есть громадная его заслуга.

Администрация лагеря чрезвычайно ценила К. Ш., главным образом за то, что он один мог делать высшему начальству в случае необходимости сложнейшие хирургические операции. Для этого легковая машина везла его в первоклассно оборудованную больницу. Обладая к тому же бытовой, а не политической статьей, К. Ш. не боялся администрации и своих санитаров и «лекпомов» держал в страхе Божием.

С самого начала мне было вменено в обязанность мерить и записывать в журнал температуру лежачих больных, в том числе и мою собственную. Пользуясь полной бесконтрольностью, я систематически завышал свою минимум на полградуса, что указывало на задержку моего выздоровления.

А еще мне страшно повезло с гречкой. Дело в том, что никаких овощей — лука, капусты, картофеля и других — зэкам на Колыме не полагалось, и весь рацион питания ограничивался макаронами или крупами, преимущественно дешевых сортов и низкого качества. Особо популярными были овсянка и ячневая сечка, которыми нас кормили большую часть года. Причем если уж зарядят овсянку, то подряд месяца на два-три. Но в стационаре, уж и не знаю почему, доминирующей в нашем рационе оказалась гречневая крупа, пусть и не ядрица, а мелкая сечка. Я с детства любил гречку и предпочитал ее всем остальным, даже аристократическому рису.

А тут: утром — гречневая каша, точнее кашица, в обед — гречневый суп и такая же каша, иногда давали еще и кусок рыбы, вечером — такая же каша. Иногда мне перепадала лишняя порция супа или каши.

Довольно быстро я свел дружбу и с другими врачами-зэками, особенно близко с бывшим военным врачом — Борисом Александровичем Ивановым. В отличие от К. Ш., Иванов имел 58-ю статью и поэтому никакими особыми привилегиями не пользовался. Он был большим любителем и знатоком французской литературы, и для меня всегда было настоящим удовольствием слушать его рассказы о Вольтере, Викторе Гюго, Альфонсе Доде, Дидро и о многих других, до тех пор совершенно мне неизвестных классиках французской литературы. Помимо работы в стационаре, Иванов еще вел прием на одном из ближних участков прииска Мальдяк, где не было своего врача, и частенько приходил домой усталый, и довольно поздно.

Врачи жили в небольших отгороженных от общего помещения комнатушках-кабинках, в которых еле-еле помещались койка, маленький столик и табурет. Когда я немного отошел и отъелся на больничных харчах, я практически перестал лежать на своем месте и переселился в кабинку к Иванову. И вот в этой-то кабинке я и проводил почти все свободное время, которого у меня было почти двадцать четыре часа в сутки. У Иванова было даже несколько книг, которые я почти выучил наизусть.

А еще у него под койкой лежало с полмешка муки. Моей обязанностью было к приходу Иванова с участка напечь блинов, что я всегда выполнял с большим удовольствием. Правда, блины были из очень темной, почти черной муки, жарились исключительно на рыбьем жире, но для меня после мальдякской голодухи такое яство казалось настоящим лакомством.

И вот так, за разговорами, за чтением стихов, которых Иванов знал наизусть великое множество, за моими рассказами об авиации и об Испании, а иногда и за стопкой спирта, мы засиживались далеко за полночь. Иногда на огонек

заглядывал и К. Ш. Тут уж начинался настоящий фестиваль литературы. Литературная и музыкальная эрудиция К. Ш. была настолько же выше эрудиции Иванова, насколько ивановская была выше моей. Эти вечера в кабинке у врача остались в моей памяти как одно из немногих светлых пятен на моем крестном пути по сталинским тюрьмам и лагерям.

Но время шло. Длиннее становились дни, иногда проглядывало сквозь тусклые целлулоидовые окошки нашей палатки скупое весеннее колымское солнышко, а как пригреет, то даже начиналась весенняя капель.

Я с удивлением спрашивал себя: неужели я пережил эту страшную зиму и обманул костлявую? Мало того, я явно окреп, уже не так сильно проступали ребра, и я мог спокойно передвигаться по бараку. Что ж, сказывались мои двадцать девять лет и бывшее богатырское авиационное здоровье. Хрипы в легких почти прекратились, экссудата из плевр при инъекциях откачивалось все меньше, температура упала почти до нормальной, хоть я ее систематически и завышал.

К. Ш. и Иванов смотрели на это сквозь пальцы, но некоторые санитары, видя, что я днюю и ночую в кабинке у Иванова, всерьез побаивались моей конкуренции и относились ко мне недружелюбно: в любое время можно было ожидать доноса начальству, и тогда мне не миновать выписки, а Иванову и К. Ш. служебных неприятностей за мою передержку.

Вместе с тем, несмотря на потепление, температура снаружи не поднималась выше –20–25°, а этого, конечно, для меня было бы более чем достаточно, а к тому же я привык к теплу и безделью. Все это я прекрасно понимал и с ужасом ждал момента, когда К. Ш., отвернувшись в сторону, скажет: «Ну, Лева — испанский герой (так он меня иногда называл), больше я тебя держать здесь не могу».

И вот, наконец, черный день настал. Погожим мартовским днем, когда утренний туман и связанный с ним мороз несколько спали и даже проглянуло солнце, я после завтрака и утреннего замера температуры зашел в кабинку к Иванову. Усадив меня на табурет, Борис сказал, что ввиду приближения промывочного сезона начальство начало генеральную

чистку всех больниц с целью выявления всех как-то способных к земляным работам. Сегодня или завтра в наш стационар прибудет комиссия во главе с начальницей санитарного управления лагерей — главной медицинской сволочью Колымы. Сволочь-то она сволочь, но врач опытный, и сразу же определит, можно ли из человека еще какие-нибудь соки выжать или он годен только в яму. И если хоть еще пару недель человек способен пробыть в забое, то она его в покое не оставит. «Тебя, Лева, она сразу же из больницы выпишет, тем более, что ты тюремного заключения. К таким у них отношение особое — использовать до полного уничтожения. Так что придется тебя сегодня же из стационара выписать, а уж там, когда гроза пройдет, может, удастся тебя еще раз к нам на некоторое время определить».

Поблагодарив Иванова за всю его и К. Ш. заботу обо мне, я поплелся на свое место.

Старший санитар, уже знавший о моей выписке, набухал мне на прощанье полную миску гречневой каши и послал человека в каптерку за моими шмотками. Наступил последний день моей райской жизни!..

Организм мой уже привык к вольготной жизни в стационаре, и надо полагать, что долго я в тюремной зоне — в забое, на морозе и на голоде — не протяну. Утренние слова Иванова, что он постарается еще раз меня сюда вернуть, это только слова: это абсолютно за пределами его возможностей.

Шмотки мои принесли довольно быстро, и теперь оставалось только ждать конвоира. А погода разгулялась, прямо весна; солнце светит, со стен падает капель.

И тут старший санитар на прощанье находит мне работу: «Ты ведь грамотный, с высшим образованием, на тебе бумагу, ручку с пером, чернила и перепиши начисто полный список больных, только поаккуратнее и разборчивей, это для комиссии». Уселся я за стол, посуду убрал в сторону, от печки идет приятное тепло, к больничному аромату я уже давно принюхался и просто не замечал его, и стал, не торопясь, переписывать начисто список. В палатке тепло, в окошко солнышко светит, рядом печка. Снял я свой халат — сижу в белье.

Заходит Иванов: «Эй, на улице тепло, а у вас здесь просто дышать нечем! Поносники постарались, но вы откройте на полчаса окошко». Открыли. Я ничего не почувствовал. Тепло по-прежнему, только дышать полегче. К обеду закончил я списки, пообедал (опять старший не поскупился на добавку) и сижу, дожидаюсь конвоира, он что-то задерживается. Чувствую себя совершенно нормально. Пришло время мерить температуру. Всем ставлю термометры, а себе уж не стал, все равно уже нездешний.

А старший: «Поставь и себе, ведь ты у нас до ужина числишься». Сунул я себе подмышку термометр, подержал пару минут, вынимаю и не верю глазам: вместо обычных 36,6—36,8° у меня 38,2°. Такой температуры у меня здесь еще не бывало. Показываю старшему — не верит. Сбил он с термометра показания, сунул мне его сам, и сидит, не отходит, чтобы я не смухлевал. Вынимает термометр — 38,9°, уж на этот раз «без обмана». Пришел К. Ш., и вот диагноз: двустороннее крупозное воспаление легких! Видимо, когда сидел около печки и рядом с открытым окошком, прохватило, а много ли мне, доходяге, нужно? Что ж, не было бы счастья, да несчастье помогло. Вещи назад в каптерку, а меня на свое место, и теперь уже никакая медицинская сволочь не придерется.

Температура стала быстро повышаться, к утру уже за сорок. Никаких сульфидинов, стрептоцидов, пенициллинов и т. д. в те времена, а особенно для зэков, в лагерях, конечно, еще и в помине не было, и лежал я несколько дней, с неделю, почти все время без сознания, с высокой температурой, правда, не бредил. Вообще я никогда во сне не разговаривал, а только стонал.

Все же мое здоровье меня не подвело: кризис миновал, и пока я остался жив, правда ослабел настолько, что еле-еле мог шевелиться. Иванов и К. Ш. все это время буквально не отходили от меня, пичкали лекарствами, делали какие-то уколы, а после кризиса еще и кормили чем-нибудь попитательнее. То рисовой каши с маслом принесут, то мясных консервов. Никогда в жизни не забуду этих благородных бес-

корыстных людей; сами полуголодные, а мне отдавали все, что могли заработать на своей медицинской практике.

После кризиса я быстро пошел на поправку, правда опять исхудал как скелет, но, как говорится, были бы кости, а мясо нарастет, конечно при соответствующих условиях. Вскоре я уже мог подняться на ноги, и опять мне вменили в обязанность мерить больным температуру. А время шло, морозы кончались, днем таял снег. Уже обнажились вершины сопок, и начала зеленеть опавшая на зиму сибирская лиственница.

Держали меня в стационаре мои врачи до самой последней возможности. И вновь, отвернув лицо в сторону, Иванов объявил мне о предстоящем визите медицинской сволочи и о необходимости выписать меня из стационара до ее прибытия. Опять притащили из каптерки мои шмотки, и опять я жду конвоира для отправки в нашу тюремную зону.

И тут новость: оказывается, кроме нашей мальдякской зоны такие же тюремные зоны были организованы и на других колымских приисках, причем условия жизни в них мало чем отличались от наших. К концу зимы в живых осталось так мало тюремщиков, что уже не было смысла держать несколько тюремных зон, и их решили объединить в одном месте — на прииске Ленковый. И вот, пока я лежал в стационаре, ликвидировали и нашу зону, а всех зэков уже перевезли на Ленковый.

7

Поскольку я был тюремно-заключенным, то оставлять меня в бесконвойной мальдякской зоне после выздоровления было нельзя. Но и отправить прямо из стационара на Ленковый не было возможности: довольно далеко, а гнать машину из-за одного зэка не имело смысла. Надо было ждать оказии, и начальство приняло соломоново решение: поместить меня пока в строго законвоированный мальдякский РУР, куда на короткие сроки помещали злостных отказчиков от работы, подследственных, совершивших преступление

уже в лагере и других. Публика в РУРе была, как говорится, оторви и брось: здоровые лбы — многократные рецидивисты, которых боялось даже лагерное начальство. Их заставляли, под усиленным конвоем, делать самую тяжелую физическую работу, например, переносить по непроезжим дорогам тяжелые грузы на большие расстояния.

Никакой санитарной службы в РУРе не было, и все попавшие туда без исключения выводились на работу, кроме подследственных, которым грозила «вышка» за тяжкие преступления, например, убийство охранников и т. д. Только раз в неделю приходил фельдшер и производил прием больных, но права на освобождение от работы этот «лепила» не имел — он мог только давать какие-либо порошки или пилюли. Вот в этот-то РУР и привел меня конвоир поздно вечером прямо из больницы.

Несмотря на начало мая, еще повсюду лежал снег. Днем пригревало солнышко, но с его заходом температура опускалась до –10°, а то и ниже, а я был практически раздет: больничные шакалы-санитары забрали мои теплые портянки и одеяло, а телогрейку, бушлат и ватные брюки заменили на абсолютное рванье; не побрезговали и дырявыми валенками, заменив их совершенно изодранными ботинками. Несмотря на отсутствие температуры, я после болезни был так слаб, что после нескольких минут ходьбы должен был столько же отдыхать. Два километра от больницы до РУРа я плелся часа два: спасибо, что попался сердобольный стрелок (хоть и редко, но встречались). Видя, в каком я состоянии, он терпеливо поджидал меня, не подгонял, а иногда даже, в нарушение инструкции, и поддерживал. Разговаривал со мной очень сочувственно: «Ну куда же тебя, пахан (старик по-блатному, а старику-то еще и тридцати лет не исполнилось) еще посылают? Ведь загнешься ты в РУРе за два дня, лучше бы уж сразу расстреляли, если ты такой опасный, чем так мучить». Но служба есть служба, привел он меня наконец в РУР и сдал дежурному коменданту.

Начальство в РУРах, учитывая их контингент, подбиралось соответственно: здоровые мордовороты, с полностью

атрофировавшимися человеческими чувствами и с пудовыми кулачищами. Да и то, комендант, взглянув на меня, сквозь зубы буркнул: «Ну зачем присылают сюда такую дохлятину? Что я с ним буду делать?» — и послал меня в барак, предупредив, что больных в РУРе не бывает и что завтра к шести утра мне выходить на общие работы.

Кое-как перележав и передрожав от холода и голода (кормили в РУРе два раза в сутки; рацион — триста граммов хлеба и две баланды с кашей в сутки, а затем, если заработаешь, то хлеба могут прибавить, но меня привели поздно и потому кормить меня не полагалось), я проснулся еще до развода. Не успел я съесть свою пайку (а баланды мне не досталось, ее съели более авторитетные клиенты РУРа), как раздалась команда: «Выходи на развод». Назначили меня в какую-то бригаду. Бригадир — здоровый лоб — попытался уговорить коменданта оставить меня в лагере, но в ответ получил хороший пинок и больше таких попыток не предпринимал.

В бригаде было человек пятнадцать, а охраняло нас шестеро стрелков. Зэки, все здоровые и хорошо упитанные (как социально близкие бытовики), были бесконвойными. Все их боялись, и грабили они в лагере фраеров как хотели; потому имели в достатке и хорошее питание, а иногда и выпивку с женщинами (в тех местах, где имелись женские зоны). Даже попав в РУР, они не сидели на пайке. Их бесконвойные дружки, зная, где они будут на следующий день работать, оставляли им в заначках и хлеб, и консервы.

В обязанности бригады входила переноска железных рельсов для вагонеток на несколько километров. Поскольку руровцам полагалось работать только в световой день, то работу они обычно брали аккордно. Ребята все здоровые, и, придя на место, они первым делом доставали из заначек съестное, набивали мамон и, прихватив остатки с собой, брали рельсы и буквально бегом переносили их куда надо. Обычно в таком темпе они успевали свою дневную норму сделать до обеда, на который их водили в лагерь, а потом уже законно оставались в лагере играть в карты и развлекаться, кто как может.

Но в этот день мое присутствие сорвало им всю малину. Заставлять меня таскать рельсы они и не думали, но я и порожний никак не мог поспеть за ними гружеными, и стрелки все время останавливали их, чтобы дать мне отдохнуть. В результате бригада, не сделав к обеду и половины нормы, должна была вместо отдыха в лагере снова выйти на работу после перерыва.

Около вахты взбешенный бригадир сказал мне: «Вот что, пахан, больше ты с нами на работу не выходи. Мы против тебя ничего не имеем, но не желаем из-за тебя торчать за зоной до ночи. Как хочешь, так и делай, но если после обеда выйдешь с нами, пришибем как вшу». Понимая, что это не пустая угроза, я твердо решил: будь что будет, но после обеда я на работу не выхожу. Свою пайку я съел еще утром, поэтому выпил из миски обеденную баланду и уселся на нарах. У бандитов, в отличие от начальства, что-то человеческое еще осталось. Подсел ко мне один из коллег по бригаде и, протянув ломоть хлеба с куском рыбы, сказал: «На, пахан, подрубай». Наклонившись, он тихо произнес на ухо: «Смотри, пахан, держись, выйдешь на работу, Лешка-бригадир тебя пришьет, я его знаю: сказал — сделает». Это еще больше укрепило меня в решении: пойду на работу — смерть верная, а не пойду, еще как получится.

После перерыва бригады, выполнившие норму, остались в лагере, а нашу снова погнали на вахту. Надо было видеть, какими волками смотрели на меня мои коллеги, даже тот, который «дрюкнул» (то есть дал) мне кусок хлеба с рыбой. У вахты я отошел в сторону от бригады и, подойдя к коменданту, сказал, что только вчера выписан из больницы, очень слаб и на работу идти не могу. «У меня здесь не санаторий! — заорал комендант. — Раз прислали, значит здоров. Марш на работу!» Ударом кулака он сбил меня с ног, правда для этого и не требовалось большого усилия. Я упал и, почти потеряв сознание, остался лежать на земле. «Подымайся!» — заорал комендант и ударил меня в бок носком кованого сапога. Но я не поднимался. Тут подбежали другие охранники и стали помогать своему шефу. Я был практически без сознания, боли

не чувствовал и только инстинктивно прикрывал голову руками.

Сколько и как эти звери меня били, я не помню. Очнулся я, когда на меня вылили ведро холодной воды. Комендант схватил меня за шиворот, поднял с земли и поднес к моему носу громадный, заросший рыжими волосами кулак: «Последний раз спрашиваю, паскуда: пойдешь на работу?» Говорить я уже не мог, из разбитого рта струйками текла кровь, один глаз затек и ничего не видел, но во мне буквально бурлила ненависть к этим гадам. Я отрицательно покачал головой и мысленно попрощался с жизнью: теперь комендант точно убьет меня.

Собравшаяся поодаль бригада молча смотрела на происходящее. Против моих ожиданий, комендант не стал меня добивать, а просто отпустил левую руку и я мешком упал на землю. «Этих на работу, — показал он на бригаду, — а этого в яму». Яма была высшей мерой наказания для клиентов мальдякского РУРа. В нее помещали только совершивших нападение на руровского охранника или особо злостных отказчиков от работы, к которым зверь-комендант причислил и меня. По совместительству яма служила и моргом, куда временно, до оформления, складывали трупы умерших в РУРе.

Недалеко от вахты, прямо в вечной мерзлоте, конечно силами самих зэков, была выдолблена яма, глубиной метра три и примерно три на три метра площадью. Из-за вечной мерзлоты ее пол и стены и зимой и летом были покрыты льдом. Зимой в эту яму живых не помещали, но сейчас наступила весна, и комендант решил в назидание другим открыть летний сезон и сгубить в ней меня.

Бригада ушла на работу, а меня два охранника волоком потащили к яме. Вход в нее был только сверху, через люк, через который спускалась и убиралась лестница. Сам я спуститься по ней не мог, и охранники просто открыли люк в крыше ямы, опустили меня в нее, держа за руки, и бросили туда. Я упал на дно, но, видно, как-то удачно, потому что ничего себе не повредил. На мерзлой земле я пролежал некоторое время в полубессознательном состоянии, пока

не собрался с силами и, кое-как поднявшись на ноги, стал оглядывать свой новый «дворец». Через щели в крыше (люк, конечно, сразу же закрыли) проникал свет, и, привыкнув к полутьме, можно было оглядеть помещение. Стены во всю вышину покрыты коркой льда, утолщающейся книзу. На полу замерзшие кучи кала, видимо, я здесь не первый, а прошлым летом люди здесь находились и оставили эти следы. В яме не кормили и не поили и на оправку не выводили — делай, мол, под себя.

Пока меня тащили стрелки, я потерял один ботинок, и теперь, если не считать тоненькой, размотавшейся тряпки (ее мне дали при выписке вместо моих теплых портянок), одна нога у меня была босой. Кругом лед, нельзя ни к стене прислониться, ни на пол сесть: замерзаешь сразу. Можно было только стоять, переминаясь с ноги на ногу. На босую ногу я опустил одну штанину, и получился «тришкин кафтан»: ногу закрыл, поясницу открыл. И что лучше, еще неизвестно, ведь я перенес крупозное двухстороннее воспаление легких. Не знаю, откуда у меня взялись силы, но они все же были. Более того, появилась какая-то дикая злость: я решил все перетерпеть, но побороться за свою жизнь до конца.

Чтобы не замерзнуть, я то стоял, то передвигался по яме, а иногда по-ямщицки похлопывал себя руками по бокам. Когда силы окончательно оставляли меня, я усаживался на пол, но, почувствовав смертельный холод, снова вставал. Так прошел конец дня, и наступила ночь. Я настолько был на нервах, что особенно не почувствовал ни ночного, ни утреннего мороза. Когда взошло солнце и несколько его лучиков проникли сквозь щель в потолке, открылся люк, и в него заглянули двое стрелков. Я стоял, держась одной рукой за стену, другую отогревал на своем теле. «Смотри-ка, жив!» — удивленно обратился один стрелок к другому. «Ну и живучий!» — так же удивленно ответил другой. Я было обрадовался, подумав, что пришел конец срока моего ареста, но оказалось, что они и не собираются ни выпустить меня отсюда, ни даже покормить. «На работу пойдешь?» — заорал в яму первый стрелок. Как ни был я слаб, но такая во мне

кипела ярость, что я даже не удостоил их ответом, а только явственно выматерился. «Ну и подыхай», — произнес стрелок и захлопнул люк. Я остался в яме на вторые сутки.

Все меньше оставалось сил, все чаще погружался я в полузабытье и падал на ледяную землю. Не помогал даже опыт полтавских карцеров, где я мог, сидя почти раздетый в неотапливаемой бетонной камере, полностью отключаться от окружающей действительности и переноситься в театр или концертный зал, и даже мог сам давать концерт на роскошном «Стейнвее», в результате чего физические страдания в карцере я практически не ощущал. Но, как оказалось, и возникновение транса имеет свои границы. Здесь, в яме, номер с самовнушением не проходил. Холод и голод, по-видимому, были чрезмерными. Вместо блаженных полтавских трансов, я все чаще погружался в какое-то черное ничто и падал на ледяную землю, но все же пока не умирал.

Очнувшись, усилием воли я отгонял от себя слабость и даже шептал: «Врете, бляди, я еще буду жить!» Так прошли еще сутки. Я был пока жив. Но когда снова поутру открылся люк и стрелок, снова удивившись моей живучести, прокричал свое: «На работу пойдешь?», то обматерить его у меня уже не было сил, и я чуть слышно пробормотал: «Нет» и отрицательно замотал головой. Стрелок на этот раз без комментариев захлопнул люк, а я, окончательно обессиленный беседой с ним, упал на землю. К заходу солнца я уже подняться на ноги не мог, лишь, напрягши все силы, окончательно закоченев от лежания на льду, иногда мог стать на четвереньки, да и то ненадолго, и наверно к утру был бы уже готов. Но вдруг! Ох, уж мне эти «вдруг!» — сколько раз они мне спасали жизнь, спасли и на этот раз: но вдруг, уже поздно вечером, когда я совсем не мог подняться с ледяного пола и, казалось, сам превратился в ледышку, но в которой еще кое-как теплилась искорка жизни, вдруг открылся люк в потолке, и в яму стали медленно спускаться по лесенке люди, много людей. Ни подняться, ни окликнуть их у меня уже сил не было. Один из них в темноте нечаянно наступил на меня и удивленно закричал: «Братцы! Да здесь человек, и, кажет-

ся, живой», — ощупав меня, продолжал он. Меня сразу же окружили, подняли с земли, начали растирать руками, чтобы согреть, и когда я пришел в себя, то один из них протянул мне кусок черствого хлеба. От такого количества людей (а их было не менее десяти) в яме стало теплее. От тепла и съеденного хлеба я немного отошел и рассказал им свою одиссею.

К моему удивлению, ни один из них даже не выматерился; все только вздыхали и тихо произносили слова молитв. Оказалось, что это была целая бригада баптистов, которую заставили работать в какой-то очень священный для них праздник, и они предпочли этому яму. Но меня это спасло. Из-за смерти одного доходяги — меня, никто бы не стал шуметь, тем более что тут была замешана и амбиция коменданта: меня бы просто списали. Но тут была целая бригада здоровых людей, и в начале промывочного сезона это кое-что значило. К тому же работать они не отказывались, а только просили, чтобы им дали выходной в праздник, и обещали его отработать.

Все же для острастки в яму их посадили, но держать их там долго не имело смысла. Ночь они провели в яме, правда, меня они поместили в самом теплом месте — посредине ямы, один из них даже дал мне свою телогрейку, чтобы, подстелив ее, я мог присесть, когда ноги перестанут держать. Наутро открылся люк, и раздалась команда: «Вылезай!». Вытащили и меня. Оказалось, что прибыл чуть ли не сам Бурлов — начальник прииска Мальдяк, он хотел лично разобраться в баптистском деле. С этим он управился быстро, баптистов просто отправили на прииск, тем более, что свой праздник они уже провели в дороге к РУРу и в яме.

Со мной оказалось сложнее, несмотря на то что имелись мои документы из стационара, да и по внешнему виду можно было легко определить, что я за птица и могу ли я работать на тяжелых физических работах. Но Бурлов ничему не поверил и вызвал вольного врача. Только когда тот признал мою полную нетрудоспособность, Бурлов разрешил оставлять меня в лагере на легких работах, а при первой же возможности этапировать на прииск Ленковый, где собрались все наши тюремщики.

Так я был снова возвращен к жизни. Первый день я пластом лежал на нарах, не в силах даже подняться на лагерную поверку. Мои бывшие собригадники прониклись ко мне некоторым уважением. Некоторые из них, а один раз и сам бригадир, угрожавший меня пришить, иногда угощали меня хлебом и рыбой.

Но особенно поддержал меня один человек, о котором стоит написать поподробнее. Имел он бытовую статью «ПУД» и утверждал, что был режиссером Малого Театра в Москве. Внешне он ничем не выделялся, комплекцией был с меня, но был признанным фюрером всех мальдякских бандюг. Если учесть, что Мальдяк был штрафным прииском в штрафном управлении сверхштрафной и сверхрежимной Колымы, то можно себе представить, какие перлы бандитской аристократии туда попадали. Так что быть у них фюрером что-нибудь да значило. Находился он в РУРе по какому-то особо серьезному уголовному делу, на работу его не выводили, и, по всей вероятности, ему грозила «вышка». Это не мешало ему чувствовать себя тут как рыба в воде. Еду ему выходившие на работу приносили в неограниченном количестве и в широком ассортименте, все его приказания выполнялись беспрекословно.

Звали его Левин, по национальности он был еврей. Многие бытовики имели склонность приукрашивать свои биографии, так что я не знаю, был ли он действительно режиссером Малого Театра, но в том, что он был всесторонне эрудирован в гуманитарных вопросах, я убедился при первой же беседе .

Узнав некоторые детали моей биографии, Левин принял во мне самое горячее участие. Первым делом он перевел меня с крайнего, около дверей и параши, места в свой аристократический угол. Одного его слова было достаточно, чтобы здоровенный бандюга, удара кулаком которого было бы достаточно, чтобы убить не только меня, но и самого Левина, беспрекословно оставил для меня, жалкого доходяги, свои матрас и подушку и перешел на другое место.

И вот началась для меня, даже в РУРе, райская жизнь: лежу на мягком, в тепле, кормит меня от своих щедрот Левин более чем обильно, никто из бандюг даже и не пытается

меня чем-нибудь обидеть. Когда захочу — гуляю по территории зоны, никакой работы никто и не думает заставлять меня делать (видимо, авторитет Левина действовал и на охрану), в свободное время ведем с ним душеспасительные беседы, причем больше рассказывает Левин, а я слушаю.

Попав в лагерь, Левин сумел быстро выдвинуться. Как, каким образом, — не могу понять. Обычная логика здесь бессильна, и секрет выдвижения в бандитские фюреры так и остался для меня загадкой. Был же фюрером на пароходе Аид — такой же щуплый еврей, как и Левин! Плывшие с ним бандюги одним пальчиком могли бы его пришибить, но вместо этого беспрекословно исполняли все его распоряжения.

Но моя «кантовка» в РУРе продолжалась недолго. Видимо, комендант РУРа никак не мог простить себе и мне того, что я выбрался живым из ямы. Таких осечек в его практике еще не было: оттуда было только два пути — или в могилу, или на работу. Я же и на работу не пошел, и живым остался!.. Он старался как можно быстрее меня спровадить, чтобы своим невыходом на работу, утвержденным самим Бурловым, я не портил показателей его РУРа.

И вот пригожим майским утром, когда мы с Левиным кейфовали за приятной беседой, в барак вошел стрелок: «Хургес! Быстро с вещами на вахту». Так как вещей у меня не было, собираться долго не пришлось. Обнявшись с Левиным, я пожелал ему скорее отсюда выбираться на волю, на что он ответил только саркастической улыбкой. Сердечно поблагодарив его за все доброе, что он для меня сделал, я побрел на вахту. У ворот уже стоял грузовик, следующий мимо прииска Ленковый. Комендант сдал меня сидевшему в кузове машины стрелку: вручил ему мое дело, а в качестве живого приложения к делу — меня.

И мы покатили. Так я расстался со страшной тюремной зоной прииска Мальдяк и с мальдякским РУРом, где я провел самые ужасные, как я тогда думал, дни своей жизни.

Откуда мне было знать, что самые ужасные дни у меня еще впереди?

КОЛЫМА: ПРИИСК ЛЕНКОВЫЙ И КОМАНДИРОВКА «23-Й КИЛОМЕТР»

Встреча со знакомыми по Мальдяку. — В. Хлыпало и история с самородком. — Медкомиссия на Ленковом. — Улучшение положения «тюрьзаковцев». — Посылки с воли. — Медкомиссия и комиссовка в инвалиды. — Ночлег в Сусумане и прибытие на инвалидную командировку «23-й километр». — Обитатели инвалидной зоны: М. Снатский, Богданов, Д. О. Львович. — Обитательницы женской зоны: К. М. Милорадович, О. Я. Лоренц, Д. А. Гарай, мать Г. Ягоды и Г. Рубинштейн. — Посылка от Б. Р. Рикуса из Минска. — Крестики. — Художники (Шведов, Васильев, Голубин), музыканты (К. Л. Новогрудский), артисты (Н. Солнцев), журналисты (Ю. Казарновский). — Воровской авторитет Садык Шерипов. — Секс в бараках и наказание за него: «женатики». — «Ударники» в тайгу за дровами. — Сближение СССР с фашистами: «Адмирал граф Шпее» в «Новом мире» и Молотов в Берлине. — Генеральная поверка: металлург-радиолюбитель. — «Колымжелдорстрой». — Покалеченный мизинец и ЛФТ.

1

К вечеру без особых происшествий мы прибыли на Ленковый, где уже около вахты я увидел некоторых знакомых по Мальдяку, сумевших пережить страшную зиму 1939—1940 годов. Меня они уже давно похоронили и были рады увидеть если не здоровым, то хотя бы живым. Одним из первых я встретил там своего старого знакомого по Мальдяку, бывшего секретаря Днепропетровского обкома комсомола — Витю Хлыпало. Этот Витя, человек высокого роста и крупного телосложения, уже по прибытии на Мальдяк слыл доходягой: в этих условиях людям крупного телосложения требовалось больше питания и одежда больших размеров, и обычно они «доходили» и умирали быстрее, чем такие шпендрики, как я.

Но тут, как ни странно, спас его я. Произошло это в непогожий позднеосенний или раннезимний вечер, когда с полутемного неба срывался дождь со снегом, когда все уже

промокли и замерзли насквозь, а ноги еле-еле вытаскивались из липучей более чем по щиколотку грязи, когда в пустом желудке даже кошки перестали скрести и когда думаешь не о выполнении производственного плана, а о том, как бы скорее добраться до родной палатки и похлебать теплую баланду и пару ложек магары, а потом, чуть-чуть обсохнув около бочки-печки и закутавшись во все имеющееся в наличии тряпье, впасть в черное небытие до подъема. Нагрузив тачку породы, я, перед тем как везти ее на бункер для промывки, уселся на лопату чуть-чуть передохнуть. Так уж все осточертело кругом, и эта работа, и эта жизнь, что существуешь в какой-то прострации и, не обращая внимания на все окружающее, механически кидаешь в тачку все, что попадается на лопату.

И вот стоит на краю забоя моя нагруженная тачка, а мимо проходит доходяга Хлыпало, у которого уже в то время была категория ЛФТ (легкий физический труд). Получая свою гарантийную пайку (не то 400, не то 600 граммов), он мог не грузить и отвозить тачки, а выполнять подсобные работы (подчистку забоев) и поиск мелких — до 100 граммов — самородков. Для этого выдавали пустые консервные банки, куда он складывал найденный в забоях металл: если к концу дня его окажется больше половины банки, то есть граммов 500—700, то он получал еще по 200 граммов хлеба дополнительно.

Зрение у Вити было отличное, и он обычно набирал немало мелких кусочков металла. Проходя мимо моей тачки, он нагнулся и вытащил из нее довольно крупный, пожалуй, побольше моего кулака, весь залепленный грязью булыжник. «Ты чего это металл в тачку бросаешь?» — обратился ко мне Витя. Поглядел я на булыжник и аж обомлел: золота — не меньше 700 граммов, а то и килограмм! За самородок золота весом более 100 граммов платили по рублю за грамм, причем в ларьке на эти деньги можно было купить хлеб, колбасу, консервы, сахар, табак и все что угодно по твердым ценам, а за самородок менее 100 граммов не платили ни копейки. Так один из наших зэков, горный инженер Рабинович, нашел однажды довольно большой самородок и уже ра-

довался — ведь это продукты, спасение жизни! Найденные самородки сдавались в лабораторию для очистки от породы и взвешивания. Каково же было его разочарование, когда Рабинович узнал, что самородок потянул всего на 97 граммов и ни одной копейки он за него не получит. Судя по размерам, мой самородок явно тянул намного больше. «Отдай металл! — накинулся я на Витю. — Он мой, с моего забоя!» Но Витя крепко держал самородок. Я попытался отнять его, но сил-то у меня и у самого было кот наплакал. Оба мы понимали, что в этом самородке, может быть, спасение его или моей жизни. Чувствуя свою правоту, я повалил Хлыпало на землю. Сцепившись, мы оба катались в глубокой, холодной, липучей грязи. Подбежали соседи по забою и попробовали нас разнять, но не тут-то было: я крепко держал пытавшегося вырваться Витю.

Подошел бригадир — полковой комиссар Наумов. Его мы все уважали за честность и справедливость. Он легко разнял нас и стал выяснять суть дела. Узнав все подробности, Наумов принял окончательное решение: «Лева, если бы Витя поднял этот самородок на территории твоего забоя, вы оба имели бы на него одинаковое право и деньги за него должны были поделить пополам. Но раз ты, Лева, бросил этот самородок в тачку, значит, ты потерял на него права, и он по закону уже принадлежит только тому, кто его первым там обнаружит, то есть Хлыпало, а уж дальше — дело его совести, выделит он тебе что-нибудь из полученных денег или нет». С этими словами он вручил Вите самородок. Впоследствии оказалось, что самородок потянул на 550 граммов чистого веса, и получил за него Хлыпало 550 рублей на ларек. И в то время, когда мы все «доходили» от голода, хлеб у экономного Вити всегда был. Правда, сказалась его хохлацкая жадность: я ни разу не видел, чтобы он с кем-либо поделился своими покупками, да и ел-то он только по ночам, когда все спали, чтобы никто не попросил выделить кусочек.

Меня он не обидел: когда получил деньги, «дрюкнул» мне буханку хлеба и с полкило сахару. Ну что ж, как говорится: с паршивой овцы хоть шерсти клок. В сущности, особых пре-

тензий к Хлыпало я иметь не мог. Наумов решил спор справедливо, а что касается дальнейшего Витиного поведения, то здесь сказались как его воспитание, позволившее дойти до должности секретаря обкома комсомола, так и то нечеловеческое положение, в которое его поставил Джугашвили—Сталин.

По прибытии на Ленковый медкомиссия (правда, с большой натяжкой, уж больно я был «хорош» после стационара, а особенно ямы) поставила мне ЛФТ и я был приставлен к двум СФТэшникам на помощь в забой.

2

Но время шло, и отношение к нам, «тюрьзэковцам», менялось явно в лучшую сторону. Получше стали кормить и даже, как ни странно, иногда допускали нашего брата на некоторые блатные работы. Так, однажды на работу в лагерную кухню взяли нашего тюремного заключенного — бывшего личного секретаря Л. М. Кагановича — Леву Мадрова, имевшего срок пятнадцать лет. Это было неслыханно, ведь контриков до этого использовали строго и только на общих, тяжелых физических работах.

Немного легче стало и с медициной: совершенно ослабевших уже почти не заставляли выполнять норму тачкой и лопатой. Все чаще оставляли нас, доходяг, в лагере, а если и посылали в забой, то с консервной баночкой, собирать мелкие самородки. Стали иногда приходить из дома письма со строчками, густо замазанными черной тушью, и даже посылки. Правда, с посылками получались и неувязки. Так, например, пришла посылка бывшему директору Новосибирского мотостроительного завода — И. М. Данишевскому. Заботливая дочь прислала сало, шоколад и еще какую-то витаминозную снедь, а чтобы предохранить отца от цинги, все свободные места в посылке засыпала чесноком. Но она никак не могла предположить, что эта посылка будет идти более года и даже зимовать в условиях Колымы. Чеснок замерз,

а затем по теплому времени растаял и начал гнить. Можно себе представить, какой аромат разнесся по бараку, когда Иван Михайлович внес туда свою раскрытую при получении посылку. Чеснок пришлось выбросить, а все, что еще не пришло в полную негодность, Данишевский, конечно, употребил в дело, не забыв и товарищей по несчастью. Особенно хорош был шоколад, который, несмотря на длительное проветривание, настолько пропах гнилым чесноком, что почти потерял свои первоначальные запах и вкус. Но все же это был шоколад, и каждый, кого Данишевский им угощал, медленно его сосал, пока он не растает во рту. Но самое главное — то была весточка с воли, от родных, а раз они еще могут присылать шоколад, значит и сами пока не пропадают от нужды.

Еще больше хлопот доставила другая посылка, полученная одним из наших товарищей: его семья сумела отправить ему только два сорта продуктов: табак-махорку (он был заядлым курильщиком) и сахарный песок. Они не пострадали от колымских морозов, но, видно, посылка долго хранилась в помещении, где было много мышей. Мыши прогрызли ящик и стали хозяйничать в его содержимом, в результате чего, раскрыв посылку, получатель обнаружил, что мыши полностью уничтожили все бумажные обертки и сахара, и махорки. Махорка перемешалась с сахаром (плюс мышиный помет), так что ни то ни другое употребить в дело было невозможно. Но не выбрасывать же такое добро, и вот хозяин посылки собрал несколько человек доходяг, болтавшихся в лагере. Дав каждому по небольшой фанерной дощечке, он высыпал на дощечку жменю своего ассорти, и они должны были аккуратно, по зернышку, отделять сахар от махорки. Разделенные сахар и махорку хозяин потом забирал себе, за исключением небольшой доли, которую сортировщик получал за труды. Конечно, подслащенный таким сахаром чай сильно отдавал махоркой, а махорка при курении довольно сильно стреляла, но все же это было лучше, чем ничего.

Но тем не менее: пережитая зима, постоянный дисбаланс питания и затрачиваемой на тяжелый труд энергии давали себя знать. В лагере все больше становилось ЛФТ и даже пол-

ностью освобожденных от работ. Вскоре пошли слухи, что на прииск прибывает авторитетная медкомиссия, в полномочия которой входит медицинская комиссовка зэков, и наиболее слабым из них будет присвоена категория «инвалид». Этих людей на прииске больше держать не будут, а отправят на специальную инвалидную командировку, находящуюся в двадцати трех километрах от Магадана и потому носящую название «23-й километр».

Через некоторое время комиссия действительно приехала, и всех зэков, а в первую очередь доходяг, постоянно освобождаемых от общих работ, комиссовали, и почти всем, в том числе и мне, присвоили почетное звание «инвалид».

Набрали нас таких человек пятьдесят, на две машины ЗИС-5, и через несколько дней, под вечер, мы распростились с немногими из оставшихся после страшной зимы 1939—1940 годов товарищами-«тюрьзэковцами», которые даже несмотря на пережитую кошмарную зиму оказались настолько крепки, что на комиссии получили СФТ (средний физический труд). Я вспомнил об аналогичной комиссии год тому назад, в Магадане: я был молод и абсолютно здоров — за что и получил ТФТ (тяжелый физический труд). А теперь такая же комиссия признала меня инвалидом!

Перед отъездом наш бывший бригадир полковой комиссар Наумов сказал несколько прочувственных слов о том, что все мы, несмотря на всю несправедливость нашей судьбы, были и остались честными коммунистами и что он глубоко верит, что в самом недалеком будущем, как потом оказалось через шестнадцать лет, партия и правительство исправят допущенную по отношению к нам ошибку, и мы снова все встретимся на воле и хорошо отпразднуем нашу встречу. После этого мы забрались на две машины по двадцать пять зэков и два стрелка в кузов каждой машины и двинулись в путь на «23-й километр».

Так как выехали мы поздновато, охрана не рискнула везти столь опасных преступников в ночное время и решила остановиться на ночевку в близлежащем лагерном пункте — Сусумане. Там нас заперли в какой-то барак, в котором рань-

ше жили бесконвойные зэки-бытовики, поставили у дверей охрану, а остальные наши сопровождающие отправились ночевать в поселок. Покормить нас здесь никто и не подумал: а ведь уехали мы с Ленкового еще до ужина, и харчей ни у кого из нас не было.

Наиболее активные подняли шумок, требуя от охраны еды. Охранники вполне логично объяснили, что начальство ушло в поселок и будет только к утру, и потому никакого питания до утра мы не получим. Если в бараке не наступит спокойствие, охранники пригрозили стрелять через дверь. Тогда наши зэки притихли и стали шастать по бараку в поисках чего-либо съедобного. Некоторым удалось найти под нарами довольно много черствых и не сильно заплесневевших хлебных корок, но их хватило далеко не всем, и наименее расторопные и удачливые легли спать голодными.

Хорошо еще, что был разгар лета, потому что наш барак никто бы и не подумал протопить, но на улице было тепло, да и летняя колымская ночь коротка, так что переночевали мы нормально: часа в четыре утра нас подняли, и не подумав хоть чем-нибудь покормить. В ответ на просьбу о еде начальник конвоя ответил, что он здесь ничего достать не может, но до конца пути уже недалеко, а на «23-м километре» нас обязательно хорошо накормят. Быстро погрузившись в машины, мы отправились дальше по ожившей колымской трассе по направлению к Магадану.

3

Часа в четыре дня мы, наконец, добрались до «23-го километра». Против всякого ожидания, оформление заняло очень мало времени: стрелки сдали тамошнему начальству наши дела, всех построили в шеренгу. Комендант выкрикивал фамилию, вызываемый выходил из строя: «Фамилия, имя, отчество, год рождения, статья, срок» и — «Отходи в сторону!».

После переклички всех нас сразу же повели в столовую кормить. Столовая произвела на нас, отвыкших от элементар-

ных удобств, очень хорошее впечатление: чистые, покрытые клеенкой столы и даже вместо привычных скамеек из неструганых досок аккуратные табуретки: оказалось, что на «23-м километре» был деревообделочный цех, выпускавший и более сложную мебель. Но самое главное — каждому дали по 700 граммов хлеба, по полной миске вполне съедобного супа и почти по полной миске каши-магары, заправленной постным маслом, и еще по куску рыбы — горбуши. Наелись мы вполне прилично, некоторые даже оставили рыбу в заначку.

После обеда нас отвели в отдельный барак для «тюрьзэковцев», где и велели устраиваться. Постели обещали дать попозже, а пока разрешили отдохнуть на голых нарах в ожидании бани. Усталые, но сытые, мы повалились на нары и почти сразу же уснули: сказалась почти бессонная, на голодный желудок, ночь в Сусумане и 600 километров переезда в скорченном состоянии.

Поспали мы часа три, и те, кто мог, отправились осматривать свое новое местожительство (для меня уже седьмое — менее чем за год пребывания на Колыме!). На первый взгляд, лагерь производил вполне приличное впечатление: аккуратные бараки, чисто подметенные, обложенные по краям битым кирпичом дорожки, довольно много зелени, большой плац для поверок, а главное — очень большая территория.

Большинство зэков работали на разных производствах, расположенных в зоне. Была здесь своя небольшая электростанция, питавшая производства и освещение как внутреннее, так и наружное: зону оцепления и прожектора на вышках, также на территории лагеря стояли столбы, лампочки на которых зажигались с наступлением темноты. Основным потребителем электроэнергии был деревообделочный цех, в котором работали станки с электромоторами. Осмотрев лагерь, мы вернулись в барак, где нам выдали постели: одеяла, наволочки и матрацы, которые разрешили набить стружками-отходами цеха. После ужина, уже не столь обильного, как обед (каши дали поменьше, и без рыбы), нас повели в баню.

Баня тоже вполне приличная: достаточно воды, горячей и холодной, мыло хоть и зеленое, жидкое, но помыться им

вполне можно было, и шаек, и мест хватало всем. Пробыли мы в бане часа два. Терли друг другу спины старыми рукавицами и как будто смыли с себя застарелую мальдякскую и ленковскую грязь. Забрали наши шмотки и выдали новые, почти чистые, в смысле не совсем белые, нательные рубахи, кальсоны и портянки. У кого были более-менее приличные телогрейки, брюки и бушлаты, то их только «прожарили» и вернули обратно, а большинству просто заменили их тряпье на, как говорили, «второго срока», зато чистые и аккуратно заплатанные. В бане даже работал парикмахер, который сразу же после выхода из моечной мигом соскабливал бороды! Головы стригли друг другу сами, до мытья.

И вот мы все, чистые, побритые и как денди лондонские разодетые, направились из бани в свой барак. Впервые после долгого перерыва мы уснули в человеческих условиях — на мягком и чистом (через некоторое время стружка спрессовывалась, и постель становилась не мягче нар, но если хочешь спать на мягком — не ленись набить постель стружками, благо их всегда вдосталь). Большим преимуществом было еще и то, что леса вокруг Магадана уже давно вырублены, болота осушены, отчего комары и гнус здесь не так одолевали, спать можно было, даже летом, спокойно.

Оказалось, что в нашем бараке мы уже не первые, еще до нас сюда поместили прибывших актированных инвалидов из тюремных зон других приисков — Оротукан, Чай-Урья, имени М. В. Водопьянова. Из старожилов здесь находился бывший начальник сельхозуправления Наркомзема Украины Цымбал, который успел, уже работая в деревообделочном цехе на ленточной пиле, отпилить себе указательный палец на правой руке, что в этом цехе не было редкостью, ведь более чем за 12-часовой рабочий день внимание человека притупляется, а машина дура: что ей подставишь, то и режет — хоть деревянную чурку, хоть живую руку.

Интереснейшим человеком оказался и дневальный нашего барака, бывший артист Московского еврейского театра Максим Снатский. Он был буквально начинен еврейскими анекдотами, всегда всплывавшими так кстати. Вообще гово-

ря, своим талантом Снатский часто скрашивал нашу совсем не сладкую жизнь.

Но все это несколько позже, а пока мы все, вновь прибывшие, первым делом подверглись сортировке: совсем слабые и больные были направлены в стационар, остальных распределили по мастерским. Попал я в столярную мастерскую, где делали разные предметы ширпотреба для продажи в магаданских магазинах.

Поставили меня на изготовление пресс-папье. Я получал столярные заготовки и должен был их подгонять, нарезать винтовую резьбу, красить коричневой морилкой и сдавать готовую продукцию контролеру. Норма была не очень высокой, работа нетяжелая, под крышей. Я быстро освоил эту специальность и стал получать хорошую (кажется, 800 граммов) категорию пайка хлеба. Продукцию у меня принимал (временно, потому что самого контролера Д. О. Львовича, о котором будет рассказано ниже, отправили на отбор древесины, куда-то на Олу) старый опытный столяр Богданов: уже пожилой, с дореволюционным партийным стажем, в прошлом видный троцкист. Был Богданов настоящим артистом столярного дела. Его шкатулки и секретеры с креплением «косым зубом» были просто шедеврами. Была у нас с ним одинаковая статья (КРТД) и срок — по восемь лет, с той разницей, что у меня тюремное заключение (читай — каторга), а у него — общие лагеря. Взяли его несколько раньше меня, во времена чекистского либерализма, до февральско-мартовского зловещей памяти пленума ЦК.

Ко мне Богданов относился очень хорошо, часто пропускал, мягко выражаясь, не очень-то качественную продукцию, но все время предупреждал: «Вот погоди, скоро приедет Львович, он уж тебе покажет кузькину мать, у него такая дрянь не пройдет». И я с трепетом ожидал приезда грозного Львовича, не без оснований полагая, что с его прибытием моя сладкая жизнь кончится.

И вот, наконец, появился Львович. Звали его Давидом Оскаровичем, по национальности он был еврей. Оказалось, что он тоже «тюремщик» и имеет двадцать лет, но, поскольку

он выбился в начальство, то ему разрешили жить не в общем бараке, а в кабинке при мастерской. Высокого роста, с явными следами военной выправки, с густыми, вьющимися, с проседью волосами, в роговых очках, правда, вместо одной дужки они держались на проволочке, Львович, несмотря на лагерную форму, производил впечатление. Когда я ему впервые принес вечером свою дневную продукцию и он начал ее браковать, то я просто пришел в ужас: больше половины сразу же было брошено на пол — полный брак. «Да! — подумал я. — Это не Богданов. И чего он выпендривается? Ведь такой же зэк, как и я». Захотелось мне его обматерить, но не стал, а для облегчения души сквозь зубы ругнулся по-испански: «Ликаго ин диоз!» (наиболее распространенное в Республике ругательство — «Насрать мне на бога»). Львович сразу же встрепенулся: «Что вы сказали?» Я: «Это не по-русски, все равно не поймете». — «А что, если пойму?» — улыбнулся Львович и в качестве пароля спросил по-испански: «Саво усто Альборайя очо?» — «Знаете ли вы улицу Альборайа, дом 8?» (в этом доме в Валенсии помещался штаб Гришина-Берзина-Старика, главного военного советника СССР в Испании). Когда я по-испански ему ответил, что все это я очень хорошо знаю, Львович перестал осматривать пресс-папье и кинулся меня обнимать.

«Впервые встречаю здесь однополчанина по Испании», — говорил он, поглаживая меня по голове. Сейчас же побежал в свою кабинку и притащил все, что у него было из съестного и даже маленький пузырек со спиртом. Накормил меня, как мог, и за беседой у нас незаметно прошло время до отбоя. Оказалось, что Львович был кадровым военным. Еще в гражданскую командовал полком. После окончания войны остался в кадрах Красной Армии, окончил Академию Генштаба и был на военно-дипломатической работе в Италии и Франции. В совершенстве владел немецким, французским, английским и испанским языками. Одно время он нелегально работал в Германии. Там его прихватили, и он довольно долго сидел в тюрьме, пока его не разменяли на какого-то немецкого агента, схваченного у нас.

В Испанию он прибыл еще до начала войны, будучи в звании полковника генштаба, и впоследствии остался там под кличкой Лоти в штабе Берзина. Взяли Львовича в конце 1937 года. Об обвинениях, методах следствия и вообще о подробностях своего дела Львович не распространялся, а я никогда его об этом не расспрашивал.

Пробыли мы с ним на «23-м километре» до начала Отечественной войны, а потом всех более-менее крупных военных от нас забрали, и больше я с ним не встречался. Уже много лет спустя я узнал от писателя О. Г. Савича, что Лоти умер в заключении на Колыме. А ведь сколько пользы мог он принести в Отечественной войне!..

Львович все время помогал мне, чем мог. Нечего и говорить, что с момента нашего знакомства все мои пресс-папье проходили только «первым сортом». Через некоторое время спрос на них насытился, и их производство прекратили, а меня, как не очень опытного столяра, перевели — опять-таки не без участия Львовича — в художественный цех по раскрашиванию детских игрушек. Тут уже было гораздо веселее, чем в столярной мастерской, а главное — моя продукция шла не на столы энкэвэдшнего начальства, как пресс-папье, а детишкам, хоть бы и тоже энкавэдэшников, но все же детишкам, а это уже вселяло в душу некоторую радость. Раскрашивал я кукол, паяцев или мишек, и всегда, взяв в руки очередную игрушку и представляя себе улыбающуюся детскую мордашку, я забывал и голод, и все унижения своей теперешней жизни.

4

На «23-м километре», кроме мужской инвалидной зоны, была еще и женская. Правда, женщины жили отдельно, отгороженные от мужчин колючей проволокой, и доступ туда зэкам был строжайше запрещен, но работали мы вместе и пользовались одной столовой. Несколько женщин было и в нашей мастерской. Надо сказать, что всех их, без преувеличения, можно было назвать цветом русской интеллигенции. Все вла-

дели иностранными языками, некоторые даже несколькими, все были, конечно, прекрасно воспитаны, и естественно, что в свободное время разговоры велись на самые культурные темы, а зачастую и на французском или английском.

Самой пожилой и самой уважаемой из женщин была Ксения Михайловна Милорадович*, прямая то ли внучка, то ли правнучка знаменитого в русской истории генерала Милорадовича, сподвижника Суворова и Кутузова. Это была женщина лет шестидесяти, совершенно седая и обычно очень молчаливая. Держалась она всегда с большим достоинством, и даже самый грубый стрелок или комендант никогда не позволил бы себе обратиться к ней на ты. Имела она по особому совещанию шесть лет лагерей за КРД, за что именно — толком не знала. Пришли домой, взяли, несколько бесед на совершенно отвлеченные темы со следователем — и приговор.

На «23-й километр» ее поместили почти сразу после прибытия на Колыму, причем все это время Ксения Михайловна работала в этой же мастерской. Особенно на свою судьбу она не жаловалась. Как-то она призналась, что даже довольна тем, что попала сюда: относятся к ней хорошо, работа нетяжелая и даже приятная, кормят — достаточно, а местное общество таково, что она об этом на воле и мечтать бы не могла, ведь все ее родные и знакомые после революции эмигрировали за границу. Сама Ксения Михайловна отказалась это сделать, о чем никогда, даже на Колыме, не жалела: там, по ее словам, ее окружала бы настолько «серая» толпа, что и словом перемолвиться было бы не с кем, а здесь довольно много женщин если не ее воспитания, то во всяком случае ее образования и образа мышления. У нее никогда не было своих детей, и ей доставляло особую радость делать приятное — игрушки — хотя бы чужим детям,

Работала у нас Ольга Яковлевна Лоренц — жена бывшего нашего посла в Австрии. Мужа ее расстреляли, а ей сунули ЧСИР (член семьи изменника родины), в то время действовала у нас система заложников, так что в арсенале НКВД

* Милорадович Ксения Михайловна (1882—?), в 1927 году выслана в Саратов, в 1937-м получила 6 лет по ст. 58 п.10.

существовала и такая статья и десять лет лагерей. Это была еще не старая, лет под пятьдесят, очень интеллигентного вида женщина. Еще до революции она дружила с известной коммунисткой А. М. Коллонтай, и иногда рассказывала о ней истории, не вошедшие в официальную биографию.

Впоследствии я очень сдружился с Доротеей Августовной Гарай, разумеется, чисто платонически. Нет, на Колыме инвалидность зря не дают, и вместо положенных шестидесяти трех кг весил я не более сорока. Она была немкой, до ареста работала в Москве техническим секретарем немецкой секции Коминтерна. Одновременно с ней арестовали и ее мужа. Сама Доротея Августовна, видимо, умерла на Колыме, но муж, как мне рассказывал писатель О. Г. Савич, пережил ужасы сталинских застенков. После реабилитации и почти до смерти он был министром внутренних дел ГДР.

Доротея Августовна выглядела бы гораздо моложе своих лет, если бы не совершенно седая голова. Вообще, она смотрелась очень импозантно: молодое, почти без морщин, лицо, стройная фигура еще не старой женщины и совершенно белая, словно в парике, голова. Она часто рассказывала мне эпизоды из своей авантюрной жизни, да и мне было что ей рассказать, и еще у нее в запасе всегда была целая серия теперь уже широко известных анекдотов про умного еврейского мальчика — Морица, который, учась в немецкой школе, часто ставил учителей в тупик своими наивными вопросами и чересчур правдивыми ответами.

Рассказывали, что незадолго до нашего прибытия на «23-й километр» в нашей женской зоне в возрасте около восьмидесяти лет умерла мать Генриха Ягоды — бывшего зампреда ОГПУ. Она была очень религиозной, и моя мать, которая также была очень набожной, часто видела ее в московской синагоге в Спасо-Глинищевском переулке. Мать Ягоды всегда окружали личности в штатском, но, если кому-то из родственников все же удавалось подойти к ней и вручить заявление с жалобой на незаконный арест, то можно было считать, что этот невинно арестованный уже на свободе. Взяв такое заявление и убедившись, что человек действительно невиновен,

она шла на Лубянку (охрана, зная, чья это мать, беспрепятственно пропускала ее) и направлялась прямо к сыну, врывалась в его кабинет, не обращая внимания ни на что, даже на ранг сидевших там энкавэдэшников. Старуха, достав из сумки заявление, начинала хлестать им Ягоду по лицу, мешая при этом русские слова с еврейскими: «Мамзер*, выродок, мерзавец, кровопийца, мешумед**, и как только я могла родить такого негодяя!» Ягода обычно тут же на заявлении писал резолюцию: «Освободить». При тогдашней законности этого было вполне достаточно, чтобы человек вернулся домой.

Вот таким образом эта старуха спасла не один десяток невинно арестованных. И вместо почетной старости — каторга, десять лет по статье ЧСИР на Колыме, вместо похорон на самом почетном месте любого кладбища гниют ее косточки в общей яме в колымской земле. Да будет тебе колымская земля пухом, святая женщина...

На «23-м километре» я встретил Гиту Рубинштейн***, с которой я до 1925 года учился в одной школе (33-я школа БОНО в Москве) и даже в одном классе. Я очень хорошо помнил эту очень миловидную девочку, ей тоже было тогда пятнадцать лет, с длинными черными косами и большими темно-карими глазами. Я ее, конечно, давно потерял из виду и после окончания в 1925 году школы-семилетки до встречи здесь больше не встречал. Из разговоров коллег по работе я узнал, что с ними в одном бараке живет и работает в картонажном цехе переплетчицей женщина по фамилии Рубинштейн, но зовут ее Женей. Поскольку мою одноклассницу звали Гитой (это Генриетта), я решил, что это просто однофамилица. Но когда однажды к нам в мастерскую вошла молодая и очень прилично одетая женщина, ее лицо показалось мне знакомым. Услышав ее фамилию, я сразу понял, что Женя и есть та самая Гита, с которой я учился. Подойти к ней я из-за своего

---

* Незаконнорожденный *(евр.)*.

** Крещеный еврей *(евр.)* — самое страшное обвинение.

*** Рубинштейн Генриэтта Михайловна (1911—?), арестована в апреле 1939; в марте 1947 сослана в поселок Ягодный Магаданской области.

тряпья постеснялся. К концу работы я все же попросил Ольгу Яковлевну Лоренц узнать у Жени, не училась ли она в Москве в 33-й школе БОНО и не помнит ли Леву Хургеса?

На следующее утро в нашу мастерскую вбежала Женя с большим пакетом в руках. В нем были хлеб, кусочек сала, немного сахара и прочие лагерные деликатесы. Увидев меня, она расплакалась. «Неужели это ты, Лева? — говорила она сквозь слезы. — Что они с тобой сделали! Вот где довелось встретиться!» Сели мы с ней в сторонку, и насколько это можно было, ведь кругом были не только зэки, но и вольное начальство, стали друг другу рассказывать перипетии своей судьбы и как мы дошли до жизни такой.

Оказалось, что после школы Женя окончила в Москве Текстильный институт и вышла замуж за младшего сына Троцкого — Сергея Седова. У них родилась дочь Юля. До 1937 года они жили обычной жизнью советских тружеников. Отец Жени был крупным специалистом по металлургии и по мере возможности помогал своей единственной дочери. В конце 1936 года Сергея арестовали, а через некоторое время забрали и Женю. Девочка осталась у родителей Жени. Получила Женя, как и я, статью КРТД и восемь лет, но не тюремного заключения, а общих лагерей. Попала она сразу же на Колыму, быстро «дошла», на каком-то прииске была актирована и уже несколько лет жила здесь, на «23-м километре». Устроилась она, по-лагерному, неплохо.

5

С момента выезда из Новочеркасской тюрьмы у меня прекратилась всякая связь с домом. В наши тюремные зоны на Мальдяке и Ленковом письма почти не приходили, и от нас их тоже не принимали, да и писать было нечем и не на чем, не говоря уже о том, что ничего хорошего мы домой написать не могли.

В отличие от наших старых (Мальдяк, Ленковый) тюремных зон, здесь, на «23-м километре», старожилы уже давно

успели наладить контакты с родными. Женя Рубинштейн со своими связями имела надежную переписку с домом и сумела через своих родных передать моим мой адрес. И вот, наконец, я получил первое долгожданное письмо от матери, а всего за время пребывания на «23-м километре» я получил три или четыре письма.

И вот вызывают меня однажды на нашу лагерную почту. «Откуда ждете посылку?» — спрашивает почтарь. Я назвал адреса и фамилии всех, откуда мог бы получить посылку. «Нет, нет, — отвечает почтарь, а раз уж вызвали, значит посылка есть наверняка, тем более что фамилия моя очень редкая и однофамильцев быть не может, но порядок есть порядок, да и поиздеваться-то над зэком полагается. — Иди, подумай. Может, вспомнишь, откуда еще могут тебе прислать. Не вспомнишь — пошлю обратно», — сказал почтарь.

На другой день я назвал ему еще несколько возможных адресов, но опять не то. Дня три он так измывался надо мной, пока не проговорился: «Из Минска, от Рикуса не ждешь посылки?» Я вспомнил, что отца моей тетки звали Борис Романович Рикус и жил он в Минске. Только после этого мне вручили посылку, пересыпав ее содержимое из ящичка в мешок (почему-то ящики от посылок зэкам выдавать не разрешалось). Позже я узнал, что из Москвы и Московской области посылок в архипелаг ГУЛАГ не принималось, а до Минска этот запрет в те времена еще не дошел. Вот моя мама, по договоренности с тетушкой, и организовала эту посылку из Минска. Это была единственная посылка, которую я получил за девять с половиной лет своего крестного пути. Видимо, запрет вскоре докатился и до Минска.

В посылке оказалось два больших, килограмма по два-три, шара масла, несколько плиток шоколада и еще что-то очень вкусное. Вечером мы с друзьями устроили небольшой курбан-байрам. Съели почти все, оставлять что-либо съестное в бараке было бесполезно, все равно украдут, а таких камер хранения, какие Солженицын описывает в «Одном дне Ивана Денисовича», у нас в лагере и в помине не было.

Утром я понес гостинцы из своей посылки Давиду Оскаровичу Львовичу, Доротее Августовне и Жене Рубинштейн. Женя долго отказывалась, но когда я пригрозил ей перестать брать у нее что бы то ни было, согласилась взять. А Доротея Августовна, не получавшая ниоткуда ни писем, ни посылок и жившая, как и я, на пайке, откусив кусочек шоколада, расплакалась.

...В нашем бараке и мастерских лагеря было довольно много интересных людей. Был среди них и бывший директор Свердловского дома писателей — Иван Михайлович Новокшонов*. Он знал наизусть массу стихов, в том числе и знаменитую поэму Баркова «Лука Мудищев»**, отрывками из которой в трудные минуты поднимал упавшее настроение соседей по нарам. Знали мы еще, что в Гражданскую войну он партизанил в Сибири, но он никогда особенно на эту тему не распространялся. И вот уже много лет спустя после моего освобождения прочел я очерк в одном из старых номеров журнала «Вокруг света» о пленении и аресте адмирала Колчака. В очерке описывалось, что поезд, в котором ехал Колчак, захватил партизанский отряд под командованием Ивана Новокшонова. Именно нашему-то милейшему Ивану Михайловичу Колчак сдал свое личное оружие, и именно Новокшонов доставил Колчака в Иркутск***.

В нашей мастерской работала отдельная бригада по изготовлению игрушек. Бригадиром был некто Валерьян Федорович Переверзев****, лет шестидесяти с лишним, на глазу

---

* Новокшонов Иван Михайлович (1895—1943), бывший чекист и исполнитель приговоров. Печатался с 1924 года, автор художественной прозы (рассказы, повести, пьесы) о Гражданской войне, в т. ч. сценария фильма В. Пудовкина «Потомок Чингисхана». Репрессирован, погиб в заключении.

** Анонимная поэма второй половины XIX века, стилизованная под непристойные стихи И. Баркова и поэтому часто ему приписываемая.

*** Эти сведения не соответствуют действительности: Колчак был передан чехами Иркутскому политцентру, а тот, в свою очередь, передал адмирала большевикам. Никакие партизаны Колчака не захватывали.

****Переверзев Валерьян Федорович (1882—1968), не философ, а литературовед и педагог, автор книг о Ф. М. Достоевском.

бельмо. До ареста он считался одним из ведущих русских философов, и в нашей философской науке даже бытовал термин «переверзовщина» (в ругательном смысле). Не знаю, какие аргументы выдвигала казенная философия против Переверзева, но Колыма явилась самым мощным аргументом в борьбе с «переверзовщиной». Как и Ксения Михайловна, Валерьян Федорович уже давно подлежал актированию и освобождению из лагеря по старости, но, по-видимому, их преступления перед Джугашвили были настолько тяжелы, что обычный закон на них не распространялся. Оба они умерли здесь, на «23-м километре».

Очень колоритной фигурой был художник Иван Афанасьевич Шведов: круглый год он ходил по лагерю в совершенно изодранных, даже по колымским понятиям, телогрейке, ватных брюках и шапке. На шее у него на длинном шнурке всегда висел большой кисет с махоркой, из которого он охотно угощал любого попросившего закурить. Шведов был очень талантливым художником-миниатюристом, и его картинки, не всегда пристойного содержания, написанные на дощечках маслом или эмалью, пользовались среди лагерной аристократии и вольняшек большим успехом, что и давало очень скромному в быту художнику возможность всегда иметь открытый для всех кисет с махоркой и ходить с более-менее полным желудком. По происхождению он был из очень богатой семьи. Отец — Афанасий Шведов — крупный казанский фабрикант и миллионер: шведовские мыло и спички пользовались большим спросом не только в России, но и за рубежом. Отец, надо полагать, был не в восторге от своего единственного и непутевого сына. Вместо того, чтобы продолжать отцовское дело и приумножать его миллионы, Ваня с детства увлекся живописью. Поняв, что коммерсанта из Ивана не получится, отец не стал ограничивать его в средствах на ученье за границей. Шведов получил художественное образование во Франции и Италии, а потом, заболев легкими, переехал, по советам врачей, в Каир, где тогда был сухой и ровный климат, считавшийся очень полезным для легочников.

После революции Шведов вернулся в Россию. Отец не выдержал краха своих миллионов и вскоре умер. А Иван Афанасьевич не очень расстраивался по поводу своего разорения: он стал работать художником, преимущественно по разным «шабашным» артелям. Взяли его еще с середины 1935 года. За что? — он и сам толком не знал: одно слово «бывший», да и по заграницам поездил. Исчез он с «23-го километра» еще до войны. То ли умер (у нас это происходило незаметно), то ли его куда-то перевели, но Шведов остался в моей памяти очень добрым, интеллигентным человеком, приятным собеседником.

6

Они уже давно находилась на «23-м километре» — большая группа сектантов, мужчин и женщин, которых все называли «крестиками». До ареста они жили где-то очень далеко, на Северном Урале, совершенно обособленно, и по существу, вели натуральное хозяйство. Они не имели никаких документов, не признавали никаких властей, и вообще никого, кроме друг друга, не признавали. Всякие попытки вступить с ними в какой-то контакт неизменно кончались неудачей. Остановишь крестика и спросишь, как его зовут — молчит. Начнешь ему что-либо говорить, он внимательно, не перебивая, выслушает, а когда ты замолчишь, то перекрестит тебя и скажет: «Спаси тебя Бог!», после чего повернется и уйдет. Вот и вся беседа.

Между собой крестики очень часто и долго о чем-то оживленно беседовали, но стоит только подойти к их группе постороннему человеку, как все моментально замолкают и, перекрестив подошедшего, расходятся в разные стороны.

Согласно их поверью, человек создан для пребывания с Богом на небе в вечном блаженстве, и если человек на небе чем-нибудь прогневит Бога, то тот, в наказание, посылает его на землю мучиться и искупать свою вину. Вся земная жизнь — это наказание, и когда Бог найдет, что человек

уже искупил свой грех, то пошлет ему смерть, этим прощая человека и призывая его к себе блаженствовать на небе. Самоубийство — самый страшный грех, за это Бог сразу же посылает обратно на землю и будет держать там в земных мучениях очень долго. Наименьшим уважением у них пользовались старики: раз они живут так долго, значит очень тяжел был их грех перед Богом.

Посему самым радостным праздником у крестиков являлась смерть человека: значит, Бог простил одного из них, и он теперь, до нового согрешения, будет пребывать на небе около Него в вечном блаженстве. По такому поводу варят брагу, пекут пироги, готовят мясные блюда. С веселыми песнями, музыкой и танцами крестики провожают покойника на кладбище, и долго еще потом гуляют, радуясь за своего брата, наконец-то обретшего вечное блаженство.

И все наоборот при рождении ребенка: никаких торжеств, все сидят грустные — Бог на небе покарал еще одного грешника. Никакая власть, ни царская, ни советская, ничего сделать с крестиками не могла. Ни в какие контакты с властью они не вступали. О грамоте они и понятия не имели: подписывать — крестиками — любые бумаги они не отказывались, но внимания на содержание этих бумаг не обращали. Выдадут такому крестику паспорт или какую-либо справку, а он возьмет это осторожненько двумя пальцами, чтобы не оскверниться, перекрестит выдавшего ему документ милиционера, и, выйдя в коридор, тут же бросит на пол бесову бумагу, — вот и все. Всякие попытки брать их в армию кончались полной неудачей: крестик ничего и никого не признавал — никаких учений и никаких командиров. Классных занятий тоже, так что и заставить их учиться грамоте не могли.

Единственное, что их удавалось заставить делать, так это чистить на кухне картошку и мыть в казарме пол. К оружию никто из них, несмотря на любые наказания, даже и притрагиваться не хотел. Не помогали ни строгие гауптвахты, ни даже трибуналы: стоит крестик перед военными судьями, ни на один вопрос не отвечает, а только крестит судей и при-

говаривает: «Спаси вас Бог, не ведаете, что творите». Попробуй, суди такого! Любой приговор встречает равнодушно, а расстрел, в первое время выносились даже такие приговоры, даже с радостью. Так и перестали власти с крестиками мучиться, а просто начали их огулом ссылать в дальние лагеря, в том числе и на Колыму, а малолетних детей — в детские дома и колонии.

Никто из крестиков не имел имен или фамилий, оформляли их условно, по номерам, да и на присвоенный ему номер никогда не отзывался. Пока комендант не тронет его пальцем в грудь, из строя не выходил. Получали они самые маленькие лагерные пайки и мерли, как мухи, что у них ничего кроме радости и зависти к покойникам не вызывало. Умрет крестик — соберутся вокруг него его собратья и радостно причитают: «Блажен брат Иван, обрел царствие небесное! Когда и на нас эта Божья благодать снизойдет?» и только крестятся. Выводили их особо ретивые коменданты на общие работы: ни один из них ни к лопате, ни к кайлу, ни к лому и не притронется. Стоят кучкой, крестятся, о чем-то между собой разговаривают. Выставит зимой стрелок в назидание другим на пятидесятиградусный мороз раздетого догола крестика на пригорок, он стоит, крестится и крестит стрелка с мольбой к Богу, чтобы он его простил, пока сам не замерзнет, и упадет замертво. А когда упавший окончательно закоченеет, остальные обступят мертвеца, и опять за свое: «Блажен брат Иван...» и т. д. Таким образом, даже в колымских лагерях с ними ничего сделать не могли: убеждения — не действовали, голод и холод — тоже, смерть они почитали за высшее счастье, — ну что с такими сделаешь? Так и оставили их в покое, выдавая штрафные пайки по 300 граммов хлеба в сутки.

Надо полагать, что голодны они были куда больше любого зэка в лагере, но велика же была сила их духа: идет крестик с полученной штрафной трехсотграммовой пайкой хлеба (а ели они только вместе, в своем бараке), любой зэк к нему подойдет: крестик, дай хлеба! А крестик улыбнется и протянет просящему свой хлеб: «Ешь, раб Божий. Да спасет тебя Христос!», да еще и перекрестит.

По неписаному лагерному закону, обижать крестиков не полагалось. Среди зэков они пользовались большим уважением за свой железный характер и непризнание лагерного начальства. Не дай бог кто возьмет у крестика хлеб, свои же товарищи изобьют до полусмерти. Любые просьбы о помощи своим товарищам по несчастью крестики выполняли охотно и даже с радостью. Скажем, попросит ленивый дневальный барака: «Крестик, помой в бараке пол, чтобы мои товарищи в чистоте жили». Крестик без звука берет тряпку и моет вместо дневального пол. Даст какой-нибудь зэк крестику грязную рубаху: «Крестик, постирай мне рубаху!». Крестик выстирает, отдаст хозяину, перекрестит его: «Да спасет тебя Христос!».

Вот, оказывается, были на Руси и такие люди. Назвать их характер железным, значит еще ничего не сказать. По сравнению с ними бледнеют и боярыня Морозова, и протопоп Аввакум!

7

Был при нашей мастерской и небольшой художественный участок, выполнявший наиболее квалифицированные художественные работы. Бригадиром был Голубин, потерявший на Колыме ногу и ходивший на деревяшке. Как-то у них из-за внепланового увеличения заказов образовался затор в работе и некого было поставить на разрисовку полочек для полотенец. Обычно на такой полочке рисовался в овале какой-нибудь неприхотливый русский пейзаж. Начальство направило на помощь художникам меня: я хоть и не имел специального художественного образования, но, как остальные члены бригады, все же разрисовывал в игрушечном цехе кукол.

Выдали мне кисти, палитру, краски, открытки с образцами пейзажей, и я сел за работу. Прежде всего надо было вычертить овал: беру две булавки и нитку и по всем правилам черчения изображаю на дощечке математически ровный эллипс.

Случайно в это время около меня стоял Голубин. Когда он увидел мои манипуляции, то сразу же раскричался так,

что я подумал, что его вот-вот хватит апоплексический удар. «Вы-вы-вы художник или ремесленник?» — заикаясь от волнения и злости прошипел Голубин. «Как это может художник пользоваться линейкой, треугольником и прочей дребеденью?» — несколько успокоившись, продолжал он и, взяв карандаш, одним росчерком нарисовал на бумаге эллипс ничуть не хуже моего. «Вот так должен работать художник!» — торжественно промолвил Голубин и, окинув меня презрительным взглядом, удалился. Больше он ко мне не подходил, уверенный в том, что художника из меня не получится.

Вообще говоря, коллектив у Голубина был довольно сильный: помимо Ивана Шведова, о котором я уже писал, запомнился еще художник Васильев. Лет за сорок, коренастый, всю свою жизнь он занимался только тем, что рисовал цветы, за что и попал в заключение, наотрез отказавшись рисовать портрет одного из тогдашних вождей. Надо сказать, что в изображении цветов Васильев достиг совершенства. Нарисованные им на оштукатуренной стене барака розы так и хотелось взять в руки и понюхать, они были как живые. Свои работы заказчикам Васильев обычно сдавал так: выждав солнечный денек, он ставил на столик между двумя окнами кувшин с водой, а позади кувшина картину с нарисованными цветами (фон картины нарочно подбирал под цвет стены). Каждый вошедший в комнату с удивлением обнаруживал: зимой, в трескучий колымский мороз, на столе, в кувшине с водой, кустик цветущей сирени или цветущую розу. Это было настолько естественно, что некоторые, не поверив глазам, подходили поближе — понюхать цветы, просто не верилось, что все это нарисовано. За свои работы художники получали иногда от своих меценатов-заказчиков (преимущественно, стрелков-охранников) еще дополнительную мзду в виде хлеба, сахара, табака и прочего. Так что особенно жаловаться на жизнь им не приходилось.

Были у нас и музыканты. На «23-м километре» существовал неплохой струнный оркестр. Обычно этот оркестр в обеденное время играл в столовой, а п выступал и в клубе на ве-

черах самодеятельности. Руководителем его был известный виолончелист Конон Лазаревич Новогрудский, освобожденный от общих работ. Мы с ним часто беседовали на разные музыкальные темы. Все музыканты оркестра, кроме Новогрудского, работали в нем по совместительству: полдня они проводили на лагерных работах, в основном, в столовой, где получали свой приварок.

Однажды Конон Лазаревич предложил играть в его оркестре и мне. «На чем же?» — спросил я, ведь за всю жизнь, кроме фортепиано, я ни к какому музыкальному инструменту не притрагивался. Но Новогрудский ответил, что, если я знаю нотную грамоту, то он берется за несколько дней обучить меня игре на балалайке «прима». И действительно, ровно через неделю состоялся мой дебют в нашем клубе.

Зимой температура в клубе не отличалась от наружной, клуб не работал, но в летнее время порой давали концерты для зэков. Приходили и вольные работники лагеря, иногда с семьями: они занимали самые почетные места — первые ряды. Зэков, желающих попасть на такие концерты, было очень много, и поэтому их пускали в клуб либо по блату, либо по особым билетам, которые получали только ударники.

Звездой всех концертов и главным постановщиком всех номеров был Коля Солнцев, способный и опытный артист, остроумный и находчивый режиссер. Он обладал не очень сильным, но красивым тенором и вполне мог бы украсить собой любой областной театр музкомедии. Но на воле призванию актера Коля неизменно предпочитал планиду вора-рецидивиста. Он имел несколько судимостей, частенько сиживал по тюрьмам и лагерям и вот теперь попал на Колыму (правда, впоследствии он с Колымы как-то выбрался, и я еще раз встретил его на БАМлаге в Свободном, где он тоже кантовался по самодеятельности).

Но артистичен был Коля по-настоящему, играл всегда с душой, и просто не верилось, что такой талант мог заниматься грабежами и разбоем. Особенно мне запомнилась в постановке Солнцева утесовская «Маркиза», в которой Николай исполнял роль кучера Марселя. Женщины к участию

в самодеятельности не допускались, даже на концертах их сажали отдельно от мужчин и под неусыпным наблюдением лагерных надзирателей, поэтому роль маркизы исполнял молоденький парнишка из уркачей.

Надо сказать, что аккомпанемент нашего оркестра всегда был на высоте, и после особо бурных оваций Коля обычно выводил за руку Новогрудского и театрально благодарил его. Такие концерты были в лагере большим событием и хоть на короткое время, но помогали несколько забыть все тяготы нашей жизни.

Раз в месяц около столовой, а зимой в тамбуре столовой, вывешивалась наша стенгазета на нескольких листах ватмана. Ее техническим редактором был талантливый журналист Юрочка Казарновский*, бывший работник областной газеты в Архангельске. Газету оформляли такие художники, как Шведов и Голубин. Так что по части оформления она была шедевром: броские красочные надписи, профессионально выполненные рисунки и карикатуры, — было на что посмотреть. Чего не скажешь о содержании, состоявшем в основном из полуграмотных, суконным языком написанных статей лагерного начальства. Единственным исключением и ярким пятном газеты был так называемый «Листок сатиры и юмора». Конечно, никакой критики лагерного начальства или лагерной жизни не допускалось, но Казарновский всегда что-нибудь да придумывал такое, от чего все читающие держались за животы от смеха. Особенно остроумными у него были «зарисовки с натуры», или так называемые «мысли вслух».

Из «зарисовок» мне запомнилась одна о том, как лагерный блатной жаргон входит в лексикон даже бывших священнослужителей. На рисунке были изображены двое доходяг.

---

* Казарновский Юрий Алексеевич (1904—1956), поэт, автор книги «Стихи» (М., 1936). Сидел на Соловках (см. его стихи в сборнике: Моря соединим! Стихи и песни на Беломорстрое. Медвежья Гора: Издание культурно-воспитательного отдела Беломорско-Балтийского ОГПУ, 1932) и на Колыме. Находился в пересыльном лагере под Владивостоком одновременно с О. Э. Мандельштамом, о чем рассказывал Н. Я. Мандельштам в Ташкенте в 1943 году.

Один, поднеся к лицу другого руку с назидательно поднятым указательным пальцем, что-то ему объясняет. Надпись же под рисунком гласит: «Бывший поп поясняет богобоязненному старичку притчу из священного писания: “И вот тут-то апостол Павел зело фраернулся”».

А вот из «мыслей вслух»: «Странно? Уже второй месяц лагстаростой, а все еще в старых сапогах ходит!», или «Уже месяц поваром, а все еще не Жора!» Таких хохм в каждом номере стенгазеты было немало, и «Листок сатиры и юмора» пользовался неизменным успехом как среди зэков, так и среди начальства.

Наш начальник лагеря — Бондарев — несмотря на свою русскую фамилию, был «щирым хохлом». И когда он узнал, что в лагерь попал настоящий профессиональный бандурист, лет около шестидесяти, почти слепой на оба глаза, то загорелся желанием послушать в его исполнении старинные украинские песни. Но бандурист заявил, что петь он будет только под свою бандуру. И вот, каким уж образом не знаю, но связались с его родными на Украине, и бандуру все же в лагерь доставили. И бандурист стал частым солистом в столовой. Пел он хоть и слабым, надтреснутым голосом, но очень задушевно, и когда исполнял «Кармелюка», а особенно место: «Маю жинку, маю диток, но я их не бачу, як сгадаю за их долю, так гирко заплачу», — у многих на глазах стояли слезы.

Бондарев часто забирал бандуриста из лагеря как к себе домой, так и в Магадан. И, как ни жаль ему было расставаться с такой игрушкой, но через несколько месяцев бандуриста, сидевшего по какой-то неполитической статье, актировали по инвалидности и старости и, освободив, отправили домой.

Общепризнанным фюрером преступного мира нашего лагеря был Садык Гарипович Шерипов, профессиональный вор и астраханский татарин. Перед ним заискивали стрелки охраны и коменданты, да и сам Бондарев при встрече с Шериповым здоровался первым. Все они прекрасно знали, что слово Шерипова кое-что значит не только в лагере, но и в Магадане, где на поселении проживали многие его дружки-уголовники.

В погожие летние дни вечерние поверки обычно устраивались на плацу. Все зэки, поротно, выстраивались по его периметру. Строй обходил дежурный комендант с лагерным, из зэков-бытовиков, старостой и проверял наличие по спискам. После поверки зачитывались приказы по лагерю. Обычно они касались бытовиков-«женатиков»: поймают женщину в мужском бараке, или, наоборот, — мужчину в женском, запишут, а вечером по плацу приказ: «Заключенную Иванову за незаконное (как будто бы в лагере может быть что-либо законное!) сожительство с мужчинами водворить в ШИЗО сроком на десять суток». Раз она пришла к нему, ей дают десять суток, а ему — пять, а если бы он пришел к ней, то десять суток дали бы ему, а ей пять. И вот наберут пар пять-шесть, построят их посреди плаца парами, и раздается команда: «Женатики — под ручки! В ШИЗО — шагом марш!». Оркестр Новогрудского играет бравурный марш, а «женатики», взявшись под руки, шествуют в сторону ШИЗО, отдыхать на трехста граммах хлеба в сутки.

Бывали в лагере и такие развлечения. Многие, особенно из молодых, «контрики» завидовали «женатикам», работавшим, как правило, на блатных должностях (повара, пекаря, хлеборезы и пр.): они могли не только сами хорошо питаться, но и подкармливать своих «жен» — профессиональных проституток, не стеснявшихся проделывать все, что надо, на глазах у всего мужского барака. Мы же, контрики, питались так, что еле-еле ноги таскали. Тут уж не до любовных похождений, вот и приходилось нам на этих поверках только облизываться.

8

Но время шло, дни становились короче, а ночи длиннее и холодней. Мудрая пословица «Готовь сани летом, а телегу зимой» для ГУЛАГа явно не подходила: сани готовили именно зимой. В теплые длинные летние дни о топливе для лагеря никто и не думал, и только когда ударили морозы, начались ударники в тайгу за дровами. Поскольку заготовка

дров считалась работой не производственной, а лагерной, то и проводили ее в редкие выходные дни. Мероприятие это называлось «ударником». Дрова, баланы, напиленные заранее, находились на вершине сопки и чуть ниже, на расстоянии четырех-пяти километров от лагеря. И вот как-то, уж не помню, то ли осенью 1940 года, то ли ранней весной 1941 года погнали нас в выходной день на сопку за дровами. На ударник выгоняли всех, кто мог самостоятельно двигаться: мол, работа лагерная, как бы для себя.

Обычно все разбивались на пары, и каждая, добравшись до вершины сопки, получала по балану, который она и должны была доставить в лагерь. Моим напарником оказался бывший помощник командующего Особым Белорусским военным округом — комкор, по-нынешнему генерал-полковник, Иван Иванович Сычев. Взятому в конце 1938 года Сычеву дали двадцать лет тюремного заключения.

К зиме 1940 года наступил самый разгар альянса между СССР и Германией. Все так редко нам попадавшиеся газеты были полны отчетов о взаимных поездках дипломатов: Молотов жал руку Гитлеру и обнимался с Рибентроппом, гитлеровцы клялись нам в вечной дружбе. Все мы, убежденные антифашисты, совсем упали духом, понимая, что эта «дружба» ничего хорошего нам не сулит. Особо угнетенное настроение было у нас со Львовичем, ведь мы первыми в Испании вступили с фашистами в открытый бой.

Вдруг из прессы совершенно исчезла всякая критика в адрес фашистов, но усилилась кампания против англо-франко-американских империалистов. Наши успехи в войне с белофиннами были не ахти какие, и речь шла об активной помощи Финляндии со стороны Англии и Франции. Иные органы печати дошли даже до апологии немцев и немецкого духа. Особенно запомнилась мне повесть «Поход "Адмирала Шпее"» в журнале «Новый мир» где-то в середине второй половины 1940 года*. (В том же номере была напечатана поэма Э. Багрицкого «Дума

* Неточность. В «Новом мире» за 1940 год такой публикации не было. Имеется в виду следующая публикация: *Вебер Ю.* Поход адмирала Шпее. Историческая повесть // Знамя. 1940. № 6—7. С. 153—195.

про Опанаса», которая на меня произвела такое впечатление, что я ее выучил наизусть и помню до сих пор*.)

В повести описывался поход немецкого крейсера в период Первой мировой войны. Крейсером командовал адмирал фон Шпее. В бою у мыса Коронель близ чилийского порта Вальпарайсо разгромил превосходящий его по силе отряд английских кораблей. Кончалась повесть в 40-е годы, когда адмирала уже не было в живых, а его именем фашисты назвали один из своих линейных крейсеров. В начале войны крейсер «Адмирал граф Шпее», который, кстати, участвовал и в блокаде испанских берегов в 1938—1939 годах, оказался у берегов Уругвая, в Южной Америке, вблизи столицы Монтевидео. Тут уж англичане взяли реванш за бой у мыса Коронель и в завязавшемся бою сильно потрепали корабль. Капитан дал команду спустить шлюпки, на которых вся команда отправилась в нейтральный Монтевидео, где и была интернирована. На борту гибнущего крейсера остались только капитан и гитлеровский комиссар. Они по радио связались с Берлином и сообщили о всем происшедшем. Получив от Гитлера последний привет и заверения, что их подвиг не будет забыт, командир и комиссар открыли кингстоны и, не сдав корабля англичанам и не спустив фашистского флага, пошли ко дну.

Вся эта история вместе с последним напутствием самого Гитлера и была изложена в «Новом мире» так, что аж слеза прошибала при чтении. До чего же благородными людьми и честнейшими патриотами Германии были гитлеровские капитан и комиссар: команду спасли, а сами, не пожелав даже интернироваться, погибли. И это менее чем за год до начала Великой Отечественной войны и в нашем ведущем толстом журнале!..

Вернусь к своему повествованию. В погожий выходной денек осени или начала зимы 1940 года отправились мы

---

* Неточность. В № 6—7 «Знамени» произведений Э. Багрицкого нет. Поэма «Дума про Опанаса» была написана в 1926 году и опубликована вскоре после этого. В № 10 «Нового мира» опубликовано «Стихотворение об Эдуарде Багрицком» Н. Асанова (с. 29).

с Сычевым за дровами на сопку. Доплелись мы кое-как до лесоповала (километров, наверное, пять), где нарядчики дали нам на двоих средних размеров балан. Я за комель, Сычев за вершинку, поперли мы его вниз, изредка останавливаясь, чтобы сменить плечо. По трассе были расставлены посты стрелков, на которых сидели греющиеся около костериков охранники. У одного из таких постов мы сделали остановку. Бросили балан на землю и уселись передохнуть.

Сычев достал из кармана махорку, но бумаги у него не было. Раздобрившийся стрелок оторвал ему почти полгазеты. Газета оказалась сравнительно свежей, если учесть, что приходили они на Колыму с опозданием в две-три недели. В ней трогательно описывался визит Молотова в Берлин*, на фотографиях — объятия Молотова с Рибентроппом; с возмущением описывалось, как во время банкета в честь Молотова англичане начали бомбить Берлин и Молотову пришлось прервать свою речь и спуститься в бомбоубежище. Прочитав газету, я протянул ее Сычеву со словами: «На, Иван Иванович, читай! Теперь мы с Гитлером друзья, а ты еще на что-то надеешься».

Сычев читал молча, иногда вздыхал и пожимал плечами. Обычно он был молчалив, замыкался в себе, но тут его прорвало: «Помяни мои слова, Лева: все это ерунда, тактическая уловка. Я, конечно, не доживу, но летом 1941 года у нас с Германией начнется война». Через два месяца Сычев умер от сердечной болезни.

А время шло своим чередом. Как-то в воскресенье начальство решило устроить так называемую генеральную поверку личных дел всех зэков. Согнали нас в клуб и начали вызывать поротно в штабной барак, где по алфавиту были разложены наши дела. Вольняшки сверяли записи с нашими ответами на их вопросы, после чего опрошенных отпускали по баракам.

Подошла и моя очередь. На вопрос о специальности я ответил: «радиоинженер». «Какой же ты радиоинженер? — удивился опрашивающий. — Ты ведь инженер-металлург».

* Визит Молотова в Берлин состоялся 12—13 ноября 1940 года.

Тут пришла моя очередь удивляться, но тем не менее в разделе «специальность» в моем деле было четко написано: «инженер-металлург». Видимо, при регистрации в Магадане, когда в бараке стоял шум и гам, регистратор в запарке спутал меня с кем-то из соседей по очереди. Теперь стало ясно, почему еще на Мальдяке меня хотели использовать «по специальности» — в кузнице.

Все мои попытки упросить регистратора изменить мою специальность на «радиоинженер» не имели успеха: что записано пером, того не вырубишь топором. Так и остался я «инженером-металлургом», но, вняв моим жалобам, старший регистратор к имеющейся специальности дописал через тире еще одну — «радиоинженер». Так и стал я в мгновение ока инженером по двум совершенно несходным специальностям!

В начале 1941 года обстановка становилась все более напряженной. Второстепенные производства (игрушки) свертывались. Все внимание было брошено на лесоповал и на начавшееся строительство железной дороги, для чего было создано специальное управление «Колымжелдорстрой». Необходимость в железной дороге была и впрямь большой: все грузы на Колыме круглый год перевозились только по автотрассе, и для обеспечения колымской трудармии требовалась целая армада машин, сжиравших невероятное количество бензина. Вместе с тем было ясно, что из-за угрозы войны завоз бензина на Колыму будет если не прекращен, то сильно урезан.

Первым делом начали переводить автотранспорт на газогенераторы, топившиеся древесными чурками, но еще более перспективным представлялся железнодорожный транспорт. Железная дорога могла бы работать на местном топливе: черт с ней, с природой, тайги пока хватит, а после нас — хоть потоп.

Но как же тогда главная колымская работа — промывка металла?! Летом, в промывочный сезон, всякие другие работы прекращались, ведь каждая пара рук на прииске была буквально на вес золота, если не дороже.

Это означало, что строительство железной дороги будет вестись в зимнее время и станет дополнительным источником изнурения зэков. И вот «Колымжелдорстрой» начал свою деятельность.

Надо сказать, что трест, хотя и функционировал довольно долго, загубив не один десяток тысяч зэков и без счету материальных ценностей, никакой пользы Колыме не принес. Проект подготовили люди, не имевшие представления об организации таких работ в условиях вечной мерзлоты. Проложили к концу зимы участок железнодорожного полотна и даже пустили по нему пробный состав: вроде бы все хорошо — и начальство получает за перевыполнение планов благодарность и премии. Но по весне все тает, и совершенно ровная зимой железная дорога начинает напоминать «американские горки» в ленинградском парке имени Кирова. Приезжает из Москвы комиссия, устанавливает грубые нарушения правил строительства железных дорог в условиях вечной мерзлоты. Наиболее ответственных строителей-зэков расстреливают по статье 58, параграф 7 (вредительство), а большому начальству из НКВД все сходит с рук. И на следующий год — все то же самое! Сколько таких «циклов» прошло, я не знаю, но на моей памяти — за три года их было два. Во всяком случае, и до сих пор железной дороги на Колыме нет.

Стали усиливать лесозаготовки и у нас на «23-м километре», для чего наши инвалиды и ЛФТ были явно непригодны. Другого мнения придерживалась медкомиссия из вольных врачей: явных дефектов нет, руки-ноги целы, передвигается самостоятельно, на ровном месте не падает, — вот тебе и СФТ, и «Марш на лесоповал!». А если ты помоложе, то милости просим и на «Колымжелдорстрой» — долбить зимой мерзлоту.

Не лучше, а то и хуже Мальдяка, поскольку производство считается не основным, а вспомогательным, отчего и кормят похуже, чем на приисках. А уж мне-то сам бог велел загреметь на железную дорогу: возраст — тридцать лет, организм здоровый, на хлебах «23-го километра» отъелся! Но тут, как говорится, несчастье помогло.

После ликвидации игрушечного цеха перевели меня в деревообделочный, резать циркульной пилой чурки для газогенераторных автомобилей. Двенадцать часов напряженной работы в непосредственной близости от бешено вращающейся пилы. Малейшая неосмотрительность — и остаешься без руки: таких случаев у нас было больше десятка. Но все же это была еще сравнительно безопасно: попасть под пилу можно было только по собственной неосторожности, хотя за двенадцать часов работы и на таких харчах не так уж и трудно стать неосторожным.

Страшнее была обработка на фуговочном станке клееных сидений для табуреток. Их надо было пропускать через устройство, которое будто специально конструировалось для того, чтобы калечить людей. Гладкий железный стол, разрезанный посередине, и в этом вырезе с бешеной скоростью вращается цилиндрическая многоножевая фреза, выступающая на два-три миллиметра выше уровня стола. Обрабатываемую доску, крепко прижимая ее к столу рукой, медленно проводят вдоль стола — мимо фрезы. Во время прохода доски над выступающей за уровень стола фрезой она срезает неровности доски.

Фугование сплошной и широкой доски особой опасности не представляло, но положение резко менялось, когда фуговать нужно было склеенные в торец сиденья для табуреток. Малейший сучок — и под фрезой сиденье расклеивается, составляющие его дощечки разлетаются в стороны, а рука (хорошо если одна, а иногда приходилось прижимать фугуемый предмет и обеими руками) попадает в фрезу, а та мгновенно превращает кисть в кровоточащее сочленение кусков мяса и обломков костей.

Такое несчастье как раз и случилось со мной. На одиннадцатом часу смены, сохранив руки от зубьев циркулярки, я во время фугования сидений для табуреток не разглядел то ли большого сучка, то ли плохой склейки дощечек. Отделался я сравнительно легко: мизинец правой руки повис на коже, хряще и жилах, а в безымянном и указательном пальцах были переломаны крайние фаланги. Спасибо фельдшеру: он не стал, против обыкновения, хватать мой мизинец кусач-

ками, а привязал его на лубке к остальным пальцам. Так все и зажило, как на собаке: мизинец остался хоть и гибким, как резиновый прут, но целым!

Со временем после некоторой тренировки я даже на рояле мог играть: правда, октаву с налету брать уже не мог. Все же лучше, чем совсем без пальца.

Через две недели меня выписали на работу. Ни одного дня в больнице: с пустяками туда не брали! Хоть рука и покалечена, но зато медкомиссии мне уже не страшны: я прочно перешел в категорию ЛФТ, и ни на прииск, ни на железку меня теперь уже точно не пошлют. И на том спасибо.

9

Передо мной заново встала проблема трудоустройства: возвращаться обратно к циркульной пиле и страшному фуганку не хотелось. Тут помогла Женя Рубинштейн: наши лагерные электрики Филиппов и Прокоп взяли меня, благодаря ее хлопотам, на электростанцию. Сперва я был электромонтером по чистке и ремонту моторов в деревообделочном цехе, а затем и линейным монтером по лагерю. Когда я втянулся в нелегкую для меня поначалу работу электрика и получил некоторые профессиональные навыки, Филиппов с Прокопом перестали на меня ворчать.

Но время шло неумолимо. Настал недоброй памяти 1941 год, год тяжелейших испытаний для нашей Родины, но в его начале все у нас было спокойно.

Наступила весна, и я отпраздновал истечение половины моего срока — четыре года заключения. Но и здесь у НКВД не обошлось без жульничества: сняли меня с поезда Феодосия—Москва и водворили в камеру тюрьмы в Симферополе 7 мая 1937 года, а срок заключения почему-то стали считать только с 31 мая! Но разве идут эти двадцать четыре лишних дня в сравнение с восемью годами сталинской благодарности?

Как раз в день своего «юбилея» я нарвался на начальника режима капитана Макарова. Не знаю уж, чем я ему в этот

день не понравился, но он по-трезвости сунул мне трое суток ШИЗО. Правда, уже стояло лето, и в ШИЗО сидело много народу: это наказание не могло идти ни в какое сравнение с ямой мальдякского РУРа, но все же 300 граммов хлеба в сутки, да еще безвинно, удовольствие не из приятных.

На вторые сутки сидения часа в два ночи гремит засов, и в камеру вваливается вдребезги пьяный Макаров: «Здорово, хлопцы! Ну что, уши не опухли?»*. Достает из кармана пачку «Казбека», и пачка тут же пустеет. Растерянно и укоризненно глядя на пачку, ругается: «Свиньи, все расхватали, а начальнику уже и курить нечего!».

Тут же один сует ему скрученную цигарку из махорки, а другой тянется с зажженной спичкой. Раскурив цигарку, Макаров не может сдержаться от сетования: «И вы еще обижаетесь на начальника режима? Плох Макаров? А у самих и в ШИЗО табачок имеется, и неплохой», — замечает он, затягиваясь. После чего начинаются суд и расправа. Трезвый или с похмелья, Макаров бывал зол как тигр (и тут ему лучше на глаза не попадаться, это я уже испытал на себе). А как выпьет прилично (не менее пол-литры), то сразу обнаруживается его ангельский характер: ввалится ночью в ШИЗО — и давай амнистировать своих клиентов. Это происходило примерно так: память у Макарова была дикая, всех более-менее заметных зэков он знал в лицо. «А, Петька! — обращается он к повару Петру, посаженному на пять суток за незаконное сожительство с женщинами. — Сидишь уже трое суток, ну и хватит, завтра выйдешь. А баба твоя пусть досиживает свои десять суток, нечего по мужским баракам шляться». Тут к Макарову обращается кто-либо из картежников: «А как же я, Федор Петрович? (Пьяный Макаров не только допускал, но и любил такое штатское к нему обращение.) Ведь уже седьмые сутки на трехстах граммах!» Макаров глянет на него: «Ишь, чего захотел? Мало что своих обыгрываешь, шулер, так вздумал еще и вольных дурачить? Нет, досиживай до конца». Увидел вдруг меня: «А, монтер! Ты еще здесь? Не попадайся больше, засранец, под горячую руку. Хрен с тобой, завтра выйдешь».

---

* От лагерной поговорки: «Нет курева — уши пухнут».

Вот таким экспрессом свершив и суд, и расправу, Макаров удалялся. И, надо сказать, пьяный-пьяный, а ничего не забывал. Кому обещал, тех на утро освобождали.

Ни газет, ни радио в лагере не полагалось, и вести с воли мы получали с большим опозданием. Все более-менее свежие новости могли узнавать только зэки, общавшиеся с вольняшками, но те с нашим братом обычно держали язык за зубами.

Был у меня здесь один дружок — Вася Малюгин, из наших тюремщиков. В середине июня 1941 года он погорел ни за что ни про что: ночью зэки из бытовиков обокрали лагерный продуктовый ларек. Такое ЧП начальство, конечно, не могло оставить безнаказанным. Вызвали розыскных собак. Когда зэков из нашего барака, стоявшего поблизости от ларька, проводили мимо собачек, те, спокойно пропустив всех остальных, набросились на Васю. Это была уже серьезная улика.

Васю сразу же забрали и начали допрашивать с пристрастием. Оказалось, что собачки не ошиблись: в ночь кражи ленивый Вася, не дойдя до туалета, справил малую нужду у стенки ларька за несколько часов до кражи. Естественно, собаки сразу же кинулись на него. Никакие методы допроса не помогали: в краже Вася не признавался. Но украдено было много, и бесследно пропасть в лагере продукты не могли, тем более что вынести их за зону не было ни времени, ни возможности. Самый тщательный шмон никаких результатов не дал. Украденное все не находилось, а Васю по-прежнему держали в ШИЗО и допрашивали. Только через несколько дней часть продуктов обнаружили у рецидивистов-уголовников, вскоре поймали и воров. Вася же отсидел в ШИЗО суток пять и вышел оттуда весь в синяках и с кровоподтеками на лице.

КОЛЫМА: КОМАНДИРОВКА «72-Й КИЛОМЕТР»

Начало войны и перемены в лагере: расстрел за отказ работать и конец урочьей лафы. — Колыма и Япония. — Эвакуация на «72-й километр»: стеклозавод. — Нормировщик В. Веревкин и искусство рисования туфты. — Лаптежный цех. — Беглецы с Колымы. — Тифозный карантин. — Разговор с начальником лагеря. — Клин. — Чаепитие у опера. — ШИЗО и постановление под дощечкой. — Бегство из ШИЗО в карантинный барак. — Бригадир Владик: «Живи, Лева!». — Конец карантина в январе 1942 года. — Снова лаптежный цех: доходяга. — Электрик на стекольном заводе. — «Исправишь — накормлю от пуза!» — Вохровцы и женская проблема.

1

В пригожий и проклятый день 22 июня 1941 года, ничего не подозревая, иду я по лагерю и встречаю Васю. Не оценив его сумрачный и растерянный вид и пребывая в хорошем настроении, я шутя шлепнул Васю пониже спины. Он обернулся и как-то странно произнес: «Что, разве мало, что нас немцы бьют, так еще и евреи взялись?» — «Что? — удивился я. — Какие немцы?» — «А ты разве не знаешь? — недоуменно спросил Вася. — Ведь сегодня началась война с Германией!» Я прямо присел: «Вот, прав был покойник Сычев, а не успокоительное заявление ТАСС, напечатанное несколько дней назад во всех газетах».

Вскоре о начавшейся войне знал уже весь лагерь. И, хотя находились в нем преимущественно «враги народа», довольных или ухмыляющихся лиц не было. Все были единодушны в своем негодовании по поводу вероломства фашистов и надеялись, что это им так не пройдет, и что самое позднее к осени наши будут в Берлине. Но пока вести были неутешительными: наши отступали, оставляя один город за другим. Некоторое успокоение внес распущенный кем-то слух о том, что через несколько дней после начала войны наша авиация

нанесла массированный удар по Берлину и этот удар был такой силы, что весь город лежит в развалинах, после чего Гитлер, свалив вину за развязывание войны на своих не в меру ретивых генералов, поснимал их с постов и большую часть расстрелял и что сейчас Германия через Турцию принесла нам извинения и просит мира. Конечно никакого официального подтверждения этой версии не было, но нам так хотелось в нее верить, что все разговоры крутились вокруг этой бомбежки. Но, увы, каждый день наши войска оставляли все новые и новые города.

Тень войны нависла и над нашим лагерем: резко ужесточились меры борьбы со злостными отказчиками от работы. Если раньше за такой отказ водворяли в ШИЗО сроком до пяти суток, то теперь за это уже судил трибунал НКВД по статье 58, параграф 14 (контрреволюционный саботаж) и, как правило, приговор был один — расстрел. Каждый день на вечерних поверках стали зачитываться длиннющие приказы со списками зэков, расстрелянных за контрреволюционный саботаж: то были преимущественно уголовники-рецидивисты, что легко угадывалось по фамилиям: Иванов, он же Петров, он же Сидоров и т. д. Сладкая жизнь бытовиков-уркачей кончилась. Уж теперь не полежишь днем в бараке, коротая время за картишками. Не вышел на работу — статья 58, параграф 14, и к стенке.

Руководство лагерей сразу же повело беспощадную борьбу с главарями преступного мира, и даже наш Садык Шерипов, почуявший, что ветер дует не в его паруса, организовал ударную бригаду из здоровенных лбов — уголовников, которая под его руководством тут же начала показывать образцы высокой производительности труда.

Вообще говоря, наше положение на Колыме с началом войны стало весьма неопределенным, ведь совершенно неясна была позиция Японии. С военной точки зрения Колыма была совершенно беззащитна, и чтобы полностью овладеть ею, было достаточно нескольких японских дивизий. А ведь кусочек для японцев весьма лакомый: тут и грандиозные

запасы золота, на которое они могли бы приобрести в нейтральных странах все, что им нужно для ведения большой войны, и громадное количество обиженных коммунистами людей, из которых запросто можно было организовать послушную администрацию, и множество кадровых военных, готовых, по логике японцев, помочь им в формировании войск для борьбы с Советами и т. д.

Все это, бесспорно, не могло не учитывать японское руководство при разработке планов нападения на СССР. В этом случае зэкам ничего хорошего ждать не приходилось. Никто не мог рассчитывать на то, что, если Колыму займут японцы, нас им беспрепятственно передадут. Так как морской путь эвакуации будет сразу же отрезан, а по суше здесь далеко не уйдешь, то подавляющее большинство зэков, и в первую очередь контрики, будут уничтожены, потому что доверить им оружие для борьбы с японцами начальство не решится, да и оружия-то на всех зэков не хватит.

К счастью, японцы никаких агрессивных намерений не выказывали. Наши же почти сразу после 22 июня начали принимать некоторые превентивные меры: первым делом из лагеря вывезли куда-то всех крупных военных. По слухам, их отправляли на материк для дальнейшего использования в действующей армии (во всяком случае, сами они этого хотели бы). Но потом выяснилось, что их просто перевели в особо режимный лагерь для бывших военных в глубь колымской территории, подальше от моря, откуда всегда можно было ожидать нападения японцев. Распрощался я и с милейшим Давидом Оскаровичем Львовичем, и с бывшим командиром Винницкой дивизии — Тищенко, и со многими другими.

Вскоре начали к нам поступать недобрые весточки от родных из дома: все были очень удивлены, узнав о начале эвакуации населения, учреждений и предприятий, даже из столь пока далекой от фронта Москвы. В конце июля Женя Рубинштейн получила телеграмму о том, что ее отца, одного из ведущих специалистов «Главспецстали», эвакуируют на восток. Это было для нас как гром с ясного неба: неужели

через месяц войны даже Москва находится в таком положении, что приходится ее эвакуировать? Вскоре каким-то чудом (а за все время пребывания на Колыме я не получил ни одного письма!) получил телеграмму и я: о том, что моя семья также эвакуирована из Москвы — в поселок Сулея Башкирской АССР*.

2

Но тень войны сгущалась и над нами: через некоторое время мы узнали, что наш лагерь «23-й километр», ввиду близости от моря, ликвидируется. Начальство решило разместить здесь военный городок, а зэков эвакуировать вглубь территории. После надлежащей медкомиссии всех нас переведут: тех, кто поздоровей и без явных признаков инвалидности — на отдаленные прииски, остальных — совсем слабых и калек — на 72-й километр от Магадана, где строится стекольный завод.

И вот началась постепенная эвакуация уже хорошо нами обжитого лагеря на «23-м километре». Почти каждый день на одной или двух автомашинах ЗИС-5 небольшие, по двадцать пять — пятьдесят человек, партии зэков отправлялись к подножию горы Дунькин пуп**, или на «72-й километр». Первыми увезли наиболее крепких, способных хоть как-то валить лес и строить временные бараки для зэков и дома для лагерной охраны и администрации. Поскольку я обслуживал электростанцию и электромоторы деревообделочного цеха, занимающегося теперь изготовлением чурок для газогенераторных автомобилей (их парк на Колыме теперь неизмеримо вырос), то и эвакуирован я был с одним из самых последних этапов.

На «72-м километре» к этому времени уже было построено довольно большое количество бараков для зэков, ого-

* В настоящее время в Челябинской области.
** Подлинное название, фигурирующее на географических картах Колымы.

роженных двойным рядом заборов с колючей проволокой и с вышками для наружной охраны по углам, а также городок для вольных. На первых порах здесь моя специальность оказалась лишней — моторов в лагере не было, а линейных монтеров там уже набрали.

На «72-м километре» полным ходом шло строительство небольшого стеклозавода. Никакого стекла этот завод варить не мог, он мог только переплавлять на новое стекло стеклянный бой. Ввиду срочной эвакуации почти всей промышленности и большей части населения с оккупированных фашистами территорий появилась большая нужда в оконном стекле: им нужно было снабжать оконным стеклом в первую очередь вновь запущенные на востоке предприятия и жилые поселки при них, так что здесь было уже не до Колымы. Снабжение Дальстроя этим дефицитнейшим товаром фактически прекратилось: выкручивайтесь, мол, сами, как сможете. И Колыма выкручивалась: значительная часть продуктов питания доставлялась сюда в консервированном виде, в том числе в стеклянных банках. Обратно на материк банки не возвращались, и на утильных складах их скопилось громадное количество. Их-то и должен был переплавлять в оконное стекло наш завод. Технология не была сложной: бой банок закладывался в большую, так называемую ванную печь и газом от специального газогенератора, работавшего на обычных дровах, нагревался до плавления. Затем специалисты-стеклодувы из зэков набирали на конец специальной трубки комок этой кашицы и ртом выдували так называемую «халяву»-цилиндр длиною метр-полтора и диаметром полметра. От такой «халявы» отрезали потом дно и верх, резали оставшийся цилиндр по образующей, расправляли в лист, резали эти листы на стандартные размеры и в специальной печи производили термообработку и остуживание, после чего стекло отправляли на склад, а потом потребителям.

К моему приезду строительство завода шло полным ходом, и к началу 1942 года его должны были запустить. Руководил всей стройкой опытный строитель стекольных за-

водов инженер Заикин, из зэков-контриков. Сначала меня направили на стройку, но поскольку своей не зажившей еще рукой я не мог работать ни ломом, ни лопатой, ни топором, то Заикин меня забраковал и пришлось мне самому подыскивать себе работу в лагере, чтобы не загреметь на лесоповал, куда брали и безруких. Перспектива находиться полдня на лютом колымском морозе, даже на легкой работе (уборка сучьев и т. п.), меня не прельщала. Пусть пайка будет поменьше, но только под крышей, а не на морозе. Рацион нам с началом войны урезали, но мы уже знали, как голодают наши семьи на воле, да и все вольное население на материке, так что нам, как говорится, сам бог велел. Совершенно исчез из нашего меню даже намек на какое-либо мясо, да и кусок соленой рыбы стал большой редкостью.

Кормили нас преимущественно «затирухой». Муку на Колыме зачастую, из-за отсутствия достаточного количества складов, хранили под водой. При этом верхний слой муки, смачиваемый водой (преимущественно морской), почти сразу же превращался в водонепроницаемую корку, а дальше мука уже была вполне пригодна к употреблению. Мешок с мукой извлекали из воды, разрезали, верхнюю корку выбрасывали, а неиспорченную муку пускали в дело. Таким образом, отпадала необходимость в постройке складов, да и мука оставалась сохранней, ведь грызуны не могли ее достать. Если до войны защитную корку просто выбрасывали, то с началом войны кому-то из начальства пришла в голову гениальная идея — варить из этой корки суп-«затируху» для зэков. Мешки очищались от корки, ее толкли, конечно, не очень тщательно, если в «затирухе» были комки (мы их называли «самородки»), для вкуса подбавляли процентов пять крупы, и варили в котлах. Что корка соленая от морской воды, ничего, зэки с голодухи все сожрут, и сжирали, да еще с каким аппетитом. Вот такую-то «затируху» нам начали давать на завтрак и на ужин, а на обед к ней добавлялась ложка овсяной или ячневой каши. Иногда, особенно первым, в миске попадалось несколько комков-«самородков» и «блестков» растительного масла, но в основном приварок был безо вся-

ких жиров. Жиры, конечно, по норме отпускались, но в настолько мизерном количестве, что их не хватало даже самим поварам и главным лагерным придуркам.

Резко снизили и рацион хлеба: выполнявшим норму на земляных работах давали по 800 граммов, строителям — каменщикам, плотникам и другим — по 600, а остальным, работающим в лагере, — по 450. Я понимал, что ни на стройке, ни на лесоповале мне не 800 или 600 граммов светит, а скорее всего общая яма. Поэтому я подыскивал себе работу полегче, пусть и за пайку в 450 граммов.

Тут меня выручил мой старый знакомый по «23-му километру», бывший наш нормировщик Вася Веревкин. Как бытовик, да еще и грамотный, он здесь заведовал так называемым тарифно-нормировочным бюро и вел учет и оплату лесоповальных и земляных работ. Грамотные люди ему были очень нужны и, несмотря на то что ему совали только бытовиков, все же он смог взять меня в свое бюро.

На первое время дал он мне для обсчета шесть бригад землекопов. Я сел за стол, обложился справочниками и взялся за работу. Как придурку, мне сразу же дали пайку в 600 граммов, и я был вполне доволен судьбой. Работа была для меня совершенно незнакомой, Веревкину со мной заниматься было некогда, и первую неделю каждый день я сидел в конторе до девяти вечера, благо там было теплее, чем в бараке.

Когда в конце недели я принес Веревкину обсчет, он схватился за голову: «Что ты наделал, засранец? — заорал он. — Ведь ты шесть наших лучших бригад посадил на штрафную пайку — триста граммов хлеба! Они же тебя убьют, когда узнают!» Я недоуменно посмотрел на Веревкина: «Василий Георгиевич, я все очень точно подсчитал по их выработке и нормам. Откуда же я возьму им выработку, если ее у них нет?» «Идиот! — заорал Веревкин. — Ведь если все считать по этим нормам, то через неделю вся Колыма, заключенная и вольная, сдохнет с голоду. У нас все держится на туфте, вспомни же знаменитую поговорку: без туфты и аммонала не построить нам канала! И неспроста туфта стоит даже впереди аммонала!» И пришлось нам вдвоем остаться на ночь

переделывать мою работу, ведь если не сдадим к утру расчеты, то шесть бригад, а это больше ста человек, получат штрафные пайки, и тогда нам несдобровать!

Стал меня Веревкин учить ремеслу. «Вот смотри, ты писал — перевозка в тачках на расстояние до 250 метров, а это норма по пять кубометров на человека. Разве могут наши люди дать такую выработку, да еще из нормы, рассчитанной на восьмичасовой рабочий день, нормально живущих и питающихся, профессиональных землекопов, а ведь наши — полукалеки, голодные, замерзшие, да и работа-то не на российском грунте, а на колымской гальке с мерзлотой. Уж тут как ни старайся, но и четверть нормы никто выполнить не сможет!» «Так как же быть? — спросил я у Веревкина. — Ведь они же действительно работают на тачках. Я был на участке и сам это видел». — «А плевать мне на тачки! — ответил Веревкин. — Ты пиши им: переноска грунта в мешках по сложному рельефу местности, а это уже норма в пять раз меньше».

И я уселся за пересчет. Через несколько часов мои бригады уже выполнили недельную норму на 280%! «Эка хватил! — почесал затылок Веревкин. — За это нас с тобой в два счета отсюда выгонят на лесоповал, если не сразу в ШИЗО. Вижу, ничего у тебя пока не получается, давай опять пересчитаем вместе, нет у тебя еще опыта».

Сели считать вместе. И тут я понял всю глубину искусства Веревкина: комбинируя перевозкой на тачках, переноской на носилках, переноской в мешках, Веревкин вывел всем моим бригадам законные 108% выработки, подвел черту под расчетами и, с удовлетворением шлепнув меня пониже спины, произнес: «Вот так-то надо работать, господин инженер! Это тебе не радио рассчитывать, здесь головой работать надо!»

Вскоре я уже мог более-менее прилично, правда не так быстро и точно, как Веревкин, но все же вполне удовлетворительно манипулировать нормами и выводить своим бригадам требуемые 106—108%. И зажил я, по тем лагерным временам, вполне прилично. В конторе тепло, бригады, ко-

торые мы обсчитывали, подбрасывали нам дровишек, потому что знали, что в случае чего Веревкин их всегда сумеет прижать. В столовую мы не ходили, а баланду в котелках нам приносил дневальный: поскольку учет продуктов питания производился также нашей конторой, то повара в наши котелки всегда наливали баланды побольше и погуще, да еще и маслица добавляли. Всегда у нас был горячий чай, заварка настоящая бывала редко, чаще поджаренная на огне корочка хлеба. Вкус, конечно, был не тот, но цвет был вполне похож на чай.

Веревкин имел дела с вольняшками, и нет-нет да и перепадал ему кусочек сахара, которым он всегда делился со мной. В общем, в ту самую трудную военную пору — осенью 1941 года — жили мы вполне прилично.

3

С самого начала войны среди зэков, преимущественно среди контриков, коммунистов и комсомольцев, обозначилась тяга на фронт. Все были полны желания хоть простыми рядовыми, хоть в штрафном батальоне, но защищать свою Родину от фашистов. Но ни от кого заявлений не принимали, как не принимали их от бытовиков и от вольняшек. Дело было в том, что с началом войны Колыма была объявлена особо важным промышленным объектом: золото по-прежнему было нужно, как воздух. Возможности пополнять естественную убыль зэков на Колыме, как это делалось в 1930-е годы, уже не было, фронт «пожирал» все людские ресурсы, вот и наложили запрет: никого с Колымы не выпускать. В виде исключения разрешили отправиться на фронт нескольким десяткам работников Дальстроя, да еще проштрафившимся стрелкам охраны трибунал заменял наказание штрафбатом, с немедленной отправкой на фронт. К слову, подавляющее большинство стрелков не очень-то горело желанием туда ехать: более всего их устраивала война с беззащитными зэками, а не с немецкими фашистами.

С ухудшением положения на фронтах ужесточился и до того не очень либеральный режим содержания зэков. Резко сократилось снабжение продуктами питания, а вещдовольствие прекратилось вовсе.

Вскоре пришел конец и моей легкой жизни. Как-то утром Веревкин пришел хмурый и, глядя мимо меня, сказал: «Ну вот, Лева, нам пора расставаться. Пришел из управления строжайший приказ: всю 58-ю статью использовать только на общих работах. Исключение в нашем лагере сделали лишь одному человеку — строителю стеклозавода Заикину, да и то временно, до конца строительства. Как я ни спорил за тебя, ничего но единственное, что я смог добиться, так это определить тебя в лаптежный цех. Если устраивает, завтра же можешь выходить туда на работу. Больше я ничего не смог». Я и сам прекрасно понимал, что Веревкин тут абсолютно не виноват. С тяжелым сердцем я отработал свой последний день в конторе и к вечеру распростился с Веревкиным.

На следующее утро я уже был в лаптежном цехе. Необходимость организации такого цеха возникла к концу лета 1941 года. С началом войны Дальстрою сильно урезали снабжение зэков валенками: содатам на фронте приходилось бесконечно труднее, чем даже нам на Колыме. Но лютые колымские морозы не шутят, надо все же во что-то обувать и зэков. И вот нашли «выход»: зэкам, вместо валенок, решили выдавать сшитые из негодных старых бушлатов и телогреек чулки — чуни, а чтобы они не так быстро рвались, поверх них надевали обычные деревенские лапти, но только сплетенные не из лыка, а из крепкой веревки, запас которой в Нагаевском порту был неограничен.

Под лаптежный цех отвели самый большой барак в лагере. Брали в него всех, если хотя бы одна рука была цела: взяли инвалида без обеих ног, моего друга по «23-му километру» Жору Капранова. Часть зэков расплетала куски толстых корабельных канатов на отдельные тонкие плети, а остальные, на специальных разборных колодках, с помощью так называемых «кочедыков» — кривых шильев с отверстием в острие, плели веревочные лапти. (Тут-то я узнал, откуда

произошла фамилия моего бывшего начальника по ГУГВФ, откуда я в конце 1936 года уехал в Испанию, — Кочедыков.) Специальные инструкторы обучали новичков азам искусства лаптеплетения.

Поставили и меня на плетение лаптей. Довольно скоро я превзошел эту технику и спустя несколько дней уже честно зарабатывал свою максимальную на этой работе пайку — 450 граммов хлеба. Работа была тяжелая, но под крышей, к тому же сидячая, так что можно было, не нарушая темпа, беседовать со своими соседями. Норма была полтора лаптя за смену (12 часов). Пальцы у меня были хорошо разработаны (сказались годы учения игре на рояле), и спустя некоторое время я стал даже перевыполнять норму, делая до двух с половиной лаптей, за что давали талон на получение дополнительного черпака «затирухи» в столовой. И опять пошли для меня настолько голодные дни, что даже мальдякская баланда вспоминалась мне как амброзия олимпийцев.

Наверное, самым трудным месяцем войны был октябрь 1941 года. Несмотря на отдаленность фронтов, мы, зэки, на Колыме чувствовали тяжесть времени очень реально: фашисты рвались к Москве, были на ее окраинах. Кто-то пустил слух, что Япония уже подготовилась к нападению на СССР с востока, и в качестве сигнала ждет падения Москвы. В этом случае оккупация Колымы будет для японцев легкой военной прогулкой, а тогда уже нам, контрикам, от нашей охраны пощады ждать нечего. Эвакуировать нас некуда, да и некогда будет, ведь находились мы всего в 72 километрах от моря, то есть в паре часов езды для танков: перед отступлением наши же стрелки ВОХРа перещелкают нас как куропаток. Все окончательно повесили нос и обреченно ждали неизбежной развязки.

С отчаяния некоторые даже пытались совершить с лесоповала побег, но это было просто самоубийство: куда убежишь без одежды и продуктов? Да и что будешь делать зимой в глухой тайге на пятидесятиградусном морозе? Несмотря на все это, люди были настолько доведены до отчаяния, что бежали. Бежали куда глаза глядят, бежали на верную смерть. Как говорили еще в 1939 году, по колымским лагерям в бегах

числилось около сорока тысяч человек*, причем на материке ни одного из беглецов не обнаружили: значит, все они предпочли погибнуть в тайге, чем пополнить собою ямы для покойников на колымских золотых приисках.

Еще на «23-м километре» рассказывали, что сидевшие вместе с нами в мальдякских тюремных бараках бандиты-рецидивисты: Афоня-Борода, Гришка-Воробей, Ванька-Колыма и Ванька-Чума впоследствии совершили групповой побег. Несмотря на то что дело было летом, и у них были не только ножи и топоры, но и взятая у убитого ими стрелка винтовка, они вскоре, не сумев найти для себя в тайге никакого пропитания, решили поедать друг друга. Кинули жребий, он пал на Гришку-Воробья. Хоть он и отчаянно сопротивлялся и даже поранил Ваньку-Чуму, но совместными усилиями его все же зарезали и съели, однако хватило им его ненадолго. Повторять жеребьевку больше никто не хотел, и несколько дней они шли по тайге совершенно обессилевшие, в ожидании того, что кто-то из них сам упадет от слабости и можно будет без драки добить его и съесть. В одиночку этого не сделаешь, сговориться тоже нельзя, вот и следили друг за другом даже ночью. У каждого ножи и топоры, но сил нападать уже не было.

В таком полубезумном состоянии их случайно обнаружил проходивший по тайге наряд стрелков. Взяли их, как говорится, голыми руками, да они, пожалуй, и сами были рады, что кончилась их таежная жизнь. Их судили трибуналом по совокупности: за побег, убийство стрелка ВОХР, людоедство и, конечно, расстреляли. Для устрашения других потенциальных беглецов был издан приказ об этом событии, в котором все подробно описывалось. Этот приказ по нескольку раз зачитывался на вечерних поверках в лагерях Дальстроя для того, чтобы все могли убедиться, что даже в теплое летнее время и такие отпетые архибандиты, имевшие оружие, и то не смогли бежать с Колымы.

---

* Цифра, безусловно, завышена, но не в разы. Так, в апреле 1934 по 10 ИТЛ ГУЛАГа было зафиксировано 5 362 бежавших. В 1938 из ГУЛАГа бежали около 30 тыс. чел. (*Тепляков А. Г.* Машина террора: ОГПУ-НКВД Сибири в 1929—1941 гг. М., 2008. С. 172).

И все же было несколько случаев, когда наши доходяги с лесоповала — с голодухи, отчаяния или страха перед неминуемой смертью в случае нападения японцев — уходили в глубь тайги. Тогда конвой, отведя остальных в лагерь, должен был вместо отдыха идти в тайгу искать беглецов и не имел права возвращаться в казарму, пока беглецов не поймают. Понятно, что ослабевшие, голодные и фактически раздетые доходяги далеко уйти не могли, и через пару часов конвоиры обнаруживали их греющимися у костра. Озверевшие стрелки в таких случаях в плен беглецов не брали, а, избив ногами и прикладами, тут же пристреливали.

И вот на другое утро, у проходной вахты, на рогожах лежало несколько трупов, с голыми посиневшими ногами и с табличками на груди «беглецы», и все выходящие за зону на работу зэки могли это лицезреть. Но для нас, лаптежников, вопрос о побеге даже не стоял на повестке дня: за зону нас не выводили, и мы уже давно примирились с мыслью, что если японцы нападут на Советский Союз, то мы покойники, отчего с душевным трепетом ловили любую весточку о боях под Москвой.

Наш цех помещался не в рубленом бараке, а в большой палатке, типа мальдякской тюремной зоны, и имел только один выход — с торца, у которого постоянно дежурил стрелок, карауливший лаптежников, чтобы они не разбегались со своих рабочих мест в лагерь. И вот однажды, в ненастную осенне-зимнюю ночь середины октября 1941 года, когда сводки о положении Москвы были особенно тревожными, я работал в ночную смену — с восьми вечера до восьми утра, вдруг около моего рабочего места примерно в полночь раздался треск разрезаемого полотна палатки, и в эту дыру сперва просунулась голова, а потом и влез сам безногий Жора Капранов. Приложив палец к губам, он подал мне знак молчать и лезть за ним, в дыру, наружу. Понимая, что Жора не будет зря ночью резать палатку и вызывать меня, я не стал подымать шум, а молча полез за ним. Сбиваясь и заикаясь, Жора рассказал мне жуткую историю: вскоре после отбоя их барак вдруг окружили вооруженные стрелки, велели

всем, не поднимая шума, быстро одеться, собрать свои вещи и выходить наружу. Около барака уже лежала большая куча ломов, лопат и кирок. Всем велели взять инструмент, затем, построив людей по пятеркам, стрелки повели их к самому дальнему краю лагеря, где строились новые бараки в ожидании пополнения. Сам Жора в момент аврала был на дворе, ходил по нужде, и спрятался около барака в ямке. Стрелки осматривали территорию не очень тщательно и потому безногого Жору не обнаружили. И вот теперь он сразу же прибежал ко мне предупредить, что, по-видимому, японцы уже вблизи Колымы и началась ликвидация лагеря.

От такой новости у меня внутри все похолодело. Ну, думаю, это конец. Деваться некуда, кругом двойные ограды из колючей проволоки, зона и все выходы из нее просвечиваются прожекторами и простреливаются пулеметами с вышек, да и за зоной не спрячешься, все равно найдут и пристрелят. А с другой стороны, со времени увода людей из барака прошло уже часа два-три, ямы для себя выкопать недолго, да и не очень-то они и нужны, если японцы уже на Колыме, то на ликвидацию лагеря охране остаются считаные часы, — им нужно и самим успеть удрать. Лагерь большой, но до сих пор не слышно ни одного выстрела, а ведь им надо ликвидировать много бараков с зэками. Странно все это! Но эти логические доводы плохо успокаивали: все-таки с какой стати людей будут ни с того ни с сего ночью поднимать, раздавать инструмент и куда-то угонять? Ответа на этот вопрос мы с Жорой найти не могли, поэтому, замерзнув снаружи, влезли через дыру обратно в цех и решили ждать. Будь что будет!

И так уже много я видал и на воле и здесь на Колыме смертей, будет и еще одна, возможно, последняя. Изменить мы все равно ничего не сможем, так уж чему быть, того не миновать. Сели мы с Жорой в уголке неподалеку от печки, тихо, как мышата, и ждем. Кочедык и веревку — в сторону, какая там работа! Через некоторое время новость распространилась по всему цеху. Все бросили работу и, собравшись в кучки, о чем-то шепчутся, поглядывая на дверь, в которую каждую минуту может войти комендант и скомандовать:

«Выходи все!» Но время идет, уже начинает сереть, а коменданта все нет. Неужели отсрочка?

Вскоре появившийся в палатке бытовик-нарядчик цеха все разъяснил: в бараке, где жил Жора Капранов, обнаружили больных сыпным тифом, и начальство, понимая, что в условиях такой скученности, антисанитарии (в бане со времен «23-го километра» еще никто не был) и плохого питания, если возникнет эпидемия сыпного тифа, да еще и зимой, то все зэки перемрут в считаные дни, за что и начальству не поздоровится. Кровно необходимый Дальстрою стекольный завод строить-то будет некому, поэтому начальство решило самыми жесткими мерами ликвидировать всякую возможность распространения эпидемии. Для этого всех людей, живших в одном бараке с заболевшими и с ними общавшихся, ночью вывели из старого барака в центре лагеря и поместили в недостроенный, крайний в лагере барак, который дополнительно обнесли изгородью из колючей проволоки, и поставили часовых, чтобы никого туда не впускать и не выпускать. Вот для окончания постройки барака и установления ограды раздали этим зэкам лопаты и прочий инструмент, да еще на новом месте яму для покойников, а их ожидалось много, копать нужно. А Москва, слава богу, стоит, фашисты хоть и близко от нее, но топчутся на месте, а японцы спокойно лупят американцев и на нас не лезут. Но ночь мы все, конечно, провели жуткую. Жора потом спрятаться нигде не смог. Наутро его сцапали, и, дав для порядку пару оплеух (все-таки безногий инвалид — жалко!), перебросили через ограду к своим, в карантин.

А карантинные порядки были тоже не сахар: 300 граммов хлеба, два раза в день баланда, вечером — каша. Хлеб перекидывают прямо через ограду на грязный снег, а баланду переливают через ту же ограду, из бака в бак. Рацион выдается только живым, которые могут выйти из барака и стать около стены для счета. Лежачим больным пищи не полагается. Никаких лекарств, кроме каких-то пилюль, переброшенных через ограду лекпомом, не имеется. Врача в бараке нет, и он туда не приходит. Вся сущность карантина — в полной

изоляции больных и подозрительных от остальных здоровых зэков. Покойников бросают в яму. Срок карантина — шесть недель. Если в течение этого срока не будет ни одного случая заболевания тифом, карантин снимается, но пока полная изоляция. Если же через некоторое время еще кто-то заболеет тифом, то карантин начинается сначала.

А у нас в лаптежке все по-старому. Вместо убывших на карантин набрали новых доходяг, карантинников ни на какие работы не выгоняли, лишь иногда особый конвой, державшийся от них, заразных, подальше, вел через особую проходную добровольцев-карантинников поздоровее в лес за дровами, а то бы они все там в бараке перемерзли: на улице и днем за тридцать градусов мороза.

4

И вот в конце октября 1941 года со мной произошел инцидент, за который я запросто мог заплатить жизнью. Настоящим чудом было то, что пуля меня тогда не нашла.

Как-то работал я в ночной смене и завтракать пошел в столовую часов в девять утра. Хлеб давали с вечера, съедал я его за один укус, даже не чувствуя и тени сытости, а потом, с музыкой в кишках, только и думал о том, когда же кончится смена и можно будет похлебать теплой «затирухи». Так вот: прихожу в столовую и получаю порцию чуть теплого супа. Работягам, приходившим завтракать чуть свет, доставалось иногда в баланде по несколько «самородков» свалявшейся ржаной муки, что-то вроде галушек, а нам, приходившим позже, когда баланду успевали уже разбавить, доставалась лишь мутная жижица, безо всякого намека на муку. Но на этот раз разбавили баланду, по-видимому, уж чересчур. Мешаю я свой суп ложкой — чистая, а вернее, грязная вода, чуть теплая, и кроме какого-то мусора ничего в ней нет.

Такая меня взяла грусть: пузо пустое — аж урчит, впереди целый длинный голодный день, какой уж тут сон, да и в бараке нашем доходяжьем топят не ахти как (зимняя

Колыма ведь не летние Сочи!), сижу, а из глаз слезы капают. И снова извечный вопрос: «За что?» И надо же было, на мою беду, именно в это время подвернуться начальнику лагеря! К сожалению, это был уже не сердобольный Бондарев с «23-го километра» (его сняли к началу войны, наверно, за либерализм), а настоящий энкэвэдэшный колымский начальник (фамилии уже не помню): морда красная, кулачища пудовые, гладкий, откормленный, идет — аж половицы трещат. А рядом Коля, заведующий столовой из бытовиков-уголовников: морда гладкая, отъелся, клоп, на нашей крови, брюки-бридж — диагоналевые (выменял, сволочь, у командира РККА за кусок хлеба, который у нас же украл!), сапоги хромовые блестят (дневальный, какой-нибудь доктор наук, надраил), рубашка шелковая — кремовая, весь с иголочки. И с ними еще двое охранников.

И дернул же меня черт попытаться качать права и обратиться к начальнику, нашел, дурак, с кем беседовать. Встал я по форме и говорю: «Гражданин начальник лагеря, разрешите к вам обратиться». Тот остановился. В зале сразу все стихло: уж больно необычно такое обращение зэка-доходяги к столь высокому начальству. Я, помешав в миске ложкой, говорю: «Вот, гражданин начальник! Я работаю в лаптежном цеху, норму всегда выполняю и перевыполняю, но вот смотрите, каким супом кормят. Ведь тут, кроме воды, ничего нет».

Начальник взял у меня ложку, поболтал ею в миске и обратился к Коле: «В чем дело, заведующий столовой?» Коля отвел начальника в сторону и что-то ему тихо сказал. Начальник сразу изменился в лице и рявкнул мне: «А ну быстро бери свою миску и марш на кухню!» Я взял миску и пошел за начальником и его свитой на кухню. «Налей в миску воды», — приказал начальник повару. Тот налил и поставил на стол рядом с моей миской. Начальник зачерпнул моей ложкой воду и сунул ложку мне в рот: «Пей», — приказал он. Я проглотил воду. То же самое он сделал и с моим супом. «Ну, есть разница?» — спросил начальник, когда я проглотил ложку супа. Тут я окончательно сорвался: вместо того чтобы мирно закончить этот затянувшийся и явно не в мою поль-

зу инцидент, признать, что «суп хорош» и получить от поваров в награду черпак нормальной затирухи, после чего идти в барак отдыхать, я со злостью выпалил: «Да, гражданин начальник, разница есть: то была чистая вода, которую хоть пить можно, если захочется, а это грязные помои, которые ни одна свинья есть не станет!»

Поначалу от такой дерзости даже начальник растерялся, но, быстро придя в себя, заорал: «Ах ты, фашистский ублюдок! На фронте наши лучшие люди кровью истекают, а ты, предатель, здесь еще супом недоволен. Ведь только по вашей, фашистские шпионы-предатели, вине немцы сейчас терзают нашу Родину! Это вы, шпионы-диверсанты, продали ее Гитлеру!» и т. д. Тут уж я не в силах был больше сдерживаться. Я с презрением посмотрел на раскрасневшуюся от ярости жирную харю и со злостью ответил: «Уж не знаю, кто из нас предатель и ублюдок, тот, кто еще пять лет назад с оружием в руках воевал с фашистами и за это от партии и правительства боевые ордена получал, или тот, кто с такой физиономией окопался в глубоком тылу и издевается над ни в чем не повинными беззащитными людьми!»

Но замешательство продолжалось недолго: одним ударом кулака начальник свалил меня на пол, а потом он и все присутствовавшие стали меня, лежащего, бить ногами и чем попало. От этих ударов я почти сразу потерял сознание. Устав меня бить, начальник велел вылить на меня ведро воды. Когда я очнулся и был в состоянии подняться, он, не глядя на меня, приказал охране: «В клин его!», и те потащили меня волоком (сам я уже двигаться почти не мог) в сторону ШИЗО.

Клин — это было страшное изобретение нашего начальника режима — капитана Колянды: к одной из наружных стен домика ШИЗО была под углом градусов 10—12 приделана пятая стенка из тонкого, но крепкого горбыля. Между досками этой стенки, для вентиляции, оставались щели до 20—30 миллиметров ширины. На растворе угла была приделана запирающаяся снаружи на крепкий замок массивная дверь. Около двери, в самом широком месте клина, между

основной стеной ШИЗО и пятой стенкой из горбыля было небольшое пространство, где можно было, крепко прижав снаружи дверью, поместить в стоячем положении человека. Причем он мог только стоять и только в том положении, в каком его поставили. Пошевелиться он уже не мог, сесть или упасть тем более. В клин помещали только в зимнее время и только за самые тяжелые лагерные преступления. И, конечно, ненадолго: температура там равнялась наружной.

Пошевелиться человек в клину не мог, и потому максимум через час или два он замерзал, и когда открывали дверь, оттуда падал уже закоченевший труп. И вот туда меня — доходягу, да еще избитого и облитого водой, велел поместить этот энкэвэдэшный зверь — начальник лагеря.

Дотащили меня охранники чуть ли не волоком до ШИЗО, поставили в клин, прижали дверью, заперли и ушли. Мороз стоял градусов двадцать пять — тридцать. Мою мокрую одежонку сразу прихватило морозом, и она превратилась в ледяной панцирь. Ноги свои я перестал чувствовать уже через несколько минут, а затем и вовсе впал в полубессознательное состояние. Как я там не замерз и не отморозил конечности, для меня до сих пор загадка. Возможно, сказалось нервное напряжение во время и после разговора с начальником. Но когда через некоторое время комендант открыл дверь клина, я был еще жив и упал ничком на землю.

«Ну и живучий!» — с удивлением произнес комендант, посадив меня на табурет в коридоре оперчекистского отдела, где на меня должны были завести новое дело.

5

Комендант вышел, а сердобольная уборщица, из зэков, принесла мне большую кружку кипятка и тоненький ломтик хлеба, — сама-то небось получала граммов четыреста пятьдесят. Спасибо тебе, неизвестная родная. Выпив кипяток и съев хлеб, я подвинулся ближе к топящейся печи и начал окончательно оттаивать. Когда меня, примерно через час,

вызвал к себе в кабинет оперуполномоченный, я уже почти полностью пришел в себя.

«Садитесь», — вежливо и на вы обратился ко мне сидевший за столом молодой военный с тремя кубиками в петлицах гимнастерки. После обычных вопросов: фамилия, имя, отчество, год рождения, статья, срок, он зачитал мне почти слово в слово мои высказывания в адрес начальника лагеря. «Подтверждаете, что действительно все это говорили?» — спросил военный. При разговоре присутствовало много народу, отпираться было бесполезно, и я расписался в протоколе допроса. Когда опер закончил оформление протокола, я довольно спокойно, уже примирившись с мыслью, что мне к моим восьми годам добавят еще «баранку», спросил у него: «А во что это все выльется?» Немного помолчав и не глядя мне в лицо, опер ответил: «Ваши действия представляют собой особо опасное преступление, и потому вам инкриминируются параграфы 10б и 2б статьи 58 УК РСФСР, то есть подстрекательство заключенных к вооруженному восстанию и контрреволюционная агитация. Оба действия произведены в военное время, что представляет собой особую опасность, и потому караются расстрелом, с исполнением приговора через сорок восемь часов после его вынесения военным трибуналом».

Такого поворота я не ожидал, но после жестокого избиения и пребывания в клину мне было уже все безразлично, лишь бы скорее.

В это время уборщица принесла оперу стакан горячего чаю и ломоть белого хлеба. Когда она вышла, опер посмотрел мне в глаза и молча придвинул ко мне чай и хлеб. Это было уже слишком! Из глаз у меня потекли слезы, благодарить его я не мог, но чай выпил и хлеб съел. Опер вызвал конвоира, вручил ему постановление, и меня препроводили не в клин, а в общую камеру ШИЗО. Дежурный надзиратель положил мое постановление отдельно от других под фанерную дощечку, лежавшую на столе. Стекол на столе надзирателя в то время не было.

Дежурный впустил меня в камеру, где уже находилось десятка полтора зэков. К вечеру, вместе с другими, я полу-

чил свою законную штрафную пайку — 300 граммов хлеба. Запив ее кружкой кипятка и пристроившись на свободном краешке нар, я улегся отдыхать после столь многотрудного и богатого событиями дня, и, несмотря на близкую перспективу неизбежной пули, вскоре уснул.

Все сокамерники (кроме меня, подследственного) сидели с «выводом на работу». Утром, после смены дежурного надзирателя, пришла охрана, чтобы вести их на лесоповал. Новый дежурный, которому предыдущий в запарке, вероятно, забыл передать мое постановление, лежавшее на столе под непрозрачной фанеркой, отправил на работу вместе с остальными зэками и меня, смертника. Сам я не придал этому значения и вышел со всеми, потому что не знал, что в постановлении я «без вывода на работу».

На работе от зэков я услышал, что в бараке, в котором я жил, тоже обнаружен сыпной тиф, на весь барак наложен карантин, а его обитателей перевели в новый заразный барак, отгороженный колючей проволокой и охраняемый часовым. И тут я смекнул, что это и есть мой единственный шанс на спасение! Если удастся стрекануть из ШИЗО и пробраться в наш карантинный барак, то там меня и оперчекистский отдел не достанет: конвой в сыпнотифозный барак не полезет, а свои зэки не выдадут.

Но как стрекануть из ШИЗО? И тут мне опять повезло. Ох, уж эти счастливые случаи, сколько раз спасали они мне жизнь! А, может, опять сработала молитва той пожилой женщины с детьми, которую я спас в Испании?

Когда нас после конца работы подвели обратно к ШИЗО и дежурный стал по списку (а все мои однокамерники сидели по одному постановлению) запускать нас на ночь в камеру, я оказался лишним. Дежурный удивленно просил: «А ты еще откуда взялся?» Тут меня осенило, и я как можно спокойнее сказал ему без раздумья: «А я, гражданин начальник, с восемнадцатой бригады, утром замешкался, искал портянки и опоздал на развод, а когда прибежал на вахту, наши уже ушли, и комендант велел мне идти на работу со штрафниками». (И действительно был такой порядок: опоздавших

на вахту в наказание отправляли работать со штрафниками и выдавали штрафную пайку — 300 граммов.)

«Так чего ж ты стоишь? — заорал дежурный. — Отработал и марш в свой барак. Получишь за сегодня 300 граммов, так не станешь больше терять портянки!» Повторного приглашения я ждать не стал и как можно быстрей стал улепетывать из ШИЗО. В голове же только одна мысль: «Неужели спасен?»

Оставалось всего лишь пробраться в свой карантин. Но все же это попроще, чем удрать из ШИЗО: пара оплеух или ударов прикладом от дежурного стрелка, стерегущего карантин, — и я в безопасности от оперчекистов и от верной пули!

Я уже знал расположение нового карантинного барака, и потому рысцой туда и направился. Подбежал к часовому, гляжу — винтовка со штыком. Ну, думаю, дело плохо, может по дурости и злости еще и штыком пырнуть! Единственный шанс остаться в живых — это переться с самым жалким видом и извинениями прямо на часового, черт с ним, с его сапогами и прикладом, главное — остерегаться штыка.

Медленно подхожу. «Ты куда? — заорал он на меня. — Не знаешь что ли, что здесь сыпной тиф — карантин?» Стараясь сколько возможно сжаться в комочек, все же для штыка площадь будет поменьше, отвечаю жалобным голосом: «Да я, гражданин начальник, с этого же барака, здесь и все вещи мои, да вот ребята попросили в лагерь за табачком сбегать». Тут уж и часовой дал волю своему гневу: «Ах ты так растак твою!.. Еще вздумал свою заразу по всему лагерю разносить!?» — заорал он, наподдав мне пониже спины своим сапожищем. Как мячик перекинул он меня через проволочное заграждение, да так удачно, что я об колючки почти не расцарапался. Когда он увидел, что я уже поднимаюсь с земли, то взвел затвор винтовки и крикнул: «А ну бегом в барак! И попробуй еще раз оттуда выйти, в дверях пристрелю!».

Через минуту я уже был в безопасности — «дома».

В бараке еще никто не знал о моем аресте, а я никого не стал посвящать в свою одиссею. Кроме, конечно, исполняющего обязанности старосты и моего друга Владика (фамилии уже не помню), тоже «художника» с «23-го километра». Когда я закон-

чил рассказ, Владик покачал головой и задумчиво произнес: «Знаешь, Лева, если бы мне подобную ахинею рассказали на воле, я бы ни одному слову не поверил. Живи, Лева! Я тебя не видал, а больше ты об этом никому не рассказывай. Там видно будет. Вряд ли оперы рискнут из-за тебя войти в наш барак».

Так оно и было: появляться мне на поверке, особенно в первые дни, было опасно. Несколько раз во время переклички нашего барака опер появлялся у проволоки. Вместе с другими, выкликали и мою фамилию, но ответом было молчание, и вскоре опера перестали мной интересоваться. Хлеб выдавался согласно количеству людей, построенных около барака при утренней поверке, но и покойников, прежде чем опустить в яму с привязанной к ноге биркой, показывали издали коменданту. Получали на него лишнюю пайку хлеба, которую Владик обычно отдавал мне.

За восемь недель карантина никто нас ни разу не осматривал. Ни врач, ни даже лекпом в нашем бараке не появлялись, из медикаментов у нас был только термометр, так что вполне вероятно, что тифа у нас в бараке и вовсе не было. За все время карантина у нас умерло всего несколько десятков человек, да и то неизвестно по какой причине: почти естественная убыль.

Я снаружи не показывался, а лежал в бараке на своем месте. Владик, как мог, мухлевал с пайками и выкраивал в комбинациях с покойниками для меня хлеб почти регулярно. Свою законную пайку — 300 граммов и баланду — я у Владика получал и чувствовал себя, по-лагерному, вполне нормально. Худо-бедно, а почти два самых свирепых месяца мы наружу не выходили и физическую энергию не тратили.

В конце января наступал конец карантина. С трепетом душевным ожидал я этого дня. Ведь если оперы мое дело не закрыли, то конец карантина может стать и концом моей жизни: прятаться в лагере мне уже негде.

К концу января как раз случился сравнительно теплый день. Нас подняли, велели собрать свои вещи и выйти на построение за зону карантина. Я, конечно, перетрусил: теперь оперы меня неминуемо схватят. Оставаться в бараке бес-

полезно, его ведь просто забьют досками. Так что выходить надо. После построения и пересчета нас повели в административный барак на генеральную поверку, где уже лежали все наши личные дела. С дрожью в коленях ждал я все время появления опера и его команды: «Хургес, выходи!», но ничего не произошло. Меня оформили наравне со всеми остальными, поместили на жилье в наш старый докарантинный барак и определили на работу опять в лаптежный цех.

О моем новом деле мне никто ни разу не напомнил. Долго после этого я думал о причинах такого милосердия. По-видимому, начальник оперативно-чекистского отдела, тот самый, что угостил меня чаем с белым хлебом и перевел из клина в общую камеру ШИЗО, убедившись, что я каким-то непонятным образом исчез, решил просто похерить это дело. Возможно, по джентльменскому соглашению с начальником лагеря, он порвал его донесение и все свидетельские показания. Возможно, сыграло роль и то, что вскоре после моего исчезновения из ШИЗО в карантин нашего начальника лагеря куда-то перевели, а новому начальнику я еще не успел насолить.

Так или иначе, но оперчекисты обо мне больше не вспоминали, и через несколько дней работы в лаптежном цехе я окончательно обрел душевное спокойствие, поняв, что я еще жив и расстреливать меня пока не собираются.

Забегу немного вперед: как-то весной 1942 года иду я днем по лагерю и нос к носу сталкиваюсь со старшим лейтенантом — начальником оперчекистского отдела, который оформлял мне расстрел. Он меня узнал сразу же, ну а я его и тем более. Деваться мне было некуда, пытаться бежать бесполезно, если захочет — поймает, хоть мы и ровесники, но ест-то ведь он досыта, и пришлось мне с ним поздороваться. Он приветливо кивнул головой и остановился. «Жив, испанец? — спросил он, и не дожидаясь ответа, продолжил: — А все-таки, как это тебе удалось стрекануть из ШИЗО? Ну и нагорело за тебя дежурному! Ну, теперь дело прошлое: скрывался, небось, в карантине?» Я молча кивнул головой. Обменялись мы с опером крепким мужским рукопожатием и разошлись.

К сожалению, я его больше никогда не встречал. Вот и такие люди попадались в органах НКВД, но было их очень мало, и «погоды» они не делали.

6

И снова потекла своим чередом моя лагерная жизнь: плел лапти по паре в день, получал 450 граммов хлеба и три «затирухи» в день, правда, критиковать ее качество я больше не решался и постепенно, но доходил.

Посмотрел я как-то на себя в бане и ужаснулся: ноги как спички, одни кости, ребра все напоказ, в ключицах дыры, аж кулак можно просунуть. Особенно страшен был задний проход: на ягодицах ни клочка мяса — сплошная дыра между костями ног. Все это я у себя видеть не мог, но наблюдал у соседей по бане, и не было оснований полагать, что я выглядел лучше. Ну, думаю, недолго ты так протянешь. Переведут тебя в неработающие, а это уже 300 граммов хлеба, а значит конец: хоть сам полезай в яму.

Но тут мне опять подфартило: закончили строительство стеклозавода, и понадобился туда электрик. Тогда, не без помощи Жени Рубинштейн, вспомнили про меня, и наш старший электрик Прокоп взял меня в качестве электромонтера — а это уже 700 граммов хлеба, да еще и дополнительная «шабашка»: дело в том, что кроме электросети на заводе, я обслуживал линии и в вольном поселке, и в штабе охраны. Все это требовало бесконвойного хождения, а наше расконвоирование было строжайше запрещено. Но если занадобится черт, его выталкивают из ада — нашли выход и здесь: из лагеря нас принимали стрелки ВОХРа, которые нас потом доставляли в зону оцепления стеклозавода или механических мастерских. Там все наши становились на свои рабочие места, а мне дежурный стрелок, каждый день заново, давал охранную грамоту — записку со своей подписью такого содержания: «Заключенный Хургес. Разрешается ходить на работу от завода в лагерь», подпись, дата.

И вот начал я оживать: все же и паек побольше, и нет-нет, а где-нибудь что-нибудь и «зашибешь»: в войну очень плохо стало с электролампочками и если где-нибудь у вольняшек удастся хоть на короткое время накинуть сгоревший волосок и лампа загорится, то уж кусок хлеба, хотя бы и черствого, но дадут.

А однажды мне очень повезло: попал я по вызову в штаб охраны, сделал что надо и уже собрался уходить, но вдруг выяснилось, что на кухне ВОХРа сгорела единственная 500-ваттная лампа и повару приходится работать чуть ли не при коптилке. Показал мне повар лампу и сообщил стимул: «Исправишь — накормлю от пуза!». Взялся я за работу, волосок, толстый и упругий, никак не накидывается, а делать это приходится при ввернутой в патрон лампе, иначе накинутый волосок не приварится и держаться не будет. Полчаса я тряс лампу, но ничего не добился. Я уже потерял надежду, как вдруг конец волоска выскочил из колечка и лег куда надо: лампа ярко загорелась.

Обрадованный повар положил мне полную миску рисовой каши с мясными консервами (обычный ужин стрелков ВОХРа, ведь затирухи-то они, сволочи, и в глаза не видали) и дал с полкило хлеба. Не успел он оглянуться, как от всей этой снеди не осталось и следа: ведь таких блюд я не ел уже более четырех лет! Щедрый повар дал еще столько же добавки, правда, уже одной каши, но я и с ней быстро управился. Удивившись такому аппетиту, повар все же решил меня накормить до отвала. Обижать стрелков еще раз он не решился, но вспомнил, что с позавчера у него осталась в кастрюле недоеденная пшенная каша. Ее-то я и съел полных три миски и, правда, больше уже не мог: живот, как барабан, аж дышать стало трудно. Довольный повар положил мне в сумку еще разных объедков и хлебных корок, а я, поблагодарив, отправился в мехцех на вечернее построение.

Но такой фарт со мной приключился только один раз. Зато произошел казус, в результате которого я все же лишился своего вольного хождения и твердо сел на пайку. Чаще всего нас конвоировал стрелок Шахмаев, по национальности — татарин, между прочим, наша охрана преимущественно состояла

из украинцев и татар. В лагере помимо мужской зоны была еще и женская, в которой должны были помещаться больные и получившие инвалидность женщины, частично переведенные сюда из «23-го километра». Здесь они, в отличие от того лагеря, в мужскую зону решительно не допускались. Для инвалидок в женской зоне был свой лаптежный цех, а остальных более-менее ходячих обычно посылали на лесоповал, на участки, к которым мужчинам-зэкам приближаться было запрещено.

Большинство женщин, работавших на лесоповале, были бывшими проститутками. Числились они венерическими больными и проходили курс лечения в своей зоне. Но многие из них либо симулировали венерическую болезнь, для того чтобы попасть в легкий лагерь, а не на прииск, либо эта болезнь была уже в такой стадии, что не могла перейти к мужчинам через половой акт.

Надо сказать, что женская проблема стояла на Колыме для вольных мужчин очень остро. Вольных женщин на Колыме было мало, из-за чего порою происходили целые бои претендентов. Зэков-мужчин, особенно контриков, эта проблема мало волновала: они с голодухи еле ноги таскали. А вот стрелки ВОХРа, преимущественно молодые, здоровые и нормально питающиеся люди, были на женщин голодные как волки, не брезговали никем — лишь бы женщина. ВОХРовское начальство это прекрасно понимало и иногда назначало стрелков конвоировать женскую бригаду на лесоповал. А уж там, за буханку хлеба, женщины охотно вспоминали свою вольную специальность: оставались довольны и стрелки — и дешево, и сердито. Бригадирши женских бригад отлично знали физическое состояние своих подопечных и стрелкам заразных не подсовывали, так что все были довольны.

Но тут грянул гром: на одном из приисков целая группа стрелков подхватила от одной зэчки сифилис. Замять эту историю не смогли. Стрелков судили военным трибуналом и по статьям за контрреволюционный саботаж и дезертирство приговорили к расстрелу, но с заменой штрафбатом, и отправили на фронт. Грозный приказ по этому поводу был оглашен по всем подразделениям ВОХРа на Колыме, в том числе и у нас.

Тут наши стрелки стали метать икру, в том числе и наш конвоир Шахмаев, обычно отпускавший меня со своей личной запиской на «свободное хождение от стеклозавода в лагерь». Как-то утром он отпустил всех по своим рабочим местам, а мне велел зайти к нему в караулку. Тщательно прикрыв дверь, Шахмаев сказал: «Скажи, Хургес, ты же инженер, как можно узнать — заразная баба или нет?»

От такого вопроса я поначалу опешил, а потом, видя, что задан он совершенно серьезно, попытался уклониться от ответа, заявив конвоиру, что я инженер, а не врач. Но он настаивал, и тогда я рассказал ему про реакцию Вассермана и прочее. Узнав, что на это требуется больше месяца, Шахмаев пришел в ярость и заорал: «Что ты мне голову морочишь? Реакция, реакция... Где я тебе буду целый месяц ждать? Мне надо так: лежит баба — посмотрел — узнал, заразная или нет. Вот что мне надо, а ты мне реакция, реакция, месяц ждать... Понял?»

Когда я ему ответил, что таких экспресс-методов не знаю, Шахмаев еще больше разозлился: «Ах ты, мерзавец, шпион, вредитель, на воле вредил и здесь не хочешь исправляться? Попомнишь ты у меня! Не будет тебе больше никаких записок. Здесь будешь работать. Кому понадобишься — пришлет за тобой стрелка, а все остальное время будешь здесь, в этой зоне землю копать. Пошел вон! Бери кайло и долби яму, а я уж присмотрю, чтобы ты не филонил!»

И вот начались для меня черные дни: в зоне Шахмаев сейчас же гонит меня на яму и чуть заметит, что я присел передохнуть, поднимает сапогом или прикладом. Вижу я: дело плохо. Как быть? Как избавиться от этого зверя? Перейти обратно в лаптежный — доходиловка: 450 граммов хлеба, а я уже привык к более-менее вольготной жизни. Пошел я к нашему лагерному врачу, милейшему Борису Максимовичу Мустафину и рассказал ему всю историю. Мустафин сперва долго смеялся, а потом начал рассуждать: «Ведь ты, Лева, прекрасно понимаешь, что таких экспресс-методов в природе пока не существует. Но с другой стороны, все заразные женщины у нас на строгом учете, бригадирша жен-

ской бригады их прекрасно знает, да и они сами знают, что за умышленное заражение венерическими болезнями получат солидную прибавку к сроку, не говоря уже о том, что стрелок, которого такая женщина заразит, обязательно ее пристрелит. Так что процентов на девяносто девять с гаком можно считать, что заразиться от наших женщин стрелки не смогут. Раз уж этот паразит никак не хочет от тебя отцепиться, он ведь татарин, а татары все очень упрямы, я это знаю — сам татарин, то надо его как-то ублаготворить. Можешь по части экспресс-метода придумать что угодно, только проси Шахмаева держать сказанный тобой способ в секрете, и все будет в порядке, а шансов на заражение у наших стрелков гораздо меньше, чем у нас с тобой пережить это черное время». Тут же мы с Мустафиным и «разработали» наш экспресс-метод обнаружения венерических болезней.

Назавтра я отозвал Шахмаева в сторону и сказал ему, что у меня есть кое-что ему сообщить, но по строжайшему секрету. Вошли в его кабинет, Шахмаев тщательно прикрыл дверь, сел на табурет и придвинул ко мне второй. «Вот что, Шахмаев, — начал я, — есть один такой способ, но я тебе его не говорил, потому что тебе будет неприятно им пользоваться». «То-то же, — осклабился стрелок. — Оказывается, знаешь, что я тебя просил! Недаром вас, блядей, пересажали, все вы знаете, а для народа сделать ничего не хотите! Ну, хрен с тобой, говори, а я уж в долгу не останусь».

Тут я начал: «Понимаешь, Шахмаев, нужно иметь с собой пузырек с соленой водой и ватку. Ты вылей эту воду в стаканчик, обмакни туда ватку, и осторожно поведи этой ваткой женщине по причинному месту, но только смотри осторожнее, чтобы на твоих пальцах не было ранок или царапин, лучше всего это делать в тонких перчатках, а потом эту ватку брось в соленую воду. Если вода посинеет, то женщина заразная, гони ее в три шеи, а руки тщательно вымой с мылом, если же вода останется прежней, то все в порядке, женщина здорова и тебе ничего не грозит».

«Ну, это все сделать всегда можно, — со вздохом облегчения произнес Шахмаев. — Соль у нас на кухне есть, ватку

найдем, да и перчатки тоже. А это надежно?» — «Что за вопрос! — возмутился я. — Что я, сам себе враг? Только смотри, никому, даже своим врачам, ни слова: это секрет старинной еврейской медицины, и кроме тебя, я его никому открывать не собираюсь. Сам я на воле всегда так делал и, как видишь, здоров в этом отношении».

Шахмаев внимательно слушал, время от времени утвердительно кивая головой. Короче говоря, «забил я ему бабки» весьма основательно, и когда я кончил, Шахмаев, с угрожающими нотками в голосе сказал: «Ладно, Хургес, попробую. Будешь пока получать записки и ходить вольно, но если со мной что случится по этой части, тебе хана».

На этом и поладили. Снова дал мне Шахмаев записку и отпустил, да еще в придачу дрюкнул с полбуханки хлеба, с чем и посчитал себя со мною в расчете. Я пошел по своим делам, а Шахмаев на другой день попросился конвоировать женщин на лесоповал. У меня снова начался порядок: котлован я уже больше не долбил, ходил себе по заводу, а если позовут, то по вольному поселку: где волосок лампочки накину, где плитку или утюг починю, а где и несложную проводку сделаю. А если и нет «шабашки», то все равно сидеть в теплой дежурке приятнее, чем долбить мерзлую землю на сорокаградусном морозе.

Шахмаев тоже был доволен (видать, соленая вода так ни разу не посинела) и иногда, после конвоирования женских бригад, мне заговорщически подмигивал.

Так прошло месяца полтора-два. И вот однажды, уже после прихода с работы в лагерь, вдруг в наш барак заходит стрелок и кричит: «Монтер Хургес! Срочно на вахту. Вызывают в штаб охраны». Такие вызовы в различные места не были для меня неожиданностью, меня часто вызывали куда-либо починить предохранитель, или еще за чем-нибудь. Решил я, что и на этот раз что-то приключилось в штабе охраны. Оделся, взял «когти», пояс и отправился за дежурным на вахту. Там меня ждал другой стрелок, который повел меня к штабу охраны.

Подходим, и с удивлением вижу — свет горит везде. «В чем дело?» — думаю. Заводит меня стрелок в коридор, подводит

к двери с табличкой «Начальник режима» и говорит: «Заходи». Захожу и вижу: за столом сидит начальник режима — капитан Колянда, а рядом с ним старший лейтенант, комиссар охраны. Я поздоровался и молча стою в ожидании, когда начальство удостоит меня вниманием. Наконец, Колянда повернул голову в мою сторону и рявкнул: «Ну, говори, чему ты, засранец, учил наших стрелков? Как обнаруживать сифилис?»

Тут я понял, что Шахмаев решил поделиться своим опытом с товарищами, а те его подняли на смех, и дело дошло до самого Колянды. Ну, думаю, дело плохо! Чем выдавать Шахмаеву этот «секретный» способ, лучше бы я доходил в котловане, там хоть был какой-то шанс выжить, а здесь одного удара пудового кулачища Колянды хватит, чтобы сразу же отправить меня на тот свет, и такие расправы в его кабинете были отнюдь не редкостью. Поскольку терять мне было нечего, то я просто, как на духу, все рассказал. Комиссар (видимо, обладавший чувством юмора) во время моего рассказа чуть не падал от смеха со стула, но Колянда ни разу не улыбнулся!

Когда комиссар отсмеялся, он уже серьезно спросил у хмурого Колянды: «Ну, что с ним будем делать? Ведь теперь Шахмаев его пристрелит при первом же конвоировании. Срочно этапировать его нельзя, он же тюремщик, а отправлять их из нашего лагеря никуда нельзя (действительно, как потом выяснилось, в наш лагерь собрали всех оставшихся в живых тюрьзаковцев, присланных на Колыму). Придется сегодня же куда-то переводить Шахмаева».

О чем они говорили дальше, я не знаю, меня же отвели в лагерь, даже не избив. А Шахмаева я в нашем лагере больше не видел.

На этом моя вольная жизнь прекратилась: если я где-либо был нужен, за мной присылали стрелка, который не отходил от меня ни на шаг, где бы я ни работал. Но в свободное время на котлован тоже не отправляли, и я спокойно сидел или в слесарке, или в кабинете милейшего Ивана Михайловича Данишевского.

Жить стало хотя и труднее, но все же терпимо.

Кончалась моя вторая колымская зима...

С КОЛЫМЫ НА МАТЕРИК: НАГАЕВО — НАХОДКА

Генеральная комиссия по отбору доходяг на материк. — Рискованная буква «Х». — Погрузка на «Волховстрой». — Бригада маляров и пир в радиорубке. — Чудо нестолкновения с эсминцем. — Выгрузка в Находке. — Уёк. — Горящая капуста. — Наши личные дела.

1

В один пригожий июньский день* мы выстроились около вахты в ожидании развода на работу. Внезапно поступает команда: «Сегодня на работу выходить только дежурным и вахтенным на заводе, остальным оставаться в лагере для прохождения генеральной медкомиссии». Мы забеспокоились: неужели опять начнут перекомиссовывать из инвалидов в ЛФТ, а из ЛФТ в СФТ?..

Но кто-то узнал, что все наоброт: комиссия выявляет непригодных на Колыме людей — для отправки на материк. И что будто бы в бухте Нагаево стоит большой пароход, разгрузившийся в Петропавловске-Камчатском. И, чтобы не гонять его порожняком, решили загрузить его «дошедшими», но не желающими умирать на Колыме зэками. Ведь с питанием, даже по самым скромным нормам, стало очень туго: все доставлялось только с материка — морем. Своих продуктов никаких не было, кроме рыбы, которую теперь во все возрастающем количестве приходилось с Колымы отправлять в армию. Как-никак, а всех этих доходяг, хоть и впроголодь, но надо было кормить, а для добычи металла толку от них не было. Да и помирали они как-то медленно и неохотно, а кормить этих паразитов приходилось продуктами, которые были буквально на вес золота. В то же время основных добытчиков золота держат из-за этих нахлебников впроголодь, отчего падает добыча металла.

* Имеется в виду 1942 год.

Вместе с тем и на материке многие острова архипелага ГУЛАГ обезлюдели. Приток зэков резко сократился, ведь все людские резервы потреблял фронт. Как знать, может, эти доходяги, совершенно уже не пригодные для Колымы, в более умеренном климате еще смогли бы остаток своих жизненных соков отдать работе на военных заводах или в гулаговских сельских хозяйствах. Вот и решило начальство, пользуясь оказией, срочно подчистить наш лагерь как самый близкий к Магадану и как прямой наследник инвалидного лагеря «23-й километр».

Надо сказать, что комиссия действовала очень оперативно. Весь осмотр занимал несколько минут: просмотрят личное дело, основание предыдущей комиссовки, мотивы выбраковки зэка, вскользь глянут на него в натуре: ребра торчат, в задний проход можно вставить пол-литровую банку — и все, ступай налево. Подберут полсотни таких «левых», и сразу в Нагаево.

Не было ни одного зэка, который отказался от переезда на материк. Во-первых, ближе к дому. Во-вторых, климат: колымские минус пятьдесят там редкость, а шестидесяти и вовсе не бывает. В-третьих, хоть когда-нибудь картошку или капусту увидишь. И, самое главное, — японцы: хотя к началу 1942 года они в нашем районе особой активности не проявляли, хватало им хлопот с американцами на Тихом океане, но их возможное нападение на СССР с повестки дня не снималось. Элементарный здравый смысл подсказывал: если появится шанс — тикай с Колымы.

Хорошо бы еще попасть на фронт, в штрафбат — первое ранение, и ты полностью реабилитирован! Здесь же, на Колыме, кроме бирки на ноге нам ничего не светило. Там — или грудь в крестах, или голова в кустах, а здесь — гарантированная яма.

Примерно такие мысли роились у меня в голове, пока я стоял в длинной очереди на медкомиссию, ожидая, когда же доберутся до буквы «Х». На память приходил капитан парохода «Дальстрой» при погрузке во Владивостоке, говоривший: «Пароход не хуй, всех не посадишь!» А вдруг раздастся

телефонный звонок с извещением, что контингент зэков на пароход уже набран и прозвучит команда: «Комиссия прекращается, расходись!». Все мы, несчастные с удаленными от начала алфавита буквами, с ужасом боялись такого исхода, но время шло, и очередь продвигалась вперед. Вот уже прошла самая большая буква «С», прошли и «Т», и «У», и «Ф», и, наконец, добрались до моей «Х». И вот — о радость! — я стою у стола комиссии. Вид у меня подходящий: ребра — налицо, ключицы с вполне «кондиционными» провалами, да и задний проход — «в порядке», а тут еще и плохо зажившая правая рука. Главный врач комиссии и смотреть меня не стал, и вот я уже бреду со своими шмотками налево и сажусь на узелок в ожидании машины.

К вечеру мы были в Нагаево. В отличие от погрузки 1939 года во Владивостоке, эта погрузка проходила быстро и без особых происшествий. Пароход стоял у стенки под парами, и погрузка в трюмы, уже оборудованные четырехъярусными нарами, производилась по мере подхода машин с людьми. Поскольку наша партия была одной из последних, то особого выбора мест у нас не было. Места около люков, где воздух был посвежее, уже были заняты зэками первых букв алфавита, и мы с товарищами полезли поближе к бортам и вытяжным вентиляторным трубам, помня свое первое путешествие в трюме на Колыму. Дали нам на дорогу по две буханки хлеба и предупредили, что в дальнейшем хлеб и приварок мы будем получать в пути. Но я уже знал, что шансы на это невелики, и приготовился к голодному путешествию.

Наш пароход «Волховстрой» шел из Америки, из Сиэттла, и свой американский груз сдал в Петропавловске на Камчатке. Там его загрузили крупным рогатым скотом, который он сдал в Нагаево, и теперь он вез, судя по условиям перевозки, тоже скот, но двуногий. Порт назначения — Находка. Пока я был на Колыме, там силами зэков был построен и оборудован большой грузовой порт с обширным лагерем для зэков в бухте: это всего несколько часов езды по построенной зэками железной дороге до Владивостока. Теперь он стал военно-морской базой, а весь морской грузооборот пошел

через Находку, а оттуда — либо во Владивосток, либо на запад — в Россию. Тут же был и огромный лагерь, который был предназначен обслуживать порт, а также выполнял функции перевалки для пополнения все убывающего контингента зэков на Колыме.

На другой день, перед рассветом, пароход вышел в море. Некоторое время нас сопровождали два сторожевика, а временами над нами пролетали и самолеты, но к середине дня, убедившись, что никаких неприятностей, вроде японских военных кораблей, по курсу не предвидится, начальство отпустило нас плыть самостоятельно. Тем не менее мы пошли не по кратчайшему пути через японские воды Лаперузова пролива, а по более длинному и опасному — из-за постоянных густых туманов и переменной глубины фарватера — пути через наш родной Татарский пролив. Это спокойствие, промеры и тихий ход стоили нам нескольких лишних суток пути. Несмотря на хмурую погоду, море было спокойно, и нас почти не качало.

На следующий день после отплытия из Нагаево в приоткрытый люк трюма заглянул какой-то моряк и закричал в мегафон: «Есть среди вас маляры? Если есть, то пятнадцать человек выходите на палубу!» Малярами назвалось гораздо больше, и около трапа началась свалка. Я же пошел сюда из своего угла набрать в котелок воды и случайно оказался возле самого выхода из люка. Попав в число счастливчиков, я через несколько минут предстал, вместе с остальными, пред светлые очи боцмана. Будучи в Америке, руководство накупило первоклассной краски и решило воспользоваться бесплатной рабочей силой для внутренней покраски судна. И правильно: за кормежку и за пребывание вместо трюма на палубе зэки с удовольствием выполнили бы любую работу.

Узнав, что я бывший моряк и судовой радист, боцман направил меня красить самые блатные места: радиорубку, штурманскую рубку и камбуз. Всех маляров первым делом накормили, а меня присутствовавший на разводе судовой радист сразу же увел в свою рубку. Вошел я туда, притронул-

ся к телеграфному ключу и расплакался. Радист, примерно мой ровесник, положил мне руку на плечо и стал успокаивать: «Ну что ты, отец, я ведь тоже с Колымы уехал в тридцать два года наполовину седой. Ничего, все пройдет, разберутся, освободят, еще наплаваешься!» — и начал меня кормить из своих запасов. Ел я, ел, а слезы так и катились из глаз. И чего только он не выложил на стол: и колбасу, и сыр, и консервы, и шоколад — все, о чем я уже давно забыл. Потом, немного помедлив, запер дверь рубки и поставил на стол бутылку ямайского рома (я с самой Испании его не видал) и налил стакан: «Пей, батя! Черт с ней с покраской, не бойся. Боцману я скажу, поймет старого моряка. Пей, ешь, потом поспишь у меня в рубке, а там и покраской займешься».

Выпил я рому, поел плотно и через некоторое время как обухом по голове ударило — чуть не упал со стула. «Ложитесь на койку!» — засуетился радист; но тут я пришел в себя и отказался: «Ведь грязный я, да еще и вшей в койку напущу». Как парень ни уговаривал, но я, свернувшись на полу на мягком коврике калачиком, лег и сразу же уснул. Что снилось — не помню, но, конечно, что-нибудь хорошее.

Так и началась у меня на пароходе райская жизнь. Как только поднимусь на палубу, то иду не вместе с остальными малярами на кормежку в камбуз, а прямо в радиорубку, где мой коллега уже приготовил мне харчей побольше и повкуснее. Но зато уж рабочее место его я отделал на совесть: краска была великолепная. Провел я в радиорубке все нужные обводы и даже нарисовал эмблему радиосвязи — коллега остался доволен. Не хуже покрасил я и штурманскую рубку. В общем, работа моя получила высокую оценку даже у самого боцмана.

На пароходе в кают-компании было пианино, на котором никто из команды больше чем одним пальцем играть не мог. Однажды в свободное время я попросил у штурмана разрешения поиграть на инструменте. И тут мне еще раз пришлось заплакать: сколько лет я не притрагивался к клавишам! Хоть и не тренированные, а, наоборот, покалеченные на фуганке пальцы после этого сильно болели, но душу я все же отвел.

После «концерта» капитан договорился с охраной, и те разрешили мне, в виде исключения, оставаться наверху и после шести часов, когда кончался наш малярный день. Мне даже позволили ужинать с офицерами судовой команды, и после ужина я еще несколько часов развлекал их музыкой.

Единственное, на что начальник охраны не пошел, — это не разрешил мне ночевать не в трюме. На ночь, после райской жизни наверху, я все же спускался в преисподнюю трюма на ночлег. С другой стороны, это было и хорошо: ведь я мог — от щедрот радиста и кока, который стал моим постоянным слушателем и заказчиком музыки, — хоть немного подкармливать своих соседей по нарам.

Не обошелся рейс и без происшествия, из-за которого мы все чуть не погибли. Как-то днем идем мы по Татарскому проливу, в полном тумане, метров за пять уже ничего не видно. Стоим с радистом на палубе, облокотившись на поручни, о чем-то разговариваем и поплевываем в море. Гудков наш пароход, конечно, не дает, ведь до японцев рукой подать. Вдруг с нашего борта раздался какой-то сильный шум и скрежет металла: буквально в нескольких метрах от нас с полного хода и почти на 90о от своего курса резко сворачивает эсминец, шедший до этого точно на нашу середину! Он развернулся так круто, что слегка черканул по нашему борту. Дело решали доли секунды: прозевай их рулевой эсминца, и мы бы столкнулись. Не говоря уже о страшной силе удара, которой хватило бы, чтобы насквозь протаранить пароход, а на носу эсминца стоял заряженный торпедами и на полном боевом взводе торпедный аппарат. Все это произошло настолько быстро, что, кроме стоявших рядом с нами, никто ничего и не заметил. Но я разглядел, как матросы на палубе эсминца, еле удержавшиеся на ногах при таком крутом повороте, поднимали кулаки и что-то (надо полагать, не слишком лестное) кричали в наш адрес.

Ну надо же: такое большое море, а пути наши сошлись в одной точке, и в том, что мы остались живы, было больше чуда, чем искусства рулевого. Наверное, опять сработала

молитва той старой женщины, которую я спас во время бомбежки в Малаге. Ведь должен же был я, благодаря ее молитве, выходить живым из любых жизненных передряг!

Но всему, и плохому, и хорошему, всегда приходит конец. Пришел конец и моей райской жизни на «Волховстрое».

Дней через десять после отплытия из Нагаево в середине дня мы подошли к бухте Находка и встали на внешний рейд. Место живописное, особенно вход в бухту: прямо посредине пролива, соединяющего ее с морем, находится небольшой островок, густо заросший зеленью. Погода стояла отличная, солнце жарило вовсю, и дышать в нашем трюме было практически нечем. В пути умерло довольного много зэков — не меньше нескольких сот человек. Ведь ехали одни доходяги, и среди них было много сердечников, пожилых и т. д. Вентиляции в трюмах практически не было, и здоровые дышали с трудом. К тому же и сам рейс затянулся, а медпомощи или нормального питания в пути тоже не было, так что люди умирали просто от голодной слабости.

Как только пароход встал к стенке, капитан, опасаясь, что ему «нагорит» за столь большие потери в трюме, приказал тут же выпустить всех зэков на пристань: пусть хоть свежим воздухом подышат. Началась выгрузка: сперва поплелись по трапам на палубу, а потом по сходням на берег те, кто мог самостоятельно передвигаться. Потом принесли носилки, и зэки покрепче выгружали из трюмов своих обессилевших, но еще живых товарищей. Лишь часам к 12 ночи все разместились вповалку на земле около пристани. Принесли хлеб и воду в бачках, и те, кто был в состоянии подняться, могли хоть немного подкрепиться и напоить и накормить своих неподвижных товарищей.

Меня моряки не обидели: положили в мешочек галет, сахару, консервов. Словом, у меня оказался довольно увесистый «сидор» с продуктами, на который многие с завистью поглядывали. Я щедро накормил своих соседей по трюму, а часть продуктов оставил впрок. Об этом я вскоре сильно пожалел, потому что ночью кто-то из уркачей незаметно ко

мне подлез и разрезал мешок, да так квалифицированно, что я ничего не заметил. И когда на рассвете я проснулся, то там, кроме большой дыры, уже ничего не было. Так я был наказан за то, что не выполнил зэковскую заповедь: «Не оставляй на завтра то, что можешь съесть сегодня», и горько пожалел, что перед сном не съел сам или не скормил своим товарищам все те деликатесы, которыми теперь лакомились, а скорее всего уже давно съели, воры-рецидивисты.

Вот так я прибыл обратно на материк, в бухту Находка. Вместо полагающихся мне по росту шестидесяти двух килограммов, я при отъезде с Колымы весил тридцать шесть.

Позади остались три бесконечных и самых тяжелых в моей жизни года пребывания на Колыме.

2

Время было военное — июнь-июль 1942 года, один из критических моментов войны. Немцы уже под Сталинградом, со дня на день ожидалось его падение, после чего, по слухам, предполагалось нападение японцев на СССР. Конечно, Находка — это не Колыма: и Владивосток рядом, и оборонять ее есть кому и есть чем, да и эвакуировать нас есть куда, так что колымские перспективы нам уже не грозили. Нашим солдатам, особенно под Сталинградом, приходилось гораздо хуже, чем нам, но подавляющее большинство зэковконтриков были бы счастливы оказаться вместо Находки в окопах Сталинграда!..

Но и Находке были мы несказанно рады.

Через пару часов после подъема появились лагерное начальство и медперсонал, и началась сортировка. Больных и совсем ослабевших, не способных самостоятельно двигаться, санитары клали на носилки и отправляли в стационар, всех остальных, внеся в списки, повели в лагерь и разместили по пустующим баракам, которых оказалось более чем достаточно: дня за два но нашего прибытия лагерь осно-

вательно подчистили, отправив на Колыму всех, кто был хоть сколько-нибудь работоспособен.

Устроились мы на нарах, немного отошли после солнцепека на причале и в сопровождении нарядчиков отправились на кормежку. Тут мы впервые отведали основной продукт, которым впоследствии нас все время кормили в Находке: уёк* — небольшая, сантиметров десять-пятнадцать в длину, рыбешка, вроде кильки. Уйка в Находке было великое изобилие. Рассказывали, что во время шторма эту рыбку волнами выбрасывало на берег, где после окончания непогоды оставались огромные — высотой более двух метров и длиной по несколько километров — кучи уйка.

Зато хлеба в Находке давали не густо — граммов по пятьсот, но зэки выходили из положения тем, что собирали уек, сушили на солнышке, толкли в муку и пекли на кострах лепешки: не хлеб, конечно, но все же пища. Из этого же уйка на лагерной кухне варили суп и даже жарили его на второе. После колымского рациона эти рыбные блюда показались нам райской пищей, и уплетали мы их так, что аж за ушами трещало.

С уйка и началась наша инвалидная жизнь на материке в лагере бухты Находки. После еды нас, не мешкая, выгнали на работу: Находка являлась перевалочной базой для отправки всех грузов на Колыму. К этому времени уже поспела свежая капуста, поступавшая из окрестных совхозов (тоже островов архипелага ГУЛАГ) для дальнейшей отправки на Колыму. Капусты этой в Находке скопилось огромное количество. Она лежала на открытом месте, прямо на земле, неподалеку от лагеря, сваленная в огромные (до пятнадцати метров в высоту) кучи. Стояла сильная жара, порядка тридцати градусов, отгрузка капусты почему-то задержалась, и капуста начала гореть, причем гореть в самом буквальном смысле. Здесь я впервые в жизни увидел, как сама собой загорается капуста. Нас подвели к такой куче и велели баграми сталкивать с нее верхний слой. Уже на подходе к ней ощу-

---

* Уёк — мелкая рыбешка (сейчас ее называют мойвой). В июне подходит к берегу на нерест, и его волной выкидывает на сушу.

щалось повышение температуры. Самые верхние кочаны капусты были теплыми, но когда мы сняли с кучи верхний слой, под ним капуста уже оказалась вареной. Оголодавши на Колыме по овощам, мы, не обращая внимания на окрики начальства, с жадностью набросились на нее. Насытившись, мы стали эту кучу разгребать дальше. Под слоем вареной капусты была другая — горящая! От нее вились вверх синеватые полоски огня безо всякого дыма. Жар все усиливался, и подойти к куче ближе было невозможно.

Получив доступ свежего воздуха, капуста стала гореть сильнее, и буквально на наших глазах целые кочаны превращались в черные головешки. Спасти уже ничего было нельзя. От всей кучи (тонн не менее чем 500—700), осталось годной для отправки на Колыму не более 70—80 тонн капусты, а остальная сварилась или сгорела. Вот так и был выброшен на ветер труд многих тысяч людей. А как же эта капуста была нужна цинготной Колыме! Скольких людей бы она смогла спасти от этой страшной болезни! Да и на фронте она, наверно, не была бы лишней. А из-за «правильного подбора кадров по анкетным данным», из-за бесхозяйственности безграмотных лагерных начальников и их социально близких друзей — воров — все это богатство ушло псу под хвост. На капусте мы работали допоздна, но спасти сумели совсем немного.

На другой день объявилась одна блатная работа. Отправляли нас с Колымы в срочном порядке. Решение об этом было принято едва ли не за сутки до отплытия из Нагаево, причем львиная доля этого времени ушла на оборудование парохода, устройство нар, кухни, организацию охраны, обслуги и т. п. Нашему лагерному начальству на медкомиссию и прочие сборы были выделены буквально считаные часы. Поскольку вся лагерная обслуга состояла только из бытовиков, то в спешке могли произойти всякие недоразумения, которые вскрылись уже после нашего прибытия в Находку. При сверке обнаружилось, что некоторые зэки прибыли сюда без личных дел, а с некоторыми все наоборот: дело есть, а человека нет.

Местное начальство решило в этом разобраться. Но просмотреть, составить списки и полностью оформить несколь-

ко тысяч личных дел — работенка не из простых. Решили к этому привлечь наиболее грамотных зэков из вновь прибывших, в том числе и контриков, но с наиболее легкими статьями (АСА, например). В случае нужды можно было составить целую бригаду из одних докторов наук.

Наутро нарядчики кинули клич, на который сразу же отозвалось несколько сот человек: дело не в том, что работа эта полегче, чем переборка капусты, главное — вдруг появится возможность почитать свое дело, которое каждый из нас видел только издали. Поскольку выбор оказался большим, то к разборке личных дел допустили в первую очередь бытовиков пограмотнее, а контриков только с упомянутой мною выше статьей. Нас же, зэков с более тяжелыми статьями (КРТД — троцкисты, ПШ и ШД — подозрение в шпионаже, шпионская деятельность), к такой секретной работе решено было не привлекать, а использовать только на капусте, благо и ее оставалось немало.

Некоторые из нас — самые любопытные, в том числе и я, — договорились с теми, кого поставили разбирать дела, что если им попадутся наши дела, то прочитать повнимательнее и, по возможности, запомнить, а потом рассказать наиболее интересные моменты. К сожалению, мое дело к ребятам не попало, видно, досталось вольняшкам. Но многие ознакомились со своим досье и были поражены обилием и достоверностью сведений о себе!

Так, один бывший оппозиционер, почему-то прошедший по АСА и потому допущенный, тщательно проштудировал свое дело и был изумлен: начиная с 1919 года в деле были краткие, но достаточно полные изложения его выступлений на всех партсобраниях. Зафиксировано было большинство крамольных разговоров, которые он вел со своими товарищами и даже с шоферами во время поездок на машинах. Надо отдать должное: НКВД немало трудился, составляя такие досье.

В находкинском лагере было много зэков, обслуживавших сам лагерь. Хотя большинство из них и было бытовика-

ми, но, если человек приглянется местному начальству, то могли оставить и контрика. Жила такая обслуга вполне прилично: чистые бараки, постельное белье. Часть работала на прибывающих из Америки судах с продовольствием — разгрузка производилась на причалах у мыса Астафьева и всегда появлялась возможность не только вкусно и обильно поесть, но и принести кое-что в лагерь. Так что «постоянные» в Находке не бедствовали.

Но это были землепашцы на склоне вулкана: в любое время, если в отправляемом на Колыму транспорте с зэками окажется недобор, начинают шерстить «постоянных». Поэтому человеку, еще не очень старому и не имеющему явных физических дефектов, ничего не стоило, пробыв несколько месяцев в Находке, снова загреметь на Колыму.

Разгрузка Находки от инвалидов, прибывающих с Колымы, производилась только путем добровольной вербовки: приезжали должностные лица из других лагерей и забирали инвалидов, польстившихся на посулы легкой жизни, с собой. То были главным образом совхозы НКВД по выращиванию овощей (в Приморье их было много), но меня аграрный вопрос и сельскохозяйственные работы никогда не манили.

Я уже обжился в Находке, научился кантоваться и чувствовал себя неплохо. Но имелась и оборотная сторона: риск вернуться на Колыму. Отогревшись на южном солнышке (ведь Находка южнее Севастополя) и отъевшись на американских харчах, я заметно отошел: начали зарастать ключицы и дыра в заднем проходе, не так уж выпирали и ребра, и изредка я даже стал вспоминать о женщинах, чего со мной на Колыме никогда не было. Одним словом, с каждым днем пребывания здесь я все больше созревал для обратной отправки. Когда в Находку начали прибывать из России зэки, предназначенные для Дальстроя (они ждали судов), я сказал себе: пора мотать удочки.

Как-то зашел в наш барак нарядчик, с которым у меня сложились хорошие отношения, я ему составлял любовные письма, которые он отправлял в женскую зону. Он отозвал меня в сторону и предупредил, что со дня на день можно

ожидать отправки зэков на Колыму. Еще он сказал, что может устроить меня в небольшой этап, отправляемый в центральный ОЛП БАМлага в городе Свободном. Этот ОЛП — громадный лагерный комбинат, занимавшийся прокладкой вторых путей к Владивостоку. Там всегда была большая нужда в специалистах любого профиля, и я мог бы устроиться не только на общих работах. Я согласился, и на другой день вместе с пятнадцатью другими зэками был принят специальным конвоем, доставившим нас через Сучан и Угольную во владивостокскую тюрьму.

Города я на этот раз совершенно не видел, потому что от вокзала нас везли в «воронке». Зато хорошо познакомился с местной тюрьмой, капитально построенной еще в прошлом веке. Наружные стены метра в полтора-два толщиной, а окошко под потолком забрано решеткой толщиной в руку. Одним словом — Бастилия.

Поместили нас всех в одну камеру. Что ж, тюрьма как тюрьма: нары, параша, волчок в дверях…

НЕСВОБОДНЫЙ В СВОБОДНОМ: СТОЛИЦА БАМЛАГА

Этап на Свободный через Владивосток. — Столица БАМлага. — Соседи по комнате: К. Н. Мироненко, Н. И. Горбунов, Л. В. Пинчук, Артем и Коля. — Начальник ЦЭС Г. И. Херувимский и его гениальное решение проблемы лужи. — Коля и его медаль «За отвагу». — Дядя Вася. — Лагерная самодеятельность. — Я начал курить. — Прием у дантиста: Соня Аврутина и зубной протез. — Переписка с родными. — Июль 1944 года: вызов в Москву. — Прощание со Свободным. — Этап с двумя осетинами до Иркутска. — Этапирование образца 1944 года. — Проститутки на перроне. — Недельный путь до Иркутска. — Иркутская пересылка. — Тисканье романов за табачок. — Перегон до Новосибирска. — Сосланные чеченцы и ингуши. — Драка между вайнахами и уркачами. — Три дня в вокзальной КПЗ в Новосибирске. — Оказия на Уфу.

1

Пробыли мы здесь дня три, и опять «воронок» и столыпинский вагон. Ехали в нем по-божески: полагается на пятнадцать человек одно купе, а нам дали два.

Проехали Хабаровск, мост через Амур и, наконец, добрались до Свободного. Городок на реке Зее и столица БАМлага каким-то юмористом был назван Свободным! И не зря: здесь полностью осуществились джугашвилиевские свободы. Например, когда большая часть населения городка шествовала под бдительной охраной меньшей части населения по улицам так: руки назад, голова вниз, шаг вправо, шаг влево — побег, конвой стреляет без предупреждения. Короче, классическая, по Джугашвили, свобода как осознанная необходимость.

Вокзал почти у самого лагеря, всего минут десять-пятнадцать ходу. Прибыли в лагерь утром. Территория большая, много бараков, просторная кухня-столовая, хорошо оборудованный клуб для зэков и, что самое для меня дорогое, радиотрансляция, и не только на плацу, где всего несколько

рупоров типа «Аккорд», но и во всех бараках. Впервые, более чем за пять лет, я услыхал наконец радиопередачу — на Колыме в лагерях радио не было, а в тюрьмах тем более.

Как обычно, санобработка, кормежка, регистрация. Оказалось, что лагерь обслуживает большую центральную электростанцию (ЦЭС), питающую кроме лагеря еще и городское освещение, пожарную службу и часть потребностей оборонного завода ЦАРЗ. На этой электростанции была вакансия дежурного электрика. Попросился я на эту работу, и, несмотря на мою тяжелую статью, меня все же взяли дежурным монтером и поселили в комнату-общежитие зэков-ИТР, обслуживающих ЦЭС.

Жили в этой комнате пять человек, меня поместили шестым. Комната довольно просторная, в ней свободно помещалось шесть железных коек с тумбочками и еще небольшой шкаф и столик. Пол деревянный, большая печка-голландка, стены и потолок — беленые, на койках постельное белье: матрацы, подушки. В общем, не хуже, чем в районных гостиницах средней руки. Мне тоже дали койку, постельный комплект, и зажил я в свое удовольствие.

Все хорошо, но летом, особенно в жару, заедали клопы. Избавиться от них не было никакой возможности: не помогали даже прожарки паяльной лампой, клопы налезали потом из соседних комнат. Приходилось нам летом забирать свои постели и идти спать на улицу. Правда, жил в нашей комнате один механик — Горбунов, которого клопы почему-то не кусали: спит себе спокойно, по нему ползают, но ни один не укусит. Зато любого из нас буквально заедят!

Расскажу подробнее о соседях по комнате.

Мироненко Кузьма Никанорович, мой непосредственный шеф: самый старый из всех нас, порядком за шестьдесят. Впоследствии, года через полтора после моего прибытия, его актировали по старости и по этапу отправили к родным. Очень опытный электрик-практик. Сам из Баку. Еще до революции служил старшим электриком на нефтепромыслах у Нобеля, о котором всегда отзывался с большим уважением, как об очень деловом и знающем человеке, хорошо от-

носящемся к своим рабочим, за что Мироненко и «попал». Нобель его хорошо знал и очень ценил. Подтверждением этого может служить то, что Кузьма Никанорович при Нобеле имел квартиру из пяти комнат и пароконный выезд с кучером, что получали у него только самые ценные работники. Сидел Мироненко по статье 50, параграф 10 (контрреволюционная агитация), имел десять лет лагерей за то, что как-то сравнил порядки у Нобеля с современными.

Мастер он был исключительный, по электричеству умел делать буквально все. Особенно меня поразил один факт. Как-то нам надо было изготовить несколько мраморных плит для щитов. Дали мне мраморный лист миллиметров двадцать толщиной, и я, вооружившись замотанным в тряпку ножовочным полотном, стал отпиливать мрамор по размеру. Полотно было не очень крепкое, и промучившись часа два, я, как говорится, лапки кверху, а не распилил еще и десятой доли требуемого. Подошел Кузьма Никанорович, для порядка матюгнул меня, взял острое зубило, молоток и протюкал по мрамору нужную линию. Поднял лист и слегка ударил им по куску рельса вдоль линии тюкания, после чего мрамор ровнехонько откололся. Вся эта операция заняла не более десяти минут. Впоследствии я и другие монтеры несколько раз пытались таким образом резать мраморные листы, но они у нас после удара о рельс ломались в самых неожиданных направлениях, но только не по требуемой линии. Испортив таким образом пару листов мрамора, мы больше таких экспериментов не проводили, предпочитали мучиться с ножовочным полотном.

Ко мне Мироненко относился по-отечески, уважал мои теоретические познания, которых сам почти не имел. Он часто придирался к моей неаккуратности, иногда не скупясь даже на легкие подзатыльники, на что я никогда не обижался, потому что он всегда бывал прав. Как-то, чтобы открутить гайку на рубильнике щита, я взял плоскогубцы. Это привело Кузьму Никаноровича в ярость. «Засранец! — заорал он. — Ты не электрик, а портач! На каждую гайку существует ключ!»

Лично для меня Кузьма Никанорович очень много сделал. До Свободного я никогда не работал на ЦЭС с мощными генераторами и с распределительной системой. А хозяйство было немалое: две паровые машины Андиновского завода по 300 лошадиных сил, каждая со своим генератором переменного тока, и одна чехословацкая паровая машина «ZKF» с чехословацким генератором на 750 киловольт, трансформаторная подстанция на 6, 6 киловатт и большой распределительный щит со сложной коммутацией. И если за пару месяцев работы я стал вполне квалифицированным ответственным дежурным и диспетчером по распределению электроэнергии станции (мы работали в три смены по восемь часов), то это целиком заслуга Мироненко.

Горбунов Николай Иванович: механик по паровым машинам. Лет за сорок, тоже контрик, ничем особенно не примечательная личность. Немногословный, ничего о себе интересного никогда не рассказывал. Работал не как Кузьма Никанорович — по призванию, а просто потому что голод заставлял. Не прочь был иногда часть своей работы свалить на сменщика. Единственной его особенностью было то, что его клопы не кусали.

Пинчук Лука Васильевич: щирый хохол, настоящий украинский националист, из тех, которые, проектируя виселицу на коромысле, хотели бы с одной стороны повесить москаля, а с другой — жида. Здоровый плечистый малый, лет за тридцать. Тоже неплохой механик по паровым машинам. Характер веселый, в общении — приятен. Любил побалакать, особенно на неприличные темы. Имел лагерную «жену» — худощавую, стройную, черноволосую женщину по имени Сима. Несмотря на лагерные харчи, половая потенция Луки соответствовала таланту его знаменитого тезки из произведения Баркова. Когда он работал в ночную смену, а днем отдыхал дома, Сима регулярно приходила, и, уединившись под одеялом и абсолютно не стесняясь присутствия других отдыхавших в нашей комнате днем, они развлекались и весьма темпераментно.

Имел Лука в лагере и какого-то свояка — по Симе, ее бывшего лагерного мужа — стрелка из лагерной охраны. Свояк иногда запросто заходил к нам в комнату, и они с Лукой

дружески беседовали, обсуждая, иногда и в ее присутствии, качества Симы. Все лагерное начальство, конечно, знало об интимной жизни Луки и Симы, но из-за его незлобивого и веселого характера делало вид, что ничего не замечает, и во время визитов Симы к Луке никто их не беспокоил.

Артем, фамилии уже не помню, насосник. Наши паровые машины потребляли очень много воды, и вода эта оставляла накипь на стенках труб котлов. Приходилось время от времени останавливать машины, гасить котел, и специальными скребками, залезши в трубу котла, соскребать накипь. Почему-то эта операция называлась промывка труб. Городская электростанция пользовалась для своих котлов водой из Зеи. Эта вода имела много минеральных примесей, и приходилось промывать котлы чуть ли не ежемесячно.

На нашей ЦЭС зейской водой не пользовались, а для питания котлов у нас была пробурена специальная глубоководная скважина, вода из которой давала гораздо меньше накипи. Мы мыли котлы раз в четыре-пять месяцев, а то и реже. Воду приходилось качать специальным насосом в большую, висящую под потолком станции цистерну, из которой она уже самотеком шла в котлы паровых машин.

Артем отвечал за то, чтобы, по мере иссякания воды в цистерне, подкачивать ее электронасосом из скважины. У него было оборудовано специальное рабочее место, где находились рубильники насосов и прочие приборы, а также удобное полумягкое кресло. Днем Артем более-менее аккуратно выполнял свои обязанности, но в ночную смену дела у него шли хуже: как и Лука, Артем был лагерным комбинатором. Народу в лагере много, и Артем вел какие-то гешефты с урками, постоянно что-то продавал и покупал. Деньга у него всегда водилась, и, по лагерным масштабам, немалая. Была у него и лагерная «жена» — молодая симпатичная женщина, работавшая в портняжной мастерской. Особенно занят Артем был днем, в свободное до ночной смены время: тут он имел полный простор для своих гешефтов, да и «жена» нет-нет да урвет часа три-четыре и проберется в нашу комнату, чтобы покрутить с ним любовь, а заодно и плотно перекусить.

Короче, на ночную смену Артем приходил полусонный. «Упустить» воду в цистерне ему, конечно, не давали машинисты паровых машин, как только вода кончалась, они ему орали благим матом с машин: «Артем, блядь! Качай воду!» — да так, что и мертвого разбудят. Артем проснется, включит рубильник насоса и снова заснет. Дальше уже машинистам до Артема дела нет: вода есть, а остальное их не интересует. Вот и качается вода в цистерну, пока та не переполнится. Цистерна висела немного набок, и вода проливалась всегда в одно и то же место, где стояла классическая гоголевская «миргородская» лужа. Если вода из цистерны начинала литься на пол, Артема, конечно, будили, но лужа слегка расширялась.

Начальником ЦЭС у нас был вольный — *Григорий Иванович Херувимский*. Очень интеллигентный и симпатичный человек, хорошо относившийся к своим зэкам. Он не был специалистом-энергетиком, но неплохо разбирался в работе ЦЭС. И вот надоело ему смотреть на эту вечную лужу. Он понимал, что заставить зэков-насосников не спать в ночную смену выше его возможностей, и поэтому решил здесь применить автоматику, которая бы выключала насос после наполнения цистерны. Он обратился ко мне, как к единственному из персонала ЦЭС, у кого было хоть какое-то инженерное образование, с просьбой заняться этой проблемой.

Я предложил ему несколько вариантов, которые он забраковал из-за отсутствия необходимых для их реализации деталей. Больше я ничего предложить не мог, и тогда Григорий Иванович сказал, что сам подумает над этой проблемой. И через несколько дней он нашел поистине гениальное и элегантное решение этой задачи: рабочее место насосника перенесли в самый центр лужи, которую предварительно осушили. Туда намертво установили кресло и всю электроарматуру. Получилось очень хорошо: насос включался по требованию машинистов, а как только цистерна начинала переполняться, первая же струйка воды лилась прямо на голову заснувшему насоснику. Всякие переливы немедленно прекратились, и больше лужи на полу в ЦЭС не было.

Несмотря на то что Лука и Артем считались контриками, они были абсолютно неграмотны политически. Однажды вечером они мне рассказали, что за год до этого на ЦЭС работал кочегаром и умер еще до моего прибытия сюда какой-то Акулов, который выдавал себя за бывшего главного прокурора СССР*. Далее Артем рассказывал, что все они считали Акулова трепачом и совершенно его игнорировали. Все были страшно удивлены, когда я им подтвердил, что Акулов действительно был прокурором СССР до негодяя Вышинского, который его и посадил.

Через год после моего прибытия Артем заболел. Положили его в больницу, сделали операцию, но он, не приходя в сознание, умер под ножом хирурга. После его смерти Горбунов и Пинчук долго шарили по всевозможным местам в поисках заначки с артемовскими деньгами, но найти ничего не смогли.

Еще один сосед — *Коля*-механик, молодой симпатичной паренек, очень веселый и обходительный. Несмотря на наличие у него бытовой статьи, работник он был хороший, безотказный и добросовестный. Родом, между просим, из Свободного. К нему иногда приходили родные и приносили харчи: ржаные лепешки и картошку. Это у нас считалось лакомством. Со мной и Мироненко он делился: только мы двое жили на па́йке, остальные «комбинировали» и в этом не нуждались.

В нашей комнате Коля был третьим женатиком. Ходила к нему молодая и очень симпатичная женщина — Аня Преснякова, тоже из портняжной мастерской. Даже лагерный быт и харчи не смогли согнать с ее щек румянец и испортить веселый и добродушный характер. Подрабатывала она и донорством, причем кровь сдавала довольно часто. И хотя она получала за это дополнительный паек, но мне кажется, что не это было для нее главным: просто эта простая и добрая девушка была счастлива знать, что ее кровь спасет кого-то, может быть, родного брата, а их у нее на фронте было трое.

---

* Явное самозванство. Иван Алексеевич Акулов (1888—1937), первый прокурор СССР (в 1933—1935 гг.) был расстрелян 30 октября 1937 года.

Колю она, видимо, любила по-настоящему, но, в отличие от Симы и жены Артема, явно стеснялась своих посещений. Несмотря на это, она никогда не отказывала Коле ни в чем, хотя бы и в нашем присутствии (мы при этом отворачивались к стене и громко храпели).

Вскоре Колю как бытовика с не очень тяжелой статьей взяли на фронт, в штрафбат. Примерно через полгода вдруг появляется у нас на ЦЭС Коля, в полной военной форме и даже с медалью «За отвагу». Рассказал он нам историю получения отпуска и медали. Как-то целое отделение штрафников послали в разведку в тыл к немцам. Линию фронта перешли благополучно, а углубившись в лес километров на пять, обнаружили брошенный немецкий дот. Не ожидая, что дот обнаружат русские, немцы оставили в нем, кроме продовольствия и запаса шнапса, исправные пулеметы с боеприпасами. Ребята забрались туда, подкрепились фрицевскими харчами и, отдохнув там несколько часов, решили пробираться к своим. Но за это время немцы усилили охрану фронтовой линии, и, потеряв убитыми двух товарищей, ребята решили уйти обратно в лес. Зная, что в скором времени на этом участке фронта ожидается наступление наших войск, ребята решили дожидаться их в доте. И действительно, через несколько дней наши нажали, и немцам пришлось отступать именно через этот лес. Можно себе представить их удивление, когда по ним открыл ураганный огонь их заброшенный дот. Таким образом, немцы оказались между двух огней. В этом бою ребята уничтожили больше роты фашистов и обеспечили значительное и почти без потерь продвижение своей части. Но не меньше фашистов были удивлены и наши, обнаружив в заброшенном доте пропавшую разведку, которую считали либо покойниками, либо предателями.

В этой операции Коля получил легкое ранение в правую руку. За находчивость и успешные боевые действия командир отделения разведки получил орден Боевого Красного Знамени, а остальные, в том числе и Коля, медали «За отвагу».

Вообще говоря, по положению, со штрафников после первого выполнения боевого задания, или после ранения,

только снималась судимость, и их переводили в обычную воинскую часть, так как считалось, что они кровью искупили свою вину. Но в данном случае их подвиг был настолько значителен и полезен, что командование нашло возможным не только ходатайствовать о снятии судимостей, но и наградить орденами и медалями СССР.

Коля как раненый, помимо снятия судимости, перевода в нормальную часть и медали «За отвагу», получил еще и десять дней отпуска после госпиталя. Приехав домой в Свободный, он первым делом навестил нас. Наш шеф Херувимский и здесь оказался на высоте: не знаю как, но он уговорил начальника лагеря Александра Сергеевича Пушкина (надо же, такое совпадение!) отпустить на ЦЭС вместе со сменой и Аню Преснякову. На это время Григорий Иванович уступил им свой кабинет.

Вскоре Коля уехал обратно на фронт, и что с ним стало дальше, мне неизвестно.

Кроме нас, техперсонала, работали на ЦЭС еще и линейные монтеры, и кочегары и другие. Из кочегаров запомнились мне двое: Антропов и Вася Таскаев. Антропова, из-за некоторого сходства фамилий, окрестили Риббентропом, а он, не имея понятия, кто это такой, всегда откликался на это прозвище.

У нас на ЦЭС была неплохая баня с душем, куда иногда приходил купаться сам начальник оперчекистского отдела нашего лагеря капитан Симонов. Как-то, придя на ЦЭС, он услышал: «Эй ты! Долбаный Риббентроп! Опять пар упустил!» Узнав в чем дело, капитан возмутился: «Как это можно так оскорблять человека? Прекратить немедленно. Хотя Антропов совершил преступление и отбывает срок наказания, но разве можно его даже сравнивать с таким выродком, как Риббентроп!» Интересно, что он говорил про Риббентропа в 1939—1940 годах?

Вася Таскаев был бывшим стрелком охраны нашего лагеря. Небольшого роста, коренастый, очень добродушный и работящий. Свои десять лет он получил за то, что во время конвоирования на лесоповале у него какой-то зэк-уголовник

совершил побег. Вася кричал ему вслед и даже стрелял, но «не попал». Беглеца в тот же день поймали на железнодорожной станции, а Васе сунули десять лет лагерей. За доброту и отзывчивость мы все его очень любили, а за то, что он получил срок за нежелание убивать человека, Васю уважали даже уркачи.

Заслуживает внимания и гроза уркачей Дальнего Востока — дядя Вася — Белостоцкий. Воинское звание у него было невысокое — старшина, но в системе охраны лагерей он пользовался значительным авторитетом. Высокого роста, худощавый, жилистый, около сорока лет, дядя Вася обладал мгновенной реакцией и недюжинной силой. Хорошо владел как огнестрельным, так и холодным оружием, знал приемы разной борьбы и был грозой уголовников. Почти всю жизнь он прожил на Дальнем Востоке и служил на разных гулаговских островах. Через его руки проходили тысячи людей. Память на лица у него была феноменальная: любого более-менее заметного преступника дядя Вася запоминал на всю жизнь. Если где-либо на Дальнем Востоке ловили беглеца, не желавшего назвать свою истинную фамилию, то нередко, вместо того чтобы послать в Москву дактилоскопический запрос, что было связано с немалыми трудностями и потерей времени, беглеца доставляли пред светлые очи дяди Васи. В большинстве случаев опознание производилось мгновенно: только взглянув на доставленного, дядя Вася, почти не задумываясь, отвечал: «Как же, знаю, это Иванов, он же Петров... и т. д. Находился у меня в таком-то лагере в 19... году, срок имел такой-то». Отпираться было бесполезно, дядя Вася никогда не ошибался.

Весь преступный мир, содержавшийся в системе БАМлага, боялся его как огня. Очень требовательный и даже жестокий к бандитам-рецидивистам, дядя Вася весьма справедливо и даже доброжелательно относился к фраерам и к оступившимся людям, случайно попавшим в лагерь, а таких было подавляющее большинство. Он всегда заступался за них перед начальством, если такие люди попадали в подведомственный ему ШИЗО за невыполнение норм на тяжелых физических работах. Особо истощенных он, под свою личную ответственность, иногда брал на выходной день к себе до-

мой копать огород. Никакого огорода они не копали, вместо этого сердобольная супруга дяди Васи кормила их от пуза, а сам дядя Вася иногда и стопочку спирта подносил.

Зато, если блатные его проигрывали (если при игре в карты кто-либо из бандюг настолько проигрывался, что не мог рассчитаться, то его либо убивали самого, либо заставляли для отыгрыша убить кого-либо из особо ненавистного лагерного начальства, это называлось «проиграть начальничка», причем дядя Вася в таких случаях всегда бывал одним из первых кандидатов), то один из фраеров предупреждал его: мол, завтра утром на разводе какой-нибудь Ванька-Чума будет его, дядю Васю, рубить топором.

На другой день дядя Вася спокойно стоит на разводе и, когда подходит к воротам «пятерка» с Ванькой-Чумой, который должен его рубить, дядя Вася мгновенно страшным ударом кулака или ноги валит его на землю, вытаскивает из его бушлата топор и, еще несколько раз наподдав Чуме, велит нести его в ШИЗО, дойти сам тот уже не может. Правда, уголовных дел на таких деятелей дядя Вася не заводил, а, подержав в ШИЗО суток десять, переводил в другой лагерь, чтобы за неуплату проигрыша их не убили свои же дружки. Но подобные экземпляры встречались не часто, ведь в большинстве случаев в охране работали потерявшие человеческий облик палачи.

В лагере имелся неплохой клуб для зэков. Большой, теплый, прилично оформленный зал мест на 500—600, в котором регулярно давали киносеансы, хорошо оборудованная сцена с кулисами, занавесом и даже с уборными для артистов, и на сцене очень неплохой рояль «Блютнер». Как-то случайно, днем и в нерабочее время, я попал на сцену клуба, и при виде рояля у меня аж слюнки потекли. Как раз в это время там находилась наша начальница КВЧ (культурно-воспитательная часть при лагере, в обязанности которой вменялось культурно воспитывать зэков, в том числе и таких как я), Ласточкина, почему-то всегда, даже в самую жаркую погоду, носившая платья с глухим, до самого подбородка, воротом. Злые языки поговаривали, что Ласточкина, сама

из бывших зэков-бытовиков, в прошлом осужденная за воровство и проституцию, имела под самой шеей татуировку «Хоть стой, хоть падай», и поэтому не может, в своем теперешнем положении, носить даже самое маленькое декольте.

Я попросил разрешения поиграть на рояле. Если не считать «Волховстроя», то я до этого более шести лет не притрагивался к клавишам. Тем не менее Ласточкина предложила мне участвовать в лагерной самодеятельности в качестве концертмейстера-аккомпаниатора. На ЦЭС я работал всего по восемь часов в сутки, и свободного времени у меня было достаточно, так что я с радостью согласился. С тех пор я все свое свободное время проводил в клубе за роялем. И это были самые счастливые моменты за все мое пребывание в заключении, потому что, заигрываясь на рояле, я полностью терял чувство реальности и как бы переносился в иной мир, где не было всей этой пакости.

Пальцы мои начали понемногу разминаться, но октаву правой рукой сверху я уже брать не мог. Зато я неплохо приспособился вместо октав играть секстами и терциями, что моих «меценатов» вполне устраивало. Кроме меня, все остальные артисты были бытовиками. Был один парнишка — Гена, из мелких воришек, с неплохим баритоном, было несколько женщин, из бывших воровок-проституток, словом, «изысканное» общество.

Меня, как самого «старого» (тридцать три года, а на вид и все сорок — Колыма) и интеллигентного, они уважали и пытались при мне воздерживаться от выражений. Я же старался держаться с ними строго официально и не отвечать на заигрывания представительниц прекрасного пола: во-первых, я еще полностью не отошел от Колымы и больше думал о лишней миске баланды, чем о женщинах, а во-вторых, все эти «фемины» были, по крайней мере в прошлом, венерическими больными, и ко всем моим бедам мне не хватало только какого-нибудь сифилиса. Во всяком случае, сидя за роялем, я играл не только для артистов и ценителей музыки, но и для себя. Я отдыхал душой и телом и легче переносил свою проклятую судьбу.

Запомнилась мне одна молодая женщина-артистка, довольно симпатичная, бывшая проститутка Олечка Синельникова. Голос — высокое сопрано — серебряный колокольчик, чистый, звонкий, ни дать ни взять Нежданова в молодости. Школы никакой, но это еще полбеды, ведь для нашего репертуара особой школы и не требовалось, но самое скверное — полное отсутствие какого-либо музыкального слуха. Когда поет, то, как тетерев на току, слышит только себя. Ни рояля, ни хора — ничего для нее не существует. В процессе исполнения может запросто хватить на полтона или даже на тон выше или ниже, благо диапазон голоса у нее был достаточно велик. Мучился я с ней больше месяца, чтобы она смогла выступить на концерте хотя бы с двумя-тремя номерами. Ставить ее как полагается, впереди рояля, было нельзя: дав «петуха», она уже не обращала внимания ни на какие мои сигналы, так как их не видела. Тут я сообразил поставить ее рядом с собою, строго приказав во время исполнения смотреть не в зал, а только на меня. Дело пошло лучше. В случае чего я давал ей сигнал рукой выше или ниже и она на это реагировала, во всяком случае два или три концерта у нас прошли благополучно, и Олечка имела у публики определенный успех.

Затем нашей самодеятельности подфартило: появился в Свободлаге уже упоминавшийся мною мой приятель по Колыме — Коля Солнцев. Коля к этому времени успел освободиться, гульнуть на воле, и за какие-то прегрешения получить новый срок и с ним попасть к нам в Свободный. Он меня сразу же узнал и очень обрадовался, что нашел «земляка» по Колыме. Я тут же сообщил Ласточкиной, какое сокровище у нас оказалось, и Солнцева сразу зачислили в основной состав нашей самодеятельности.

Существовали так называемый основной штат самодеятельности и добровольцы. Основные занимались только артистической деятельностью. Разъезжали с концертами по другим лагерям, давали концерты в городе. Большинство из них были расконвоированы, то есть имели право в дневное время выходить за зону лагеря, и поэтому в основной состав брали только бытовиков. Добровольцы, к которым в виде ис-

ключения причислили и меня, от основной работы в лагере не освобождались, а участвовали в самодеятельности в свое свободное время, и поэтому иногда, как в моем случае, их брали и с более тяжелыми статьями.

Коля очень много рассказывал о своих похождениях на воле, о романах с женщинами, даже со знаменитой в те времена Тамарой Ханум, врал конечно, ведь этому уркачу соврать, что раз плюнуть, но врал очень забавно. Привез с собой Коля ставшую очень скоро знаменитой песню на стихи Симонова «Жди меня», ведь в те времена ждало больше половины России: кто с фронта, а кто из заключения. Пел он эту песню совсем на другой мотив, иначе, чем она пелась в кинокартине «Парень из нашего города», и на мой взгляд, его музыка лучше гармонировала с текстом, чем музыка в фильме. Исполнил Коля эту песню на одном из наших концертов. Аккомпанировал ему я. Голос у Коли был хоть и небольшой, но очень приятного тембра, петь он умел; музыка была хоть и простой, но очень доходчивой. Успех был ошеломляющий: среди зэков было много бывших военных, и стихи попали в точку. Ползала плакало, не пряча слез, Колю долго вызывали на бис.

Успех Солнцева был настолько велик, что слух о нем распространился по всему городу и Колю пригласили выступить в клубе НКВД и еще в каком-то клубе. Так как без меня он выступать категорически отказывался, то на концерты брали и меня, обрядив в чей-то костюм, потому что в моем тряпье выходить на большую сцену было невозможно. Ко мне приставляли для надежности специального стрелка, который забирал меня из лагеря, не спускал с меня глаз во время концерта и отводил обратно в лагерь. Как потом выяснилось, караулить-то надо было не меня.

Однажды я вдруг узнаю, что мой «керя» Коля Солнцев, пользуясь своей бесконвойностью, совершил побег. Стали «таскать» все его окружение, добрались и до меня. И вот предстал я пред светлые очи дяди Васи. Поскольку дядя Вася знал, что я честный фраер и никогда никаких дел с блатными не имел, он отпустил меня с миром, но на всякий случай сделал в нашей комнате шмон. Ничего криминального у нас не

нашли, кроме карты Западного полушария из учебника географии, неведомо какими путями попавшей в чемодан Пинчука. То, что на карте изображены только Северная и Южная Америка и пользоваться ею при побеге невозможно, во внимание принято не было: карту изъяли. Не знаю, поймали Солнцева или нет, но больше я его никогда не встречал. Жаль мне его: талант артиста у него был!..

В скором времени наша самодеятельность начала хиреть: бытовиков позабирали на фронт, в штрафбаты, ведь после битвы на Волге началось наступление наших войск и начальство уже не так боялось появления в армии бывших лагерников. Большинство штрафников из бывших зэков зарекомендовали себя храбрыми солдатами и, как наш Коля, были переведены в обычные части со снятием судимости, а многие даже были награждены орденами и медалями. Ушло на фронт и большинство наших работяг. Культурно воспитывать стало некого, и самодеятельность прикрыли. Тут еще из-за уменьшения контингента зэков — молох войны требовал все больше пушечного мяса — значительно уменьшили зону, площадь лагеря. Клуб, стоявший у края зоны, оказался на воле, и в нем открыли обычный кинотеатр для городского населения.

Так кончилось мое музицирование. Остались только работа на ЦЭС и отдых в нашей комнате, да и то было скучновато: актировали и отправили к родным дряхлого Кузьму Никаноровича, умер Артем, забрали на фронт Колю, из старых остались только Горбунов, Пинчук и я. Освободилась и кудато уехала «жена» Пинчука Сима. Несмотря на временность, Лука, по-видимому, был к ней очень привязан, и сейчас совсем затосковал. В нашу комнату почему-то никого не подселяли, да и вообще лагерь пополнялся очень незначительно: все этапы из России шли мимо, на Колыму, и в свободное время, особенно в ненастные дни, лежали мы втроем на своих койках, как волки в логове, и думали свои невеселые думы. Разговаривать не хотелось, да и обо всем уже давно было говорено. Читать? — так не было книг. И оставалось только одно — радио. Слушали мы его, не выключая, от и до.

Вот тогда-то, на тридцать четвертом году жизни, я начал курить. До этого в рот не брал табака, а тут научили наши линейные монтеры со станции: расконвоированные бытовики, они свободно ходили по городу и, где могли, шабашили. Например, воровали в лагере и на ЦЭС электрические лампочки, которые тогда были в большом дефиците, и меняли их в городе на продукты. Так как почти все мужчины были на фронте, а женщины томились, то у некоторых монтеров были в городе постоянные женщины, и те их подкармливали.

Я считался на станции ответственным дежурным, и формально линейные монтеры подчинялись мне. В любое время я мог не пустить их в город, а оставить для какой-либо работы на станции. Хотя я и не злоупотреблял этим своим правом, но монтеры прекрасно понимали свою зависимость от меня, и время от времени что-нибудь подбрасывали и мне от своих доходов. С этого и началось мое курение: времени свободного много, читать на дежурстве запрещено, да и нечего, а тут монтер дымит самосадом. Началось с баловства, а потом втянулся и до 1981 года, уже пятый десяток лет, скуриваю в день по пачке сигарет. (Если правда, что каждая сигарета сокращает жизнь на пятнадцать минут, то я уже «прокурил» более восьми лет жизни и мне сейчас не семьдесят, а уже почти восемьдесят лет.)

Через некоторое время у меня начали сильно болеть зубы. Больше половины их еще на Колыме повытаскивал наш врач Борис Максимович Мустафин, а сейчас уже и передние так расшатались, что даже хлеб стало нечем жевать. Прошел по лагерю слух, что в медчасти два раза в неделю работает зубной врач из эвакуированных, специально по обслуживанию зэков. Записался на прием и я. Два раза не смог попасть из-за большой очереди, а на третий все же попал.

Сидит в кабинете молодая женщина, темноволосая, упитанности выше средней, явно неарийского типа. Когда она услышала мою фамилию, сразу же оживилась: «А вы не из Минска?» Я ответил, что лично я — нет, но мой отец, дед и многие другие родственники — оттуда. Оказалось, что она и сама из Минска, зовут Соней Аврутиной. Она очень хоро-

шо знала многих моих минских родственников и даже сама была мне немного сродни. Увидев меня в таком виде, Соня сильно расстроилась и расплакалась. Тут же достала из своей сумки ломоть хлеба и кусок рыбы, чтобы меня покормить. От угощения я отказался, заверив, что в лагере нас кормят вполне достаточно.

В тот день я был у нее последним пациентом, никто нас не подгонял, и она рассказала мне одиссею своего спасения и эвакуации. Я уже не помню всех страшных подробностей, которые она сообщала, но во время ее рассказа у меня просто кровь холодела: такого я не только даже в Испании не видал, но и представить себе не мог.

Соня у нас проработала недолго, месяца три-четыре, а потом куда-то уехала, и я ее больше не встречал. С зубами она оказала мне огромную помощь: в лагере зэкам зубных протезов бесплатно не ставят (это только выбивают зубы задаром), но ей удалось договориться с начальством, и зубной протез мне сделали. После чего я сразу ожил и мог жевать уже не только хлеб, который до этого размачивал.

В Свободном у меня установилась постоянная переписка с родными. Родители уже не было в живых: отец умер в 1938 году, когда я находился в Полтавской тюрьме, а мать — в 1942 году, прямо по дороге в эвакуацию, и ее похоронили буквально на ходу. И пусть говорят что угодно насчет телепатии, насчет вещих снов, но факт есть факт. Когда я ехал из Находки в Свободный, мне две ночи подряд снился один и тот же сон: у меня изо рта выпадали зубы, причем с кровью. Какой-то ехавший со мною старичок уверял, что это очень плохие сны и что у меня, наверное, умер очень близкий и любящий меня человек. Тогда я этому не придал значения, но когда узнал из письма сестры все подробности о смерти матери, сопоставил время ее смерти со временем этого страшного сна, они сошлись довольно точно.

Помимо сестер и тетки, я установил переписку с двоюродным братом Яшей Эдельманом, находившимся на фронте. Яша перед самым началом войны закончил Военную инженерно-техническую академию связи имени Подбельского. Когда

началась война, их досрочно выпустили из Академии, и присвоив звания «инженер-капитан», отправили в действующую армию. Прошел Яша через весь ад начала войны. В 1943 году, к моменту начала нашей переписки, он служил в штабе Черняховского*. Пока ему везло: за эти годы он получил только одну, да и то не очень тяжелую контузию и всего неделю пролежал в госпитале. Яша знал, где я нахожусь, но отвечал всегда очень сердечно, да и я всегда писал ему такие письма, которые повредить его военной карьере не могли.

Вот так, ни шатко ни валко, и шла моя жизнь в Свободном. Заявлений об отправке на фронт от нашего брата не принимали: видимо, решили, что добить фашистов можно и без нас, не давая нам в руки «козырь» участника Отечественной войны. Я уже примирился с мыслью, что, отбыв свой срок, я останусь здесь, в Свободном, на том же ЦЭСе: но не зэком, а гражданином, хоть и второго сорта.

А срок мой шел. Кончился 1943 год, миновала половина 1944 года — до конца срока (май 1945 года) оставалось даже меньше года! И вот в июле 1944 года вызывает меня Херувимский и ошарашивает: «Ну вот, Лев Лазаревич! Пришла нам пора расставаться. Очень жаль, мы хорошо с вами сработались, но сделать я ничего не в силах. Скажу по секрету: вас вызывают в Москву».

У меня похолодели ноги. Зная норов энкэвэдэшников, я понял это так: срок кончается, и вот зовут за добавкой. Увидев мою растерянность, Херувимский стал меня успокаивать: «Не расстраивайтесь, Лев Лазаревич, я точно знаю, что вызывают вас не на добавку, а по линии Четвертого спецотдела НКВД для использования по специальности»**. Я ему и поверил, и не поверил: просто Херувимский, добрая душа, не хочет меня расстраивать.

С тяжелой душой возвращался я в тот день в лагерь. Молча лег ничком на свою койку и погрузился в невеселые думы: значит, прощай свобода, хоть и с ограничением в прожива-

---

* Черняховский Иван Данилович (1906—1945), генерал армии, командующий 3-м Белорусским фронтом.

** Особое техническое бюро, курирующее «шарашки».

нии? Опять тюрьма и нары, и так уж до конца жизни?.. Значит, стал я пожизненным зэком, как и многие другие, кого я встречал на своем крестном пути?

За что?

Ответа на этот вопрос я, конечно, найти не мог.

2

Рано утром в нашу комнату зашел нарядчик и сказал мне, что меня вызывает к себе начальник лагеря. Захожу в его кабинет. А. С. Пушкин сидит на своем месте и весьма благожелательно улыбается: «Ну что, Хургес, едете на родину — в Москву! Собирайте ваши вещи, на работу можете сегодня не выходить». Я обнаглел и обратился к нему: «Гражданин начальник, очень прошу вас сказать мне правду: это на добавку срока?» Пушкин спокойно ответил: «Не волнуйтесь, Хургес. Если бы требовалось, то добавку вам вполне могли бы оформить и здесь. Можете мне верить: едете в Москву по вызову Четвертого спецотдела НКВД, лично к начальнику этого отдела генералу Кравченко*, для использования по специальности».

И как-то я сразу успокоился. Раз два начальника, оба компетентные, повторяют одно и то же, значит можно верить. Пушкину-то уж точно мне врать ни к чему.

Но он продолжал: «Поедете общим этапом, сегодня вечером. В конторе получите паек на три дня». Потом, немного подумав, спросил: «А у вас есть собственное одеяло?» Я ответил, что у меня уже давно ничего собственного нет, и Пушкин обещал дать команду, чтобы одеяло у меня не отбирали, потому что дорога может быть довольно долгой.

Попрощавшись со столь любезным начальником и поблагодарив его за откровенность и за подарок, я, уже в лучшем настроении, отправился собираться в дорогу. Еще бы: я еду в Москву! И хотя пока зэком, но работать буду по специальности, а уж после освобождения смогу остаться работать там же, но

---

* Кравченко Валентин Александрович (1906—1956), генерал-майор, начальник Четвертого спецотдела НКВД с мая 1949 года.

вольным. Ведь радиопредприятие или вуз в какой-то глухомани не организуют, так что все к лучшему в этом лучшем из миров.

Дежурившие в ночную смену Горбунов и Пинчук оказались дома. Когда я им рассказал свои новости, они очень за меня обрадовались. «Блатмейстер» Пинчук тут же побежал по своим связям и часа через два принес мне на дорогу буханку хлеба, кисет с табаком (потому что курил я уже по-настоящему!), граммов двести сахара и несколько сушеных рыбин. Зная прижимистость Пинчука, я был этим совершенно растроган.

К середине дня пришел нарядчик, принял мое казенное имущество, кроме одеяла (Пушкин свое обещание сдержал). Собрав в мешочек свои продукты, как поднесенные Пинчуком, так и полученные в конторе, я обнял соседей, пожелал им здоровья и скорейшего освобождения.

Конвой уже ждал меня на вахте. Вместе со мной из лагеря этапировалось два молодых осетина, но их везли только до Иркутска. Зная, что в пути мы, возможно, будем в окружении уголовников, мы решили держаться вместе и в случае чего дать отпор. Оба осетина, молодые и здоровые, с кавказским темпераментом, даже сумели пронести через все шмоны небольшие самодельные ножи.

Несколько слов об общем этапировании: к зэкам никогда не применяются термины «переезд», «перевозка» и т. д. — зэков только этапируют. Этапирование происходит только под конвоем. Конвой тоже имеет несколько градаций. *Спецконвой* — это когда зэков, особо важных или опасных, один и тот же конвой везет от места до места без завоза в промежуточные тюрьмы: именно так нас с Шубодеевым и Брайаном везли из Симферополя в Москву. *Спецэшелон* — это когда большое количество зэков везет один и тот же конвой, но уже не в столыпинском вагоне, а в специально оборудованном железнодорожном эшелоне, от места до места: так нас везли из Новочеркасска во Владивосток. И *обычный — этапный — конвой*. В этом случае конвой, в специально для него закрепленном столыпинском вагоне, постоянно курсирует между двумя крупными городами, в которых находятся пересыльные тюрьмы: так нас везли из Находки в Свободный. Такой

конвой обязан принимать зэков на любой станции своего маршрута и доставлять их либо по назначению на одну из станций по пути следования вагона, либо привозить в пересыльную тюрьму конечного пункта своего маршрута. В нашем случае ею была Иркутская пересыльная тюрьма.

Если какие-либо зэки должны были следовать дальше, как, например я — в Москву, то они оставались на пересылке до оказии следующего конвоя, курсирующего дальше: в нашем случае — от Иркутска до Новосибирска, и так далее до конца своего следования. Это называлось «следовать по общему этапу».

Ввиду того, что оказия конвоя часто задерживалась, такое путешествие могло продолжаться месяцами; порой забывали на пересылках или самих зэков, или их личные дела, и это уже пахло не одним месяцем задержки. Полными хозяевами на пересылках были рецидивисты-бандиты, они делали с фраерами все, что хотели. Сами мы, я и осетины, уже были битые фраера, то есть старые лагерники, брать у нас было нечего, свои запасы мы, зная порядки на этапе, сразу же съели, и пересылка нам ничем не грозила. Лагерный конвой отвел нас троих на вокзал, где уже находилась большая группа женщин легкого поведения, и все мы, вместе с конвоирами, разместились на перроне в ожидании поезда Хабаровск—Иркутск, к которому должны были прицепить наш столыпинский вагон.

Ждать пришлось довольно долго, поезд опаздывал. Женщины были «взяты» из Свободного, все профессиональные воровки-проститутки, эвакуировавшиеся в войну на Дальний Восток. Они получали сравнительно небольшие срока и следовали из Свободного в какой-то специальный женский лагерь неподалеку от Иркутска. Тут я впервые увидел воочию, каким циничным бесстыдством может обладать этот сорт женщин: очень симпатичные на вид, совсем молодые, неплохо одетые, накрашенные и напудренные, они непрерывно издевались над конвоирами — молодыми ребятами, бывшими фронтовиками, с орденами и медалями, которых по ранению или состоянию здоровья отправляли с фронта на охрану зэков, то подымая подолы юбок, делали им гнусные предложения, то обливали этих мальчишек отборнейшей матерщиной. Ребята,

не знавшие как в таких случаях поступать, не решались бить их прикладами, что без всякого зазрения совести сделали бы старые конвоиры, а только густо краснели и отворачивались. Потом этим бабам захотелось на оправку, а так как туалет был довольно далеко и прибытие поезда ожидалось с минуты на минуту, то конвоиры просили их потерпеть. Тогда они уселись и справили свою нужду прямо на перроне.

Вскоре подошел наш поезд, и конвоиры сдали прекрасную половину своего груза конвою столыпинского вагона. Там было уже довольно много зэков. Нас поместили в купе, куда вместо положенных девяти набили пятнадцать человек. Конвой вагона был уже битый и с красавицами особенно не церемонился: их также рассовали по переполненным женским купе, и не меньше, чем по четырнадцать-пятнадцать человек.

Было начало июля, жара в переполненном вагоне стояла страшная. Конвоиры открыли в коридоре окна, но дышать было буквально нечем, все обливались потом. Хорошо, что вскоре зашло солнце и стало прохладнее.

В вагоне мы узнали радостную весть: союзнички, наконец, открыли второй фронт, их высадка во Франции прошла благополучно, и наступление идет успешно. До этого «вторым фронтом» называли американский свиной жир — лярд*.

Мне повезло: для лежания пока места не нашлось, и я сидел на краешке нижних нар около зарешеченной двери. Сидеть было утомительно, но можно было глотнуть воздуха. Из окон тянуло ночной прохладой, и при свете полной луны можно было любоваться красотами сибирской тайги. Поздней ночью на дежурстве остался конвоир — молодой парень без трех пальцев на левой руке, но с орденом Отечественной войны на гимнастерке (тогда еще было мало «колодок» и не считалось зазорным носить боевые ордена). В нарушение устава мы с ним разговорились — время было позднее, и конвоир скучал один в коридоре. Узнав, что я командир РККА и тоже имею боевую награду, он расчувствовался, угостил меня табачком, принес большую кружку сладкого

* Ср. аналогичную шутку: «открыть второй фронт» — значит «открыть банку консервов».

чаю и даже дал почитать газету, описывавшую высадку союзников. Мы проговорили часа два, а к концу он даже стал меня утешать: «Не тушуйся, отец. Сейчас война, не до вас, — война кончится скоро и распустят вас по домам». В течение всего пути до Иркутска в свои ночные дежурства этот парень иногда ко мне подходил, угощал махоркой и чаем.

3

Суток через семь-восемь после отъезда из Свободного мы прибыли, наконец, в Иркутск. Это был конечный пункт маршрута нашего конвоя. Здесь они сдавали нас в пересыльную тюрьму и брали себе новых направляемых на восток. Нас всех (человек пятьдесят) выгрузили и пешим порядком через весь город (километров семь-восемь) отправили в иркутскую пересылку. Со всех сторон нас окружали конвоиры с карабинами, а сзади шли охранники с собачками. Эти звери тяпали отстающих за ноги, и потому приходилось поспешать.

В Иркутске, видимо, уже привыкли к подобным зрелищам и шли по своим делам, не обращая особого внимания на нашу процессию, только изредка сердобольная старушка, остановившись, провожала нас сочувственным взглядом, а иногда даже тайком крестила нас вслед.

Привели нас в пересыльную тюрьму и разместили по камерам. Камера как камера: те же уркачи-фюреры, решетки с козырьками на окнах, параша, жиденькая баланда, пайка хлеба в 400 граммов, духота, вонь. Народу очень много, но все разместились на нарах. Моих осетин поместили в какую-то другую камеру, и я их больше не встречал.

Продукты я съел уже давно, в поезде, табачок тоже давно скурил, и не так хотелось есть, как курить. В камере некоторые курили, но просить у них было бесполезно, сразу видно — жмоты, не дадут. Тут принесли обед. Уркачи отлили себе что пожирнее и погуще, а остальное отдали фраерам. Похлебал я этой баланды и прилег на нары отдохнуть. Сколько же здесь придется пробыть? Некоторые, говорят, сидят по

месяцу и больше. Да, на таких харчах будет тяжеловато, но что поделаешь?

Уркачи, поев, разошлись по своим козырным местам около окон и тоже скучают. Этап для них получился неудачным — все бывшие лагерные: что с них возьмешь? Тут их фюрер бросил клич: «Эй, фраера, кто может роман тиснуть? Закурить дам». Вспомнил я Павла Кочерца из Бутырской пересылки и решил попробовать силы на романическом поприще. Подсел к уркачам и начал, да погромче, чтобы вся камера слышала, тискать «Графа Монте Кристо». Сам я читал его очень давно, многое забыл и потому дополнял отсебятиной, но моих слушателей это вполне устраивало. Проговорив так минут десять, я схватился за уши. «Ну, давай дальше», — просит фюрер, а я ему в ответ: «Не могу, уши болят!» Смеясь, фюрер сыплет мне в бумажку щепотку махорки.

Я закурил и понял: от долгого некурения голова начала немного кружиться, но урчание в пузе прекратилось. Так стал я в камере штатным романистом. За это мне выдавалась махорка, порция баланды, а во время чтения романов уркачи давали закурить, так что жить стало полегче. Народ в Иркутской пересылке собрался с бору по сосенке, в основном мелкие воры, спекулянты, растратчики, а из контриков — колхозники и рабочие, за какую-нибудь жалобу на жизнь или просто так. Отвести душу в разговорах было не с кем, контингент 37-го года, видимо, уже погиб в тюрьмах и лагерях.

Но время шло, и прибыла, наконец, и моя оказия. Вызвали меня с вещами. Опять марш через город, новый конвой на участке от Иркутска до Новосибирска. А там опять предстоит «отдых». Ну что ж, у меня ведь не спрашивают.

«Ехать так ехать!» — сказал попугай, когда его кошка из клетки тащила…

4

И опять столыпинский вагон, духота, тринадцать-пятнадцать человек в купе, голодуха и прочее. Добрались и до Ново-

сибирска. В отличие от погрузки, с выгрузкой что-то не торопятся. Наконец команда: «Выходи все!». Выходим на перрон. Все мы транзитники, все следуем через Новосибирск — кто куда. Но в город, в тюрьму, нас почему-то не ведут. Усадили на перроне на солнцепеке, возле главных путей. Старший по конвою объявил, что здесь мы останавливаться не будем, а сразу же по прибытии поезда проследуем до Уфы.

Позже выяснилась причина такого «сквозняка». В отличие от Иркутска, в Новосибирске пересыльной тюрьмы не было, и поэтому всех этапируемых транзитных зэков помещали, в ожидании оказии на запад, в особую зону новосибирского городского острова архипелага ГУЛАГ. Туда должны были нас поместить и нас, но тут у них случилось кавказское ЧП.

В Новосибирский лагерь пригнали большую партию высланных со своей родины чеченцев и ингушей*. В те времена Джугашвили практиковал массовые выселения со своих родных мест целых народностей — якобы за пособничество немецким фашистам. Среди таких выселенных были чеченцы и ингуши, это произошло 23 февраля 1944 года. Официальной причиной было то, что при наступлении фашистов на Северный Кавказ они якобы с нетерпением их ожидали и формировали в тылу наших войск целые банды, снабжаемые фашистами оружием и боеприпасами по воздуху. Последней каплей, переполнившей чашу терпения Джугашвили, стало сообщение о том, что самые почтенные старики из чеченцев и ингушей, подобрав белого коня лучшей породы и полную кавказскую форму (черкеску, бурку), якобы переправились через линию фронта, приехали в Берлин и там лично вручили все это Гитлеру, заверив его, что чеченский и ингушский народ с нетерпением ждут прихода фашистских войск и установления нового порядка на их земле.

Конечно, достоверность этих фактов не была полностью установлена, но Джугашвили решил на всякий случай выселить всех чеченцев и ингушей с их родины в Казахстан, на пустынные и необитаемые земли.

---

* Депортации чеченцев и ингушей в Сибирь не производились, так что скорее всего речь идет об арестованных и осужденных.

Многие мужественные и воинственные горцы, попавшие под несправедливое выселение, пытались как-то сопротивляется и вставать на защиту своих семей, но силы были слишком неравны: особо активных пристреливали на месте, а других изолировали, сажали в тюрьму и давали им сроки по «баранке» или больше. Всех их потом отправляли в дальние сибирские лагеря или на Колыму для физического уничтожения. Вот такие 500—600 горцев и попали летом 1944 года в пересыльный лагерь в Новосибирске.

До их прибытия там находилось примерно такое же количество бандитов-рецидивистов, которых собирали для отправки на Колыму. Эти бандиты с молчаливого согласия администрации являлись в лагере полными хозяевами, грабили всех попавших туда прямо с воли фраеров. Но тут прибыли горцы, многие с приличными шмотками; не зная, с кем имеют дело, бандиты и у горцев начали шуровку на общих основаниях и для порядка одного из них пырнули перышком. Горцы — это не простые фраера, жили они дружной семьей, драться умели, у многих были ножи, которыми они пользовались получше дилетантов-бандитов, и тут как в басне: «Волк ночью, думая залезть в овчарню, попал на псарню». Все горцы поднялись на защиту своего товарища. Началась резня: трусы-уркачи сразу же попытались ретироваться, озверевшие горцы погнались за ними, орудуя направо-налево своими ножами, ведь, несмотря на то что уркачи были такими же зэками, как и горцы, и никакого отношения к выселению не имели, они первыми к ним полезли и порезали их товарища. Когда оставшиеся в живых уркачи скрылись в своем бараке, горцы подожгли его и не успокоились до тех пор, пока не зарезали последнего из нападавших, правда, бараков, где жили обычные зэки, горцы не трогали, хотя в экстазе и прикончили несколько попавшихся на пути случайных людей.

Почти два дня длилась эта битва, точнее, избиение. Охрана здесь ничего сделать не могла, стрелять из стоящих на вышках пулеметов в толпу она не имела права, так как за зону никто из них не заходил, вмешаться самим в драку тем более не имело смысла, в лагере перевес сил был бы явно не в поль-

зу охраны. Ведь шестьсот озверевших людей да еще с кавказским темпераментом — это не шутки! Стрельба в воздух поверх голов дерущихся ничего не дала, обезумевшие от ярости горцы на нее просто никакого внимания не обращали. Попытались с вышек поливать толпу сильными струями воды из пожарных насосов — тоже бесполезно, время летнее — жара, бойцы даже себя лучше чувствовали. И пришлось охране ждать, пока драка не утихнет сама собой.

После этого из социально близких отправлять на Колыму было уже некого, да и разгром в лагере был произведен капитальный. Поэтому и в пересылку никого не принимали. Так что нам повезло — избавились от длительного, возможно, месячного сидения в Новосибирской пересылке. Нас оставили на вокзале в Новосибирске. Поскольку оказия на Уфу задерживалась, а лагерь нас не принимал, то поместили в вокзальную КПЗ, набив в нее, как сельдей в бочку, так что места не хватало не только на нарах, но и на полу.

Мне повезло: успев заскочить в камеру одним из первых, я захватил место на нарах возле окна, где дышать было легче. На третий день прибыла оказия, нас опять погрузили в вагоны, и мы поехали дальше на запад, прочь от негостеприимного Новосибирска.

В Новосибирске уже чувствовалось дыхание войны: на станции под навесом длиной в полкилометра были свалены под самую крышу куча разбитых авиамоторов. Поглядел я на эту кучу, и аж сердце замерло: «Ну и война! Сколько же тысяч самолетов, а главное людей, молодых ребят, которым жить да жить, погибло, пока набрали эту кучу одних моторов!» На запасных путях стояло множество вагонов, обгоревших так, что остались только «скелеты». Сколько же людей погибло только в этих вагонах! А ведь это только в одном Новосибирске! И чем дальше мы ехали на запад, тем больше вдоль путей лежало разного искореженного войной добра.

Да, дорого же нам стоила война!..

УФА — МОСКВА — ЯРОСЛАВЛЬ — РЫБИНСК — МОСКВА

Уфа. — Москва: «Бутырский вокзал». — Гимн бане. — Передачи от сестер. — Новые обитатели старой камеры в пересыльном корпусе. — Дети в тюрьме. — Угол специалистов-лагерников. — IV спецотдел и легенды о генерале Кравченко. — Из обитателей камеры: Дмитриевы и бывшие военнопленные. — Назначение старостой. — А. В. Белинков. — М. Г. Мартыщенко: его боевая, трудовая и наградная история. — Аудиенция у генерала Кравченко. — Первоначальное назначение: колонии для беспризорников. — Ярославльская пересыльная тюрьма «Коровники». — Урки отмечают День Победы. — Нападение на надзирателей и штурм женской камеры. — Зверская расправа оперативников. — Лагерь при Рыбинском мехзаводе. — Профессия: линейный монтер на телефонной станции. — Задержка в лагерях «вплоть до особого распоряжения». — Исправление ошибки: лагерь Переборы и эксплуатация Рыбинского моря. — Театр Радлова и Нелли Поль. — Бригада по монтажу щитов слаботочной сигнализации. — Бывшие военнопленные: С. Шаталов. — Б. Хургес. — Фашистские диверсанты. — Ликвидация лагеря в Переборах. — Снова Рыбинский мехзавод. — Литейный цех: Н. М. Баташков, Машков, Е. Дикштейн и антисемитизм в Одессе, В. Л. Волков и часовой «синдикат», Н. Кузнецов, К. Ф. Пацук. — История чугунной плиты. — Проблема обрубки и бригада Семэна Лемэца. — Яша-кладовщик и ночные операции. — Буфетчица из блокадного Ленинграда. — Завстоловой. — Мазихин и Жданов. — Смерть Яши Эдельмана и табуреткой по голове антисемиту-полицаю. — Свидания с сестрой. — «Особое» пришло! — Решение податься в Углич. — Оформление освобождения. — 16 октября 1946 года.

1

Добрались мы, наконец, и до Уфы.

И здесь опять повезло: на путях уже стоял готовый к отправке в Москву вагон. Меня и еще нескольких зэков пере-

вели прямо в него. К вечеру вагон прицепили к какому-то поезду, и мы поехали дальше, счастливо миновав Уфимскую пересылку.

Самое страшное на этапе — пересыльные тюрьмы. Там, как правило, кроме хлеба (и того в мизерных дозах — до 400 граммов), ничего питательного не дают. Нельзя же считать пищей ту мутноватую воду, где крупинка за крупинкой гоняется с дубинкой? Сидишь в ожидании оказии порой до месяца голодный и грязный, в полной власти уркачей и бандитов, которые с лагерников взять ничего не могут, но уж поиздеваться над интеллигентным фраером всегда готовы.

Конечно, езда в столыпинском вагоне не ахти какой сахар, голодуха такая же, даже, пожалуй, и хуже, ведь вместо баланды дают иногда соленую рыбу, а воды не более двух кружек в сутки. С голодухи рыбу-то поешь, а потом мучаешься от жажды. Попросишь не по расписанию, так это еще какой конвой попадется. Иногда кто-либо, особенно из бывших фронтовиков, и то в ночное дежурство, принесет тайком кружку воды, а днем и не думай просить: не дадут. А начнешь канючить, так в карцер могут посадить, да еще и наручники наденут, так что уж лучше с этими сынками с автоматами и не связываться. Но это все же не пересылка: все-таки двигаешься куда-то и виден хоть какой-никакой, а конец, так что терпишь.

Без особых приключений прибыли мы в Москву. Ну, думаю, сегодня решится моя судьба. С тяжелым сердцем залез я в «воронок», и через сорок минут уже входил в знакомый мне «Бутырский вокзал». Примерно через час меня выпустили из «конверта» и велели подойти к столу, за которым сидел старший надзиратель. Он сверил меня с моим личным делом, и убедившись, что все в порядке, велел отвести меня в баню.

И хороша же баня в Бутырках! Кабинка на одного человека, есть душ, есть шайка, краны с горячей и холодной водой, и воды, несмотря на военное время, сколько угодно. Чистый кафель, на полу чистые деревянные решетки. Дали прилич-

ный кусок простого мыла: мойся сколько угодно, никто не беспокоит. Помылся я с удовольствием, ведь после Свободного я в бане не был, а прошло уже больше месяца, как я в пути: единственный раз, да и то и только холодной водой, я мылся в Иркутской пересылке. А на этапах, в столыпинских вагонах воды едва хватало на водопой, а об умывании даже речи не было. Соскоблил я здесь, в Бутырках, отросшими ногтями заскорузлую грязь с тела, ополоснулся под душем и вышел из бани.

Тут меня уже ждал надзиратель с кусачками — ножницы для стрижки ногтей зэкам в Бутырках не доверяли, а для этой цели применялись обычные монтерские бокорезы. Еще до мытья надзиратель обстриг мне голову и бороду машинкой под ноль, а кусачками я обрезал себе ногти на руках и ногах. Принесли мою прожаренную лагерную робу, не замотали даже подарок Александра Сергеевича Пушкина — суконное одеяло. И как же я впоследствии благодарил бывшего своего лагерного начальника за этот подарок! Оделся, и прямо сюда, в предбанник, надзиратель принес мне пайку (450 граммов) настоящего бутырского хлеба и порцию овсяной каши.

Поел, и опять меня повели к старшему. Тот сказал, что из-за военного положения тюремная продуктовая лавочка не работает, но если у меня в Москве есть родственники (а из личного дела он узнал, что я москвич), способные приносить мне продуктовые передачи и я сообщу ему их адрес, то администрация может их известить, и я смогу получать от них передачи. В Москве у меня было много родственников и даже две родных сестры, уже вернувшихся из эвакуации. Я записал на специальном бланке их адреса, о чем впоследствии даже жалел: пробыть в Бутырках мне пришлось почти восемь месяцев, и сестры из кожи вон лезли, чтобы как-то меня подкормить, оставляя при этом, как я понимал, полуголодными своих малолетних ребятишек. Каждая передача буквально застревала у меня комом в горле, когда я вспоминал, что эта еда отрывается от моих племянников: я-то к «диете» уже привык. Я даже написал бессменному начальнику Бутырской тюрьмы полковнику Попову заявление с прось-

бой на мое имя передач не принимать, но его оставили без последствий, и передачи принимали.

К чести Попова надо сказать, что его харчи в военные 1944—1945 годы были не хуже, чем в мирном 1937 году и, конечно, много лучше, чем в других местах, где мне пришлось побывать. Так что я перебился бы до отправки из Бутырок.

Взяв у меня бланк с адресами родственников, старший что-то сказал сопровождавшему надзирателю, и тот велел мне собрать вещи и следовать за ним. Тут я снова не мог унять дрожь в коленях: куда меня поведут? Если в следственный корпус, то это добавка, если в пересыльный — то я буду направлен до конца срока на работу по специальности. Вышли во двор и — о радость! Ура, мы идем прямо к церкви, в пересыльный корпус! Зашли внутрь, и, по бутырской традиции, надзиратель сперва стучит ключом по пряжке ремня, а потом этим же ключом открывает одну дверь за другой. Поднимаемся по лестнице на третий этаж. Мой надзиратель передает записку корпусному, а на его гимнастерке, как писал М. Исаковский в стихотворении «Враги сожгли родную хату», «светилась медаль» за оборону Москвы*. Корпусной подвел меня к одной из камер (и надо же, именно к той, в которой я сидел в 1937 году и откуда я получил путевку в «архипелаг»), открыл ее, и, наконец, я «дома». Вошел я в камеру — все по-старому, те же нары, столы, параша, те же на окнах решетки с козырьками. Только на самом верху темные шторы маскировки: ими наглухо закрывали окна. Сейчас, когда фашисты далеко от Москвы, светомаскировку отменили, и шторы вроде бы уже не нужны, но висят пока, не снимают.

Сдал я старосте камеры полученные мной от корпусного кружку и ложку, тот положил их в общую кучу на стол и предложил устраиваться. Сперва я присел на краешек нар и начал оглядываться. Народ посерее, чем в 1937 году, видать, всю интеллигенцию пощипали, а теперь взялись за не особо интеллигентных. Много военных не очень высокого ранга, все больше рядовые и младшие офицеры. Но самое

---

* Неточность. Ср. в стихотворении: «И на груди его светилась медаль за город Будапешт».

удивительное: Бутырка перестала быть только политической тюрьмой, здесь уже было много бытовиков, а в одном углу разместилась целая группа бандюг — ни дать ни взять колымские уркачи.

В камере находилось человек десять-пятнадцать ребятишек в возрасте двенадцати-пятнадцати лет: вышло, оказывается, постановление, разрешающее помещать в общие тюрьмы детей-вредителей от двенадцати лет, с последующей их отправкой в детские исправительные колонии. И сидят такие ребятишки, виновные лишь в том, что, оставшись без отцов, украли с голодухи где-нибудь на базаре цыпленка или кусок колбасы, а это уже не воровство, а грабеж, и этих детей уже можно сажать в общую тюрьму, где они набираются ума-разума у отпетых воров. А в дальнейшем эти ребятишки уже их кадры.

2

Оказалось, я в этой камере не единственный, кого вызвали из лагерей в IV спецотдел НКВД к генералу Кравченко. Таких зэков можно было сразу распознать по лагерной робе и интеллигентному виду. Находились они здесь подолгу и помещались отдельный группой в одном из углов камеры. Этих людей генерал Кравченко вызывал пред свои светлые очи, лично беседовал с каждым, после чего человека вызывали с вещами. Но с вызовом на беседу генерал не спешил, порой ожидание растягивалось на месяцы. Я, например, ждал ее около восьми месяцев. Узнав, что я их коллега, специалисты-лагерники немного потеснились и пригласили меня к себе — и я устроился на верхних нарах, миновав период нахождения в «преисподней». Тесновато, но была и перспектива на расширение жилплощади. На выход, как и в 1937 году, вызывали небольшими партиями, так что места на нарах освобождались быстро.

От ребят я узнал некоторые подробности о IV спецотделе НКВД и лично о генерале Кравченко: этот спецотдел ведал

использованием зэков-специалистов. Его работники имели свободный доступ к картотеке ГУЛАГа, и любого зэка, в каком бы лагере он ни находился, немедленно этапировали в Москву, если его затребовал Кравченко. Попав в пересыльную камеру Бутыркок, зэк дожидался здесь аудиенции с генералом, а потом направления на предприятие.

Про эрудицию Кравченко ходили легенды. Возвращается в камеру после вызова из лагеря архитектор и восторгается: «Вот это действительно великолепно эрудированный архитектор! Он блестяще знает архитектуру эпохи Возрождения! О Корбюзье он мне такое рассказывал, о чем я, профессиональный архитектор, причем неплохой, даже понятия не имел!» Приходит с беседы инженер-химик — и опять те же слова: «Какой это специалист по технологии изготовления боеприпасов! Я, много лет проработавший в этой области, пигмей по сравнению с ним!» Приходит с беседы авиаконструктор — и опять панегирики. Все ожидавшие беседы только руками разводили: как может один человек, что еще более удивительно — генерал НКВД, вмещать в своей голове столько разнообразных знаний, причем на самом высоком уровне?

Вот к такому человеку меня привезли. От его решения отныне зависела моя судьба.

3

Немного обжившись в камере, я обратил внимание на обилие Дмитриевых. Вскоре мне объяснили причину такого явления. В начале 1944 года в Москве было совершено покушение на Джугашвили. Машину, в которой он должен был выехать из Спасских ворот (но почему-то не поехал, а вместо него в ней поехал Микоян, причем это изменение было произведено за несколько минут до выезда), обстреляли из пулемета с Лобного места. Никто не пострадал, хотя верх машины и пробило несколькими пулями. Красная площадь была немедленно оцеплена войсками НКВД, которым дали

строжайший приказ брать террориста только живьем. Террорист был, по-видимому, опытным солдатом и был хорошо вооружен. Он уложил немало солдат и офицеров НКВД, а когда ему уже деваться было некуда, подорвал себя гранатой. Единственное, что обнаружили после тщательного осмотра места происшествия, была солдатская шапка, и экспертиза с превеликим трудом разобрала фамилию «Дмитриев»*. В надежде найти какие-либо зацепки, НКВД стал в Москве подряд арестовывать всех Дмитриевых, кто мог знать о тайне выезда Джугашвили из Кремля. Дмитриевы — не самая редкая фамилия на Руси, и всем взятым Дмитриевым сунули на всякий случай по пять лет лагерей.

В нашей камере было много бывших военнопленных. Капитан Гапонов: еще в конце 1941 года попал в плен. Прошел все круги ада гитлеровских лагерей и в конце концов оказался во Франции. Бежал в Испанию, как-то сумел уговорить испанских моряков пустить его на борт парохода, направлявшегося из Барселоны в Алжир. Оттуда добрался до Касабланки, где уже были союзники. Наша миссия помогла Гапонову вернутся на Родину через Египет, Палестину, Ирак и Иран. Приехав в Россию, Гапонов попал в Подольский проверочный лагерь. Там его с полгода проверяли, ничего компрометирующего не нашли, но и верить в правдивость его одиссеи тоже не стали. И вместо того, чтобы отправить этого опытного и храброго офицера на фронт, сунули ему восемь лет лагерей, и вот он в нашей камере ждал этапа.

---

* Судя по контексту, Л. Х. прибыл в Бутырку осенью 1944, тогда как подразумеваемое покушение на Сталина произошло 6 ноября 1942 года. Покушавшийся — Савелий Тимофеевич Дмитриев (1909—1950) — дезертировал в тот же день из 1-го зенитного полка противовоздушной обороны Москвы; выдав себя за часового комендантского патруля, он встал на пост на Лобном месте Красной площади. Когда в 14.55 с ним поравнялась правительственная машина, выехавшая из Спасских ворот Кремля (в ней находился А. Микоян), Дмитриев открыл по ней стрельбу из винтовки, после чего был обезврежен охраной, никто не пострадал. Следствие по его делу шло более двух лет, и обвинение было сформулировано только в марте 1944. Дмитриева расстреляли 25 августа 1950 года. (*Жиляев В.* Кто покушался на Сталина в 1942 году? // Российская газета. 2008. 24 сент.)

Вскоре вышло мне «повышение»: во время войны в Бутырках был вновь введен старостат, отмененный перед 1937 годом. Из долгожителей камеры администрация тюрьмы назначала старосту, который на утренней поверке рапортовал корпусному о личном составе камеры и о случаях ЧП в ней. Через некоторое время после моего прибытия сюда старосту, тоже из лагерников, вызванных в Четвертый спецотдел, взяли с вещами, и корпусной, узнавший во мне своего клиента еще по 37-му году, назначил меня на его место.

Особенно выделялся среди ее обитателей молодой, лет около тридцати, человек в очках с небольшой черной бородкой — Аркадий Викторович Белинков*. Его отец — профессор МГУ, мать — индуска, поэтесса, которую отец встретил во время путешествия по Индии, влюбился и привез в Россию. По профессии Аркадий был литератором, публиковал в журналах очерки и статьи. Написал он большой роман антисоветской направленности, который, конечно, не был нигде напечатан. Впервые публично его прочли только после ареста автора, на большом литературном «синклите» в НКВД. Роман, по словам самого Белинкова, подвергся на «синклите» жесточайшей критике на самом высоком культурно-литературном уровне, причем именно высокая степень культурности и образованности участников «синклита» поразила Аркадия больше всего.

Сюжет романа был незамысловат. Подмосковная молочница, сбывая в Москве молоко от принадлежавшей ей половины козы, начинает ценить всякие культурные ценности, причем эта молочница настолько примитивна, что наряду с прекрасными статуэтками на ее комоде оказывается и им-

---

* Белинков Аркадий Викторович (1921—1970), писатель. Был арестован в 1944 году за роман «Черновик чувств» и др. произведения, признанные антисоветскими. Во время следствия, закончившегося в июне 1944, находился, очевидно, в Лубянской тюрьме. После объявления приговора (8 лет ИТЛ по статье 58.10.2) 5 августа 1944 был, по всей видимости, переведен в Бутырки, где его и встретил Л.Х. К месту отбывания срока, в Карлаг, Белинков прибыл только в августе 1945. В 1951 был осужден вторично на 25 лет. Освобожден по амнистии в 1956. В 1968 году Белинков, находясь за границей в командировке, бежал на Запад. В 1998 посмертно реабилитирован.

портный унитаз. Основная идея романа заключалась в том, что настоящая русская интеллигенция уничтожается существующим режимом и заменяется такими вот молочницами, которые станут основателями советской культуры, и России грозит превращение в скопище дикарей, щеголяющих в архимодной одежде. Вместо Скрябина и Шопена они будут слушать Новикова на слова Лебедева-Кумача. Сам Белинков был человеком редчайшей культурности, его память можно было сравнить разве что с памятью генерала Кравченко или архиерея Молдавского — отца Николая. Особенно меня поражало его знание русских и иностранных классиков. Он помнил наизусть каждую строчку Пушкина, Лермонтова, Фета, Плещеева и многих других. Стихи Байрона, Шелли он свободно читал как в оригинале, так и в русском переводе. Из современников он особенно чтил и знал наизусть Пастернака и Маяковского. Почему-то он не признавал Некрасова, о котором даже презрительно отзывался: «Некрасов и прочая сурковая масса» (намек на поэта А. Суркова, которого Аркадий очень не любил). Вот такой это был человек.

В начале семидесятых годов я случайно поймал радиостанцию «Свобода»: в литературном обозрении в числе диссидентов, эмигрировавших за рубеж и умерших там, помянули имя и Аркадия Белинкова. Значит, он все-таки сумел и срок отбыть, и эмигрировать за рубеж, но, по-видимому, особой погоды в среде эмигрантов-диссидентов не делал. Белинков был одним из самых интересных и порядочных людей, которых я встретил за свой срок сталинского «санатория».

Как-то в начале зимы 1945 года в камеру входит среднего роста, коренастый, косая сажень в плечах, человек лет тридцати в полной лагерной униформе. Отрекомендовался: Михаил Гаврилович Мартыщенко, из лагеря, по спецнаряду IV спецотдела. Мы, специалисты, тут же устроили его в свой угол, и началось знакомство: военный, летчик-истребитель, еще до войны окончил инженерный факультет военной академии имени Жуковского. С первых дней войны на фронте, начальник воздушного боя Балтийского флота. Награжден

орденом Ленина, двумя орденами боевого Красного Знамени. По своей должности Михаил не обязан был вступать в воздушные бои, а во время крупных боев должен был барражировать выше и наблюдать за картиной боя. В случае, если кто либо из наших летчиков по неопытности (ведь в пополнение-то приходила необстрелянная сержантская молодежь, прошедшая ускоренное обучение в школах летчиков) в азарте боя израсходует свой боезапас и останется безоружным перед врагом, то Михаил должен был его прикрыть. Но нередко Мартыщенко не мог удержатся от соблазна стукнуть какого-нибудь фрица самому*.

У фашистов на этом участке был свой начальник воздушного боя, майор, опытнейший ас, воевавший еще в Испании и во Франции. Это был хитрый и опасный враг, у него был какой-то особый самолет, бравший повышенное количество горючего и боеприпасов. Действовал этот фриц наверняка. На фюзеляже его самолета был нарисован бубновый туз. Фашист обладал дьявольской выдержкой и терпением, своим опытным глазом наблюдал за боем и, заметив какого-нибудь нашего новичка, который, не заботясь о прикрытии, палил в божий свет как в копеечку, дожидался, пока этот новичок расстреляет боезапас и начнет выходить из боя, коршуном кидался сверху на безоружного парня и первой же меткой очередью сбивал его. А если тому удавалось выпрыгнуть с парашютом, то расстреливал его в воздухе. Вот такой это был пират. Немало наших ребят пало жертвой его хитрости и опыта.

Наше командование прекрасно знало «туза», и тому, кому удалось бы его уничтожить, была обещана золотая звезда Героя Советского Союза. Но «туз» был очень осторожен и хитер, как правило, прятался в облаках, почти всегда закрывавших ленинградское небо, и подловить его никому не удавалось. Знал «туз» и о Мартыщенко, как знал о нем и Михаил. Началась у них взаимная охота, на которой Михаил и погорел. Однажды, сбив одного неосторожного фрица и израсходовав

---

* Мартыщенко Михаил Гаврилович (1912—?), см. о нем в Предисловии.

почти весь остаток боезарядов на другого, успевшего нырнуть в облака, он решил идти на посадку. Вдруг буквально в нескольких десятках метров от него из облаков внезапно вынырнул «туз»! Понимая, что Мартыщенко беззащитен и станет легкой добычей, «туз» решил над ним поиздеваться и сбить одной очередью с близкой дистанции. А это было его роковой ошибкой. Михаил, поняв, что он покойник, пошел на «туза» в смертельный лобовой таран. Расстояние между самолетами, бешено несущимися навстречу друг другу, было уже настолько мало, что «туз» не успевал дать очередь и вынужден был бы срочно катапультироваться* (пойди Михаил не на лобовой, а на боковой таран, «туз» успел бы увернуться, а потом уже все козыри были бы у него в руках; лобовых таранов фрицы органически не переваривали — уж очень дорожили своей жизнью).

Как Михаилу удалось в последние доли секунды перед смертельным ударом рвануть рукоятку катапульты, он не помнил, но все же он успел «выстрелиться» перед ударом самолетов. Получив сильные ушибы и контузии, он приземлился в своем катапультном кресле в расположении наших войск уже без сознания, и его тут же отправили в госпиталь. «Туз» тоже успел катапультироваться и попал в плен. Когда его допрашивали, он попросил показать ему самоубийцу, который его таранил. Так как Михаил в это время лежал в госпитале, между жизнью и смертью, весь в повязках и гипсе, то вместо него «тузу» показали только что выпущенного из училища молодого паренька, которому для солидности надели орден и пару медалей. Когда на вопрос «туза», он ли его таранил, паренек ответил утвердительно и рассказал все подробности боя (с земли наблюдали за ним и потому были в курсе дела), тот, скрипнув зубами, сокрушенно воскликнул: «Ну, если такие сопляки-русские сбивают таких летчиков, как я, то нам воевать с Россией нечего!»

---

* Сомнительно, поскольку за весь период Второй мировой войны немецкие летчики совершили не более 60 катапультирований. Первое успешное катапультирование совершил летчик-испытатель Гельмут Шенк 13 января 1942 года на Не-280. В СССР в войну вообще не было катапульт.

Пролежав около месяца в госпитале и немного подлечившись, Михаил получил отпуск и отправился в Москву получать свою «Звезду» (награжденным в блокадном Ленинграде все ордена выдавались на месте, только получившие «Героя», направлялись в Москву, где им вручали награду в Кремле). Ленинград был полностью блокирован фашистами, и сообщение с Москвой осуществлялось только по воздуху. Михаила, вместе с двумя такими же, как и он, награжденными и несколькими штабными офицерами, отправили на транспортном самолете в Москву. Им не повезло: в пути их встретили фашистские истребители и, повредив самолет, заставили совершить посадку в расположении врага. Всех взяли в плен. Штабных офицеров (кроме одного, который предпочел застрелиться) отправили по назначению, а летчиков, как не представляющих особого интереса, поместили в эшелон для отправки в лагеря военнопленных.

В пути им удалось выломать пару досок в полу и на какой-то остановке они попытались через эту дыру удрать. Обоих товарищей Михаила при этом убили, а он успел скрыться в лесу. Проблуждав дня два (без еды, еще не окончательно оправившийся от ранений во время тарана, фактически раздетый и разутый, ведь немцы отобрали у них теплые вещи и сапоги, дав взамен какую-то сменку), Михаил набрел на партизан. Пробыл он в их отряде недели две, участвовал в нескольких операциях, а потом его переправили в Москву. «Ну, кончились мои мытарства, — решил Михаил. — Получу “Звезду”, отдохну и опять на фронт».

Но не тут-то было, мытарства только начинались: вместо Кремлевского дворца и рукопожатия Калинина Михаила привезли на Лубянку. Обычные песни: «Как вам удалось бежать из плена?», «Как так получилось, что из троих только одному вам удалось остаться в живых?», «Не рассказывайте мне сказок!», «Признавайся, фашистский ублюдок, что тебя завербовали шпионить, совершать диверсии! Давай явки, пароли и прочее!». Ничего Михаилу не помогло, даже беседа с самим Берией: вместо Звезды Героя — десять лет лагерей! Затем Бутырская пересылка, этап с уркачами, Воркута, об-

щие работы, доходиловка, много раз был на грани самоубийства.

Как только его арестовали, любимая жена, с которой Михаил зарегистрировался незадолго до начала войны и которой он аккуратно посылал все полученные им на фронте деньги, и конечно «аттестаты», подала на развод, заявив, что «не желает оставаться женой врага народа» (тем более что после ареста ни денег, ни «аттестата» она от Михаила уже не получала; наоборот, ей самой полагалось бы посылать любимому мужу в лагерь хоть немного махорки). Но мало-помалу Михаил в лагере обвык: опытный инженер, летчик, умеющий еще и руками кое-что делать, оказался полезным и тут. Когда он наладил капризничавший дизель, то Михаила оставили его обслуживать. Потом вообще перевели в контору (что-то вроде лагерного КБ — конструкторского бюро). Жить стало полегче. И вдруг вызов в Москву! Поначалу перетрусил (как и я, решил, что на добавку), но когда попал в нашу камеру — успокоился. Кравченко вызвал его на беседу сравнительно быстро, и Мартыщенко уехал еще в середине января.

Парень он был культурный, характера уживчивого, и мы с ним быстро сдружились. Пришлось ему даже участвовать в одной грандиозной камерной драке. После нашего с Михаилом расставания я о нем ничего не слыхал до 1956 года.

К этому времени меня уже давно освободили и даже реабилитировали, и жил я (да и сейчас живу) в Грозном. Еду я как-то на работу в автобусе и вижу, что сидящая впереди меня девушка внимательно читает большую, в пол-листа, статью на последней странице «Известий». Почему-то меня заинтересовал заголовок: «Небо должно быть чистым» (как раз незадолго до этого вышла знаменитая кинокартина режиссера Чухрая «Чистое небо», про одного несправедливо репрессированного летчика). Через плечо девушки я увидел фамилию Мартыщенко, да еще и имя: Михаил Гаврилович! Так значит, жив, курилка! Выпросил я газету и прочел там примерно то, о чем сам писал выше. Обрадовался я очень! Вот что значит «оттепель»! И про нашего брата писать в га-

зетах начали! (Вскоре, правда, «оттепель» сменилась «нормальной погодой», и эта тема так и осталась под запретом).

Написал в «Известия» письмо с просьбой сообщить мне адрес Мартыщенко. Мне очень любезно ответили, что он живет в Таганроге на Промышленной улице, дом 28 и работает на авиационном заводе. Как раз в это время у меня наклюнулась командировка на Таганрогский радиозавод. И тут нельзя не упомянуть о нашей секретомании: всю переписку с Таганрогским радиозаводом мы вели по закрытому адресу: Таганрог, предприятие п/я* 32. Когда я туда поехал, в спецчасти мне адреса завода не сказали: дескать, на месте узнаешь. Приехал в Таганрог, остановился в офицерской гостинице, переночевал и звоню в справочную. «Мы таких справок не даем». Пошел в милицию, предъявил все документы, а ответ тот же: раз поехали, должны знать адрес, мы таких справок не даем. Зашел в горком партии, то же самое. Вот это номер! Приехал на место, а адреса одного из крупнейших в стране радиозаводов, выпускающего лучшие по тем временам телевизоры «Рубин», я узнать не могу! Хоть обратно домой поезжай!

Со времени отъезда из Грозного у меня отросла порядочная щетина, бритву я с собой не взял, пришлось идти в парикмахерскую. Зашел, сел в кресло. Мастера обычно бывают очень разговорчивыми: «Откуда приехали?» Поделился с ним своей «нуждой». «Что? Радиозавод? Да это же отсюда двадцать минут езды на трамвае! Номер пять, до конца. Да и остановка-то “Радиозавод”!» Вот тебе и вся секретность! Не надо ни справочной, ни милиции, ни горкома! Парикмахер поведал мне все заводские новости: недавно сняли замдиректора по общим вопросам, третий месяц они не выполняют плана по телевизорам и т. д. Через полчаса я уже был на радиозаводе. В нужный мне отдел сбыта даже и пропуска не надо было. Часа через два я получил все необходимые сведения и решил попытаться отсюда связаться с Мартыщенко. Оказалось, что у радиозавода с авиазаводом есть прямая связь. Меня соединили, и я попросил к телефону Михаила

* Почтовый ящик.

Гавриловича Мартыщенко. Видно, он был там заметной персоной, потому что меня попросили подождать, пока его вызовут по громкоговорителю. Через несколько минут слышу в трубке Мишин голос, называю себя. Михаил как закричит по телефону: «Лева, ты? Живой?!» Узнав, где я остановился, велел мне ждать его около входа в гостиницу ровно в шесть. Вечером мы вдвоем уже сидели в его домике (дело было летом, и вся его семья уехала к родным в деревню), пили не спеша и с закусочкой два пол-литра водки и рассказывали друг другу свои одиссеи.

Оказалось, что Михаил попал сюда прямо из Бутырок. Спецбюро IV спецотдела НКВД имелось и в Таганроге. Здесь он сразу же пришелся ко двору, работал на разных секретных работах до самого освобождения в 1952 году. Отбыл от звонка до звонка свою «баранку», правда, без пересидки. Когда его освободили, продолжал работать на прежнем месте, только уже вольным. Устроился на частную квартиру. Пошел в милицию прописываться — паспорт у него «с ограничением»: 39-я статья. А Таганрог — город режимный, и граждан второго сорта здесь не прописывают. Пошел к заводскому начальству: обещали уладить. То ли не смогли, то ли забыли, но в прописке Михаилу отказали, а участковый пригрозил, что если он еще раз увидит его здесь, то отведет прямо в КПЗ и оформит без суда и следствия дело о нарушении паспортного режима: это два года заключения. К утру Михаил поставил об этом в известность свой отдел кадров. Там снова обещали уладить, но до вечера Михаилом на заводе так никто и не поинтересовался. Решил он, что они хоть в милицию позвонят и попросят, чтобы его не трогали, пока не уладят его дело. Пошел в милицию, а навстречу участковый: «Вы еще здесь, Мартыщенко? Сами пришли, чтобы я вас в КПЗ отвел?»

Убедился Михаил, что на заводе и не чешутся. Куда деваться? Не получать же ни за что ни про что еще и второй срок. Еле-еле уговорил участкового не трогать его до вечера, пошел на квартиру, взял чемоданчик (особых сокровищ он за десять лет у генерала Кравченко не заработал) — и на вокзал. Где-то на Кубани работал большим начальником его

двоюродный брат. Михаил прямо к нему. Тот устроил его на какую-то мельницу механиком, благо это район и никаких сложностей или неприятностей тут уже не было. Зажил там Михаил барином, дали ему квартиру. Зарплата приличная, продуктов — изобилие, милиция даже не думает его беспокоить. Тишина, покой, а тут еще и женщина хорошая — Жанна Тимофеевна, учительница местной школы. Хотя после освобождения Михаил мог бы сойтись и с первой женой, тем более что и сынишка его у нее рос, но не мог простить предательство. Он даже не пытался установить с ней переписку и только деньги на сына высылал регулярно. Женился Михаил на учительнице, и стали они жить-поживать в свое удовольствие. Ждали ребенка, и вдруг однажды в середине дня приезжает на мельницу машина из райотдела МВД, и Михаила забирают.

Он был вне себя: неужели до сих пор не хотят оставить его в покое? Ведь «баранку» он отбыл полностью, чего же еще им надо? Привезли в район: «Вы Мартыщенко? Почему сбежали с секретного завода в Таганроге? Разве не знали, что находитесь на особом учете и без разрешения спецчасти завода не имеете права отлучаться даже на сутки?» Михаил объяснил начальнику, что побудило его уехать из Таганрога и как участковый стремился упрятать его в КПЗ и оформить ему срок за нарушение паспортного режима. «Этого не может быть! Как только вы исчезли из города, был объявлен всесоюзный розыск, так как по характеру выполняемой работы вы на сверхособом учете». Короче, просидел Михаил в райотделе целый день (по-видимому, начальник связывался с Таганрогом и проверял правильность показаний Михаила). К вечеру вызывает он его и заявляет, что все факты им проверены и что никакого преступного замысла при оставлении им работы в Таганроге не установлено. Но раз Мартыщенко обнаружили по всесоюзному розыску, то он (начальник) обязан его арестовать и под конвоем отправить в Таганрог. Однако раз виноват не Мартыщенко, а скорее таганрогская милиция, а сам Мартыщенко не возражает против возвращения в Таганрог на завод, то и он не настаивает

на аресте, а просто предоставляет ему транспорт и сопровождающего, который доставит его в Таганрог и сдаст в КГБ*. Так и сделали. Заехали на мельницу, Михаил успокоил жену, объяснил ей все и сказал, что как только он обоснуется в Таганроге, сразу же заберет ее туда. Собрал вещи и уехал с сопровождающим. В Таганроге тот сдал Михаила в свое ведомство, где и начался допрос (ведь всесоюзный розыск — это очень серьезное и дорогостоящее дело!). Вызвали участкового. Тот объяснил, что он действовал строго по закону: раз человек не прописан, то и проживать, тем более в режимном городе, не имеет права. Добрались и до начальника отдела кадров завода, к которому в свое время Михаил не раз обращался. Тот сперва ни о чем не имел ни малейшего представления, а потом вспомнил, что письмо о Мартыщенко он приготовил, но начальник завода задержался с подписью. Когда письмо было подписано, то Мартыщенко уже в городе не было. А дальше уже действовала спецчасть: обнаружив исчезновение работника, имевшего доступ к особо секретным разработкам, спецушники подняли шум, вылившийся во всесоюзный розыск. Ведь не шутка же: пропал инженер, бывший враг народа, работавший на особо секретном объекте, если уже не удрал, то пытается удрать за границу и продать там наши секреты иностранной разведке.

Когда Михаил доказал, что он из Таганрога уехал прямо к брату на Кубань, тут же устроился на мельницу и ни в какие заграницы удирать не собирался, его восстановили на работе, дали жилье и прописали. Вскоре он перевез туда жену и родившуюся дочурку — Свету. В дальнейшем Михаил участвовал в очень важных разработках военного значения и зарабатывал очень неплохо. С женой Михаилу повезло, она оказалась очень хорошей и хозяйственной женщиной. Своими руками они построили на окраине Таганрога кирпичный дом из четырех комнат, со всеми удобствами и большим подвалом с соленьями и вареньями. Сад, огород, автомашина «Хорьх» и мотоцикл с коляской — в общем, жил Михаил в полном достатке.

---

* Неточность: КГБ снова ввели с 13 марта 1954.

К тому времени (1957 год) Михаила уже реабилитировали, восстановили в партии, вручили все награды, кроме Звезды Героя, наградные документы на которую затерялись. Хотя, по документам, факт присвоения ему звания Героя был подтвержден, как и то, что сам полет из блокированного Ленинграда в Москву был связан только с получением «Звезды», никакие хлопоты Михаилу не помогли: «Звезду» он так и не получил. Даже деньги за ордена ему заплатили, правда, только до 1947 года, когда, «по просьбе награжденных», их выплата была отменена (да и то с учетом девальвации 1947 года: уплатили в масштабе один к десяти, то есть, понынешнему, по одной копейке за орденский рубль).

4

Быстро обновлялся состав зэков, давно уехал Миша Мартыщенко, как и многие другие специалисты, прибывшие сюда гораздо позже меня, а мною генерал Кравченко все не интересовался. Уже и срока у меня осталось всего несколько месяцев, и я решил, что потому меня Кравченко и не дергает: на что ему работник на три-четыре месяца, если у него полным-полно «двадцатилетников».

Но, наконец, пришел и мой черед: 13 апреля 1945 года, в день, когда на улицах Москвы были вывешены траурные флаги по поводу смерти тогдашнего президента США — Франклина Делано Рузвельта, вдруг открывается форточка в двери, и надзиратель провозглашает: «Староста! Давай собирайся легонько!» — это означает, что меня вызывают на беседу с генералом Кравченко.

Завели в большую комнату, побрили щетину на лице, чуть-чуть подровняли прическу, дали во временное пользование приличные телогрейку, шапку, гимнастерку и ботинки — в лагерной робе меня не решились показывать генералу. Вывели во двор, посадили в обычную, с окнами и без решеток, автомашину типа микроавтобус, где уже сидело

несколько специалистов вроде меня и столько же товарищей в штатском.

Мы выехали из ворот тюрьмы и поехали по Новослободской улице. Перед посадкой в машину нас предупредили, что когда мы будем выходить из машины, то должны, не оглядываясь по сторонам, идти прямо в подъезд. Подъехали мы к зданию НКВД со стороны Фуркасовского переулка. Машина остановилась перед подъездом. Наши провожатые вылезли из машины и стали шпалерой от дверцы машины до подъезда. Мы быстро прошли сквозь строй и вошли в подъезд. Поднялись на лифте не то на восьмой, не то на десятый этаж. Там завели в какую-то комнату, где усадили на стулья и велели ждать, разрешив рассматривать лежавшие на столе журналы.

Через некоторое время начали вызывать по одному человеку. Вызванные уже обратно не возвращались, по-видимому, их отводили после беседы в другую комнату. Одним из последних вызвали меня. Привел меня провожатый в секретариат, открыл одну из двойных дверей кабинета генерала и сказал: «Заходите». Открыв вторую дверь, я оказался в большом помещении. Посередине, буквой «Т», стояли столы, покрытые зеленым сукном. На передней стене неизменный портрет Джугашвили в маршальской форме.

На главном месте сидит средних лет человек в генеральской форме. Широкоплечий, выше среднего роста, с интеллигентным лицом. Поверх формы на генерале был меховой жилет: несмотря на середину апреля, в кабинете было прохладно. По обеим сторонам от него сидело несколько военных в форме НКВД, но они только присутствовали и в беседе участия не принимали. Я вошел, остановился перед столом и поздоровался. Генерал, не поднимаясь с места, ответил на мое приветствие и, указав на свободный стул, сказал: «Садись, пожалуйста». Он осведомился, курю ли я, и получив утвердительный ответ, подвинул ко мне раскрытую пачку папирос «Волга-Москва». Я с удовольствием закурил и стал дожидаться вопросов генерала.

Перед ним лежало мое личное дело, и он внимательно его рассматривал. Найдя интересующее его место, генерал

поднял на меня глаза и спросил: «Инженер-металлург или радио-инженер?» Я понял, что это продолжается волынская путаница и коротко объяснил причину появления в моем деле второй специальности. Я рассказал, что я никакой не инженер-металлург, а студент-дипломник Московского института связи. Выслушав меня, генерал заметил, что такие путаницы бывают в лагерных делах сплошь и рядом, и стал меня расспрашивать о выполнявшейся мною до ареста работе, задавая вопросы и технического характера.

Я все же решил проверить генерала, и на какой-то его вопрос дал не совсем точный ответ, но с таким тонким проскоком, что опознать ошибку мог только сведущий в радиотехнике человек. Генерал и тут оказался на высоте. Он улыбнулся и спросил: «Вы что же это, батенька, решили меня проверить? Зря время теряете, на такой элементарщине меня не поймаете». Вот тебе и генерал, даже энкавэдэшник, а знает, оказывается, все!

Окончив беседу, Кравченко спросил у сидевшего рядом полковника: «Ну что, к Гаухману его?» — и, получив утвердительный ответ, нажал кнопку на столе. Вошедшему провожатому генерал сказал: «Проводите Хургеса к майору Гаухману». Я встал, попрощался с сидевшими, в ответ генерал, не вставая с места, молча кивнул, и я вышел с провожатым из кабинета. Когда мы оказались в коридоре, провожатый подвел меня к какой-то двери, постучал, и раздалось жужжание, знакомое мне еще по разведуправлению. Дверь открылась, и я зашел в небольшой кабинет, в котором помещались только письменный стол, шкаф с делами, маленький столик с графином для воды и несколько стульев. На передней стене, конечно, портрет Джугашвили. За столом сидел средних лет майор в форме НКВД и с физиономией явно неарийского типа.

Я поздоровался. Майор поднялся с места, в отличие от генерала, который с зэками не считал нужным это делать, ответил на мое приветствие и пригласил садиться. Те же самые папиросы «Волга-Москва», и началась беседа. Майор подробно расспрашивал меня об учебе в институте, о работе в авиации, об Испании; видно было, что он настроен ко мне вполне благожелательно. Так мы с ним побеседовали около часа. Потом

на его столе зазвонил телефон. Майор поднял трубку, коротко ответил: «Слушаюсь» и положил ее на рычаг.

«Ну что ж, Лев Лазаревич, — обратился он ко мне, — будем закругляться. Я вам сейчас расскажу о характере ожидающей вас работы. Как понимаете, сейчас, к концу войны, у нас оказалось много сирот и просто безнадзорных детей, которые живут в холоде и голоде и сплошь и рядом занимаются преступной деятельностью. Их будут изымать и помещать в закрытые детские дома законвоированного типа. В этих домах дети будут учиться и работать. Так вот, есть решение в одном из таких домов организовать радиопроизводство, и нам нужны туда радиоспециалисты-энтузиасты, которые были бы способны заинтересовать детей радиолюбительством, обучать их основам радиотехники, чтобы впоследствии из них выросли полезные граждане Советского Союза. Не скрою, мы следили за вашим поведением в тюрьме и убедились, что вы любите детей и умеете от них добиваться взаимности. Поэтому мы и решили направить вас на эту тяжелую и ответственную работу. Если вы согласны, так и сделаем, если нет, подумаем, куда вас еще направить».

Я, конечно, с радостью согласился, и майор, что-то записав в своем настольном блокноте, очень любезно распрощался со мной. А я, вместе с вызванным провожатым, отправился к своим.

5

Тот же микроавтобус, затем Бутырка. Сдал я тюремный реквизит, облачился в лагерную робу и вновь оказался в своей старой камере. Предвкушаю, что скоро я уже окажусь в детском доме, в окружении ребятишек, открывающих в изумлении рты во время моих радиоопытов.

Но, как говорится, человек предполагает, а бог (точнее, НКВД) располагает: через несколько дней меня вызвали с вещами и обычным этапом доставили в Ярославль, в знаменитую пересыльную тюрьму «Коровники». По дороге один из

конвоиров по секрету сказал мне, что я направлен в обычный лагерь около города Рыбинска. Срока у меня осталось около месяца, и я не стал расстраиваться: Рыбинск так Рыбинск! Возможно, моя «троцкистская» статья, по взглядам чиновников, не подходила к миссии воспитателя подрастающего поколения советских людей и, несмотря на рекомендацию IV спецотдела, вышестоящие органы решили не допускать такого опасного преступника к детям. Вот если бы я был социально-близким элементом, тогда со стороны НКВД не было бы препятствий.

И вот я в «Коровниках». Апрель кончился, начался радостный май 1945 года. Война окончилась полной Победой, вся страна ликует. В нашей камере настроение тоже приподнятое: все ожидают амнистий, а мне и ждать-то нечего, до конца срока остались считаные дни, фактически я уже отбыл свои восемь лет от звонка до звонка: арестовали меня 7 мая 1937 года, но в приговоре почему-то началом срока записано не 7, а 31 мая. Но черт с ними, пережил восемь лет, переживу и лишние три недели.

Контингент в камере собрался не ахти, преимущественно мелкие воры и грабители, и мы, человек шесть-семь контриков. Все старые лагерники, кроме одного майора, которого взяли прямо из действующей армии и которому сунули десять лет за то, что, ведя бойцов в атаку, он поднялся на бруствер окопа, закричав «За Родину!», и, вместо того чтобы добавить «За Сталина», матюкнулся, потому что именно в этот момент фашистская пуля царапнула его по плечу. Ввиду того что рана оказалась легкой («красная нашивка»), Особый отдел посчитал такое неуважение к любимому вождю и отцу народов за серьезнейшее политическое преступление. Майора после перевязки в медсанбате арестовали, и трибунал сунул ему десять лет лагерей. Всего в камере помещалось человек сорок пять, наша группа контриков держалась обособленно, и устроились мы, как прибывшие раньше других, около окна в левом углу камеры.

Среди уркачей был свой фюрер, даже два. Они действовали вместе и всю камеру держали в узде. Один из них, Колька,

донской казак, молодой, лет двадцати пяти, парень. Широкоплечий, среднего роста, атлетического телосложения, в преступном мире явно не новичок. Любое свое распоряжение, в случае хоть небольшой задержки с исполнением, подкреплял страшным ударом кулака или ноги. Второй фюрер — уже постарше, немного за сорок, по кличке Афонька-Борда (полный тезка колымского Афоньки-Борды, расстрелянного там за людоедство во время побега из лагеря), был на подхвате у Кольки, но тем не менее пользовался у своих большим авторитетом.

Накануне первого Дня Победы нашу камеру повели в баню. Перед баней Колька с Афоней «накололи фраера» (то есть ограбили в камере не вора и «забили его лепеху» (продали украденную у него одежду) банщику за два литра водки, причем эту водку им доставили в камеру утром 9 мая 1945 года (как-то передали во время утренней оправки). Вернувшись из туалета, фюреры часть водки отдали своим ближайшим приспешникам, а львиную долю выпили сами. Давно не пили, да и закусь — тюремная баланда и хлеб — не из первоклассных, в общем, их разобрало так, что им захотелось к женщинам. День был праздничным, и в коридоре только двое надзирателей-стариков. Тут же рядом — женская камера, где сидят-то, в основном, их «марухи», тоже оголодавшие по мужикам, так что если заскочить туда, то можно всласть поразвлечься. Но для этого надо же выйти в коридор, а двери из камеры заперты!

Берет Колька бачок с водой и бух его в парашу. Параша почти наполнилась. Стучит в дверь надзирателю. Тот просунул голову в форточку двери: «Чего тебе?» «Да вот, фраера полную парашу нассали, открой дверь, вынесем, а то уже ссать больше некуда!» Видит надзиратель, что параша полна, и, не ожидая подвоха, открывает дверь камеры. Колька с Афоней вытаскивают парашу в коридор, а надзиратель тут же запирает за ними дверь камеры. Затем слышится какая-то возня, сдавленные крики надзирателей, видно, Колька с Афоней напали на стариков, связали их и заткнули рты кляпами, затем стук открываемой двери в соседнюю камеру,

женский визг, не то тревожный, не то обрадованный, и на некоторое время успокоение. Потом топот сапог по лестнице: надзиратели как-то ухитрились нажать кнопку сигнала тревоги, грохот открываемых дверей, шум свалки, женские крики, вопли мужчин, Кольки и Афонии, два пистолетных выстрела, еще более громкий вопль Кольки, опять возня, кого-то тащат по лестнице.

Наконец, из карцеров, расположенных этажом ниже, понеслись душераздирающие крики Кольки и Афони: «А-а-а-а, убивают! Помогите! Ироды! За что? А-а-а-а!». Наших фюреров, да еще и раненных пистолетными выстрелами (не зря же оперативники стреляли), по-видимому, посадили в карцер в наручниках. Крики из карцеров то умолкают, то возобновляются с еще большей силой, наверное, прижимает физическая боль от наручников, которые все сильнее затягиваются от малейшего движения рук.

Урки нашей камеры начинают волноваться, собираются у дверей камеры с криками: «Ироды! Фашисты! За что убиваете людей? Давай прокурора!» и т. п. Я своим ребятам сказал: «Сидите тихо, это дело не наше, не бойтесь, эта буза может кончиться плохо!»

Так и получилось: урки столпились у двери камеры. Крики из карцера становятся все более душераздираздирающими. Кто-то из урок в азарте нажал на дверь, и она упала в коридор. Сразу все отпрянули от распахнутого дверного проема: пока они в камере — это все просто шумок, ну максимум двое-трое суток карцера без наручников дадут, но как только кто-либо выскочит в коридор — это уже бунт в тюрьме, да еще и в военное время, — за это запросто могут и вышку дать. Все это сразу уразумели, отскочили от дверей и разместились по своим местам на нарах. Вопли из карцеров все продолжались: «Убивают! Ребята, спасайте!» и т. д. , но никто на это уже внимания не обращает: «Своя рубашка к телу ближе», или, по-урочьи: «Умри ты сегодня, а я завтра».

Дверь лежит в коридоре на полу. В камере мертвая тишина, все понимают, что это даром не пройдет. И, затаив дыхание, лежат на своих местах в ожидании: «Что же будет даль-

ше?» Так проходит минут пятнадцать, затем топот множества сапог сперва на лестнице, а потом в коридоре, лай собак — и в камеру врывается целая свора, не менее тридцати человек, оперативников. Все здоровущие, морды красные, злые, еще хуже, чем их псы, — видимо, и они обмывали Победу — праздник, за который столько лет упорно «сражались», избивая и расстреливая невинных людей. «Бунт» в нашей камере оторвал их от этого занятия, хотя принять они успели уже порядком. Большинство оперативников, с собаками, расположились вдоль стен всего коридора — от нашей камеры и до туалета, — а человек пять-шесть, самых здоровенных и злых, заскочили в камеру. Один из них схватил лежащего с краю человека, стащил с нар на землю и, жестоко избивая кулачищами и носками кованных железом сапог, орал на него: «Кто сломал дверь? Отвечай, а то дух вышибу!»

Избиваемый, даже если бы захотел что-либо сказать, все равно не смог бы этого сделать, так как на него непрерывно сыпался град страшных ударов. Весь он был в крови, потерял сознание, а может уже и жизнь. Оперативник, убедившись, что этот уже не годится, пинком ноги вышвырнул его в коридор, где его, лежащего, прогоняли сквозь строй своими сапожищами стоявшие в коридоре в запасе оперативники. Их собачки похватывали его порядком, на то их специально и дрессировали, и несчастный, оставляя кровавый след, катился до туалета, где под сильной струей воды был уже не человек, а бесформенная окровавленная масса.

Затем хватали следующего — и та же самая операция. Обработав таким образом человек семь-восемь, оперативники, уставшие в камере, заменялись свежими из коридора, где работа была полегче: знай пинай сапогами по коридору, в сторону туалета, эту самую «бесформенную массу». И так конвейер продолжался, пока оперативники не заморочились, да и хмель сработал, и некоторые зэки, поздоровее и поудачливее, даже как-то ухитрялись добираться до туалета и своим ходом, но таких было немного.

Вижу, как расправа приближается и к нашему углу. Ну, думаю, конец! Надо же — перенести Мальдяк на Колыме, яму

в РУРе, улизнуть от верного расстрела на «72-м километре» на Колыме — и вот так глупо погибнуть здесь, в «Коровниках», за три недели до конца срока! Ведь после первых же ударов таких сапожищ по голове (озверевшие оперативники всегда метили только туда), я, конечно, дам дуба, это точно. Тут я принял решение: сразу же упасть на землю и пытаться закрывать голову руками. Черт с ними: переломают кости, но живым калекой еще можно остаться. Я в нашей группе крайний, последнего передо мной уже обработали, правда уже не так интенсивно (сказалась усталость), и вышвырнули своим ходом в коридор.

И вот оперативник, весь раскрасневшийся, с выпученными глазами, уже передо мной. Молча и совершенно спокойно я смотрю на эту звериную харю. Сейчас ударит кулачищем, схватит за шиворот, кинет на пол и — сапожищами с железными подковами! Мысленно уже прощаюсь с жизнью... Но оперативник, подняв руку, что-то медлит с ударом, а потом, опустив ее, довольно спокойно спрашивает: «И вы тоже не видели, кто сломал дверь?» Назвал на вы, это хороший признак, — у меня сразу отлегло от сердца. Собрав всю свою силу воли, стараюсь как можно вежливее и убедительнее, ведь только в этом мое спасение, отвечать: «Гражданин начальник, мы все в этом углу из лагерей, бывшие боевые офицеры — и ни до заключения, ни сейчас не нарушаем порядков. Никакого отношения к блатным не имеем, в их дела не вмешиваемся, никакого отношения к дверям тоже не имеем и в ту сторону даже не смотрели». Оперативник еще с минуту помедлил и, видимо, отойдя совсем, оставил наш угол в покое и вышел в коридор. Всю нашу группу в тот же день перевели в другую камеру, а через пару дней, вместе с десятком других зэков, в столыпинском вагоне отправили в Рыбинск.

Что стало с Колькой и Афонькой, я не знаю, как не знаю и того, что стало с жестоко избитыми блатными из нашей камеры: те из них, что остались в живых, едва ли полноценны. Дорого всем обошлась гулянка их фюреров в День Победы.

Как меня миновала чаша сия — не знаю и не понимаю: почему оперативники, в которых никогда не было и не могло

быть ничего человеческого, именно на мне решили закончить расправу?

Единственное объяснение: опять сработала молитва Мадонне той старой испанской женщины, которую я спас от бомбежки.

6

И вот, в середине мая 1945 года, живой и относительно здоровый, я попал в обычный лагерь при Рыбинском мехзаводе. Завод этот в войну выпускал оборонную продукцию — корпуса для мин и снарядов, а сейчас уже начал переходить на мирную — радиаторы для водяного отопления, детали водо- и газоснабжения, кастрюли, сковородки, а главное — выполнял заказы разных организаций по изготовлению крупного литья, металлоконструкций и прочего. Завод большой, площадью около квадратного километра.

Лагерь непосредственно примыкает к территории завода, так что зэкам далеко на работу ходить не приходится. Да и оцепление общее: на конвое экономия, а это расход немалый: возможно, он сжирал львиную долю экономии на нашей дешевой рабочей силе. На заводе был механосборочный цех, с хорошим станочным парком, литейный цех и цех металлоконструкции.

Директор — полковник НКВД В. И. Конахистов*. Когда я прибыл на завод, то начальница Второй части (учет зэков), увидев мой послужной список и поняв, что я связист, позвонила по телефону заведующему телефонной станцией, такому же зэку и контрику, Феликсу Феликсовичу Хруцкому, и договорилась с ним, что направляет меня к нему на станцию линейным монтером. Поместили меня в неплохое общежитие — большая комната в деревянном бараке. Десятка два железных коек с полным комплектом белья, у каждой койки тумбочка. Пол — деревянный, чисто вымытый и под-

* В 1947 году Конахистов В. И. был начальником Карачаровского мехзавода.

метенный, два радиорепродуктора, большой стол с принадлежностями для неизменного «козла», в общем, жить можно. Жили здесь рядовые электромонтеры, слесари, токари и пр., в основном, контрики.

Познакомился я со столовой: харч нормальный, суп наваристый, каша с растительным маслом, порции тоже нормальные. Что ж, думаю, жить здесь можно, бывало и похуже, тем более что осталось-то всего меньше двух недель. Шеф мой — Хруцкий, по национальности поляк, парень моего возраста или чуть моложе. Мы с ним быстро нашли общий язык, и хотя до этого я никогда на телефонных станциях не работал, но он обещал меня натаскать, чтобы я после освобождения остался здесь в качестве вольнонаемного начальника связи. В руководстве завода было немало бывших зэков, что его, Хруцкого, вполне устраивало, потому что срока у него самого осталось еще порядком. Вот так и зажил я на мехзаводе в Рыбинске. Ходил по кабинетам начальства, менял неисправные телефонные трубки, телефонные шнуры. Всякое начальство имеет свойство по своей нервности крутить шнуры и в сердцах швырять телефонные трубки, а они этого не любят. Дела мне хватало, и работа непыльная, а иногда бывал и навар: пачка махры или несколько папирос, а то и пайка хлеба или даже сахару кусок за срочный ремонт.

В мае 1945 года, единственный в жизни раз, выпало на мою долю полное солнечное затмение*. Приготовили затемненные стекла и все остальное — с утра вроде ничего, небо чистое, солнышко видно хорошо, а перед самым затмением небо затянуло тучами. Так ничего и не увидели, только сразу потемнело, как поздно вечером. Вот тебе и все затмение!

Срок мой уже подходил к концу, когда я узнал пренеприятнейшую новость: оказывается, контрики, осужденные в 1937 году и позже до войны, даже на пять лет, несмотря на то что сроки у них кончались уже в 1942 году, не освобождаются, а задерживаются «до особого распоряжения». И хотя

---

* Полное солнечное затмение состоялось не в мае, а 9 июля 1945 года.

война уже закончилась, их все еще не отпускали. Когда придет это «особое распоряжение» никто, конечно, не знал. Зашел я как-то во Вторую часть узнать, но начальница мне вдруг заявила: поскольку мой срок еще не истек, то и беспокоиться мне пока еще преждевременно. С этим я от нее ушел и стал ожидать 31 мая 1945 года.

Накануне меня вызвали во 2-ую часть. С трепетом душевным шел я туда. Неужели свобода?!.. Конец всем моим мытарствам по тюрьмам и лагерям, и если меня, конечно, не пустят в Москву или в другой крупный город, то ведь в какой-нибудь тьмутаракани я сумею свободно ходить, не чувствуя за спиной ни конвоира, ни провожатого с собачкой!

Захожу. Начальница, опросив меня по ГУЛАГовскому ГОСТу, дала мне расписаться в типографским образом отпечатанном бланке (и, видно, немалым тиражом) в том, что «в связи с окончанием срока приговора» я задержан «до особого распоряжения». Хотя я и был внутренне подготовлен к этому, но в душе еще теплилась искорка надежды на освобождение. Тут она окончательно погасла, ведь я знал, что этого «особого распоряжения» многие ждут еще с 1942 года. Начальница, поняв мои переживания, конфиденциально утешила меня, что теперь, в связи с окончанием войны, этого распоряжения можно ожидать со дня на день. Оформив отсрочку моего освобождения, она сообщила мне, что я попал на мехзавод ошибочно и что по наряду IV спецотдела НКВД я был направлен в расположенный поблизости лагерь Переборы, обслуживающий эксплуатацию Рыбинского моря, где я должен был работать по специальности — по изготовлению распределительных щитов слаботочной сигнализации. Поскольку я уже неплохо устроился на заводе, я попросил остаться здесь до «особого распоряжения», но начальница категорически заявила, что оставлять меня на мехзаводе она не имеет права.

7

На следующий день в сопровождении конвоира я уже следовал пешим порядком на Переборы. Идти было километра три и примерно за час мы туда добрались. Переборы — большой, вполне благоустроенный лагерь, в нем находился подобный Свободлагу для строительства БАМ центральный ОЛП («генеральный штаб») сооружения Рыбинского моря. Просторные бараки, койки со всем «прикладом», на окнах марлевые окрашенные акрихином в лимонный цвет занавески. Столовая — почти как вольная: столы с пластиковой облицовкой, и даже стулья вместо привычных скамеек или табуретов. Иногда на столиках появлялись букетики полевых цветов (дело-то было в начале лета), а главное — суп наваристый, густой, да и каши давали прилично. Особого голода я здесь уже не чувствовал.

На высоте и культработа: здесь почти в полном составе находился театр народного артиста СССР Радлова во главе с ним самим*. Ставятся различные музкомедии и, конечно, на высоком профессиональном уровне: попробуй-ка поставь хуже, начальство — это не столичные критики: сразу разберется, и насидишься в ШИЗО, хоть ты и Радлов.

Из всех артистов мне запомнилась талантливейшая Нелли Поль: тоненькая как тростиночка, с огромными серыми глазами. Худа она была настолько, что вполне соответствовала кондициям колымских доходяг. И в чем только душа

* Радлов Сергей Эрнестович (1892—1958), режиссер-экспериментатор, драматург и теоретик театра, главный режиссер популярного в Ленинграде Молодого театра. В марте 1942 года в тяжелом состоянии артистов эвакуируют из Ленинграда в Пятигорск. В августе, когда в Пятигорск вошли немцы, театр не успели снова эвакуировать. В сентябре 1943-го театр перевозят в Берлин. Часть артистов во главе с Радловым оказалась на юге Франции, а после освобождения Франции в Париже, откуда театр репатриируется в Москву. В СССР их ждал арест, обвинение в измене Родине и приговор — десять лет заключения. Жена С. Э. Радлова, Анна Радлова, поэтесса и переводчик Шекспира, в феврале 1949 года умирает в лагере под Рыбинском. Радлов отбывает весь срок. В 1953 году он был освобожден, в 1957-м — реабилитирован. После освобождения работал в Даугавпилском и Рижском театрах.

держится, но на сцене она преображалась: не были заметны ни ее худоба, ни несовершенства костюма. Это был самый настоящий капризный прапорщик женского пола из «Свадьбы в Малиновке» и вообще, какую бы она ни играла роль, она абсолютно входила в образ. Нелли прекрасно пела, танцевала.

Спектакли и киносеансы на Переборах бывали довольно часто, раз-два в неделю. Я, по мере возможности, никогда их не пропускал. Зал в клубе был примерно на 300—500 человек, более половины мест на спектаклях были заняты лагерным начальством и их семьями. При этом вели они себя, как им и полагалось по умственному развитию, по-хамски: курили, отпускали вслух всякие скабрезности и так далее.

Моя новая работа не требовала больших затрат энергии. Меня направили в электромеханическую мастерскую, где была организована бригада из трех человек по монтажу щитов слаботочной сигнализации.

До меня здесь уже работало двое зэков: женщина — радиоинженер и бывший главный инженер Рыбинского мехзавода, откуда я сюда прибыл. Он был осужден на десять лет. Рассказывали, что на нем с самого начала держался весь завод, а директор был просто номинальной величиной. Авторитетом главный инженер пользовался огромным, часто принимал весьма рискованные решения, прижимал своих подчиненных иногда так, что завел себе на заводе предостаточно недругов. Когда директором был назначен полковник Конахистов, человек тоже с характером, то директорские замашки главного пришлись ему не по душе. Но понимая, что по эрудиции и знанию производства он ему и в подметки не годится, Конахистов до поры до времени молчал, но «материалец» накапливал. Когда на заводе случилось очередное ЧП и стали искать крайнего, директор, нажав на пружины своих дружков по НКВД, сам выкрутился, а главному сунули «баранку». После осуждения бывшего главного, уже в качестве зэка, долго уговаривали остаться на заводе, обещали всевозможные поблажки, почти вольную жизнь, фактически оставили прежнюю работу, возможность продолжать семей-

ную жизнь (его жену — Марью Николаевну, милейшую женщину, с которой я иногда встречался, работая на телефонной станции, даже оставили на прежней работе — секретарем директора), но бывший главный уперся: «Нет!».

Дела на заводе при новом главном резко пошли под гору, и НКВД все же не терял надежды не мытьем так катаньем уломать бывшего главного остаться на заводе, но все впустую. Особых мер воздействия к нему применять, по-видимому, не хотели, все-таки хоть и бывший, но свой. Перевели его на Переборы, благо близко, а там, когда жареный петух клюнет, может, и одумается, но он держался. Когда приходила его навестить Марья Николаевна, он к ней даже не выходил, а со временем, чтобы сжечь за собой мосты, демонстративно сошелся с женщиной-радиоинженером, ничем ни примечательной молодой и толстой еврейкой из нашей бригады. Марья Николаевна приходить к нему перестала, но продукты питания систематически присылала. Продукты он, конечно, брал, ведь все же к лишениям лагерной жизни он не привык, кормил ими свою лагерную «жену», а иногда угощал и меня. Работа у нас была фактически не трудная и довольно интересная: приходилось монтировать сложные электромеханические схемы со множеством радиоламп, реле и сервомоторов. Помимо сборки, в нашу обязанность еще входила и предварительная проверка и наладка работы щитов. Никаких норм у нас не было, никто не беспокоил и не торопил, потому и мы особо не спешили. Хватало времени и на беседы, и на любовные уединения наших молодоженов, ведь в лагере они жили в разных зонах и такой возможности не имели.

8

Контингент нашего лагеря был весьма разнообразен. Было среди зэков довольно много наших бывших военнопленных, освобожденных нашими войсками. Среди них я встретил Сережу Шаталова, большого друга моего двоюродного брата Бориса Хургеса, — он учился с Борисом в одной

школе, в одном классе, жили они тоже рядом, и дружили с детства. К началу войны Сергей служил срочную на Черноморском флоте, сперва на корабле, а после его потопления — в морской пехоте. Под Одессой он попал в плен. Общеизвестно, как фашисты жаловали «черную смерть», как они называли наших моряков, так что можно понять, какие круги ада прошел Сергей за долгие годы плена. И вот, наконец, свобода! радость! слезы! И еще... Подольский лагерь.

Стандартный вопрос: «Ваше ранение (он был взят в плен слегка раненным в голову) не было тяжелым, вы имели полную возможность застрелиться. Почему же сдались в плен и опозорили звание советского моряка?» Доказывать что-либо бесполезно, восемь лет лагерей — это на добавку к фашистским. Сергею еще повезло: он попал в Переборы, а не на Колыму, и выжил. После смерти «отца народов» Сергея досрочно освободили, месяца за три до окончания срока, потом, года через три, — реабилитировали, но это был уже в полном смысле слова инвалид: голова тряслась, говорил с трудом. Он умер в 1957 году, сорока трех лет отроду.

Теперь о моем двоюродном брате Борисе Хургесе: хоть он и не был никогда в заключении, но биография его интересна и заслуживает внимания. В тринадцать лет, катаясь на велосипеде, Борис упал и ушиб ногу. Начался у него туберкулез кости. Никакое лечение не помогало, и ногу пришлось постепенно ампутировать: сперва ступню, а потом все выше и выше. Процесс этот длился долго, и к началу войны Борис уже успел закончить не только десятилетку, но и медицинский факультет Московского университета. К этому времени нога была ампутирована до колена, а процесс все продолжался. Хоть и без ноги, на протезе, Борис начал работать: он специализировался в области нейрохирургии. Благодаря редкому трудолюбию и хирургическому таланту он приобрел доброе имя.

Несмотря на явную инвалидность, Борис добровольно пошел в армию, и к концу войны, имея уже звание полковника медицинской службы, был начальником нейрохирургического госпиталя где-то под Берлином. Однажды, после

окончания войны, его срочно вызвали в штаб Жукова. Прибыл и на костылях вошел в приемную маршала (протезов в то время Борис уже не носил, потому что нога была ампутирована выше колена). Кроме наших офицеров, он увидел несколько американских генералов из «тузов». Оказалось, что какому-то крупному американскому генералу во время гулянки бутылкой повредили череп. Он в очень тяжелом состоянии, ни везти его в США, ни ждать оттуда помощи времени уже нет. Американские хирурги ввиду важности персоны не решаются делать ему операцию, но кто-то слышал о талантах полковника Хургеса и посоветовал обратиться за помощью именно к нему. Когда Борис узнал, в чем дело, то попросил у Жукова разрешения в более спокойной обстановке познакомиться со всеми медицинскими материалами, рентгеновскими снимками и т. п. Такая возможность была ему предоставлена, и, тщательно все изучив, он позвонил Жукову по телефону: «Георгий Константинович, как по-вашему, делать операцию или эта персона не заслуживает этого? Если не заслуживает, то я могу и отказаться». Жуков ответил, что если есть хоть 50% шансов на успех, то из соображений престижа советской медицины следует эту операцию сделать, а если риск велик, то можно и отказаться». Врач в Борисе пересилил дипломата, и он взялся.

Провел он операцию блестяще. Чуть ли не во всех медицинских журналах того времени было напечатано подробное ее описание. Продолжалась она более двенадцати часов, и сделал ее врач, все время стоявший на костылях. Американец начал быстро поправляться. Борис получил давно уже им заслуженный орден Ленина, а от американцев — какой-то очень высокий крест, а генерал, которому Борис спас жизнь, подарил ему свой «Кадиллак». Вскоре после этого болезнь Бориса опять обострилась, потребовалась еще одна ампутация, и ногу отрезали до самого бедра. Дальше ампутировать было уже некуда, Бориса демобилизовали, и в августе 1948 года он умер.

Когда мы с ним после длительной, более чем десятилетней, разлуки встретились под новый 1947 год у его сестры, то

по сравнению с ним я, лишь два месяца как освободившийся, после своих десяти лет ГУЛАГа, мог бы считаться толстяком и образцом здоровья: Борис же был буквально мешком с костями. Хотя сестра меня заранее предупредила, чтобы я не удивлялся при его виде, я все же не мог удержаться: такую худобу я редко встречал даже на Колыме. Борис сразу же меня понял и, криво улыбнувшись, спросил: «Хорош?» И когда я в ответ начал утешать, что, мол, поправишься, были б кости, мясо нарастет, он меня перебил: «Нет, Лева, я врач и прекрасно знаю, что меня ожидает. Ты сейчас уезжаешь (я уезжал на работу в Грозный), и видимся мы с тобой в последний раз. Жить мне осталось самое большее год-два».

Через год и семь месяцев Борис умер.

Было у нас в лагере изрядное количество фашистских диверсантов: это были молодые ребята, которые, не выдержав режима в лагерях для советских военнопленных, поддались на вербовку и поступили в немецкие шпионско-диверсионные школы. Обучались они обычно всего два-три месяца, а потом их сбрасывали на парашютах в тылы Советской Армии. Зная, что они из себя представляют, фашисты им особо серьезных заданий и не давали, явок и паролей тоже. Не менее 90% таких групп, попав на нашу территорию, тут же вместе со своей амуницией отправлялись прямо в НКВД, иногда еще и пристрелив старшего. Поначалу таких, без особого бюрократизма, просто расстреливали, но позже НКВД уяснил, что выгоднее, чтобы они сдавались добровольно. Зная, что их ожидает расстрел, такие группы сопротивлялись до последнего патрона. А как перестали применять к добровольно-сдавшимся смертную казнь, то, не меняя статьи 58, параграф 1б (измена воинской присяге) и пользуясь гибкостью нашего УК, стали давать, смотря по указанию свыше, сперва по двадцать пять лет, потом по пятнадцать, по десять и, наконец, съехали до двух лет заключения в общем лагере.

По амнистии полностью освобождались из всех мест заключения со снятием судимости и восстановлением во всех

гражданских правах все заключенные, вне зависимости от статьи осуждения, имевшие сроки до трех лет включительно. Эта амнистия в основном коснулась только бытовиков, так как все контрики, осужденные в 1937 году и позже, имели срок от пяти лет и больше. Эти сроки они уже отбыли, как я, и оставались в лагере до «особого распоряжения», так что на контриков амнистия не распространялась.

9

Вот так время и шло. Прошла победа над фашистами, прошла амнистия, прошла японская война, и победа над Японией, — и никаким боком все это меня не коснулось. «особого распоряжения» как не было так и нет, а в заключении даже те, у кого срок истек в 1942 году.

Приближались Октябрьские праздники — первые праздники без войны за последние пять лет. Все готовятся отметить их особо торжественно. Только в лагере режим ужесточился: ведь амнистия уже прошла, все кто совершил небольшие, не опасные для государства преступления, уже на воле, в лагерях и тюрьмах, остались только особо опасные государственные преступники вроде меня и бандиты-рецедивисты, а к ним всем общенародный Праздник, конечно, не относится.

Как ни тянули мы свою работу, но и ей все же пришел конец. Дали моим напарникам перематывать якоря и катушки динамомашин для автомобилей, а я остался на обслуживании лагерной телефонной станции. Вскоре нам объявили, что лагерь на Переборах ликвидируется. Все имеющиеся здесь специалисты-рабочие будут переведены на мехзавод, откуда я прибыл, а остальные — в другие общие лагеря, благо в архипелаге их было более чем достаточно.

И вот пошли этапы, каждый день по пятьдесят-сто человек. Одним из первых забрали в какой-то другой лагерь Сережу Шаталова: никакой технической специальности он не имел. Во Второй части, куда я зашел узнать насчет «особого

распоряжения» (я уже пересиживал около полугода), мне ничего утешительного не сообщили, но сказали, что я буду направлен на мехзавод. Это меня устраивало, и я рассчитывал там попасть на телефонную станцию.

Недели через две, нас, человек пятьдесят, построили по пятеркам и пешком отправили на завод. Оформившись, я поспешил к Хруцкому, но оказалось, что на моем месте уже работает человек, профессиональный телефонный мастер, и вакансий больше нет. Это несколько спутало мои карты: идти на общие работы — копать котлован для строительства нового цеха, да еще на зиму глядя — мне не хотелось.

Хруцкий понял мое положение, снял трубку и куда-то позвонил. Спросил, нужны ли толковые инженеры и, получив утвердительный ответ, сказал: «Иди-ка ты, Лева, в ОТК завода, к начальнику отдела и скажи, что я с ним о тебе говорил». В ОТК сидел довольно интеллигентного вида человек, лет сорока пяти. Он спросил, разбираюсь ли я хоть сколько-нибудь в литье серого чугуна. Я ему откровенно сказал, что хотя по формуляру считаюсь «инженером-металлургом», но ни о каком литье я не имею ни малейшего представления.

Он все же предложил мне идти работать контролером в литейку серого чугуна: «Таблицу умножения вы вроде не забыли еще, собаку через ять не пишете, а ребята там хорошие, есть и зэки, и вольные. Они вам помогут. Обживетесь, не боги горшки обжигают», — и подписал мне направление.

Так я попал в литейный цех мехзавода и познакомился с его руководством. Начальник цеха — *Николай Михайлович Баташков*, вольнонаемный, лет за сорок, очень симпатичный, и хоть и без высшего образования, но хорошо знавший литейное дело человек. Ценящий своих помощников и доверяющий им, несмотря на то что они не только зэки, но еще и контрики. Я ему рассказал, как из-за своей благоприобретенной второй профессии я попал в его цех. Он расхохотался и заметил, что в их (НКВД) ведомстве еще и не такое случается. Николай Михайлович рассказал мне о структуре цеха, о выполняемых цехом работах и выразил надежду, что мы сработаемся, что впоследствии и сбылось. Познакомил меня

Баташков и с моими будущими коллегами. Двое из них были зэками, а один бывшим зэком.

Машков — замначальника цеха, зэк-контрик. Настоящий инженер-металлург, и несмотря на сравнительную молодость (мой ровесник — тридцать пять лет), специалист весьма опытный. Вообще говоря, на нем весь цех и держался. Высокого роста, очень симпатичной внешности, которую не могла испортить даже лагерная роба, и весьма высокой общей культурности. В свободное от работы время, с ним очень приятно было беседовать о литературе, музыке, неплохо знал он и русскую историю. Он был очень обходительный и уживчивый человек, все в цеху (человек примерно тридцать пять) его очень уважали.

Дикштейн Ефим — экономист цеха. Еврей по национальности, родом из Одессы. Тоже контрик. Дело свое знал досконально. Вот уж кто действительно был правой рукой пройдохи Баташкова. С помощью Ефима цех не только выполнял план, но и систематически держал у себя переходящее красное знамя завода, что давало Николаю Михайловичу не только моральное удовлетворение, но и некоторые весьма ощутимые материальные блага, а нам — зэкам — повышенные пайки, что выражалось в добавке ста граммов хлеба к общему питанию. Дикштейн, как и Машков, был довольно культурным человеком, ему тоже было что рассказать, и надо заметить, что делал это он мастерски.

После войны и до самой смерти Джугашвили махровым цветком у нас распускался антисемитизм: закрыли в Москве еврейскую газету «Дер Эмэс» («Правда»), разгромили Еврейский театр в Москве на Малой Бронной, где-то в Белоруссии убили Михоэлса. Начались гонения против евреев-писателей. В прессе печатались издевательские статьи, раскрывались их псевдонимы. Апогея эта кампания достигла к моменту смерти Джугашвили («Дело людоедов-врачей»). Ходили слухи о том, что наподобие аналогичных акций, предстоит массовое выселение всех евреев на Дальний Восток, где, якобы, для этих целей уже построены целые барачные города.

Но все это было несколько позже, а сейчас, в начале 1946 года, «бутон» этого зловещего цветка еще только набухал. Причем все это происходило не только в Москве, а еще в более сильной форме и на Украине, где такие веяния многим оказывались весьма по душе, уж больно много там оставалось бывших фашистских полицаев и прочей сволочи, сумевшей как-то укрыться от правосудия. Мы в лагере этого не ощущали, но Дикштейн как-то получил письмо от жены из Одессы: понимая, что прямо писать о таком неофициальном веянии нельзя, она написала иносказательно: после обычных фраз о родных и знакомых, она сообщала: «А теперь тебя, Ефим, наверно, интересует музыкальная жизнь Одессы: так вот, в репертуаре нашего оперного театра, произошли изменения: опера “Аида” больше не ставится, ее полностью заменили на “Иван Сусанин” и “Наталка-Полтавка”». «Аид» — на идиш обозначает еврей, и эту фразу следует понимать так, что в Одессе евреев начинают преследовать, снимают со всех руководящих постов и вместо них назначают русских и украинцев. Это письмо расстроило и меня: к этому времени появились первые ласточки «особых распоряжений», но приходили они индивидуально, только отдельным людям, а не всем и в массовом порядке. Если эти веяния коснутся еще и нашего ведомства, то дело швах.

Вадим Львович Волков: бывший зэк из контриков, почему-то был освобожден сразу же по окончании своего календарного срока, незадолго до конца войны, без оставления до «особого распоряжения». Из семьи старых интеллигентов, очень культурный человек, тонкий музыкант и прекрасный, до ювелирного совершенства, часовой мастер. После войны появилось на базарах множество трофейных часов, и часовой бизнес получил широкое распространение. Оказалось, по рассказам Волкова, купить по дешевке хорошие часы было довольно сложно. Стоило появиться на базаре какому-нибудь демобилизованному военному, со стоящими часами, как его тут же окружали члены подпольного синдиката, который имелся даже в Рыбинске, и начинали хаять товар. Волей-неволей, так как синдикатчики отпугивали обычных

покупателей, часы переходили в их руки, а затем они их перепродавали уже по настоящей цене. Торговал синдикат и дешевыми часами, но это были самые бросовые механизмы, пересаженные в красивые корпуса, а зачастую утерянные агатовые камни мастера вроде Волкова заменяли кусочками парафина. Такие часы в момент продажи исправно шли и даже со звоном, но часа через два, максимум три, останавливались уже дома у покупателя, причем навсегда. И вот от этого часового бизнеса Вадим Львович, помимо заработка контролера ОТК на мехзаводе, что ему было необходимо для крыши, имел кой-какую копейку.

Вскоре к нам в ОТК поступил новичок-солдатик — *Коля Кузнецов:* на войну он был взят с того же мехзавода. Прошел от Москвы до Берлина. Всю войну провел в полковой и дивизионной разведках. О его храбрости свидетельствовали награды: два Ордена Славы, два Боевого Красного Знамени, три Красных Звезды, не считая медалей, как орденских, так и памятных. Все это достаточно красноречиво говорило о славных боевых действиях этого скромного сержанта. К тому же он был на редкость честным и порядочным человеком. К нам, зэкам-контрикам, относился сочувственно и всегда старался помочь. Когда однажды ко мне из Москвы приезжала сестра, Коля, несмотря на март месяц, уступил ей свою комнату, а сам спал в нетопленом коридоре. Вот такой это был человек!

Кондратий Федорович Пацук: зэк-контрик, мастер литейного цеха. Потомственный литейщик. И дед его, и отец всю жизнь проработали в литейках серого чугуна. По их стопам пошел и Кондрат с самых детских лет. Выражаясь по-авиационному, Кондратий Федорович был божьей милостью литейщик. Правда, не любил он серийного литья по мелочам, все эти канализационные колена, тройники и прочее, но уж когда дело касалось отливки какой-нибудь многотонной сложной станины, то тут Пацук был на высоте, сам лично следил за формовкой, не стесняясь нерадивым и леща влепить, а уж заливка никогда без него не обходилась. Стоит как бог и командует крановщиками и заливщиками. В руке

у него всегда палка с длинным гвоздем на конце. Пацук чувствует, где в форме может скопиться воздух и если ему не дать вовремя выхода, он прорвет форму и тогда прощай, отливка, а этого его рабочая честь, несмотря на то что он бесправный зэк, допустить не может.

Был однажды в его практике и казус: по недосмотру то ли модельщиков, то ли формовщиков не сделали в одном месте сложной, многотонной формы отливки выпор — отверстие для выхода воздуха в одном из тупиков формы. При заливке чугуном, это место начало пучиться. Никто, кроме многоопытного Пацука, этого не заметил. Тут же кинулся он со своей палкой, проткнул скип и на мгновение открыл рот, крича заливщикам, чтобы они уменьшили струю металла. Но было уже поздно: как только Пацук кольнул в скип, оттуда, вместе с горячим воздухом, вырвался и фонтанчик металла. И надо же было случиться, что одна капля попала Пацуку прямо в открытый рот: поперхнувшись криком, он как-то по-мышиному запищал. К счастью, металла в этой капле оказалось немного, с небольшую горошину, и кроме несильного ожога языка, никакого вреда она Пацуку не нанесла. Но урок мы все получили: смотреть в оба за формовкой и перед заливкой лично проверять наличие выпоров по чертежам.

Вскоре произошел инцидент, который поднял авторитет Пацука на еще большую высоту. На завод поступил очень серьезный заказ для нужд оборонной промышленности. Какому-то совершенно секретному предприятию в Сибири понадобилась массивная чугунная контрольная плита, обработанная по самому высокому классу точности. Сама по себе работа была не из очень сложных: плита должна была быть метров двенадцать в ширину, восемь в длину и около двух в толщину, безо всяких пустот внутри. Материал — серый чугун. Отливали ее в нашем цехе. Формовка не отняла много времени, но для заливки потребовалось одновременно столько чугуна, что наши мостовые краны не смогли бы своевременно обеспечить его доставку к месту заливки. Заказ был экстраважный, пришлось на несколько дней остановить

текущую работу цеха и смонтировать, дополнительно к трем имевшимся, еще два временных мостовых крана. Наконец, все для заливки плиты было готово, и Пацук принял на себя командование. Заливка прошла блестяще: ни на секунду не прерывались струи жидкого металла, ни один ковш не опорожнялся более чем на 45—50% при норме 60—70%. На полную мощность работали наши вагранки и с лихвой обеспечивали требуемое количество высококачественного чугуна. К утру заливка была закончена, и все ушли на отдых.

Две недели остывала плита в форме, потом ее выбросили во двор, где она остывала еще три месяца. Сроки изготовления начали поджимать, ведь предстояла еще гораздо более трудоемкая механическая обработка плиты — по высшему классу точности, до зеркального блеска. Все чаще появлялись у отливки руководители завода, представители из Москвы, с весьма солидными знаками различия на погонах, но настырный Пацук все еще не давал добро на отправку плиты в механический цех. Через три месяца после выброски плиты во двор терпение у начальства лопнуло. «Да что ты, старик, издеваешься, что ли, над нами? — орал на Пацука Конахистов. — Уже три месяца плита остывает, да уж там давно все внутренние напряжения снялись, а ты все свое: «не готово»! Ведь это заказ оборонного значения! От его выполнения зависит безопасность нашей страны!»

Пацук спокойно выслушивал такие тирады и обычно отвечал: «Вот потому-то, гражданин начальник, я и не могу сейчас выпускать эту плиту, что она «оборонная». Я образования не имею, но «металл чувствую»! Не готова еще эта плита! Можете со мной что угодно делать, хоть новый срок давать (у Пацука срок заключения кончался через год с небольшим), но акт о сдаче плиты в механический цех я не подпишу!» — заключал упрямый хохол. После такого разговора терпения начальства хватило еще на три недели. По истечении этого срока, уже не обращая внимания на Пацука и, конечно, без его подписи, акт подписал сам вольный начальник ОТК. Плиту вытащили с литейного двора, почистили пескоструйкой (под большим давлением прокачива-

ется по трубе мелкий песок, который хорошо чистит литье от остатков формовочной земли) и отправили на обработку в механический цех. На большом продольно-строгательном станке канадской фирмы «Бертрам» плиту вчерне обработали со всех сторон, доведя до чертежных габаритов. Затем целая бригада опытных слесарей-инструментальщиков «шабрили» плиту еще месяца два. И вот, наконец, плита готова: по гладкости — зеркало, по горизонтальности — идеал.

Стоит сам Конахистов и любуется творением рук своих, уж больно здорово получилось. Настолько был доволен директор досрочным выполнением этого заказа, что даже не покарал Пацука за упрямство. «Ну что, старик! — благодушно обратился Конахистов к Пацуку. — Видишь, какая красотища получилась? А ты все "не готова", "я чувствую"!..» Ничего не ответил Пацук директору, молча отошел в сторону. Запаковали плиту и на двух четырехосных платформах отправили заказчику. НКВД досрочно выполнил важнейший заказ оборонной промышленности! Не поскупились наверно и на премии — и руководству завода, и тем, кто рангом повыше!

Через несколько месяцев вдруг приходит с завода-заказчика телеграмма: «Заказанная нами плита получена. Плита — абсолютный брак и не удовлетворяет ни одному пункту технических условий. К употреблению абсолютно непригодна, высылается обратно в ваш адрес». Вот был удар так удар! С нетерпением ждали на заводе прибытия забракованной плиты. К чему они там могли придраться? Ведь вроде все сделано лучше не бывает? Даже настоящее зеркало, и то не уступит ей по ровности! Наконец, злополучная плита прибыла на завод. Две платформы закатили во двор механического цеха. Собралось все начальство во главе с Конахистовым. Вскрыли упаковку, а плита, в которую при отправке с завода можно было смотреться как в зеркало, — вся волнами, в трещинах, причем неглубокими — 0,2—0,5 мм в глубину, никаких следов шлифовки, и поправки неровности на лицевой стороне достигают миллиметровых размеров. Все, стоя вокруг плиты, молча переглядываются друг с другом, пожи-

мают плечами, а некоторые чешут в затылке. Тут же, сзади, стоит и Пацук.

К чести директора надо сказать, что вел он себя в это время достойно. Не обращая ни на кого внимания, Конахистов подзывает Пацука: «Ну, что ж, прав ты был, Кондратий Федорович. Чего скажешь сейчас? Что будем с ней делать?» Пацук ответил ему тихо и без злорадства: «Не могу вам, гражданин директор, ничего больше сказать! Таких вещей мне еще отливать не приходилось, но чувствую, что даже сейчас она еще не готова для механической обработки».

На этот раз старика послушали. Не стали пока плиту трогать, а директор с главным инженером поехали в Москву для получения тыков и консультаций. Но ни в НКВД, ни в министерстве черной металлургии ничего путного по поводу плиты им сказать не могли. Не помогло и обращение в сугубо научные инстанции: кроме путаных и противоречивых заключений и там ничего они не получили. Но главный в случайном разговоре в НКВД узнал, что в Министерство внешней торговли в настоящее время прибыло несколько американских инженеров по литейному делу. За приличное вознаграждение двое специалистов по массивному литью серого чугуна согласились съездить в Рыбинск и дать заключение по поводу злополучной плиты. Привезли их на мехзавод, показали плиту, рассказали ее историю. Старший из американцев только спросил: «Сколько времени эта плита лежала во дворе после отливки до начала мехобработки?» Узнав, что всего три месяца, американец захлопнул свой портфель со справочником и сказал: «Все ясно. Наша фирма в свое время изготавливала подобные плиты и выдерживала их после отливки во дворе не менее двух или трех лет, а за три или даже семь месяцев в такой массе внутренние напряжения прекратиться еще не могут. Обрабатывать плиту сейчас нет никакого смысла». Янки уехали, а к «чувствам» Пацука с тех пор стали прислушиваться более внимательно.

Но время шло, я «рос» и начинал входить во всю сложность взаимоотношений выполнения плана и требований к качеству продукции. Хотя номинально мы, контролеры, подчинялись общезаводской службе ОТК, но кормил нас цех, и величина пайки хлеба зависела от выполнения цехом плана. Иногда этот план висел на волоске из-за нескольких десятков тонн несданной продукции, в результате чего все вольные лишались премиальных, а мы, зэки, садились на урезанные пайки.

Особенно узким местом была обрубка литья: дело в том, что в местах стыков полуформ, образовывались «приливы» металла от неплотного прилегания полуформ и целого ряда других причин, достигавшие порой до сантиметра в толщину. Но цех должен придавать своей продукции товарный вид, то есть удалять с поверхности литья подобные наросты. Такая операция осуществлялась, в основном, при помощи молотка и зубила. Доходяги из контриков, а это был основной контингент нашего лагеря, никак не могли справиться с этой тяжелой работой, отчего у нас скапливалось до нескольких дневных выработок необрубленного литья. Приходилось устраивать авралы, снимать с работы формовщиков и ставить их на обрубку, а это сильно снижало выработку цеха, но другого выхода не было, потому что новых здоровых людей, пригодных для такой тяжелой работы, лагерь цеху предоставить не мог.

Тут меня осенило: в лагере находилась довольно большая группа уголовников. Эти экземпляры, имевшие в отдельных случаях срока до восьмидесяти, ста, а то и больше лет, считались вечными, плевали на все лагерные порядки, на работу никуда не ходили, благо, с окончанием войны невыход на работу перестал считаться саботажем и за это не расстреливали; а добавки срока уже не боялись. Они либо сидели в ШИЗО, либо, как на воле, воровали и играли в карты. Нельзя сказать, чтобы начальство лагеря оставляло их в покое, но постоянное пребывание в ШИЗО на 300 граммах хлеба и этому контингенту особого удовольствия не доставляло.

Когда собирается достаточная группа таких уголовников, то у них обязательно выявляется наиболее авторитетный бандюга, преимущественно из совершивших на воле тяжелые преступления, которым вся эта банда подчиняется беспрекословно. Признанным фюрером среди наших был хохол Семэн Лэмец (срок — лет так до ста двадцати). Как-то я с ним случайно разговорился и оказалось, что Семэн в свое время тоже бывал на Колыме, причем даже в одно время со мной и на одном прииске: Мальдяк. Нашлись у нас с ним и общие знакомые: Афонька Борода, Гришка Воробей, Ванька Чума и прочие крупные бандюги, которые мне там встречались. Мое пребывание на Колыме, да еще и в особой зоне, которой все уркачи боялись как черт ладана, оказалось в глазах Семэна лучшей рекомендацией, и он стал относиться ко мне с явным уважением и доброжелательством.

Вот тут-то я и решил реализовать свою идею. Все эти бандюги были молодыми и здоровыми ребятами, способными при необходимости и горы свернуть. Вспомнилась мне фронтовая бригада Садыка Шарипова, которая, когда их с началом войны прижали, дружно вышла на работу и честно выполняла нормы на 200%. Как-то встретившись с Семэном, я завел с ним разговор: дескать, не надоело ли ему — такому авторитетному вору, чуть ли не по две недели в месяц сиживать в ШИЗО на 300 граммах хлеба? Он удивился: «А что мне? Как фраеру мантулить по десять часов в день за пайку?» Тут я ему рассказал об обрубке литья и о том, что целая куча фраеров с ней не справляется. И предложил: если он со своими согласится взять на аккорд эту работу, то я попытаюсь договориться с начальством, чтобы, в зависимости от того, за сколько времени они закончат эту работу, их досрочно отпускали в зону и выдавали самую большую пайку.

Какой он ни был вор, а такое все равно льстило его самолюбию. Хоть в карты играй, хоть к бабам ходи, хоть на голове стой, только в лагере открытого разбоя не устраивай. План Семэна заинтересовал, и он попросил меня показать ему работу. Увидев, как с нею маются фраера, Семэн присвистнул: «Ну, Лазаревич, договаривайся с начальством».

Хотя мой план и понравился Баташкову, но реализовать его оказалось не очень легко. Мешал бюрократизм, точнее режим: «Как это? Зэки, вместо положенных десяти часов, будут по три-четыре часа работать? Ни в коем случае! Если хотят, пусть работают на обрубке, пока не закончат, а потом займите их на другой работе». Дошло до самого Конахистова, и в конце концов Баташков все же его дожал. Решили попробовать в порядке эксперимента.

Семэн собрал своих «оторви и брось», до тех пор вообще нигде не работавших и по две-три недели в месяц сиживавших в ШИЗО, и под своим личным руководством поставил их на обрубку. Этого народа собралось человек двадцать пять, а нормальный состав бригады обрубщиков был у нас человек сорок-пятьдесят. Зато у банды появился спортивный азарт: покажем этим фраерам, что такое настоящий вор! Даже в первый день, еще не имея никакого навыка в этой работе, бригада Лемэца закончила всю обрубку часов за пять. Ту же самую работу бригада фраеров успевала за десять часов сделать на 50—60%.

Утереть нос фраерам стало для них делом самолюбия. Дальше пошло еще лучше: даже самое большое количество литья, которое мог дать цех, эта бригада, вскоре увеличенная до законных сорока человек, обрубала за три-четыре часа, причем чистенько. ОТК был сам Лемэц: если видит, что кто-нибудь халтурит, то плюх надает сам, а силушки у него хватало. Обрубка перестала держать цех.

Надо сказать, к чести Конахистова, что слово свое начальство держало железно. Баташков следил, чтобы обрубщиков не обижали: закончили работу, ОТК ее принял — идите в лагерь. Пайки хлеба им выдавали максимальные, в ШИЗО их больше за мелочи не сажали и смотрели сквозь пальцы на игру в карты и посещения женской зоны.

С Лемэцом у меня установились самые дружеские отношения, и вскоре он стал моим незаменимым помощником в некоторых производственных комбинациях. Как я уже писал выше, выполнение плана нашим цехом было всем жизненно необходимо. Особенно Баташкову, обремененному

большей семьей: в эти тяжелые послевоенные времена он мог сводить концы с концами только за счет премиальных. Но бывали такие моменты, что, как бы наш цех ни напрягался, до плана ему все же пустяка, но не хватало: каких-нибудь тридцать-пятьдесят тонн литья!

Кладовщиком механосборочного цеха был еврей Яша, большой комбинатор, про которого говорили, что он сбывает на сторону украденные им на заводе сковородки и кастрюли и имеет на этом деле копейку. Но именно он не шел ни на какие уступки и подписывал накладные только килограмм в килограмм. Как я иногда ни просил его подписать в долг тридцать-сорок тонн литья, с обязательством додать их в первую же неделю следующего месяца, кладовщик был непреклонен, и из-за такой мелочи, как тридцать-сорок тонн недоработки, мы все, а в особенности Баташков с семьей, сидели на кукане*.

Поделился я этими неприятностями с Семэном Лемэцом. Он сразу встрепенулся: «Чего, Лазаревич, неужели эта блядь, эта жидовская морда не хочет для вас сделать такого пустяка? Да мы его наколем так, что он еще за это платить будет. Выписывай мне с бригадой ночной пропуск!»

Обрубщики работали только в дневную смену. План Лемэца был предельно прост: сдаем мы к концу месяца литье с нехваткой, но в ночь на последний день месяца бригада Лемэца проникает на склад полуфабрикатов механосборочного цеха и, пригрозив зэку-сторожу перышком, если он вдруг еще не спит, забирает со склада на вагонетках тонн пятьдесят или сколько надо старого, уже ранее сделанного нами литья. Сторож, зная с кем имеет дело, в дальнейшем молчит как рыба об лед. Бригада привозит украденное литье в наш цех, вываливает его в какой-нибудь дряни, срубает мои старые клейма; я ставлю новые, и в тот же день мы все это вместе с очередной дневной выработкой сдаем по новой на склад механосборочного — и есть план, да еще и с пере-

---

* То есть оказались в безвыходном положении (от кукана — лески, веревочки или прутика, которые пропускают пойманной рыбе под жабры, чтобы ее можно было опустить в воду и сохранять живой).

выполнением. Об этой операции не знал даже сам Баташков: он был уверен, что я договорился — как еврей с евреем — с кладовщиком, и тот записал это в долг с обязательством додать в первую же неделю наступающего нового месяца, на что у меня уже было баташковское «добро». Что ж, план выполнен, и я пока молчал.

Дня через два-три проходит на складе механосборочного месячная инвентаризация, и у кладовщика вскрывается недостача в пятьдесят тонн литья. Кладовщик ко мне: «Лева, в чем дело?». Я ему спокойно отвечаю: «Чего ты, Яша, ко мне пришел? Ведь ты у меня литье принимаешь килограмм в килограмм, сам и разбирайся в своей недостаче!». Он опять: «Ведь ты понимаешь, Лева, у меня дети, а за недостачу могут и срок дать! Выручай! Что тебе стоит отформовать и залить такой пустяк!»

Ага, уже пятьдесят тонн литья для него стали пустяком. Тут я начинаю «сдаваться»: «Вообще ты, Яша, порядочный хазер (по-еврейски — свинья: поганое, нечистое животное), и не мешало бы тебе побыть в моей шкуре, но жаль твоих еврейских детей! Так и быть, помогу: но ведь сам понимаешь, формовщики, заливщики, обрубщики — они хоть и зэки, но даром работать не захотят!»

Начинается торг. Сговариваемся на мешке картошки и литре спирта. Доходы у Яши есть, а спирт у него вообще дармовой: он еще с ним делает всякие гешефты, так что содрать с Яши сам Бог велел. С Баташковым у меня уже есть договоренность, что в течение первой недели я покрываю долг механосборочному цеху. Получаю с Яши бакшиш и постепенно, тонн по восемь-десять в день, покрываю его недостачу. Спиртом и картошкой делюсь с Семэном Лемэцем, а остальное нам с Дикштейном, Машковым и Пацуком, благо и живем мы все в одной комнате. Все довольны — все смеются, тем более что и Баташков по такому поводу тоже подбросил немного спирта.

Правда, такие комбинации я делал не часто, только в экстренных случаях, а в остальном все обходилось и так. Яшу я уже приручил: тонн двадцать-тридцать, в случае нужды,

он мне приписывал в долг уже без звука. Жить в цеху стало легче: обрубка уже не резала цех. Уркачи тоже были довольны: работали как звери, но по четыре-пять часов в сутки, получали максимальный паек, в лагере их почти не трогали, про ШИЗО они уже и забыли, отработают свой «аккорд» — и в лагерь. Особенно любили они ночные операции с литьем, как-то они напоминали им их вольную специальность, да и спирт в лагере на улице не валяется.

Словом, жить стала литейка, не без моей помощи, вольготно, и переходящее красное знамя завода стало все чаще стоять в кабинете Баташкова. Николай Михайлович быстро оценил всю пользу моей деятельности и порой сокрушался: «Не дай Бог, Лева, придет твое «особое распоряжение» (а они стали приходить все чаще), что же мы здесь без тебя делать будем? Кто еще сумеет управлять этими бандюгами-обрубщиками? Давай оставайся и после освобождения. Женим тебя, благо невест здесь более чем достаточно, найдем и с домом, и с хозяйством, и с тещей — заживешь!»

Да я и сам часто задумывался над этим: ну, освободят меня и дадут «волчий паспорт». Ни в Москву, ни в какой другой крупный город жить не пустят. А здесь все знакомо, работа не тяжелая, авторитет есть. Но все же не лежала у меня душа к Рыбинску, надоели мне эти холода: Колыма, Дальний Восток, а здесь даже в июле вечером без телогрейки во двор не выйдешь.

11

Да и надоела мне за девять лет лагерная и тюремная жизнь, куда угодно, хоть к черту на рога, но только подальше от лагеря. Баташкову я этого не говорил и для виду даже соглашался с его доводами, тем более что он мне и невесту подыскал очень симпатичную — Лидочку Ш. , секретаря комсомольской организации завода, которая, по его словам, сохла по мне. Так и продолжались мои лагерные деньки. Жили мы, ИТР литейного цеха, по-лагерному довольно уютно: четыре

человека — Машков, Дикштейн, Пацук и я — в небольшой чистой комнате. И что особенно ценно — без клопов, даже койки были пружинные. По вечерам читали, играли в шахматы, иногда перекидывались в картишки.

В конторе нашего цеха работало несколько зэчек. Паша Крайнева — бывший экскурсовод Московского Исторического музея. Получила десять лет за то, что однажды, глядя на портрет Джугашвили, по простоте душевной сказала, что он уже устал от войны и тяжелой своей работы и что надо бы ему хоть немного отдохнуть. Расценили такое высказывание как «контрреволюционную агитацию». В лагере Паша держала себя очень строго и, несмотря на настойчивые ухаживания кавалеров, ни с кем не сходилась. Девушка она была культурная — окончила исторический факультет Московского университета, хорошо знала русскую историю: поговорить с Пашей было очень интересно. Ко мне она, как к достойному» собеседнику, явно благоволила, но срок ее еще только начинался, и я никаких попыток с ней сблизиться не предпринимал, тем более что лагерный рацион не очень к этому располагал: дай-то бог и так прожить!

Второй женщиной в нашей конторе была молоденькая, лет восемнадцати-девятнадцати, девушка — Аня, фамилию запамятовал. Сама из Рыбинска, работала в торговой сети. Обнаружилась у нее крупная недостача, и схватила она свои десять лет, только по бытовой статье. К ней часто приезжали из Рыбинска родные, привозили разные продукты, которыми она иногда делилась со своей незамужней подружкой Пашей Крайневой. В отличие от серьезной и неприступной темноволосой и темноглазой Паши, Анечка была довольно симпатичной, смешливой, светловолосой, голубоглазой девчонкой, и «охотников» на нее находилось немало. Держалась она месяца три, а потом сошлась с одним молодым парнем, вором-рецидивистом. «Жили» они вполне открыто: он приходил к ней вечером. Она, совершенно не стесняясь своих соседей, а в комнате их было восемь человек, клала его в свою постель и так они «спали» до утра. Конечно, и к ее соседкам тоже приходили «мужья», и никто не считал это чем-то зазорным.

В нашем лагере была неплохо оборудованная и оформленная столовая для зэков: чистые, накрытые клеенками столы и даже стулья, взамен «неизменных» лагерных табуреток, занавески на окнах. Пока мы ели, играл первоклассный эстонский джаз-оркестр: в полном составе он попал в наш лагерь по статье «измена родине». Этот джаз во время оккупации «обслуживал» фашистских офицеров и выражал им свои симпатии, за что и сунули всем разом по «баранке» и направили в наш лагерь для «использования по специальности».

В столовой было два зала: общий и ИТР. В общем зэки сами получали пищу, в другом блюда разносили официанты в белых передниках, правда блюда эти были сугубо зэковские: суп или щи, пара ложек перловой каши на второе. Както появилась у нас новая официантка: довольно миловидная женщина, лет около тридцати, но очень, даже по зэковским понятиям, изнеможенная. Она как-то сразу удивила всех своим необычным поведением, а особенно отсутствующим взглядом. Видимо, ее все время одолевали какие-то ужасные воспоминания. Стоит, бывало, в свободное время и с кемнибудь нормально разговаривает. Вдруг внезапно замолчит, уставится в одну точку, так с минуту постоит, а потом, дико закричав, падает ничком без сознания на пол. Такие приступы случались с ней иногда, даже когда она несла на подносе миски с едой. Видимо, эта женщина перенесла какой-то нечеловечески ужасный момент в своей жизни, вспоминая который, она лишалась сознания: падая в обморок, она дико кричала, и приходила в себя только через часа два.

Кто-то из ИТР, имевший знакомства во второй части лагеря, узнал, что эта женщина осуждена на десять лет за то, что во время ленинградской блокады съела своего грудного ребенка. Никаких комментариев здесь не требуется. Представить себе весь ужас и несчастье человека, который после такого еще остался жить, невозможно. Никто из ее соседей в Ленинграде ничего не знал об исчезновении ее ребенка, смерть грудных детей была слишком частым явлением, но она сама не смогла выдержать этой пытки и пошла в НКВД

с повинной. Там ей сперва не поверили и не хотели брать, но когда она пригрозила повеситься, ее все же взяли, провели следствие, осудили за людоедство, приговорили к расстрелу, но, приняв во внимание смягчающие обстоятельства, заменили расстрел десятью годами лагерей.

Когда эта часть ее биографии стала известна, все ИТР, за исключением меня и Мазихина, потребовали, чтобы ее убрали из столовой. Между прочим, с этого и началась моя дружба с Мазихиным, потому что он открыто выразил мнение, что здесь виновата не сама эта несчастная женщина, а те, кто довел ее до такого состояния. Через некоторое время ее нашли на чердаке барака повесившейся.

Вообще говоря, кормили в нашей столовой, по сравнению с другими тюрьмами и лагерями, в которых я побывал до этого, сносно. Конечно, до полной сытости было еще далеко, но все же до абсолютного истощения люди в нашем лагере, даже на общих работах, не доходили. Тем не менее воровство на кухне и в хлеборезке процветало, ведь и на воле в те времена было не сладко, хлебные карточки и прочее. К работам в этих хозяйствах допускались только социально-близкие бытовики: воры-рецидивисты, растратчики, мошенники, растлители малолетних, для кого мораль и совесть были непонятными моментами и кому по части воровства и всяких махинаций опыта занимать не приходилось.

После амнистии в честь Победы освободили бытовика — нашего завстоловой. В этой должности он отработал всего около трех лет. Жил он в отдельной комнатке, около кухни, имел даже не одну, а две лагерные «жены», которых для удобства оформил поварихами. Одевался всегда очень франтовато и выглядел как по ряшке, так и по шмоткам гораздо лучше многих вольняшек. Когда в процессе оформления освобождения осматривали его вещи, то он попросил разрешения взять с собой трансляционный громкоговоритель. Ему это разрешили, ведь от его щедрот пользовались не одни зэки-проститутки, но и некоторые вольные, даже из начальства. Ему велели только уплатить стоимость громкоговорителя в кассу, что он сразу же сделал.

Охраннику, шмонавшему его при выходе из лагеря, этот громкоговоритель показался подозрительно тяжелым. Когда его раскрыли, то внутри корпуса оказалось более 50 000 рублей, все крупными купюрами. Откуда могли взяться такие деньги у человека, получавшего по лагерным ставкам рублей так тридцать в месяц, всем было ясно. Но когда его спросили об этом, он, нагло улыбаясь, ответил, что выиграл их в домино. Деньги у него не забрали (возможно, обещал кое с кем поделиться), так и ушел на волю кровосос-паук, тянувший у голодных зэков последние деньги и вещи за лишнюю миску баланды или каши, у них же украденные, и собравший из крови и пота несчастных людей такую астрономическую сумму! Так это в нормальном лагере, можно себе представить, какими суммами орудовали эти кровососы в доходяжных лагерях, где каждая капля лагерного приварка ценилась куда дороже.

Очень сдружился я с Александром Мазихиным — обаятельным и честнейшим человеком, получившим свой срок, пятнадцать лет лагерей, за «измену родине». С самого начала войны Мазихин находился в осажденном Ленинграде, где работал директором небольшого мехзавода и, как и все, сидел на блокадном пайке. Жил на заводе. Родных успел эвакуировать. Сам же, хоть и имел возможность эвакуироваться, остался защищать город. На фронт не попал, потому что его как специалиста оставили на заводе заниматься ремонтом военной техники, главным образом подбитых танков. Мазихин не делал себе никаких поблажек и все трудности блокады переживал вместе со своими рабочими: так же получал по 150 граммов хлеба в сутки, так же доходил от голода и холода.

Домой он даже и не заходил и все свои оставшиеся силы отдавал только работе, а в свободное время сам становился за станок или к тискам. Однажды зимой, в самые тяжелые для Ленинграда времена, его вызвали в штаб Жданова, одного из близких соратников Джугашвили, руководившего тогда обороной города. Так как пешком ему добраться в Смольный

не хватило бы сил, за ним прислали машину. Прибыл Мазихин в Смольный. Там тщательно проверили его документы и проводили в святая святых — в какую-то особую, то ли третью, то ли четвертую зону. Завели в большой зал и сказали, что пока ему можно подкрепиться. Мазихин огляделся и пришел в ужас: на накрытых столах полно не только хлеба, но и всякой другой закуски: мясо, рыба, консервы, колбаса и даже вино и водка — одним словом, все то, что простые ленинградцы и во сне-то перестали видеть. Причем все это стоит свободно на столах, и все присутствующие уплетают снедь за обе щеки. Съел Мазихин один бутерброд, и у него с отвычки сразу же заболел желудок, а когда он вспомнил падающих от голода на рабочих местах, мальчуганов, которые и до ручек станка могли дотянуться, только встав на высокий ящик, мертвых детей в заиндевевших квартирах, замерзшие трупы на улицах города, то ему, старому коммунисту, участнику Гражданской войны, такой кусок уже больше в горло не пошел. Когда его вызвал к себе Жданов, Мазихин, ни слова ни говоря и не отвечая ни на один вопрос Жданова, молча достал из кармана и положил на стол партбилет и, повернувшись, пошел к выходу.

Из Смольного Мазихина уже везли в «воронке». Он абсолютно не жалел о своем поступке, и на мое замечание, что это не геройство, а донкихотство, ответил, что каждый коммунист, в определенных условиях, обязан быть таким Дон-Кихотом, иначе грош цена его идейности. Больше мы с Мазихиныи к этой теме не возвращались, но в глубине души я ему завидовал, потому что отнюдь не был уверен, что в его положении смог бы поступить с таким же благородством.

Но время шло, я перезимовал на мехзаводе, и наступила весна, десятая весна моего пребывания на джугашвилиевском «курорте». Чего ему надо, этому треклятому усачу? Чего он ко мне и ко многим миллионам таких, как я, прицепился? Ведь я уже почти год пересиживаю даже сверх его людоедского срока! Нет ему, гаду, прощения ни при жизни, ни даже после смерти!

С самого начала пребывания здесь я установил довольно устойчивую переписку с родными в Москве. Сильно я расстроился и долго переживал известие о том, что мой самый любимый двоюродный братишка Яша Эдельман, пробыв на фронте с первого месяца войны, погиб уже после ее фактического конца — 2 мая 1945 года, в уже взятом нашими войсками Берлине: шел он по улице с патрулем и пуля какого-то фашистского мерзавца, стрелявшего из окна большого дома, попала ему прямо в голову. Умер он мгновенно. Как ни обыскивали солдаты этот дом, но найти убийцу им так и не удалось. Куда ни зайдут, везде старики, женщины, дети и никакого оружия. Так и похоронили бедного Яшу в братской могиле наших офицеров в Берлине. Несколько дней после получения этого письма я ходил сам не свой, и даже из-за этого чуть не попал в ШИЗО: зэк — бухгалтер цеха металлоконструкций, бывший фашистский полицай, вздумал как-то, как раз в это время, рассказать мне какой-то антисоветско-антисемитский анекдот, что-то вроде того, что «еврейская дивизия взяла Ташкент».

В другое время я бы, наверно, на это даже внимания не обратил, от зэков и даже энкавэдэшников приходилось слышать и похлеще, мало ли что болтает всякая сволочь, но тут уж больно свежа была рана от гибели Яши, да и свои дела еще из головы не выветрились. Я не сдержался, схватил табурет и, прежде чем меня успели остановить, изо всех сил огрел им палача-полицая по лысой голове. Он упал, обливаясь кровью, и если бы меня не удержали, то я бы его непременно добил, невзирая на гарантию получения нового срока. Вообще я бываю очень сдержан, и таких припадков бешенства у меня почти не бывает, но тут уж больно у меня накипело на душе — и подвернулся под руку этот негодяй с анекдотом. После этого провалялся полицай в лагерной больнице месяца полтора, но выжил, хотя отметки на его поганой харе я оставил добрые. После излечения, несмотря на то что был он гораздо здоровее и крупнее меня, завидев меня, он всегда куда-нибудь сворачивал и, как я думаю, впредь такие анекдоты больше рассказывать не решался. Так как полицай все

же выжил, то мне дали всего десять суток ШИЗО, но Баташков и здесь меня выручил: по «производственной необходимости» меня досрочно освободили, и отсидел я только двое суток.

12

Ранней весной 1946 года получил я из Москвы от сестры* письмо. Она исхлопотала разрешение на свидание со мной, получила пропуск (в те времена билеты на поезд давали только по специальным пропускам) и собралась в Рыбинск. Несмотря на то что я ей написал, что меня скоро освободят, было это неправдой: «особые распоряжения» приходили редко, но я знал, что сестра соберет последние крохи и оставит полуголодными своих ребят (старшему было двенадцать лет, а младшему девять**) — лишь бы привезти мне чего-нибудь вкусненького. Здесь же кормили достаточно, а такая поездка могла ей встать в копеечку, и поэтому я старался ее уговорить немного потерпеть, пока мы не встретимся в Москве. Но вскоре я получил письмо, что она едет, и через несколько дней меня вызвали на вахту, и там уже парикмахер с бритвой. Побрил он мою порядком отросшую бороду (обычно мы, «не-женатики» — то есть не обзаведшиеся лагерными женами, что было привилегией социально-близких, брились от бани до бани, то есть раз в десять-двенадцать дней), и конвоир отвел меня за зону в специальный домик для свиданий.

Не стану описывать сцену встречи: не виделись мы с момента моего отъезда в Испанию, почти десять лет. Тяжело это даже вспоминать, но слез было много и с обеих сторон. Сумки с продуктами у нее забрали, и получить их я мог только после тщательного их досмотра, то есть уже после свидания. На вахте конвоир вышел покурить на улицу, и мы часа два

---

* Имеется в виду младшая сестра — Фаина (Феня) Лазаревна Лукинова.

** Евгений Иванович Лукинов (1934—1991) и Роман Михайлович Беньяминович-Лукинов (р. 1937).

проговорили наедине. Свидания разрешались только в присутствии конвоира, да и то не более сорока пяти минут, но он знал, что я отбыл уже почти «баранку» в лагере и поведения отличного, поэтому дал мне такую возможность.

Понимая, что сестре в Рыбинске негде остановиться, а она никак не хотела уезжать, не получив со мной хотя бы еще одного свидания, я попросил ее подойти к центральной проходной и дождаться там работавшего вместе со мной вольного контрольного мастера — Колю Кузнецова, который, как только я ему сказал, сразу же побежал на проходную. В тот же вечер я получил две большие сумки с продуктами. Там было все, что тогда можно было достать: колбаса, сыр, банки с американской тушенкой, лярд (американский смалец, который все называли «второй фронт») — словом, пир я в своей комнате устроил отменный, да и курили мы вместо обычного самосада «Северную Пальмиру».

На другой день мне дали еще одно свидание. Опять мы оба с ней поплакали, и она на прощание велела мне поблагодарить Колю Кузнецова за его доброту и душевность. И еще она мне сказала, что зная, что в передачах водку не принимают, она оставила мне у Коли две бутылки «Московской», которые он сам мне принесет на завод. Впоследствии одну бутылку мы распили в кабинете у Баташкова, а другую в лагере, в нашей комнате.

Как мог, я успокаивал сестру насчет своего здоровья. Несмотря на то что после Колымы, этапа, Бутырок, пересылки в Ярославле, я здесь уже немного отошел, но вид мой, особенно в лагерной робе, был все еще неважнецкий. Сестра уехала домой более или менее успокоенная.

Прошла весна, наступило скудное рыбинское лето (телогрейку в июле вечером не всегда снимешь!), а потом и осень 1946 года. Опять дожди, грязь, с конца сентября уже и снежок начал срываться. А «особого» все нет. Освободили (правда, в ссылку, в Коми АССР) моего дружка — художника Борю Григорьева, который тоже имел восемь лет за «троцкизм», а я все еще сижу. Неужели еще раз зимовать здесь?

Как-то вечером, в середине октября 1946 года, вдруг заходит в нашу комнату нарядчик и еще в дверях кричит во все горло: «Танцуй, Хургес! Пришло твое "особое"! Завтра на работу можешь не выходить!»

Что тут было! Ребята кинулись меня обнимать, Пацук даже слезу пустил. У меня закололо сердце. Выпил я стакан воды и лег ничком на койку. Лежал так с полчаса, пока не успокоился. Отошел я, и недаром говорят, что от радости не умирают. Сели мы за стол, закурили самосад и стали обсуждать грядущие перемены в моей жизни. Самый главный вопрос — куда подаваться? Нарядчик сказал, что меня освобождают не в ссылку, как Борю Григорьева, а по чистой, то есть я могу выбирать себе один из городов, разрешенных мне по моему будущему «волчьему билету» — паспорту со статьей 39-й («ограничения в проживании»).

Оставаться здесь, несмотря на все уговоры, у меня даже и в мыслях не было. В Москву или в область нельзя, но все же хотелось бы куда-нибудь поближе. Вспомнил я о разговоре с одним знакомым зэком электриком Володей Солнцевым, в котором он сказал мне, что его родина — город Углич, разрешен для проживания бывших зэков с 39-й статьей в паспорте. Володя обещал мне, в случае необходимости, дать адрес его родителей и письмо к ним. С этим письмом, как говорил Володя, меня там примут, пока я не устроюсь в Угличе. От Углича до Москвы всего пять-шесть часов езды, вот я и решил выбрать этот город. Не теряя времени, я отправился к Солнцеву, благо жил он в нашем же бараке. Володя очень обрадовался за меня и тут же сел писать домой письмо. Сам он во время войны работал на каком-то оборонном предприятии электромонтером и на фронт не попал по брони. Ляпнул какому-то мерзавцу про Джугашвили, тот стукнул, и сунули ему «баранку» — так и загремел он на наш мехзавод.

Запасшись Володиным письмом с адресом его родителей в Угличе и запомнив этот адрес, ведь письмо-то при выходном шмоне могли и отобрать, обнявшись с Володей и пожелав ему скорейшего освобождения и нашего с ним свидания,

я пошел собираться. Сборы у меня особенно много времени не отняли, имущества я большого в системе НКВД за девять с половиной лет не нажил: небольшой фанерный чемоданчик, пара белья, гимнастерка, привезенная сестрой, и прозрачное одеяло, подаренное мне еще в Свободном начальником лагеря А. С. Пушкиным. Спать в эту ночь мне почти не пришлось: до часу ночи мы проговорили, я рассказывал своим друзьям о наиболее черных своих днях, о Колыме, они для виду охали и ахали, но думаю, что не поверили, уж больно все это кажется невозможным и невероятным для нормального человека. Когда мы улеглись по койкам, я все никак не мог уснуть, всю ночь проворочался с боку на бок и только под утро забылся часа на два.

В семь утра меня разбудил Мазихин, с которым я в запарке забыл увидеться. Обнялись мы с ним, он ушел на работу с заплаканными глазами. К восьми утра пришли нарядчик и завхоз. Сдал я свой лагерный инвентарь — койку и все остальное — и отправился во Вторую часть лагеря.

Начальница, довольно миловидная женщина средних лет в форме лейтенанта НКВД, уже ждала меня. Мое дело лежало перед ней на столе. С большим интересом и участием она смотрела на меня, а я, обнаглев, попросил ее дать мне ознакомиться с делом. Она ответила, что этого разрешить не может, но, немного помедлив, добавила, что кое-что интересное из него она мне все же покажет, потому что доверяет моей порядочности и верит, что я ее не подведу. После чего показала мне надпись, сделанную каким-то большим начальством на первом листе моего дела. А надпись гласила следующее: «К секретно-осведомительской работе в местах отбывания заключения привлекать не рекомендуется». Прочтя это, она заметила, что за почти восемь лет работы в системе лагерей НКВД ни в одном деле она такой надписи не встречала.

Значит, органы понимали, что предателя из меня не получится. Ну что ж, спасибо им и за это: до сих пор горжусь этим комплиментом.

Дальше началось мое оформление. Против направления на жительство в Углич начальница Второго отдела не возражала и тут же выписала мне все необходимые документы. Учинили мне полный расчет: оказалось, что за девять с половиной лет пребывания в системе НКВД, я заработал 85 рублей, то есть, если учесть девальвацию 1947 года и изменение масштаба цен 1961 года, то на нынешние, 1983 года, деньги получится 85 копеек — стоимость обеда в рабочей столовой, причем обеда скромного. Деньги мне выдали на руки, и поскольку от Рыбинска до Углича не очень далеко, то я получил и сухой паек на двое суток: буханку черного хлеба, граммов восемьдесят сахарного песку и пару сушеных рыбок. Выдали и бесплатный литер для проезда в жестком, бесплацкартном вагоне пассажирского поезда от Рыбинска до Углича, а ехать я должен был с тремя пересадками: от Рыбинска до Сонково — на север, затем от Сонково до Калязина — на юг и от Калязина до Углича — на восток, и на этом джугашвилиевский НКВД со мною полностью рассчитался.

Как ни странно, но шмона при выходе из лагеря на волю мне не учинили: знали, что никаких капиталов я нажить не мог, ведь я не завстоловой и не придурок.

И вот часа в четыре дня, 16 октября 1946 года вышел я, наконец, на волю! На улице прохладно, дует поземка, легкий снежок. На мне лагерного образца суконная шапка, засаленная зеленая телогрейка «второго срока», такие же ватные шаровары, на ногах кирзовые сапоги на резиновой подошве (сестра перед отъездом оставила мне большую кирзовую сумку, из которой лагерный сапожник, за буханку хлеба, сэкономленную на пайке, сшил мне сапоги, использовав для подошв и каблуков кусок старой автопокрышки!), в руках у меня небольшой фанерный чемоданчик со всем моим имуществом и харчами.

Стою около главной проходной у остановки автобуса на Рыбинск и удивляюсь: разве можно так спокойно стоять и не чувствовать за спиной конвоира?..

* * *

Окончен труд, завещанный мне Богом — точнее, памятью погибших товарищей...

Недаром многих лет свидетелем Господь меня поставил
И книжному искусству вразумил.

А. С. Пушкин. «Борис Годунов»

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

МАТЕРИАЛЫ СЛЕДСТВЕННОГО ДЕЛА № 11977 ПО ОБВИНЕНИЮ Л. Л. ХУРГЕСА*

<1>

Постановление об избрании меры пресечения и предъявления обвинения Л. Л. Хургесу.

7 мая 1937 г.

7 мая 1937 г.

Зам. наркома внутр. дел Кр. АССР

майор государствен. безопасности

(ШТЭПА)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

об избрании меры пресечения и предъявления обвинения

Город Симферополь 1937 г. мая 7 дня

Я, пом. нач. 3 отдела НКВД Крыма старший лейтен. Гос. Безопасности Свиридов рассмотрев следственный материал по делу № ..... и приняв во внимание, что гр. ХУРГИЕ** достаточно изобличается в том, что он занимался шпионской деятельностью в пользу одного из иностранных государств, и на основании распоряжения ГУГБ СССР

ПОСТАНОВИЛ

Гр. ХУРГИЕ привлечь в качестве обвиняемого по ст. ст. 58-6 УК, мерой пресечения способов уклонения от следствия и суда избрать содержание под стражей при особом корпусе НКВД Крыма.

Пом. нач. 3 отдела НКВД по Крыму

Старший лейтенант госуд. безопасности (СВИРИДОВ)

Виза вверху: «Арест гр-на Хургие санкционирую. Подпись [нрзб]».

---

* Управление ФСБ России по Краснодарскому краю. Архивное дело Р-26911 (первоначально: № 261385), в 1 томе.

** Так в тексте.

<2>

Анкета арестованного
13 мая 1937 г.

АНКЕТА АРЕСТОВАННОГО*

1. Фамилия ХУРГЕС
2. Имя и отчество ЛЕВ ЛАЗАРЕВИЧ
3. Дата рождения: число 17 месяц мая год 1910
4. Место рождения: Москва
5. Местожительство (адрес): Москва 26, Большая Тульская ул. д. 5 кв. 1
6. Профессия и специальность: радист, радиоинженер
7. Место службы и должность или род занятий: студент дипломник Московского Электротехнического института Связи и одновременно старший инженер управления связи и сигнализации Аэрофлота, последние 6 месяцев работник IV-го управления Генерального Штаба РККА
8. Паспорт
9. Социальное происхождение: служащий отец, мать домохозяйка
10. Социальное положение: служащий, ИТР
а) до революции: нет
б) после революции: сперва учащийся, потом рабочий, и потом служащий
11. Образование (общее и специальное): семилетка, спецкурсы связи, институт связи (МЭИС), дипломного проекта не успел защитить.
12. Партийность (в прошлом и в настоящем): чл. ВЛКСМ
13. Национальность и гражданство (подданство): еврей, подданство СССР
14. Категория воинского учета-запаса и где состоит на учете: допризывник

* В деле две, практически одинаковые, анкеты: от 13 мая, с фотографией, и без проставленной даты, без фотографии.

15. Служба в белых и др. к-р армиях, участие в бандах и восстаниях против Соввласти (когда и в качестве кого): не служил

16. Каким репрессиям подвергался при Соввласти: судимость, арест и др. (когда, каким органом и за что): не подвергался

17. Состав семьи: мать — Хургес Хася Мордуховна, домохозяйка, отец — Хургес Лазарь Моисеевич, служащий ОГИЗ, сестра — Айзенштадт Анна Лазаревна, домохозяйка, сестра — Лукинова Фаина Лазаревна, служащая. Все живут: Москва 26, Большая Тульская д. 6 кв. 1, тел. В-3-04-52.

Подпись арестованного

1. Особые внешние приметы:
2. Кем и когда арестован: 7/V-37 г. УНКВД ст. Джанкой
3. Где содержится под стражей:
4. Особые замечания:

Подпись сотрудника, заполнившего анкету:
13 / V — 1937 г.

<3>

Ордер на арест
31 мая 1937 г.
СССР
Народный Комиссариат внутренних дел
Главное Управление Государственной Безопасности

ОРДЕР № 2055

Мая 31 дня 1937 г.

Сержанту Главного Управления Государственной Безопасности НКВД СССР Кобцеву на производство ареста и обыска ХУРГИСА Льва Лазаревича

Б. Тульская ул. д. 6 кв. 1

Зам. Народного Комиссара Внутренних Дел СССР

Комиссар Государственной Безопасности 1-го ранга М. ФРИНОВСКИЙ

<4>

«УТВЕРЖДАЮ»
июня 1937 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

об избрании меры пресечения и предъявления обвинения

Город Москва 1937 г. июня 13 дня

Касаткин, о/уполном. 1-го отд-ния пятого отдела

Главного Управления Государственной Безопасности НКВД

рассмотрев следственный материал по делу № 11977 и приняв во внимание,

что гр. ХУРГЕС ЛЕВ ЛАЗАРЕВИЧ

достаточно изобличается в том, что он вел к-р троцкистскую агитацию среди военнослужащих РККА

ПОСТАНОВИЛ:

ХУРГЕС Л. Л. привлечь в качестве обвиняемого по ст. ст. 58-10 УК, мерой пресечения способов уклонения от следствия и суда избрать содержание под стражей.

Уполномоченный 5 отд. ГУГБ А. КАСАТКИН

«СОГЛАСЕН» Нач 1 отд-ния

Настоящее постановление мне объявлено 193_ г.

Подпись обвиняемого

<5>

Протокол допроса

2 июня 1937 г.

СССР

Народный Комиссариат внутренних дел

Главное Управление Государственной Безопасности

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА

К делу №

1937 г. июня мес. 2 дня, Я, о/уполномоченный 5 отд. ГУГБ Касаткин

допросил в качестве обвиняемого

1. Фамилия: Хургес

2. Имя и отчество: Лев Лазаревич

3. Дата рождения: 1910

4. Место рождения: г. Москва

5. Местожительство: Б. Тульская ул. д. № 6 кв. № 1

6. Нац. и гражд. (подданство): еврей, гражд. СССР

7. Паспорт:

8. Род занятий исп. об. инженера в Управлении Связи и Сигнализации Аэрофлота

9. Социальное происхождение отец коммивояжер у Высоцкого

10 Социальное положение (род занятий и имущественное положение

а) до революции

б) после революции учащийся и служащий

11 Состав семьи: отец Лазарь Моисеевич Хургес, агент по распростр. техн. литературы ОГИЗе, мать Хася Мордуховна — дом. хоз., живут в Москве; сестра Фаина Лазаревна Лукинова — плановик Леннарпита*, живет в Москве, сестра Анна Лазаревна Айзенштадт в г. Казани.

12. Образование (общее, специальное): окончил семилетку, 4 курса Московского Электро-техн. Института связи

13. Партийность (в прошлом и настоящем): беспартийный

14. Каким репрессиям подвергался: судимость, арест и др. (когда, каким органом и за что)

а) до революции: нет

б) после революции: нет

15. Какие имеет награды (ордена, грамоты, оружие и др.) при сов. власти: орден «Красной Звезды»

16. Категория воинского учета запаса и где состоит на учете: был на работе в Разведупре РККА

17. Служба в Красной армии (красн. гвардии, в партизан. отрядах), когда и в качестве кого: нет

---

* Так в тексте. По-видимому, описка.

18. Служба в белых и др. к-р армиях (когда и в качестве кого): нет

19. Участие в бандах, к-р организациях и восстаниях: нет

20. Сведения об общественно-политической деятельности

Показания обвиняемого (свидетеля)

Вопрос — Вы являетесь членом к-р троцкистской организации. Дайте показания о Вашей к-р троцкистской вредительской деятельности?

Ответ — Нет, в троцкистской организации я не состоял.

Вопрос — Находясь в Испании, Вы вели к-революционную троцкистскую агитацию?

Ответ — Троцкистскую агитацию я не вел. В середине или в конце декабря м-ца 1936 г., находясь в столовой, мы — я, Артур Спрогис, Регина Цитрон и Василий Бабенко завели разговор на тему — можно ли использовать технику буржуазных государств и все пришли к выводу, что нужно использовать. Кто то после этого задал вопрос, что выходит, что у Троцкого тоже можно учиться. На это я ответил, что техническим приемам ораторского искусства Троцкого можно учиться у него, так же как мы изучаем сейчас обороты речи древнегреческих философов, не вникая в их политическую сущность.

Вопрос — Вы говорите, что Вы этот разговор вели еще до троцкистско-зиновьевского процесса. Это не верно, Вы даете ложные показания. Следствию известно, что последний раз Вы вели троцкистский разговор, восхваляли Троцкого, 11 апреля с. г. в столовой. Следствие требует правдивых показаний!

Ответ — Другого разговора я не припоминаю.

Вопрос — Вы знаете, что из себя представляет троцкизм и Троцкий?

Ответ — Троцкизм и Троцкий это контрреволюционеры, фашисты.

Вопрос — Значит Вы призывали учиться ораторскому искусству у фашиста Троцкого?

Ответ — Свои слова о Троцком произнесенные мною в Малаге я расцениваю, как глупую мальчишескую выходку, а не как к-р агитацию.

Вопрос — Следствию известно, что Вы вели троцкистскую агитацию, будучи членом Комсомола. Дайте ответ по существу вопроса?

Ответ — Я не троцкист и не контрреволюционер.

Вопрос — Вы были связаны с Мутных?

Ответ — Нет, с Мутных был знаком только по службе в ЦДКА. Познакомился с Мутных в 1932 г. — он был нач. ЦДКА, а я был радистом радиостанции ЦДКА. Летом 1934—1935 года иногда играл с ним в теннис, несколько раз был у него дома, исправлял радиоприемник. Примерно два раза при исправлении приемника заставал его дома, но никаких политических разговоров не вели. Отношения были только служебные.

Вопрос — Вы скрывали социальное происхождение. Когда Вы первый раз скрыли?

Ответ — При вступлении в ВЛКСМ в 1931 г. я скрыл свое соцпроисхождение, заявив, что мой отец все время был служащий. Я скрыл, что мой отец в период НЭПа, в течение нескольких лет, был мелким торговцем-разносчиком, в старое время он был коммивояжером.

Вопрос — При отправке Вас в Испанию Вы тоже скрыли свое прошлое?

Ответ — Да, скрыл.

Вопрос — Почему Вы скрывали свое социальное происхождение?

Ответ — При вступлении в Комсомол скрыл, потому что боялся, что не примут в Комсомол. При поездке в Испанию скрыл из за того, что, в противном случае, меня не пустят в Испанию. Я работал честно, хотел оправдать доверие, а впоследствии при вступлении в партию намерен был признаться в том, что я скрывал.

Записано с моих слов верно, мною прочтено. *Хургес*

<6>

Протокол допроса
13 июня 1937 г.
СССР
Народный Комиссариат внутренних дел
Главное Управление Государственной Безопасности

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА

Протокол допроса Хургес Льва Лазаревича, произведенного 13 июня 1936 г.

Вопрос — Свидетельскими показаниями Вы изобличаетесь в том, что находясь на стороне правительственных войск Испанской республики в качестве радиста, в ответственный момент, перед сдачей мятежникам г. Малаги, Вы вывели из строя радиостанцию, сознательно сожгли выпрямители и тем самым ослабили боеспособность правительсвенных войск. По чьему заданию Вы вывели из строя радиостанцию?

Ответ — Радиостанция в г. Малаге из строя мною не выводилась, ни от кого я заданий о приведении в негодность радиостанции не получал. Радиостанция не работала около 2—3 часов всего, часть накануне сдачи Малаги и часть этого времени — в день сдачи Малаги, по той причине, что не было промышленного тока. Это происходило обычно во время налета самолетов мятежников на г. Малагу. Несмотря на отсутствие промышленного тока, все радиограммы мною были переданы, которые я передавал через радиостанции имеющие автономное питание от автомотора.

Хургес отказался подписать ответ записанный с его слов, по причине того, что он требует экспертов, которые смогли бы дать оценку работы его станции с технической стороны.

Допросил о/уполн. 5 отд. ГУГБ А. Касаткин

Вопрос — Следствию известно, что за время пребывания в Испании Вы вывели из строя Малагскую городскую радиостанцию?

Ответ — Никакого отношения к Малагской городской радиостанции не имел, поэтому вывести ее из строя не мог.

Вопрос — Следствию известно, что Вы сознательно вывели из строя Альмерийскую и Мотрильскую радиостанции?

Ответ — В этих городах радиостанций никаких не было и выводить я не мог.

Вопрос — Вы показываете ложно — в г. Альмерии имеется радиостанция, которой Вы пользовались?

Ответ — В Альмерии не имелось городской государственной радиостанции. В Альмерии имелась частная любительская радиостанция, которой я воспользовался один вечер для передачи телеграмм в Москву, которые я передавал по распоряжению русского полковника Креминга с разрешения владельца этой радиостанции. Эта радиостанция по окончании работы мною оставлена в исправности

Записано с моих слов верно. Хургес.
Допросил о/уполном. 5 отд. ГУГБ Касаткин

13/VI-37 г.

<7>

Обвинительное заключение
Между 14 июня и 22 июля 1937 г.

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По следделу № 11977 по обвинению
Хургес Л. Л. по ст. 58 п. п. 4 и 10 У. К. РСФСР

V-м Отделом ГУГБ арестован за вредительскую, подрывную троцкистскую деятельность радист ХУРГЕС Лев Лазаревич.

Следствием по делу установлено:

ХУРГЕС Л. Л., скрыв свое социальное происхождение, происходит из семьи торговца, показал в анкетах, что сын служащего, в 1931 году вступил в члены ВЛКСМ и устроился учиться в Институт связи (МЭИС) в гор. Москве (л. д. 21).

Будучи студентом указанного института и одновременно инженером Аэрофлота, — ХУРГЕС Л. Л. в 1936 году уехал в специальную командировку, как радиоспециалист-коротковолновик.

Находясь в командировке, ХУРГЕС Л. Л. проявил себя как к-р троцкист.

Имеющимися в деле сообщениями КРЕМНЕВА и БЕКРЕНЕВА*, ХУРГЕС Л. Л. изобличается в антисоветской троцкистской агитации, выражающейся в восхвалении Троцкого, в призыве учиться у Троцкого и злобных контрреволюционных выпадах против вождей ВКП(б) (л. д. 10, 14).

Кроме того, КРЕМНЕВ (л. д. 11) сообщает, что в ответственный момент у ХУРГЕСА была выведена из строя радиостанция.

ХУРГЕС Л. Л. признал себя виновным лишь в том, что он выступал с троцкистским заявлением, призывавшим учиться у Троцкого ораторскому искусству, и отрицает свою вредительскую деятельность.

На основании изложенного —

ХУРГЕС Льва Лазаревича, 1910 г. рождения, уроженец г. Москвы, по национальности еврей, сын бывшего торговца, служащий, бывш. член ВЛКСМ, холост, образование высшее, не судим, гр-н СССР, обвиняется в том, что:

1. вредительски вывел из строя радиостанцию.

2. вел к. р. троцкистскую агитацию, т. е. в преступлениях, предусмотренных ст. 58 п. п. 4 и 10 У. К. РСФСР.

---

* Бекренев Леонид Констатнтинович (1907—1997), адмирал, в 1936—1938 — нач. отделения Разведотдела штаба Черноморского флота. В январе 1937 — августе 1938 Бекренев работал в Испании по линии морской разведки. В чем суть сделанного им относительно Л. Хургеса «сообщения», не выяснено. Сам Л.Х., судя по всему, Бекренева мог и не знать, а о его доносе на себя явно не подозревал.

ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННЫЙ 1 ОТД. 5 ОТДЕЛА ГУГБ НКВД
Ст. лейтенант гос. безопасности: (КАСАТКИН)

«СОГЛАСЕН» ПОМ. НАЧ. 5 ОТДЕЛА ГУГБ НКВД
Капитан гос. безопасности: (ЯМНИЦКИЙ)

«УТВЕРЖДАЮ» ЗАМ. НАЧ. 5 ОТДЕЛА ГУГБ НКВД
Майор гос. безопасности: (КАРЕЛИН)

СПРАВКА: 1) ХУРГЕС Л. Л. арестован 31 мая 1937 г. по ордеру № 2055, содержится в Бутырской тюрьме.

Вещественных доказательств по делу нет.

ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННЫЙ 1 ОТД. 5 ОТДЕЛА ГУГБ НКВД
Ст. лейтенант гос. безопасности: (КАСАТКИН)

<8>

Выписка из протокола ОСО при НКВД
23 июля 1937 г.

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

Особого Совещания при Народном Комиссаре Внутренних Дел СССР

СЛУШАЛИ
ПОСТАНОВИЛИ

Дело № 11977 о ХУРГЕС Льве Лазаревиче, 1910 г. р.

ХУРГЕС Льва Лазаревича — за к.-р. троцкистскую деятельность — приговорить к тюремному заключению, сроком на восемь лет, сч[итая] срок с 31. V-37 г.

Дело сдать в архив.

Отв. Секретарь Особого Совещания

<9>

Обращение Л.[*] М. Хургеса к Народному Комиссару внутренних дел Н. И. Ежову
9 января 1938 г.

Народному Комиссару внутренних дел
Тов. ЕЖОВУ
От Лазаря Моисеевича Хургеса проживающий в гор. Москве по Большой Тульской ул. дом 6 кв. 1. Телефон В 204-52

ПРОСЬБА

Сын мой Лев Лазаревич Хургес, рождения 1912 г.[**], комсомолец, студент института связи, дипломник, работавший с 16 ти летнего возраста в качестве ученика по радио-технике на заводе имени Ордженикидзе, а в последнее время работал радио техником в ЦДК[***], потом на самолете имени Горького, а последнее место его работы было в Управлении гражданского воздушного флота, и одновременно состоял студентом института связи, где он окончил институт на хорошо, но не успел сдать дипломную работу, 17-го сентября прошлого года он уехал в командировку. Перед его отъездом он в присутствии его товарища, фамилия которого мне неизвестна, успокоил меня и мою жену, что уезжает на Арктику на работу и оставил мне адрес, по которому я сумею обратиться за пособием и за письмами от него. Действительно после его отъезда туда я обратился с письмом по адресу Москва почтовый ящик 548 Главный почтамт тов. Пенкину, то ко мне на квартиру пришел сотрудник, который принес мне письмо от сына и пособие и заявил мне, что сын мой находится в распоряжении Наркомата Обороны, таким путем я получал через Наркомат Обороны письма от сына и пособие. 17 го октября

* Орфография и пунктуация авторов писем сохранена.
** Дата по памяти.
*** Так в тексте.

1937 года* я прочел в «Правде», что сын мой за отличное и самоотверженное выполнение задания Правительства по обороне страны награжден орденом Красной Звезды. Прочитав эту газету я и супруга моя считали себя счастливыми, что стали родителями Орденоносца. К сожалению наше счастье длилось недолго, с мая месяца я перестал получать от него письма, а также Наркомат Обороны прекратил нам платить пособие, на мои неоднократные запросы причину всего этого, Наркомат Обороны ответил, что наведут об этом справку. В последних числах августа мне сообщили по телефону из Наркомата Обороны, что сын мой находится в распоряжении НКВД. В сентябре я обратился к главному военному прокурору, который сообщил мне, что сын мой осужден особым совещанием НКВД, а за что и на какой срок он мне не сказал. Из полученного 6 го декабря от сына письма я узнал, что он находится в Полтавском доме заключения. За что он осужден мне до сих пор не удалось выяснить, но зная честность и безграничную преданность его Советской власти и родине, я не могу себе представить чтобы он совершил какое либо преступление и не оправдал бы оказанного ему правительством доверия. Только поэтому я решился обратиться лично к Вам товарищ Ежов и просить Вас обратить Ваше внимание на его дело, учесть его молодость и неопытность, ибо этим и могу объяснить его виновность и его неумышленный поступок. До сих пор за всю его работу с 16 ти летнего возраста он зарекомендовал себя как отличный высококвалифицированный техник радист, самоотверженный, работавший всегда в пользу Родине, что и было отмечено правительством, наградившим его орденом Красной Звезды. В следствии всего вышеизложенного я обращаюсь к Вам с просьбой освободить моего единственного сына и единственного кормильца от наказания и дать ему возможность доказать на деле свою преданность Советской власти, а нас, стариков, не лишать чести быть родителями Орденоносца.

Москва 9 го января 1938 г. Лазарь Моисеевич Хургес

---

* Дата по памяти. Надо: 17 декабря 1936.

<10—11>

Обращение Х. М. Хургес к Народному Комиссару внутренних дел Л. П. Берии

20 февраля 1939 г.

Народному комиссару внутренних дел тов. БЕРИЯ

Гражд. Хургес Хаси Мордуховны, живущ. в г. Москва, Б. Тульская д. 6 кв. 1

ЗАЯВЛЕНИЕ

Сын мой ХУРГЕС Лев Лазаревич, комсомолец, год рождения 1910 г., уроженец г. Москвы, студент-дипломник Института Связи 26-ти лет 17/XI-36 г., придя домой вечером с работы заявил мне, что он сейчас же уезжает на Север в командировку на 6 месяцев, оставив для писем адрес Главный Почтамт ящик № 549 Пенкину для Хургеса. Спустя месяц мы прочли в газете «Известия» за № 293-6150 от 17/XII-36 г., что за отличное и самоотверженное выполнение задания Правительства Союза ССР по обороне страны сын награжден Орденом Красной Звезды. Радости нашей не было пределов. Зная, что сын наш, работая с 16-ти летнего возраста в разных гос. учреждениях, за последние 7 лет в Центральном Доме Красной Армии и Эскадрильи им. Максима Горького в качестве радиста всегда выдвигался как усердный, преданный работник, мы были счастливы, что и на последней ответственной работе он проявил себя. До мая 1937 года мы получали от него письма, затем к нам на квартиру приехала гр. Урванцева и поздравив нас с высокой наградой сыну сообщила, что я как его иждивенка буду получать его зарплату, передала мне деньги и письмо, сказала, что сын мой отличился на работе и что он представлен ко второй награде. Начиная с мая м-ца 1937 г. я перестала получать от него письма, также прекратили выплату мне зарплаты. На мой вопрос, где мой сын и что с ним случилось, я не получала никакого ответа.

9/VIII-37 г. меня известили из Наркомата Обороны, что мой сын уже в Наркомате не служит и находится и ведении

Наркомата Внудел. После долгих месяцев хождений по разным учреждениям, чтобы добиться что с сыном случилось, мне, наконец, Прокуратура на Б. Дмитровке ответила, что мой сын осужден Особ. Совещ. НКВД по ст. 58-10. Мы с тех пор получали от него письма до 5/XII-38 г. После чего письма прекратились и деньги, посланные ему, вернулись обратно с надписью, что адресат выбыл. За это время муж мой не пережив такого горя, умер и я осталась одна без всяких средств, больная и совершенно не способная к труду, потеряв единственного сына, гордость и опору моей старости. Зная хорошо сына и его долгую честную трудовую жизнь, преданность Советской власти, я уверена, что он не мог быть врагом народа и поэтому прошу пересмотреть его дело, принять во внимание его заслуги и долгую работу и вернуть мне его. Считаю нужным добавить, что муж мой был служащим с 33-х летним стажем, а мне 60 лет.

20/II-39 г.

Аналогичное заявление было подано Х. М. Хургес еще раз 27 января 1940 г. В нем имеется приписка от руки: «Прошу также известить меня где в настоящее время находится мой сын, последнее письмо было от него из Владивостока».

<12>

Обращение Л. Л. Хургеса к Народному Комиссару внутренних дел Л. П. Берии

22 апреля 1940 г.

Народному Комиссару Внутренних дел СССР

От з/к Хургес Льва Лазаревича, 1910 г. р., Колыма, СВИТЛ,

Осужденного Особым совещанием НКВД за «к-р. троцкистск. деятельн. к 8 годам тюр. закл., начало срока 31 мая 1937 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ

7 мая 1937 г. по возвращению из командировки по особым заданиям правительства, я был на ст. Джанкой снят с поезда и арестован. 13 мая я был привезен в Москву. Вел мое следствие ст. лейтенант ГУГБ Касаткин. После четвертого допроса он предъявил мне в качестве меры пресечения ст. 58-10 УК (к. р. агитация). (В протоколе следствия мною было подписано, что я сказал однажды в присутствии трех человек, что контр революционер Троцкий был хорошим оратором) Больше меня никуда не вызывали и через два месяца (в июле 1937 г.) объявили, что постановлением ОСО НКВД я приговорен за «к. р. деятельность» к 8 годам тюрьмы. Я никогда в жизни не видал и не слыхал и Троцкого и никого из его помощников, не читал абсолютно никакой троцкистской литературы, не был знаком ни с одним троцкистом и вообще ничего общего ни с троцкизмом, ни с троцкистами не имел. Я всегда честно и преданно работал и не жалел никаких сил для того, чтобы быть в первых рядах патриотов своей родины. В 1927 я окончил школу девятилетку и пошел на производство. Работал все время по радио (з-д им. Орджоникидзе, Профрадио и т. д.). 2 года работал на радиостанции ЦДКА им. Фрунзе, затем бортрадистом самолета «Максим Горький» (не погиб на котором в силу простой случайности). За перелеты на самолете «Крокодил» получил благодарность ЦИК СССР. За это время успел без отрыва от производства окончить курс Моск. Института связи (по радио-факультету), затем мне от имени ЦК ВКП(б) было предложено поехать выполнять особые задания, связанные с большой опасностью. Без всяких колебаний согласился и уже через 2 недели после отъезда, за выполнение первой части заданий был награжден орденом «Красная Звезда» и впоследствии за всю дальнейшую работу получал только благодарности и обещания дальнейших наград. Принимая во внимание вышеизложенное, а также то, что я уже три года нахожусь в заключении (2 года тюрьмы и год в лагерях), прошу Вас, гр-н Народный комиссар пересмотреть мое дело в сторону смягчения приговора.

Я уже достаточно наказан за легкомысленные слова и буду стараться если мне будет только дана возможность, самоотверженно и по своей специальности доказать свою преданность делу Ленина-Сталина.

22 апреля 1940 г. Хургес.

<13>

Заключение КГБ по Грозненской области по заявлению Л. Л. Хургеса о снятии судимости
20 апреля 1954 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник управления Комитета Госбезопасности
при Совете Министров СССР по Грозн. области
Полковник /ШМОЙЛОВ/
«20» апреля 1954 года.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По заявлению ХУРГЕС М. З.* о снятии судимости

19 апреля 1954 года гор. Грозный.

Я, старший оперуполномоченный Учетно-Архивного отдела Управления Комитета Госбезопасности при Совете Министров СССР по Грозненской области майор ПАНТЕЛЕЕВ, рассмотрев заявление ХУРГЕС Л. З. с просьбой о снятии судимости, архивно-следственное дело № 261385 и материалы проверки в отношении его, —

НАШЕЛ:
ХУРГЕС Лев Лазаревич, 1910 года рождения, уроженец гор. Москвы, по национальности еврей, гражданин СССР, беспартийный, происходит из семьи торговца, служащий. До ареста находился в спец. командировке в Испании.

* Так в тексте.

Арестован 31 мая 1937 года 5 отделом Главного Управления Государственной Безопасности Союза ССР.

Осужден Особым Совещанием при НКВД СССР 23 июля 1937 года за троцкистскую деятельность к 8 годам тюремного заключения.

Меру наказания отбыл полностью, из-под стражи освобожден 16. Х-1946 года.

В настоящее время проживает в городе Грозном, работает в сейсмической партии треста «Грознефтегеофизика» старшим радиотехником.

Из материалов архивно-следственного дела по обвинению ХУРГЕС Л. Л. усматривается, что основанием к его аресту и осуждению послужили заявления коммунистов КРЕМНЕВА В. и БЕКРЕНЕВА о том, что находясь в специальной командировке в Испании, ХУРГЕС в беседах с окружающими восхвалял Троцкого, его ораторские способности, заявляя, что у ТРОЦКОГО есть чему поучиться.

Кроме того, из тех же заявлений видно, что в ответственный момент отступления республиканских войск в Испании, ХУРГЕС вывел из строя две радиостанции (л. л. 10—17).

На следствии ХУРГЕС виновным себя признал лишь в том, что выступал с троцкистским заявлением, восхвалял ораторские способности Троцкого, но категорически отрицал предъявленные обвинения о выводе из строя радиостанций (л. л. 20—22)

Как подавшие заявления, так и свидетели, в присутствии которых ХУРГЕС вел троцкистские разговоры, органами следствия допрошены не были.

В 1939—1940 гг., как сам ХУРГЕС так и его родители четыре раза подавали заявления в НКВД СССР с просьбой пересмотреть дело, но принимались ли какие-либо меры к рассмотрению этих заявлений данных нет. (Отд. пакет дела)

В апреле месяце 1953 года ХУРГЕС обратился с заявлением в Президиум Верховного Совета СССР в котором просил снять с него судимость.

В связи с рассмотрением заявления ХУРГЕС Л. Л. проводилась проверка по местам проживания его после освобождения из-под стражи.

Из собранных материалов видно, что оставаясь на враждебных к Советской власти позициях, ХУРГЕС, будучи в заключении среди сокамерников высказывал враждебные Советскому строю троцкистские взгляды, клеветал на советскую действительность, руководителей Коммунистической партии и Советского Правительства. Высказывал пораженческие взгляды, а так же намерения после освобождения из заключения бежать за границу (том II отдельный пакет).

После отбытия наказания, работая в тресте «Грознефтегеофизика», ХУРГЕС среди работников сейсмической партии проводил разложенческую работу, заявлял рабочим о нереальности программы работ, дискредитировал руководящий состав, провоцировал рабочих на отказ от работы (том II отдельный пакет).

За последнее время ХУРГЕС среди рабочих сейсмической партии высказывает антисоветские-троцкистские взгляды, восхваляет Троцкого, клевещет на советскую действительность, руководителей КПСС и Советского Правительства (том II отдельный пакет).

По работе ХУРГЕС характеризуется отрицательно, груб с подчиненными, личные интересы ставит выше служебных, в общественной жизни коллектива участвует слабо (л. л. 10 том II)

На основании изложенного, —

ПОЛОГАЛ — БЫ

Материалы о снятии судимости и архивно-следственное дело № 261385 направить в Учетно-Архивный отдел Комитета Госбезопасности при Совете Министров СССР с предложением в снятии судимости ХУРГЕСУ Льву Лазаревичу — ОТКАЗАТЬ.

Ст. опер уполном. Учетно-архивного отдела
УКГБ при СМ СССР по Грозненской области
майор /ПАНТЕЛЕЕВ/

«СОГЛАСЕН» — НАЧАЛЬНИК УЧЕТНО-АРХИВНОГО ОТДЕЛА УКГБ ПРИ СМ СССР ПО ГРОЗНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОДПОЛКОВНИК /БЕЛОЗЕРОВ/

<14>

Протест Генеральной прокуратуры СССР по делу Л. Л. Хургеса

29 июня 1956 г.

Особый контроль СЕКРЕТНО

ЭКЗ. № 1

В ВОЕННУЮ КОЛЛЕГИЮ ВЕРХОВНОГО СУДА СССР

П Р О Т Е С Т

/в порядке надзора/

По делу ХУРГЕС Л. Л.

Постановлением Особого Совещания при НКВД СССР от 23 июля 1937 года за контрреволюционную троцкистскую деятельность осужден к восьми годам тюремного заключения

ХУРГЕС Лев Лазаревич, 1910 года рождения,
Уроженец г. Москвы, еврей, гражданин СССР,
б. член ВЛКСМ, до ареста — и. о. инженера в
управлении связи и сигнализации аэрофлота,
арестован ГУГБ НКВД СССР 31 мая 1937 года.

По обвинительному заключению ХУРГЕСУ вменено в вину то, что он, находясь в 1936 году в спецкомандировке в Испании в качестве радиоспециалиста-коротковолновика, проводил антисоветскую троцкистскую агитацию, восхвалял Троцкого и что в ответственный момент ХУРГЕСОМ была выведена из строя радиостанция.

Из материалов дела видно, что данных об антисоветской деятельности ХУРГЕСА у органов НКВД до его ареста не имелось. /л. д. 4/

На допросе в стадии предварительного следствия ХУРГЕС показал, что, находясь в столовой в районе г. Малага (Испания), он в декабре 1936 года во время разговора о возможности использования техники буржуазных государств сказал о том, что и у Троцкого можно поучиться «техническим приемам ораторского искусства».

При этом ХУРГЕС указывал, что с троцкистами он никогда связи не имел и что этот разговор он расценивал как «глупую мальчишескую выходку».

ХУРГЕС далее заявил, что никаких радиостанций он из строя не выводил и таких заданий ни от кого не получал. /л. д. 20—22, т. 1/.

Об этом же он неоднократно указывал и в своих заявлениях. /л. д. 32-37, т. 1, л. д. 3 т. 2/

К делу на ХУРГЕС приобщены также донесения КРЕМНЕВА /КИСЕЛЕВА В. И./, в которых он указывал, что ХУРГЕС «открыто высказывал симпатии к Троцкому» и что ХУРГЕС «вывел из строя» Малагскую, Мотрильскую и Альмерийскую радиостанции. /л. д. 10-13, 15-17/.

В ходе предварительного следствия по настоящему делу в 1937 году ни КРЕМНЕВ, ни другие лица, в присутствии которых ХУРГЕС вел указанный разговор, не допрашивались, а достоверность фактов, указанных в донесениях КРЕМНЕВА, не проверялась

В 1956 году по делу ХУРГЕСА проведена дополнительная проверка, в ходе которой были допрошены КИСЕЛЕВ В. П. /Кремнев/, Перфильев А. П., Левина М. М. и Долгов Л. В.

КИСЕЛЕВ и ЛЕВИНА характеризовали ХУРГЕСА как добросовестного работника-радиста, награжденного за хорошую работу правительственной наградой

Они также отметили, что случаев выведения из строя радиостанций со стороны ХУРГЕСА не было. /л. д. 41—42, 48—51, т. 1/

Это же подтвердили ПЕРФИЛЬЕВ и ДОЛГОВ /л. д. 41—42, 46—47, т. 1/

КИСЕЛЕВ /Кремнев/ на допросе в 1956 году факты, указанные в его донесениях в 1937 году в отношении вывода ХУРГЕСОМ радиостанций и восхваления им Троцкого не подтвердил. /л. д. 49, 50, т. 1/.

Из сообщения Главного разведуправления Генерального Штаба видно, что сведений о выводе ХУРГЕСОМ радиостанций не имеется и что за отличное и самоотверженное выполнение задания правительства он в декабре 1936 года был награжден правительственной наградой /л. д. 54, т. 1/

Кроме того, из материалов дела видно, что ст. 206 УПК РСФСР по делу не выполнена, обвинительное заключение прокурором не утверждено /л. д. 29-30/, а приведенный выше разговор ХУРГЕСА не составляет преступления, предусмотренного ст. 58-10 УК РСФСР.

Учитывая изложенное следует прийти к выводу, что ХУРГЕС Л. Л. осужден необоснованно.

Руководствуясь ст. 25 Положения о прокурорском надзоре в СССР,

П Р О Ш У :

Постановление Особого Совещания при НКВД СССР от 23 июля 1937 года в отношении ХУРГЕСА Льва Лазаревича отменить и дело прекратить по п. 5 ст. 4 УПК РСФСР.

Зам. Генерального прокурора СОЮЗА СССР
генерал-майор юстиции Е. ВАРСКОЙ
29 июня 1956 г.

<15>

Определение Военной Коллегии Верховного Суда СССР об отмене приговора и прекращении производством дела о Л. Л. Хургесе 1937 г.

Протест Генеральной прокуратуры СССР по делу Л. Л. Хургеса

10 ноября 1956 г.

Секретно

ВЕРХОВНЫЙ СУД СОЮЗА СССР

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 4н — 011341/56

ВОЕННАЯ КОЛЛЕГИЯ ВЕРХОВНОГО СУДА СССР

В составе: Председательствующего полковника юстиции Коваленко,

Членов: подполковника юстиции Гвинепадзе и подполковника юстиции Мышакова

Рассмотрев в заседании от 10 ноября 1956 г. протест Генерального Прокурора СССР на Постановление Особого Совещания при НКВД СССР от 23 июля 1937 года, которым ХУРГЕС Лев Лазаревич, 1910 года рождения, уроженец гор. Москвы заключен в исправительно-трудовой лагерь сроком на восемь лет.

Заслушав доклад т. Мышакова, заключение пом. Главного военного прокурора полковника юстиции Прохорова, поддержавшего протест, —

УСТАНОВИЛА:

По обвинительному заключению ХУРГЕСУ вменено в вину то, что он, находясь в 1936 году в спецкомандировке в Испании в качестве радиоспециалиста-коротковолновика, проводил антисоветскую троцкистскую агитацию и в ответственный момент вывел из строя радиостанцию.

В протесте указывается, что ХУРГЕС был репрессирован неосновательно, т. к. до его ареста органы НКВД не располагали какими-либо достоверными данными об антисоветской деятельности ХУРГЕСА, а собранные по делу в стадии

предварительного следствия доказательства опровергаются материалами проверки, произведенной в настоящее время.

Так, допрошенные в 1956 году свидетели Киселев, Перфильев, Левина и Долгов характеризовали ХУРГЕСА как добросовестного работника-радиста, награжденного в 1936 году правительственной наградой. Причем свидетель Киселев на допросе не подтвердил факты указанные им в донесении в 1937 году о том, что ХУРГЕС вывел из строя радиостанцию и, что восхвалял Троцкого.

Сам ХУРГЕС в стадии предварительного следствия признал, что он однажды в декабре 1936 года в разговоре о возможности использования техники буржуазных государств сказал, что у Троцкого можно поучиться «техническим приемам ораторского искусства, но расценил это высказывание как «глупую мальчишескую выходку».

Поскольку подобное высказывание ХУРГЕСА не содержит признаков преступления, предусмотренного ст. 58-10 УК РСФСР, а других каких либо доказательств, свидетельствующих о преступной деятельности ХУРГЕСА в деле нет, Генеральный Прокурор СССР просит Постановление Особого Совещания отменить и дело в отношение ХУРГЕСА прекратить по п. 5 ст. УПК РСФСР.

Находя протест прокурора обоснованным, Военная Коллегия Верховного Суда СССР, —

ОПРЕДЕЛИЛА

Постановление Особого Совещания при НКВД СССР от 23 июля 1937 года отменить и дело о нем за отсутствием состава преступления производством прекратить.

Председательствующий
Члены

<16>

Заявление Л. Л. Хургеса в КГБ СССР о возвращении или компенсации имущества, конфискованного при аресте

20 декабря 1956 г.

В Комитет Гос. Безопасности
При Совете Министров СССР
от Хургес Льва Лазаревича г. р. 1910
проживающего г. Москва
Большая Тульская ул. д. 6 кв. 1

ЗАЯВЛЕНИЕ

Мая 1936 г. по возвращению с боевой командировки по особым заданиям Партии и Правительства из одной из западных стран, я был арестован органами НКВД и 12 (или 13) мая, доставлен в г. Москву. При оформлении ареста во внутр. тюрьме на пл. Дзержинского, у меня были отобраны принадлежащие мне ценные вещи: (костюмы, пальто, 2 фотоаппарата, несколько часов, много белья и прочие ценные предметы.)

Комендантом, оформлявшим арест, была составлена в 2-х экземплярах опись вещей, один экземпляр которой был вручен мне (вместе с квитанцией), а второй оставлен в деле. После осуждения и я, и мои родные писали целый ряд заявлений о передаче вещей но долгое время никакого ответа не получали. Через год с лишним после осуждения, я получил извещение (в Полтавскую тюрьму ГУГБ, где я по постановлению Особого Совещания НКВД отбывал срок 8 лет тюремного заключения), что мои вещи перешли ввиду невостребования в собственность государства. Ввиду того, что отбыл 9 лет в заключении, никаких документов (квитанций и пр.) у меня не сохранилось.

В данное время, постановлением Военной Коллегии Верх. Суда СССР я реабилитирован (прилагается копия справки о реабилитации. На основании вышеизложенного, прошу выяснить положение с конфискованными у меня вещами и компенсировать их стоимость.

20 декабря 1956 г.

Приложение 2

ЛЕВ ЛАЗАРЕВИЧ ХУРГЕС. БИБЛИОГРАФИЯ

ПУБЛИКАЦИИ Л. Л. ХУРГЕСА

Советские добровольцы в Испании [Воспоминания] // Грозненский рабочий. 1966. 21 июня.

Телемеханическое управление — всем промыслам // Грозненский рабочий. 1966. 9 окт.

Первая альпиниада // Грозненский рабочий. 1966. 12 окт.

Испания в моей судьбе // Воздушный транспорт. 1983. 7 мая.

Я — радиолюбитель. Главы из воспоминаний / Публ. Е. Поляна и П. Поляна. Предисловие П. Поляна. // Отечественные записки. Т. 33. М., 2006. С. 306—330.

Я — радиолюбитель. Главы из воспоминаний / Публ. Е. Поляна и П. Поляна. // Отечественные записки. Т. 34. М., 2007. С. 317—338.

Я — радиолюбитель. Главы из воспоминаний / Публ. Е. Поляна и П. Поляна. // Отечественные записки. Т. 35. М., 2007. С. 246—263.

Я — радиолюбитель. Главы из воспоминаний / Публ. Е. Поляна и П. Поляна. // Отечественные записки. Т. 36. М., 2007. С. 261—274.

«Крестики» // Публ. Н. Поболя и П. Поляна. Предисловие П. Поляна // Новая газета. 2011. № 92. 22 авг. Вкладка: «Правда ГУЛАГа». С. 8.

ПУБЛИКАЦИИ О Л. Л. ХУРГЕСЕ

Карцев Я. Дороги мужества // Грозненский рабочий. 1964. 9 сент.

Гораций Велле. Сент-Экзюпери — пассажир Максима Горького // Литературная газета. 1970. № 32.

Карцев Л. Он встречался с Сент-Экзюпери // Грозненский рабочий. 1970. 13 авг.

Омельяненко В. Авторское свидетельство // Грозненский рабочий. 1974. 6 янв.

Насонов Г. Полет с Сент-Экзюпери // Грозненский рабочий. 1981. 22 авг.

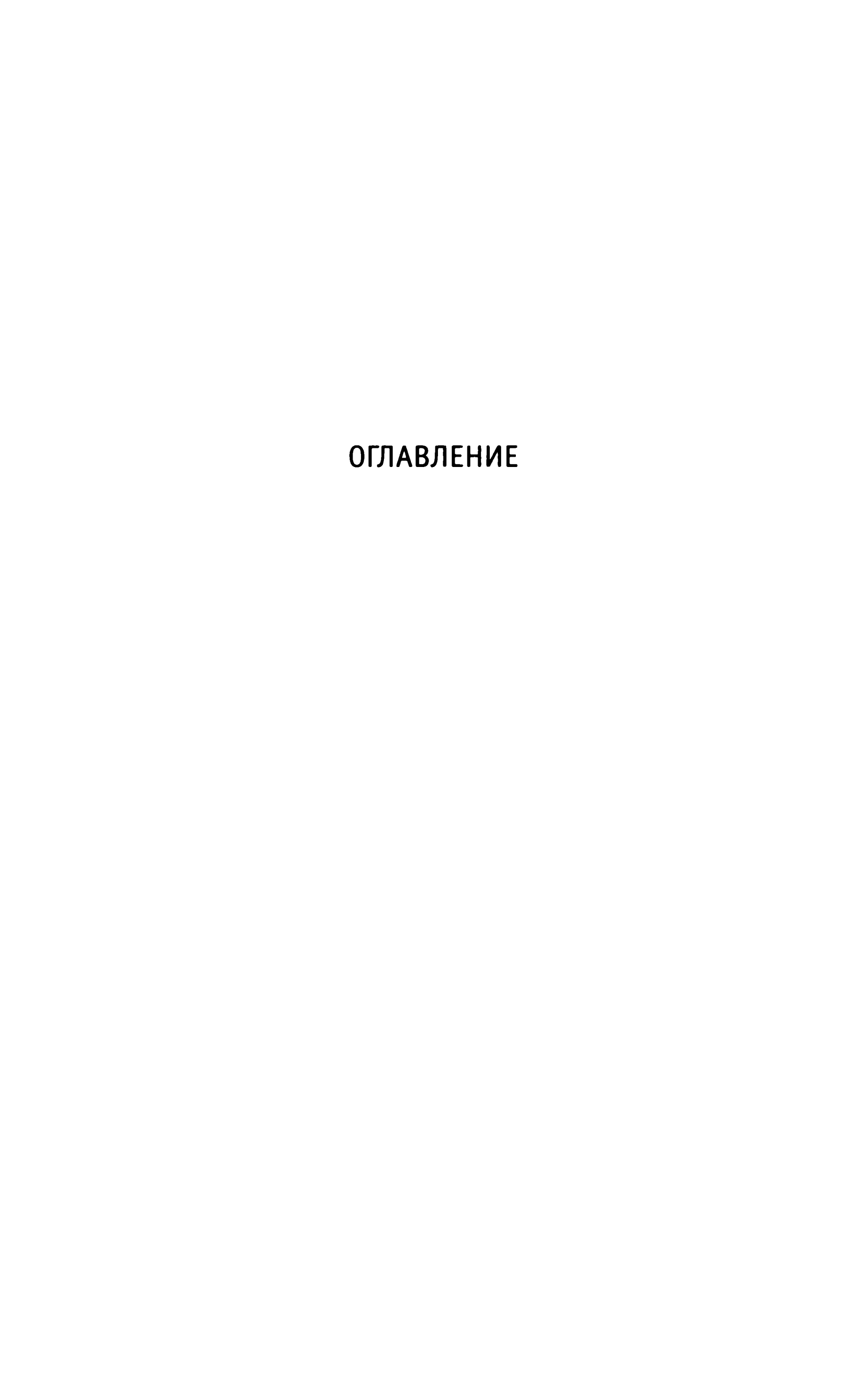
Яценко Н. Осталось в памяти на всю жизнь // Воздушный транспорт. 1982. № 91.

Яценко Н. Встреча с Сент-Экзюпери // Неделя. 1982. № 29.

Васенина Н. С кем сводит нас судьба [Интервью со Л. Хургесом] // Комсомольское племя. Киров, 1983. 15 дек.

Подольский А. Для нее по-особому звучит «Гренада» // Советская Россия. 1984. 13 апр.

Светлов Я. Наш земляк — «испанец» // [Б. м.], 1987. 5 марта. С. 4.



ОГЛАВЛЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Литературно-публицистическое издание

Лев Лазаревич Хургес

МОСКВА — ИСПАНИЯ — КОЛЫМА
из жизни радиста и зэка

Редактор
Екатерина Кузнецова

Выпускающий редактор
Татьяна Тимакова

Художественный редактор
Валерий Калныньш

Корректор
Дарья Сидорова

Подписано в печать 11.11.2011
Формат 84x108 1/32.
Усл. печ. л. 42,0 + вкл. Бумага писчая.
Печать офсетная
Тираж 1000 экз. Заказ № 727.

«Время»
115326 Москва, ул. Пятницкая, 25
Телефон (495) 951 5568
http://books.vremya.ru
e-mail: letter@books.vremya.ru

Отпечатано в соответствии с качеством
предоставленного оригинал-макета
в ОАО «ИПП «Уральский рабочий»
620990, Екатеринбург, ул. Тургенева, 13
http://www.uralprint.ru, e-mail: book@uralprint.ru

ЛЕВ ХУРГЕС
МОСКВА — ИСПАНИЯ — КОЛЫМА
Из жизни радиста и зэка